Теодор Драйзер

ФИНАНСИСТ

Теодор Драйзер

Финансист

1

Филадельфия, где родился Фрэнк Алджернон Каупервуд, насчитывала тогда более двухсот пятидесяти тысяч жителей. Город этот изобиловал красивыми парками, величественными зданиями и памятниками старины. Многого из того, что знаем мы и что позднее узнал Фрэнк, тогда еще не существовало — телеграфа, телефона, доставки товаров на дом, городской почтовой сети и океанских пароходов. Не было даже почтовых марок и заказных писем. Еще не появилась конка. В черте города курсировали бесчисленные омнибусы, а для дальних путешествий служила медленно развивавшаяся сеть железных дорог, все еще тесно связанная с судоходными каналами.

Фрэнк родился в семье мелкого банковского служащего, но десять лет спустя, когда мальчик начал любознательно и зорко вглядываться в окружающий мир, умер председатель правления банка; все служащие соответственно повысились в должностях, и мистер Генри Уортингтон Каупервуд «унаследовал» место помощника кассира с блистательным, по его тогдашним понятиям, годовым окладом в три с половиной тысячи долларов. Он тотчас же радостно сообщил жене о своем решении перебраться из дома 21 по Батнвуд-стрит в дом 124 по Нью-Маркет-стрит: и район не такой захолустный, и дом — трехэтажный кирпичный особнячок — не шел ни в какое сравнение с нынешним жилищем Каупервудов. У них имелись все основания полагать, что со временем они переедут в еще более просторное помещение, но пока и это было неплохо. Мистер Каупервуд от души благодарил судьбу.

Генри Уортингтон Каупервуд верил лишь в то, что видел собственными глазами, и был вполне удовлетворен своим положением, — это открывало ему возможность стать банкиром в будущем. В ту пору он был представительным мужчиной — высокий, худощавый, подтянутый, с вдумчивым взглядом и холеными, коротко подстриженными бакенбардами, доходящими почти до мочек ушей. Верхняя губа, странно далеко отстоявшая от длинного и прямого носа, всегда была чисто выбрита, так же как и заостренный подбородок. Густые черные брови оттеняли зеленовато-серые глаза, а короткие прилизанные волосы разделялись аккуратным пробором. Он неизменно носил сюртук — в тогдашних финансовых кругах это считалось «хорошим тоном» — и цилиндр. Ногти держал в безукоризненной чистоте. Впечатление он производил несколько суровое, но суровость его была напускная.

Стремясь выдвинуться в обществе и в финансовом мире, мистер Каупервуд всегда тщательно взвешивал, с кем и о ком он говорит. Он в равной мере остерегался как высказывать резкие или непопулярные в его кругу мнения по социальным или политическим вопросам, так и общаться с людьми, пользовавшимися дурной репутацией. Впрочем, надо заметить, что он не имел определенных политических убеждений. Он не являлся ни сторонником, ни противником рабовладения, хотя атмосфера тогда была насыщена борьбой между аболиционистами и сторонниками рабства. Каупервуд твердо верил, что на железных дорогах можно нажить большое богатство, был бы только достаточный капитал, да еще одна странная штука — личное обаяние, то есть способность внушать к себе доверие. По его убеждению, Эндрю Джексон был совершенно не прав, выступая

против Николаса Бидла [note 1] и Банка Соединенных Штатов, — эта проблема волновала тогда все умы. Он был крайне обеспокоен потоком «дутых денег», находившихся в обращении и то и дело попадавших в его банк, который, конечно, все же таковые учитывал и с выгодой для себя вновь пускал в оборот, выдавая их жаждущим ссуды клиентам. Третий филадельфийский национальный банк, в котором он служил, помещался в деловом квартале, в ту пору считавшемся центром всего американского финансового мира; владельцы банка попутно занимались также игрой на бирже. «Банки штатов», крупные и мелкие, возникали тогда на каждом шагу; они бескорыстно выпускали свои банковые билеты на базе ненадежных и никому не ведомых активов и с невероятной быстротой вылетали в трубу или даже приостанавливали платежи. Осведомленность во всех этих делах была непременным условием деятельности мистера Каупервуда, отчего он и стал воплощенной осторожностью. К сожалению, ему не хватало двух качеств, необходимых для преуспеяния на любом поприще: личного обаяния и дальновидности. Крупным финансистом он не мог бы сделаться, но ему все же предстояла неплохая карьера.

Миссис Каупервуд была женщина религиозная; маленькая, со светло-каштановыми волосами и ясными карими глазами, она в молодости казалась весьма привлекательной, но с годами стала несколько жеманной и вся ушла в житейские заботы. К своим материнским обязанностям по воспитанию троих сыновей и дочери она относилась очень серьезно. Мальчики,

---

Note1 Эндрю Джексон — седьмой президент США с 1829 по 1837 г.; Николас Бидл — председатель правления Банка США

предводительствуемые старшим, Фрэнком, служили для нее источником постоянных тревог, ибо то и дело совершали «вылазки» в разные концы города, где, чего доброго, водились с дурной компанией, видели и слышали то, что в их возрасте не полагалось ни видеть, ни слышать.

Фрэнк Каупервуд в десять лет вел себя как прирожденный вожак. И в начальной и в средней школе все считали, что на его здравый смысл можно положиться при любых обстоятельствах. Характер у него был независимый, смелый и задорный. Политика и экономика привлекали его с детства. Книгами он не интересовался. С виду это был подтянутый, широкоплечий, ладно скроенный мальчик. Лицо открытое, глаза большие, ясные и серые; широкий лоб и темно-каштановые, остриженные бобриком волосы. Манеры порывистые и самоуверенные. Всех и каждого донимая вопросами, он настаивал на исчерпывающих, разумных ответах. Фрэнк не знал болезней или недомогания, отличался прекрасным аппетитом и полновластно командовал братьями: «Ну-ка, Джо!», «Живей, поворачивайся, Эд!» Его команда звучала не грубо, но авторитетно, и Джо с Эдом повиновались. Они с детства привыкли смотреть на старшего брата как на главаря, с чьими словами следует считаться.

Он постоянно размышлял, размышлял без устали. Все на свете равно поражало его, ибо он не находил ответа на главный вопрос: что это за штука жизнь и как она устроена? Откуда взялись на свете люди? Каково их назначение? Кто положил всему начало? Мать рассказала ему легенду об Адаме и Еве, но он в нее не поверил.

Каупервуды жили неподалеку от рыбного рынка; по дороге к отцу в банк или во время какой-нибудь «вылазки» с братьями после школьных уроков Фрэнк любил останавливаться перед витриной, в которой был выставлен аквариум; рыбаки с залива Делавэр нередко пополняли его всевозможными диковинками морских глубин. Однажды он видел там морского конька — крохотное животное, немного смахивающее на лошадку, в другой раз — электрического угря, чьи свойства объяснило знаменитое открытие Бенджамина Франклина. В один прекрасный день в аквариум пустили омара и каракатицу, и Фрэнк стал очевидцем трагедии, которая запомнилась ему на всю жизнь и многое помогла уразуметь. Из разговоров любопытствующих зевак он узнал, что омару не давали никакой пищи, так как его законной добычей считалась каракатица. Омар лежал на золотистом песчаном дне стеклянного садка и, казалось, ничего не видел; невозможно было определить, куда смотрят черные бусинки его глаз, надо думать, они не отрывались от каракатицы. Бескровная и восковидная, похожая на кусок сала, она передвигалась толчками, как торпеда, но беспощадные клешни врага каждый раз отрывали новые частицы от ее тела. Омар, словно выброшенный катапультой, кидался к тому месту, где, казалось, дремала каракатица, а та, стремительно отпрянув, укрывалась за чернильным облачком, которое оставляла за собой. Но и этот маневр не всегда был успешен. Кусочки ее тела и хвоста все чаще оставались в клешнях морского чудовища. Юный Каупервуд ежедневно прибегал сюда и, как зачарованный, следил за ходом трагедии.

Однажды утром он стоял перед витриной, чуть не прижавшись носом к стеклу. От каракатицы оставался

уже только бесформенный клок; почти пуст был и ее чернильный мешочек. Омар притаился в углу аквариума, видимо изготовившись к боевым действиям.

Мальчик простаивал у окна почти все свободное время, завороженный этой жестокой схваткой. Теперь уже скоро, может быть через час, а может быть — завтра, каракатицы не станет; омар ее прикончит и сожрет. Фрэнк перевел глаза на зеленую, с медным отливом разрушительную машину в углу аквариума. Интересно, скоро ли это случится? Пожалуй, еще сегодня. Вечером надо будет снова прибежать сюда.

Вечер настал, и что же? Ожидаемое свершилось. У витрины стояла кучка людей. Омар забился в угол, перед ним лежала перерезанная надвое, почти уже сожранная каракатица.

— Дорвался наконец! — произнес кто-то рядом с мальчиком. — Я тут давно стою: с час назад омар вдруг ринулся и схватил ее. Каракатица изнемогала, у нее больше не хватало проворства. Она метнулась было от него, но омар этого и ждал. Он уже давно предусмотрел малейшее движение своей жертвы и вот сегодня, наконец, ее прикончил.

Фрэнк смотрел широко раскрытыми глазами. Какая досада, что он упустил этот миг. На секунду в нем шевельнулась жалость к убитой каракатице. Затем он перевел взгляд на победителя.

«Так оно и должно было случиться, — мысленно произнес он. — Каракатице не хватало изворотливости». Он попытался разобраться в случившемся. «Каракатица не могла убить омара, — у нее для этого не было никакого оружия. Омар мог убить каракатицу, — он прекрасно вооружен. Каракатице нечем было питаться,

перед омаром была добыча — каракатица. К чему это должно было привести? Существовал ли другой исход? Нет, она была обречена», — заключил он, уже подходя к дому.

Этот случай произвел на Фрэнка неизгладимое впечатление. В общих чертах он давал ответ на загадку, долго мучившую его: как устроена жизнь? Вот так все живое и существует — одно за счет другого. Омары пожирают каракатиц и других тварей. Кто пожирает омаров? Разумеется, человек. Да, конечно, вот она разгадка. Ну, а кто пожирает человека? — тотчас же спросил он себя. Неужели другие люди? Нет, дикие звери. Да еще индейцы и людоеды. Множество людей гибнет в море и от несчастных случаев. Он не был уверен в том, что и люди живут один за счет других, но они убивают друг Друга, это он знал. Взять хотя бы войны, уличные побоища, погромы. Погром Фрэнк видел однажды собственными глазами. Он возвращался из школы, когда толпа напала на редакцию газеты «Паблик леджер». Отец объяснил ему, что послужило тому причиной. Страсти разгорелись из-за рабов. Да, да, конечно! Одни люди живут за счет других. Рабы — они ведь тоже люди. Из-за этого-то и царило в те времена такое возбуждение. Одни люди убивали других людей — чернокожих.

Фрэнк вернулся домой, весьма довольный сделанными им выводами.

— Мама! — крикнул он, едва переступив порог. — Наконец-то он ее прикончил!

— Кто? Кого? — в изумлении спросила мать. — Ступай-ка мыть руки.

— Да омар, про которого я вам с папой рассказывал. Прикончил каракатицу.

— Какая жалость! Но что тут интересного? Живее мой руки!

— Ого, такую штуку не часто приходится видеть! Я, например, видел это в первый раз.

Он вышел во двор, где была водопроводная колонка и рядом с нею врытый в землю столик, на котором стояли ведро с водой и блестящий жестяной таз. Фрэнк вымыл лицо и руки.

— Папа, — обратился он к отцу после ужина, — помнишь, я тебе рассказывал про каракатицу?

— Помню.

— Ну так вот — ее уже нет. Омар ее сожрал.

— Скажи на милость! — равнодушно отозвался отец, продолжая читать газету.

Но Фрэнк еще долгие месяцы размышлял над виденным, над жизнью, с которой он столкнулся, ибо его уже начинал занимать вопрос, кем он будет и как сложится его судьба. Наблюдая за отцом, считавшим деньги, он решил, что привлекательнее всего банковское дело. А Третья улица, где служил его отец, казалась ему самой красивой, самой замечательной улицей в мире.

2

Детство Фрэнка Алджернона Каупервуда протекало среди семейного уюта и благополучия. Батнвуд-стрит, улица, где он прожил до десяти лет, пришлась бы по душе любому мальчику. В основном она была застроена двухэтажными особнячками из красного кирпича с низкими ступеньками из белого мрамора и такими же наличниками на дверях и окнах. Вдоль улицы были густо посажены деревья. Мостовая, выложенная крупным округленным булыжником, после дождя блестела чистотой, а от красных кирпичных тротуаров, всегда чуть-чуть сыроватых, веяло прохладой. Позади каждого домика имелся двор, поросший деревьями, так как земельные участки здесь тянулись футов на сто в ширину, дома же были выдвинуты близко к мостовой, и за ними оставалось много свободного пространства.

Отец и мать Каупервуды, люди достаточно простодушные и отзывчивые, умели радоваться и веселиться вместе со своими детьми. Поэтому ко времени, когда отец решил перебраться в новый дом на Нью-Маркет-стрит, семья, в которой после рождения Фрэнка каждые два-три года прибавлялось по ребенку, пока детей не стало четверо, представляла собой оживленный маленький мирок. С тех пор как Генри Уортингтон Каупервуд стал занимать более ответственный пост, его связи непрерывно ширились, и он мало-помалу сделался видной персоной. Он свел знакомство со многими крупнейшими вкладчиками своего банка, а так как по делам службы ему приходилось бывать и в других банкирских домах, то его стали считать «своим» и в Банке Соединенных Штатов и у

Дрекселей, Эдвардов и многих других. Биржевые маклеры знали его как представителя крепкой финансовой организации, и он повсюду слыл человеком если и не блестящего ума, то в высшей степени честным и добропорядочным дельцом.

Юный Каупервуд все больше вникал в детали отцовских занятий. По субботам ему частенько разрешалось приходить в банк, и он с огромным интересом наблюдал, как производятся маклерские операции и как ловко обмениваются всевозможные бумаги. Ему хотелось знать, откуда берутся все эти ценности, для чего клиенты обращаются в банк за учетом векселей, почему банк такой учет производит и что люди делают с полученными деньгами. Отец, довольный, что сын интересуется его делом, охотно давал ему объяснения, так что Фрэнк в очень раннем возрасте — между десятью и пятнадцатью годами — уже составил себе довольно полное представление о финансовой системе Америки, знал, что такое банк штата и в чем его отличие от Национального, чем занимаются маклеры, что такое акции и почему их курс постоянно колеблется. Он начал уяснять себе значение денег как средства обмена и понял, что всякая стоимость исчисляется в зависимости от основной

— стоимости золота. Он был финансистом по самой своей природе и все связанное с этим трудным искусством схватывал так же, как поэт схватывает тончайшие переживания, все оттенки чувств. *Золото* — это средство обмена

— страстно его привлекало. Узнав от отца, как оно добывается, мальчик часто во сне видел себя собственником золотоносных копей и, проснувшись,

жаждал, чтобы сон обратился в явь. Не меньший интерес возбуждали в нем акции и облигации; он узнал, что бывают акции, не стоящие бумаги, на которой они отпечатаны, и другие, расценивающиеся гораздо выше своего номинала.

— Вот, сынок, погляди, — сказал ему однажды отец, — такие бумажки не часто встречаются в наших краях.

Речь шла об акциях Британской Ост-индской компании, заложенных за две трети номинала, в обеспечение стотысячного займа. Они принадлежали одному филадельфийскому магнату, нуждавшемуся в наличных деньгах. Юный Каупервуд с живым любопытством разглядывал пачку бумаг.

— По виду не скажешь, что они стоят денег, — заметил он.

— Они ценятся вчетверо выше своего номинала, — улыбаясь, отвечал отец.

Фрэнк снова принялся рассматривать бумаги.

— «Британская Ост-индская компания», — прочитал он вслух. — Десять фунтов. Что-то около пятидесяти долларов.

— Сорок восемь долларов и тридцать пять центов, — деловито поправил его отец. — М-да, будь у нас такая пачка, не было бы надобности трудиться с утра до вечера. Обрати внимание, они почти новехонькие, — редко бывают в обороте. В закладе они, видимо, первый раз.

Подержав пачку в руках, юный Каупервуд вернул ее отцу, дивясь огромной разветвленности финансового

дела. Что это за Ост-индская компания? Чем она занимается? Отец объяснил ему.

Дома Фрэнк тоже слышал разговоры о капиталовложениях и о рискованных финансовых операциях. Его заинтересовал рассказ про весьма любопытную личность, некоего Стимберджера, крупного спекулянта из штата Виргиния, который перепродавал мясо и недавно заявился в Филадельфию, привлеченный надеждой на широкий и легкий кредит. Стимберджер, по словам отца, был связан с Николасом Бидлом, Ларднером и другими заправилами Банка Соединенных Штатов и даже очень дружен кое с кем из них. Так или иначе, но он добивался от этого банка почти всего, чего хотел добиться. Он производил крупнейшие закупки скота в Виргинии, Огайо и других штатах и фактически монополизировал мясную торговлю на востоке страны. Это был огромный человек с лицом, весьма напоминавшим, по словам мистера Каупервуда, свиное рыло; он неизменно ходил в высокой бобровой шапке и длинном, просторном сюртуке, болтавшемся на его могучем теле. Стимберджер умудрился взвинтить цены на мясо до тридцати центов за фунт, чем вызвал бурю негодования среди мелких торговцев и потребителей и стяжал себе недобрую славу. Являясь в фондовый отдел филадельфийского банка, он приносил с собой тысяч на сто или на двести краткосрочных обязательств Банка Соединенных Штатов, выпущенных купюрами в тысячу, пять и десять тысяч долларов, сроком на год. Эти обязательства учитывались из расчета на десять — двенадцать процентов ниже номинала, а сам он платил за них Банку Соединенных Штатов векселем на полную сумму сроком на четыре месяца. Следуемые ему деньги он получал в фондовом отделе Третьего национального

банка альпари [note 2] пачками банкнот разных банков, находившихся в Виргинии, Огайо и Западной Пенсильвании, так как именно в этих штатах он главным образом и производил свои расчеты. Третий национальный банк получал от четырех до пяти процентов барыша с основной сделки да еще удерживал учетный процент с западных штатов, что тоже давало немалую прибыль.

В рассказах отца часто упоминался некий Фрэнсис Гранд, знаменитый вашингтонский журналист, игравший немалую роль за кулисами конгресса США, великий мастер выведывать всевозможные секреты, особенно касающиеся финансового законодательства. Секретные дела президента и кабинета министров, а также сената и палаты представителей, казалось, были для него открытой, книгой. В свое время Гранд, через посредство двух или трех маклерских контор, скупал крупными партиями долговые обязательства и облигации Техаса. Эта республика, боровшаяся с Мексикой за свою независимость, выпустила ряд займов на сумму в десять — пятнадцать миллионов долларов. Предполагалось включить Техас в число штатов США, и в связи с этим через конгресс был проведен законопроект об ассигновании пяти миллионов долларов в счет погашения старой задолженности республики. Гранд пронюхал об этом, равно как и о том, что часть долговых обязательств, в силу особых условий их выпуска, будет оплачена полностью, остальные же — со скидкой, и что заранее решено инсценировать провал законопроекта на одной сессии, чтобы отпугнуть тех, кто, прослышав о такой комбинации, вздумал бы, в целях наживы, скупать

Note2 альпари — соответствие номиналу

старые обязательства. Гранд поставил об этом в известность Третий национальный банк, а следовательно, об этом узнал и помощник кассира Каупервуд. Он рассказал все жене, а через нее это дошло до Фрэнка; его ясные большие глаза загорелись. Почему, спрашивал он себя, отец не воспользуется случаем и не приобретет облигации Техасской республики лично для себя. Ведь сам же он говорил, что Гранд и еще человека три-четыре нажили на этом тысяч по сто. Надо думать, что он считал это не вполне законным, хотя и противозаконного тут, собственно, ничего не было. Почему бы не вознаградить себя за такую неофициальную осведомленность? Фрэнк решил, что его отец не в меру честен, не в меру осмотрителен, — когда он сам вырастет, сделается биржевиком, банкиром и финансистом, то уж, конечно, не упустит такого случая.

Как раз в те дни к Каупервудам приехал родственник, никогда раньше их не посещавший, Сенека Дэвис, брат миссис Каупервуд, белолицый, румяный и голубоглазый здоровяк, ростом в пять футов и девять дюймов, крепкий, круглый, с круглой же головой и блестящей лысиной, обрамленной курчавыми остатками золотисто-рыжих волос. Одевался он весьма элегантно, тщательно соблюдая моду — жилет в цветочках, длинный серый сюртук и цилиндр (неотъемлемая принадлежность преуспевающего человека). Фрэнк пленился им с первого взгляда. Мистер Дэвис был плантатором и владел большим ранчо на Кубе; он рассказывал мальчику о жизни на острове — о мятежах, засадах, яростных схватках с мачете в руках на его собственной плантации и о множестве других интересных вещей. Он привез с собой целую коллекцию индейских диковинок, много денег и нескольких невольников. Один

из них — Мануэль, высокий и тощий негр — неотлучно находился при нем как бы в качестве его адъютанта и телохранителя. Мистер Дэвис экспортировал со своих плантаций сахар-сырец, который сгружали в Южной гавани Филадельфии. Дядя очаровал Фрэнка своей простодушной жизнерадостностью, казавшейся в этой спокойной и сдержанной семье даже несколько грубоватой и развязной.

Нагрянув в воскресенье под вечер, нежданно и негаданно, дядя поверг всю семью в радостное изумление.

— Да что ж это такое, сестрица! — вскричал он, едва завидев миссис Каупервуд. — Ты ни капельки не потолстела. А я-то думал, когда ты выходила замуж за своего почтенного Генри, что тебя разнесет, как твоего братца. Нет, вы только посмотрите! Клянусь честью, она и пяти фунтов не весит.

И, обхватив Нэнси-Арабеллу за талию, он подкинул ее к вящему удивлению детей, не привыкших к столь бесцеремонному обращению с их матерью.

Генри Каупервуд был очень доволен и польщен приездом богатого родственника: пятнадцать лет назад, когда он был молодоженом, Сенека Дэвис просто не удостаивал его вниманием.

— Вы только взгляните на этих маленьких горожан, — шумел дядя, — рожицы точно мелом вымазанные. Вот бы им приехать на мое ранчо подзагореть немножко. Восковые куклы да и только. — С этими словами он ущипнул за щеку пятилетнюю Анну-Аделаиду. — Надо сказать, Генри, вы тут недурно устроились, — продолжал он, критическим взглядом

окидывая гостиную ничем не примечательного трехэтажного дома.

Комната эта, размером двадцать футов на двадцать четыре, отделанная панелями под вишневое дерево и обставленная новым гарнитуром в стиле Шератона, выглядела несколько необычно, но в общем приятно. Когда Генри Каупервуд стал помощником кассира, он выписал из Европы фортепиано — большая роскошь по тогдашним понятиям. Комнату украшали и другие редкие вещи: газовая люстра, аквариум с золотыми рыбками, несколько прекрасно отполированных раковин причудливой формы и мраморный купидон с корзиной цветов в руках. Стояло лето, в распахнутые окна заглядывали, радуя взор, деревья, осенявшие своими кронами кирпичные тротуары. Дядя Сенека не торопясь вышел во двор.

— Весьма приятный уголок, — заметил он, стоя под развесистым вязом и оглядывая дворик, частично вымощенный кирпичом и обнесенный кирпичной же оградой, по которой вился дикий виноград. — А где же у вас гамак? Неужели вы летом не вешаете здесь гамака? В Сен-Педро у меня их штук шесть или семь на веранде.

— Мы как-то не подумали о гамаке, ведь кругом соседи. Но это было бы премило, — отвечала миссис Каупервуд. — Завтра же попрошу Генри его купить.

— Я привез с собой несколько штук. Они у меня в сундуке в гостинице. Мои чернокожие на Кубе сами плетут их. Я вам завтра утром пришлю один с Мануэлем.

Он сорвал листик винограда, подергал ухо Эдварда, пообещал Джозефу, младшему из мальчиков, индейский томагавк и вернулся в дом.

— Вот этот мальчонка мне нравится, — сказал он немного погодя и положил руку на плечо Фрэнка. — Как его полное имя, Генри?

— Фрэнк Алджернон.

— Гм! Надо было назвать его иначе, как зовут меня. В этом мальчугане что-то есть… Приезжай ко мне на Кубу, сынок, я из тебя сделаю плантатора.

— Меня к этому не тянет, — отвечал старший сын Каупервуда.

— По крайней мере сказано откровенно! Что же ты имеешь против моего предложения?

— Ничего. Только я не знаю этого дела.

— А какое ты знаешь?

Мальчик улыбнулся не без хитрецы.

— Я пока еще мало что знаю.

— Ну ладно, а что тебя интересует?

— Деньги.

— Вот оно что! Это, значит, в крови — по стопам папеньки пошел. Что ж, плохого тут нет! И рассуждает-то он, как мужчина. Ну, малый, мы с тобой еще побеседуем. Похоже, Нэнси, что у тебя растет финансист. Он смотрит на вещи, как настоящий делец.

Дядя еще внимательнее взглянул на Фрэнка. В этом решительном юнце, несомненно, чувствовалась сила. Его большие и ясные серые глаза выражали ум. Они многое таили в себе и ничего не выдавали.

— Занятный малый, — сказал мистер Дэвис зятю. — Мне нравится его прыть. У вас славные дети.

Мистер Каупервуд только улыбнулся. Этот дядюшка, раз ему так нравится Фрэнк, может многое для него сделать. Например, оставить ему со временем часть своего состояния. Мистер Дэвис был богат и холост.

Дядя Сенека стал часто бывать у Каупервудов, всегда в сопровождении своего чернокожего телохранителя Мануэля, говорившего, к немалому изумлению детей, по-английски и по-испански. Фрэнк все больше и больше интересовал его.

— Когда мальчик подрастет и решит, кем он хочет быть, я помогу ему встать на ноги, — заметил однажды мистер Дэвис в разговоре с сестрой, и та горячо поблагодарила его.

Дядя беседовал с Фрэнком о его занятиях и обнаружил, что мальчика мало интересуют книги, да и вообще большинство школьных предметов. Грамматика — просто гадость. Литература — ерунда. Латынь — бесполезная трата времени. История — ну, это еще куда ни шло.

— Я люблю счетоводство и математику, — заявил Фрэнк. — А вообще мне бы хотелось покончить с этим и взяться за дело.

— Рановато еще, дружок, — отозвался дядя. — Сколько тебе? Четырнадцать?

— Тринадцать.

— Вот видишь, а раньше шестнадцати нельзя бросить школу. Еще бы лучше проучиться лет до семнадцати-восемнадцати. Это тебе не повредит. Детства ведь потом не вернешь, мой мальчик.

— Я не хочу быть мальчиком. Я хочу работать.

— Не торопись, сынок. Все равно оглянуться не успеешь, и ты уже взрослый. Ты ведь, кажется, метишь в банкиры?

— Да, дядя.

— Ну, что ж, когда, бог даст, время придет, я помогу тебе на первых порах, если ты не передумаешь. Смотри только, веди себя хорошо. На твоем месте я бы поработал год-другой в большой хлебно-комиссионной конторе. Там можно понабраться опыта. Ты узнаешь много такого, что тебе впоследствии пригодится. А пока береги свое здоровье и учись. Когда понадобится, извести меня, где бы я ни находился. Я напишу и узнаю, как ты себя вел.

Он дал мальчику золотую монету в десять долларов, чтобы тот открыл себе счет в банке. Неудивительно, что этот подвижный, уверенный в своих силах и еще не тронутый жизнью юнец расположил мистера Дэвиса ко всей семье Каупервудов.

3

На четырнадцатом году жизни Фрэнк Каупервуд впервые пустился в коммерческую авантюру. Однажды, проходя по Фронт-стрит, улице импортирующих и оптовых фирм, он заметил аукционный флажок над дверью оптово-бакалейного магазина; изнутри слышался голос аукциониста:

— Что мне предложат за партию превосходного яванского кофе? Оптовая рыночная цена на сегодняшний день семь долларов тридцать два цента за мешок. Сколько даете? Сколько даете? Партия идет только целиком. Сколько даете?

— Восемнадцать долларов, — крикнул стоявший у двери лавочник, собственно, лишь для того, чтобы положить начало торгам.

Фрэнк остановился.

— Двадцать два, — произнес другой голос.

— Тридцать, — послышался третий.

— Тридцать пять! — воскликнул четвертый.

Цена дошла до семидесяти пяти долларов, что составляло меньше половины настоящей стоимости кофе.

— Семьдесят пять долларов. Семьдесят пять, — выкрикивал аукционист. — Кто больше? Семьдесят пять долларов — раз. Кто даст восемьдесят? Семьдесят пять долларов два… — Он сделал паузу и драматическим жестом занес руку. Затем резко опустил ее. — Продано мистеру Сайласу Грегори за семьдесят пять долларов. Запишите, Джерри, — обратился он к своему рыжему, веснушчатому помощнику и тут же перешел к продаже

другой партии бакалейного товара: одиннадцати бочонков крахмала.

Юный Каупервуд быстро прикинул в уме. Рыночная цена кофе, если верить аукционисту, семь долларов тридцать два цента за мешок; значит, лавочник, купивший его за семьдесят пять долларов, может тут же заработать восемьдесят шесть долларов четыре цента, а продав его в розницу, — и того больше. Насколько ему помнится, мать платит двадцать восемь центов за фунт. С учебниками под мышкой Фрэнк протиснулся поближе и стал еще внимательнее следить за процедурой торгов. Бочонок крахмала, как он вскоре услышал, стоит десять долларов, а здесь его продали за шесть. Несколько бочонков уксуса пошли с молотка за треть своей стоимости. Фрэнку очень захотелось принять участие в торгах, но в кармане у него была только мелочь. Аукционист заметил мальчика, стоявшего прямо перед ним, и был поражен серьезностью и упорством, написанными на его лице.

— Предлагаю партию прекрасного кастильского мыла — семь ящиков, ни больше и ни меньше. Оно, надо вам знать, если вы вообще что-нибудь смыслите в мыле, стоит теперь четырнадцать центов брусок. А за ящик с вас возьмут не меньше одиннадцати долларов семидесяти пяти центов. Сколько даете? Сколько даете? Сколько даете?

Он говорил быстро, с обычными интонациями аукциониста и чрезмерным пафосом, но на юного Каупервуда это не действовало. Он живо подсчитывал в уме. Семь ящиков по одиннадцать семьдесят пять — всего восемьдесят два доллара двадцать пять центов. И

если эта партия пойдет за полцены… Если она пойдет за полцены…

— Двенадцать долларов! — предложил кто-то.

— Пятнадцать! — повысил цену другой.

— Двадцать! — крикнул третий.

— Двадцать пять! — надбавил четвертый.

Дальше пошли надбавки по одному доллару, так как кастильское мыло не пользовалось широким спросом.

— Двадцать шесть!

— Двадцать семь!

— Двадцать восемь!

— Двадцать девять!

Все молчали.

— Тридцать! — решительно произнес юный Каупервуд.

Аукционист, маленький, худощавый человек с изможденным лицом и взъерошенными волосами, с любопытством и несколько недоверчиво покосился на Фрэнка, ни на миг, впрочем, не умолкая. Напряженный взгляд мальчика поневоле привлек его внимание, и он как-то сразу, сам не зная почему, преисполнился доверия и решил: деньги у него есть. Возможно, он сын какого-нибудь бакалейщика.

— Тридцать долларов! Тридцать долларов! Тридцать долларов за партию превосходного кастильского мыла! Отличное мыло! В розницу идет по четырнадцати центов кусок. Кто даст тридцать один

доллар? Кто даст тридцать один? Кто даст тридцать один?

— Тридцать один! — раздался голос.

— Тридцать два! — произнес Каупервуд.

Торг возобновился.

— Тридцать два доллара! Тридцать два доллара! Тридцать два доллара! Кто даст за это замечательное мыло тридцать три? Семь ящиков прекрасного кастильского мыла. Кто даст тридцать три?

Мозг юного Каупервуда напряженно работал. Денег у него с собой не было, но его отец служил помощником кассира в Третьем национальном банке, и Фрэнк мог сослаться на него. Все это мыло, без сомнения, удастся продать бакалейщику по соседству с домом, а если не ему, то еще какому-нибудь лавочнику. Нашлись ведь и другие, желавшие приобрести его по такой цене. Так почему бы мыло не купить Фрэнку?

Аукционист сделал паузу.

— Тридцать два доллара — раз! Кто даст тридцать три? Тридцать два доллара — два! Даст кто-нибудь тридцать три? Тридцать два доллара — три! Семь ящиков превосходного мыла! Кто даст больше? Раз, два, три! Кто больше? — рука его снова поднялась в воздух. — Продано мистеру…

Он слегка перегнулся через стойку, с любопытством заглядывая в лицо юного покупателя.

— Фрэнку Каупервуду, сыну помощника кассира Третьего национального банка, — твердым голосом проговорил мальчик.

— Идет! — сказал аукционист, убежденный его уверенным взглядом.

— Вы подождете, пока я сбегаю в банк за деньгами?

— Хорошо! Только недолго: если вы через час не вернетесь, я снова пущу его в продажу.

Фрэнк уже не ответил. Он выбежал за дверь и прежде всего помчался к бакалейщику, чья лавка была на расстоянии одного квартала от дома Каупервудов.

Последние тридцать шагов он прошел медленно, потом состроил беспечную мину и, войдя в лавку, стал глазами искать кастильское мыло. Вот оно — на обычном месте, того же сорта, в таком же ящике, как и «его» мыло.

— Почем у вас кусок такого мыла, мистер Дэлримпл? — осведомился Фрэнк.

— Шестнадцать центов, — с достоинством отвечал лавочник.

— Если я предложу вам семь ящиков точно такого товара за шестьдесят два доллара, вы возьмете?

— Точно такого?

— Да, сэр.

Мистер Дэлримпл мысленно произвел подсчет.

— Да, пожалуй, — осторожно ответил он.

— И вы могли бы сегодня же заплатить мне?

— Я дал бы вексель. А где товар?

Мистер Дэлримпл был несколько озадачен этим неожиданным предложением соседского сына. Он хорошо знал мистера Каупервуда, да и Фрэнка тоже.

— Так вы возьмете мыло, если я вам сегодня его доставлю?

— Возьму, — ответил лавочник. — Вы что же, мылом занялись?

— Нет, но я знаю, где его можно дешево купить.

Фрэнк торопливо вышел и побежал к отцу. Операции в банке уже прекратились, но мальчик знал там все ходы и выходы и знал также, что мистер Каупервуд будет доволен, если сын заработает тридцать долларов. Ему нужно было только занять денег на один день.

— Что случилось, Фрэнк? — поднимая голову от конторки, спросил мистер Каупервуд, завидев своего раскрасневшегося и запыхавшегося сына.

— Я хочу попросить у тебя взаймы тридцать два доллара, папа.

— Хорошо. А на что они тебе понадобились?

— Я собираюсь купить мыло: семь ящиков кастильского мыла. Я знаю, где его достать, и у меня уже есть на него покупатель. Мистер Дэлримпл берет всю партию. Он предложил мне шестьдесят два доллара. А я покупаю за тридцать два. Если ты дашь мне денег, я мигом слетаю и заплачу аукционисту.

Мистер Каупервуд улыбнулся. Никогда еще его сын не проявлял такой деловитости. Для мальчика тринадцати лет он был на редкость сообразителен и оборотист.

— Итак, Фрэнк, — сказал он, направляясь к ящику, в котором лежало несколько ассигнаций, — ты, видно, уже становишься финансистом. А ты уверен, что не

потерпишь убытка? Ты отдаешь себе отчет в своей затее?

— Дай же мне деньги, папа, — с мольбой в голосе проговорил Фрэнк. — А я тебе докажу, на что я способен. Только дай деньги. Можешь мне поверить.

Он походил на молодую охотничью собаку, учуявшую дичь. Отец не мог противиться его настояниям.

— Разумеется, Фрэнк, я верю тебе, — сказал он, отсчитывая шесть пятидолларовых банкнот своего же Третьего национального банка и две по доллару. — Получай!

Пробормотав благодарность, Фрэнк выскочил и со всех ног понесся на аукцион. В момент его прихода с торгов продавался сахар. Фрэнк протискался к столику, за которым сидел клерк.

— Я хочу заплатить за мыло, — сказал он.

— Сейчас?

— Да. Вы мне выпишете квитанцию?

— Можно!

— Товар будет доставлен на дом?

— Нет, у нас без доставки. Вы должны забрать его в течение суток.

Неожиданное затруднение не смутило Фрэнка.

— Хорошо, — сказал он, пряча квитанцию в карман.

Аукционист невольно проводил его глазами. Через полчаса Фрэнк вернулся в сопровождении ломовика, околачивавшегося со своей телегой в порту и готового подработать чем угодно.

За шестьдесят центов он подрядился отвезти мыло по назначению. Еще через полчаса они уже стояли перед лавкой изумленного мистера Дэлримпла, которого Фрэнк, прежде чем сгружать мыло с телеги, заставил выйти на улицу и взглянуть на ящики. В случае, если сделка не состоится, Фрэнк решил отвезти мыло домой. Несмотря на то, что это была его первая спекуляция, он все время сохранял полнейшее присутствие духа.

— Н-да, — проговорил мистер Дэлримпл, задумчиво почесывая седую голову,

— н-да, мыло то же самое. Я беру его. Слово надо держать. Где это вы его раздобыли, Фрэнк?

— На распродаже у Биксома, тут недалеко, — откровенно и учтиво отвечал юный Каупервуд.

Мистер Дэлримпл велел отнести мыло в лавку и после некоторых формальностей, осложнявшихся тем, что продавец был несовершеннолетним, выписал вексель сроком на месяц.

Фрэнк поблагодарил и спрятал его в карман. Он решил еще раз пойти к отцу и учесть вексель, как это делали на его глазах другие, чтобы отдать долг и получить свой барыш наличными. Как правило, этих операций не производят после закрытия банка, но отец сделает для него исключение.

Насвистывая, он отправился в путь; отец снова улыбнулся, увидев его.

— Ну как, Фрэнк, выгорело твое дело? — осведомился мистер Каупервуд.

— Вот вексель сроком на месяц, — сказал мальчик, кладя на стол полученное от Дэлримпла

обязательство. — Пожалуйста, учти его с удержанием своих тридцати двух долларов.

Отец внимательно рассматривал вексель.

— Шестьдесят два доллара, — прочитал он. — Мистер Дэлримпл. Все правильно. Да, я учту его. Это обойдется тебе в десять процентов, — пошутил он. — Но почему бы тебе не оставить вексель у себя? Я могу подождать и не буду требовать свои тридцать два доллара до конца месяца.

— Нет, не надо, — возразил Фрэнк, — ты лучше учти его и возьми свои деньги. Мои могут мне понадобиться.

Деловитый вид сына позабавил мистера Каупервуда.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Завтра все будет устроено, а теперь расскажи мне, как тебе это удалось?

И сын ему рассказал. В семь часов вечера эту историю узнала миссис Каупервуд, а несколько позднее и дядя Сенека.

— Ну, что я вам говорил, Каупервуд? — воскликнул дядюшка. — Этот мальчуган подает надежды. Вы еще и не то увидите!

За обедом миссис Каупервуд с любопытством вглядывалась в сына. Неужели вот этого мальчика она еще так недавно кормила грудью? Как он быстро возмужал!

— Надеюсь, Фрэнк, тебе и впредь будут удаваться такие дела, — сказала она.

— И я надеюсь, мама, — последовал лаконичный ответ.

Правда, торги происходили не каждый день, и не каждый день были возможны сделки с бакалейщиком, но Фрэнк уже с юных лет умел наживать деньги. Он собирал подписку на журнал для юношества, работал агентом по распространению нового типа коньков, а раз даже соблазнил окрестных мальчишек объединиться и закупить себе к лету партию соломенных шляп по оптовой цене. О том, чтобы сколотить капитал бережливостью, Фрэнк и не помышлял. Он чуть не с детства проникся убеждением, что куда приятнее тратить деньги не считая и что этой возможности он так или иначе добьется.

В этом же году, если не раньше, в нем начал пробуждаться интерес к девочкам. Его взгляд неизменно останавливался на самой красивой. А так как он сам был красив и обаятелен, то ему ничего не стоило заинтересовать своей особой понравившуюся ему девочку. Двенадцатилетняя Пейшенс Барлоу, жившая по соседству, была первой, на которую он загляделся, и сама она загляделась на него.

Природа наделила ее блестящими черными глазами и черными волосами, которые она заплетала в две тугие косы. Изящные ножки с тонкими лодыжками легко несли ее прелестную фигурку. Родители девочки были квакеры, и на ее голове всегда красовался скромный маленький чепчик. Характер у нее, однако, был очень живой, и этот смелый, самоуверенный, прямой мальчик ей нравился. Однажды, после того как они не раз уже обменялись беглыми взглядами, он остановил ее (девочка шла в ту же сторону) и с улыбкой, смело, как всегда, спросил:

— Вы ведь живете на нашей улице? Правда?

— Да, — отвечала она, слегка волнуясь и раскачивая сумку с книгами, — в доме сто сорок один.

— Я знаю этот дом, — сказал он. — Видел, как вы туда входили. Вы, кажется, учитесь в одной школе с моей сестрой? Ведь вас зовут Пейшенс Барлоу?

Он слышал, как кто-то из его соучеников назвал ее по имени.

— Да, — подтвердила она. — А откуда вы знаете?

— Слышал, — улыбнулся Фрэнк. — Я вас часто вижу. Хотите лакрицы?

Он порылся в кармане и вытащил несколько палочек свежей лакрицы, очень распространенного в те времена лакомства.

Пейшенс ласково поблагодарила и взяла одну.

— Наверно, не очень вкусно. Она уже давно лежит в кармане. На днях у меня были тянучки.

— Нет, вкусно, — отозвалась она, посасывая кончик палочки.

— Вы ведь знаете мою сестру, Анну Каупервуд? — спросил Фрэнк, возвращаясь к начатому разговору и как бы представляясь своей соседке. — Она, правда, классом младше вас, но, может быть, вы знакомы?

— Я ее знаю. Мы встречаемся, когда идем из школы.

— Я живу вон там, направо, — Фрэнк указал ей на дом, к которому они подходили, будто девочка и без того не знала, где он живет. — Надеюсь, мы теперь часто будем видеться?

— Вы знакомы с Рут Мерриэм? — спросила она, когда Фрэнк уже собирался свернуть на мощеную дорожку, ведущую к его дому.

— Нет, а почему вы спрашиваете?

— У нее во вторник вечеринка, — как бы вскользь заметила девочка.

— Где она живет?

— В доме двадцать восемь.

— Я был бы не прочь зайти к ней, — признался Фрэнк, сворачивая домой.

— Может быть, она пригласит вас. — Пейшенс становилась все храбрее, по мере того как расстояние между ними увеличивалось. — Я ее попрошу.

— Спасибо, — поблагодарил он с улыбкой.

Она весело побежала дальше.

Фрэнк с сияющим лицом смотрел ей вслед. Она была прелестна. Он ощутил страстное желание поцеловать ее и живо вообразил себе вечеринку у Рут Мерриэм и все, что это ему сулило.

То был еще совсем детский роман, одно из ребяческих увлечений, которые время от времени охватывали Фрэнка среди вихря житейских событий. С Пейшенс Барлоу он не раз целовался в укромных уголках, прежде чем нашел себе другую. Зимой Пейшенс вместе с соседскими девочками выбегала на улицу поиграть в снежки или же в долгие зимние вечера засиживалась на скамеечке у дверей своего дома. Изловить ее в эти часы и поцеловать было так же легко, как легко было на вечеринках нашептывать ей всякий вздор. На смену ей пришла Дора Фитлер, — Фрэнку было

тогда шестнадцать, лет, ей четырнадцать, — позднее, в семнадцать лет, — пятнадцатилетняя Марджори Стэффорд, белокурая, пухленькая девочка с голубовато-серыми глазами, румяная и свежая, как утренняя заря.

В семнадцать Фрэнк решил бросить школу. Он всего три года проучился в старших классах, но уже был сыт ученьем по горло. С тринадцати лет все его помыслы были обращены на финансовое дело, в той его форме, какую он наблюдал на Третьей улице. Время от времени он выполнял поручения, дававшие ему возможность кое-что подработать. Дядя Сенека позволил ему помогать весовщику в грузовом порту, где под бдительным надзором правительственных инспекторов складывались в государственные пакгаузы при таможне трехсотфунтовые мешки с сахаром. Иногда, при особо спешной работе, он помогал отцу и получал за это плату. Фрэнк даже сговорился было с мистером Дэлримплом насчет работы у него в субботние дни, но вскоре после того, как ему стукнуло пятнадцать, его отец стал главным кассиром с годовым окладом в четыре тысячи долларов, и о работе за прилавком, конечно, больше не могло быть и речи.

Как раз в это время в Филадельфию снова приехал дядя Сенека, еще более толстый, еще более властный, и сказал племяннику:

— Вот что, Фрэнк, если хочешь приняться за дело, то я тебе для начала припас хорошее местечко. Первый год ты будешь работать без жалованья, но, если справишься, тебе, вероятно, дадут наградные. Слыхал ты про фирму «Генри Уотермен и Кь» на Второй улице?

— Я знаю, где помещается их контора.

— Так вот они согласны взять тебя счетоводом. Это маклеры, занимающиеся перепродажей зерна и посредническими делами. Ты как-то говорил, что хочешь поработать в этой области. Когда кончится учебный год, сходи к мистеру Уотермену, сошлись на меня, и он, надо думать, тебя возьмет. Сообщи мне потом, как вы договорились.

Дядя Сенека теперь был уже женат — своими деньгами он завоевал сердце одной небогатой, но честолюбивой дамы из филадельфийских светских кругов. Благодаря этому браку связи Каупервудов, по общему мнению, должны были очень укрепиться. Генри Каупервуд подумывал о том, чтобы переехать в северную часть города, на Фронт-стрит, откуда открывался великолепный вид на реку и где уже шло строительство красивых особняков. По тем временам — незадолго до Гражданской войны [note 3] — его четырехтысячный оклад был довольно внушительным. Генри Каупервуд, благоразумный и осторожный, никогда не вкладывал свои сбережения даже в мало-мальски рискованные дела и благодаря своей аккуратности, осмотрительности и пунктуальности имел, как полагали его сослуживцы, все основания в будущем рассчитывать на пост вице-директора или даже директора банка, в котором работал.

Предложение дяди Сенеки относительно «Уотермена и Кь» Фрэнк счел для начала вполне подходящим. Посему в июне месяце он отправился на Вторую улицу и был приветливо встречен Генри

Note3 Гражданская война в США (1861-1865) — война между промышленными северными и рабовладельческими южными штатами; закончилась победой Севера благодаря участию широких народных масс, боровшихся за отмену рабства

Уотерменом-старшим. Кроме того, как выяснилось, имелись еще Генри Уотермен-младший, двадцатилетний молодой человек, и некий Джордж Уотермен, пятидесяти лет, брат Уотермена-старшего, доверенное лицо, бывшее в курсе всех сделок. Во главе предприятия стоял Генри Уотермен-старший, пятидесяти пяти лет. Он выезжал, по мере надобности, к пригородным клиентам; за ним оставалось последнее слово в вопросах, которых брат не мог разрешить самолично, и он же затевал новые сделки, так что его компаньонам и служащим оставалось только проводить их в жизнь. С виду флегматичный, коротконогий, пузатый толстячок, с густой сетью морщинок вокруг выпуклых глаз и красной шеей, мистер Генри Уотермен-старший на деле был проницательным, добродушным, покладистым и остроумным человеком. Благодаря врожденному здравому смыслу и подкупающей благожелательности ему удалось создать прочное и процветающее дело. Но годы уже давали себя знать, и теперь он от души радовался бы сотрудничеству с сыном, если бы таковое не шло в ущерб фирме.

Но об этом нечего было и мечтать. Не столь демократичный, как отец, лишенный его быстрой сообразительности и работоспособности, сын не чувствовал ничего, кроме отвращения к коммерческой деятельности. Дело, оставленное на его попечение, несомненно, пошло бы прахом. Отец это видел, огорчался и все надеялся, что сыщется какой-нибудь молодой человек, который заинтересуется делом, будет продолжать его на прежних началах и вместе с тем не вытеснит его сына, — одним словом, человек, готовый довольствоваться ролью младшего компаньона.

И вот с рекомендациями от Сенеки Дэвиса явился молодой Каупервуд. Мистер Уотермен окинул его

критическим взглядом. Да, подумал старик, мальчик подходящий. Из этого мальчика может выйти толк. Он держался непринужденно и в то же время с достоинством, без малейших признаков волнения или стеснительности. По его словам, он умел вести счетные книги, хотя и не разбирался во всех тонкостях хлебно-комиссионного дела. Но эта отрасль интересовала его, и он хотел бы попытать в ней счастья.

— Этот малый мне нравится, — сказал брату Генри Уотермен, после того как Фрэнк ушел, получив предложение завтра утром приступить к новым обязанностям. — В нем что-то есть! Такой юный, сметливый, живой человек давно уже не переступал нашего порога.

— Да, — согласился Джордж, более худой и высокий, чем брат, с карими, несколько мутными, задумчивыми глазами и жиденькими темными волосиками, еще больше подчеркивавшими белизну плеши на его яйцевидной голове. — Весьма приятный молодой человек. Странно, что отец не берет его к себе в банк.

— Как знать, вероятно, у него нет такой возможности, — возразил брат. — Ведь он там всего-навсего главный кассир.

— Это правда.

— Что ж, испытаем его. По-моему, у него любое дело будет спориться. Многообещающий юноша!

Генри Уотермен встал и направился к парадной двери, выходившей на Вторую улицу. Холодок булыжной мостовой, защищенной от утреннего солнца сплошной стеной зданий (среди них и здание его конторы), стук

копыт, грохот подвод, снующая толпа — все это нравилось ему. Он посмотрел через дорогу — трех— и четырехэтажные дома, почти все из серого камня. В них тоже бурлила жизнь, и Генри Уотермен возблагодарил небо за то, что некогда ему пришла в голову мысль основать свое дело на столь бойком месте. Жаль только, что он в свое время не приобрел здесь еще несколько участков.

«Хорошо бы этот молодой Каупервуд оказался подходящим для меня человеком, — мысленно сказал себе старик. — Я был бы избавлен от множества лишних хлопот».

Примечательно, что пятиминутного разговора было достаточно, чтобы убедиться в деловитости этого мальчика. Генри Уотермен почти не сомневался, что надежды его сбудутся.

4

Внешность Фрэнка Каупервуда в те годы была располагающей и приятной. Рослый — пять футов и десять дюймов, широкоплечий и ладно скроенный, с крупной красивой головой и густыми, вьющимися темно-каштановыми волосами. В глазах его светилась живая мысль, но взгляд их был непроницаем, по нему ничего нельзя было угадать. Походка у Фрэнка была легкая, уверенная, быстрая. Он не знал ни тяжелых ударов судьбы, ни горечи разочарований. Ему не доводилось страдать ни от болезней, ни от лишений. Правда, он видел вокруг себя людей более богатых, но ведь и он надеялся разбогатеть. Его семья пользовалась уважением, отец занимал хороший пост. Фрэнк никому никогда не был должен. Только однажды он просрочил мелкий вексель, выданный банку, и отец дал ему такой нагоняй, что он запомнил это на всю жизнь.

— Да я бы на четвереньках приполз, но не допустил, чтобы мой вексель опротестовали! — восклицал мистер Каупервуд.

И Фрэнк раз навсегда понял то, что, собственно, можно было понять и без таких патетических восклицаний, — значение кредита. После этого случая уже ни один выданный им вексель не был опротестован или просрочен по его небрежности.

Фрэнк оказался самым дельным служащим, какого когда-либо знал торговый дом «Уотермен и Кь». Сперва его засадили за книги в качестве помощника бухгалтера, на место недавно уволенного мистера Томаса Трикслера, но уже две недели спустя Джордж Уотермен сказал:

— Почему бы нам не перевести Каупервуда в бухгалтеры? Он за одну минуту сообразит больше, чем наш Сэмсон за всю свою жизнь.

— Хорошо, Джордж, я не возражаю, но ты об этом особенно не распространяйся. Каупервуд долго бухгалтером не останется. Посмотрим, не сумеет ли он в скором времени, заменить меня в некоторых делах.

Бухгалтерия нового дома «Уотермен и Кь», достаточно сложная, для Фрэнка была детской забавой. Он так легко, так быстро разобрался в книгах, что его бывший начальник Сэмсон только диву давался.

— Нет, этот малый слишком прыток, — в первый же день, взглянув на работу Фрэнка, заявил он другому служащему. — Он запутается, помяните мое слово. Я эту породу знаю. Вот подождите, пусть только начнутся горячие денечки с кредитованиями и перечислениями.

Вопреки предсказаниям мистера Сэмсона, Фрэнк не запутался. Не прошло и недели, как он уже знал состояние финансов фирмы Уотермен не хуже, если не лучше, самих хозяев. Он знал, кому направлять счета, в каких районах заключается больше всего сделок, кто поставляет хороший товар и кто плохой, — о последнем красноречиво свидетельствовало колебание цен в течение года. Желая проверить свои предположения, он просмотрел ряд старых счетов в гроссбухе. Бухгалтерией он интересовался лишь в той мере, в какой она регистрировала и отражала жизнь фирмы. Он знал, что долго на этой работе не останется. Там видно будет. Пока же он сразу, до мельчайших подробностей, постиг суть хлебно-комиссионного дела. Он увидел, какие серьезные убытки терпят хозяева, — вернее их клиенты, так как фирма занималась лишь посредничеством, —

из-за недостаточно быстрого сбыта товаров, поступающих на консигнацию [note 4], а также отсутствия налаженного контакта с поставщиками, покупателями и другими комиссионными фирмами. Клиент, к примеру, отгружал фрукты или овощи, ориентируясь на устойчивые, а не то даже растущие рыночные цены. Но если это же делали одновременно десять человек или у других посредников получалось затаривание, то цены немедленно падали. Грузооборот никогда не был стабильным. Фрэнку тотчас же пришло на ум, что, занявшись сбытом крупных партий товара в качестве выездного агента, он принес бы фирме куда больше пользы, но до поры до времени решил этого вопроса не поднимать. Более чем вероятно, что в ближайшем будущем все разрешится само собою.

Оба Уотермена — Генри и Джордж — не могли нахвалиться тем, как Фрэнк вел их отчетность. Самое его присутствие вселяло в них веру, что все идет хорошо. Вскоре Фрэнк обратил внимание «братца Джорджа» на состояние некоторых счетов, рекомендуя сбалансировать одни, другие же совсем закрыть, чем доставил старому джентльмену несказанное удовольствие. Деловитость этого юноши со временем сулила ему облегчение собственных его трудов; в то же время в нем росло чувство личной приязни к Фрэнку.

«Братец Генри» был за то, чтобы испробовать молодого человека на внешних операциях. Поскольку наличные запасы фирмы не всегда могли удовлетворить заказчиков, приходилось обращаться за товаром в другие конторы или же на биржу, и обычно это делал глава

[Note4] консигнация — продажа товаров через посредника

фирмы. Однажды утром, когда прибыли накладные, предвещавшие избыток муки и недостаток зерна на рынке, — Фрэнк это заметил первым, — старший Уотермен пригласил его к себе в кабинет и сказал:

— Фрэнк, я попросил бы вас подумать, как выйти из создавшегося положения. Завтра у нас образуется завал муки. Мы не можем платить полежалое, а между тем наличные заказы не поглотят всего товара. В зерне же у нас нехватка. Может быть, вам удастся сбыть лишнюю муку кому-нибудь из маклеров и раздобыть достаточно зерна на покрытие заказов?

— Я попытаюсь, — отвечал Каупервуд.

Из своих бухгалтерских книг Фрэнк знал адреса различных комиссионных контор. Знал также, чем располагает местная товарная биржа и что могут предложить те или иные работающие в этой отрасли посредники. Поручение устранить возникший затор пришлось ему по вкусу. Так приятно было вновь очутиться на свежем воздухе и ходить из дома в дом. Ему претило сидеть в конторе, скрипеть пером и корпеть над книгами. Много лет спустя Фрэнк сказал: «Моя контора — это моя голова». Сейчас же он поспешил к крупнейшим комиссионерам, разузнавая, как обстоит дело с мукой, и предлагая свои излишки по цене, которую он запросил бы, если бы над фирмой и не нависла угроза затоваривания. Нет ли желающих купить шестьсот бочонков первосортной муки с немедленной (другими словами, в течение двух суток) доставкой? Цена — девять долларов за бочонок. Охотников не находилось. Тогда Фрэнк стал предлагать товар мелкими партиями, и эта затея оказалась успешной. Через какой-нибудь час у него оставалось всего двести бочонков, и он решил

предложить их некоему Джендермену, видному дельцу, с которым его фирма не имела торговых отношений. Джендермен, крупный мужчина с курчавой седой шевелюрой, одутловатым лицом, изрытым оспой, и маленькими глазками, хитро поблескивавшими из-под тяжелых век, с любопытством уставился на Фрэнка.

— Как ваша фамилия, молодой человек? — осведомился он, откидываясь на спинку деревянного кресла.

— Каупервуд.

— Так вы, значит, служите у Уотерменов? Наверно, решили отличиться, а потому и пришли ко мне?

Каупервуд в ответ только улыбнулся.

— Ну что ж, я возьму у вас муку. Она мне пригодится. Выписывайте счет.

Каупервуд поспешил откланяться. От Джендермена он прямиком пошел в маклерскую контору на Уолнат-стрит, с которой его фирма вела дела, велел закупить на бирже нужное ему зерно по рыночной цене и вернулся к себе в контору.

— Быстро вы управились, — сказал Генри Уотермен, выслушав его доклад. — И продали двести бочонков старому Джендермену? Очень, очень хорошо. Он как будто и не наш клиент?

— Нет, сэр.

— Ну, если вам удается проводить такие дела, вы долго не засидитесь на книгах.

В скором времени Фрэнка уже знали и во многих маклерских конторах и на бирже. Он скупал товарные остатки для своих хозяев, приобретал случайно

попадавшиеся партии нужного товара, вербовал новых клиентов, ликвидировал излишки, сбывая их мелкими партиями совсем неожиданным покупателям. Уотермены только дивились, с какой легкостью он все это проделывал. Фрэнк обладал исключительной способностью заставлять благожелательно выслушивать себя, завязывать дружеские отношения, проникать в новые торговые круги. Свежий ключ забил в старом русле торгового дома «Уотермен и Кь». Клиентура теперь обслуживалась несравненно лучше, и Джордж стал настаивать на посылке Фрэнка в сельские местности для оживления торговли, так что Фрэнк нередко выезжал за город.

Перед рождеством Генри Уотермен сказал брату:

— Надо сделать Каупервуду хороший подарок. Он ведь не получает жалованья. Как ты думаешь, пятисот долларов ему будет достаточно?

— Это большие деньги по нынешним временам, но, по-моему, он их заслужил. Этот малый, несомненно, оправдал все наши ожидания и даже превзошел их. Он словно создан для хлебно-комиссионного дела.

— А что он сам говорит об этом? Ты не слыхал, он доволен?

— О, мне кажется, он вполне удовлетворен. Впрочем, ты видишь его не реже, чем я.

— Ну что ж, так и порешим — пятьсот долларов. А со временем можно будет принять его компаньоном в наше дело. У него хватка настоящего коммерсанта. Распорядись насчет этих денег да скажи ему приветливое словечко от нас обоих.

И вот накануне сочельника, когда Фрэнк просматривал какие-то накладные и счета, чтобы перед наступающим праздником оставить все дела в полном порядке, к его столу подошел Джордж Уотермен.

— Все еще за работой? — спросил он, останавливаясь под ослепительным газовым рожком и одобрительно глядя на усердного юношу.

За окном уже спустились сумерки, и мороз покрыл узорами стекла.

— Так, просматриваю кое-что напоследок, — с улыбкой отвечал Каупервуд.

— Мы с братом очень довольны тем, как вы работали эти полгода. Нам хотелось как-нибудь выразить нашу признательность, и потому мы просим вас принять награду в пятьсот долларов. А с будущего года мы назначаем вам регулярное жалованье — тридцать долларов в неделю.

— Очень вам благодарен, — отвечал Фрэнк. — Я не рассчитывал на такой оклад. Это больше, чем я мог предполагать. Ведь работая у вас, я многому научился.

— Полноте. Вы заслужили эти деньги и можете оставаться у нас, сколько захотите. Мы вам всегда рады.

Каупервуд улыбнулся, как обычно приветливо и добродушно. Откровенное признание его заслуг очень ему польстило. Приятно было смотреть на него, веселого, сияющего, в хорошо сшитом костюме из английского сукна.

Вечером, по дороге домой, Фрэнк размышлял о том, что представляет собою дело, в котором он работал. У него не было ни малейшего намерения долго оставаться

на этой службе, несмотря на наградные и обещанное жалованье. Братья Уотермены испытывали к нему признательность — что ж тут удивительного? Он был энергичным работником, и сам знал это. Ему и в голову не приходило причислять себя к мелким служащим, напротив: со временем эта людская порода должна будет работать на него. В таком его взгляде на вещи не было ни озлобления, ни ярости против судьбы, ни страха перед неудачей. На своих хозяев он смотрел как на представителей определенного типа дельцов. Он видел их слабости и недостатки, так же как взрослый видит недостатки ребенка.

После обеда, собираясь к своей приятельнице Марджори Стэффорд, Фрэнк рассказал отцу о наградных и обещанном жалованье.

— Великолепно! — обрадовался Каупервуд-старший. — Ты делаешь даже большие успехи, чем я предполагал. Надо думать, ты там и останешься?

— Нет, не останусь. В будущем году я от них уйду.

— Почему?

— Видишь ли, меня к этому не тянет. Дело неплохое, но я предпочел бы испробовать свои силы на фондовой бирже. Это мне интереснее.

— А тебе не кажется, что будет нехорошо по отношению к твоим хозяевам, если ты не предупредишь их заранее?

— Нисколько. Я им все равно нужен, — отвечал Фрэнк, завязывая галстук перед зеркалом и оправляя сюртук.

— Матери ты рассказал?

— Нет еще. Сейчас пойду к ней.

Он вошел в столовую, где сидела мать, обвил руками ее хрупкие плечи и сказал:

— Угадай, что я тебе расскажу, мама.

— Не знаю, — отвечала она, ласково заглядывая ему в глаза.

— Я сегодня получил пятьсот долларов наградных, а с будущего года мне положено жалованье — тридцать долларов в неделю. Что тебе подарить к рождеству?

— Да неужели? Вот это замечательно. Как я рада! Тебя, верно, там очень любят? Ты становишься совсем взрослым мужчиной.

— Что же тебе подарить к рождеству?

— Ничего. Мне ничего не надо. У меня есть мои дети.

Фрэнк улыбнулся.

— Будь по-твоему, — ничего, так ничего.

Но мать знала, что он непременно купит ей какой-нибудь подарок.

Выходя, Фрэнк на мгновенье задержался в дверях, обнял за талию сестренку, предупредил мать, чтобы его не ждали рано, и поспешил к Марджори, с которой условился идти в театр.

— Какой же мне сделать тебе рождественский подарок, Марджи? — спросил он, целуя ее в полутемной передней. — Я получил сегодня пятьсот долларов.

Ей едва минуло пятнадцать лет, и ни хитрости, ни корысти в ней еще не было.

— Ах, что ты, мне ничего не нужно.

— Не нужно? — повторил он, прижимая ее к себе и снова целуя в губы.

Хорошо прокладывать себе путь в этом мире, хорошо наслаждаться всеми радостями жизни!

5

В октябре следующего года — месяцев через шесть после того, как ему минуло восемнадцать лет, — Фрэнк, окончательно убедившись, что хлебно-комиссионное дело (насколько он мог судить о нем по компании Уотерменов) не его призвание, решил уйти из этой фирмы и поступить на службу в банкирскую контору «Тай и Кь».

С мистером Таем Фрэнк познакомился как агент «Уотермена и Кь» по внешним сделкам, и тот сразу же заинтересовался молодым человеком.

— Ну, как дела у ваших хозяев? — иногда добродушно спрашивал он.

Или осведомлялся:

— Ну что, растет ваш вексельный портфель?

Тревожное время, переживаемое страной, непомерно раздутый выпуск ценных бумаг, пропаганда против рабовладельчества и все прочее заставляли людей тревожиться за будущее. И Таю — он сам не мог бы объяснить почему — казалось, что с этим юношей стоило потолковать на животрепещущие темы. И годы его как будто не такие, чтобы во всем этом разбираться, а все-таки разбирается.

— Благодарю вас, мистер Тай, у нас дела идут неплохо, — обычно отвечал ему Каупервуд.

— Вот увидите, — однажды утром сказал Тай Фрэнку, — если эта пропаганда против рабства не прекратится, мы еще хлебнем горя.

Как раз в это время невольник, принадлежавший одному приезжему кубинцу, был отобран у хозяина и отпущен на волю, ибо по законам Пенсильвании всякий негр, оказавшийся на территории штата, хотя бы даже проездом, получал свободу. Случай этот вызвал большие волнения. Несколько человек было арестовано, газеты подняли отчаянную шумиху.

— Никогда не поверю, что Юг станет терпеть такое положение вещей. В наше дело это вносит сумятицу и, надо думать, в другие отрасли тоже. Помяните мое слово, мы доиграемся до отпадения Южных штатов.

Мистер Тай произнес эту сентенцию с чуть заметным ирландским акцентом.

— Да, к тому идет, — спокойно отвечал Каупервуд. — И ничего тут не поделаешь. Негры, конечно, не стоят всех этих волнений, но агитация в их пользу будет продолжаться. Чем же еще заниматься чувствительным людям? А нашей торговле с Югом это сильно вредит.

— Я держусь такого же мнения да и слышу то же самое со всех сторон.

По уходе молодого Каупервуда мистер Тай занялся другим клиентом, но нет-нет да и вспоминал юношу, поразившего его глубиной и здравостью своих суждений о финансовых делах.

«Если этот молодой человек захочет переменить место, я предложу ему работать у меня», — решил он.

И однажды сказал Фрэнку:

— Вы не хотели бы попытать свои силы в биржевом деле? У меня как раз освободилось место.

— С удовольствием, — улыбаясь, отвечал Каупервуд, видимо, польщенный. — Я и сам собирался просить вас об этом.

— Ну что ж, если вы решитесь перейти ко мне, место за вами. Приступайте, когда вам будет угодно.

— Я должен заблаговременно предупредить своих хозяев, — заметил Фрэнк.

— Вы не могли бы подождать недели две?

— Разумеется. Никакой спешки нет. Улаживайте все свои дела. Я вовсе не хочу ставить Уотерменов в затруднительное положение.

Лишь две недели спустя Фрэнк распрощался с компанией Уотерменов; его интересовали, но ничуть не опьяняли открывавшиеся перед ним перспективы. Мистер Джордж Уотермен очень расстроился, а мистера Генри эта измена привела в сильнейшую досаду.

— А я-то думал, что вам у нас нравится, — воскликнул он, когда Каупервуд сообщил ему о своем решении. — Может быть, вы недовольны жалованьем?

— Нет, мистер Уотермен, я просто хочу заняться биржевым делом.

— Так, так. Сожалею, очень сожалею. Я не хочу вас отговаривать, если это во вред вашим интересам. Вам виднее. Но мы с Джорджем собирались через некоторое время предложить вам стать нашим компаньоном. А вы вдруг, здорово живешь, сорвались с места — и до свидания. Ведь в нашем деле, черт возьми, можно заработать хорошие деньги.

— Я знаю, — с улыбкой отвечал Каупервуд, — но оно мне не по душе. У меня другие планы. Я не собираюсь посвящать себя хлебно-комиссионному делу.

Мистер Генри Уотермен никак не мог взять в толк, почему Фрэнка не интересует эта отрасль, если он так явно преуспел в ней. Вдобавок он опасался, как бы уход молодого человека не повредил делам фирмы.

Вскоре Каупервуд пришел к заключению, что новая работа ему куда больше по вкусу — она и легче и выгодней. Начать хотя бы с того, что фирма «Тай и Кь» помещалась в красивом зеленовато-сером каменном здании — дом шестьдесят шесть по Третьей улице, которая в те времена, да еще и много лет спустя была центром местного финансового мира. Тут же рядом находились банкирские дома, известные не только в Америке, но и за ее пределами: «Дрексель и Кь», Третий национальный банк, Первый национальный банк, а также фондовая биржа и другие подобные учреждения. По соседству приютились еще десятка два банков и биржевых контор помельче. Эдвард Тай, глава и «мозг» фирмы, родом из Бостона, был сыном преуспевшего и разбогатевшего в этом консервативном городе ирландца-иммигранта. В Филадельфию мистера Тая привлекли широкие возможности спекуляций. «Это самое подходящее место для человека, умеющего держать ухо востро», — с легким ирландским акцентом говаривал он своим друзьям. Себя он считал именно таким человеком. Это был мужчина среднего роста, не слишком полный, с легкой и несколько преждевременной проседью, по натуре жизнерадостный и добродушный, но в то же время задорный и самоуверенный. Над верхней губой у него топорщились коротко подстриженные седые усики.

— Беда с этими пенсильванцами, — жаловался он уже вскоре после переезда. — Никогда не платят наличными, норовят всучить вексель.

В ту пору кредит Пенсильвании, а следовательно, и Филадельфии, несмотря на богатство штата, стоял очень низко.

— Если дело дойдет до войны, — говорил мистер Тай, — то целые легионы пенсильванцев начнут предлагать векселя в уплату за обед. Проживи я целых два века, я разбогател бы на покупке пенсильванских векселей и обязательств. Когда-нибудь они, верно, расплатятся с долгами, но бог ты мой, до чего же это медленно делается! Я буду лежать в могиле раньше, чем они покроют мне хотя бы проценты по своей задолженности.

Он не ошибался. Финансы штата и города находились в весьма плачевном состоянии. И тот и другой были достаточно богаты, но, поскольку казну обирали все, кому не лень, и любыми способами, то всякие новые начинания в штате требовали выпуска новых облигаций. Эти облигации или «обязательства», как их называли, гарантировали шесть процентов годовых, но, когда наступал срок уплаты процентов, казначей города или штата ставил на них штамп с датой предъявления, и проценты по «обязательству» начислялись с этого дня не только на номинал, но и на накопившиеся проценты. Иначе говоря, это было постепенное накопление процентов. Людям, нуждающимся в наличных деньгах, от этого толку было мало, ибо под залог таких «обязательств» банки выдавали не более семидесяти процентов их курсовой стоимости, продавались же они не по паритету, а по

девяносто за сто. Конечно, их можно было покупать в расчете на будущее, но уж очень долго приходилось ждать. Окончательный выкуп этих обязательств опять-таки сопровождался жульническими махинациями. Зная, что те или иные «обязательства» находятся в руках «добрых знакомых», казначей опубликовывал сообщение, что такие-то номера — именно те, которые были ему известны, — будут оплачены.

Более того, вся денежная система Соединенных Штатов тогда еще только начинала переходить от состояния полного хаоса к состоянию, отдаленно напоминавшему порядок. Банк Соединенных Штатов, основанный Николасом Бидлом, в 1841 году был окончательно ликвидирован. В 1846 году министерство финансов Соединенных Штатов организовало свою систему казначейств. И все же фиктивных банков существовало столько, что владелец небольшой меняльной конторы поневоле становился ходячим справочником платежеспособных и неплатежеспособных предприятий. Правда, мало-помалу положение улучшалось, так как телеграф облегчил не только обмен биржевой котировкой между Нью-Йорком, Бостоном и Филадельфией, но даже и связь между конторой местного биржевого маклера и фондовой биржей. Другими словами, в обиход начали входить частные телеграфные линии, действовавшие на коротком расстоянии. Взаимный обмен информацией стал более быстрым, доступным и совершенствовался день ото дня.

Железные дороги уже протянулись на юг, на восток, на север и на запад. Но еще не было автоматической регистрации курсов, не было телефона; в Нью-Йорке совсем недавно додумались до расчетной палаты, в Филадельфии она еще не была учреждена. Ее заменяли

рассыльные, метавшиеся между банками и биржевыми конторами; они же сводили балансы по банковским счетным книжкам, обменивали векселя и раз в неделю переправляли в банк золотую монету — единственное средство для окончательного расчета по задолженности, так как твердой государственной валюты в те времена не существовало. На бирже, когда гонг возвещал о прекращении сделок на сегодняшний день, в середине зала — точь-в-точь как в Лондоне — собирались в кружок молодые люди, именовавшиеся «расчетными клерками»; они сверяли и подытоживали всевозможные покупки и продажи, аннулируя те из них, которые взаимно погашались в результате повторных сделок между фирмами. Заглядывая в счетные книги, они выкрикивали сделки, которые были произведены за день: «Делавэр и Мериленд» продала компании «Бомонт», «Делавэр и Мериленд» продала компании «Тай» и т.д. Такой способ упрощал бухгалтерию фирм, ускоряя и оживляя сделки.

Место на фондовой бирже стоило две тысячи долларов. Согласно правилам, недавно введенным биржевым комитетом, сделки дозволялось заключать между десятью часами утра и тремя пополудни (раньше это делалось в любое время — с утра до полуночи). Тот же комитет установил твердые ставки за услуги, оказываемые маклерами, вместо прежних бесцеремонных поборов. Нарушители подвергались суровым взысканиям. Иными словами, делалось все возможное для укрепления биржи, и Эдвард Тай, наравне с другими маклерами, возлагал большие надежды на будущее.

6

К этому времени семейство Каупервудов уже обосновалось в своем новом, более поместительном и лучше обставленном жилище на Фронт-стрит, возле самой реки. Дом был четырехэтажный, с фасадом длиной в двадцать пять футов, двора при нем не было. Здесь Каупервуды начали время от времени устраивать небольшие приемы для тех представителей различных отраслей коммерции, с которыми Генри Каупервуд встречался на своем пути, неукоснительно приближавшем его к посту главного кассира. Общество это не отличалось изысканностью, но в числе гостей бывали лица столь же преуспевшие, как и Каупервуд, — хозяева небольших предприятий, связанных деловыми отношениями с его банком, торговцы мануфактурой, кожевенными товарами, хлебом и оптовики-бакалейщики. У детей завелась своя компания. Миссис Каупервуд тоже изредка устраивала дневное чаепитие или вечер для своих знакомых по церковному приходу, и тогда Каупервуд пытался играть роль светского человека, обычно сводившуюся к тому, что он стоял с благодушно-глуповатым видом и приветствовал гостей жены. Так как он умел сохранять серьезно-торжественное выражение лица и выслушивать приветствия, не требовавшие пространных ответов, то эта церемония не особенно его обременяла. Иногда у Каупервудов пели, иногда немного танцевали; вскоре гости стали приходить запросто к обеду, чего прежде никогда не водилось.

И вот в первый же год своей жизни в новом доме Фрэнк познакомился с некоей миссис Сэмпл и увлекся

ею. У ее мужа был большой обувной магазин на Честнат-стрит, близ Третьей улицы, и он уже подумывал об открытии второго на той же Честнат-стрит, чуть подальше.

Однажды вечером Сэмпл с женой нанесли визит Каупервудам. Мистер Сэмпл хотел побеседовать с хозяином дома о новом, только что зародившемся виде городского транспорта — конной железной дороге. Опытная линия протяженностью в полторы мили, построенная Северо-Пенсильванской железнодорожной компанией, была только что сдана в эксплуатацию. Начинаясь на Уиллоу-стрит, она шла вдоль Фронт-стрит до Джермантаун-роуд, а оттуда по разным улицам до места, известного под названием «Станция Кохоксинк». Считалось, что этот способ передвижения постепенно вытеснит сотки омнибусов, которые курсировали по городу и сильно затрудняли пешеходное движение в его торговой части. Молодой Каупервуд с самого начала заинтересовался этим предприятием. Железнодорожное дело вообще занимало Фрэнка, эта же его разновидность — в особенности. Конка вызывала оживленные споры, и Фрэнк вместе с другими любопытными отправился на нее взглянуть. Странного и непривычного вида вагон — четырнадцать футов в длину, семь в ширину и приблизительно столько же в высоту, — поставленный на маленькие железные колеса, предоставлял пассажирам несравненно больше удобств, чем омнибус. Альфред Сэмпл уже втихомолку помышлял о том, чтобы вложить деньги во вторую, намечавшуюся линию, которая, по получении санкции городских властей, должна была пройти по Пятой и Шестой улицам.

Каупервуд-старший прочил этому предприятию блестящую будущность, хотя не понимал еще, откуда

возьмутся средства для его осуществления. Фрэнк, со своей стороны, считал, что компании Тай следовало бы взять на себя реализацию акций будущей линии Пятой и Шестой улиц, если город выдаст разрешение на таковую. Он слышал, что акционерное общество организовалось и уже готовит большой выпуск акций, которые будут пущены в продажу по пяти долларов за штуку при паритете — в конечном итоге — в сто долларов. Фрэнк очень сожалел, что у него недостаточно денег для покупки солидного пакета этих акций.

Меж тем Лилиан Сэмпл пленила Фрэнка и завладела его воображением. Трудно сказать, что влекло молодого Каупервуда к ней, ибо ни по темпераменту, ни по уму она не была ему ровней. Фрэнк уже приобрел некоторый опыт в отношениях с женщинами и по-прежнему дружил с Марджори Стэффорд. Тем не менее Лилиан Сэмпл, хотя ни умом, ни красотой она не превосходила других и вдобавок была замужем, так что он не мог иметь серьезных намерений, больше всех волновала его. Ей было двадцать четыре года, а ему всего девятнадцать, но душой и телом она казалась такой же юной, как он. Высокая, чуть выше его, хотя он к этому времени уже достиг своего предельного роста (пять футов и десять с половиной дюймов), она все же была очень изящна. От нее веяло невозмутимым спокойствием, объяснявшимся скорее поверхностностью восприятия, нежели силой характера. У Лилиан были густые пышные волосы пепельного оттенка, бледное, узкое, почти восковое лицо, нежно-розовые губы и прямой нос. Ее серые глаза в зависимости от освещения казались то голубыми, то совсем темными. Руки ее поражали тонкостью и красотой. Она не отличалась ни живостью, ни блеском ума, движения ее были медлительны и как-то

бессознательно пластичны. Каупервуда увлекла ее внешность. Она вполне соответствовала его тогдашним представлениям об идеале красоты. «Как она прелестна, — думал он, — как мила, и притом сколько в ней достоинства». Если бы он мог выбирать, то выбрал бы себе именно такую жену.

В своих суждениях о женщинах Каупервуд руководствовался больше чувством, чем разумом. Стремясь добиться богатства, престижа и влияния, он, конечно, придавал большое значение представительности женщины, ее положению в обществе и всему прочему. Но тем не менее некрасивые женщины никогда не привлекали его, красавицы же привлекали очень сильно. Он не раз слышал дома рассказы о самопожертвовании женщин, как, впрочем, и мужчин, слышал о женщинах-труженицах, рабски преданных своим мужьям, или детям, или семье в целом, женщинах, которые в критические минуты всем поступались для родных или друзей, движимые чувством долга и добросердечием. Но эти истории почему-то не трогали его. Он предпочитал считать всех, даже женщин, откровенно эгоистичными. Почему — объяснить он не мог. Люди, не способные к самозащите и не умеющие найти выход из любого положения, казались ему глупыми или в лучшем случае несчастными. Как много говорилось вокруг о высокой нравственности, как превозносились добродетели и порядочность, как часто воздевались к небу руки в праведном ужасе перед теми, кто нарушил седьмую заповедь или хотя бы был заподозрен в нарушении таковой! Фрэнк не принимал таких разговоров всерьез. Он и сам уже не раз нарушал эту заповедь. То же самое делали и другие молодые люди. Правда, уличные женщины претили ему. В

соприкосновении с ними было много низменного и гадкого. На первых порах ему нравился мишурный, вульгарный блеск «веселых домов». В их роскоши был известный размах: красная плюшевая мебель, шикарные красные портьеры, безвкусные, зато оправленные в дорогие рамы картины и, прежде всего, сами обитательницы, здоровые и сильные или же чувственные и флегматичные, — женщины, которые (по выражению его матери) «подстерегали» мужчин. Выносливость их тела и похотливость души, способность с показной ласковостью и радушием принимать одного мужчину за другим — все это вначале изумляло Фрэнка, но вскоре стало вызывать в нем отвращение. К тому же они были тупы. От них нельзя было услышать ни одного живого слова. И подумать только, ничего другого они делать не умели. Он мысленно рисовал себе их тоскливое пробуждение после угарных ночей, отвратительный осадок в душе, который лишь отчасти могли рассеять сон и жажда наживы. И Фрэнку, несмотря на его молодость, становилось грустно. Ему хотелось близости, в которой было бы больше интимного, утонченного, оригинального, личного.

И вот появилась Лилиан Сэмпл, всего лишь отдаленное подобие идеала. Тем не менее она облагородила его представление о женщине. В ней не было животной силы и необузданности, как в тех женщинах из вертепов, грубо и бесстыдно нарушавших общепринятые понятия и воззрения, — и этого одного уже было достаточно, чтобы Лилиан ему нравилась. Она жила в его мыслях даже в эти горячие дни, которые словно вспышки пламени озаряли его деятельность на новом поприще. Ибо биржевой мир, в который окунулся Каупервуд, каким бы примитивным он нам ни казался

сегодня, для него был исполнен очарования. Зал фондовой биржи на Третьей улице, где собирались маклеры, их агенты и служащие, — в общей сложности человек полтораста, — отнюдь не был архитектурной достопримечательностью — просто квадратное помещение размером шестьдесят футов на шестьдесят, объединявшее два верхних этажа четырехэтажного дома. Но Фрэнка зал этот приводил в восторг. Окна там были высокие и узкие, прямо напротив входа, на западной стене, висели часы с огромным циферблатом, а северо-восточный угол загромождали конторки, стулья и целое скопище телеграфных аппаратов. В раннюю пору существования биржи в зале рядами стояли стулья, на которых сидели маклеры, прислушиваясь к всевозможным предложениям акций. Впоследствии эти стулья убрали, и в различных местах зала были установлены столбики (либо сделаны отметки на полу), указывавшие, где продаются те или иные бумаги. Вокруг таких столбиков толпились люди, заинтересованные в заключении сделок. Из коридора третьего этажа дверь вела на тесную и кое-как обставленную галерею для публики. На западной стене висела громадная черная доска, на которой отмечалась котировка [note 5] акций, передаваемая по телеграфу из Нью-Йорка и Бостона. В середине зала, за низенькой загородкой, находилось место официального председателя, был еще маленький балкон — на него для экстренных сообщений выходил секретарь биржевого комитета. В юго-западном углу была дверь, которая вела в комнату, где биржевики знакомились со всевозможными отчетами и годичными обзорами.

Note5 установление биржевой цены или курса ценных бумаг

Молодого Каупервуда не допустили бы на биржу ни как маклера, ни как маклерского агента или помощника, если бы Тай, нуждавшийся в нем и уверенный, что такой человек будет ему полезен, не купил для него место. Две тысячи долларов, которые оно стоило, он записал как долг Фрэнка, после чего во всеуслышанье объявил его своим компаньоном. Такое фиктивное товарищество противоречило правилам биржи, но маклеры нередко прибегали к нему. Младших компаньонов и подручных насмешливо называли «восьмушечниками» и «двухдолларовыми маклерами», потому что они гнались за любым мелким заработком и готовы были покупать и продавать по чьему угодно поручению, отчитываясь, конечно, перед своей фирмой в произведенных операциях. Несмотря на свои выдающиеся способности, Фрэнк на первых порах тоже считался «восьмушечником» и был отдан под начало мистеру Артуру Райверсу, полномочному представителю компании «Тай» на бирже.

Райверс был необыкновенно энергичный человек, лет тридцати пяти, элегантный, хорошо сложенный, с чисто выбритым, жестким и словно точеным лицом, которое украшали коротко подстриженные черные усики и тонкие черные брови. Волосы его посередине разделялись аккуратным пробором. Подбородок чуть заметно раздваивался. Голос у Райверса был мягкий, манеры спокойные и сдержанные; он всегда и везде был одинаково корректен. Вначале Каупервуд недоумевал, зачем Райверсу, такому опытному дельцу, служить у мистера Тая, но впоследствии узнал, что Райверс — участник в деле. Тай был организатор, он принимал клиентов в конторе, а Райверс представлял фирму на бирже и ведал внешними сношениями.

Вскоре Фрэнк убедился, что не стоит даже пытаться понять, почему акции то поднимаются, то падают. Это, конечно, определялось какими-то общими причинами, как объяснил ему Тай, но учесть их было почти невозможно.

— Любая причина может вызвать на бирже и «бум», и панику, — говорил Тай со своим своеобразным акцентом, — будь то крах банка или только слух, что бабушка вашего двоюродного брата схватила насморк. Биржа совсем особый мир, Каупервуд. Никто на свете не сумеет вам его объяснить. Я видел, как вылетали в трубу акционерные общества, хотя даже самый опытный биржевик не мог бы сказать, по какой причине. Я видел также, как акции необъяснимо взлетали до небес. Ох, эти биржевые слухи! Сам дьявол не придумает ничего подобного. Обычно, если акции падают, значит, кто-то выбрасывает их на биржу или же на рынке общая депрессия. Если акции поднимаются, значит, то ли конъюнктура благоприятна, то ли кто-то скупает их. Это уже факт. Больше того… Ну, да пусть Райверс познакомит вас со всей подноготной. Об одном я должен вас предупредить: никогда не вводите меня в убыток. Это самый тяжкий грех, какой может совершить доверенный моей конторы.

При этих словах Тай улыбнулся любезно, но многозначительно.

Каупервуд понял, но… к его сведениям это ничего не прибавило. Этот лукавый мир нравился ему и соответствовал его темпераменту.

Слухи, слухи, слухи неслись со всех сторон — о широких планах строительства железных дорог и коночных линий, об освоении новых земель, о

пересмотре правительством таможенных тарифов, о войне между Францией и Турцией, о голоде в России и в Ирландии и т.д. и т.п. Первый трансатлантический кабель еще не был проложен, новости из-за драницы доходили медленно и скудно. Тем не менее на биржевой арене подвизались крупнейшие финансисты, такие, как Сайрус Филд, Уильям Вандербильдт или Ф.Дрексель; они творили чудеса; и деятельность их, равно как и всевозможные слухи о ней, играла огромную роль в жизни биржи.

Фрэнк быстро овладел техникой дела. Он узнал, что того, кто покупал в чаянии повышения курса, называли «быком», если же этот маклер уже скупил большие партии определенных ценных бумаг, то про него говорили, что он «нагрузился до отказа». Когда он начинал продавать, это значило, что он «реализует» свой барыш, если же его маржа [note 6] иссякала, — он «прогорал». «Медведем» назывался биржевик, продававший акции, которых у него по большей части не было в наличии, с расчетом на их падение, чтобы тогда по дешевке закупить их и покрыть свои запродажные сделки. Покуда он продавал бумаги, не имея их, он считался «пустым»; если же он покупал акции, чтобы удовлетворить клиента и положить в карман прибыль или с целью избежать убытка от непредвиденного повышения курсов, то на биржевом жаргоне говорили, что он «покрывается». Когда обнаруживалось, что он не может достать акций, чтобы вернуть их тем, у кого он их раньше занял для выполнения заказа, он оказывался «загнанным в угол». Тогда ему приходилось покрывать

Note6 разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой, которую запрашивает маклер

свою задолженность по ценам, назначенным лицами, которым он и другие «пустые» маклеры запродали ценности.

В первое время Фрэнка забавлял таинственный вид и выражение всезнайства, свойственное молодым маклерам. Они были так искренне и так нелепо подозрительны. Более опытные их коллеги, как правило, оставались непроницаемы. Они разыгрывали равнодушие и нерешительность, но сами, как хищные рыбы, высматривали соблазнительную добычу. Мгновение, и возможность упущена: кто-то другой воспользовался ею. Каждый из них не выпускал из рук маленького блокнота. У каждого была своя манера подмигивать, своя характерная поза или жест, означавшие: «Идет. Я беру». Иногда казалось, что они почти не подтверждают своих продаж или покупок, — они ведь так хорошо знали друг друга. Но это только казалось. Когда на бирже почему-либо царило оживление, там толпилось куда больше биржевиков и их агентов, чем в дни, когда биржа работала вяло и в делах наблюдался застой. Удар гонга в десять часов утра возвещал начало операций, и когда намечалось заметное повышение или понижение акций одной или нескольких компаний, там можно было наблюдать любопытную картину. Человек пятьдесят, а то и сто сразу кричали, размахивали руками, метались как угорелые из стороны в сторону, стараясь извлечь выгоду из предлагаемых или требуемых бумаг.

— Даю пять восьмых за пятьсот штук «П» и «У»! — выкликал маклер — Райверс, Каупервуд или кто-нибудь другой.

— Пятьсот по три четверти! — кричал в ответ агент, получивший указание продавать по этой цене или

игравший на понижение, в надежде позднее купить нужные акции и выполнить полученный заказ да еще кое-что подработать на разнице.

Если акций по этой цене на бирже было много, то покупатель, Райверс к примеру, стоял на своих «пяти восьмых». Заметив, однако, что спрос на интересующие его бумаги возрастает, он платил за них и «три четверти». Если профессиональные биржевики подозревали, что Райверс получил заказ на крупную партию тех или иных акций, они всячески старались забежать вперед и купить их до него хотя бы по «три четверти», в расчете затем продать их ему с небольшой наценкой. Эти профессионалы были, конечно, тонкими психологами. Их успех зависел от способности угадать, имеет ли тот или иной маклер, представляющий какого-нибудь крупного дельца вроде Тая, достаточно большой заказ, чтобы воздействовать на рынок и дать им возможность «обернуться», как они выражались, с барышом, прежде чем он кончит свои закупки. Так коршун настороженно выжидает случая вырвать добычу из когтей соперника.

Четыре, пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят человек, а временами и вся толпа, пытались использовать повышение той или иной бумаги, предлагая или покупая ее; в таких случаях поднималась невообразимая суета, и шум становился оглушительным. Отдельные группы продолжали заниматься куплей-продажей других бумаг, но подавляющее большинство бросало все свои дела, чтобы не упустить выгодного случая. Более молодые маклеры и клерки, горя желанием охватить все разом и обернуть в свою пользу падение или повышение ценностей, носились взад и вперед, возбужденно жестикулировали и

обменивались знаками, подымая кверху условленное число пальцев. Искаженные лица выставлялись из-за чужих плеч, из-под чужих рук. Все как-то странно кривлялись — сознательно или бессознательно. Стоило кому-нибудь высказать намерение купить или продать бумаги по сулившей прибыль цене, как он уже оказывался втянутым в сплошной круговорот рук, плеч и голов. Вначале все это — вернее, внешняя сторона всего этого очень занимала молодого Каупервуда, так как он любил толпу, любил оживление; но вскоре живописность и драматизм сцен, в которых он сам принимал участие, померкли для него, и он начал уяснять себе внутренний смысл всего происходящего. Покупка и продажа акций были искусством, тонким мастерством, чуть ли не психической эмоцией. Подозрительность, целеустремленность, чутье — вот что нужно было для успеха.

По прошествии некоторого времени он уже стал задаваться вопросом: кто же, собственно, больше всего на этом наживается? Маклеры? Ничего подобного! Кое-кто из них, правда, неплохо зарабатывал, но все они, — и Фрэнк скоро понял это, — словно стая голодных чаек или буревестников налетали с подветренной стороны, алчно выслеживая неосторожную рыбу. За их спиной стояли другие — люди неистощимого коварства, пронырливые умы. Крупные капиталисты, чьи предприятия и богатства олицетворялись этими акциями. Это они проектировали и строили железные дороги, разрабатывали рудники, создавали коммерческие предприятия и гигантские фабрики. Правда, они прибегали к услугам маклеров для биржевых операций, но все — и купля и продажа — могло быть и было только побочным явлением, — основой оставались рудники,

железные дороги, урожаи, мельницы и т.п. Все остальное, что не было обыкновенной продажей с целью скорейшего получения наличного капитала или обыкновенной покупкой с целью вложения средств, оказывалось просто неприкрашенной азартной игрой, а те, кто этим занимался, — игроками. И сам он, Фрэнк, всего-навсего агент игрока. Сейчас он еще не огорчался этим, но загадки более не существовало, он знал, кто он такой. Как и раньше, когда он работал у «Уотермена и Кь», он любил мысленно классифицировать своих собратьев по профессии: одни оказывались слабовольными, другие глупыми, третьи умными, четвертые неповоротливыми, но все — мелкие душонки, неполноценные люди, ибо они были агентами, орудием в чужих руках или азартными игроками. Настоящий человек никогда не станет ни агентом, ни покорным исполнителем чужой воли, ни игроком, ведущим игру, все равно в своих или в чужих интересах; нет, люди этого сорта должны обслуживать его, Фрэнка. Настоящий человек — финансист — не может быть орудием в руках другого. Он сам пользуется таковым. Он создает. Он руководит.

Ясно, исчерпывающе ясно Каупервуд понял все это в девятнадцать или в двадцать лет, но в ту пору он еще не созрел для того, чтобы сделать из своего знания практические выводы. Тем не менее он твердо верил: настанет и его час.

7

Меж тем, как это ни странно, увлечение Фрэнка женой мистера Сэмпла втайне продолжало расти. Однажды, получив приглашение посетить их дом, он откликнулся на это с большим удовольствием. Сэмплы жили неподалеку от Каупервудов, на Фронт-стрит. Летом их особнячок утопал в зелени. С маленькой веранды на южной стороне открывался очаровательный вид на реку; все окна и двери в верхней своей части были украшены полукружьями из мелких стекол. Внутреннее убранство дома было далеко не таким, каким хотелось бы его видеть Фрэнку. Ни малейшей утонченности, хотя мебель новая и добротная. Картины… ну что ж, картины как картины. Книги и вовсе не заслуживали упоминания — Библия, два-три модных романа, несколько более или менее солидных альманахов и куча устарелого книжного хлама, доставшегося Сэмплам по наследству. Фарфор был превосходный, нежного рисунка. Ковры и обои неприятно кричащих тонов. Зато хороша была сама Лилиан: какую бы позу ни приняла эта женщина, она оставалась неизменно прекрасной.

Детей у них не было, но не по вине миссис Сэмпл, — ей очень хотелось ребенка. Она мало встречалась с людьми, если не считать девических лет, когда ее родителей порою навещали родственники и кое-кто из соседей. Двое братьев и сестра Лилиан тоже жили в Филадельфии и уже успели обзавестись семьями. Они считали, что Лилиан сделала прекрасную партию.

Она никогда не была пылко влюблена в мистера Сэмпла, хотя охотно вышла за него. Сэмпл отнюдь не принадлежал к людям, способным пробудить сильную

страсть в женщине. Отличительными его чертами были практичность и педантичная аккуратность. Обувной магазин у него был хороший, с большим ассортиментом модного товара, помещение светлое и очень чистое. На мистера Сэмпла иногда нападала разговорчивость, и тогда он долго толковал об обувном производстве, новых колодках и моделях. В торговый обиход тогда только начинала входить готовая обувь — частично уже и машинной выработки; у мистера Сэмпла всегда имелся запас такой обуви, но он не отказывался и от услуг сапожников-кустарей, которые шили на заказ по мерке.

Миссис Сэмпл любила иногда немного почитать, но чаще сидела, словно погруженная в раздумье, что, впрочем, отнюдь не объяснялось ее глубокомыслием. Зато она при этом блистала той редкой красотой, которая делала ее похожей на античную статую или на участницу греческого хора. Без сомнения, такой именно она и представлялась Каупервуду, ибо он с самого начала не в силах был отвести от нее взора. Миссис Сэмпл замечала его восхищенные взгляды, но не придавала им особого значения. Привыкшая уважать условности и уверенная, что судьба ее навсегда связана с судьбою мужа, она наслаждалась тихим и безмятежным существованием.

В первое время, когда Фрэнк стал бывать у них, она не знала, о чем с ним говорить. Лилиан приветливо встречала гостя, но бремя беседы всецело ложилось на мужа. Каупервуд то и дело взглядывал на миссис Сэмпл, следя за выражением ее лица, и будь она чуть-чуть подогадливее, она поняла бы, что за этим кроется. К счастью, она была недогадлива. Мистер Сэмпл любезно беседовал с гостем, во-первых, потому, что молодой Каупервуд заметно выдвигался в финансовом мире, был учтив и вкрадчив, а во-вторых, потому, что мистер Сэмпл

был не прочь приумножить свое состояние, а Фрэнк в его глазах олицетворял финансовый успех. Однажды весенним вечером они все трое сидели на веранде и болтали — так, о пустяках — о негритянском вопросе, о конке, о только что разразившейся финансовой панике (это было в 1857 году) и о быстром развитии Запада. Мистер Сэмпл хотел узнать поподробнее о фондовой бирже, а Фрэнк, со своей стороны, расспрашивал его об обувном деле, хотя, по правде говоря, нисколько таковым не интересовался. Все это время он украдкой наблюдал за миссис Сэмпл. Какая у нее мягкая, ласковая и прелестная манера держать себя, думал он. Она подала чай с печеньем. Немного погодя все вошли в комнаты, спасаясь от комаров. Миссис Сэмпл села за рояль. В десять часов Фрэнк откланялся.

После этого вечера молодой Каупервуд год или полгода покупал себе обувь у мистера Сэмпла, иногда же просто заглядывал к нему в магазин на Честнат-стрит перекинуться несколькими словами. Однажды Сэмпл спросил его, стоит ли приобрести акции коночной линии Пятой и Шестой улиц, уже получившей от города разрешение, — событие, вызвавшее большой ажиотаж на бирже. Каупервуд изложил ему свои соображения. Дело это, несомненно, сулит прибыль. Сам он уже приобрел сто акций по пять долларов и потому настоятельно советует Сэмплу последовать его примеру. Собственно, этот человек был глубоко безразличен Фрэнку, но миссис Сэмпл ему по-прежнему нравилась, хотя он и редко ее видел.

Примерно через год мистер Сэмпл скончался. Это была безвременная смерть, случайный, малозначительный эпизод на фоне других событий, но печальный для близких. Поздней осенью он схватил

простуду — пустячное заболевание, которое случается, когда человек промочил ноги или в сырую погоду вышел без пальто. Он все-таки отправился в магазин, несмотря на уговоры миссис Сэмпл. Человек тихий и сдержанный, он по-своему был очень упрям и неустанно пекся о своем деле. Он уже видел себя в ближайшем будущем обладателем состояния в пятьдесят тысяч долларов. И вдруг — простуда, девять дней в постели с воспалением легких, и мистера Сэмпла не стало. Обувной магазин закрыли на несколько дней, дом наполнился соболезнующими друзьями и церковнослужителями. Затем отпеванье в Кэллоухиллской пресвитерианской церкви, прихожанами которой были супруги Сэмпл, и похороны. Миссис Сэмпл горько плакала. Смерть, увиденная так близко, потрясла ее, и некоторое время она была очень удручена. Ее брат, Дэвид Уиггин, временно взял на себя ведение дела. Завещания покойный не оставил, но после того, как вопрос о наследстве был урегулирован и обувной магазин продан, миссис Сэмпл получила свыше восемнадцати тысяч долларов, ибо никто не оспаривал ее права на безраздельное владение всем имуществом. Она осталась жить на той же Фронт-стрит и слыла интересной вдовушкой.

Во время всех этих событий молодой Каупервуд, которому только что исполнилось двадцать лет, вел себя достаточно активно. Он заходил во время болезни мистера Сэмпла. Присутствовал на похоронах. Помогал брату миссис Сэмпл ликвидировать обувное дело. После похорон он раза два навестил вдову и потом долго не показывался. Месяцев через пять он снова появился и с той поры уже стал навещать Лилиан каждую неделю или десять дней.

Повторяем: трудно сказать, что он нашел в Лилиан Сэмпл. Может быть, красивое, бледное личико так привлекало его, а может быть, ее равнодушие распаляло его задорную натуру. Он и сам не мог бы объяснить, почему он так настойчиво и страстно желал ее. Он не мог спокойно думать о Лилиан и почти никогда не говорил о ней. В семье знали, что он у нее бывает, но Каупервуды к этому времени уже научились уважать внутреннюю силу и ум Фрэнка. Он был приветлив, жизнерадостен, большей частью весел, не будучи болтлив, и вдобавок безусловно шел в гору. Все знали, что он уже научился делать деньги. Жалованья он получал пятьдесят долларов в неделю, и у него имелись все основания вскоре ожидать прибавки. Несколько земельных участков, купленных им три года назад в западной части Филадельфии, значительно поднялись в цене. Его вложения в конные линии умножились благодаря приобретенным им пакетам в пятьдесят, сто и сто пятьдесят акций вновь организовавшихся компаний; несмотря на трудное время, эти бумаги медленно, но верно повышались и, при первоначальной стоимости в пять долларов, расценивались теперь в десять, пятнадцать и двадцать пять, а со временем должны были дойти до паритета. В финансовых кругах Фрэнка любили, будущее рисовалось ему в радужных красках. По зрелом размышлении он решил, что профессиональным биржевым игроком он не будет. Теперь он уже подумывал об учетно-вексельном деле, по его наблюдениям выгодном и, при наличии капитала, лишенном каких бы то ни было элементов риска. Благодаря своей работе и связям отца Фрэнк встречался с множеством коммерсантов, банковских деятелей и оптовых торговцев. Он знал, что они охотно поручат ему свои дела или хотя бы часть дел. В конторах

«Дрексель и Кь» и «Кларк и Кь» к нему относились очень благожелательно, а Джей Кук, восходящее банковское светило, был его другом.

Между тем Фрэнк продолжал навещать миссис Сэмпл, и чем чаще он бывал у нее, тем больше она ему нравилась. Нельзя сказать, чтобы они вели беседы блестящие и остроумные, но Фрэнк, когда хотел, мог быть приятен и занимателен. Он давал Лилиан такие разумные деловые советы, что даже ее родственники к ним прислушивались. Мало-помалу он начал нравиться ей; внимательный, спокойный и положительный, Фрэнк с готовностью растолковывал Лилиан тот или иной деловой вопрос, пока ей все не становилось ясно. Она видела, что он следит за ее делами с не меньшим вниманием, чем если бы это были его собственные, и старается упрочить ее материальное благополучие.

— Какой вы добрый, Фрэнк, — однажды сказала она ему. — Я вам бесконечно благодарна. Право, не знаю, что я стала бы делать без вас.

Она взглянула на его красивое лицо, с детской непосредственностью обращенное к ней.

— Полноте, полноте! Мне это так приятно! Я пришел бы в отчаяние, если бы не мог быть вам полезен.

Его глаза не загорелись, но засветились каким-то мягким, теплым светом. Миссис Сэмпл ощутила прилив нежности: как хорошо, когда можно опереться на такого человека.

— Как бы то ни было, я вам от души благодарна. Вы очень добры ко мне. Приходите опять, в воскресенье или в любой другой вечер. Я буду дома.

Как раз в пору, когда Фрэнк так зачастил к миссис Сэмпл, на Кубе умер его дядя Сенека, оставив ему пятнадцать тысяч долларов. Вместе с этими деньгами в распоряжении Фрэнка теперь оказался капитал в двадцать пять тысяч долларов, и он уже точно знал, как им распорядиться. Вскоре после смерти мистера Сэмпла финансовый мир охватила паника, наглядно показавшая Фрэнку, сколь ненадежно маклерское дело. В промышленном мире наступила полнейшая депрессия. Свободные деньги стали редки, можно сказать вовсе исчезли. Капитал, испуганный пошатнувшейся торговлей и общим денежным положением в стране, глубоко ушел в свои тайники — в банки, подвалы, чулки и кубышки. Страна, казалось, летела в пропасть. Впереди уже маячила война с Югом или его отпадение. Нервная лихорадка охватила всю нацию. Люди выбрасывали на рынок все свои ценности, лишь бы раздобыть наличные деньги. Тай уволил из своей конторы троих служащих. Он старался экономить на чем только можно и пустил в оборот все личные сбережения, лишь бы спасти вложенный в бумаги капитал. Он заложил свой дом и земельные участки — одним словом, все, что имел. Молодой Каупервуд неоднократно служил ему посредником и носил пакеты акций в разные банки с наказом получить под них сколько удастся.

— Узнайте-ка, не ссудит ли мне банк вашего отца пятнадцать тысяч вот под это, — сказал он однажды Фрэнку, доставая толстую пачку акций «Филадельфия и Уилмингтон».

Фрэнк помнил, что отец некогда называл их весьма солидными.

— Вообще говоря, это очень хорошие бумаги, — нерешительно произнес Каупервуд-старший при виде акций. — Вернее, они были бы хороши во всякое другое время. Но сейчас так трудно с наличными. Мы с величайшим напряжением расплачиваемся по нашим собственным обязательствам. Впрочем, я поговорю с мистером Кугелем (Кугель был председателем правления банка).

Последовал долгий разговор, долгое ожидание. Наконец старший Каупервуд вернулся и сообщил Фрэнку, что они вряд ли смогут провести эту операцию. Восемь процентов — установившийся в это время дисконт — слишком невыгодные условия, учитывая спрос на деньги. Мистер Кугель если и согласится, то разве что на онкольную ссуду [note 7] из расчета десяти процентов. Фрэнк вернулся к своему доверителю, коммерческая душа которого возмутилась при этом сообщении.

— Да скажите мне, черт возьми, — негодуя воскликнул он, — неужели во всем городе нет больше денег? Ведь это же разорение, такие проценты! Я не выдержу. Ну, ладно. Забирайте обратно эти акции и тащите мне деньги. Но это никуда не годится, никуда не годится!

Фрэнк снова отправился в банк.

— Мистер Тай согласен на десять процентов, — спокойно объявил он.

Таю был открыт кредит на пятнадцать тысяч долларов с правом немедленного его использования, и он тут же перечислил всю сумму в Джирардский

Note7 то есть под залог процентных бумаг, которые банк имеет право продать по своему усмотрению, если взятая сумма не будет уплачена по первому требованию

национальный банк, чтобы заткнуть там «прореху». Так шли дела.

Меж тем молодой Каупервуд с интересом всматривался во все осложнявшееся финансовое положение страны. Проблема рабовладельчества, разговоры об отложении Южных штатов, общий подъем или упадок благосостояния страны тревожили его лишь в той мере, в какой они непосредственно затрагивали его интересы. Он стремился стать настоящим финансистом, но теперь, ознакомившись с закулисной стороной биржевого дела, уже не был уверен в своем желании сделать карьеру биржевика. Биржевая игра при условиях, созданных этой паникой, сопряжена с чрезвычайным риском. Многие маклеры разорились. Фрэнк достаточно насмотрелся на их измученные лица, когда они врывались к мистеру Таю и просили его аннулировать те или иные их заявки. Даже дома они не чувствуют себя в безопасности, говорили они. Им грозит окончательная гибель, их жены и дети будут выброшены на улицу.

Эта паника, между прочим, только помогла Фрэнку уяснить себе, чем ему в действительности хотелось заняться. Теперь, когда у него есть свободные средства, он начнет действовать самостоятельно. Даже предложение мистера Тая стать его младшим компаньоном не соблазнило Фрэнка.

— Я считаю, что у вас прекрасное дело, — сказал он, объясняя свой отказ, — но я хочу открыть собственную учетно-вексельную контору. На биржевую игру ставку делать не стоит. Свое, пусть маленькое, дело я предпочитаю всем биржам на свете.

— Но вы еще чертовски молоды, Фрэнк, — возразил его хозяин. — У вас уйма времени впереди для самостоятельной деятельности.

В конце концов они расстались друзьями как с Таем, так и с Райверсом.

— Ох, и умен же этот малый! — с сожалением заметил Тай.

— Он своего добьется! — подтвердил Райверс. — Я в жизни не встречал такого способного молодого человека.

8

Мир рисовался Каупервуду в розовых тонах. Он был влюблен, и у него были деньги, чтобы начать собственное дело. Под свои акции конных железных дорог, непрерывно поднимавшиеся в цене, он мог получить семьдесят процентов их курсовой стоимости. В случае надобности мог еще заложить земельные участки и таким образом раздобыть солидную сумму. У него существовала налаженная связь с Джирардским банком, — Фрэнк нравился директору, мистеру Дэвисону, и рассчитывал, что тот со временем предоставит ему кредит. Оставалось только поместить капитал так, чтобы он поддавался быстрой и безубыточной реализации. По мнению Фрэнка, отличную прибыль сулили все разветвлявшиеся линии конки.

К этому времени Фрэнк приобрел лошадь и коляску, самые элегантные, какие только можно было сыскать, — затея эта обошлась ему в пятьсот долларов, — и пригласил миссис Сэмпл покататься с ним. Та сперва отказалась, но потом уступила. Он поведал ей о своих удачах, планах, о пятнадцати тысячах долларов, как с неба свалившихся на него, и, наконец, о своем намерении заняться учетно-вексельным делом. Миссис Сэмпл знала, что его отца в будущем ждал пост вице-директора Третьего национального банка, к тому же Каупервуды вообще нравились ей. Она уже начала понимать, что отношение Фрэнка к ней нельзя назвать просто дружбой. Недавний мальчик стал мужчиной, и ее влекло к нему. Это казалось ей почти смешным. Она старше его, вдова, живет тихой, уединенной жизнью. Но упрямая, спокойная решительность этого юноши

красноречивей слов свидетельствовала, что его не остановят никакие условности.

Каупервуд не обманывал себя и не идеализировал своего отношения к ней. Красивая Лилиан духовно и физически Неодолимо влекла его — больше он ничего знать не хотел. Ни одной другой женщине не удавалось так приковать его к себе. При этом ему и в голову не приходило, что теперь он не может или не должен интересоваться другими женщинами. Болтовня о святости домашнего очага всегда отскакивала от него, как горох от стены. На деньги миссис Сэмпл он не зарился, но, зная, что у нее есть собственный капитал, был уверен, что сумеет с пользой для нее же пустить деньги в оборот. Он жаждал обладать ею и уже с любопытством думал о детях, которые у них будут. Как хотелось ему знать, сумеет ли он заставить ее беззаветно полюбить его, удастся ли ему изгнать из ее памяти воспоминания о прежней жизни. Странное честолюбие! Можно было бы даже сказать — странная извращенность.

Невзирая на все свои страхи и сомнения, Лилиан Сэмпл принимала ухаживанья и заботы Фрэнка, ибо тоже невольно тянулась к нему. Однажды ночью, ложась спать, она подошла к туалетному столику и внимательно оглядела в зеркале свое лицо, свои обнаженные плечи и руки. Как она хороша! Необъяснимое волнение охватило ее, когда она разглядывала свои длинные пепельные волосы. Она подумала о молодом Каупервуде, но перед ее глазами тотчас возник образ покойного мистера Сэмпла, — она похолодела и тут же вспыхнула от стыда, представив себе, какую бурю общественного негодования это может вызвать.

— Почему вы так часто приходите ко мне? — спросила она, когда на следующий вечер Фрэнк зашел к ней.

— Разве вы сами не знаете? — проговорил он, все, казалось, объясняя ей своим взглядом.

— Нет!

— Правда не знаете?

— Как вам сказать… Я знаю, что вы были расположены к мистеру Сэмплу и ко мне как к его жене. Но мистера Сэмпла больше нет.

— Зато есть вы, — ответил он.

— Я?

— Да. И вы мне нравитесь. Мне хорошо с вами. А вы разве не чувствуете того же?

— Право, я никогда об этом не думала. Вы гораздо моложе меня. Ведь между нами разница в пять лет.

— В годах, — произнес Фрэнк, — а это не имеет значения. Во всем остальном я старше вас лет на пятнадцать. Я знаю жизнь лучше, чем вы когда-либо будете ее знать. Да вы и сами в этом не сомневаетесь, — добавил он мягким, убеждающим тоном.

— Да, это верно. Но зато и я знаю многое, чего не знаете вы.

Она тихо засмеялась, обнажив свои прекрасные зубы.

Уже стемнело. Они сидели на веранде. Река внизу тихо катила свои воды.

— Возможно, — сказал Фрэнк, — потому что вы женщина. Мужчина никогда не может стать на точку

зрения женщины. А я говорил о практической стороне жизни, — в этом смысле я старше вас.

— Ну и что же?

— Ничего. Вы спросили, зачем я прихожу к вам, вот я и объяснил. Лишь отчасти, конечно.

Он умолк и стал глядеть на реку.

Миссис Сэмпл подняла глаза на гостя. Его красивая фигура, с годами становившаяся все более плотной, была теперь как у вполне зрелого мужчины. Непроницаемый взгляд больших ясных глаз придавал его лицу какое-то ребяческое выражение. О том, что таилось в их глубине, она не догадывалась. Щеки у него были румяные, руки небольшие, но мускулистые и сильные. Ее нежное, хрупкое тело даже на расстоянии впитывало в себя исходившую от него энергию.

— Мне кажется, вам не следует так часто бывать у меня. Люди могут заподозрить нехорошее.

Она решила взять с ним любезно-сдержанный тон почтенной женщины, тон, которого придерживалась в начале их знакомства.

— Люди? — повторил он. — Не тревожьтесь об этом. Люди думают о нас то, что мы хотим им внушить. Мне неприятно, что вы так сухо говорите со мной.

— Почему?

— Потому что я люблю вас.

— Но вы не должны любить меня. Это нехорошо. Я ведь не могу выйти за вас замуж. Вы так молоды, а я уже стара.

— Полноте! — решительно произнес Фрэнк. — Что за вздор! Я хочу, чтобы вы были моей женой. И вы это знаете. Лучше скажите, когда мы поженимся?

— Ну что вы говорите? — воскликнула она. — В жизни ничего подобного не слыхала. Этому не бывать.

— Почему? — спросил он.

— Потому, что… потому, что я старше вас. Это всем показалось бы странным. И я так недавно овдовела.

— Ах, недавно или давно — какое это имеет значение! — раздраженно отозвался Фрэнк. — Единственное, что мне в вас не нравится, это ваше вечное: «Что скажут люди». «Люди» не строят вашу жизнь. А уж мою и подавно. Прежде всего думайте о себе. Вы сами должны устраивать свою жизнь. Неужели вы допустите, чтобы между вами и вашим желанием становилось то, что подумают другие?

— Но у меня нет этого желания, — с улыбкой перебила его Лилиан.

Фрэнк встал, приблизился к ней и заглянул ей в глаза.

— Ну и что? — взволнованно и насмешливо спросила она.

Он продолжал смотреть на нее.

— Ну и что же? — повторила она, все больше теряясь.

Он наклонился, желая обнять ее, но она встала.

— Нет, не приближайтесь ко мне! — умоляюще заговорила Лилиан. — Я сейчас уйду в комнаты и больше

на порог вас не пущу. Это ужасно! Вы с ума сошли! Оставьте меня в покое.

Она проявила такую решительность, что Фрэнк покорился. Но только на этот вечер. Он приходил опять и опять. И однажды, когда комары загнали их в комнаты и миссис Сэмпл снова начала настаивать, чтобы он прекратил свои посещения, уверяя, что его внимание к ней всем бросается в глаза и она будет опозорена, Фрэнк, невзирая на ее отчаянное сопротивление, решительно заключил ее в объятия.

— Что вы, что вы! Перестаньте! — восклицала она. — Я ведь вам говорила! Это же глупо наконец! Не смейте меня целовать! О-о-о!

Она вырвалась и побежала по лестнице к себе в спальню. Каупервуд быстро последовал за ней. Когда миссис Сэмпл хотела было захлопнуть дверь, он силою отворил ее, снова схватил молодую женщину в объятия и высоко поднял на воздух.

— Как вы смеете! — закричала она. — Да я вас больше знать не хочу! Если вы сию же минуту не отпустите меня, ноги вашей здесь больше не будет. Пустите!

— Я отпущу вас, радость моя. Я сам снесу вас вниз, — отвечал он, притягивая ее к себе и покрывая ее лицо поцелуями.

Он был страшно возбужден и взволнован.

Несмотря на то что Лилиан продолжала вырываться и протестовать, он снес ее вниз в гостиную и уселся в огромное кресло, по-прежнему крепко прижимая ее к себе.

— Ах! — вздохнула она, поняв, что он не отпустит ее, и бессильно уронила на его плечо голову. Потом, прочитав на лице Фрэнка твердую решимость и вдруг ощутив всю его притягательную силу, она улыбнулась. — Если я выйду за вас замуж, — устало произнесла она, — как я объясню свой поступок? Что скажет ваш отец, ваша мать?

— Вам ничего объяснять не придется. Это сделаю я. И волноваться незачем. Мои родные ничего не скажут.

— А моя семья? — содрогаясь, сказала она.

— Какое им дело? Я женюсь не на вашей семье, а на вас. Мы с вами оба материально независимы.

Она стала приводить новые возражения, но Фрэнк отвечал на них новыми поцелуями. Его ласкам Нельзя было не покориться. Мистер Сэмпл никогда не бывал так пылок. Фрэнк пробудил в ней чувства, которых она раньше не ведала. Ей было и страшно и стыдно.

— Так, значит, через месяц мы поженимся? — радостно спросил он, когда она замолчала.

— Вы знаете, что нет! — взволнованно воскликнула Лилиан. — Что за настойчивость! Не будем об этом говорить.

— Не все ли равно — когда? Рано или поздно ты станешь моей женой.

Фрэнк уже думал о том, как очаровательна она будет в другой, новой обстановке. Ни она, ни его семья не умеют жить.

— Но никак не через месяц. Надо подождать. Я выйду за вас, когда вы убедитесь, что действительно этого хотите.

Фрэнк крепко прижал ее к себе.

— Я докажу тебе это, — прошептал он.

— Перестаньте. Вы делаете мне больно.

— Ну, так когда же? Через два месяца?

— Нет, нет.

— А через три?

— Может быть.

— Никаких отговорок. Ты будешь моей женой.

— Но ты совсем еще мальчик.

— Об этом не беспокойся. Ты узнаешь, какой я мальчик.

Новый мир, казалось, открылся ей, и она поняла, что никогда еще не жила по-настоящему. В этом человеке была такая сила, такие горизонты открывались перед ним, о каких ее муж не смел и помышлять. При всей своей юности он был страшен, необорим.

— Хорошо, пускай через три месяца, — прошептала она, в то время как он нежно ее баюкал.

9

Каупервуд начал свое учетно-вексельное дело с того, что основал маленькую контору в доме номер шестьдесят четыре по Третьей улице, и скоро к своей радости убедился, что его прежние хорошо налаженные деловые связи остались в силе. Он обращался к какой-нибудь фирме, по его предположению нуждавшейся в наличных деньгах, и предлагал либо учесть ее векселя, либо взять на себя, на комиссионных началах, распространение любых обязательств, которые она пожелает выпустить из шести процентов годовых; затем он продавал эти бумаги с небольшой накидкой клиенту, искавшему случая вложить деньги в надежное дело. Отец или кто-нибудь из знакомых время от времени давали ему советы, когда и как действовать. На таких двойных сделках он обычно выгадывал четыре-пять процентов. В первый же год, за вычетом всех накладных расходов, у него очистилось шесть тысяч долларов. Не очень много, конечно, но Фрэнк старался приумножить этот доход другим путем, сулившим, по его мнению, большие барыши в будущем.

До того как по Фронт-стрит прошла первая, еще очень неторопливая конка, улицы Филадельфии были запружены сотнями безрессорных омнибусов, громыхавших по булыжной мостовой. Но теперь в Нью-Йорке, по идее Джона Стефенсона, уже были проложены двухколейные пути, и кроме линии на Пятой и Шестой улицах (вагоны шли в одну сторону по одной улице и в обратную по другой), с самого начала дававшей прекрасный доход, множество новых линий было либо запроектировано, либо уже сдано в

эксплуатацию. Город спешил заменить омнибусы конкой, так же как раньше спешил заменить каналы железными дорогами. Кое-кто, конечно, противился этим новшествам. Без сопротивления в таких случаях не обходится. Начали кричать о монополии. Разоренные владельцы и оставшиеся без работы кучера омнибусов громко роптали.

Каупервуд безраздельно верил в будущность конных железных дорог. Эта вера побуждала его идти на риск и вкладывать все свободные деньги в акции, выпускавшиеся новыми конно-железнодорожными компаниями. Он всегда стремился выведать закулисную сторону дела, но в данном случае сделать это оказалось нелегко; Фрэнк был еще очень молод, когда прокладывались первые линии, и не имел достаточно солидных связей в финансовых кругах, которые дали бы ему возможность проникнуть в самую суть. Линия Пятой и Шестой улиц, недавно пущенная в эксплуатацию, приносила шестьсот долларов дохода в день. Разрабатывался проект новой линии в западной части Филадельфии (по улицам Уолнат и Честнат) и еще нескольких линий, которые должны были пройти по Второй и Третьей улицам, по улицам Рейс и Вайн, Спрус и Пайн, Грин и Коутс, Десятой, Одиннадцатой и т.д. Строительство и финансирование этих линий находились в руках могущественных капиталистов, имевших связи в законодательном собрании штата и добивавшихся разрешений, несмотря на бурные протесты общественности. То и дело раздавались обвинения в подкупе. Указывалось, что городские улицы — ценная территория и что следовало бы обложить городские железнодорожные компании дорожным налогом в тысячу долларов с мили. Но главным предпринимателям всеми

правдами и неправдами удалось получить нужные привилегии, и множество людей, прослышав о доходах, приносимых линиями Пятой и Шестой улиц, торопились скупить акции. В числе их был и Каупервуд; как только стало известно о прокладке новых линий на Второй и Третьей улицах, он вложил деньги в это предприятие, а несколько позднее и в линии на улицах Уолнат и Честнат. Фрэнку уже мерещилась возможность стать владельцем такой линии, но реальных путей к осуществлению этой мечты он пока не видел: его контора еще отнюдь не была финансовым Эльдорадо.

В эту пору Фрэнк обвенчался с миссис Сэмпл. Свадьба была скромная, без излишнего шума, — так хотел Фрэнк, да и будущая его жена нервничала из страха перед общественным мнением. Семья Фрэнка не очень одобряла его выбор. На взгляд родителей, Лилиан была слишком стара для него, кроме того, перед Фрэнком открывались такие блестящие перспективы, что он мог бы сделать гораздо лучшую партию. Его сестра Анна считала миссис Сэмпл расчетливой и коварной, но это, конечно, было не так. Братьям Джозефу и Эдварду вся эта история казалась очень любопытной, но толком они не знали, какого мнения им держаться: как-никак миссис Сэмпл была хороша собой, и у нее водились деньги.

В погожий октябрьский день Фрэнк и Лилиан предстали перед алтарем Первой пресвитерианской церкви на Кэллоухил-стрит, где пожелала венчаться невеста. Лилиан, к немалому удовлетворению Фрэнка, была прелестна в платье из белоснежных кружев с длинным шлейфом — творении, стоившем кружевницам долгих месяцев труда. На церемонии присутствовали родители Фрэнка, миссис Дэвис — вдова дяди Сенеки, братья и сестры Лилиан и несколько близких знакомых,

Фрэнку и это общество казалось слишком многолюдным, но таково было желание Лилиан. Во время венчания Фрэнк стоял прямой и подтянутый, в строгом черном сюртуке, — тоже по желанию невесты, — но по окончании обряда быстро переоделся в элегантный дорожный костюм. Он устроил свои дела так, чтобы иметь возможность съездить на две недели в Нью-Йорк и Бостон. Под вечер они сели в поезд, через пять часов доставивший их в Нью-Йорк. Когда, после долгого притворства и деланного равнодушия на людях, они очутились наконец с глазу на глаз в номере отеля «Астор», Фрэнк заключил ее в объятия.

— Какое блаженство, что мы наконец одни! — воскликнул он.

Лилиан отозвалась на его пыл с той дразнящей ласковой робостью, которая всегда так восхищала его; но теперь эта робость была окрашена желанием, сообщившимся ей от Фрэнка. Ему казалось, что он никогда не насытится ею, ее прекрасным лицом, изящными руками, ее нежным телом. Они без конца ворковали, нежничали, катались по городу, вкусно ели и наслаждались зрелищами.

Фрэнку не терпелось побывать в финансовых центрах Нью-Йорка и Бостона. Оба эти города привлекали его своей коммерческой солидностью. Осматривая первый, Фрэнк спрашивал себя, решится ли он когда-нибудь расстаться с Филадельфией. Ведь теперь, думал он, его ждет там полное счастье с Лилиан, а впоследствии, быть может, и с целым выводком юных Каупервудов. Он будет работать не щадя сил и много зарабатывать. Со своим собственным капиталом и средствами жены, поступившими теперь в его

распоряжение, он надеялся вскоре стать весьма состоятельным человеком.

10

Обстановка, которой окружили себя молодые, возвратясь из свадебного путешествия, по изяществу значительно превосходила ту, в которой миссис Каупервуд жила в свою бытность миссис Сэмпл. Они решили временно поселиться в ее доме на Фронт-стрит. Повинуясь овладевшему им в тот период тяготению ко всему утонченному, Фрэнк сразу же после помолвки стал возражать против стиля, вернее «бесстильности» мебели и убранства дома и просил позволения обставить их жилище в соответствии с его собственными понятиями об изяществе и красоте, понятиями, как-то инстинктивно усвоенными им в период возмужания. Ему довелось видеть множество домов, обставленных с несравненно большим вкусом, чем дом его родителей. В те времена невозможно было пройти или проехать по улицам Филадельфии, не почувствовав всеобщей тяги к более культурному и красивому быту, не заразившись ею. Улицы застраивались великолепными и дорогостоящими домами. Широкое распространение получило садоводство. В моду входили цветники вдоль фасадов. В домах мистера Тая, мистера Ли, Артура Райверса и других знакомых внимание Фрэнка привлекали изысканные, дорогие вещи — бронза, мрамор, портьеры, картины, часы, ковры.

Фрэнк решил, что ценой сравнительно небольших затрат он сможет превратить свое заурядное жилище в уютный и очаровательный дом. Так, например, куда более привлекательной можно было сделать столовую, где из обоих окон, выходивших на южную террасу, открывался вид на лужайку, поросшую кустарником и

деревьями, которая тянулась до самого забора, отделявшего владения мистера Сэмпла от участка соседа. Остроконечный серый частокол следует снести и заменить живой изгородью. В стене, разделяющей столовую и гостиную, надо сделать проем и завесить его красивой портьерой, а взамен двух продолговатых окошек устроить так называемый «фонарь», откуда из двустворчатых окон с ромбовидными стеклами в свинцовых переплетах можно будет любоваться лужайкой. Всю ветхую мебель, собранную бог весть откуда, — частью унаследованную от семьи Сэмпл, частью от семьи Уиггин, частью же благоприобретенную, — выкинуть вон или продать и взамен купить новую. Фрэнк недавно познакомился с молодым, только что сошедшим со студенческой скамьи архитектором, неким Элсуортом; они сразу почувствовали живой интерес и необъяснимое тяготение друг к другу. Уилтон Элсуорт был вдумчивым, спокойным, утонченным человеком, артистической натурой в подлинном смысле слова. Разговорившись о доме, строившемся на Честнат-стрит, — Элсуорт назвал его ужасным, — они перешли к обсуждению искусства вообще, вернее, отсутствия такового в Америке. Фрэнку тотчас же подумалось, что Элсуорт лучше всякого другого сумеет осуществить его замыслы относительно переустройства дома. Когда он сказал об этом Лилиан, она беспрекословно согласилась, так же как соглашалась со всеми планами мужа насчет перемен в их жилище.

После отъезда Каупервудов в свадебное путешествие Элсуорт приступил к работе, исходя из сметы в три тысячи долларов, которая предусматривала и новую обстановку. Закончена работа была лишь через три недели после их возвращения, но зато дом стал

почти неузнаваемым. «Фонарь», согласно замыслу Фрэнка, как бы висел над зеленью лужайки, а окна его с ромбовидными стеклами в свинцовых переплетах были снабжены бронзовыми петлями. Гостиная теперь отделялась от столовой раздвижными дверями, которые предполагалось еще украсить шелковым занавесом с изображением крестьянской свадьбы в Нормандии. Столовая была обставлена старинной английской дубовой мебелью, а гостиная и спальни — американской имитацией Чиппендейла и Шератона. Несколько скромных акварелей украшали стены, там и сям стояли бронзовые статуэтки работы Хосмера и Пауэрса. Хорошим украшением служила также мраморная Венера Поттера (ныне совсем забытого скульптора) и еще несколько вещей, впрочем, второсортных. Миссис Каупервуд была несколько смущена наготою Венеры, — это придавало дому дух европейской фривольности, не принятой в Америке, но промолчала; как-никак такое украшение радовало глаз, да кроме того, она не считала себя знатоком по этой части, Фрэнк куда лучше разбирается во всем этом. Когда наняты были слуги — горничная и лакей, Каупервуды стали устраивать небольшие приемы.

Всякий, кто помнит первые годы своей супружеской жизни, поймет те едва уловимые перемены, которые произошли во Фрэнке после брака, ибо любой человек, связавший себя узами Гименея, в какой-то мере подпадает под влияние своего домашнего окружения. Судя по некоторым чертам его характера, можно было предположить, что ему назначено судьбою стать образцом добропорядочного, почтенного гражданина. Фрэнк, казалось, был очень увлечен семейной жизнью. С великой радостью возвращался он по вечерам к жене

отдохнуть от сутолоки, уличного шума и вечной спешки деловых кварталов. Дома он тотчас же проникался ощущением своего материального и физического благоденствия. Стол, накрытый к обеду, зажженные свечи (идея Фрэнка), Лилиан в ниспадающем до полу платье из голубого или зеленого шелка — ему очень нравились на ней эти цвета, — большой камин с пылающими в нем толстыми поленьями, и вновь Лилиан, прильнувшая к нему, — все это держало в плену его еще не созревшее воображение. Книги, как мы уже говорили, не интересовали Фрэнка, но жизнь, картины, деревья, физическая близость любимой женщины властвовали над ним, несмотря на уже захватывавшие его сложные финансовые комбинации. Богатой, радостной, полной жизни — вот чего он жаждал всем своим существом.

Миссис Каупервуд, несмотря на разницу в летах, в то время казалась вполне подходящей для него подругой. Выведенная из своего полусонного состояния, она теперь горячо привязалась к Фрэнку, с готовностью откликалась на все его желания и любила помечтать вместе с ним. Им обоим хотелось ребенка, и в скором времени она шепнула Фрэнку, что ждет этого радостного события. Прежде Лилиан думала, что причина ее бесплодия кроется в ней самой, а потому была и удивлена и обрадована, когда убедилась в своей ошибке. Перед нею открывались новые горизонты — прекрасное будущее, теперь не оставлявшее места для опасений. Фрэнка радовала мысль о повторении себя в ребенке. Он думал о маленьком Каупервуде не без гордости. Многие дни, недели, месяцы и даже годы — по крайней мере первые четыре-пять лет — ему доставляло несказанное удовольствие возвращаться домой, разгуливать по двору, приглашать друзей к обеду, кататься по городу с женой,

посвящать ее в свои планы. Она ничего не могла понять в его сложных финансовых комбинациях, но он особенно и не настаивал на этом.

Зато любовь, прекрасное тело Лилиан, ее губы, ее спокойные манеры — притягательная сила всего этого да еще двое детей, появившихся на свет за четыре года их Супружества, давали ему полное удовлетворение. Он качал на коленях Фрэнка-младшего, своего первенца, смотрел на его пухлые ножки, на его искрящиеся глаза, на почти еще бесформенный и тем не менее похожий на бутон ротик и размышлял об удивительном процессе деторождения, Неисчерпаемый источник для раздумий: первоначальное оплодотворение, изумительный период созревания плода в утробе женщины и все опасности, с этим связанные. Он пережил тяжелые минуты, когда миссис Каупервуд рожала Фрэнка-младшего, прежде всего потому, что она сама была очень напугана. Он опасался за красоту ее тела, его страшила мысль потерять ее, и, стоя за дверью в день появления на свет ребенка, он, собственно, впервые познал настоящую тревогу, хоть и не слишком сильную, — для этого он был чересчур уравновешен, чересчур занят самим собою. И все же его страшила мысль, что жена может умереть и тогда наступит конец нынешнему счастливому житью. А потом пронзительные, душераздирающие крики, весть, что все кончилось благополучно, и позволение взглянуть на новорожденного. Переживания этого дня расширили кругозор Фрэнка, сообщили большую глубину его пониманию жизни. Он лишний раз убедился, что под поверхностью явлений, словно грубое дерево под слоем блестящего лака, таится трагедия. Фрэнк-младший, а немного позднее голубоглазая и златокудрая малютка Лилиан на время завладели его воображением.

Домашний очаг — в конце концов неплохая штука! Так уж устроена жизнь, и краеугольный камень жизни — дом.

Нет возможности описать здесь все как будто бы мелкие, но в общем существенные перемены, которые принесли с собой эти годы. Они происходили столь постепенно, что оставались неприметными для глаза, как медленное течение вод. За пять лет состояние Фрэнка значительно возросло, особенно если вспомнить, что он начал с грошей. Мало-помалу он сблизился (насколько коммерческие дела вообще допускают сближение) с некоторыми наиболее оборотистыми представителями непрестанно разраставшегося финансового мира Филадельфии. Во время его работы у мистера Тая и на бирже ему не раз указывали на любопытные фигуры более или менее крупных деятелей городского самоуправления или администрации штата, «подрабатывавших на политике», и деятелей государственного масштаба, приезжавших из Вашингтона повидаться с представителями банкирских домов «Дрексель и Кь», «Кларк и Кь» и даже «Тай и Кь». Эти люди, как он узнал, были наперед осведомлены о предстоящих законодательных реформах и экономических переменах, которые неминуемо должны были отразиться на известных ценностях и отраслях торговли. В конторе «Тай и Кь» молодой сослуживец как-то дернул Фрэнка за рукав.

— Заметили вы человека, который сейчас прошел в кабинет к хозяину?

— Да.

— Это Мэртаг, городской казначей. Он, доложу я вам, играет наверняка! Все казенные деньги в его

распоряжении, а отчитывается он только в основном капитале, так что проценты идут к нему в карман!

Каупервуд понял. Все чиновники города и штата занимались спекуляцией. Они депонировали городские или государственные средства у определенных банкиров или маклеров, которых правительство либо уполномочивало, либо даже назначало быть хранителями вкладов. Банки не платили процентов по этим вкладам никому, кроме представителей казначейства. По секретным указаниям этих лиц они ссужали казенными деньгами биржевиков, а те помещали их в «верные» бумаги. В Филадельфии действовала целая шайка: в долю входили мэр города, несколько членов муниципалитета, казначей, начальник полиции, уполномоченный по общественным работам и другие чиновники. Их девиз был «рука руку моет». Вначале такая «деятельность» внушала Каупервуду брезгливое чувство, но многие разбогатели на его глазах, и никого это, по-видимому, не тревожило. Газеты вечно трубили о гражданском долге и патриотической гордости, но о подобных махинациях не упоминали ни словом. А люди, их совершавшие, оставались у власти и пользовались всеобщим уважением.

Многие банкирские дома — круг их непрерывно ширился — считали Фрэнка заслуживающим доверия посредником для реализации платежных обязательств и взимания платежей по векселям. Он как-то сразу угадывал, куда надо обращаться за деньгами. С первого же дня Фрэнк взял себе за правило всегда иметь на руках тысяч двадцать наличными, чтобы немедленно и без лишних разговоров откликаться на выгодные предложения.

Таким образом, он создал себе условия, при которых в большинстве случаев мог отвечать: «Да, разумеется, я беру это на себя!» К нему обращались с просьбами провести те или иные биржевые операции. Фрэнк тогда еще не имел собственного места на бирже и поначалу не собирался его покупать, но теперь он передумал и приобрел место не только в Филадельфии, но и в Нью-Йорке. Некий Джозеф Зиммермен, торговец мануфактурой, которому он помог реализовать ряд векселей, предложил ему взять в свое ведение его акции конных железных дорог, и Фрэнк снова стал завсегдатаем фондовой биржи.

Тем временем изменилась и его домашняя жизнь, семейные устои стали более прочными, незыблемыми, быт более изысканным. Миссис Каупервуд, например, была вынуждена время от времени подвергать критическому пересмотру свои знакомства, так же как и он свои. При жизни мистера Сэмпла круг Лилиан состоял преимущественно из семей розничных торговцев и нескольких оптовиков, что помельче. Кроме того, Лилиан дружила с двумя или тремя дамами, прихожанками той же Первой пресвитерианской церкви. Изредка устраивались так называемые «приходские чаепития» и вечеринки, на которых она присутствовала с мистером Сэмплом, или же они совместно наносили скучные визиты к ее и его родственникам. Каупервуды, Уотермены и другие семьи того же ранга были счастливым исключением на общем тусклом фоне. Теперь все переменилось. Молодой Каупервуд не очень-то интересовался родственниками Лилиан, а те, со своей стороны, отдалились от нее из-за ее, с их точки зрения, неподобающего брака. Семья Фрэнка по-прежнему была связана с ним тесными узами теплых

родственных чувств и общим стремлением к благополучию, но самое главное — он сумел завоевать расположение нескольких действительно видных лиц. Фрэнк приглашал к себе в гости — вовсе не для обсуждения дел, ибо это было бы совсем не в его духе, — банкиров, состоятельных людей, вкладывавших деньги в разные предприятия, и клиентов — настоящих и будущих. На берегах речек Скуилкил, Уиссахикон и во многих других местах располагались загородные рестораны, куда приятно было наведаться в воскресный день. Фрэнк и Лилиан часто ездили к вдове Сенеки Дэвиса, к судье Китчену, навещали знакомого юриста Эндрью Шарплесса, Харпера Стеджера, личного поверенного Фрэнка, и многих других. Каупервуд обладал даром приветливого и непринужденного обращения. Никто из знавших его, будь то мужчина или женщина, не подозревал всей глубины его натуры. Фрэнк думал, думал, но это не мешало ему наслаждаться жизнью.

Одним из его самых ранних и наиболее искренних увлечений была живопись. Он горячо любил природу, но, сам не зная почему, считал, что лучше всего она познается в изображении художника, так же как через других лучше уясняется смысл законов и политических событий. Лилиан была к живописи более чем равнодушна, но сопровождала мужа по всем выставкам, не переставая втихомолку думать, что Фрэнк все-таки человек не без странностей. Любя ее, он пытался пробудить в ней интерес к интеллектуальным наслаждениям, но миссис Каупервуд, хотя и притворялась, будто живопись ее занимает, на самом деле была к ней слепа и безразлична: видимо, эта область оставалась для нее просто недоступной.

Дети отнимали большую часть ее времени. Каупервуда, однако, это нисколько не огорчало. Он находил восхитительной и в высшей степени достойной такую материнскую привязанность. Вместе с тем ему нравились в Лилиан ее флегматичность, блуждающая улыбка и даже ее безразличие ко всему на свете, временами, впрочем, напускное, объяснявшееся в первую очередь ее умиротворением и обеспеченностью. Какими разными людьми они были! Свое второе замужество она восприняла точно так же, как и первое, — для нее это было серьезное событие, исключавшее всякую возможность каких бы то ни было колебаний в мыслях и чувствах. Что же касается Фрэнка, то он вращался в шумном мире, который, по крайней мере в финансовом отношении, весь состоял из перемен, внезапных и поразительных превратностей. Фрэнк начал временами присматриваться к жене — не слишком критически, ибо он любил ее, но стараясь правильно оценить ее сущность. Он знал Лилиан уже больше пяти лет. Но что собственно он знал о ней? Юношеский пыл в первые годы их совместной жизни заставлял его на многое закрывать глаза, но теперь, когда она уже безраздельно принадлежала ему…

В эту пору медленно надвигалась и наконец была объявлена война между Севером и Югом, вызвавшая такое возбуждение умов, что все, казалось, были поглощены только ею одной. Вначале творилось нечто невообразимое. Затем начались митинги, многолюдные и бурные; уличные беспорядки; инцидент с останками Джона Брауна [note 8]; прибытие Линкольна, этого великого

Note8 Джон Браун (1800-1859) — борец за освобождение негров-рабов в США; в 1859 г. поднял восстание в Виргинии; потерпел поражение, был взят в плен и

народного трибуна, в Филадельфию, проездом из Спрингфилда (штат Иллинойс) в Вашингтон, где он должен был принести присягу и вступить на пост президента; битва при Булл-Рэне, битва при Виксберге; битва при Геттисберге и так далее, и так далее. Каупервуд был в это время двадцатипятилетним молодым человеком, хладнокровным и целеустремленным; он считал, что пропаганда против рабства с точки зрения человеческой может быть и вполне обоснованна, даже несомненно так, но для коммерции крайне опасна. Он желал победы Северу, но знал, что и ему и другим финансистам может прийтись очень туго. Сам он не имел охоты воевать — нелепое занятие для человека с ярко выраженной индивидуальностью. Пусть воюют другие, на свете достаточно бедняков, простаков и недоумков, готовых подставить свою грудь под пули: они только и годятся на то, чтобы ими командовали и посылали их на смерть. Что касается его, то свою жизнь он считал священной и целиком принадлежащей семье и деловым интересам. Он помнил, как однажды, в час, когда рабочие идут домой с работы, по одной из улочек лихо промаршировал небольшой отряд вербовщиков в синих мундирах. Барабанный бой, развевающееся знамя Соединенных Штатов — все это, конечно, преследовало одну цель: потрясти душу доселе безразличного или колеблющегося гражданина, наэлектризовать его так, чтобы он утратил чувство меры и самосохранения и, памятуя лишь о том, что он нужен стране, позабыл все — жену, стариков, дом и детей и присоединился бы к отряду. Фрэнк увидел, как один рабочий, который шел, слегка помахивая

казнен

обеденным котелком, и, по-видимому, отнюдь не помышлял о таком финале своего трудового дня, вдруг остановился и начал прислушиваться к топоту приближавшегося отряда, а когда солдаты поравнялись с ним, помедлил немного, проводил их ряды нерешительным и недоуменным взглядом и вдруг, пристроясь к хвосту, с торжественным выражением на лице зашагал к вербовочному пункту. Что увлекло этого рабочего? — спрашивал себя Фрэнк. Почему он так легко покорился чужой воле? Ведь он не собирался идти на войну. На его лице еще были следы масла и копоти; это был молодой человек лет двадцати пяти, по виду литейщик или слесарь. Фрэнк смотрел вслед маленькому отряду до тех пор, пока тот не скрылся за углом улочки.

Как странно это внезапное пробуждение воинственного духа! Фрэнку казалось, что люди ничего слышать не хотели, кроме барабанов и труб, ничего не хотели видеть, кроме тысяч солдат, следовавших на фронт с холодной сталью ружей на плечах, ничем другим не интересовались, кроме войны и военных новостей. Несомненно, это было волнующее чувство, даже величественное, но невыгодное для тех, кто его испытывал. Оно звало к самопожертвованию, а Фрэнк этого не понимал. Если он пойдет на войну, его могут убить, а тогда — что пользы от его возвышенных чувств? Нет, лучше он будет наживать деньги и заниматься делами политическими, общественными, финансовыми. Бедный глупец, последовавший за вербовочным отрядом, — нет, не глупец, он не станет его так называть! Просто растерявшийся бедняга рабочий, — да сжалится над ним небо! Да сжалится небо над ними всеми! Воистину они не ведают, что творят!

Однажды ему довелось видеть Линкольна — этот неуклюже ступавший, долговязый, костлявый, с виду простоватый человек произвел на Фрэнка неизгладимое впечатление. Стояло холодное и ненастное февральское утро; великий президент военной эпохи только что закончил свое торжественное обращение к народу, в котором он говорил, что связующие узы между штатами могут быть натянуты до предела, но порваны они не должны быть. Когда он выходил из Дворца Независимости [note 9], прославленного здания, где зародилась американская свобода, его лицо было грустным и задумчиво-спокойным. Каупервуд не спускал глаз с президента, покуда тот выходил из подъезда, окруженный штабными офицерами, представителями местной власти, сыщиками и любопытной, сочувственно настроенной толпой. Внимательно вглядываясь в необычные, грубо высеченные черты Линкольна, он проникался сознанием удивительной чистоты и внутреннего величия этой личности.

— Вот настоящий человек! — говорил себе Фрэнк. — Какая необыкновенная натура! — Каждый жест президента поражал его. Глядя, как Линкольн садится в экипаж, он думал: «Так вот он, этот сокрушитель устоев, этот бывший провинциальный адвокат! Ну что ж, в критические дни судьба избрала достойнейшего».

Образ Линкольна еще долго стоял перед глазами Фрэнка, и за время войны его мысли неоднократно возвращались к этому исключительному человеку. Он был убежден, что ему посчастливилось видеть одного из истинно великих мира сего. Война и государственная

Note9 здание в Филадельфии, где 4 июля 1776 г. была провозглашена независимость Соединенных Штатов Америки

деятельность не привлекали Фрэнка, но он знал, как важно порой и то и другое.

11

Во время войны и после того, как стало очевидным, что это война затяжная, Каупервуду представилась возможность проявить свои способности финансиста в действительно крупном деле. Вся страна, штат, город испытывали в этот период острую нужду в деньгах. В июле 1861 года конгресс утвердил выпуск внутреннего займа на пятьдесят миллионов долларов в виде облигаций, подлежащих погашению в течение двадцати лет и приносящих держателям до семи процентов годовых; штат, в свою очередь, приблизительно на тех же условиях санкционировал выпуск займа на три миллиона. Реализацию первого займа производили бостонские, нью-йоркские и филадельфийские финансисты, второго — только филадельфийские. Каупервуд не принимал в этом участия. Он был еще недостаточно известен. В газетах он читал о заседаниях, на которых финансовые заправилы, знакомые ему лично или только по имени, «обсуждали наиболее целесообразные мероприятия по оказанию помощи стране или штату». Фрэнка они не приглашали. Меж тем он всей душой жаждал быть среди них. Он уже понял в то время, что для успеха дела часто бывает достаточно одного слова богатого человека, не надо ни денег, ни гарантий, ни конкретного обеспечения — ничего, только его слово. Если ходили слухи, что за кулисами какого-нибудь дела скрываются «Дрексель и Кь», «Джей Кук и Кь» или «Гулд и Фиск», — оно уже считалось надежным! Джей Кук, молодой филадельфиец, провел замечательную операцию: он взял на себя, в компании с Дрекселем, реализацию выпущенного штатом займа и распродал его по номиналу. По общему мнению, заем мог

быть распространен лишь по цене девяносто долларов за сто. Кук с этим мнением не согласился. Он считал, что гордость за свой штат и патриотизм граждан помогут реализации займа среди мелких банков и частных лиц, так что сумма подписки перекроет, возможно даже с избытком, сумму выпуска. Дальнейшие события подтвердили правильность расчетов Кука, и это упрочило его деловую репутацию. Каупервуду очень хотелось сделать что-либо подобное, но он был достаточно практичен, чтобы не испытывать зависти к Куку, — он всегда исходил из фактов и реальных возможностей.

Его время пришло через полгода, когда выяснилось, что Пенсильвании понадобится куда больше денег. Солдат, выставленных штатом по разверстке, нужно было обмундировать и содержать. Кроме того, необходимо было провести ряд оборонных мероприятий и вдобавок еще пополнить казну. Законодательное собрание после долгих обсуждений наконец разрешило выпуск внутреннего займа на сумму в двадцать три миллиона долларов. В финансовых кругах оживленно обсуждался вопрос о том, кому будет поручена реализация займа, — в первую очередь называли компании Дрекселя и Джея Кука.

Каупервуд много думал над этим. Если бы ему добиться полномочий на реализацию части этого огромного займа, — едва ли он в состоянии был бы взять его на себя целиком, у него еще не было достаточных связей, — он значительно повысил бы свою репутацию биржевого маклера и в то же время у него очистилось бы немало денег. Какую же сумму он может взять на себя? Вот в чем вопрос. Кто станет приобретать у него облигации? Отцовский банк? Весьма вероятно. «Уотермен и Кь»? На небольшую сумму! Судья Китчен?

Незначительную часть! Компания «Милс-Дэвид»? Да! Он стал перебирать в памяти предприятия и частных лиц, которые по тем или иным соображениям — из побуждений личной дружбы, в силу покладистого характера, признательности за услуги в прошлом и так далее — подписались бы через него на какое-то количество этих семипроцентных облигаций. Фрэнк подытожил свои возможности и обнаружил, что после некоторой предварительной «обработки» он, по всей вероятности, мог бы разместить облигаций на один миллион долларов, если бы влиятельные политические деятели Филадельфии поспособствовали предоставлению ему этой доли займа.

Наибольшие надежды Фрэнк возлагал на некоего Эдварда Мэлию Батлера, у которого были не бросающиеся в глаза, но весьма солидные связи в политическом мире. Батлер был подрядчиком, производившим работы по прокладке канализационных труб и водопроводов, по сооружению фундаментов, мощению улиц и т.д. В давно прошедшие дни, задолго до того как Каупервуд познакомился с ним, Батлер на свой страх и риск брал подряды на вывоз мусора. Город в то время еще не знал систематизированной уборки улиц, тем более на окраинах и в некоторых старых, населенных беднотою районах. Эдвард Батлер, тогда молодой бедняк-ирландец, начал с того, что бесплатно сгребал и убирал отбросы, которые шли на корм его свиньям и скоту. Позднее он обнаружил, что есть люди, готовые кое-что платить за эти услуги. А еще позднее один местный деятель, член муниципалитета и приятель Батлера, — оба они были католиками — взглянул на все это дело с совсем новой точки зрения. Отчего бы не назначить Батлера официальным подрядчиком по уборке

мусора? Муниципалитет может выделить для этой цели ежегодные ассигнования. Батлеру будет дана возможность нанять несколько дюжин мусорных фургонов. Более того, никаких других мусорщиков в городе не останется. Сейчас они, конечно, существуют, но официальный договор между Батлером и муниципалитетом положит конец всякой конкуренции. Частью прибыли от этого весьма выгодного дела придется поступиться, чтобы ублажить и успокоить тех, кого обошли подрядом. Во время выборов надо будет ссужать деньгами некоторые организации и отдельных лиц, но это не беда, речь идет о небольших суммах. Итак, Батлер и член муниципалитета Патрик Гевин Комисский вступили в деловое соглашение (последний, конечно, тайно). Батлер больше уже не разъезжал сам с мусорным фургоном. Он нанял жившего по соседству расторопного ирландского парня, по имени Джимми Шихен, и тот сделался его помощником, управляющим, конюхом, бухгалтером — словом, решительно всем. Вскоре Батлер стал зарабатывать от четырех до пяти тысяч в год, — раньше он с трудом выгонял две тысячи, — переехал в кирпичный дом на южной окраине города и отдал детей в школу. Миссис Батлер бросила варить мыло и разводить свиней. Начиная с этого времени фортуна была неизменно благосклонна к Эдварду Батлеру.

Раньше он не умел ни читать, ни писать, но теперь, конечно, выучился грамоте. Из бесед с мистером Комисским он выяснил, что существуют и другие формы подрядов — например, на прокладку канализационных, водопроводных и газовых магистралей, мощение улиц и так далее. Кому же и взяться за них, как не Эдварду Батлеру? Он знаком со многими членами муниципалитета. Он встречался с ними в задних

комнатках пивных, на пикниках, устраиваемых заправилами города в субботние и воскресные дни, на предвыборных совещаниях и заседаниях, ибо, вкушая от щедрот города, должен был помогать ему не только деньгами, но и советом. Любопытно, что Батлер вскоре обнаружил незаурядную политическую прозорливость. Ему достаточно было взглянуть на человека, чтобы сказать, пойдет ли тот в гору. Многие из его бухгалтеров, управляющих и табельщиков сделались членами муниципалитета или законодательного собрания. Кандидатуры, которые он выдвигал на выборах, обычно проходили с успехом. Сначала он приобрел влияние в районе, где баллотировался в муниципалитет его ставленник, затем в своем избирательном участке, потом на городских собраниях своей партии, конечно вигов [note 10], и, наконец, его стали считать главою самостоятельной политической организации.

Какие-то таинственные силы работали на него в муниципалитете. Ему доставались крупные подряды, он участвовал во всех торгах. О мусороуборочных работах он и думать забыл. Старший сын мистера Батлера, Оуэн, был членом законодательного собрания и компаньоном отца. Второй сын, Кэлем, служил в отделе городского водоснабжения и тоже участвовал в делах отца. Старшая дочь, пятнадцатилетняя Эйлин, еще училась в монастырском пансионе св.Агаты, в Джермантауне. Другая, тринадцатилетняя Нора, самая младшая в семье, была определена в частную школу, находившуюся в ведении католических монахинь. Семья Батлеров переехала из южной части Филадельфии на

Note10 в США буржуазная партия вигов образовалась в 1834 г. для борьбы против президента Эндрю Джексона

Джирард-авеню, поближе к аристократическому кварталу; там уже зарождалась интенсивная «светская» жизнь. Батлеры не принадлежали к избранному кругу, но у главы семьи, пятидесятипятилетнего подрядчика, «стоившего» почти что полмиллиона, нашлось много друзей в мире политическом и финансовом. Да и сам он был уже не прежний «неотесанный детина», но плотный человек с красноватым, слегка обветренным лицом, седовласый, сероглазый, с широкими плечами и могучей грудью — типичный ирландец; богатый жизненный опыт придал его лицу спокойное, умудренное и непроницаемое выражение. Большие руки и ноги напоминали о днях, когда он еще не носил прекрасных костюмов английского сукна и желтых ботинок, но ничего «простецкого» в нем не осталось, напротив, держал он себя с большим достоинством. Правда, говорил Батлер по-прежнему с ирландским акцентом, но всегда живо, любезно и убедительно.

Он один из первых заинтересовался строительством конных железных дорог и, так же как Каупервуд и множество других, пришел к заключению, что это дело с большим будущим. Наилучшим доказательством служила прибыль, которую приносили купленные им акции и паи. Батлер действовал через маклеров, так как не успел вступить в эти предприятия в период их организации. Он скупал акции всех конно-железнодорожных компаний, считая, что перед любой из них открываются прекрасные перспективы, но больше всего ему хотелось целиком заполучить в свои руки контроль над одной или двумя линиями. В соответствии с этим замыслом он подыскивал надежного молодого человека, способного и честного, который действовал бы по его указаниям, делая все, что

ему прикажут. Кто-то рекомендовал ему Каупервуда, и он вызвал его к себе письмом.

Каупервуд не замедлил откликнуться, так как много слышал о Батлере, его карьере, связях и влиянии. Однажды в феврале сухим морозным утром Фрэнк-отправился к нему. Впоследствии он не раз вспоминал эту улицу — широкие кирпичные тротуары, мостовую, слегка припорошенную снегом, чахлые, оголенные деревца и фонарные столбы. Дом Батлера, хотя и не новый, — он отремонтировал его после покупки, — был неплохим образцом архитектуры своего времени. Пятидесяти футов в длину, четырехэтажный, он был сложен из серого известняка; к парадной двери вели четыре широкие белые ступени. Окна с белыми наличниками имели форму широких арок. Изнутри они были завешены кружевными гардинами, и красный плюш мебели, чуть просвечивавший сквозь кружево, выглядел как-то особенно уютно с холодной и заснеженной улицы.

Нарядная горничная-ирландка открыла дверь Каупервуду; он вошел и дал ей свою визитную карточку.

— Мистер Батлер дома?

— Не могу сказать, сэр. Я сейчас узнаю. Возможно, он вышел.

Через несколько минут Фрэнка провели наверх. Батлер принял его в комнате, несколько напоминавшей контору. Там стояли письменный стол, деревянное кресло, кое-какая кожаная мебель и книжный шкаф. Все эти предметы были разрознены и расставлены так, как не расставляют мебель ни в конторе, ни в жилой комнате. На стене висели картины: одна — написанная маслом, что-то совершенно невообразимое! — темная и мрачная; на другой — в розовых и расплывчато-зеленых тонах

изображался канал с плывущей по нему баржей и, наконец, несколько неплохих дагерротипов родных и друзей. Каупервуд обратил внимание на прекрасный, слегка подцвеченный портрет двух девочек. У одной волосы были рыжевато-золотые, у другой каштановые и, должно быть, шелковистые. Это были миловидные, здоровые и веселые девочки кельтского типа; их головки почти соприкасались, глаза в упор смотрели на зрителя. Фрэнк полюбовался ими и решил, что это, наверное, дочери хозяина дома.

— Мистер Каупервуд? — встретил его Батлер; он как-то странно растягивал гласные, да и вообще это был человек медлительный, важный, вдумчивый.

Фрэнк обратил внимание на его крепкую фигуру, могучую, как старый дуб, закаленный дождем и ветрами. Кожа на его лице была туго натянута, да и весь он был какой-то подтянутый и подобранный.

— Да, — ответил Фрэнк.

— У меня есть к вам дельце — насчет покупки акций, и я подумал, что лучше вам прийти сюда, чем мне ездить к вам в контору. Здесь мы можем поговорить с глазу на глаз, кроме того, и годы мои уже не те.

Он поглядел на гостя, чуть сощурив глаза.

Каупервуд улыбнулся.

— Я к вашим услугам, — учтиво отозвался он.

— В настоящее время я заинтересован в том, чтобы выловить на бирже акции некоторых конно-железных дорог. В подробности я вас посвящу позднее. Не выпьете ли чего-нибудь? Утро сегодня холодное.

— Благодарю вас, я никогда не пью.

— Никогда? Нешуточное слово, ежели речь идет о виски! Но так или иначе

— это похвально. Мои сыновья тоже капли в рот не берут, и меня это очень радует. Так вот, я хочу выловить на бирже кое-какие акции, но, скажу вам правду, мне еще важнее найти смекалистого молодого человека, вроде вас, скажем, через которого я мог бы действовать. Вы же сами знаете, что одно дело всегда тянет за собой другое, — и Батлер посмотрел на своего гостя испытующим, но в то же время благожелательным взглядом.

— Совершенно верно, — согласился Каупервуд, приветливо улыбнувшись в ответ на взгляд хозяина дома.

— Н-да, — задумчиво произнес Батлер, обращаясь то ли к Каупервуду, то ли к самому себе, — толковый молодой человек мог бы быть мне очень полезен в делах. У меня двое сыновей, неглупые ребята, но я бы не хотел, чтоб они играли на бирже, да если бы и захотел, не знаю, может, они бы и не сумели. Но дело тут, собственно, не в этом. Я вообще очень занят, и, как я вам говорил, мои годы уже не те. Я теперь не так уж легок на подъем. А будь у меня подходящий молодой человек (кстати, я все разузнал о вашей работе), он мог бы выполнять для меня разные небольшие поручения по части паев и займов — они давали бы кое-что нам обоим. У меня частенько спрашивают совета по тому или иному вопросу молодые люди, которые желали бы вложить свой капитал в дело, так что…

Он замолчал и, как бы поддразнивая гостя, стал смотреть в окно, хорошо зная, что заинтересовал Каупервуда и что разговор о влиянии в деловом мире и о

коммерческих связях еще больше его раззадорит. Батлер дал ему понять, что главное в этих делах — верность, такт, сметливость и соблюдение тайны.

— Что ж, если вы справлялись о моей работе… — заметил Фрэнк, сопровождая свои слова характерной для него мимолетной улыбкой и не договаривая фразы.

Батлер в этих немногих словах почувствовал силу и убедительность. Ему нравились выдержка и уравновешенность молодого человека. О Каупервуде он слышал от многих. (Теперь фирма называлась уже «Каупервуд и Кь», причем «компания» была чисто фиктивная.) Он задал Фрэнку еще несколько вопросов относительно биржи и общего состояния рынка, осведомился, что ему известно насчет железных дорог, и наконец изложил свой план, заключавшийся в том, чтобы скупить как можно больше акций коночных линий Девятой, Десятой, Пятнадцатой и Шестнадцатой улиц, но, по возможности, исподволь и не вызывая шума. Действовать тут надо осторожно, скупая акции частью через биржу, частью же у отдельных держателей. Батлер умолчал о том, что он намерен оказать известное давление на законодательные органы и добиться разрешения на продолжение путей за теперешние конечные пункты, чтобы, когда наступит время приступить к работам, огорошить железнодорожные концерны известием, что крупнейшими их акционерами являются Батлеры, отец или сыновья, — дальновидный план, направленный на то, чтобы в конечном счете эти линии оказались целиком в руках семейства Батлеров.

— Я буду счастлив сотрудничать с вами, мистер Батлер, любым угодным вам образом, — произнес Каупервуд. — Я не скажу, что у меня уже сейчас большое

дело, это еще только первые шаги. Но связи у меня хорошие. Я приобрел собственное место на нью-йоркской и филадельфийской биржах. Те, кому приходилось иметь со мной дело, по-моему, всегда оставались довольны результатами.

— О вашей работе мне кое-что уже известно, — повторил Батлер.

— Очень хорошо. Когда я вам понадоблюсь, вы, может быть, зайдете в мою контору или напишете мне, и я приду к вам. Я сообщу вам свой секретный код, так что все вами написанное останется в строжайшей тайне.

— Ладно, ладно! Сейчас мы больше не будем об этом говорить. Скоро мы вновь встретимся, и тогда в моем банке вам будет открыт кредит на определенную сумму.

Он встал и взглянул в окно. Каупервуд тоже поднялся.

— Кажется, отличная погода сегодня?

— Прекрасная!

— Ну, я уверен, что со временем мы с вами сойдемся ближе.

Он протянул Каупервуду руку.

— Я тоже надеюсь.

Каупервуд направился к выходу, и Батлер проводил его до парадной двери. В эту самую минуту с улицы вбежала молодая, румяная, голубоглазая девушка в ярко-красной пелерине с капюшоном, накинутым на рыжевато-золотистые волосы.

— Ах, папа, я чуть тебя с ног не сбила!

Она улыбнулась отцу, а заодно и Каупервуду, сияющей, лучезарной и беззаботной улыбкой. Зубы у нее были блестящие и мелкие, а губы, как пунцовый бутон.

— Ты сегодня рано вернулась. Я полагал, что ты ушла на весь день.

— Я так и хотела, а потом передумала.

Она прошла дальше, размахивая руками.

— Итак, — продолжал Батлер, когда она скрылась, — подождем денек-другой. До свиданья!

— До свиданья!

Каупервуд спускался по лестнице, радуясь открывавшимся перед ним перспективам финансовой деятельности, и вдруг в его воображении возникла только что виденная им румяная девушка — живое воплощение юности. Какая она яркая, здоровая, жизнерадостная! В ее голосе звучала вся свежесть и бодрая сила пятнадцати или шестнадцати лет. Жизнь била в ней ключом. Лакомый кусочек, который со временем достанется какому-нибудь молодому человеку, и вдобавок ее отец еще обогатит его или по меньшей мере посодействует его обогащению.

12

К Эдварду Мэлии Батлеру и обратился Каупервуд почти два года спустя, когда подумал, что он мог бы достигнуть весьма влиятельного положения, если бы ему поручили распространить часть выпущенного займа. Возможно, Батлер и сам заинтересуется приобретением пакета облигаций, а не то просто поможет ему, Фрэнку, разместить их. К этому времени Батлер уже проникся искренней симпатией к Каупервуду и в книгах последнего значился крупным держателем ценных бумаг. Каупервуду тоже нравился этот плотный, внушительный ирландец. Нравилась ему и вся история жизни Батлера. Он познакомился с его женой, очень полной и флегматичной ирландкой. Она была весьма неглупа, терпеть не могла ничего показного и до сих пор еще любила заходить на кухню и лично руководить стряпней. Фрэнк был уже знаком и с сыновьями Батлера — Оуэном и Кэлемом, и с дочерьми — Норой и Эйлин. Эйлин и была та самая девушка, с которой он столкнулся на лестнице во время первого своего визита к Батлеру позапрошлой зимой.

Когда Каупервуд вошел в своеобразный кабинет-контору Батлера, там уютно пылал камин. Близилась весна, но вечера были еще холодные. Батлер предложил гостю поудобнее устроиться в глубоком кожаном кресле возле огня и приготовился его слушать.

— Н-да, это не такая легкая штука! — произнес он, когда Каупервуд кончил. — Вы ведь лучше меня разбираетесь в этих вещах. Как вам известно, я не финансист, — и он улыбнулся, словно оправдываясь.

— Я знаю только, что это вопрос влияния и протекции, — продолжал Каупервуд. — «Дрексель и Кь»

и «Кук и Кь» имеют связи в Гаррисберге. У них там есть свои люди, стоящие на страже их интересов. С главным прокурором и казначеем штата они в самых приятельских отношениях. Если я предложу свои услуги и даже докажу, что могу взять на себя размещение займа, мне это дело все равно не поручат. Так бывало уже не раз. Я должен заручиться поддержкой друзей, их влиянием. Вы же знаете, как устраиваются такие дела.

— Они устраиваются довольно легко, — сказал Батлер, — когда знаешь наверняка, к кому следует обратиться. Возьмем, к примеру, Джимми Оливера — он должен быть более или менее в курсе дела.

Джимми Оливер был тогда окружным прокурором и время от времени давал Батлеру ценные советы. По счастливой случайности он состоял еще и в дружбе с казначеем штата.

— На какую же часть займа вы метите?

— На пять миллионов.

— Пять миллионов! — Батлер выпрямился в своем кресле. — Да что вы, голубчик? Это ведь огромные деньги! Где же вы разместите такое количество облигаций?

— Я подам заявку на пять миллионов, — мягко успокоил его Каупервуд, — а получить хочу только миллион, но такая заявка подымет мой престиж, а престиж тоже котируется на рынке.

Батлер, облегченно вздохнув, откинулся на спинку кресла.

— Пять миллионов! Престиж! А хотите вы только один миллион? Ну что ж, тогда дело другое!

Мыслишка-то, по правде сказать, неплохая. Такую сумму мы, пожалуй, сумеем раздобыть.

Он потер ладонью подбородок и уставился на огонь.

Уходя в этот вечер от Батлера, Каупервуд не сомневался, что тот его не обманет и пустит в ход всю свою машину. Посему он ничуть не удивился и прекрасно понял, что это означает, когда несколько дней спустя его представили городскому казначею Джулиану Боуду, который в свою очередь обещал познакомить его с казначеем штата Ван-Нострендом и позаботиться о том, чтобы ходатайство Каупервуда было рассмотрено.

— Вы, конечно, знаете, — сказал он Каупервуду в присутствии Батлера, в чьем доме и происходило это свидание, — что банковская клика очень могущественна. Вам известно, кто ее возглавляет. Они не желают, чтобы в дело с выпуском займа совались посторонние. У меня был разговор с Тэренсом Рэлихеном, их представителем там, наверху (он подразумевал столицу штата Гаррисберг), который заявил, что они не потерпят никакого вмешательства в это дело с займом. Вы можете нажить себе немало неприятностей здесь, в Филадельфии, если добьетесь своего, — это ведь очень могущественные люди. А вы уже представляете себе, где вы разместите заем?

— Да, представляю, — отвечал Каупервуд.

— Ну что ж, по-моему, самое лучшее теперь — держать язык за зубами. Подавайте заявку — и дело с концом. Ван-Ностренд, с согласия губернатора, утвердит ее. С губернатором же, я думаю, мы сумеем столковаться. А когда вы добьетесь утверждения, с вами,

вероятно, пожелают иметь крупный разговор, но это уж ваша забота.

Каупервуд улыбнулся своей непроницаемой улыбкой. Сколько всяких ходов и выходов в этом финансовом мире! Целый лабиринт подземных течений! Немного прозорливости, немного сметки, немного удачи — время и случай, — вот что по большей части решает дело. Взять хотя бы его самого: стоило ему ощутить честолюбивое желание сделать карьеру, только желание, ничего больше — и вот у него уже установлена связь с казначеем штата и с губернатором. Они будут самолично разбирать его дело, потому что он этого потребовал. Другие дельцы, повлиятельнее его, имели точно такое же право на долю в займе, но они не сумели этим правом воспользоваться. Смелость, инициатива, предприимчивость — как много они значат, да еще везенье вдобавок.

Уходя, Фрэнк думал о том, как удивятся «Кук и Кь». «Дрексель и Кь», узнав, что он выступил в качестве их конкурента. Дома он поднялся на второй этаж, в маленькую комнату рядом со спальней, которую он приспособил под кабинет, там стояли письменный стол, несгораемый шкаф и кожаное кресло, и стал проверять свои ресурсы. Ему нужно было многое обдумать и взвесить. Он снова пересмотрел список лиц, с которыми уже договорился и на чью подписку мог смело рассчитывать. Проблема размещения облигаций на миллион долларов его не беспокоила; по его расчетам, он должен был заработать два процента с общей суммы, то есть двадцать тысяч долларов. Если дело выгорит, он решил купить особняк на Джирард-авеню, неподалеку от Батлеров, а может быть, еще лучше — приобрести участок и начать строиться. Деньги на постройку он

раздобудет, заложив участок и дом. У отца дела идут весьма недурно. Возможно, и он захочет строиться рядом, тогда они будут жить бок о бок. Контора должна была дать в этом году, независимо от операции с займом, тысяч десять. Вложения Фрэнка в конку, достигавшие суммы в пятьдесят тысяч долларов, приносили шесть процентов годовых. Имущество жены, заключавшееся в их нынешнем доме, облигациях государственных займов и недвижимости в западной части Филадельфии, составляло еще сорок тысяч. Он был богатым человеком, но рассчитывал вскоре стать гораздо богаче. Теперь надо только действовать разумно и хладнокровно. Если операция с займом пройдет успешно, он сможет повторить ее, и даже в более крупном масштабе, ведь это не последний выпуск. Посидев еще немного, он погасил свет и ушел к жене, которая уже спала. Няня с детьми занимала комнату по другую сторону лестницы.

— Ну вот, Лилиан, — сказал он, когда она, проснувшись, повернулась к нему, — мне кажется, что дело с займом, о котором я тебе рассказывал, теперь на мази. Один миллион для размещения я, видимо, получу. Это принесет двадцать тысяч прибыли. Если все пройдет успешно, мы выстроим себе дом на Джирард-авеню. Со временем она станет одной из лучших улиц. Колледж — прекрасное соседство.

— Это будет замечательно, Фрэнк! — сказала она и погладила его руку, когда он присел на край кровати. Но в тоне ее слышалось легкое сомнение.

— Нам нужно быть повнимательнее к Батлерам. Он очень мило со мной обошелся и, конечно, будет нам полезен и впредь. Он приглашал нас с тобой как-нибудь зайти к ним, не следует пренебрегать этим

приглашением. Будь поласковее с его женой. Он может при желании очень многое для меня сделать. У него, между прочим, две дочери. Надо будет пригласить их к нам всей семьей.

— Мы устроим для них обед, — с готовностью откликнулась Лилиан. — Я на днях заеду к миссис Батлер и предложу ей покататься со мной.

Лилиан уже успела узнать, что Батлеры — во всяком случае младшее поколение — любят показной шик, что они весьма чувствительны к разговорам о своем происхождении и что деньги, по их понятиям, искупают решительно все недостатки.

— Старик Батлер — человек весьма респектабельный, — заметил как-то Каупервуд, — но миссис Батлер… да и она, собственно, ничего, но уж очень простовата. Впрочем, это женщина добрая и сердечная.

Фрэнк просил еще жену полюбезней обходиться с Эйлин и Норой, так как отец и мать Батлеры пуще всего гордятся своими дочерьми.

Лилиан в ту пору было тридцать два года, Фрэнку — двадцать семь. Рождение двух детей и заботы о них до некоторой степени изменили ее внешность. Она утратила прежнее обольстительное изящество и стала несколько сухопарой. Лицо ее с ввалившимися щеками напоминало лица женщин с картин Россетти и Берн-Джонса [note 11]. Здоровье было подорвано: уход за двумя детьми и обнаружившиеся в последнее время признаки катара

Note11 Россетти Данте Габриель (1828-1882) и Берн-Джонс Эдуард (1833-1898) — английские художники, принадлежавшие к декадентской школе прерафаэлитов, стремившейся возродить средневековую мистику

желудка отняли у нее много сил. Нервная система ее расстроилась, и временами она страдала приступами меланхолии. Каупервуд все это замечал. Он старался быть с ней по-прежнему ласковым и внимательным, но, обладая умом утилитарным и практическим, не мог не понимать, что рано или поздно у него на руках окажется больная жена. Сочувствие и привязанность, конечно, великое дело, но страсть и влечение должны сохраняться, — слишком уж горька бывает их утрата. Теперь Фрэнк часто засматривался на молодых девушек, жизнерадостных и пышущих здоровьем. Разумеется, похвально, благоразумно и выгодно блюсти добродетель, согласно правилам общепринятого кодекса морали, но если у тебя больная жена?.. Да и вообще, разве человек прикован к своей жене? Неужто ему уж ни на одну женщину и взглянуть нельзя? А что, если по сердцу ему пришлась другая? Фрэнк в свободное время немало размышлял над подобными вопросами и пришел к заключению, что все это не так уж страшно. Если не рискуешь быть разоблаченным, тогда все в порядке. Надо только соблюдать сугубую осмотрительность. Сейчас, когда он сидел на краю жениной кровати, эти мысли вновь пришли ему в голову, ибо днем он видел Эйлин Батлер: она пела, аккомпанируя себе на рояле, когда он проходил через гостиную. Эйлин была похожа на птичку в ярком оперении и дышала здоровьем и радостью. Олицетворенная юность!

«Странно устроен мир!» — подумал Фрэнк. Но эти мысли он глубоко таил в себе и никому не собирался их поверять.

Операция с займом привела к довольно любопытным результатам: правда, Фрэнк выручил свои двадцать тысяч, даже несколько больше, и вдобавок

привлек к себе внимание финансового мира Филадельфии и штата Пенсильвания, но распространять заем ему так и не пришлось. У него состоялось свидание с казначеем штата в конторе одного знаменитого филадельфийского юриста, где казначей обычно занимался делами во время своих наездов в Филадельфию. Он был весьма любезен с Каупервудом — ничего другого ему не оставалось — и объяснил, как в Гаррисберге устраиваются такие дела. Средства для предвыборных кампаний добываются у крупных финансистов. У тех имеются свои ставленники в палате и в сенате штата. Губернатор и казначей, конечно, свободны в своих действиях, но им приходится помнить о существовании таких факторов, как престиж, дружба, общественное влияние и политическое честолюбие. Крупные дельцы нередко образуют замкнутую корпорацию — факт, разумеется, не совсем благовидный. Но, с другой стороны, они как-никак являются законными поручителями при выпуске крупных займов. Штат вынужден поддерживать с ними добрые отношения, особенно в такое время, как сейчас. Поскольку мистер Каупервуд располагает прекрасными возможностями для размещения облигаций на один миллион, — кажется, именно на такую сумму он претендует, — его просьбу следует удовлетворить. Но Ван-Ностренд хочет сделать ему другое предложение. Не согласится ли Каупервуд, — если этого пожелает группа финансистов, реализующая заем, — после утверждения его заявки уступить им за известную компенсацию (равную той прибыли, на которую он рассчитывал) свою долю в размещении займа? Таково желание некоторых финансистов. Сопротивляться им было бы опасно. Они отнюдь не возражают против заявки на пять миллионов, которая

должна поднять престиж Каупервуда. Пусть даже считается, что он разместил один миллион, — они и против этого ничего не имеют. Но они хотят взять на себя нераздельно реализацию всех двадцати трех миллионов долларов одним кушем: так оно будет внушительнее. При этом вовсе незачем кричать во всеуслышание, что Каупервуд отказался от участия в распространении займа. Они согласны дать ему пожать лавры, которые ожидали бы его, если бы он завершил начатое дело. Беда только в том, что это может послужить дурным примером. Найдутся и другие, желающие пойти по его стопам. Но если в узких финансовых кругах из частных источников распространится слух, что на него было оказано давление и он, получив отступные, отказался от участия в размещении займа, то в будущем это удержит других от подобного шага. Если же Каупервуд не согласится на предложенные ему условия, ему могут причинить всевозможные неприятности. Например: потребовать погашения его онкольных ссуд. Во многих банках с ним в дальнейшем будут менее предупредительны. Его клиентуру могут тем или иным путем отпугнуть.

Каупервуд понял. И… согласился. Поставить на колени стольких сильных мира сего — это одно уже кое-чего стоит! Итак, о нем прослышали, поняли, что он такое. Очень хорошо, превосходно! Он возьмет свои двадцать тысяч долларов или около того и ретируется. Казначей тоже был в восторге. Это позволяло ему выйти из весьма щекотливого положения.

— Я рад, что повидался с вами, — сказал он, — рад, что мы вообще встретились. Когда я снова буду в этих краях, я загляну к вам, и мы вместе позавтракаем.

Казначей почуял, что имеет дело с человеком, который даст ему возможность подработать. У Каупервуда был на редкость проницательный взгляд, а его лицо свидетельствовало о живом и гибком уме. Вернувшись к себе, он рассказал о молодом финансисте губернатору и некоторым знакомым дельцам.

Распределение займа для реализации было наконец утверждено. После секретных переговоров с заправилами фирмы «Дрексель и Кь» Каупервуд получил от них двадцать тысяч долларов и передал им свое право на участие в этом деле. Теперь в его конторе время от времени стали показываться новые лица, среди них Ван-Ностренд и уже упомянутый нами Тэренс Рэлихен, представитель другой политической группы в Гаррисберге. Однажды за завтраком в ресторане Фрэнка познакомили с губернатором. Его имя стало упоминаться в газетах, он быстро вырастал в глазах общества.

Фрэнк вместе с молодым Элсуортом незамедлительно принялся за разработку проекта своего нового дома. Будет построено нечто исключительное, заявил он жене. Теперь им придется устраивать большие приемы. Фронт-стрит для них уже слишком тихая улица. Фрэнк дал объявление о продаже старого дома, посоветовался с отцом и выяснил, что и тот не прочь переехать. Успех сына благоприятно отозвался и на карьере отца. Директора банка день ото дня становились с ним любезнее. В следующем году председатель правления банка Кугель собирался выйти в отставку. Старого Каупервуда, благодаря блестящей финансовой операции, проведенной его сыном, а также долголетней службе, прочили на этот пост. Фрэнк делал крупные займы в его банке, а следовательно, был и крупным вкладчиком. Весьма положительно оценивалась и его

деловая связь с Эдвардом Батлером. Фрэнк снабжал заправил банка сведениями, которых без него они не могли бы добыть. Городской казначей и казначей штата стали интересоваться этим банком. Каупервуду-старшему уже мерещился двадцатитысячный оклад председателя правления, и в значительной мере он был обязан этим сыну. Отношения между обеими семьями теперь не оставляли желать ничего лучшего. Анна (ей уже исполнился двадцать один год), Эдвард и Джозеф часто проводили вечера в доме брата. Лилиан почти ежедневно навещала его мать. Каупервуды оживленно обменивались семейными новостями, и наконец решено было строиться рядом. Каупервуд-старший купил участок в пятьдесят футов рядом с тридцатифутовым участком сына, и они вместе приступили к постройке двух красивых и удобных домов, которые должны были соединиться между собою галереей, так называемой перголой, открытой летом и застекленной зимой.

Для облицовки фасада был выбран зеленый гранит, широко распространенный в Филадельфии, но мистер Элсуорт обещал придать этому камню вид, особенно приятный для глаза. Каупервуд-старший решил, что может позволить себе истратить на постройку семьдесят пять тысяч долларов (его состояние уже оценивалось в двести пятьдесят тысяч), а Фрэнк собирался рискнуть пятьюдесятью тысячами, получив эту сумму по закладной. В то же время он намеревался перевести свою контору в отдельное здание, на той же Третьей улице, но южнее. Ему стало известно, что там продается дом с фасадом в двадцать пять футов длиною, правда, старый, но если облицевать его темным камнем, то он приобретет весьма внушительный вид. Мысленному взору Фрэнка уже рисовалось красивое здание с

огромным зеркальным окном, сквозь которое видна деревянная обшивка внутренних стен, а на дверях или сбоку от них бронзовыми буквами значится: «Каупервуд и Кь». Смутно, но уже различимо, подобно розоватому облачку на горизонте, виделось ему его будущее. Он будет богат, очень, очень богат!

13

В то время как Каупервуд неуклонно продвигался вперед по пути жизненных успехов, великая война против восставшего Юга близилась к концу. Стоял октябрь 1864 года. Взятие Мобиля и «битва в лесных дебрях» [note 12] были еще свежи в памяти всех. Грант стоял уже на подступах к Питерсбергу, а доблестный генерал южан Ли предпринимал последние блестящие и безнадежные попытки спасти положение, используя все свои способности стратега и воина. Иногда, например, в ту томительно долгую пору, когда вся страна ждала падения Виксберга или победоносного наступления армии, стоявшей на реке Потомак, а Ли меж тем вторгся в Пенсильванию, акции стремительно понижались в цене и рынок приходил в состояние крайнего упадка. В такие минуты Каупервуд призывал на помощь всю свою изворотливость; ему приходилось каждое мгновение быть начеку, чтобы все нажитое им не пошло прахом из-за каких-нибудь непредвиденных и пагубных вестей.

Личное его отношение к войне — независимо от его патриотических чувств, требовавших сохранения целостности Союза [note 13], — сводилось к мнению, что это разрушительное и дорогостоящее предприятие. Он не был настолько чужд национальной гордости, чтобы не сознавать, что Соединенными Штатами, которые теперь раскинулись от Атлантического океана до Тихого и от

Note12 сражение под г.Мобилем (штат Алабама) и «битва в лесных дебрях» (штат Виргиния), происшедшие в 1864 г., были крупными событиями в войне Севера и Юга

Note13 под Союзом подразумеваются Соединенные Штаты

снегов Канады до Мексиканского залива, нельзя не дорожить. Родившись в 1837 году, Каупервуд был свидетелем того, как страна добивалась территориальной целостности (если не считать Аляски). В дни его юности США обогатились купленной у испанцев Флоридой; Мексика, после несправедливой войны, уступила в 1848 году Техас и территорию к западу от него. Уладились, наконец, пограничные споры между Англией и Соединенными Штатами на далеком северо-западе. Человек с широкими взглядами на социальные и финансовые вопросы не мог не понимать всего значения этих фактов. Во всяком случае, они внушали Каупервуду сознание неограниченных коммерческих возможностей, таившихся в таком обширном государстве. Он не принадлежал к разряду финансовых авантюристов или прожектеров, усматривавших источники беспредельной наживы в каждом неисследованном ручье, в каждой пяди прерии; но уже сами размеры страны говорили о гигантских возможностях, которые, как надеялся Фрэнк, можно будет оградить от каких бы то ни было посягательств. Территория, простирающаяся от океана до океана, таила в себе потенциальные богатства, которые были бы утрачены, если бы Южные штаты отложились от Северных.

В то же время проблема освобождения негров не казалась Каупервуду существенной. Он с детства наблюдал за представителями этой расы, подмечал их достоинства и недостатки, которые считал врожденными, и полагал, что этим-то и обусловлена их судьба.

Так, например, он вовсе не был уверен, что неграм может быть предназначена большая роль, чем та, которую они играли. Во всяком случае, им предстоит еще долгая и трудная борьба, исхода которой не узнают

ближайшие поколения. У него не было особых возражений против теории, требовавшей для них свободы, но он не видел и причин, по которым южане не должны были бы всеми силами противиться посягательствам на их достояние и экономический строй. Очень жаль, конечно, что в некоторых случаях с черными невольниками обращаются плохо. Он считал, что этот вопрос следует пересмотреть, но не видел никаких серьезных этических оснований для той борьбы, которую вели покровители чернокожих. Он сознавал, что положение огромного большинства мужчин и женщин мало чем отличается от положения рабов, несмотря на то, что их будто бы защищает конституция страны. Ведь существовало духовное рабство, рабство слабых духом и слабых телом. Каупервуд с живым интересом следил за выступлениями Сэмнера, Гаррисона, Филиппса и Бичера [note 14], но никогда не считал эту проблему жизненно важной для себя. Он не имел охоты быть солдатом или командовать солдатами и не обладал полемическим даром; по самому складу своего ума он не принадлежал к любителям дискуссий даже в области финансов. Его интересовало лишь то, что могло оказаться выгодным для него, и выгоде были посвящены все его помыслы. Братоубийственная война на его родине не могла принести ему пользы. По его мнению, она только мешала стране окрепнуть в торговом и финансовом отношении, и он надеялся на скорый конец этой войны. Он не предавался горьким сетованиям на высокие военные налоги, хотя знал, что для многих это тяжелое испытание. Рассказы о смертях и несчастьях очень

Note14 известные поборники освобождения негров

Note14 известные поборники освобождения негров

трогали его, но, увы, таковы превратности человеческой жизни, и не в его силах что-либо изменить в ней! Так шел он своим путем, изо дня в день наблюдая за приходом и уходом воинских отрядов, на каждом шагу встречая кучки грязных, исхудалых, оборванных и полубольных людей, возвращавшихся с поля битвы или из лазаретов; ему оставалось лишь жалеть их. Эта война была не для него. Он не принимал в ней участия и знал только, что будет очень рад ее окончанию — не как патриот, а как финансист. Она была разорительной, трагической, несчастливой.

Дни шли за днями. За это время состоялись выборы в местные органы власти и сменились городской казначей, налоговый уполномоченный и мэр. Но Эдвард Мэлия Батлер, видимо, продолжал пользоваться прежним влиянием. Между Батлерами и Каупервудами установилась тесная дружба. Миссис Батлер была очень расположена к Лилиан, хотя они исповедовали разную веру; обе женщины вместе катались в экипаже, вместе ходили по магазинам; правда, миссис Каупервуд относилась к своей старшей приятельнице несколько критически и слегка стыдилась ее малограмотной речи, ирландского выговора и вульгарных вкусов, точно сама она происходила не из такой же плебейской семьи. Но, с другой стороны, она не могла не признать, что эта женщина очень добра и сердечна. Живя в большом достатке, она любила делать людям приятное, задаривала и ласкала Лилиан и ее детей.

«Ну, вы смотрите, беспременно приходите отобедать с нами!» (Батлеры достигли уже той степени благосостояния, когда принято обедать поздно.) Или: «Вы должны покататься со мною завтра!»

«Эйлин, дай ей бог здоровья, славная девушка!» Или: «Норе, бедняжке, нынче чего-то неможется».

Однако Эйлин, с ее капризами, задорным нравом, требованием внимания к себе и тщеславием, раздражала, а порой даже возмущала миссис Каупервуд. Эйлин теперь уже было восемнадцать лет, и во всем ее облике сквозила какая-то коварная соблазнительность. Манеры у нее были мальчишеские, порой она любила пошалить и, несмотря на свое монастырское воспитание, восставала против малейшего стеснения ее свободы. Но при этом в голубых глазах Эйлин светился мягкий огонек, говоривший об отзывчивом и добром сердце.

Стремясь воспитать дочь, как они выражались, «доброй католичкой», родители Эйлин в свое время выбрали для нее церковь св.Тимофея и монастырскую школу в Джермантауне. Эйлин познакомилась там с католическими догматами и обрядами, но ничего не поняла в них. Зато в ее воображении глубоко запечатлелись: храм, с его тускло поблескивающими окнами, высокий белый алтарь и по обе стороны от него статуи св.Иосифа и девы Марии в голубых, усыпанных золотыми звездами одеяниях, с нимбами вокруг голов и скипетрами в руках. Храм вообще, а любой католический храм тем более, радует глаз и умиротворяет дух. Алтарь, во время мессы залитый светом пятидесяти, а то и больше свечей, кажущийся еще более величественным и великолепным благодаря богатым кружевным облачениям священников и служек, прекрасные вышивки и яркая расцветка риз, ораря и нарукавников нравились девушке и пленяли ее воображение. Надо сказать, что в ней всегда жила тяга к великолепию, любовь к ярким краскам и «любовь к любви». Эйлин с малых лет чувствовала себя женщиной. Она никогда не стремилась

вникать в суть вещей, не интересовалась точными знаниями. Таковы почти все чувственные люди. Они нежатся в лучах солнца, упиваются красками, роскошью, внешним великолепием и дальше этого не идут. Точность представлений нужна душам воинственным, собственническим, и в них она перерождается в стремление к стяжательству. Властная чувственность, целиком завладевающая человеком, не свойственна ни активным, ни педантичным натурам.

Сказанное выше необходимо пояснить применительно к Эйлин. Несправедливо было бы утверждать, что в то время она уже была явно чувственной натурой. Все это еще дремало в ней. Зерно не скоро дает урожай. Исповедальня, полумрак в субботние вечера, когда церковь освещалась лишь несколькими лампадами, увещания патера, налагаемая им епитимья и отпущение грехов, нашептываемые через решетчатое окошко, смутно волновали ее. Грехов своих она не страшилась. Ад, ожидающий грешников, не пугал Эйлин. Угрызения совести ее не терзали. Старики и старухи, которые ковыляли в церковь и, бормоча слова молитвы, перебирали четки, для нее мало чем отличались от фигур в своеобразном строе деревянных идолов, призванных подчеркивать святость креста. Ей нравилось, особенно в возрасте четырнадцати — пятнадцати лет, исповедоваться, прислушиваясь к голосу духовника, все свои наставления начинавшего словами: «Так вот, возлюбленное дитя мое...» Один старенький патер — француз, исповедовавший воспитанниц монастырского пансиона, своей добротой и мягкостью особенно трогал Эйлин. Его благословения звучали искренне, куда искренней, чем ее молитвы, которые она читала торопливо и невнимательно. Позднее ее

воображением завладел молодой патер церкви св.Тимофея, отец Давид, румяный здоровяк с завитком черных волос на лбу, не без щегольства носивший свой пастырский головной убор; по воскресеньям он проходил меж скамьями, решительными, величественными взмахами руки кропя паству святой водой. Он принимал исповедь, и Эйлин любила иногда шепотом поверять ему приходившие ей в голову греховные мысли, стараясь при этом угадать, что думает о ней духовник. Как бы она того ни желала, она не могла видеть в нем представителя божественной власти. Он был слишком молодым, слишком обыкновенным человеком. И в ее манере с упоением рассказывать о себе, а потом смиренно, с видом кающейся грешницы, направляться к выходу было что-то коварное, задорное и поддразнивающее. В школе св.Агаты она считалась «трудной» воспитанницей, ибо, как вскоре заметили добрые сестры, была слишком жизнерадостна, слишком полна энергии, чтобы подчиняться чужой воле.

— Эта мисс Батлер, — сказала однажды мать-настоятельница сестре Семпронии, непосредственной наставнице Эйлин, — очень бойкая девица. Вы наживете с ней немало хлопот, если не проявите достаточно такта. По-моему, вам надо пойти на мелкие уступки. Так вы, пожалуй, большего от нее добьетесь.

С тех пор сестра Семпрония старалась угадывать желания Эйлин, а временами даже им попустительствовала. Но и это не всегда удавалось монахине — девушка была преисполнена сознанием отцовского богатства и своего превосходства над другими. Правда, иногда у нее вдруг являлось желание съездить домой или же она просила у сестры-наставницы

разрешения поносить ее четки из крупных бус с крестом черного дерева и серебряной фигуркой Христа — в пансионе эти вчиталось большим почетом. Подобные преимущества, а также и другие — разрешение прогуливаться в субботу вечером по монастырским землям, рвать сколько угодно цветов, иметь несколько лишних платьев, носить украшения — предлагались ей в награду, лишь бы она тихо вела себя в классе, тихо ходила и тихо разговаривала (насколько это было в ее силах!), не забиралась в дортуары к другим девушкам после того, как гасили свет, и, внезапно проникнувшись нежностью к той или иной сестре-воспитательнице, не душила ее в объятиях. Эйлин любила музыку и очень хотела заниматься живописью, хотя никаких способностей к живописи у нее не было. Книги, главным образом романы, тоже интересовали ее, но достать их было негде. Все остальное — грамматику, правописание, рукоделие, закон божий и всеобщую историю — она ненавидела. Правила хорошего тона — это, пожалуй, еще было интересно. Ей нравились вычурные реверансы, которым ее учили, и она часто думала о том, как будет приветствовать ими гостей, вернувшись в родительский дом.

Когда только Эйлин вступила в жизнь, все тонкие различия в положении отдельных слоев местного общества начали ее волновать; она страстно желала, чтобы отец построил хороший особняк, вроде тех, какие она видела у других, и открыл ей дорогу в общество. Желание это не сбылось, и тогда все ее помыслы обратились на драгоценности, верховых лошадей, экипажи и, конечно, множество нарядов — все, что она могла иметь взамен. Дом, в котором они жили, не позволял устраивать большие приемы, и Эйлин уже в

восемнадцать лет познала муки уязвленного самолюбия. Она жаждала другой жизни! Но как ей было осуществить свои мечты?

Комната Эйлин, полная нарядов, красивых безделушек, драгоценностей, надевать которые Эйлин случалось лишь изредка, туфель, чулок, белья и кружев, могла бы служить образцом для изучения слабостей нетерпеливой и тщеславной натуры. Эйлин знала все марки духов и косметики (хотя в последней она ничуть не нуждалась) и в изобилии накупала то и другое. Аккуратность не была ее отличительной чертой, а показную роскошь она очень любила. Пышное нагромождение портьер, занавесей, безделушек и картин в ее комнате плохо сочеталось со всем остальным убранством дома.

Эйлин всегда вызывала у Каупервуда представление о невзнузданной норовистой лошадке. Он нередко встречал ее, когда она ходила с матерью по магазинам или же каталась с отцом, и его неизменно смешил и забавлял скучающий тон, какой она напускала на себя в разговоре с ним.

— О господи, боже мой! Как скучно жить на свете! — говорила она, тогда как на самом деле каждое мгновение жизни для нее было исполнено трепетной радости. Каупервуд точно охарактеризовал ее духовную сущность: девушка, в которой жизнь бьет ключом, романтичная, увлеченная мыслями о любви и обо всем, что несет с собой любовь. Когда он смотрел на нее, ему казалось, что он видит полнейшее совершенство, какое могла бы создать природа, если бы попыталась сотворить нечто физически идеальное. У него мелькнула мысль, что в скором времени какой-нибудь счастливчик женится на

ней и увезет ее с собой. Но тот, кому она достанется, вынужден будет удерживать ее обожанием, тонкой лестью и неослабным вниманием.

— Это маленькое ничтожество (меньше всего она была ничтожеством) воображает, что весь свет в кармане у ее отца, — заметила однажды Лилиан в разговоре с мужем. — Послушать ее, так можно подумать, что Батлеры ведут свой род от ирландских королей! А ее деланный интерес к музыке и к искусству просто смешон.

— Ну, не будь уж слишком строга к ней! — дипломатично успокаивал ее Каупервуд (в то время Эйлин уже очень нравилась ему). — Она хорошо играет, и у нее приятный голос.

— Это верно, но она лишена настоящего вкуса. Да и откуда ему взяться? Достаточно посмотреть на ее отца и мать!

— Я лично, право же, не вижу в ней ничего плохого, — стоял на своем Каупервуд. — У нее веселый нрав, и она хороша собой. Конечно, она еще совсем ребенок и немного тщеславна, но это у нее пройдет. К тому же она неглупа и энергична.

Эйлин — он это знал — была очень расположена к нему. Он ей нравился. Она любила играть на рояле и петь, бывая у него в доме, причем пела только в его Присутствии. Его уверенная, твердая походка, сильное тело и красивая голова — все привлекало ее. Несмотря на свою суетность и свой эгоцентризм, она временами несколько робела перед ним. Но, как правило, в его присутствии становилась особенно весела и обворожительна.

Самое безнадежное дело на свете — пытаться точно определить характер человека. Каждая личность — это клубок противоречий, а тем более личность одаренная.

Поэтому невозможно исчерпывающе описать Эйлин Батлер. Умом она несомненно обладала, хотя неотточенным и примитивным, а также силой характера, временами обуздываемой воззрениями и условностями современного ей общества, временами же проявлявшейся стихийно и скорее положительно, чем отрицательно. Ей только что исполнилось восемнадцать лет, и такому человеку, как Фрэнк Каупервуд, она казалась очаровательной. Все ее существо было проникнуто тем, чего он раньше не встречал ни в одной женщине и никогда ни от одной из них сознательно не требовал, — живостью и жизнерадостностью. Но ведь ни одна девушка или женщина из тех, кого он когда-либо знал, не обладала этой врожденной жизненной силой. Ее волосы, рыжевато-золотистые — собственно, цвета червонного золота с чуть заметным рыжеватым отливом, — волнами подымались надо лбом и узлом спадали на затылок. У нее был безукоризненной формы нос, прямой, с маленькими ноздрями, и глаза, большие, с волнующим и чувственным блеском. Каупервуду нравился их голубовато-серый — ближе к голубому — оттенок. Ее туалеты невольно вызывали в памяти запястья, ножные браслеты, серьги и нагрудные чаши одалисок, хотя ничего подобного она, конечно, не носила. Много лет спустя Эйлин призналась ему, что с удовольствием выкрасила бы ногти и ладони в карминный цвет. Здоровая и сильная, она всегда интересовалась, что думают о ней мужчины и какой она кажется им в сравнении с другими женщинами.

Разъезжать в экипажах, жить в красивом особняке на Джирард-авеню, бывать в таких домах, как дом Каупервудов, — все это значило для нее очень много; но уже и в те годы она понимала, что смысл жизни не только в этих привилегиях. Живут же люди и не имея их.

И все же богатство и превосходство над другими кружили ей голову. Сидя за роялем, катаясь, гуляя или стоя перед зеркалом, она была преисполнена сознанием своей красоты, обворожительности, сознанием того, что это значит для мужчин и какую зависть внушает женщинам. Временами при виде бедных, плоскогрудых и некрасивых девушек она проникалась жалостью; временами в ней вспыхивала необъяснимая неприязнь к какой-нибудь девице или женщине, дерзнувшей соперничать с ней красотою или положением в обществе. Случалось, что дочери из видных семейств, встретившись с Эйлин в роскошных магазинах на Честнат-стрит или на прогулке в парке, верхом или в экипаже, задирали носы в доказательство того, что они лучше воспитаны и что это им известно. При таких встречах обе стороны обменивались уничтожающими взглядами. Эйлин страстно желала проникнуть в высшее общество, хотя хлыщеватые джентльмены из этого круга нимало не привлекали ее. Она мечтала о настоящем мужчине. Время от времени ей на глаза попадался молодой человек «вроде как подходящий», но обычно это были знакомые ее отца, мелкие политические деятели или члены местного законодательного собрания, стоявшие не выше на социальной лестнице, поэтому они быстро утрачивали для нее всякий интерес и надоедали ей. Старик Батлер не знал никого из подлинно избранного общества. Но мистер Каупервуд… он казался таким изысканным, сильным и сдержанным; глядя на миссис

Каупервуд, Эйлин часто думала, как должна быть счастлива его жена.

14

Быстрое продвижение Каупервуда, главы фирмы «Каупервуд и Кь», последовавшее за блестящей операцией с займом, привело его в конце концов к встрече с человеком, весьма значительно повлиявшим на его жизнь в моральном, финансовом и во многих других отношениях. Это был Джордж Стинер, новый городской казначей, игрушка в руках других, который и сделался-то важной персоной именно по причине своего слабоволия. До назначения на этот пост Стинер работал мелким страховым агентом и комиссионером по продаже недвижимого имущества. Такие люди, как он, встречаются тысячами на каждом шагу — без малейшей прозорливости, без подлинной тонкости ума, без изобретательности, без каких бы то ни было дарований. За всю свою жизнь он не высказал ни единой свежей мысли. Правда, никто не мог бы назвать его плохим человеком. Наружность у него была какая-то тоскливая, серая, безнадежно обыденная, но объяснялось это не столько его внешним, сколько духовным обликом. Голубовато-серые, водянистые глаза, жидкие светлые волосы, безвольные, невыразительные губы. Стинер был довольно высок, почти шести футов ростом, довольно плечист, но весь какой-то нескладный. Он имел привычку слегка сутулиться, а брюшко у него немного выдавалось вперед. Речь его состояла из сплошных общих мест — газетная и обывательская болтовня да коммерческие сплетни. Знакомые и соседи относились к нему неплохо. Его считали честным и добрым, да таким он, пожалуй, и был. Жена его и четверо детей были тусклы и ничтожны, какими обычно бывают жены и дети подобных людей.

Вопреки всему этому — а с точки зрения политики, пожалуй, именно благодаря этому — Джордж Стинер временно оказался в центре общественного внимания, чему способствовали известные политические методы, уже с полсотни лет практиковавшиеся в Филадельфии. Во-первых, Стинер держался тех же политических взглядов, что и господствующая партия; члены городского совета и заправилы его округа знали его как верного человека, к тому же весьма полезного при сборе голосов во время предвыборных кампаний. Во-вторых, хотя он никуда не годился как оратор, ибо не мог выжать из себя ни одной оригинальной мысли, его можно было посылать из дома в дом разузнавать настроения бакалейщиков, кузнецов или мясников; он со всеми заводил дружбу и в результате мог довольно точно предсказать исход выборов. Более того, его можно было «начинить» несколькими избитыми фразами, которые он и твердил изо дня в день, к примеру: «Республиканская партия (партия только что возникшая, но уже стоявшая у власти в Филадельфии) нуждается в вашем голосе. Нельзя допустить к управлению штатом этих мошенников-демократов». Почему нельзя — Стинер уже вряд ли мог бы объяснить. Они отстаивают рабство. Ратуют за свободу торговли [note 15]. Ему никогда и в голову не приходило, что все это не имеет ни малейшего касательства к исполнительным и финансовым органам города Филадельфии. Повинны демократы в этих грехах или неповинны — что от этого изменялось?

Note15 южане (и поддерживавшая их демократическая партия) требовали свободы торговли, выгодной для экспорта хлопка; северяне (и республиканская партия), напротив, настаивали на протекционизме и высоких ввозных пошлинах для ограждения промышленности от европейской конкуренции

Политическими судьбами города в те времена заправляли некий Марк Симпсон, сенатор Соединенных Штатов, Эдвард Мэлия Батлер и Генри Молленхауэр, богатый торговец углем и финансовый воротила. У них был целый штат агентов, приспешников, доносчиков и подставных лиц. Среди этих людей числился и Стинер — мелкое колесико в бесшумно работавшей машине их политических интриг.

Едва ли такой человек мог быть избран казначеем в другом городе, но население Филадельфии отличалось поразительным равнодушием ко всему на свете, кроме своих обывательских дел. Подавляющее большинство жителей, за редким исключением, не имело собственных политических взглядов. Политика была отдана на откуп клике дельцов. Должности распределялись между теми или иными лицами, теми или иными группами в награду за оказанные услуги. Ну, да кто не знает, как вершится такая «политика»!

Итак, с течением времени Джордж Стинер сделался persona grata [note 16] в глазах Эдварда Стробика, который стал сперва членом муниципалитета, потом заправилой своего округа и, наконец, председателем муниципалитета, а в частной жизни — владельцем каменоломни и кирпичного завода. Стробик был прихвостнем Генри Молленхауэра, самого матерого и хищного из этой тройки политических лидеров. Когда Молленхауэр своекорыстно добивался чего-нибудь от муниципалитета, Стробик служил покорным орудием в его руках. По указке Молленхауэра Стинер был избран в муниципалитет, а так как он послушно отдал свой голос

Note16 важное лицо (лат.)

за того, за кого ему приказали, то его сделали помощником заведующего дорожным управлением.

Здесь он попал в поле зрения Эдварда Мэлии Батлера и начал оказывать ему небольшие услуги. Несколько позднее политический комитет республиканской партии с Батлером во главе решил, что на посту городского казначея нужен человек мягкий, послушный и в то же время безусловно преданный; таким образом имя Стинера попало в избирательный бюллетень. Стинер слабо разбирался в финансовых вопросах, хотя и был превосходным бухгалтером; но разве юрисконсульт Риган — такое же бессловесное орудие в руках всемогущего триумвирата — не мог в любое время подать ему полезный совет? Конечно, мог. Итак, проведение кандидатуры Стинера трудностей не представило. Попасть в список кандидатов было уже равносильно избранию. И после нескольких недель утомительных публичных выступлений, когда он, запинаясь, лепетал избитые фразы о том, что Филадельфии прежде всего необходимо честное городское самоуправление, Стинера официально ввели в должность. Вот и все.

Вопрос о том, насколько административные и финансовые способности Джорджа Стинера соответствовали этой должности, не играл бы, вообще говоря, никакой роли, если бы Филадельфия — как ни один другой город — не страдала в тот период от крайне не удачной финансовой системы или, вернее, от полного отсутствия таковой. Дело в том, что налоговому уполномоченному и казначею предоставлялось право накапливать и хранить принадлежащие городу средства вне городских сейфов, причем никто с них даже не требовал, чтобы эти деньги приносили доход городу.

Упомянутым должностным лицам вменялось в обязанность ко времени ухода с поста возвратить только основной капитал.

Нигде не предусматривалось, чтобы средства, накопленные таким образом или полученные из любого другого источника, хранились в неприкосновенности в сейфах городского казначейства. Эти деньги могли быть отданы в рост, депонированы в банках или использованы для финансирования частных предприятий, лишь бы был возвращен основной капитал. Разумеется, подобная финансовая политика не была официально санкционирована, но о ней знали и политические круги, и пресса, и крупные финансисты. Так как же можно было положить этому конец?

Вступив в деловой контакт с Эдвардом Мэлией Батлером, Каупервуд, помимо своей воли и сам того, в сущности, не сознавая, оказался вовлеченным в круг порочных и недостойных махинаций. Семь лет назад, уходя из конторы «Тай и Кь», он дал зарок никогда больше не заниматься игрой на бирже. Теперь же он снова ей предался, только с еще большей страстностью, ибо работал уже на самого себя, на фирму «Каупервуд и Кь», и горел желанием удовлетворить своих новых клиентов — представителей могущественного мира, которые все чаще и чаще прибегали к его услугам. У всех этих людей водились деньги, пусть даже небольшие. Все они раздобывали закулисную информацию и поручали Каупервуду покупать для них те или иные акции под залог, так как его имя было знакомо многим политическим деятелям и он считался весьма надежным человеком. Да таким он и был. До этого времени он не спекулировал и не играл на бирже за собственный счет. Он даже часто успокаивал себя мыслью, что за все эти

годы ни разу не выступал на бирже от своего имени, строго придерживаясь поставленного себе правила ограничиваться исполнением чужих поручений. И вот теперь к нему явился Джордж Стинер с предложением, которое нельзя было вполне отождествлять с биржевой игрой, хотя по существу оно ничем от нее не отличалось.

Необходимо тут же пояснить, что еще задолго до Гражданской войны и во время ее в Филадельфии практиковался обычай при недостаточности наличных средств в казначействе выпускать так называемые городские обязательства, иначе говоря, те же векселя, из шести процентов годовых, срок которых истекал иногда через месяц, иногда через три, иногда через шесть, в зависимости от суммы и от того, когда, по мнению казначея, город сможет выкупить и погасить эти обязательства. Это был обычный способ расплаты и с мелкими торговцами и с крупными подрядчиками. Но первым — поставщикам городских учреждений — в случае нужды в наличных деньгах приходилось учитывать эти векселя обычно из расчета девяносто за сто, тогда как вторые имели возможность выждать и попридержать таковые до истечения срока. Подобная система была, конечно, явно убыточна для мелкого торгового люда, но зато очень выгодна для крупных подрядчиков и банкирских контор, ибо сомнений в том, что город в своз время уплатит по этим обязательствам, быть не могло, а при такой абсолютной их надежности шесть процентов годовых были отличной ставкой. Скупая обязательства у мелких торговцев по девяносто центов за доллар, банки и маклеры, если только они имели возможность выждать, в конечном итоге загребали крупные куши.

Первоначально городской казначей, вероятно, не намеревался вводить в убыток кого-либо из своих сограждан — возможно, что тогда в казначействе действительно не было наличных средств для выплаты. Однако впоследствии выпуск этих обязательств уже ничем не оправдывался, ибо городское хозяйство могло бы вестись экономнее. Но к тому времени эти обязательства, как легко можно себе представить, уже сделались источником больших барышей для владельцев маклерских контор, банкиров и крупных спекулянтов, и посему выпуск их неизменно предусматривался финансовой политикой города.

Однако и в этом деле имелась своя оборотная сторона. Чтобы использовать создавшееся положение с наибольшей для себя выгодой, крупный банкир, держатель обязательств, должен был быть еще и «своим человеком», то есть находиться в добрых отношениях с политическими заправилами города; иначе, когда у него появлялась потребность в наличных деньгах и он приходил со своими обязательствами к городскому казначею, то оказывалось, что расчет по ним произведен быть не может. Но стоило ему передать их какому-нибудь банкиру или маклеру, близко стоящему к правящей клике, тогда дело другое! Городское казначейство немедленно изыскивало средства для их оплаты. Или же, если это устраивало маклера или банкира — разумеется, «своего», — срок действия векселей, выданных на три месяца и уже подлежащих выкупу, пролонгировался еще на многие годы и по ним по-прежнему выплачивалось шесть процентов годовых, хотя бы город и располагал средствами для их погашения. Так шло тайное и преступное ограбление городской кассы. «Нет денег!» — эта формула покрывала все махинации. Широкая публика

ничего не знала. Да и откуда ей было знать? Газеты не проявляли достаточной бдительности, так как многие из них были на откупе у той же правящей клики. Из людей, имевших хоть какой-то политический вес, не выдвигались настойчивые и убежденные борцы против этих злоупотреблений. За время войны общая сумма непогашенных городских обязательств с выплатой шести процентов годовых выросла до двух с лишним миллионов долларов, и дело стало принимать скандальный оборот. Кроме того, некоторые из вкладчиков вздумали требовать свои деньги обратно.

И вот для покрытия этой просроченной задолженности и для того, чтобы все снова было «шито-крыто», городские власти решили выпустить заем примерно на два миллиона долларов — особой точности в сумме не требовалось

— в виде процентных сертификатов [note 17] номиналом по сто долларов, подлежавших выкупу частями, через шесть, двенадцать и восемнадцать месяцев. Сертификаты, для выкупа которых выделялся амортизационный фонд [note 18], поступали в открытую продажу, а на вырученные за них деньги предполагалось выкупить давно просроченные обязательства, в последнее время вызывавшие столько нежелательных толков.

Совершенно очевидно, что вся эта комбинация сводилась к тому, чтобы отнять у одного и уплатить другому. Фактически ни о каком выкупе просроченных

Note17 сертификаты — здесь: билеты, облигации займа

Note18 фонд, предназначенный для погашения долга

обязательств не могло быть и речи. Весь замысел сводился к тому, чтобы финансисты из той же клики по-прежнему могли потрошить городскую казну: сертификаты продавались «кому следует» по девяносто за сто и даже ниже, под тем предлогом, что на открытом рынке для них нет сбыта из-за малой кредитоспособности города. Отчасти так оно и было. Война только что кончилась. Деньги были в цене. Капиталисты могли где угодно получить более высокие проценты, если им не предоставить сертификатов городского займа по девяносто долларов. Но небольшая группа политиканов, не причастных к городской администрации и настороженно относившихся к ее деятельности, а также ряд газет и некоторые финансисты, стоявшие в стороне от политики, под влиянием общего подъема патриотизма в стране настаивали на размещении займа альпари. Поэтому в постановление о выпуске займа пришлось включить соответствующий пункт.

Само собой разумеется, что это обстоятельство расстроило тайный сговор политиков и финансистов, чаявших получить сертификаты займа по девяносто долларов. Надо было так или иначе выцарапывать свои денежки, застрявшие в просроченных обязательствах города, который не выкупал их за недостатком средств. Оставался один выход — найти маклера, сведущего во всех тонкостях биржи. Этот маклер, взявшись за распространение нового городского займа, придал бы ему видимость выгодного капиталовложения и таким образом сбыл бы сертификаты на сторону по сто долларов за штуку. В дальнейшем же, если бы заем упал в цене — а это было неизбежно, — они могли скупить сколько угодно сертификатов и при первом удобном

случае предъявить их городу к оплате по номинальной стоимости.

Джордж Стинер, вступивший в это самое время на пост городского казначея и не обладавший достаточными финансовыми способностями для разрешения столь сложной проблемы, переживал немалую тревогу. Генри Молленхауэр, держатель множества старых городских обязательств, который желал теперь получить свои деньги для вложения их в многообещающие предприятия на Западе, нанес визит Стинеру, а также мэру города. Вместе с Симпсоном и Батлером он входил в состав «большой тройки».

— Я считаю, что пора уже как-то выпутываться из положения с этими просроченными обязательствами, — заявил он. — У меня их накопилось на огромную сумму, да и у других тоже. Мы долгое время помогали городу, не говоря ни слова, но теперь нужно наконец действовать. Мистер Батлер и мистер Симпсон придерживаются того же мнения. Нельзя ли пустить сертификаты нового займа в котировку на фондовой бирже и таким путем реализовать деньги? Ловкий маклер мог бы взвинтить их до паритета.

Стинер был чрезвычайно польщен визитом. Молленхауэр редко утруждал себя появлением на людях и уж если делал это, то с расчетом на соответствующий эффект. Теперь он побывал еще у мэра города и у председателя городского совета, сохраняя в разговоре с ними, как и со Стинером, высокомерный, неприступный и непроницаемый вид. Разве не были они для него просто мальчиками на побегушках?

Для того чтобы уяснить себе, чем был вызван интерес Молленхауэра к Стинеру и сколь большое

значение имели его визит к нему и последовавшие за этим действия казначея, необходимо бросить взгляд на политическую ситуацию, предшествовавшую описываемым событиям. Хотя Джордж Стинер и был до известной степени приспешником и ставленником Молленхауэра, но тот знал его лишь поверхностно. Правда, он несколько раз видел Стинера и кое-что слышал о нем, но на внесение его имени в кандидатский список согласился лишь в результате уговоров своих приближенных, уверявших, что Стинер — «отличный малый» — никогда не выйдет из повиновения, никому не причинит никаких хлопот и все прочее. Молленхауэр и прежде, при других местных властях, поддерживал связь с городским казначейством, но всегда настолько осторожно, что никто не мог его в этом уличить. Он был слишком видной фигурой и в политическом и в финансовом мире. Тем не менее его нисколько не покоробил план, придуманный если не Батлером, то Симпсоном: при помощи подставных лиц из политического и коммерческого мира потихоньку, без скандала, выкачать все что можно из городской казны. Итак, уже за несколько лет до описываемых нами событий для этой цели была создана особая агентура: председатель городского совета Эдвард Стробик, тогдашний мэр города Эйса Конклин, олдермены Томас Уайкрофт, Джейкоб Хармон и многие другие. Они организовали ряд фирм под самыми разнообразными фиктивными названиями, торговавших всем, что могло понадобиться для городского хозяйства, — досками, камнем, железом, сталью, цементом и прочее и прочее,

— разумеется, с огромной выгодой для тех, кто скрывался за этими вымышленными названиями. Это

избавляло город от заботы искать честных и добросовестных поставщиков.

Поскольку дальнейший рассказ о Каупервуде будет связан по меньшей мере с тремя из этих «фирм», необходимо вкратце описать их деятельность. Возглавлял их Эдвард Стробик, один из наиболее энергичных приспешников Молленхауэра; это был юркий и пронырливый человек лет тридцати пяти, худой, черноволосый, черноглазый, с огромными черными усами. Одевался он щеголевато и вычурно — полосатые брюки, белый жилет, черная визитка и шелковый цилиндр. Ботинки необыкновенно вычурного фасона всегда были начищены до блеска. Своей безукоризненной внешностью он заслужил прозвище «пшюта». Вместе с тем это был довольно способный человек, и многие любили его.

Двое из коллег, мистеры Томас Уайкрофт и Хармон, не отличались столь приятной и блистательной внешностью. Хармон, в обществе на всех наводивший скуку, очень неплохо разбирался в финансовых вопросах. Долговязый и рыжеватый, с карими глазами, он, несмотря на свою меланхолическую наружность, был весьма неглуп и всегда готов пуститься на любую аферу не слишком крупного масштаба и достаточно безопасную с точки зрения уголовного кодекса. Он не был особенно хитер, но во что бы то ни стало хотел выдвинуться.

Томас Уайкрофт, последний член этого полезного, но полупочтенного триумвирата, высокий, сухопарый человек с изможденным, землистым лицом и глубоко сидящими глазами, несмотря на свою жалкую внешность, обладал недюжинным умом. По профессии литейщик, он попал в политические деятели случайно, как и Стинер,

потому что сумел оказаться полезным. Ему удалось сколотить небольшое состояние благодаря участию в возглавляемом Стробиком триумвирате, занимавшемся многоразличными и довольно своеобразными делами, о которых будет рассказано ниже.

Фирмы, организованные подручными Молленхауэра еще при старом составе муниципалитета, торговали мясом, строительными материалами, фонарными столбами, щебнем — всем, что могло потребоваться городскому хозяйству. Подряд, сданный городом, не подлежит аннулированию, но чтобы получить его, необходимо сперва «подмазать» кое-кого из членов городского самоуправления, а для этого нужны деньги. Фирма вовсе не обязана сама заниматься убоем скота или отливкой фонарных столбов. Она должна только организовать это дело, получить торговый патент, добиться от городского самоуправления подряда на поставку (о чем уж, конечно, позаботятся Стробик, Хармон и Уайкрофт), а потом передоверить подряд владельцам бойни или литейного завода, которые будут поставлять требуемое, выделив посреднической фирме соответствующую долю прибыли; доля эта, в свою очередь, будет разделена и частично передана Молленхауэру и Симпсону под видом доброхотного даяния на нужды возглавляемого ими политического клуба или объединения. Все это делалось очень просто и до известных пределов вполне законно. Владелец бойни или литейного завода не смел и мечтать о том, чтобы самому добиться подряда. Стинер или кто-либо другой, ведавший в данный момент городской кассой и за невысокие проценты дававший взаймы деньги, нужные владельцу бойни или литейного завода в обеспечение поставки или для выполнения подряда, получал не

только свои один или два процента, которые клал в карман (ведь так поступали и его предшественники), но еще и изрядную долю прибылей. В качестве главного помощника Стинеру рекомендовали смирного и умевшего держать язык за зубами человека «из своих». Казначея нисколько не касалось, что Стробик, Хармон и Уайкрофт, действуя в интересах Молленхауэра, время от времени употребляли часть заимствованных у города средств совсем не на то, для чего они были взяты. Его дело было ссужать их деньгами.

Но посмотрим, что же дальше. Еще до того, как Стинер был намечен кандидатом в городские казначеи, Стробик — кстати сказать, один из его поручителей при соискании этой должности (что уже само по себе было противозаконно, так как, согласно конституции штата Пенсильвания, ни одно официальное должностное лицо не может быть поручителем за другое) — намекнул ему, что люди, содействующие его избранию, отнюдь не станут требовать от него чего-либо незаконного, но он должен быть покладист, не возражать против раздутых городских бюджетов, короче говоря, не кусать кормящую его руку. С не меньшей ясностью ему дали понять, что едва только он вступит в должность, кое-что начнет перепадать и ему. Как уже говорились, Стинер всю свою жизнь бедствовал. Он видел, что люди, занимавшиеся политиканством, преуспевали материально, тогда как он, будучи агентом по страховым делам и продаже недвижимых имуществ, едва сводил концы с концами. На его долю мелкого политического прихвостня выпадало много тяжелой работы. Другие политические деятели обзаводились прекрасными особняками в новых районах города. Устраивали увеселительные поездки в Нью-Йорк, Гаррисберг или Вашингтон. В летний сезон они

развлекались в загородных отелях с женами или любовницами, а ему все еще был закрыт доступ в круг баловней судьбы. Вполне естественно, что все эти посулы увлекли его и он был рад стараться. Наконец-то и он достигнет благосостояния.

Когда у него побывал Молленхауэр и высказался о необходимости взвинтить курс сертификатов городского займа до паритета — хотя этот разговор и не имел прямого касательства к отношениям, которые Молленхауэр поддерживал с казначеем через Стробика и других, — Стинер, услышав повелительный голос хозяина, поспешил расписаться в своем политическом раболепстве и ринулся к Стробику за более подробной информацией.

— Как бы вы поступили на моем месте? — спросил он Стробика, который уже знал о том, что Молленхауэр посетил казначея, но ждал, чтобы тот сам об этом заговорил. — Мистер Молленхауэр высказал пожелание, чтобы заем котировался на бирже и был доведен до паритета, то есть шел бы по сто долларов за сертификат!

Ни Стробик, ни Хармон, ни Уайкрофт не знали, как добиться того, чтобы сертификаты городского займа, расценивавшиеся на открытом рынке в девяносто долларов, на бирже продавались по сто, но секретарь Молленхауэра, некий Эбнер Сэнгстек, надоумил Стробика обратиться к молодому Каупервуду: как-никак, с ним ведет дела Батлер, а Молленхауэр, видимо, не настаивает на привлечении к этому делу своего личного маклера, так отчего же не испробовать Каупервуда.

Вот как случилось, что Фрэнк получил приглашение зайти к Стинеру. Очутившись у него в кабинете и еще не зная, что за его спиной скрываются Молленхауэр и

Симпсон, он с первого взгляда на этого скуластого человека, так странно волочившего ногу, понял, что в финансовых делах казначей сущий младенец. О, если бы стать при нем советником, его единственным консультантом на все четыре года!

— Здравствуйте, мистер Стинер, — мягко и вкрадчиво сказал Каупервуд, когда тот протянул ему руку. — Очень рад с вами познакомиться. Я, разумеется, много слышал о вас.

Стинер стал долго и нудно излагать Каупервуду, в чем состоит затруднение. Приступив издалека, то и дело запинаясь, он объяснял, как страшат его предстоящие трудности.

— Главная задача, насколько я понимаю, заключается в том, чтобы добиться котировки этих сертификатов альпари. Я могу выпускать их любыми партиями и так часто, как вам будет желательно. В настоящее время я хочу выручить сумму, достаточную для погашения краткосрочных обязательств на двести тысяч долларов, а позднее — сколько удастся.

Каупервуд почувствовал себя в роли врача, выслушивающего пациента, который вовсе не болен, но страстно хочет, чтобы его успокоили, и сулит за это большой гонорар. Замысловатые хитрости фондовой биржи были для него ясны, как день. Он знал, что если реализация займа безраздельно попадет в его руки, если ему удастся сохранить в тайне, что он действует в интересах города, и если, наконец, Стинер позволит ему орудовать на бирже в роли «быка», то есть скупать сертификаты для амортизационного фонда и в то же время умело продавать их при повышении курса, то он добьется блистательнейших результатов даже при самом

крупном выпуске. Но он должен распоряжаться единолично и иметь собственных агентов. В голове его уже маячил план, как принудить неосмотрительных биржевиков играть на понижение: надо только заставить их поверить, что сертификатов этого займа в обращении сколько угодно и при желании они успеют скупить их. Потом они спохватятся и увидят, что достать их нельзя, что все сертификаты в руках у него, Каупервуда! Но он не сразу откроет свой секрет. О нет, ни в коем случае! Он начнет взвинчивать стоимость сертификатов до паритета, а потом пустит их в продажу. Уж тогда и он немало загребет на этом деле! Каупервуд был слишком сметлив, чтобы не догадаться, что за всем этим скрываются те же политические заправилы города и что за спиною Стинера стоят люди куда более умные и значительные. Но что с того? Как осторожно и хитро поступили они, обратившись к нему через Стинера! Возможно, что его, Каупервуда, имя начинает приобретать вес в местных политических кругах. А это немало сулит ему в будущем.

— Так вот, мистер Стинер, — произнес он, выслушав объяснения казначея и осведомившись, какую часть городского займа тот хотел бы реализовать в течение ближайшего года. — Я охотно возьмусь за это дело. Но мне нужен день или два, чтобы хорошенько все обмозговать.

— Разумеется, разумеется, мистер Каупервуд, — с готовностью согласился Стинер. — Спешить некуда. Но известите меня, как только вы придете к тому или иному решению. Кстати, какую вы взимаете комиссию?

— Видите ли, мистер Стинер, на фондовой бирже существует определенная ставка, которой мы, маклеры,

обязаны придерживаться. Это — четверть процента номинальной стоимости облигаций или обязательств. Правда, я могу оказаться вынужденным провести ряд фиктивных сделок, — как, каких именно я объясню вам позднее, — но с вас я за это ничего не возьму, если дело останется между нами. Я сделаю для вас все, что будет в моих силах, мистер Стинер, можете не сомневаться. Но дайте мне подумать день-другой.

Они пожали друг другу руки и расстались: Каупервуд — довольный тем, что ему предстояла крупная финансовая операция, Стинер — тем, что нашел человека, на которого можно положиться.

15

План, выработанный Каупервудом после нескольких дней размышления, будет вполне понятен каждому, кто сколько-нибудь смыслит в коммерческих и финансовых комбинациях, но останется туманным для непосвященного. Прежде всего казначей должен был депонировать городские средства в конторе Каупервуда. Далее, фактически передать в распоряжение последнего или же занести в его кредит по своим книгам, с правом получения в любое время, определенные партии сертификатов городского займа, для начала — на двести тысяч долларов, так как именно такую сумму желательно было быстро реализовать, после чего Каупервуд обязывался пустить эти сертификаты в обращение и принять меры к тому, чтобы довести их до паритета. Тогда городской казначей немедленно обратится в комитет фондовой биржи с ходатайством о включении их в список котируемых ценностей, Каупервуд же употребит все свое влияние, чтобы ускорить рассмотрение этого ходатайства. После того как воспоследует соответствующее разрешение, Стинер реализует через него, и только через него, все сертификаты городского займа. Далее Стинер позволит ему покупать для амортизационного фонда столько сертификатов, сколько Каупервуд сочтет необходимым скупить, дабы повысить их цену до паритета. Чтобы добиться этого, — после того как значительное количество сертификатов займа уже будет пущено в обращение, — может оказаться необходимым вновь скупить их значительными партиями и затем спустя некоторое время опять пустить в продажу. Законом, предписывающим продажу сертификатов только по номиналу, придется в известной мере

пренебречь, а это значит, что фиктивные и предварительные сделки не будут приниматься в расчет, пока сертификаты не достигнут паритета.

Каупервуд дал понять Стинеру, что такой план имеет немало преимуществ. Ввиду того, что сертификаты в конечном итоге так или иначе поднимутся до паритета, ничто не мешает Стинеру, как и всякому другому, закупить их по дешевке в самом начале реализации займа и придержать, пока они не начнут повышаться в цене. Каупервуд с удовольствием откроет Стинеру кредит на любую сумму с тем, чтобы тот рассчитывался с ним в конце каждого месяца. При этом никто не потребует от него, чтобы он действительно покупал сертификаты. Каупервуд будет вести его счет на определенную, умеренную маржу, скажем, до десяти пунктов, таким образом, Стинер может считать, что деньги уже у него в кармане. И это не говоря уже о том, что сертификаты для амортизационного фонда можно будет закупить очень дешево, ибо Каупервуд, имея в своем распоряжении основной и резервный выпуски займа, будет выбрасывать их на рынок в нужном ему количестве как раз в такие моменты, когда решит покупать, и тем самым окажет давление на биржу. А позднее цены уж наверняка начнут подниматься. Если держать нераздельно в своих руках выпуск займа, что дает возможность произвольно вызывать на бирже повышение и понижение, то можно не сомневаться, что в конечном итоге город реализует весь свой заем альпари, причем благодаря таким искусственным колебаниям, очевидно, удастся еще и неплохо подработать. Каупервуд в смысле выгоды главные свои надежды возлагал именно на это обстоятельство. За все действительно проведенные им сделки по продаже сертификатов займа альпари город

вознаградит его обычным куртажем (это необходимо во избежание недоразумений с биржевым комитетом). Что же касается всего прочего, например, фиктивных сделок, к которым не раз придется прибегать, то он надеется сам вознаградить себя за труд, рассчитывая на свое знание биржевой игры. Если Стинеру угодно войти с ним в долю в его биржевых махинациях — он будет очень рад.

Подобная комбинация, туманная для человека непосвященного, совершенно ясна опытному биржевику. Самые разнообразные уловки искони практиковались на бирже, когда дело касалось ценностей, находящихся под нераздельным контролем одного человека или определенной группы людей. Эта комбинация ничем не отличалась от того, что позднее проделывалось с акциями «Ири», «Стандард Ойл», «медными», «сахарными», «пшеничными» и всякими другими. Каупервуд одним из первых — в бытность свою еще молодым биржевиком — понял, как устраиваются такие дела. Ко времени его первой встречи со Стинером ему было двадцать восемь лет. Когда он в последний раз «сотрудничал» с ним, ему минуло тридцать четыре.

Постройка домов для семейств старого и молодого Каупервудов и переделка фасада банкирской конторы «Каупервуд и Кь» быстро подвигались вперед. Фасад конторы был выдержан в раннем флорентийском стиле с окнами, суживающимися кверху, с узорчатой кованой дверью между изящными резными колонками и карнизом из бурого известняка. На середине этой невысокой, но изящной и внушительной двери была искусно вычеканена тонкая, нежная рука с вознесенным пылающим факелом. Элсуорт объяснил Каупервуду, что в старину в Венеции такую руку изображали на вывесках

меняльных лавок, но теперь первоначальное значение этой эмблемы позабылось.

Внутри помещение было отделано полированным деревом, узор которого воспроизводил древесный лишай. Окна сверкали множеством мелких граненых стекол, овальных, продолговатых, квадратных и круглых, расположенных по определенному, приятному для глаза, рисунку. Газовые рожки были сделаны по образцу римских светильников, а конторский сейф, как это ни странно, служил украшением: он стоял в глубине конторы на мраморном постаменте, и по его лакированной серебристо-серой поверхности было золотом выгравировано: «Каупервуд и Кь». Все помещение, выдержанное в благородно строгом вкусе, в то же время свидетельствовало о процветании, солидности и надежности. Когда здание было готово, Каупервуд осмотрел его и с довольным видом похвалил Элсуорта:

— Мне нравится! Это очень красиво! Работать здесь — одно удовольствие. Если и особняки получатся такие — это будет великолепно!

— Подождите еще хвалить, пока они не окончены! Впрочем, думаю, что вы останетесь довольны, мистер Каупервуд. Мне пришлось немало поломать себе голову над вашим домом из-за его небольших размеров. Дом вашего отца дается мне значительно легче. Но ваш…

И он пустился в описание вестибюля и гостиных, большой и малой, которые он располагал и отделывал так, чтобы они выглядели более просторными и внушительными, чем позволяли их скромные размеры.

Когда строительство было закончено, оказалось, что оба дома и в самом деле весьма эффектны, оригинальны

и нисколько не похожи на заурядные особняки по соседству. Их разделяла зеленая лужайка футов в двадцать шириною. Архитектор, позаимствовав кое-что от школы Тюдоров, отказался от той вычурности, которая стала позднее отличать многие особняки Филадельфии и других американских городов. Особенно хороши были двери, расположенные в широких, низких, скупо орнаментированных арках, и три застекленных фонаря необычной формы, один — во втором этаже у Фрэнка, два — внизу, на фасаде отцовского дома. Над фронтонами обоих домов виднелись коньки крыш: два у Фрэнка, четыре у его отца. Каждый фасад имел в первом этаже по окну в глубокой нише, образованной выступами наружной стены. Эти окна были защищены со стороны улицы низеньким парапетом, вернее, балюстрадой. На ней можно было поставить горшки с вьющимися растениями и цветами, что и было сделано впоследствии, так что с улицы окна, утопающие в зелени, выглядели особенно приятно. В глубине ниш Каупервуды расставили стулья.

В нижнем этаже обоих домов были устроены зимние сады — один напротив другого, а посреди общего дворика — белый мраморный фонтан восьми футов диаметром, с мраморным купидоном, на которого ниспадали струи воды. Этот дворик, обнесенный высокой, с просветами, оградой из зеленовато-серого кирпича, специально обожженного в тон граниту, из которого был сложен дом, облицованный поверху белым мрамором, был весь засеян зеленой бархатистой травой и производил впечатление мягкого зеленого ковра. Оба дома, как это и было намечено с самого начала, соединялись галереей из зеленых колонок, застеклявшейся на зиму.

Теперь Элсуорт уже начал постепенно отделывать и обставлять комнаты в стиле разных эпох, что сыграло большую роль в развитии художественного вкуса Фрэнка Каупервуда и расширило его представление о великом мире искусств. Весьма поучительны и ценны в этом отношении были для него долгие беседы с Элсуортом о стилях и типах архитектуры и мебели, о различных породах дерева, о применении орнаментов, о добротности тканей, о правильном использовании занавесей и портьер, о фанеровке мебели и всевозможных видах паркета. Элсуорт, наряду с архитектурой, изучал также декоративное искусство и много размышлял над вопросом о художественном вкусе американского народа: вкус этот, как он полагал, должен будет очень развиться с течением времени. Молодому архитектору до смерти надоело преобладавшее в ту пору романское сочетание загородной виллы с особняком. Настало время для чего-то нового. Он и сам еще не знал, каково будет это новое, но пока что радовался уже и тому, что спроектированные им для Каупервудов дома были оригинальны, просты и приятны для глаза. Благодаря этим качествам они выгодно выделялись на фоне архитектуры всей остальной улицы. В доме Фрэнка, по замыслу Элсуорта, в нижнем этаже помещались: столовая, зал, зимний сад и буфетная, а также главный вестибюль, внутренняя лестница и гардеробная под нею; во втором — библиотека, большая и малая гостиные, рабочий кабинет Каупервуда и будуар Лилиан, соединявшийся с туалетной и ванной.

В третьем этаже, искусно спланированном и оборудованном ванными и гардеробными комнатами, находились детская, помещения для прислуги и несколько комнат для гостей.

Элсуорт знакомил Каупервуда с эскизами мебели, портьер, горок, шкафчиков, тумбочек и роялей самых изысканных форм. Они вдвоем обсуждали различные способы обработки дерева — жакоб, маркетри, буль и всевозможные его сорта: розовое, красное, орех, английский дуб, клен, «птичий глаз». Элсуорт объяснял, какого мастерства требует изготовление мебели «буль» и как нецелесообразна она в Филадельфии: бронзовый или черепаховые инкрустации коробятся от жары и сырости, а потом начинают пузыриться и трескаться. Рассказывал он и о сложности и дороговизне некоторых видов отделки и в конце концов предложил золоченую мебель для большой гостиной, гобеленовые панно для малой, французский ренессанс для столовой и библиотеки, а для остальных комнат — «птичий глаз» (кое-где голубого цвета, кое-где естественной окраски), а также легкую мебель из резного ореха. Портьеры, обои и ковры, по его словам, должны были гармонировать с обивкой мебели, но не точно совпадать с нею по тонам. Рояль и нотный шкафчик в малой гостиной, а также горки, шкафчики и тумбы в зале он рекомендовал, если Фрэнка не отпугнет дороговизна, все-таки отделать в стиле «буль» или «маркетри».

Элсуорт советовал еще заказать рояль треугольной формы, так как четырехугольный наводит уныние. Каупервуд слушал его, как зачарованный. Ему уже рисовался дом, благородный, уютный, изящный. Картины — если он пожелает обзавестись таковыми — должны быть оправлены в массивные резные золоченые рамы; а если он решит устроить целую картинную галерею, то под нее можно приспособить библиотеку, а книги разместить в большой гостиной на втором этаже, расположенной между библиотекой и малой гостиной.

Позднее, когда у Фрэнка развилась подлинная любовь к живописи, он осуществил эту мысль.

С этого времени в нем пробудился живой интерес к произведениям искусства и к художественным изделиям — картинам, бронзе, резным безделушкам и статуэткам, которыми он заполнял шкафчики, тумбы, столики и этажерки своего нового дома. В Филадельфии вообще трудно было достать подлинно изящные вещи такого рода, а в магазинах они и вовсе отсутствовали. Правда, многие частные дома изобиловали очаровательными безделушками, привезенными из дальних путешествий, но у Каупервуда пока что было мало связей с «лучшими семьями» города. В те времена славились два американских скульптора: Пауэрс и Хосмер, — у Фрэнка имелись их произведения, — но, по словам Элсуорта, это было далеко не последнее слово в искусстве, и он советовал приобрести копию какой-нибудь античной статуи. В конце концов Каупервуду удалось купить голову Давида работы Торвальдсена, которая приводила его в восторг, и несколько пейзажей Хэнта, Сюлли и Харта, в какой-то мере передававших дух современности.

Такой дом, несомненно, налагает отпечаток на своих обитателей. Мы почитаем себя индивидуумами, стоящими вне и даже выше влияния наших жилищ и вещей; но между ними и нами существует едва уловимая связь, в силу которой вещи в такой же степени отражают нас, в какой мы отражаем их. Люди и вещи взаимно сообщают друг другу свое достоинство, свою утонченность и силу: красота или ее противоположность, словно челнок на ткацком станке, снуют от одних к другим. Попробуйте перерезать нить, отделить человека от того, что по праву принадлежит ему, что уже стало для него характерным, и перед вами возникает нелепая

фигура то ли счастливца, то ли неудачника — паук без паутины, который уже не станет самим собою до тех пор, покуда ему не будут возвращены его права и привилегии.

Глядя, как растет его новый дом, Каупервуд проникался сознанием своей значимости, а отношения, неожиданно завязавшиеся у него с городским казначеем, были как широко распахнутые двери в елисейские поля удачи. Он разъезжал по городу на паре горячих гнедых, чьи лоснящиеся крупы и до блеска начищенная сбруя свидетельствовали о заботливом попечении конюха и кучера. Элсуорт уже строил просторную конюшню в переулке, позади новых домов, для общего пользования обеих семей. Фрэнк обещал жене, как только они обоснуются в своем новом жилище, купить ей «викторию», — так назывался в те времена открытый и низкий четырехколесный экипаж, — ведь им придется много выезжать. Они будут давать вечера, говорил он, так как ему необходимо расширять круг своих знакомств. Вместе с сестрой Анной и братьями Джозефом и Эдвардом они будут пользоваться для приемов обоими домами. Почему бы Анне не сделать блестящую партию? Надо надеяться, что Джо и Эд тоже сумеют выгодно жениться, так как уже теперь ясно, что в коммерции они многого не достигнут. Во всяком случае, они могут попытаться.

— Разве тебе самой все это не по душе? — спросил Фрэнк после разговора о приемах.

Лилиан вяло улыбнулась.

— Я привыкну, — отвечала она.

16

Вскоре после соглашения между казначеем Стинером и Каупервудом сложная политико-финансовая машина заработала с целью осуществления их замыслов. Двести тысяч долларов в шестипроцентных сертификатах, подлежащих погашению за десять лет, были записаны по книгам городского самоуправления на счет банкирской конторы «Каупервуд и Кь». Каупервуд начал предлагать заем небольшими партиями по цене, превышающей девяносто долларов, при этом он всеми способами внушал людям, что такое помещение капитала сулит большие выгоды. Курс сертификатов постепенно повышался, и Фрэнк сбывал их все в большем количестве, пока, наконец, они не поднялись до ста долларов и весь выпуск на сумму в двести тысяч долларов, — две тысячи сертификатов, — не разошелся мелкими партиями. Стинер был доволен. Двести сертификатов, числившиеся за ним и проданные по сто долларов за штуку, принесли ему две тысячи долларов барыша. Это был барыш незаконный, нажитый нечестным путем, но совесть не слишком мучила Стинера. Да вряд ли она и была у него. Стинеру грезилась счастливая будущность.

Трудно с полной ясностью объяснить, какая невидимая, но могучая сила сосредоточилась таким образом в руках Каупервуда. Надо не забывать, что ему шел только двадцать девятый год. Вообразите себе человека, от природы одаренного талантом финансиста и манипулирующего огромными суммами под видом акций, сертификатов, облигаций и наличных денег так же свободно, как другой манипулирует шашками или

шахматами на доске. А еще лучше представьте себе мастера, овладевшего всеми тайнами шахматной игры, — прославленного шахматиста из тех, что, сидя спиной к доске, играют одновременно с четырнадцатью партнерами, поочередно объявляют ходы, помнят положение всех фигур на всех досках и неизменно выигрывают. Конечно, в то время Каупервуд еще не был так искусен, но все же это сравнение вполне допустимо. Чутье подсказывало ему, как поступать с деньгами, — он умел депонировать их в одном месте наличными и в то же время использовать их для кредита и как базу для оборотных чеков во многих других местах. В результате обдуманного, последовательного проведения подобных операций он уже располагал покупательной способностью, раз в десять, а то и в двенадцать превышавшей первоначальную сумму, поступившую в его распоряжение. Каупервуд инстинктивно усвоил принципы игры на повышение и на понижение. Он не только в точности знал, какими способами изо дня в день, из года в год он будет подчинять своей воле снижение и повышение курса городских сертификатов, — разумеется, если ему удастся сохранить свое влияние на казначея, — но также, как с помощью этого займа заручиться в банках таким кредитом, какой ему раньше и не снился. Одним из первых воспользовался создавшейся ситуацией банк его отца и расширил кредит Фрэнку. Местные политические заправилы и дельцы — Молленхауэр, Батлер, Симпсон и прочие, — убедившись в его успехах, начали спекулировать городским займом. Каупервуд стал известен Молленхауэру и Симпсону, если не лично, то как человек, сумевший весьма успешно провести дело с выпуском городского займа. Говорили, что Стинер поступил очень умно, обратившись к Каупервуду.

Правила фондовой биржи требовали, чтобы все сделки подытоживались к концу дня и балансировались к концу следующего; но договоренность с новым казначеем избавляла Каупервуда от соблюдения этого правила, и в его распоряжении всегда было время до первого числа следующего месяца, то есть иногда целых тридцать дней, для того, чтобы отчитаться во всех сделках, связанных с выпуском займа.

Более того, это, в сущности, нельзя было даже назвать отчетом, ибо все бумаги оставались у него на руках. Поскольку размер займа был очень значителен, то значительны были и суммы, находившиеся в распоряжении Каупервуда, а так называемые трансферты [note 19] и балансовые сводки к концу месяца оставались простой формальностью. Фрэнк имел полную возможность пользоваться сертификатами городского займа для спекулятивных целей, депонировать их как собственные в любом банке в обеспечение ссуд и таким образом получать под них наличными до семидесяти процентов их номинальной стоимости, что он и проделывал без зазрения совести. Добытые таким путем деньги, в которых он отчитывался лишь в конце месяца, Каупервуд мог употреблять на другие биржевые операции, кроме того, они давали ему возможность занимать все новые суммы. Ресурсы его расширились теперь безгранично, — пределом им служили только время да его собственные энергия и находчивость. Политические заправилы города не имели даже представления, каким золотым дном стало для Каупервуда это предприятие, ибо не подозревали всей

Note19 трансферт — здесь: передача права владения именными ценными бумагами одним лицом другому

изощренности его ума. Когда Стинер, предварительно переговорив с мэром города Стробиком и другими, сказал Каупервуду, что в течение года переведет на его имя по книгам городского самоуправления все два миллиона займа, Каупервуд не отвечал ни слова — восторг сомкнул его уста. Два миллиона! И он будет распоряжаться ими по своему усмотрению! Его пригласили финансовым консультантом, он дал совет, и этот совет был принят! Прекрасно! Каупервуд не принадлежал к людям, склонным терзаться угрызениями совести. Он по-прежнему считал себя честным финансистом. Ведь он был не более жесток и беспощаден, чем был бы всякий другой на его месте.

Необходимо оговорить, что маневры Стинера с городскими средствами не имели никакого отношения к позиции, которую местные воротилы занимали в вопросе о контроле над конными железными дорогами; этот вопрос представлял собою новую и волнующую ступень в финансовой жизни города. В нем были заинтересованы многие из ведущих финансистов и политиков, например, Молленхауэр, Батлер и Симпсон, действовавшие здесь поодиночке, каждый на свой страх и риск. На сей раз между ними не существовало сговора, Правда, поглубже вникнув в этот вопрос, они, наверное, решили бы не допускать вмешательства постороннего лица. Но тогда в Филадельфии конно-железнодорожных линий было еще так мало, что никому не приходило на ум создать крупное объединение конных железных дорог, как это было сделано позже. Тем не менее, прознав о соглашении между Стинером и Каупервудом, Стробик явился к Стинеру и изложил ему свой новый замысел. Все они немало наживутся благодаря Каупервуду, и прежде всего сам Стробик и Стинер. Что же в таком случае

мешает ему и Стинеру вместе с Каупервудом в качестве их представителя — вернее, тайного представителя Стинера, ибо Стробик не имел смелости открыто участвовать в этом деле, — скупить побольше акций одной из линий конной железной дороги и обеспечить себе контроль над нею? А потом если он, Стробик, сумеет добиться от муниципалитета разрешения на прокладку новых линий, то эти новые линии, как ни верти, окажутся в их руках. Правда, Стробик надеялся впоследствии вытеснить Стинера. Ну, да там видно будет. А пока что нужно ведь кому-нибудь провести подготовительную работу, и почему, собственно, этого не может сделать Стинер? В то же время Стробик понимал, что такая «работа» требует сугубой осмотрительности, ибо его шефы, конечно, всегда начеку и, если они обнаружат, что он впутался в подобное дело ради личной выгоды, они лишат его возможности продолжать политическую деятельность, благодаря которой он только и мог наживаться. Не следует забывать, что любая организация, например, компания, владеющая одной из уже действующих городских линий, имела право ходатайствовать перед муниципалитетом о разрешении удлинить пути. Это шло на пользу благоустройству города, и потому ходатайство подлежало удовлетворению. Вдобавок Стробик не может одновременно являться акционером конной железной дороги и мэром города. Иное дело, когда Каупервуд частным порядком действует в интересах Стинера!

Примечательно, что этот план, который Стинер от имени Стробика излагал Каупервуду, в корне видоизменял позицию последнего по отношению к городским властям. Несмотря на то, что с Эдвардом Батлером Каупервуд вел дела лишь частным порядком,

как его агент, и несмотря также на то, что он ни разу не виделся ни с Молленхауэром, ни с Симпсоном, он все же догадывался, что, оперируя с городским займом, фактически работает на них. С другой стороны, когда Стинер явился к нему и предложил исподволь скупать акции конных железных дорог, Фрэнк по его поведению сразу понял, что тут дело нечисто и что Стинер и сам считает свою затею противозаконной.

— Скажите-ка, Каупервуд, — начал городской казначей в то утро, когда он впервые заговорил об этом деле (они сидели в кабинете Стинера в старом здании ратуши, на углу улиц Шестой и Честнат, и казначей, предвидя огромные барыши, пребывал в благодушнейшем настроении), — нет ли в обращении бумаг какой-нибудь конной железной дороги, которые можно было бы скупить, чтобы впоследствии, при наличии достаточного капитала, прибрать к рукам эту дорогу?

Каупервуд знал, что такие бумаги имеются. Его быстрый ум давно уже учуял, какие возможности кроются в них. Омнибусы мало-помалу исчезали. Лучшие маршруты конки были уже захвачены. Тем не менее улиц оставалось еще достаточно, а город разрастался не по дням, а по часам. Прирост населения сулил в будущем большие перспективы. Можно было рискнуть и заплатить любую цену за уже существующие короткие линии, — если имелась возможность выждать и впоследствии удлинить их, проложив пути в более оживленных и богатых районах. В голове Каупервуда уже зародилась теория «бесконечной цепи» или «приемлемой формулы», как это было названо впоследствии, заключавшейся в следующем: скупив то или иное имущество с большой рассрочкой платежа, выпустить акции или облигации на

сумму, достаточную не только для того, чтобы удовлетворить продавца, но и для того, чтобы вознаградить себя за труды, не говоря уже о приобретении таким путем избытка средств, которые можно будет вложить в другие подобные же предприятия, затем, базируясь на них, выпустить новые акции, и так далее до бесконечности! Позднее это стало обычным деловым приемом, но в ту пору было новинкой, и Каупервуд хранил свою идею в тайне. Тем не менее он обрадовался, когда Стинер заговорил с ним, ибо финансирование конных железных дорог было его мечтой и он не сомневался, что, однажды прибрав их к рукам, в дальнейшем блестяще поведет это дело.

— Да, разумеется, Джордж, — сдержанно отвечал он, — есть две-три линии, на которых, имея деньги, можно со временем неплохо заработать. Я уже заметил, что на бирже кто-нибудь нет-нет да и предложит пакеты их акций. Нам следовало бы скупить эти акции, а там посмотрим: может быть, и еще кто-нибудь из держателей вздумает продать свой пакет. Наиболее интересным предложением мне сейчас кажутся линии Грин-стрит и Коутс-стрит. Будь у меня тысяч триста — четыреста, которые я мог бы постепенно вкладывать в это дело, я бы ими занялся. Для контроля над железной дорогой требуется каких-нибудь тридцать процентов акционерного капитала. Большинство акций распылено среди мелких держателей, которые никогда не бывают на общих собраниях и не принимают участия в голосовании. Тысяч двухсот или трехсот, по-моему, хватило бы на то, чтобы полностью забрать в свои руки контроль над дорогой.

Он назвал еще одну линию, которую со временем можно было бы захватить тем же способом.

Стинер задумался.

— Это очень большие деньги, — нерешительно произнес он. — Ну хорошо, мы еще поговорим в другой раз, — но тут же отправился советоваться со Стробиком.

Каупервуд знал, что у Стинера нет двухсот или трехсот тысяч, которые он мог бы вложить в дело. Раздобыть такие деньги он мог только одним путем, а именно: изъять их из городской казны, поступившись процентами. Но едва ли он в одиночку отважится на такое дело. Кто-нибудь стоит за его спиной, — и кто же, как не Молленхауэр, Симпсон или, возможно, даже Батлер; насчет последнего у Каупервуда не было полной уверенности, если, конечно, и здесь втихомолку не орудует «триумвират». Да и что удивительного? Политические заправилы всегда черпали из городской казны, и Каупервуд сейчас думал лишь о том, как он должен вести себя в этом деле. Что, собственно, может угрожать ему, если авантюра Стинера увенчается успехом? А какие основания предполагать, что она провалится? Но даже и в этом случае ведь он, Каупервуд, действует только как агент! Вдобавок он понимал, что, манипулируя этими деньгами в интересах Стинера, он, при благоприятном стечении обстоятельств, сможет и сам для себя добиться контроля над несколькими линиями.

Больше всего он интересовался линией, недавно проложенной вблизи от его нового дома, — так называемой линией Семнадцатой и Девятнадцатой улиц. Каупервуду иногда случалось пользоваться ею, когда он поздно задерживался где-нибудь или не хотел ждать

экипажа. Она проходила по двум оживленным улицам, застроенным красными кирпичными домами, и со временем, когда город разрастется, несомненно, должна была стать очень доходной. Но сейчас она еще слишком коротка. Вот если бы заполучить эту линию и связать ее с линиями Батлера, Молленхауэра или Симпсона, — как только он закрепит их за ними, — тогда можно будет добиться от законодательного собрания разрешения на дальнейшее строительство. Фрэнку уже мерещился концерн, в который входят Батлер, Молленхауэр, Симпсон и он сам. В таком составе они смогут добиться чего угодно. Но Батлер не филантроп. Для того чтобы разговаривать с ним, надо иметь солидный козырь на руках. Он должен воочию убедиться в заманчивости подобной комбинации. Кроме того, Каупервуд был агентом Батлера по скупке акций конных железных дорог, и, если именно эта линия сулила такие барыши, Батлер, естественно, мог заинтересоваться, почему акции ее не были предложены прежде всего ему. Лучше подождать, решил Фрэнк, пока дорога фактически не станет его, Каупервуда, собственностью. Тогда дело другое: тогда он будет разговаривать с Батлером, как капиталист с капиталистом. В мечтах ему уже рисовалась целая сеть городских железных дорог, которую контролируют немногие дельцы, а еще лучше он один, Каупервуд.

17

С течением времени Фрэнк Каупервуд и Эйлин Батлер ближе узнали друг друга. Вечно занятый своими делами, круг которых все расширялся, он не мог уделять ей столько внимания, сколько ему хотелось, но в истекшем году часто ее видел. Эйлин минуло уже девятнадцать лет, она повзрослела, и взгляды ее сделались более самостоятельными. Так, например, она стала различать хороший и дурной вкус в устройстве и убранстве дома.

— Папа, неужели мы всегда будем жить в этом хлеву? — однажды вечером обратилась она к отцу, когда за обеденным столом собралась вся семья.

— А чем плох этот дом, любопытно узнать? — отозвался Батлер, который сидел, вплотную придвинувшись к столу и заткнув салфетку за ворот, что он всегда делал, когда за обедом не было посторонних. — Не вижу в нем ничего дурного. Нам с матерью здесь совсем неплохо живется.

— Ах, папа, это отвратительный дом, ты сам знаешь! — вмешалась Нора; ей исполнилось семнадцать лет, и она была такой же бойкой, как ее сестра, но только еще меньше знала жизнь. — Все говорят это в один голос. Ты только посмотри, сколько чудесных домов вокруг.

— Все говорят! Все говорят! А кто эти «все», хотел бы я знать? — иронически, хотя и не без раздражения осведомился Батлер. — Мне, например, он нравится. Насильно здесь никого жить не заставляют. Кто они

такие, эти «все», скажите на милость? И чем это так плох мой дом?

Вопрос о доме поднимался не впервые, и обсуждение его всякий раз либо сводилось к тому же самому, если только Батлер не отмалчивался, ограничиваясь своей иронической ирландской усмешкой. В этот вечер, однако, такой маневр ему не удался.

— Ты и сам прекрасно знаешь, папа, что дом никуда не годится, — решительно заявила Эйлин. — Так чего же ты сердишься? Дом старый, некрасивый, грязный! Мебель вся разваливается. А этот рояль — просто старая рухлядь, которую давно пора выбросить. Я больше на нем играть не стану. У Каупервудов, например…

— Дом старый? Вот как! — воскликнул Батлер, и его ирландский акцент стал еще резче под влиянием гнева, который он сам разжигал в себе. — Грязный, вот как! И какая это мебель у нас разваливается? Покажи, сделай милость, где она разваливается?

Он уже собирался придраться к ее попытке сравнить их с Каупервудами, но не успел, так как вмешалась миссис Батлер. Это была полная, широколицая ирландка, почти всегда улыбающаяся, с серыми глазами, теперь уже изрядно выцветшими, и рыжеватыми волосами, потускневшими от седины. На левой ее щеке, возле нижней губы, красовалась большая бородавка.

— Дети, дети, — воскликнула она (мистер Батлер, несмотря на все свои успехи в коммерции и политике, был для нее все тот же ребенок). — Чтой-то вы ссоритесь! Хватит уж. Передайте отцу помидору.

За обедом прислуживала горничная-ирландка, но блюда тем не менее передавались от одного к другому.

Над столом низко висела аляповато разукрашенная люстра с шестнадцатью газовыми рожками в виде белых фарфоровых свечей — еще одно оскорбление для эстетического чувства Эйлин.

— Мама, сколько раз я просила тебя не говорить «чтой-то»! — умоляющим голосом произнесла Нора, которую очень огорчали ошибки в речи матери. — Помнишь, ты обещала последить за собой?

— А кто тебе позволил учить мать, как ей разговаривать! — вскипел Батлер от этой неожиданной дерзости. — Изволь зарубить себе на носу, что твоя мать говорила так, когда тебя еще и на свете не было. И ежели б она не работала всю жизнь, как каторжная, у тебя не было бы изящных манер, которыми ты сейчас перед ней выхваляешься! Заруби это себе на носу, слышишь! Она в тысячу раз лучше всех твоих приятельниц, нахалка ты эдакая!

— Мама, слышишь, как он меня называет? — захныкала Нора, прячась за плечо матери и притворяясь испуганной и оскорбленной.

— Эдди! Эдди! — укоризненно обратилась миссис Батлер к мужу. — Нора, детка моя, ты ведь знаешь, что он этого не думает. Правда?

Она ласково погладила голову своей «малышки». Выпад против ее малограмотного словечка нисколько ее не обидел.

Батлер уже и сам сожалел, что назвал свою младшую дочь нахалкой. Но эти дети — господи боже мой! — право же, они могут вывести из терпения. Ну чем, скажите на милость, нехорош для них этот дом?

— Не стоит, право же, поднимать такой шум за столом, — заметил Кэлем, довольно красивый юноша, с черными, тщательно приглаженными, расчесанными на косой пробор волосами и короткими жесткими усиками. Нос у него был чуть вздернутый, уши немного оттопыривались, но в общем он был привлекателен и очень неглуп.

И он и Оуэн — оба видели, что дом вправду плох и скверно обставлен, но отцу и матери все здесь нравилось, а потому благоразумие и забота о мире в семье предписывали им хранить молчание.

— А меня возмущает, что нам приходится жить в такой старой лачуге, когда люди куда беднее нас живут в прекрасных домах. Даже какие-то Каупервуды…

— Ну заладила — Каупервуды да Каупервуды! Чего ты привязалась к этим Каупервудам! — крикнул Батлер, повернув к сидевшей подле него Эйлин свое широкое побагровевшее лицо.

— Но ведь даже их дом намного лучше нашего, хотя Каупервуд всего только твой агент!

— Каупервуды! Каупервуды! Не желаю я о них слышать! Я не собираюсь идти на выучку к Каупервудам! Пускай у них невесть какой прекрасный дом! Мне-то что за дело? Мой дом — это мой дом! Я желаю жить здесь! Я слишком долго жил в этом доме, чтобы вдруг, здорово живешь, съезжать отсюда! Если тебе здесь не нравится, ты прекрасно знаешь, что я тебя задерживать не стану! Переезжай куда тебе угодно! А я отсюда не тронусь!

Когда в семье происходили такие перепалки, разгоравшиеся по самому пустячному поводу, Батлер

имел обыкновение угрожающе размахивать руками под самым носом у жены и детей.

— Ну уж будь уверен, я скоро уберусь отсюда! — отвечала Эйлин. — Слава тебе господи, мне не придется здесь век вековать!

В ее воображении промелькнули прекрасная гостиная, библиотека и будуары в домах у Каупервудов — отделка которых, по словам Анны, уже приближалась к концу. А какой у Каупервудов очаровательный треугольный рояль, отделанный золотом и покрытый розовым и голубым лаком! Почему бы им не иметь таких же прекрасных вещей? Они, наверно, раз в десять богаче. Но ее отец, которого она любила всем сердцем, был человек старого закала. Правильно говорят о нем люди — неотесанный ирландец-подрядчик. Никакого проку от его богатства! Вот это-то и бесило Эйлин: почему бы ему не быть богатым и в то же время современным и утонченным? Тогда они могли бы… Ах, да что пользы расстраиваться! Пока она зависит от отца и матери, ее жизнь будет идти по-старому. Остается только ждать. Выходом из положения было бы замужество — хорошая партия. Но за кого же ей выйти замуж?

— Ну, я думаю, на сегодня хватит препирательств! — примирительно заметила миссис Батлер, невозмутимая и терпеливая, как сама судьба. Она отлично знала, что так расстраивает Эйлин.

— Но почему бы нам не обзавестись хорошим домом? — настаивала та.

— Или хотя бы переделать этот, — шепнула Нора матери.

— Тес! Помолчи! Всему свое время, — ответила миссис Батлер Норе. — Вот посмотришь, когда-нибудь мы так и сделаем. А теперь беги да садись за уроки. Хватит болтать!

Нора встала и вышла из комнаты. Эйлин затихла. Ее отец попросту упрямый, несносный человек. Но все-таки он славный! Она надула губки, чтобы заставить его пожалеть о своих словах.

— Ну, полно, — сказал Батлер, когда все вышли из-за стола; он понимал, что дочь сердита на него и что нужно ее чем-нибудь задобрить. — Сыграй-ка мне на рояле, да только что-нибудь хорошенькое!

Он предпочитал шумные, бравурные пьесы, в которых проявлялись талант и техника дочери, приводившие его в изумление. Вот, значит, что дало ей воспитание: как быстро и искусно играет она эти трудные вещи!

— Можешь купить себе новый рояль, если хочешь. Сходи в магазин и выбери. По мне и этот хорош, но раз тебе он не нравится, делай как знаешь.

Эйлин слегка сжала его руку. К чему спорить с отцом? Что даст новый рояль, если изменения требует весь дом, вся семейная атмосфера? Все же она стала играть Шумана, Шуберта, Оффенбаха, Шопена, а старик расхаживал по комнате и задумчиво улыбался. Некоторые вещи Эйлин исполняла с подлинной страстностью и проникновением, ибо, несмотря на свою физическую силу, избыток энергии и задор, она умела тонко чувствовать. Но отец ничего этого не замечал. Он смотрел на нее, на свою блестящую, здоровую, обворожительно красивую дочь, и думал о том, как сложится ее жизнь. Какой-нибудь богатый человек

женится на ней, — благовоспитанный, очень богатый молодой человек, с задатками дельца, — а он, отец, оставит ей кучу денег.

По случаю новоселья у Каупервудов устроили большой прием: сначала гости должны были собраться у Фрэнка, а позднее, для танцев, перейти в дом старого Каупервуда, более роскошный и обширный. В нижнем этаже его помещались большая и малая гостиные, комната, где стоял рояль, и зимний сад. Элсуорт так спланировал эти помещения, что их можно было превратить в один зал, достаточно просторный для концертов, танцев или променадов в перерывах между танцами, — одним словом, для любой цели, в какой может возникнуть надобность при большом стечении гостей. Молодой и старый Каупервуды с самого начала строительства предполагали совместно пользоваться обоими домами. Обе семьи обслуживали те же прачки, горничные и садовник. Фрэнк пригласил к своим детям гувернантку. Однако не все было поставлено на широкую ногу: дворецкий, например, совмещал свои обязанности с обязанностями камердинера Генри Каупервуда, он нарезал мясо во время обеда, руководил другими слугами и работал по мере надобности то в одном, то в другом доме. Общая конюшня находилась под присмотром конюха и кучера, а когда требовались два экипажа одновременно, оба они садились на козлы. В общем, это была удобная и экономная система хозяйства.

Приготовления к приему рассматривались Каупервудом как вопрос чрезвычайной важности, ибо из деловых соображений необходимо было пригласить избранное общество. Поэтому после долгих размышлений

на прием в доме Фрэнка — с последующим переходом в дом старого Каупервуда — решено было пригласить всех заранее занесенных в список, где значились мистер и миссис Тай, Стидеры, Батлеры, Молленхауэры и представители более избранных кругов, как, например: Артур Райверс, миссис Сенека Дэвис, Тренор Дрейк с женой, молодые Дрексели и Кларки, с которыми был знаком Фрэнк. Каупервуды не очень надеялись, что эти светские люди соблаговолят пожаловать, но приглашения им все же следовало послать. Позднее вечером предполагался съезд еще более почтенной публики; этот второй список предусматривал знакомых Анны, миссис Каупервуд, Эдварда и Джозефа и всех, кого наметил Фрэнк. Второй список считался «главным». Сливки общества, цвет молодежи, все, на кого только можно было воздействовать просьбой, нажимом или уговором, должны были откликнуться на приглашение.

Нельзя было не пригласить Батлеров, родителей и детей, и на дневной и на вечерний приемы, поскольку Фрэнк явно симпатизировал им, хотя присутствие стариков Батлеров и было очень нежелательно. Даже Эйлин, как правильно думал Фрэнк, казалась Анне и Лилиан не совсем подходящей для собиравшегося у них общества: обсуждая список, они много говорили о ней.

— Она какая-то шалая, — заметила Анна невестке, дойдя до имени Эйлин. — Бог знает что о себе воображает, а между тем не умеет даже как следует держаться. А ее отец! Да-а!.. С таким папашей я бы была тише воды, ниже травы!

Миссис Каупервуд, сидевшая за письменным столиком в своем новом будуаре, слегка приподняла брови и сказала:

— Поверь, Анна, я иногда очень сожалею, что дела Фрэнка вынуждают меня общаться с такими людьми. Миссис Батлер… боже, какая это скука! Сердце у нее доброе, но до чего же она невежественна! А Эйлин просто неотесанная девчонка. И развязна до невозможности. Она приходит к нам и тотчас садится за рояль, особенно когда дома Фрэнк. Мне в конце концов безразлично, как она себя ведет, но Фрэнка это, по-моему, раздражает. И пьесы она выбирает какие-то бравурные. Никогда не исполнит ничего изящного и серьезного.

— Мне очень не по душе ее манера одеваться, — в тон ей отозвалась Анна.

— И охота же нацеплять на себя такие экстравагантные вещи! На днях я встретила ее, когда она каталась и сама правила. Ах, я жалею, что ты не видела этой картины! Вообрази только: пунцовый жакет «зуав» с широкой черной каймой и шляпа с огромным пунцовым пером и пунцовыми лентами почти до талии. Подходящий наряд для катания! И какой самоуверенный вид. А руки! Посмотрела бы ты, как она держала руки, — вот так, слегка согнув в кистях!.. — Анна показала, как Эйлин это делала. — Длинные желтые перчатки, в одной руке вожжи, а в другой кнут. Между прочим, когда она сама правит лошадью, то мчится сломя голову, а слуга Уильям только подскакивает на запятках! Нет, я жалею, что ты не видела ее! Бог ты мой, как много она о себе воображает! — Анна хихикнула презрительно и насмешливо.

— И все же нам придется пригласить ее; я не вижу, как этого избежать. Но я заранее представляю себе ее

поведение: будет расхаживать по комнатам, задирая нос и позируя!

— Право, не понимаю, как можно так держать себя, — подхватила Анна. — Вот Нора мне нравится! Она куда симпатичнее. И ничего особенного о себе не воображает.

— Мне тоже нравится Нора, — подтвердила миссис Каупервуд. — Она очень мила, и, на мой взгляд, ее спокойная красота куда более привлекательна.

— О, разумеется! Я вполне согласна с тобой!

Интересно, однако, что именно Эйлин приковывала к себе все их внимание и возбуждала любопытство своими экстравагантностями. В какой-то мере они судили о ней справедливо, что, впрочем, не мешало Эйлин быть действительно красивой, а умом и силой характера значительно превосходить окружающих. Эйлин, безмерно честолюбивая, обращала на себя внимание, — а многих и раздражала, — тем, что бравировала недостатками, которые внутренне старалась побороть в себе. Девушку эту возмущало, что люди считают ее родителей — и не без основания — недостойными избранного общества и что это распространяется и на нее; Нет, она ни в чем никому не уступает! Вот, например, Каупервуд, такой способный, быстро выдвигающийся в обществе человек, понимает это. С течением времени Эйлин сблизилась с ним. Он всегда мило обходился с нею и охотно разговаривал. Когда бы он ни появлялся у них или ни встречал ее у себя в доме, он находил случай обменяться с ней несколькими словами. Обычно он близко подходил к ней и смотрел на нее весело и дружелюбно.

— Ну, как поживаете, Эйлин? — спрашивал он, и она ловила устремленный на нее ласковый взгляд. — Как

отец, как мама? Катались верхом? Это хорошо. Я вас сегодня видел. Вы были обворожительны.

— О, что вы, мистер Каупервуд!

— Право, вы были чудо как хороши! Вам очень идет амазонка. А ваши золотистые волосы я узнаю издалека.

— Нет, вы не должны говорить мне этого! Вы сделаете меня тщеславной, а родители и без того корят меня тщеславием.

— Не слушайте их! Я вам говорю, что вы были очаровательны, и это правда. Впрочем, вы всегда очаровательны.

— О!

Счастливый вздох вырвался у нее из груди. Краска залила ей щеки. Мистер Каупервуд знает, что говорит. Он все знает, и он такой сильный человек! Многие восхищаются им, в том числе ее отец, мать и, как она слыхала, даже мистер Молленхауэр и мистер Симпсон. А какой у него красивый дом, какая прекрасная контора! Но главное: его спокойная целеустремленность уравновешивала мятущуюся в ней силу.

Итак, Эйлин с сестрой получили приглашение, а папаше и мамаше Батлер в самой деликатной форме дали понять, что бал по окончании приема устраивается преимущественно для молодежи.

К Каупервудам съехалось множество народу. Гостей то и дело представляли друг другу. Хозяева с должной скромностью объясняли, как удалось Элсуорту разрешить стоявшие перед ним трудные задачи. Общество прогуливалось по крытой галерее и рассматривало оба дома. Многие из приглашенных были давно знакомы

между собой. Они мило беседовали в библиотеках и столовых. Кто-то острил, кто-то похлопывал по плечу приятеля, в другой группе рассказывали забавные анекдоты, а когда день сменился вечером, гости разъехались по домам.

Эйлин в костюме из синего шелка с бархатной пелеринкой такого же цвета и замысловатой отделкой из складочек и рюшей имела большой успех. Синяя бархатная шляпа с высокой тульей, украшенная темно-красной искусственной орхидеей, придавала ей несколько необычный и задорный вид. Ее рыжевато-золотистые волосы были уложены под шляпой в огромный шиньон, а один локон ниспадал на плечо. Эйлин от природы вовсе не была такой вызывающе смелой, какой она казалась, но ей нравилось, чтобы люди именно так думали о ней.

— Вы сегодня изумительны, — сказал Каупервуд, когда она проходила мимо.

— Вечером я буду еще лучше! — последовал ответ.

Легкой, горделивой походкой она прошла в столовую и скрылась за дверью. Нора с матерью задержались, разговаривая с миссис Каупервуд.

— Ах, до чего же у вас красиво! — восхищалась миссис Батлер. — Уж и счастливы вы будете здесь, помяните мое слово! Когда мой Эдди купил дом, где мы сейчас живем, я так и выложила ему напрямик: «Знаешь, Эдди, этот дом уж больно хорош для нас, ей-богу!» А как вы думаете, что он мне ответил? «Нора, — говорит, — ни на этом, ни на том свете нет ничего слишком хорошего для тебя!» Сказал — и чмок меня в губы! Вы только

подумайте, такой верзила, а ведет себя, как малый ребенок!

— По-моему, это премило, миссис Батлер, — отозвалась миссис Каупервуд, нервно оглядываясь, как бы их кто-нибудь не услышал.

— Мама очень любит рассказывать такие истории, — вмешалась Нора. — Пойдем, мама, посмотрим столовую!

— Ну, дай вам бог счастья в новом доме. Я вот всю жизнь была счастлива в своем. И вам того же желаю, ото всей души!

И миссис Батлер, добродушно улыбаясь, вперевалочку вышла из комнаты.

Между семью и восемью часами вечера Каупервуды наспех пообедали в семейном кругу.

В девять снова начали съезжаться гости, но теперь это была яркая и пестрая толпа: девушки в сиреневых, кремовых, розовых и серебристо-серых платьях торопливо сбрасывали кружевные шали и просторные доломаны на руки кавалеров, одетых в строгие черные костюмы. На холодной улице то и дело хлопали дверцы подъезжавших экипажей. Миссис Каупервуд с мужем и Анна встречали гостей у двери зала, а старые Каупервуды с сыновьями Джозефом и Эдвардом приветствовали их на другом его конце. Лилиан выглядела очаровательной в платье цвета «увядающей розы» со шлейфом и глубоким четырехугольным вырезом на шее, из-под которого выглядывала прелестная кружевная блузка. Ее лицо и фигура все еще были красивы, но она уже утратила ту свежесть и нежность, которые несколько лет назад пленили Фрэнка. Анна

Каупервуд не была хороша собой, хотя ее нельзя было назвать и некрасивой — маленькая, смуглая, со вздернутым носиком и живыми черными глазами. Лицо ее выражало независимость, настойчивость, ум и — увы — несколько заносчивое отношение к людям. Одета она была с большим вкусом. Черное платье, усыпанное сверкающими блесткам», очень шло к ней, несмотря на ее смуглую кожу, так же как и красная роза в волосах. У Анны были нежные, приятно округлые руки и плечи. Лукавые глаза, бойкие манеры, остроумие и находчивость в разговоре придавали ей известную обаятельность, хотя, как она сама говаривала, все это было ни к чему: «Мужчинам нравятся куклы!»

Вместе со всей этой толпой молодежи явились и сестры Батлер — Эйлин и Нора. Эйлин сбросила на руки своему брату Оуэну тонкую шаль из черных кружев и черный шелковый доломан. Нору сопровождал Кэлем — стройный, подтянутый, улыбающийся молодой ирландец, весь вид которого говорил о том, что он способен сделать отличную карьеру. На Норе было еще сравнительно короткое, едва закрывавшее щиколотки воздушное платье из белого шелка с бледно-сиреневым узором и крохотными, сиреневыми же, бантиками на кружевных воланах кринолина. Широкая лиловая лента стягивала ее талию, волосы были схвачены таким же бантом. Возбужденная, с сияющими глазами, Нора выглядела прелестно.

Но за ней шла ее сестра в головокружительном туалете из черного атласа, покрытого чешуей серебристо-красных блесток. Ее округлые, прекрасные руки и плечи были обнажены, корсаж на груди и на спине вырезан так низко, как только позволяло приличие. Статная фигура Эйлин с высокой грудью и

несколько широкими бедрами в то же время отличалась мягкой гармоничностью. Низкий треугольный вырез корсажа и черный с серебряными прожилками тюль, украшавший платье, делали ее еще более эффектной. Бело-розовая, полная и словно точеная шея девушки оттенялась ожерельем из граненого темного янтаря. Прелесть ее здорового и нежного румянца подчеркивалась крохотной черной мушкой, прилепленной на щеке. Рыжевато-золотистые волосы были искусно взбиты надо лбом, сзади весь этот каскад золота, заплетенный в две толстые косы, был уложен в черную, спускавшуюся на шею сетку, слегка подведенные брови оттеняли необычный цвет ее волос. Среди гостей Эйлин выглядела несколько слишком вызывающей, но объяснялось это не столько ее туалетом, сколько жизненной силой, бившей в ней через край. Умение показать себя в выгодном свете для Эйлин значило бы — притушить свою яркость, физическую и душевную. Но жизнь всегда толкала ее к прямо противоположным действиям.

— Лилиан!

Анна тихонько дотронулась до руки невестки. Ее очень огорчало, что Эйлин тоже в черном и куда интереснее их обеих.

— Я вижу, — вполголоса отозвалась та.

— Вот вы и вернулись! — обратилась она к Эйлин. — На улице, верно, холодно?

— Право, я не заметила. Как у вас здесь прелестно!

Она обвела глазами комнату, залитую мягким светом, и толпу гостей.

Нора тотчас же принялась болтать с Анной.

— Вы знаете, я уж думала, что так и не сумею натянуть на себя это платье! Противная Эйлин ни за что не хотела мне помочь!

Эйлин быстро прошла туда, где вместе с матерью стоял Фрэнк. Она спустила с руки атласную ленту, державшую шлейф, и расправила его нетерпеливым движением. Несмотря на всю ее прирожденную заносчивость, в глазах у нее появилось молящее и преданное выражение, как у шотландской овчарки, ровные зубы ослепительно блеснули.

Каупервуд прекрасно понял ее, — как понимал всякое породистое животное.

— У меня нет слов сказать вам, как вы прелестны! — шепнул он ей так, словно между ними существовали какие-то давние, им одним известные отношения. — Вы — вся огонь и песня!

Он и сам не знал, почему фраза эта сорвалась с его губ. Склонности к поэзии в нем, собственно, не было. Заранее он не готовился, но едва только он завидел Эйлин в вестибюле, все его мысли и чувства забились и заиграли, как норовистые кони. Появление этой девушки заставило его стиснуть зубы, полузакрыть глаза. Все мышцы его невольно напряглись, а выражение лица по мере приближения Эйлин делалось все решительнее, мужественнее, суровее.

Но обеих сестер тотчас же окружили молодые люди, жаждавшие быть им представленными, записаться на танец, и Каупервуд на время потерял Эйлин из виду.

18

Зерно всякой жизненной перемены трудно постигнуть, ибо оно глубоко коренится в самом человеке. Стоило миссис Каупервуд и Анне упомянуть о бале, как Эйлин ощутила желание блеснуть на нем ярче, чем это удавалось ей до сих пор, несмотря на все богатство ее отца. Общество, в котором ей предстояло появиться, было несравненно более изысканным и требовательным, чем то, в котором она обычно вращалась. Кроме того, Каупервуд значил теперь для нее очень много, и уже ничто на свете не могло заставить ее не думать о нем.

Час назад, когда Эйлин переодевалась, он все время стоял перед ее внутренним взором. Она и о своем туалете заботилась главным образом для него. Она не могла забыть тех минут, когда он смотрел на нее пытливым, ласковым взглядом. Однажды он похвалил ее руки. Сегодня он сказал, что она «изумительна», и она подумала, как легко ей будет произвести на него вечером еще более сильное впечатление, показать ему, как она хороша на самом деле.

Время от восьми до девяти вечера Эйлин провела перед зеркалом, размышляя о том, что ей надеть, и лишь в четверть десятого была, наконец, совсем готова. Ее платяной шкаф — весьма обширный и громоздкий — был снабжен двумя высокими зеркалами, третье было вделано в дверь гардеробной. Эйлин стояла перед этим зеркалом, смотрела на свои обнаженные руки и плечи, на свою стройную фигуру, задумчиво рассматривала то ямочку на левом плече, то подвязки с гранатами и серебряными застежками в виде сердечек, на которых она сегодня остановила свой выбор. Корсет вначале не

удавалось затянуть достаточно туго, и Эйлин сердилась на свою горничную Кетлин Келли. Потом все ее внимание поглотила прическа, и она немало повозилась, прежде чем решила окончательно, как уложить волосы. Эйлин подвела брови, слегка взбила волосы — пусть лежат свободно и оттеняют лоб. Маникюрными ножницами она нарезала кружочки из черного пластыря и стала прилеплять их на щеки. Наконец был найден нужный размер мушки и подходящее место. Она поворачивала голову из стороны в сторону, оценивая общий эффект от прически, подведенных бровей, плеч с ямочками и мушки. О, если бы сейчас ее видел какой-нибудь мужчина! Но кто? Эта мысль, словно испуганная мышка, проворно юркнула назад в нору. Несмотря на всю решительность своего характера, Эйлин страшилась мысли о нем, единственном, о ее мужчине.

Затем она занялась выбором платья. Кетлин разложила перед нею целых пять; Эйлин лишь недавно познала радость и гордость, доставляемые этими вещами, и, с разрешения отца и матери, вся отдалась нарядам. Она долго осматривала золотисто-желтое шелковое платье с бретелями из кремовых кружев и шлейфом, расшитым таинственно поблескивавшими гранатами, но отложила его в сторону. Затем принялась с удовольствием разглядывать шелковое платье в белую и черную полоску, которые, сливаясь, создавали прелестный серый тон, но, как ни велик был соблазн, все же в конце концов отказалась и от него. Среди разложенных перед нею туалетов было платье каштанового цвета с лифом и оборками из белого шелка, еще одно из роскошного кремового атласа и, наконец, черное с блестками, на котором Эйлин и остановила свой выбор. Правда, сначала она еще примерила кремовое

атласное, думая, что вряд ли найдет более подходящее, но оказалось, что ее подведенные брови и мушка не гармонируют с ним. Тогда она надела черное шелковое с серебристо-красной чешуей, и — о радость! — оно сразу рассеяло все ее сомнения. Серебристый тюль, кокетливо драпировавший бедра, сразу пленил ее. Тюлевая отделка тогда только начинала входить в моду; еще не признанная более консервативными модницами, она приводила в восторг Эйлин. Трепет пробежал по ее телу от шелеста этого черного наряда, она выпрямилась и слегка запрокинула голову; платье на ней сидело прекрасно. А когда Кетлин, по ее требованию, еще туже затянула корсет, она приподняла шлейф, перекинула его через руку и снова осмотрела себя в зеркале. Чего-то все-таки недоставало. Ну, конечно! Надо что-нибудь надеть на шею. Красные кораллы? Они выглядели слишком просто. Нитку жемчуга? Тоже не подходит. У нее имелось еще ожерелье из миниатюрных камей, оправленных в серебро, — подарок матери, — и бриллиантовое колье, собственно принадлежавшее миссис Батлер, но ни то, ни другое не шло к ее туалету. Наконец она вспомнила о своем ожерелье из темного янтаря, никогда ей особенно не нравившемся, и — ах, до чего же кстати оно пришлось! Каким нежным, гладким и белым казался ее подбородок на этом фоне! Она с довольным видом провела рукой по шее, велела подать себе черную кружевную мантилью и надела длинный доломан из черного шелка на красной подкладке — туалет был закончен.

Бальный зал к ее приходу был уже полон. Молодые люди и девушки, которых там увидела Эйлин, показались ей очень интересными; ее тотчас же обступили поклонники. Наиболее предприимчивые и смелые из этих

молодых людей сразу почувствовали, что в этой девушке таится какой-то страстный призыв, жгучая радость существования. Они окружили ее, как голодные мухи слетаются на мед.

Но когда ее список кавалеров начал быстро заполняться, у нее мелькнула мысль, что скоро не останется ни одного танца для мистера Каупервуда, если он пожелает танцевать с нею.

Каупервуд, встречая последних гостей, размышлял о том, какая тонкая и сложная штука взаимоотношения полов. Два пола! Он не был уверен, что этими взаимоотношениями управляет какой-нибудь закон. По сравнению с Эйлин Батлер его жена казалась бесцветной и явно немолодой, а когда он сам станет на десять лет старше, она будет и вовсе стара.

— О да, Элсуорту очень удались эти два дома, он даже превзошел наши ожидания! — говорил Каупервуд молодому банкиру Генри Хэйл-Сэндерсону. — Правда, его задачу облегчала возможность сочетать их между собой, но с моим ему пришлось, конечно, труднее, он ведь более скромных размеров. Отцовский дом просторнее. Я уже и так говорю, что Элсуорт поселил меня в пристройке!

Старый Каупервуд с приятелями удалился в столовую своего великолепного дома, радуясь возможности скрыться от толпы гостей. Фрэнку пришлось заменить его, да он и сам этого хотел. Теперь ему, может быть, удастся потанцевать с Эйлин. Жена не большая охотница до танцев, но надо будет разок пригласить и ее. Воя там ему улыбается миссис Сенека Дэвис — и Эйлин тоже. Черт возьми, как она хороша! Что за девушка!

— Надо полагать, все ваши танцы уже расписаны? Разрешите взглянуть?

Фрэнк остановился перед нею, и она протянула ему крохотную книжечку с голубым обрезом и золотой монограммой. В зале заиграл оркестр. Скоро начнутся танцы. Вдоль стен и за пальмами уже были расставлены легкие золоченые стулья.

Фрэнк посмотрел ей в глаза — в эти взволнованные, упоенные и жаждущие жизни глаза.

— Да у вас уже все заполнено! Дайте взглянуть. Девятый, десятый, одиннадцатый. Что ж, пожалуй, хватит. Вряд ли мае удастся много танцевать. А ведь приятно иметь такой успех!

— Я не совсем уверена насчет третьего танца. Мне кажется, я что-то спутала. Если хотите, я могу оставить его для вас.

Эйлин сказала неправду. Она ничего не спутала.

— Вы, вероятно, не слишком интересуетесь этим вашим кавалером, — заметил Фрэнк и слегка покраснел.

— Нет.

Эйлин тоже вспыхнула.

— Чудесно! Когда объявят танец, я найду вас. Вы — прелесть. Но я вас боюсь.

Он бросил на нее быстрый испытующий взгляд и отошел. Грудь Эйлин вздымалась. Как трудно иногда бывает дышать в таком нагретом воздухе!

Во время танцев — партнершами Фрэнка были сначала жена, затем миссис Дэвис и миссис Уокер — ему изредка удавалось взглянуть на Эйлин, и каждый раз его

наполняло радостное ощущение ее силы, ее красоты и бурной энергии

— всего, чему он вообще не умел противостоять, а в этот вечер особенно. Как она еще молода, эта девушка! Как обворожительна! И какие бы колкости ни отпускала его жена по ее адресу, он чувствовал, что она больше соответствует его прямолинейной, активной, не ведающей сомнений натуре, чем любая другая женщина. Она несколько простодушна, — этого он не мог не видеть, — но, с другой стороны, потребуется совсем немного усилий, чтобы научить ее многое понимать. Она производила на него впечатление чего-то очень большого, — не в физическом смысле, конечно, хотя и была почти одного с ним роста, — а в эмоциональном. Она вся проникнута жизнелюбием. Танцуя, Эйлин часто проносилась мимо него с сияющим взглядом, полураскрыв рот и обнажая в улыбке ослепительно белые зубы, и Каупервуд всякий раз испытывал еще незнакомое ему чувство острого восхищения; его неодолимо тянуло к ней. Вся она, каждое ее движение было исполнено прелести.

— Так как же, Эйлин, свободен у вас следующий танец? — спросил он, подходя к ней перед началом третьего тура.

Она только что кончила танцевать и сидела со своим кавалером в дальнем углу большой гостиной, навощенный паркет которой блестел, как зеркало. Несколько искусно расставленных пальм образовали в этом углу подобие зеленого грота.

— Я надеюсь, вы извините меня? — учтиво добавил Фрэнк, вежливо обращаясь к кавалеру Эйлин.

— Разумеется, — отвечал молодой человек, вставая.

— Да, этот танец свободен, — сказала Эйлин. — Давайте посидим здесь; скоро уже начнется. Вы ничего не имеете против? — обратилась она к своему прежнему партнеру, подарив его ослепительной улыбкой.

— Помилуйте! Я уже получил величайшее удовольствие, протанцевав с вами вальс!

Он ушел. Каупервуд сел подле нее.

— Если не ошибаюсь, это молодой Ледокс? Я видел, как вы танцевали с ним. Вы, кажется, любите танцевать?

— Люблю до безумия.

— Не могу этого сказать о себе. Хотя это, верно, увлекательное занятие. Все зависит от того, с кем танцуешь. Миссис Каупервуд тоже не большая охотница до танцев.

Упоминание о Лилиан заставило девушку почувствовать свое превосходство над нею.

— По-моему, вы очень хорошо танцуете. Я тоже наблюдала за вами.

Позднее Эйлин укоряла себя за эти слова. Они прозвучали вызывающе, почти дерзко.

— Это правда? Вы наблюдали за мной?

— Да!

Фрэнк был сильно взволнован, и его мысли туманились: Эйлин невольно вторгалась в его жизнь — вернее, вторглась бы, если бы он это допустил; поэтому его слова звучали как-то даже робко. Он думал о том, что бы такое сказать, подыскивал выражения, которые

хоть немного могли бы сблизить их, но не находил. А высказать ему хотелось многое.

— Как это мило с вашей стороны, — произнес он после довольно долгого молчания. — Но что побудило вас наблюдать за мной?

Фрэнк посмотрел на нее с легкой усмешкой. Снова заиграла музыка. Танцоры начали подниматься со своих мест. Он тоже встал.

Каупервуд не думал вкладывать в свой вопрос какой-либо серьезный смысл, но сейчас, когда Эйлин стояла так близко, совсем рядом с ним, он пристально посмотрел ей в глаза и с мягкой настойчивостью переспросил:

— Так что же вас к этому побудило?

Они вышли из-под сени пальм. Правой рукой Фрэнк обвил ее талию. Левой он держал ее вытянутую правую руку — ладонь в ладони. Левая рука Эйлин покоилась у него на плече, она стояла вплотную подле него и смотрела ему в глаза. Когда они закружились в ритмическом вихре вальса, она отвела взор и опустила глаза, не отвечая на вопрос Фрэнка. Ее движения были легки и воздушны, как полет бабочки. Фрэнк и сам ощутил какую-то внезапную легкость, словно электрический ток, передавшуюся от нее. Ему захотелось поспорить с ней гибкостью тела. Ее руки, сверканье серебристо-красных блесток на черном платье, плотно облегавшем тело, ее шея и золотистые волосы туманили его разум. Она дышала здоровьем, молодостью я казалась ему поистине прекрасной.

— Вы мне все еще не ответили, — напомнил Фрэнк.

— Какая прелестная музыка!

Он сжал ее руку.

Эйлин робко подняла на него глаза: несмотря на всю свою веселую, задорную силу, она боялась его. Он явно превосходил всех здесь присутствующих. Сейчас, во время танца, когда он был так близко от нее, он казался ей удивительно интересным, но нервы ее сдали, и она почувствовала желание убежать без оглядки.

— Ну, что ж, нет так нет, — он улыбнулся чуть-чуть насмешливо.

Фрэнк вообразил, что ей нравится такой тон разговора, нравится, что он поддразнивает ее намеками на свое затаенное чувство, на свое неодолимое влечение к ней. Но к чему приведет такое объяснение?

— Я просто хотела посмотреть, хорошо ли вы танцуете, — несколько сухо ответила Эйлин.

Испуганная тем, что между ними происходило, она постаралась сдержать свое чувство. Фрэнк заметил эту перемену и улыбнулся. Как приятно танцевать с ней! Никогда он не думал, что в танцах может быть столько прелести!

— Я вам нравлюсь? — неожиданно спросил он как раз в тот миг, когда оркестр умолк.

Трепет пробежал по всему телу Эйлин при этом вопросе. Кусок льда, сунутый за ворот, не заставил бы ее вздрогнуть сильнее. Вопрос, казалось бы, бестактный, но тон, которым он был задан, исключал всякую мысль о бестактности. Эйлин быстро подняла глаза, в упор посмотрела на Каупервуда, но не могла выдержать его взгляда.

— Да, конечно, — ответила она, стараясь сдержать дрожь в голосе, обрадованная, что музыка уже замолкла и сейчас можно будет отойти от него.

— Вы так нравитесь мне, — признался Каупервуд, — что я непременно должен узнать, нравлюсь ли я вам хоть немного.

В его голосе звучала и мольба, и нежность, и даже грусть.

— Да, конечно, — повторила она, стряхнув охватившее ее было оцепенение.

— И вы это знаете.

— Мне нужно, чтобы вы были расположены ко мне, — продолжал он тем же тоном. — Мне нужен человек, с которым я мог бы говорить откровенно. Раньше я об этом не думал, но теперь мне это необходимо. Вы не знаете, как вы прелестны!

— Не надо, — перебила его Эйлин. — Я не должна… Боже мой, что я делаю.

Она увидела приближавшегося к ней молодого человека и продолжала:

— Я должна извиниться перед ним. Этот танец был обещан ему.

Каупервуд понял и отошел. Ему стало жарко, нервы его были напряжены. Он понимал, что совершил — или по крайней мере задумал — вероломный поступок. Согласно кодексу общественной морали, он не имел права на такое поведение. Оно противоречило раз и навсегда установленным нормам, как их понимали все вокруг — ее отец, например, или его родители, или любой представитель их среды. Как бы часто ни

нарушались тайком эти нормы, они всегда оставались в силе. Однажды, еще в школе, кто-то из его соучеников, когда речь зашла о человеке, погубившем девушку, изрек:

— Так не поступают!

Как бы там ни было, но после всего происшедшего образ Эйлин неотступно стоял перед ним. И хотя ему тотчас пришло на ум, что эта история может до крайности запутать его общественное и финансовое положение, он все же с каким-то странным интересом следил за тем, как сам умышленно, планомерно, хуже того — с восторгом разжигал в себе пламя страсти. Раздувать огонь, который может со временем уничтожить его самого, — и делать это искусно и преднамеренно!

Эйлин, скучая, играла веером и слушала, что говорит ей молодой черноволосый студент-юрист с тонким лицом. Завидев вдали Нору, она попросила у него извинения и подошла к сестре.

— Ах, Эйлин! — воскликнула Нора. — Я повсюду искала тебя. Где ты пропадала?

— Танцевала, конечно. Где же еще, по-твоему, могла я быть? Разве ты не видела меня в зале?

— Нет, не видела, — недовольным тоном отвечала Нора, словно речь шла о чем-то очень важном. — А ты долго еще думаешь оставаться здесь?

— До конца, вероятно. Впрочем, там видно будет.

— Оуэн сказал, что в двенадцать уедет домой.

— Ну и что ж такого! Меня кто-нибудь проводит. Тебе весело?

— Очень! Ах, что я тебе расскажу! Во время последнего танца я наступила одной даме на платье. Как она обозлилась! И какой взгляд бросила на меня!

— Ну, ничего, милочка, не бойся, она тебя не съест. Куда ты сейчас идешь?

Эйлин всегда говорила с сестрой несколько покровительственным тоном.

— Хочу разыскать Кэлема. Он должен танцевать со мной в следующем туре. Я знаю, что у него на уме: он хочет ускользнуть от меня, но это ему не удастся!

Эйлин улыбнулась. Нора была прелестна. К тому же она такая умница! Что бы она подумала, если бы все узнала? Эйлин обернулась — четвертый кавалер разыскивал ее. Она тотчас начала весело болтать с ним, памятуя, что должна держать себя непринужденно. Но в ушах ее неизменно звучал все тот же ребром поставленный вопрос: «Я вам нравлюсь?» — и ее неуверенный, но правдивый ответ: «Да, конечно!»

19

Развитие страсти — явление своеобразное. У людей большого интеллекта, а также у натур утонченных страсть нередко начинается с восхищения известными достоинствами своего будущего предмета, впрочем, все же воспринимаемыми с бесконечными оговорками. Эгоист, человек, живущий рассудком, весьма мало поступаясь своим «я», сам требует очень многого. Тем не менее человеку, любящему жизнь, — будь то мужчина или женщина, — гармоническое соприкосновение с такой эгоистической натурой сулит очень многое.

Каупервуд от рождения был прежде всего рассудочным эгоистом, хотя к этим его свойствам в значительной мере примешивалось благожелательное и либеральное отношение к людям. Эгоизм и преобладание умственных интересов, думается нам, благоприятствуют деятельности в различных областях искусства. Финансовая деятельность — то же искусство, сложнейшая совокупность действий людей интеллектуальных и эгоистичных. Каупервуд был финансистом по самой своей природе. Вместо того чтобы млеть перед созданиями природы, перед их красотой и сложностью, забывая о материальной стороне жизни, он, благодаря быстроте своего мышления, обрел счастливую способность умственно и эмоционально наслаждаться прелестями бытия без ущерба для своих непрестанных финансовых расчетов. Размышляя о женщинах, о нравственности, то есть о том, что так тесно связано с красотою, счастьем, с жаждой полноценной и разнообразной жизни, он начинал сомневаться в пресловутой идее однолюбия, считая, что она вряд ли

имеет под собой какую-либо другую почву, помимо стремления сохранить существующий общественный уклад. Почему мнения стольких людей сошлись именно на том, что можно и должно иметь только одну жену и оставаться ей верным до гроба? На этот вопрос он не находил ответа. У него не было охоты ломать себе голову над тонкостями теории эволюции, о которой уже тогда много говорилось в Европе, или припоминать соответствующие исторические анекдоты. Он был слишком занятым человеком. Кроме того, он не раз наблюдал такие сплетения обстоятельств и темпераментов, которые доказывали полную несостоятельность этой идеи. Супруги не оставались верными друг другу до гроба, а в тысячах случаев если и блюли верность, то не по доброй воле. Быстрота и смелость ума, счастливая случайность — вот что помогло иным людям возмещать свои семейные и общественные неудачи; другие же из-за своей тупости, несообразительности, бедности или отсутствия личного обаяния были обречены на беспросветное прозябание. Проклятая случайность рождения, собственная безвольность или ненаходчивость заставляли их либо непрерывно страдать, либо с помощью веревки, ножа, пули или яда искать избавленья от постылой жизни, которая при других обстоятельствах могла бы быть прекрасной.

«Я тоже предпочел бы умереть», — мысленно произнес Каупервуд, прочитав в газете о человеке, полунищем, прикованном к постели и все же одиноко просуществовавшем двенадцать лет в крохотной каморке на попечении дряхлой и, очевидно, тоже хворой служанки. Штопальная игла, пронзившая сердце, положила конец его земным страданиям. «К черту такую

жизнь! Двенадцать лет! Почему он не сделал этого на втором или третьем году болезни?»

И опять-таки совершенно ясно — доказательства тому встречаются на каждом шагу, — что все затруднения разрешает сила, умственная и физическая. Ведь вот промышленные и финансовые магнаты могут же поступать

— и поступают — в сей жизни, как им заблагорассудится! Каупервуд уже не раз в этом убеждался. Более того, все эти жалкие блюстители так называемого закона и морали — пресса, церковь, полиция и в первую очередь добровольные моралисты, неистово поносящие порок, когда они обнаруживают его в низших классах, но трусливо умолкающие, едва дело коснется власть имущих, и пикнуть не смели, покуда человек оставался в силе, однако стоило ему споткнуться, и они, уже ничего не боясь, набрасывались на него. О, какой тогда поднимался шум! Звон во все колокола! Какое лицемерное и пошлое словоизвержение! «Сюда, сюда, добрые люди! Смотрите, и вы увидите собственными глазами, какая кара постигает порок даже в высших слоях общества!» Каупервуд улыбался, думая об этом. Какое фарисейство! Какое ханжество! Но так уж устроен мир, и не ему его исправлять. Пусть все идет своим чередом! Его задача — завоевать себе место в жизни и удержать его, создать себе репутацию добропорядочности и солидности, которая могла бы выдержать любое испытание и сойти за истинную его сущность. Для этого нужна сила. И быстрый ум. У него есть и то и другое. «Мои желания — прежде всего» — таков был девиз Каупервуда. Он мог бы смело начертать

его на щите, с которым отправлялся в битву за место среди избранников фортуны.

Но сейчас ему нужно было тщательно обдумать и решить, как поступать дальше с Эйлин; впрочем, Каупервуд, человек сильный и целеустремленный, и в этом вопросе сохранял полное самообладание. Для него это была проблема, мало чем отличавшаяся от сложных финансовых проблем, с которыми он сталкивался ежедневно. Она не казалась ему неразрешимой. Что следует предпринять? Он не мог бросить жену и уехать с Эйлин, это не подлежало сомнению. Слишком много нитей связывало его. Не только страх перед общественным мнением, но и любовь к родителям и детям, а также финансовые соображения достаточно крепко его удерживали. Кроме того, он даже не был уверен, хочет ли он этого. Он вовсе не намеревался поступаться своими деловыми интересами, которые разрастались день ото дня, но в то же время не намеревался и тотчас же отказаться от Эйлин. Слишком много радости сулило ему чувство, неожиданно вспыхнувшее в ней. Миссис Каупервуд более его не удовлетворяла ни физически, ни духовно, и это служило достаточным оправданием его увлечения Эйлин Чего же бояться? Он и из этого положения сумеет выпутаться без всякого ущерба для себя. Но минутами ему все же казалось, что практически он не сумеет найти для себя и Эйлин достаточно безопасной линии поведения, и это делало его молчаливым и задумчивым. Ибо теперь его уже неодолимо влекло к ней, и он понимал, что в нем нарастает мощное чувство, настойчиво требующее выхода.

Думая о жене, Каупервуд тоже испытывал сомнения не только морального, но и материального порядка. Хотя

Лилиан, овдовев, и не устояла перед его бурным юношеским натиском, но позднее он понял, что она типичная лицемерная блюстительница общественных нравов; ее холодная, снежная чистота была предназначена лишь для глаз света. На деле ею нередко овладевали порывы мрачного сладострастия. Он убедился также, что она стыдилась страсти, временами захватывавшей ее и лишавшей самообладания. И это раздражало Каупервуда, ибо он был сильной, властной натурой и всегда шел прямо к цели. Конечно, он не собирался посвящать всех встречных и поперечных в свои чувства к Лилиан, но почему они и с глазу на глаз должны были замалчивать свои отношения, не говорить о физической близости друг с другом? Зачем думать одно и делать другое? Конечно, по-своему она была предана ему — спокойно, бесстрастно, силой одного только разума; оглядываясь назад, он не мог вспомнить ее другою, разве что в редкие минуты. Чувство долга, как она его понимала, играло большую роль в ее отношении к нему. Долг она ставила превыше всего. Затем шло мнение света и все, чего требовал дух времени. Эйлин, напротив, вероятно, не была человеком долга, и темперамент, очевидно, заставлял ее пренебрегать условностями. Правила поведения, несомненно, внушались ей, как и другим девушкам, но она явно не желала считаться с ними.

В ближайшие три месяца они еще больше сблизились. Прекрасно понимая, как отнеслись бы родители и свет к чувствам, которые наполняли ее душу, Эйлин тем не менее упорно думала все об одном и том же, упорно желала все того же самого. Теперь, когда она зашла так далеко и скомпрометировала себя если не поступками, то помыслами, Каупервуд стал казаться ей

еще более обольстительным. Не только физическое его обаяние волновало ее, — сильная страсть не знает такого ограничения, — внутренняя цельность этого человека привлекала ее и манила, как пламя манит мотылька. В его глазах светился огонек страсти, пусть притушенный волей, но все-таки властный и, по ее представлению, всесильный.

Когда, прощаясь, он дотрагивался до ее руки, ей казалось, что электрический ток пробегает по ее телу, и, расставшись с ним, она вспоминала, как трудно ей было смотреть ему прямо в глаза. Временами эти глаза излучали какую-то разрушительную энергию. Многие люди, особенно мужчины, с трудом выдерживали холодный блеск его взгляда. Им казалось, что за этими глазами, смотрящими на них, притаилась еще пара глаз, наблюдающих исподтишка, но всевидящих. Никто не мог бы угадать, о чем думает Каупервуд.

В последующие месяцы Эйлин еще сильнее привязалась к нему. Однажды вечером, когда она сидела за роялем у Каупервудов, Фрэнк, улучив момент, — в комнате как раз никого не было, — наклонился и поцеловал ее. Сквозь оконные занавеси виднелась холодная, заснеженная улица и мигающие газовые фонари. Каупервуд рано вернулся домой и, услышав игру Эйлин, прошел в комнату, где стоял рояль. На Эйлин было серое шерстяное платье с причудливой оранжевой и синей вышивкой в восточном вкусе. Серая шляпа, в тон платью, с перьями, тоже оранжевыми и синими, еще более подчеркивала ее красоту. Четыре или пять колец — во всяком случае их было слишком много — с опалом, изумрудом, рубином и бриллиантом — сверкали и переливались на ее пальцах, бегавших по клавишам.

Он вошел, и она, не оборачиваясь, угадала, что это он. Каупервуд приблизился к ней, и Эйлин с улыбкой подняла на него глаза, в которых мечтательность, навеянная Шубертом, сменилась совсем другим выражением. Каупервуд внезапно наклонился и впился губами в ее губы. От шелковистого прикосновения его усов трепет прошел по ее телу. Эйлин прекратила игру, грудь ее судорожно вздымалась; как она ни была сильна, но у нее перехватило дыхание. Сердце ее стучало, словно тяжкий молот. Она не воскликнула: «Ах!» или: «Не надо!», а только встала, отошла к окну и, приподняв занавесь, сделала вид, будто смотрит на улицу. Ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание от избытка счастья.

Каупервуд быстро последовал за нею. Обняв Эйлин за талию, он посмотрел на ее зардевшееся лицо, на ясные влажные глаза и алые губы.

— Ты любишь меня? — прошептал он, и от захватившего его страстного желания этот вопрос прозвучал сурово и властно.

— Да! Да! Ты же знаешь!

Он прижался лицом к ее лицу, а она подняла руки и стала гладить его волосы.

Властное чувство счастья, радости обладания и любви к этой девушке, к ее телу пронизало Фрэнка.

— Я люблю тебя, — произнес он так, словно сам дивился своим словам. — Я не понимал этого, но теперь понял. Как ты хороша! Я просто с ума схожу.

— И я люблю тебя, — отвечала она. — Я ничего не могу с собой поделать. Я знаю, что я не должна, но… ах!..

Эйлин схватила руками его голову и прижалась губами к его губам, не отрывая затуманенного взгляда от его глаз. Затем она быстро отстранилась и опять стала смотреть на улицу, а Каупервуд отошел в глубину гостиной. Они были совсем одни. Он уже обдумывал, можно ли ему еще раз поцеловать ее, когда в дверях показалась Нора — она была в комнате у Анны, — а вслед за ней и миссис Каупервуд. Через несколько минут Эйлин и Нора уехали домой.

20

После столь исчерпывающего и недвусмысленного объяснения Каупервуд и Эйлин, естественно, должны были еще более сблизиться. Несмотря на полученное ею религиозное воспитание, Эйлин не умела бороться со своими страстями. Общепринятые религиозные взгляды и понятия не были для нее сдерживающим началом. В последние девять или десять лет в ее воображении постепенно складывался образ возлюбленного. Это должен быть человек сильный, красивый, прямодушный, преуспевающий, с ясными глазами и здоровым румянцем и в то же время чуткий, отзывчивый, любящий жизнь не меньше, чем она сама. Многие молодые люди пытались завоевать ее расположение. Ближе всего к ее идеалу подходил, пожалуй, отец Давид из церкви св.Тимофея, но он был священник, связанный обетом безбрачия. Они никогда не обменялись ни единым словом, хотя догадывались о чувствах друг друга. Затем появился Фрэнк Каупервуд, который благодаря частым встречам и разговорам постепенно принял в ее мечтах образ идеального возлюбленного. Она тяготела к нему, как планета к солнцу.

Неизвестно, конечно, как бы все сложилось, если бы в это время пришли в действие противоборствующие силы. Бывает иногда, что подобные чувства и отношения пресекаются в корне. Любой характер в какой-то мере поддается смягчению, меняется, но силы, на него воздействующие, должны быть очень значительны. Могучим сдерживающим началом часто становится страх, если не внушенный религиозными и моральными представлениями, то страх перед материальным

ущербом; но богатство и положение в обществе, как правило, сводят его на нет. Ведь когда у тебя много денег, все так легко устраивается!

Эйлин ничего не боялась. Каупервуд не привык считаться ни с моральными, ни с религиозными соображениями. Он смотрел на эту девушку и думал единственно о том, как обмануть свет и насладиться ее любовью, не запятнав своей репутации. Он любил ее всем своим существом.

Дела заставляли его довольно часто бывать у Батлеров, и каждый раз он видел Эйлин. В первый же его приход после того, как он объяснился с нею, Эйлин удалось украдкой проскользнуть к нему, пожать ему руку, сорвать горячий и быстрый поцелуй. В другой раз, когда он уже уходил, она вдруг вышла из-за портьеры.

— Любимый мой!

Ее голос звучал просительно и нежно. Каупервуд обернулся и сделал предостерегающий жест в сторону комнаты ее отца.

Но Эйлин все стояла, не двигаясь с места, протягивая к нему руки; Фрэнк торопливо приблизился. Тогда руки девушки мгновенно обвились вокруг его шеи, и он прижал ее к себе.

— Я так хочу с тобой побыть!

— Я тоже! Я все устрою. Я только об этом и думаю!

Он высвободился из ее объятий и вышел, а она подбежала к окну и стала глядеть ему вслед. Он шел пешком, так как жил неподалеку, и она долго не сводила глаз с его широких плеч, со всей его статной фигуры. Какой у него быстрый, уверенный шаг! О, это настоящий

мужчина! Ее Фрэнк! Она уже считала его своим! Отойдя от окна, Эйлин села за рояль и до самого обеда задумчиво наигрывала какие-то мелодии.

Для изворотливого и не стесненного в средствах Фрэнка Каупервуда не представляло большого труда, найти выход из положения. В дни юности, когда он таскался по всевозможным «злачным местам», и впоследствии, когда ему, уже женатому, случалось сворачивать с узкой стези добродетели, он досконально изучил все ухищрения и лазейки, которыми пользуется порок. В Филадельфии — городе, где к тому времени насчитывалось более полумиллиона жителей, — имелось достаточно второразрядных гостиниц, готовых укрыть парочки от любопытных взоров. Были там и солидные с виду особняки, где за определенную плату разрешалось устроить свидание. Что же касается средств, предохранявших от зарождения новой жизни, то Каупервуд знал о них с давних пор. Осторожность и осмотрительность были его девизом. Да иначе и быть не могло, ибо Каупервуд быстро становился видной и влиятельной персоной. Эйлин, конечно, не сознавала, — а если и сознавала, то лишь очень смутно,

— куда несет ее страсть; она не знала, где предел этого увлечения. Эйлин жаждала любви, хотела, чтобы ее нежили и ласкали, — о дальнейшем она не задумывалась. Мысли ее были, словно мыши: высунут голову из норки в темном углу и шмыгнут обратно, вспугнутые любым шумом. Все, связанное с Каупервудом, казалось ей прекрасным. Она еще не была уверена, что он любит ее так, как она того хочет; но это придет! Эйлин не понимала, что посягает на права его жены, ей почему-то казалось, что это не так. Ну что потеряет

миссис Каупервуд, если Фрэнк будет любить еще и ее, Эйлин!

Как объяснить такой самообман, внушенный необузданностью и страстью? Мы сталкиваемся с ним на каждом шагу. Страсть упорна, а все, что происходит в природе вне малого человеческого существа, свидетельствует о том, что природа к ней безразлична. Мы знаем кары, постигающие страсть: тюрьмы, недуги, разорения и банкротства, но знаем также, что все это не влияет на извечные стремления человеческой натуры. Неужели нет для нее законов, кроме изворотливой воли и силы индивидуума, стремящегося к достижению цели? Если так, то, право же, давно пора всем знать об этом, всем без исключения! Мы тогда все равно стали бы поступать как прежде, но по крайней мере отпали бы вздорные иллюзии о божественном вмешательстве в людские дела. Глас народа — глас божий.

Итак, они стали встречаться, с глазу на глаз проводить чудесные часы, как только разгоревшаяся в Эйлин страсть заставила ее позабыть о страхе и огромном риске, связанном с такими встречами. После случайных минутных встреч в его доме, когда никто не видел, они перешли к тайным свиданиям за городом. Каупервуд не принадлежал к числу людей, способных потерять голову и забросить все дела. Чем больше он думал о неожиданно нахлынувшей на него страсти, тем больше крепла в нем решимость не допускать ее вторжения в дела, в разумную трезвость его суждений. Контора требовала от него неусыпного внимания с девяти утра до трех пополудни. Но он, увлеченный работой, как правило, засиживался там до половины шестого. А поскольку в этом не было необходимости, его отсутствие раза два в неделю от половины четвертого до

половины шестого или шести никому не могло броситься в глаза. У Эйлин вошло в привычку почти каждый день от половины четвертого до пяти или шести кататься в одиночестве на паре гнедых рысаков или ездить верхом на лошади, которую отец купил для нее у известного барышника в Балтиморе. А поскольку Каупервуд тоже часто катался и в экипаже и верхом, им было удобно назначать друг другу свидания далеко за городом, у реки Уиссахикон или на Скайкилдской дороге. В недавно разбитом парке имелись уголки, не менее уединенные, чем в дремучем лесу. Правда, на дорожках всегда можно было встретить кого-нибудь из знакомых, но ведь не составляло труда и сыскать правдоподобное объяснение! Впрочем, оно было бы даже излишним: такая случайная встреча ни в ком не могла вызвать подозрений.

Так поначалу протекал этот роман — влюбленное воркование, взаимные клятвы, никаких помыслов о серьезном, решающем шаге, и вдобавок очаровательно идиллические прогулки верхом в тени уже зазеленевшего парка. Новая страсть пробудила в Каупервуде такую радость жизни, какую он еще не знал. Лилиан была очень хороша в пору, когда он стал навещать ее на Фронт-стрит, и он почитал себя тогда несказанно счастливым, но с того времени прошло почти десять лет, и все это позабылось. После брака он не пережил какой-либо большой страсти, не имел сколько-нибудь длительной связи, и вдруг нежданно-негаданно среди вихря блистательных деловых успехов — Эйлин, юная телом и душой, полная страстных мечтаний. Он замечал на каждом шагу, что, несмотря на всю ее дерзкую смелость, она ничего не знает о том расчетливом и жестоком мире, в котором вращался он. Отец задаривал ее всем, что только душе угодно, мать и братья —

особенно мать — баловали ее, младшая сестра ее обежала. Никому и в голову не пришло бы, что Эйлин может совершить что-нибудь дурное. Как бы там ни было, но она очень благоразумна и насквозь проникнута желанием преуспеть в обществе. Да и зачем ей помышлять о запретном, если перед нею открывалась счастливая жизнь и в скором времени ее ждал брак по любви с каким-нибудь приятным и во всех отношениях ей подходящим молодым человеком.

— Когда ты выйдешь замуж, Эйлин, мы тут заживем на славу, — нередко говаривала ей мать. — Беспременно отремонтируем и перестроим весь дом, ежели только не сделаем этого раньше. Я уж заставлю Эдди взяться за дело, а не захочет, так сама возьмусь. Можешь не беспокоиться.

— Хорошо бы уже сейчас приступить к перестройке, — отвечала Эйлин.

Батлер с характерной для него грубоватой ласковостью похлопывал дочь по плечу и спрашивал:

— Что, уже повстречала его?

Или:

— Ну как, он еще не торчит у тебя под окном?

Если она отвечала: «Нет», — старик говорил:

— Ничего, еще повстречаешь, ты не горюй, бывают беды похуже! А тяжело мне будет расставаться с тобой, доченька! Можешь жить в отцовском доме, сколько тебе угодно, и помни: ты вольна в любую минуту вернуться к нам.

Эйлин не обращала внимания на его поддразнивания. Она любила отца, но то, что он

говорил, звучало так банально. Все это были будни, ничем не примечательные, хотя и неизменно приятные.

Зато с какой страстью отдавалась она ласкам Каупервуда под зеленеющими деревьями в чудесные весенние дни! Она не сознавала, как близко то мгновенье, когда она окончательно отдастся ему, ибо сейчас он еще только ласкал ее и говорил о своей любви. Минутами его охватывали сомнения. То, что он позволял себе все большие вольности, казалось ему вполне естественным, но из рыцарских побуждений он все-таки однажды заговорил с Эйлин о том, куда может завести их чувство. Пойдет ли она на это? Понимает ли она, что делает? В первую минуту Эйлин была напугана и озадачена. Она стояла перед Фрэнком в своей черной амазонке и шелковой шляпе, небрежно надвинутой на рыжевато-золотые волосы, коротким хлыстиком похлопывала себя по ноге и раздумывала над его словами. Он спросил, понимает ли она, что делает. Думает ли о том, куда все это заведет их? И любит ли она его по-настоящему? Они оставили коней в густой заросли, шагах в двадцати от большой дороги у быстрого ручья, на берегу которого она стояла теперь с Фрэнком, делая вид, будто старается разглядеть, хорошо ли привязаны лошади. Но смотрела она на них невидящим взглядом. Она думала о Каупервуде, о том, как красиво сидит на нем костюм и как прекрасны эти минуты. А какая у него прелестная пегая лошадка! Недавно распустившаяся листва сплеталась над их головами в прозрачное зеленое кружево. Вокруг, куда ни глянь, был лес, но они видели его словно сквозь завесу, расшитую зелеными блестками. Серые камни уже оделись легким покровом мха, ручей искрился и журчал, на деревьях щебетали первые птицы — малиновки, дрозды и вьюрки.

— Крошка моя, — сказал Каупервуд, — сознаешь ли ты, что происходит? Отдаешь ли себе отчет в том, что ты делаешь, встречаясь со мной?

— Думаю, что да!

Она хлопнула себя хлыстом по ноге и потупилась, потом подняла глаза и сквозь листву стала глядеть на голубое небо.

— Посмотри на меня, любимая!

— Не хочу!

— Посмотри же, голубка, я должен спросить тебя кое о чем!

— Не заставляй меня, Фрэнк! Я не могу.

— Нет, ты можешь, ты должна!

— Не могу!

Он взял ее руки в свои, она отступила, но тотчас же опять приблизилась к нему.

— Ну, теперь посмотри мне в глаза!

— Нет, не могу!

— Посмотри же, Эйлин!

— Я не могу! Не проси меня! Я отвечу тебе на все, что ты спросишь, но не заставляй: смотреть на тебя.

Фрэнк нежно погладил ее по щеке. Потом положил руку ей на плечо, и она приникла к ней головой.

— Радость моя, как ты прекрасна! — проговорил ой наконец. — Я не в силах отказаться от тебя. Я знаю, что мне следовало бы сделать, да и ты, наверно, тоже знаешь. Но я не могу! Ты должна быть моей. И все-таки,

если об этом узнают, нам обоим придется очень плохо. Ты понимаешь меня?

— Да.

— Я мало знаком с твоими братьями, но по виду это люди решительные. И они очень любят тебя.

— Ода!

Последние слова Фрэнка слегка пощекотали ее тщеславие.

— Узнай они, что здесь происходит, мне, наверно, недолго осталось бы жить. А как ты думаешь, что бы они сделали, если… ну, одним словом, если что-нибудь случится со временем?

Он замолчал, вглядываясь в ее прелестное лицо.

— Но ведь ничего не случится! Надо только не заходить слишком далеко.

— Эйлин!

— Я не стану смотреть на тебя! И не проси! Не могу.

— Эйлин! Ты говоришь серьезно?

— Не знаю. Не спрашивай меня, Фрэнк!

— Неужели ты не понимаешь, что на этом мы не можем остановиться? Безусловно, ты понимаешь! Это не конец. И если…

Ровным, спокойным голосом он начал посвящать ее в технику запретных встреч.

— Тебе нечего опасаться, разве только по несчастному стечению обстоятельств наша тайна откроется. Все возможно. И тогда, конечно, нам будет не сладко. Миссис Каупервуд ни за что не согласится на

развод — с какой стати! Если все обернется так, как я рассчитываю, если мне удастся нажить миллион, я не прочь хоть сейчас покончить со всеми делами. Мне вовсе не хочется работать всю жизнь. Я всегда собирался поставить точку в тридцать пять лет. К этому времени у меня будет достаточно денег. И я начну путешествовать. Но надо повременить еще несколько лет. Если бы ты была вольна… если бы твоих родителей не было в живых (любопытно, что Эйлин даже бровью не повела, выслушав это циничное замечание), тогда дело другое.

Он замолчал. Эйлин все еще задумчиво смотрела на бежавший у ее ног ручей, а мысли ее были далеко — в море, на яхте, уносившей их вдвоем к берегу, где стоит какой-то неведомый дворец, в котором не будет никого, кроме нее и Фрэнка. Перед ее полузакрытыми глазами проплывал этот счастливый мир; словно завороженная, внимала она словам Каупервуда.

— Хоть убей, я не вижу никакого выхода! Но я люблю тебя! — Он привлек ее к себе. — Я люблю тебя, люблю!

— Да, да! — дрожа от волнения, отвечала Эйлин. — Я тоже люблю тебя! И я ничего не боюсь.

— Я нанял дом на Десятой улице, — сказал он, прерывая молчание, когда они уже сели в седла. — Он еще не обставлен, но за этим дело не станет. У меня есть на примете одна женщина, которая возьмет на себя надзор за домом.

— Кто она такая?

— Интересная вдовушка, лет под пятьдесят. Умница, очень приятная и с большим житейским опытом. Я нашел ее по объявлению. Когда все будет устроено, зайди к ней

и осмотри этот уголок. Много дела тебе с ней иметь не придется. Так, иногда. Ты согласна?

Она в задумчивости продолжала путь, не отвечая на его вопрос. Как он был практичен, как неуклонно шел к своей цели!

— Зайдешь? Тебе нечего опасаться. Можешь смело познакомиться с ней. Она вполне заслуживает доверия. Так зайдешь, Эйлин?

— Скажи мне, когда все будет готово, — в конце концов ответила она.

21

Причуды страсти! Уловки! Дерзанья! Жертвы, приносимые на ее алтарь!

Прошло очень немного времени, и убежище, о котором говорил Каупервуд, предназначенное оберегать любовную тайну, было готово. За домом присматривала вдова, видимо, лишь недавно понесшая свою тяжкую утрату, и Эйлин стала часто бывать там. В такой обстановке и при таких обстоятельствах не стоило большого труда убедить ее всецело отдаться возлюбленному, ибо она не могла больше противиться бурному, слепому влечению. Ее поступок в какой-то мере искупала любовь, ей и вправду не нужно было никого на свете, кроме этого человека. Ему одному принадлежали все ее помыслы, все ее чувства. Воображение рисовало ей картины будущего, когда она и он каким-то образом станут навеки неразлучны. Разве не может случиться, что миссис Каупервуд умрет или же Фрэнк уйдет от жены к ней, Эйлин, когда у него к тридцати пяти годам накопится миллион? Все как-нибудь устроится. Сама природа предназначила ей этого человека. Эйлин безоговорочно доверяла ему. Когда он сказал, что возьмет на себя заботу о ней и не допустит, чтобы стряслась беда, она ни на минуту не усомнилась в его словах. О таком грехе, как грех Эйлин, священники часто слышат в исповедальнях.

Примечательно, что христианский мир путем какого-то логического ухищрения пришел к выводу, что не может быть иной любви, кроме той, которая освящена традиционным ухаживанием и последующим браком. «Одна жизнь — одна любовь» — вот идея христианства,

и в эти узкие рамки оно неизменно пытается втиснуть весь мир. Язычеству были чужды такие представления. В древнем мире для развода не надо было искать каких-то особых причин. А в мире первобытном единение полов предусматривалось, видимо, лишь на срок, необходимый для выращивания потомства. Семья новейшего времени, без сомнения, одна из прекраснейших в мире институций, если она зиждется на взаимном влечении и близости. Но из этого еще не следует, что осуждению подлежит всякая другая любовь, не столь счастливая и благополучная в конечном итоге. Жизнь нельзя втиснуть ни в какие рамки, и людям следовало бы раз навсегда отказаться от подобных попыток. Те, кому повезло заключить счастливый союз на всю жизнь, пусть поздравят себя и постараются быть достойными своего счастья. Те же, кому судьба его не даровала, все-таки заслуживают снисхождения, хотя бы общество и объявило их париями. Кроме того, вне всякой зависимости от наших суждений и теорий, в силе остаются основные законы природы. Однородные частицы притягиваются друг к другу. Изменения в характере и темпераменте неизбежно влекут за собой и перемены во взаимоотношениях. Правда, одних сдерживает догма, других — страх. Но находятся люди, в которых мощно звучит голос природы, и для таких не существует ни догмы, ни страха. Общество в ужасе воздевает руки к небу. Но из века в век появляются такие женщины, как Елена, Мессалина, Дюбарри, Помпадур, Ментенон и Нелл Гвин, указывая путь к большей свободе во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, чем та, что ранее считалась дозволенной.

Каупервуд и Эйлин несказанно привязались Друг к другу. Узнав Эйлин поближе, Каупервуд проникся

уверенностью, что она единственная женщина, с которой он мог бы счастливо прожить остаток жизни. Она была так молода, доверчива, полна надежд и так бесстрашна. Все эти месяцы, с того самого мгновения, когда их впервые потянуло друг к другу, он не переставал сравнивать ее со своей женой. Его неудовлетворенность супружеской жизнью, до сих пор смутная, теперь становилась все более ощутимой. Правда, дети по-прежнему радовали его и дом у него был прекрасный. Вялая, похудевшая Лилиан все еще была красива. Последние годы он более или менее был удовлетворен ею, но теперь недовольство стало непрерывно расти в нем. Его жена ничем не походила на Эйлин: она не обладала ни ее молодостью, ни живостью, ни презрением к условностям. И хотя обычно Каупервуд был очень покладист, теперь им нередко овладевали приступы раздражения. Началось с вопросов, касавшихся внешности Лилиан: такие, весьма обыденные «почему» не могут не обижать и не удручать женщину. Почему она не купила себе лиловую шляпку в тон платью? Почему она не проводит больше времени на воздухе? Моцион был бы ей очень полезен. Почему она не делает того или этого? Он едва ли сам отдавал себе отчет в своем поведении, но Лилиан все замечала, догадывалась об истинной подоплеке этих вопросов и чувствовала себя оскорбленной.

— Что это за бесконечные «почему» и «отчего»? — однажды возмутилась она. — Откуда столько придирок? Ты просто уже не любишь меня так, как раньше, вот и все, я это отлично понимаю.

Каупервуд откинулся на спинку стула, пораженный этой вспышкой. Поводом для нее, видимо, послужила не догадка об Эйлин, а просто очередное его замечание; но

полной уверенности у него не было. Он почувствовал легкий укор совести оттого, что вывел Лилиан из терпения, и извинился перед нею.

— Ах, пустяки! — отвечала она. — Меня это нисколько не трогает. Но я замечаю, что ты уделяешь мне теперь куда меньше внимания. У тебя все дела, дела и дела! Ты ни на секунду не перестаешь думать о них.

Каупервуд вздохнул с облегчением. Итак, она ничего не подозревает!

Но по мере того как росла его близость с Эйлин, он перестал тревожиться мыслью, подозревает ли жена об его измене. Иногда, перебирая в уме возможные последствия создавшегося положения, он приходил к выводу, что так было бы, пожалуй, даже лучше. Она ведь не принадлежала к породе энергичных женщин, умеющих постоять за свои права. Зная ее характер, он порой надеялся, что она, может быть, и не станет так упорно противиться разрыву в их семейной жизни, как он опасался вначале. Не исключено, что она даст ему развод. Страсть и жажда счастья даже его заставляли рассуждать не столь трезво, как обычно.

Нет, говорил он себе, теперь загвоздка вовсе не в его семье, а в Батлерах. С Эдвардом Мэлией Батлером у него установилась теснейшая деловая связь. Старик не предпринимал ни одной сделки с многочисленными ценными бумагами, держателем которых он являлся, не посоветовавшись с Каупервудом. Батлер состоял пайщиком таких предприятий, как Пенсильванская угольная компания, канал «Делавэр-Гудзон», канал «Морис-Эссекс» и Ридингская железная дорога. Поняв то значение, которое приобретали филадельфийские железные дороги, он решил возможно выгоднее сбыть

имеющиеся у него ценные бумаги и вложить вырученный таким образом капитал в местные линии. Ему было известно, что так же поступают Молленхауэр и Симпсон, а уж кто лучше их разбирается в местных делах? Как и Каупервуд, он полагал, что, сосредоточив у себя достаточное количество акций конных железных дорог, он в конечном итоге добьется хотя бы сотрудничества с Молленхауэром и Симпсоном. А тогда нетрудно будет провести через соответствующие органы законы, выгодные для объединенных железных дорог. Они получат разрешение на прокладку новых линий и на продолжение уже построенных. Эти операции с ценностями Батлера, а также скупка случайных пакетов акций городских конных железных дорог и входили в обязанности Каупервуда. Через своих сыновей, Оуэна и Кэлема, Батлер в то время уже вовсю хлопотал о прокладке новой линии и о выдаче необходимого для этого разрешения; желая добиться принятия законодательным собранием нужной ему резолюции, он щедро раздавал пакеты акций и наличные деньги. Дело это, однако, было нелегкое, так как выгода, которую можно было извлечь из создавшегося положения, была ясна и многим другим, в том числе Каупервуду; усмотрев здесь источник богатой наживы, он, конечно, заботился и о собственной пользе, так что из акций, которые он скупал, только часть попадала в руки Батлера, Молленхауэра и других его клиентов. Иными словами, он не столько стремился принести пользу Батлеру или кому-нибудь еще, сколько себе самому.

Вот почему предложение, с которым явился к нему Джордж Стинер — фактически от лица Стробика, Уайкрофта и Хармона, пожелавших остаться в тени, — показалось Каупервуду столь заманчивым. План Стинера

заключался в том, чтобы открыть Каупервуду кредит в городской кассе из расчета двух процентов годовых или, если он откажется от комиссионных, даже безвозмездно (осторожность требовала, чтобы Стинер действовал через посредника). На эти деньги Каупервуд должен был перекупить у Северной Пенсильванской компании линию конки, проходившую по Фронт-стрит, которая не приносила большого дохода и не очень высоко котировалась из-за ее небольшого протяжения — полторы мили, — а также краткосрочности разрешения, выданного на ее эксплуатацию. В качестве компенсации за искусно проведенное дело Каупервуд получал весьма недурной куш — двадцать процентов всех акций. Стробик и Уайкрофт знали, где можно будет купить контрольный пакет, тут надо только действовать расторопно. В дальнейшем этот план предусматривал следующее: взятые из городской кассы деньги используются для продления лицензии и для продолжения самой линии; затем выпускается большой пакет акций, которые закладываются в одном из «своих» банков: таким образом через некоторое время город получает обратно занятый у него капитал, а они начинают класть в карман прибыль, приносимую линией. Для Каупервуда этот план был более или менее приемлем, если не считать того, что акции распылялись между всеми участниками аферы и ему за все его хлопоты и труды доставалась лишь сравнительно скромная доля.

Но Каупервуд никогда не упускал своей выгоды. А к этому времени у него выработалась особая деловая мораль, мораль финансиста. Он считал недопустимым красть лишь в том случае, если подобный акт стяжания или наживы так и назывался кражей. Это было неблагоразумно, опасно, а следовательно — дурно.

Могло случиться, что способ приобретения или наживы вызывал сомнения и порицания. Этика, в представлении Каупервуда, видоизменялась в зависимости от обстоятельств, чуть ли не в зависимости от климата. В Филадельфии укоренилась традиция (разумеется, в кругах местных политиков, а не всего городского населения), согласно которой казначей мог безвозмездно пользоваться деньгами города при условии, что со временем он возвратит их в кассу. Казначейство и казначей здесь напоминали собою полный меда улей и пчелиную матку, вокруг которой вьются, в чаянии поживы, трутни, то есть аферисты и политические деятели. Единственной неприятной стороной сговора со Стинером было то, что ни Батлер, ни Молленхауэр, ни Симпсон, то есть фактическое «начальство» Стинера и Стробика, ничего об этом сговоре не знали. Сам Стинер, а также лица, стоявшие за ним, действовали через него, Каупервуда, в своих личных интересах. Великие мира сего, прознав об этом, могут разгневаться. Если же он откажется вести столь выгодные дела со Стинером или с кем-либо другим из местных воротил, он только сам себе навредит, ибо его с готовностью заменит другой банкир или маклер. А кроме того, нет никаких оснований предполагать, что Батлер, Молленхауэр и Симпсон об этом пронюхают.

Здесь следует еще сказать, что Каупервуд, случайно проехав по коночной линии Семнадцатой и Девятнадцатой улиц, счел ее весьма соблазнительным объектом, нужно было только раздобыть необходимый капитал. Первоначально эта линия имела объявленную ценность в пятьсот тысяч долларов, но позднее, с целью ее переоборудования, была выпущена дополнительная серия акций на сумму в двести пятьдесят тысяч, и теперь

компания испытывала серьезные трудности с уплатой процентов. Большая часть акций была рассеяна среди мелких держателей, и все же Каупервуду потребовалось бы не менее двухсот пятидесяти тысяч, чтобы завладеть контрольным пакетом и быть избранным в председатели правления. Зато, наложив руку на эту линию, он мог бы уже распоряжаться акциями всецело по своему усмотрению, например, временно заложить их в отцовском банке за самую крупную сумму, какую удастся получить, затем выпустить новые акции, с их помощью подкупить членов местного законодательного собрания и таким образом добиться разрешения на продление линии, а потом уже расширить дело либо посредством новых удачных закупок, либо путем соглашения с другими компаниями. Слово «подкуп» употреблено здесь в деловом, чисто американском смысле, ибо не было человека, у которого понятие о законодательном собрании штата не ассоциировалось бы со словом «взятка». Тэренс Рэлихен, представитель финансовых кругов в Гаррисберге, низкорослый, смуглолицый ирландец, щеголявший изящной одеждой и изысканными манерами, — в свое время он посетил Каупервуда по делу о размещении пятимиллионного займа, — заверял, что в столице штата ничего не добьешься без денег или их эквивалента, то есть ценных бумаг. Каждого более или менее влиятельного члена законодательного собрания следовало «подмазать», чтобы получить его голос или поддержку. Ирландец намекнул, что если Каупервуду понадобится провести какую-нибудь комбинацию, то он, Рэлихен, рад будет с ним потолковать. Каупервуд уже не раз обдумывал свой план покупки коночной линии Семнадцатой и Девятнадцатой улиц, но все еще окончательно не решался взяться за это

дело. У него имелось множество других обязательств, однако соблазн был велик, и он без устали размышлял над этим вопросом.

Кредит, предложенный Стинером для манипуляций с Северной Пенсильванской линией, делал более реальной и аферу с линией Семнадцатой и Девятнадцатой улиц. Каупервуд в это время, в интересах городского казначейства, неусыпно следил за курсом облигаций городского займа: скупал крупные пакеты, когда на бирже намечалась тенденция к их падению, и продавал, правда, с большими предосторожностями, но не менее крупными партиями, заметив, что их курс поднимается. Для всех этих манипуляций ему необходимо было иметь в своем распоряжении немалые наличные суммы. Он все время опасался, как бы на бирже не произошел крах, ибо это привело бы к падению всех имевшихся у него ценностей и вдобавок от него еще потребовали бы покрытия задолженности. Правда, тогда никакой бури не предвиделось, и Каупервуд надеялся, что избегнет катастрофы, но все же не хотел слишком распылять свои средства. Теперь многое переменилось. Если он возьмет из городских средств сто пятьдесят тысяч долларов и вложит их в линию Семнадцатой и Девятнадцатой улиц, это не будет значить, что он распыляет капитал, ибо новое предложение Стинера позволит ему обратиться к казначею, за большими кредитами для проведения других дел. Но если что-нибудь стрясется?.. Ну, да там будет видно!

— Фрэнк, — сказал однажды Стинер (они уже давно называли друг друга по имени), зайдя к нему после четырех часов — время, когда работа в конторе приближалась к концу, — Стробик считает, что дело с Северной Пенсильванской линией достаточно

подготовлено и нам пора за него приниматься. Мы выяснили, что контрольный пакет акций находится в руках некоего Колтона, не Айка Колтона, а Фердинанда. Не правда ли, странное имя?

Потолстевший Стинер благодушно ухмыльнулся. Большие перемены произошли в его жизни с тех пор, как о случайно попал в городские казначеи. Вступив в эту должность, он стал прекрасно одеваться, и вся его особа светилась таким благодушием, такой самоуверенностью, что, посмотри он на себя со стороны, он, наверно, сам бы себя не узнал в своем новом обличье. Его маленькие глазки перестали шнырять из стороны в сторону, а вечная настороженность сменилась безмятежным спокойствием. Толстые ноги Стинера были обуты в добротные ботинки из мягчайшей кожи; плотный торс и жирные ляжки скрадывались отлично скроенным серовато-коричневым костюмом; остроконечный белый воротничок и коричневый шелковый галстук завершали его туалет. Широкая грудь постепенно переходила в округлое брюшко, на котором красовалась тяжелая золотая цепь, в белоснежных манжетах сверкали большие золотые запонки с довольно крупными рубинами. Весь он был какой-то розовый и упитанный. Одним словом — человек, явно преуспевающий.

Из деревянного двухэтажного домишка на Девятой улице он переехал с семьей в куда более обширный каменный дом на Спринг-Гарден-стрит. Его жена завела знакомство с женами других местных политиканов. Дети учились в средней школе, что в свое время было для него несбыточной мечтой. Он владел теперь в разных частях города четырнадцатью или пятнадцатью дешевыми земельными участками, которые со временем обещали стать ценной недвижимостью, и состоял

негласным акционером Южно-Филадельфийского металлургического общества и компании «Американская говядина и свинина» — двух предприятий, существовавших только на бумаге, вся деятельность которых заключалась в том, что они, получив от города подряды, передоверяли их скромным владельцам литейных мастерских и мясных лавок, умевшим выполнять приказания, не задавая лишних вопросов.

— Да, имя необычное, — согласился Каупервуд. — Так, значит, он держатель акций? Я всегда считал, что эта линия не окупит себя: она слишком коротка. Ее следовало бы продолжить на три мили в сторону Кенсингтонского квартала.

— Совершенно верно, — поддакнул Стинер.

— Стробик не говорил вам, сколько Колтон хочет за свои акции?

— Как будто по шестьдесят восемь долларов.

— То есть по текущему курсу. Что ж, аппетит у него неплохой, а? По такой цене, Джордж, это составит, — он быстро прикинул в уме стоимость акций, находившихся в руках Колтона, — около ста двадцати тысяч только за его пакет. А это далеко не все. Есть еще судья Китчен, да Джозеф Зиммермен, да сенатор Доновэн. — Каупервуд имел в виду члена пенсильванского сената. — В общем, дельце обойдется вам недешево. А сколько еще придется затратить на продление линии! По-моему, это слишком накладно!

Каупервуд подумал о том, как просто было бы слить эту линию с вожделенной линией Семнадцатой и Девятнадцатой улиц, и, немного помолчав, спросил:

— Скажите, Джордж, почему вы все ваши комбинации проводите через Стробика, Уайкрофта и Хармона? Разве мы вдвоем не могли бы справиться с этим делом, не привлекая еще нескольких участников! По-моему, это было бы куда выгоднее для вас!

— Разумеется, разумеется! — воскликнул Стинер, и его круглые глаза уставились на собеседника с какой-то беспомощной мольбой. Каупервуд импонировал ему, и он всегда надеялся сблизиться с ним не только как с дельцом, но и как с человеком. — Я уже начал подумывать об этом. Но у них, Фрэнк, больше опыта в таких делах, чем у меня, ведь они уже столько времени занимаются ими. А я пока еще не очень-то хорошо во всем этом разбираюсь.

Каупервуд мысленно улыбнулся, хотя лицо его оставалось бесстрастным.

— Плюньте на них, Джордж! — продолжал он дружеским, конфиденциальным тоном. — Мы с вами можем и знаем столько же, сколько они, и справимся с этим делом не хуже, если не лучше их. Я знаю, что говорю. Возьмите хотя бы эту интересующую вас комбинацию с конкой. Мы вдвоем провели бы ее не хуже, чем с участием Уайкрофта, Стробика и Хармона. Высшей мудростью они не обладают. Деньги вносят не они, а вы. Их дело только протащить все это предприятие через законодательное собрание и муниципалитет. Причем в законодательном собрании они добьются не больше, чем кто-либо другой, я, например. Все зависит от договоренности с Рэлихеном, а на это нужно лишь ассигновать известную сумму. Что же касается городского совета, то в Филадельфии не один Стробик туда вхож.

Каупервуд надеялся, что, заполучив в свои руки контроль над какой-нибудь дорогой, он переговорит с Батлером и добьется, чтобы тот ему посодействовал. Это, кстати, утихомирило бы Стробика и его присных.

— Я не предлагаю вам менять ваши намерения относительно Северной Пенсильванской. Это, пожалуй, было бы неудобно. Но существуют ведь и другие комбинации. Может быть, в будущем мы с вами проведем вместе какое-нибудь дельце! Вам это будет весьма выгодно, да и мне тоже. На городском займе мы неплохо подработали, этого вы отрицать не станете.

Подработали они и впрямь очень неплохо. Не говоря уже о барышах, доставшихся «китам», сам Стинер своим новым домом, земельными участками, счетом в банке, хорошими костюмами, всем своим изменившимся мироощущением был обязан удачным манипуляциям Каупервуда с сертификатами городского займа. К описываемому нами времени уже были выпущены четыре серии облигаций по двести тысяч долларов каждая; оборот Каупервуда с этими облигациями достигал почти трех миллионов, так как он то покупал, то продавал их, играя на повышение или на понижение, в зависимости от конъюнктуры. Стинер обладал теперь состоянием по крайней мере тысяч в сто пятьдесят долларов.

— Я знаю здесь в городе одну линию, которую, при небольшой затрате энергии, можно было бы сделать очень доходной, — задумчиво продолжал Каупервуд. — Она слишком коротка, так же как Северная Пенсильванская, и обслуживает лишь малую территорию. Ее следует продолжить. Если бы нам с вами заполучить эту линию, мы могли бы объединить ее с управлением Северной Пенсильванской или какой-нибудь другой

дороги. Таким образом, мы сэкономили бы на содержании конторы, служащих и на многом другом. Короче, при большом оборотном капитале всегда можно найти прибыльное дело.

Он замолчал и, раздумывая о том, что сулит ему будущее, стал смотреть в окно своего изящно обставленного, обшитого полированным деревом кабинета. Окно это выходило на задворки здания, прежде бывшего жилым домом, а теперь занятого под конторы. Во дворе зеленела чахлая травка. Красная стена дома и старинная кирпичная ограда чем-то напомнили Каупервуду их дом на Нью-Маркет-стрит, куда приезжал дядя Сенека, кубинский негоциант, в сопровождении своего чернокожего слуги. Глядя в окно, Каупервуд видел его перед собой как живого.

— Так почему же, — с важным видом спросил Стинер, клюнув на приманку, — нам с вами не завладеть этой линией! С финансовой стороны, думается мне, я мог бы обеспечить эту операцию. Какая, по-вашему, нам нужна сумма?

Каупервуд снова улыбнулся тайком.

— Точно я сейчас сказать не могу, — ответил он, помолчав. — Мне нужно досконально изучить этот вопрос. Беда в том, что я и без того уже взял немалые суммы из средств городского казначейства. Как вам известно, за мною числится двести тысяч долларов, выданных для операций с городским займом. Такая комбинация потребовала бы еще тысяч двести или триста. Если бы не это обстоятельство…

Он думал о необъяснимых биржевых паниках, о столь типичных для Америки депрессиях, которые

обусловливались не столько общим положением в стране, сколько характером самих американцев.

— Если бы дело с Северной Пенсильванской линией было уже закончено…

Он потер подбородок и разгладил свои холеные, шелковистые усы.

— Больше не расспрашивайте меня, Джордж, — сказал он наконец, видя, что его собеседник уже ломает голову над тем, о какой линии идет речь. — И никому ни слова! Я сперва хорошенько проверю все, а потом мы с вами потолкуем. По-моему, есть смысл заняться этим несколько позднее, когда с Северной Пенсильванской все уже будет на мази. У меня сейчас столько хлопот, что я не решаюсь взяться еще за какое-нибудь дело. Пока что помалкивайте, а там увидим!..

Он склонился над своим столом, и Стинер встал.

— Как только вы решите, Фрэнк, что пора действовать, я открою вам кредит на ту сумму, какая вам понадобится! — воскликнул он, дивясь про себя, что Каупервуд не так уж горит желанием взяться за это дело, несмотря на то, что может рассчитывать здесь на его, Стинера, поддержку, как, впрочем, и во всякой другой выгодной комбинации. Почему бы этому талантливому, оборотистому Каупервуду не обогатить их обоих? — Вы только уведомьте Стайерса, и он вам пришлет чек. Стробик находит, что мы должны действовать без промедления.

— Я займусь этим, Джордж, — уверил его Каупервуд. — Все будет в порядке. Положитесь на меня.

Стинер подрыгал толстыми ногами, расправляя брюки, и протянул Каупервуду руку. Погруженный в

обдумывание нового замысла, он вышел на улицу. Спора нет, если он сумеет как следует спеться с Каупервудом, богатство ему обеспечено: этот человек на редкость удачлив и в высшей степени осторожен. Его новый дом, прекрасная контора, растущая популярность и хитроумные комбинации, которые он проводил в жизнь вместе с Батлером и другими, — все это внушало Стинеру настоящее благоговение. Еще одна линия конной железной дороги! Они завладеют и ею и Северной Пенсильванской! Ну, если так пойдет дальше, он, Джордж Стинер, жалкий агент по страхованию жизни и продаже недвижимого имущества, станет магнатом, да, да, настоящим магнатом! Погруженный в эти мечтания, он шел по улице, забыв о том, что существуют такие понятия, как гражданский долг и общественная нравственность.

22

В ближайшие полтора года Каупервуд оказывал многочисленные тайные услуги Стинеру, Стробику. Батлеру, казначею штата Ван-Ностренду, члену пенсильванского сената Рэлихену, так называемому «представителю финансовых кругов» в Гаррисберге, и различным банкам, с которыми эти джентльмены поддерживали дружественные отношения. В интересах Стинера, Стробика, Уайкрофта, Хармона, не позабыв, конечно, и самого себя, он провел дело с Северной Пенсильванской линией, после чего сделался держателем пятой части всех акций этой дороги. Вместе со Стинером он скупил акции коночной линии Семнадцатой и Девятнадцатой улиц и также на паях с ним начал игру на фондовой бирже.

Летом 1871 года, когда Каупервуду было около тридцати четырех лет, его банкирская контора оценивалась в два миллиона долларов, из которых едва ли не полмиллиона принадлежали ему лично, и, судя по перспективам, открывавшимся перед ним, он в скором времени мог стать соперником любого американского богача. Город — в лице своего казначея Стинера — был его вкладчиком на сумму около пятисот тысяч долларов. Штат — в лице своего казначея Ван-Ностренда — доверил ему свыше двухсот тысяч долларов. Боуд накупил акций конных железных дорог на пятьдесят тысяч долларов, Рэлихен — на точно такую же сумму. Целая орава политических деятелей и их прихвостней держала у него свои деньги. Онкольный счет Эдварда Мэлии Батлера временами доходил до ста пятидесяти тысяч. Задолженность Каупервуда различным банкам,

зависевшая от того, какие из его ценностей находились в закладе, колебалась от семисот до восьмисот тысяч долларов. Подобно пауку в серебристой паутине, каждая нить которой им самим тщательно соткана и испытана, Каупервуд, находясь в центре сети блистательных деловых связей, зорко следил за всем, что происходило вокруг.

Заветным его делом, которому он предавался с большей страстью, чем всем другим, были манипуляции с акциями конных железных дорог, и прежде всего — с акциями линии Семнадцатой и Девятнадцатой улиц, фактический контроль над которой находился в его руках. Благодаря авансовому кредиту, открытому Стинером банкирской конторе Каупервуда в то время, когда акции этой линии котировались особенно низко, ему удалось скупить пятьдесят один процент всех акций для себя и для Стинера, и теперь он мог распоряжаться дорогой по собственному благоусмотрению. Для этого ему пришлось прибегнуть к методам весьма «своеобразным», как их впоследствии называли в финансовых кругах, но зато он скупил акции по цене, назначенной им самим. Сначала он через своих агентов вчинил компании ряд исков, требуя возмещения убытков, якобы вызванных неуплатой причитавшихся с нее процентов. Небольшой пакет акций в руках подставного лица, ходатайство перед судом о назначении ревизии, которая установила бы, не следует ли учредить опеку по делам компании, одновременная атака с нескольких сторон на бирже, где акции этой компании стали предлагать на три, пять, семь и десять пунктов ниже курса,

— совокупность всех этих действий заставила перепуганных акционеров выбросить свои бумаги на

рынок. Банки пришли к заключению, что эта линия конки — слишком рискованное предприятие, и потому потребовали от компании погашения задолженности. Банк, где работал отец Каупервуда, в свое время выдал ссуду одному из главных акционеров дороги и теперь тоже потребовал возвращения денег. Затем — опять-таки через подставное лицо — начаты были переговоры с крупнейшими акционерами: им, мол, предоставляется возможность выпутаться из создавшегося положения, продав свои акции из расчета по сорок долларов за сто. Поскольку у них не было никакой возможности установить, откуда сыплются все эти напасти, они вообразили, — хотя в этом не было и крупицы истины, — что дорога находится в запущенном состоянии. Лучше отделаться от нее! Деньги у Каупервуда и Стинера уже были наготове, и они стали обладателями пятидесяти одного процента акций. Но поскольку Каупервуд, как и в афере с Северной Пенсильванской линией, втихомолку скупал у мелких акционеров все, что можно было скупить, контрольный пакет, равный пятидесяти одному проценту акций, практически оказался в его руках, а Стинер являлся держателем еще двадцати пяти процентов.

Это опьянило Каупервуда, ибо он теперь увидел возможность осуществить свою давнишнюю мечту, а именно: реорганизовать эту линию путем слияния ее с Северной Пенсильванской, выпустить по три новых акции на каждую старую, сбыть их все, за исключением контрольного пакета, затем, с помощью вырученных сумм, войти пайщиком в другие компании конных железных дорог, раздуть ценность новоприобретенных бумаг и в конце концов продать их по этой раздутой цене. Короче говоря, Каупервуд был одним из тех первых

дерзких спекулянтов, которые позднее захватили в свои руки другие, еще более важные отрасли американского хозяйства и в целях личного обогащения в конце концов целиком подчинили его себе.

Что же касается этого первого слияния нескольких линий, то план Каупервуда состоял в следующем: распустить слухи о предстоящем слиянии двух компаний, исхлопотать в законодательных органах разрешение на продолжение линий, отпечатать заманчивые рекламные проспекты, а позднее и годичные отчеты и в результате взвинтить акции на фондовой бирже, насколько ему позволят его с каждым днем все возрастающие материальные ресурсы. Трудность этой операции заключалась в том, что для создания возможностей, благоприятствующих распространению и сбыту такой огромной партии акций (на сумму свыше полумиллиона), да еще при намерении оставить на полмиллиона этих акций у себя, необходимо располагать очень большим капиталом. В подобных случаях недостаточно производить на бирже фиктивные покупки, тем самым вызывая фиктивный спрос. Когда такой искусственный ажиотаж введет публику в заблуждение и позволит сбыть значительную часть акций, придется еще довольно долго поддерживать их курс, для того чтобы окончательно с ними разделаться. Если бы, к примеру, Каупервуд, как это и было в данном случае, продал пять тысяч акций, а пять тысяч оставил за собой, ему пришлось бы приложить все усилия, чтобы поддержать на определенном уровне курс сбытых им акций, ибо в противном случае неминуемо упали бы в цене и акции, оставшиеся у него на руках. Если же — как это делалось почти всегда — он заложил бы свои акции в банке, а полученные под них деньги использовал в других

сделках, то при резком падении курса его акций банк, отстаивая свои интересы, потребовал бы добавочного обеспечения или даже полного покрытия задолженности. А это уже значило бы, что его афера потерпела крах и ему самому грозит банкротство. Сейчас Каупервуд проводил сложнейшую финансовую кампанию в связи с выпуском городского займа, курс которого непрерывно колебался, но в данном случае эти колебания были для него более чем желательны, ибо в конечном счете он на них наживался.

Новое нелегкое бремя, при всей заманчивости предприятия, требовало удвоенной бдительности. Продав акции по высокому курсу, он сможет вернуть ссуду, взятую у городского казначея. Его собственные акции в результате прозорливости, умения извлекать выгоду даже из отдаленного будущего и ловко составленных проспектов и отчетов будут котироваться по нарицательной стоимости или только чуть-чуть уступят ей. У него будут деньги, которые он вложит в другие конно-железнодорожные линии. Не исключено, что он со временем приберет к рукам финансовое руководство всей системой конных железных дорог и тогда станет миллионером. Одна из хитроумных выдумок Каупервуда, свидетельствовавшая о дальновидности и недюжинном уме этого человека, заключалась в том, что по мере удлинения существующих линий или прокладки новых веток он всякий раз создавал самостоятельные предприятия. Скажем, владея линией протяжением в две-три мили и пожелав продолжить ее на такую же дистанцию и по той же улице, Каупервуд не передавал этот новый участок существующему акционерному обществу, а создавал новую компанию, которая и контролировала эти дополнительные две-три мили

конной дороги. Это предприятие он капитализировал в определенную сумму, на которую выпускал акции и облигации, что давало ему возможность немедленно приступать к прокладке новой линии и быстро пускать ее в действие. Покончив с этим, он вливал дочернее предприятие в первоначальную компанию, выпуская при этом новую серию акций и облигаций, которым предварительно обеспечивал широкий сбыт. Даже братья, работавшие на него, не знали всех многочисленных разветвлений его деятельности и только слепо выполняли его приказания. Случалось, что Джозеф озадаченно говорил Эдварду:

— Гм! Фрэнк, надо думать, все-таки отдает себе отчет в своих действиях.

С другой стороны, Каупервуд внимательно следил за тем, чтобы все его текущие обязательства оплачивались своевременно или даже досрочно, так как ему важно было показать всем свою неукоснительную платежеспособность. Ничего нет ценнее хорошей репутации и устойчивого положения. Его дальновидность, осторожность и точность очень нравились руководителям банкирских домов, и за ним действительно укрепилась слава одного из самых здравомыслящих и проницательных дельцов.

И все же случилось так, что к лету 1871 года ресурсы Каупервуда оказались изрядно распыленными, хотя и не настолько, чтобы положение его можно было назвать угрожающим. Под влиянием успеха, всегда ему сопутствовавшего, он стал менее тщательно обдумывать свои финансовые махинации. Мало-помалу, преисполненный веры в воплощение всех своих замыслов, он и отца убедил принять участие в

спекуляциях с конными железными дорогами. Старый Каупервуд, пользуясь средствами Третьего национального банка, должен был частично финансировать сына и открывать ему кредит, когда тот срочно нуждался в деньгах. Вначале старый джентльмен немного нервничал и был настроен скептически, но, по мере того как время шло и ничего, кроме прибыли, ему не приносило, он осмелел и почувствовал себя гораздо увереннее.

— Фрэнк, — спрашивал он иногда, глядя на сына поверх очков, — ты не боишься зарваться? В последнее время ты заимствовал очень большие суммы.

— Не больше, чем бывало раньше, отец, если учесть мои ресурсы. Крупные дела нельзя делать без широкого кредита. Ты знаешь это не хуже меня.

— Это, конечно, верно, но… Возьмем, к примеру, линию Грин и Коутс, — смотри, как бы тебе там не увязнуть.

— Пустое. Я досконально знаком с положением дел этой компании. Ее акции рано или поздно должны подняться. Я сам их взвинчу. Если понадобится, я пойду на то, чтобы слить эту дорогу с другими моими линиями.

Старый Каупервуд удивленно посмотрел на сына. Свет еще не видывал такого дерзкого, бесстрашного комбинатора!

— Не беспокойся обо мне, отец! А если боишься, лучше потребуй погашения взятых мною ссуд. Мне любой банкир даст денег под мои акции. Я просто предпочитаю, чтобы прибыль доставалась твоему банку.

Генри Каупервуд сдался. Против таких доводов ему нечего было возразить. Его банк широко кредитовал

Фрэнка, но в конце концов не шире, чем другие банки. Что же касается его собственных крупных вложений, в предприятия сына, то Фрэнк обещал заблаговременно предупредить его, если настанет критический момент, Братья Фрэнка тоже всегда действовали под его диктовку, и теперь их интересы были уже неразрывно связаны с его собственными.

Богатея день ото дня, Каупервуд вел все более широкий образ жизни. Филадельфийские антиквары, прослышав о его художественных наклонностях и растущем богатстве, наперебой предлагали ему мебель, гобелены, ковры, произведения искусства и картины — сперва американских, а позднее уже исключительно иностранных мастеров. Как в его собственном доме, так и в отцовском было еще недостаточно красивых вещей, а вдобавок существовал ведь и дом на Десятой улице, который ему хотелось украсить как можно лучше. Эйлин всегда неодобрительно отзывалась о жилище своих родителей. Любовь к изящным вещам была неотъемлемой особенностью ее натуры, хотя она, возможно, и не сознавала этого. Уголок, где происходили их тайные встречи, должен быть уютно и роскошно обставлен. В этом они оба был-и твердо убеждены. Итак, постепенно дом превратился в подлинную сокровищницу: некоторые комнаты здесь были меблированы еще изысканнее, чем в особняке Фрэнка. Он начал собирать здесь редкие экземпляры средневековых церковных риз, ковров и гобеленов. Приобрел мебель во вкусе эпохи короля Георга — сочетание Чиппендейла, Шератона и Хеплуайта, несколько видоизмененное под влиянием итальянского ренессанса и стиля Людовика Четырнадцатого. Он ознакомился с прекрасными образцами фарфора, скульптуры, греческих ваз, с

восхитительными коллекциями японских резных изделий из слоновой кости. Флетчер Грей, молодой совладелец фирмы «Кейбл и Грей», специализировавшейся на ввозе произведений искусства, как-то зашел предложить Каупервуду гобелен XIV столетия. Подлинный энтузиаст антикварного дела, он сразу сумел заразить Каупервуда своей сдержанной и вместе с тем пламенной любовью ко всему прекрасному.

— В создании одного только определенного оттенка голубого фарфора различают пятьдесят периодов, мистер Каупервуд! — рассказывал Грей. — Мы знаем ковры по меньшей мере семи различных школ и эпох — персидские, армянские, арабские, фламандские, современные польские, венгерские и так далее. Если вы когда-нибудь заинтересуетесь этим делом, я бы очень советовал вам приобрести полную — я хочу сказать, характерную для одного какого-нибудь периода или же всех периодов в целом — коллекцию ковров. Как они прекрасны! Некоторые коллекции я видел собственными глазами, о других только читал.

— Вам не так уж трудно обратить меня в свою веру, — отвечал Каупервуд.

— Искусство со временем еще приведет меня к разорению. Я по самой своей природе к нему неравнодушен, а вы с Элсуортом и Гордоном Стрейком, — он имел в виду знакомого юношу, страстного любителя живописи, — совсем меня доконаете. Стрелка осенила блестящая идея. Он предлагает, чтобы я незамедлительно начал собирать образцы шедевров, характерные для различных школ и эпох, и уверяет, что полотна крупных мастеров со временем будут возрастать в цене и то, что я теперь

куплю за несколько сот тысяч, впоследствии будет оцениваться в миллионы. Но он не советует мне заниматься американскими художниками.

— Он прав, хотя и не в моих интересах хвалить конкурента! — воскликнул Грей. — Только для этой затеи нужны огромные деньги.

— Не такие уж огромные. И, во всяком случае, не сразу. Для осуществления такого замысла потребуются годы. Стрейк считает, что и сейчас можно раздобыть прекрасные образцы разных школ с тем, чтобы впоследствии заменить их, если представится что-нибудь лучшее.

Несмотря на внешнее спокойствие Каупервуда, его душа всегда чего-то искала. Вначале единственным его устремлением было богатство да еще женская красота. Теперь он полюбил искусство ради него самого, и это было как первые проблески зари на небе. Он начал понимать, что женская красота должна быть окружена всем самым прекрасным в жизни и что для подлинной красоты есть только один достойный фон — подлинное искусство. Эта девочка

— Эйлин Батлер, еще такая юная и вся светящаяся прелестью, пробудила в нем стремление к красоте, раньше ему не свойственное до таких пределов. Невозможно определить те тончайшие реакции, которые возникают в результате взаимодействия характеров, ибо никто не знает, в какой степени влияет на нас предмет нашего восхищения. Любовь, вроде той, что возникла между Каупервудом и Эйлин, — это капля яркой краски в стакане чистой воды или, вернее, неизвестное химическое вещество, привнесенное в сложнейшее химическое соединение.

Короче говоря, Эйлин Батлер, несмотря на свою юность, была несомненно сильной личностью. Ее почти безрассудное честолюбие являлось своего рода протестом против серого домашнего окружения. Не следует забывать, что, родившись в семье Батлеров, она в течение многих лет была одновременно и носительницей и жертвою их примитивно-антихудожественных мещанских взглядов на жизнь, тогда как теперь благодаря общению с Каупервудом она узнала о таких сокровищах жизни, даруемых человеку богатством и высоким общественным положением, о каких раньше и не подозревала. Как пленяла ее, например, мысль о будущих светских успехах, когда она станет женой Фрэнка Каупервуда! А его яркий и блестящий ум, раскрывавшийся перед нею в долгие часы свиданий, ум, которым она не могла не восхищаться, слушая четкие, ясные объяснения и наставления Фрэнка! Как великолепны были его мечты и планы, касающиеся финансовой карьеры, искусства, общественного положения. А главное, главное — она принадлежала ему, и он принадлежал ей! Бывали минуты, когда у нее голова шла кругом от восторга и счастья.

И в то же время сознание, что все в Филадельфии помнили ее отца как бывшего мусорщика («навозный жук» — называли его старые знакомые), ее собственные тщетные усилия в борьбе с безвкусицей и вульгарностью их домашнего быта, невозможность получить доступ в роскошные особняки, казавшиеся ей «святая святых» незыблемой респектабельности и высокого положения, — все это заронило в ее юную душу неукротимую вражду к атмосфере отцовского дома. Жизнь там не идет ни в какое сравнение с жизнью в доме Каупервудов. Она

любит отца, но до чего он невежествен! И все же этот исключительный человек, ее возлюбленный, снизошел до любви к ней, снизошел даже до того, что видит в ней свою будущую жену! О боже, только бы это сбылось! Вначале она надеялась через Каупервудов свести знакомство со светской молодежью, особенно с мужчинами, стоящими выше ее на общественной лестнице, — их должна увлечь ее красота и положение богатой наследницы. Но эта надежда не оправдалась. Каупервуды и сами, несмотря на художественные наклонности Фрэнка и его растущее богатство, еще не проникли в замкнутый круг высшего общества. В сущности, они были от этого еще очень далеки, если не считать того поверхностного и, так сказать, предварительного внимания, которое им оказывалось.

Тем не менее Эйлин инстинктивно угадывала, что Каупервуд поможет ей найти выход из нынешнего положения и обеспечит для нее великолепное будущее. Этот человек поднимется до высот, о которых он и сам еще не смеет мечтать, она в этом уверена. В нем таились — пусть в неясной, едва различимой форме — великие задатки, сулившие больше того, о чем помышляла Эйлин. Она жаждала роскоши, блеска и положения в обществе. Ну что ж, все это придет, если он будет принадлежать ей. Правда, на их пути стояли препятствия, на первый взгляд непреодолимые, но ведь оба они целеустремленные люди. Как два леопарда в чаще, обрели они друг друга. Ее помыслы, незрелые, лишь наполовину сложившиеся и наполовину выраженные, по своей силе и неуклонной прямоте не уступали его дерзким стремлениям.

— По-моему, папа просто не умеет жить, — сказала она однажды Каупервуду. — Это не его вина, и он тут,

собственно, ни при чем. Он и сам это сознает и сознает, что я-то уж сумела бы устроить жизнь. Сколько лет я пытаюсь вытащить его из нашего старого дома! Он понимает, как нам необходимо переехать. Но, впрочем, от этого тоже не будет никакого проку.

Она умолкла и устремила на Фрэнка свой прямой, ясный и смелый взгляд. Он любил ее строгие черты, их безукоризненную, античную лепку.

— Не огорчайся, девочка моя, — отвечал он, — со временем все уладится. Я еще не знаю сейчас, как вылезти из всей этой путаницы, но, кажется, лучше всего будет открыться Лилиан, а затем уж обдумать дальнейший план действий. Я должен устроить все так, чтобы дети не пострадали. У меня есть возможность прекрасно обеспечить их, и я нисколько не удивлюсь, если Лилиан отпустит меня с миром. Я почти уверен, что она захочет избежать сплетен и пересудов.

Он смотрел на все это с чисто практической и притом мужской точки зрения, строя свои расчеты на любви Лилиан к детям.

Эйлин вопросительно взглянула на него. Способность сочувствовать горю ближнего была до какой-то степени заложена в ней, но в данном случае она считала всякое сострадание излишним. Лилиан никогда не относилась к ней дружелюбно, у них были слишком различные взгляды на жизнь. Миссис Каупервуд не понимала, как может девушка так задирать нос и «воображать о себе», а Эйлин не могла понять, как может Лилиан Каупервуд быть такой вялой и жеманной. Жизнь создана для того, чтобы скакать верхом, кататься в экипаже, танцевать, веселиться. И еще для того, чтобы задирать нос, дразнить, пикироваться, кокетничать.

Тошно смотреть на эту женщину: жена такого молодого, такого замечательного человека, как Каупервуд, — неважно, что она пятью годами старше его и мать двоих детей, — а ведет себя, словно для нее уже не существует ни романтики, ни восторгов и радостей жизни. Конечно, Лилиан не пара Фрэнку. Конечно, ему нужна молодая женщина, нужна она, Эйлин, и судьба должна соединить их. О, как восхитительно они заживут тогда!

— Ах, Фрэнк, если бы все наконец уладилось! — то и дело восклицала она.

— Как ты считаешь, можем мы надеяться или нет?

— Можем ли мы надеяться? Еще бы! Это только вопрос времени. По-моему, если я скажу Лилиан все без обиняков, она и сама не захочет, чтобы я оставался с ней. Только смотри, веди себя осторожно! Если твой отец или братья заподозрят меня, в городе произойдет грандиозный скандал, а не то и что-нибудь похуже. Они либо убьют меня на месте, либо доведут до полного разорения. Скажи, ты тщательно взвешиваешь все свои поступки?

— Я ни на секунду не забываю об этом. Если что-нибудь случится, я буду начисто все отрицать. Доказать они ничего не могут. Рано или поздно я все равно стану твоей навсегда!

Разговор происходил в доме на Десятой улице. Без ума влюбленная Эйлин ласково провела рукой по лицу Фрэнка.

— Для тебя я сделаю все на свете, любимый, — сказала она. — Я готова умереть за тебя. О, как я тебя люблю!

— Ну, девочка моя, это тебе не грозит. Умирать тебе не придется. Будь только осмотрительна.

23

И вот после нескольких лет тайной связи Каупервуда с Эйлин, в продолжение которых узы их взаимного влечения и понимания не только не ослабели, но даже окрепли, грянула буря. Беда обрушилась нежданно, как гром среди ясного неба и вне всякой зависимости от человеческой воли или намерений. Вначале это был всего только пожар, к тому же случившийся вдали от Филадельфии — знаменитый чикагский пожар 7 октября 1871 года, когда город, вернее, его обширный торговый район, выгорел дотла, и эта катастрофа мгновенно вызвала отчаянную, хотя и непродолжительную панику в финансовом мире Америки. Пожар, вспыхнувший в субботу, с неослабной силой бушевал вплоть до среды, уничтожив банки, торговые предприятия, пристани, железнодорожные пакгаузы и целые кварталы жилых домов. Наибольший урон, естественно, понесли страховые компании, и большинство их вскоре прекратило платежи. Вследствие этого вся тяжесть убытков легла на иногородних промышленников и оптовых торговцев, имевших дела с Чикаго, а также на чикагских коммерсантов. Огромные потери понесли и многие капиталисты Восточных штатов, вот уже много лет являвшиеся владельцами или арендаторами великолепных контор и особняков, которыми Чикаго уже тогда мог поспорить с любым городом на материке. Сообщение с Чикаго прервалось, и Уолл-стрит в Нью-Йорке, Третья улица в Филадельфии и Стэйт-стрит в Бостоне по первым же депешам учуяли всю серьезность положения. В субботу и воскресенье уже ничего нельзя было предпринять, так как первые вести пришли после закрытия биржи. Зато в понедельник

новости стали поступать непрерывным потоком. Тотчас же держатели акций и облигаций — железнодорожных, государственных, городских, иными словами, ценностей всех видов и разрядов — начали выбрасывать их на рынок, с целью выручить наличные деньги. Банки, естественно, стали требовать погашения ссуд, и в результате на фондовой бирже возникла паника, по своим размерам равная «Черной пятнице», случившейся за два года до того в Нью-Йорке.

Когда пришло сообщение о пожаре, ни Каупервуда, ни его отца не было в городе. Вместе с несколькими банковскими деятелями они отправились осматривать трассу пригородной конно-железнодорожной линии, на продолжение которой испрашивалась ссуда. Они проехали в кабриолетах вдоль значительной части будущей линии и, вернувшись в воскресенье поздно вечером в Филадельфию, услышали крикливые голоса мальчишек-газетчиков:

— Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Подробности чикагского пожара!

— Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Чикаго в огне! Экстренный выпуск!

Протяжные, зловещие, душераздирающие крики. В сумерках этого тоскливого вечера, когда город словно пребывал в созерцательно-молитвенном настроении после воскресного дня, а в воздухе и листве деревьев уже чувствовалось умирание лета, они заставляли сердца сжиматься в мрачном предчувствии беды.

— Эй, мальчик! — прислушавшись, окликнул Каупервуд маленького оборвыша, вынырнувшего из-за

угла с кипой газет под мышкой. — Что такое? Чикаго горит?!

Многозначительно переглянувшись с отцом и другими дельцами, он протянул руку за газетой, пробежал глазами заголовки и мгновенно оценил размеры беды.

ЧИКАГО В ОГНЕ!

Со вчерашнего вечера пламя безудержно бушует в торговой части города. Банки, торговые и общественные здания обращены в пепел. Прямая телеграфная связь прервана сегодня с трех часов пополудни. Никакой надежды на скорое окончание катастрофы.

— Дело, по-видимому, серьезное, — спокойно произнес Каупервуд, обращаясь к своим спутникам; в его глазах и в голосе промелькнуло что-то холодное и властное.

Отцу он немного позже шепнул:

— Это грозит паникой, если только банки и биржевые конторы не станут действовать заодно.

Быстро, отчетливо и ясно он воссоздал картину своей собственной задолженности. В банке отца заложено на сто тысяч акций его конно-железнодорожных линий, под них взято шестьдесят процентов, а под сертификаты городского займа, которых у него имелось на пятьдесят тысяч долларов, — семьдесят процентов. Для проведения биржевых операций с этими ценностями старый Каупервуд дал ему свыше сорока тысяч долларов наличными. Банкирский дом «Дрексель и Кь» по книгам Фрэнка открыл ему кредит на сумму в сто тысяч долларов; они, конечно, потребуют немедленного

погашения задолженности, если ими не овладеет внезапный приступ милосердия, что маловероятно. Компания «Джей Кук» тоже кредитовала его на полтораста тысяч. Они, несомненно, потребуют уплаты. Четырем банкам помельче и трем биржевым конторам он задолжал тысяч по пятьдесят долларов. Участие городского казначея в его делах выражалось в-сумме около пятисот тысяч, и если это откроется — скандал неизбежен; казначей штата тоже внес в его контору двести тысяч. Далее имелись еще сотни мелких счетов на суммы от ста до пяти и десяти тысяч долларов. Биржевая паника повлечет за собой не только востребование вкладов и необходимость погасить ссуды, но и сильно ударит по курсу ценных бумаг. Как ему реализовать свои ценности? Вот в чем вопрос. Как умудриться продать их ненамного ниже курса, ибо иначе это поглотит все его состояние и он неизбежно разорится?

Он быстро взвешивал в уме все, чем грозило ему создавшееся положение, пока прощался с друзьями, которые расходились по домам тоже в мрачном раздумье о предстоявших затруднениях.

— Поезжай домой, отец, а мне нужно отправить несколько телеграмм (телефон тогда еще не был изобретен). Я скоро вернусь, и мы вместе обсудим положение. Дело скверное! Никому ни слова, прежде всего переговорим между собой. Необходимо выработать план действий.

Старший Каупервуд уже пощипывал свои бакенбарды с растерянным и встревоженным видом. Он напряженно думал о том, что будет с ним, если сын обанкротится, так как по уши увяз в его делах. Лицо старика от испуга посерело, ибо, идя навстречу

пожеланиям сына, он далеко перешагнул за пределы дозволенного. Если Фрэнк не в состоянии будет, по требованию банка, завтра же погасить ссуду в полтораста тысяч долларов, вся ответственность, весь позор падет на отца.

Фрэнк со своей стороны напряженно обдумывал ситуацию, еще более усложнявшуюся его связью с городским казначеем и тем, что в одиночку ему, конечно, не удастся поддержать курс ценностей на бирже. Тем, кто мог бы его выручить, самим приходилось туго. Обстоятельства складывались весьма неблагоприятно. Компания «Дрексель» в последнее время вздувала курс железнодорожных акций и брала под них крупные ссуды. Компания «Джей Кук» финансировала Северную Тихоокеанскую железную дорогу, изо всех сил стараясь не допускать других к участию в строительстве этой грандиозной трансконтинентальной линии. Разумеется, они теперь сами очутились в весьма щекотливом положении. При первом тревожном известии они бросятся сбывать наиболее надежные ценности — правительственные облигации и тому подобное,

— лишь бы спасти другие свои бумаги, на которых можно спекулировать. «Медведи» сразу почуют наживу и примутся без зазрения совести сбивать цены, распродавая решительно все. Он же не смеет следовать их примеру. Так можно живо сломать себе шею, а для него самое главное — выгадать время. О, если бы у него было время, три дня, неделя, десять дней, гроза, несомненно, прошла бы стороной.

Больше всего он тревожился из-за полумиллиона долларов, вложенных Стинером в его предприятие. Приближались осенние выборы. Кандидатура Стинера,

хотя он уже пробыл на своем посту два срока, была выставлена в третий раз. Злоупотребления, обнаруженные в городском казначействе, привели бы к весьма серьезным последствиям. Служебной карьере Стинера пришел бы конец, сам он скорее всего оказался бы на скамье подсудимых. А для республиканской партии это означало провал на выборах. Ему, Каупервуду, тоже не удастся остаться в стороне, слишком глубоко он увяз во всем этом деле. Если гроза разразится, он должен будет держать ответ перед заправилами республиканской партии. При сильном нажиме он неминуемо обанкротится, а тогда выплывет на свет не только то, что он пытался наложить руки на конные железные дороги — эти «заповедники», которые политические дельцы бережно хранили для себя, но еще и делал это при помощи незаконных ссуд из городского казначейства, из-за чего им теперь грозит поражение на выборах. На такие дела они не станут смотреть сквозь пальцы. Ему не помогут заверения, что он платил за эти деньги два процента годовых (в большинство договоров он из осторожности включал этот пункт) или же что он действовал лишь как агент Стинера. Люди непосвященные еще могли бы этому поверить, но опытных политиков так просто не проведешь. Они и не такие виды видывали.

Одно лишь обстоятельство не давало Каупервуду окончательно пасть духом: он слишком хорошо знал, как орудуют политические заправилы его города. Каждый из них, какое бы высокое положение он ни занимал, в эти критические минуты отбросит свою спесь, ибо все они, снизу и до самых верхов, извлекают для себя выгоды из предоставляемых городом льгот. Батлер, Молленхауэр и Симпсон — Каупервуд это знал — наживались на

подрядах, как будто бы вполне законных, но распределявшихся только между «своими», и на огромных суммах, взимаемых городом в виде налогов — поземельного, налога на воду и т.д. — и депонируемых в тех банках, которые рекомендовала эта тройка и некоторые другие лица. Считалось, что банки оказывают городу услугу, храня его деньги в своих сейфах; поэтому они не платили процентов по этим вкладам, но пускали их в оборот, спрашивается, в чьих же интересах? У Каупервуда не было никаких оснований быть недовольным пресловутой тройкой, эти люди относились к нему совсем неплохо, но почему они считают себя монополистами по использованию всех доходов города? Он не знал лично ни Молленхауэра, ни Симпсона, но ему было известно, что они, так же как и Батлер, неплохо нажились на его махинациях с выпуском городского займа. Опять-таки Батлер был к нему чрезвычайно расположен. Не исключено, что, если все обернется из рук вон плохо и он, Каупервуд, откроет свои карты Батлеру, тот, учитывая всю напряженность положения, придет ему на помощь. Он уже мысленно решил так и поступить, если не удастся вывернуться без всякой огласки, с помощью одного только Стинера.

Но прежде всего, думал он, разрабатывая план действий, следует отправиться к Стинеру на дом и потребовать у него дополнительной ссуды в триста — четыреста тысяч долларов. Стинер и всегда-то отличался сговорчивостью, а в данном случае он, конечно, поймет, как важно, чтобы полумиллионная недостача в его кассе не сделалась достоянием гласности. Далее необходимо раздобыть еще денег, как можно больше. Но откуда? Придется вступить в переговоры с директорами банков и акционерных компаний, с крупными биржевиками и

прочими деловыми людьми. Что же касается тех ста тысяч долларов, которые он должен Батлеру, то старый подрядчик, пожалуй, согласится повременить с востребованием этой суммы.

Каупервуд поспешил домой, еще с порога велел закладывать экипаж и поехал к Стинеру.

К вящему его огорчению оказалось, что Стинера нет в городе — он уехал с друзьями в бухту Чезапик стрелять уток и ловить рыбу; его ждали лишь через несколько дней. А сейчас он бродит по болотам, вблизи одного маленького городка. Каупервуд отправил срочную депешу в ближайший к этому городку телеграфный пункт и для большей уверенности телеграфировал еще в несколько мест той округи, прося Стинера немедленно вернуться. Несмотря на все это, он отнюдь не был уверен, что Стинер успеет приехать вовремя, и не знал, что делать дальше. Ему нужна была помощь, безотлагательная помощь из какого угодно источника.

Внезапно у него мелькнула обнадеживающая мысль. Батлер, Молленхауэр и Симпсон — крупнейшие акционеры конных железных дорог. Они должны объединиться, чтобы поднять цены на бирже и тем самым оградить свои же интересы. Они могут вступить в переговоры с такими крупными банками, как «Дрексель и Кь», «Кук» и прочие, и настоять, чтобы те поддержали рынок. Они могут повлиять на конъюнктуру, совместно скупая акции; при такой поддержке он сумеет продать свои ценные бумаги на сумму, которая даст ему возможность обернуться, более того, не исключено, что ему удастся сыграть на понижение и неплохо заработать. Это была блестящая идея, достойная лучшего применения, и единственным слабым ее местом было

отсутствие полной уверенности в том, что она осуществима.

Он решил тотчас же ехать к Батлеру, сокрушаясь лишь о том, что придется выдать себя и Стинера. Но что поделаешь! Каупервуд сел в экипаж и помчался к Батлеру.

В это время старый подрядчик сидел за обеденным столом. Он не слыхал, как газетчики выкликали экстренные выпуски, и еще ничего не знал о грандиозном пожаре в Чикаго.

Когда слуга доложил о Каупервуде, Батлер встал и, приветливо улыбаясь, пошел ему навстречу.

— Милости просим, присаживайтесь. Что прикажете: чаю или кофе?

— Благодарю вас, — отвечал Каупервуд. — Но я сегодня очень спешу. Мне необходимо потолковать с вами несколько минут, затем я должен ехать дальше. Я вас долго не задержу.

— Ну что ж, ежели так, я сейчас буду к вашим услугам.

И Батлер вернулся в столовую положить салфетку, которая была заткнута у него за воротник. Эйлин, также сидевшая за столом, узнала голос Каупервуда и насторожилась. Как бы его повидать? Что привело его к отцу в столь неурочный час? Ей неловко было тут же встать из-за стола, но она надеялась до ухода Каупервуда успеть перекинуться с ним словечком. Каупервуд думал о ней даже сейчас, когда над ним вот-вот могла разразиться гроза, как думал и о жене и о многом другом. Если он не избегнет краха, тяжело придется всем, кто с ним связан. Он не мог сказать, во

что все это выльется, ведь пока тучи еще только застилали горизонт. Каупервуд снова и снова напряженно обдумывал положение, продолжая сохранять полное спокойствие духа. Спокойными оставались и его классически правильные черты, только глаза ярче обычного сияли холодным, стальным блеском.

— Итак, я слушаю, — сказал Батлер, возвращаясь. Лицо его выражало полное довольство судьбой и всем миром. — Что у вас приключилось? Надеюсь, ничего серьезного? Слишком уж сегодня хороший день!

— Я и сам надеюсь, что ничего особенно серьезного, — отвечал Каупервуд.

— Но все же мне необходимо с вами поговорить. Не лучше ли подняться к вам в кабинет?

— Я это как раз хотел предложить, — отозвался Батлер. — Да, кстати, и сигары у меня наверху.

Они пошли к лестнице, Батлер впереди, Каупервуд — следом за ним; когда старый подрядчик стал подниматься наверх, из столовой, шурша шелковым платьем, вышла Эйлин. Ее великолепные волосы, зачесанные кверху со лба и с затылка, сплетались на макушке, образуя причудливую золотисто-рыжую корону. Лицо ее пылало, а оголенные руки и плечи, выступая из темно-красного платья, казались ослепительно белыми. Она сразу почувствовала что-то неладное.

— А, мистер Каупервуд, как поживаете? — воскликнула она, протягивая ему руку, меж тем как ее отец продолжал подниматься по лестнице.

Она старалась задержать Фрэнка, чтобы перекинуться с ним несколькими словами, и ее

развязно-небрежная манера обращения предназначалась для окружающих.

— Что случилось, дорогой? — прошептала она, когда отец уже был на верхней площадке. — У тебя озабоченный вид.

— Надеюсь, ничего страшного, девочка, — отвечал он. — Чикаго горит, и завтра здесь поднимется невероятная суматоха. Мне нужно поговорить с твоим отцом.

Она успела только произнести сочувственное и испуганное «ой!», а Каупервуд, высвободив руку, последовал за ее отцом. Еще раз сжав его локоть, Эйлин прошла в гостиную. Там она села и погрузилась в раздумье, ибо никогда еще не видела на лице Каупервуда столь сосредоточенно-сурового выражения. Спокойное лицо, словно вылепленное из воска, и холодное, как воск, глаза глубокие, проницательные, непостижимые!.. Чикаго горит! Какое это имеет к нему отношение? При чем здесь Фрэнк? Он никогда не посвящал ее в свои дела: она поняла бы в них не больше, чем миссис Каупервуд. Но тем не менее тревога охватила ее; ведь все это, видимо, касалось Фрэнка, с которым она была связана, по ее мнению, неразрывными узами.

Литература, если не говорить о классиках, дает нам представление только об одном типе любовницы: лукавой, расчетливой искусительнице, чье главное наслаждение — завлекать в свои сети мужчин. Журналисты и авторы современных брошюр по вопросам морали с необычайным рвением поддерживают ту же версию. Можно подумать, что господь бог установил над жизнью цензуру, а цензорами назначил крайних

консерваторов. Меж тем существуют любовные связи, ничего общего не имеющие с холодной расчетливостью. В подавляющем большинстве случаев женщинам чужды лукавство и обман. Обыкновенная женщина, повинующаяся голосу чувства и глубоко, по-настоящему любящая, не способна на коварство, так же как малый ребенок; она всегда готова пожертвовать собой и стремится возможно больше отдать. Покуда длится любовь, она только так и поступает. Чувство может измениться, и тогда — «ад не знает пущей злобы», но все же любовниц чаще всего отличают жертвенность, готовность безраздельно отдать себя любимому и нежная заботливость. Такие отношения, противопоставленные алчности законного брака, и причинили твердыням супружества более всего разрушений. Человек — будь то мужчина или женщина — не может не преклоняться, не благоговеть перед подобными проявлениями бескорыстия и самопожертвования. Они равны высоким жизненным призваниям, сродни вершине искусства, то есть величию духа, каковым прежде всего отличается прекрасное полотно, прекрасное здание, прекрасная статуя, прекрасный узор, — величию, которое и есть способность щедро, неограниченно дарить себя, излучать свою красоту. Отсюда и необычное для Эйлин состояние духа.

Поднимаясь вслед за Батлером наверх, Каупервуд снова и снова перебирал в уме все подробности создавшегося положения.

— Присаживайтесь, прошу! Не выпить ли нам чего-нибудь? Ах да, вы ведь не пьете: помню, помню! Ну хоть сигару возьмите! Итак, чем это вы сегодня расстроены?

Через окна со стороны густонаселенных кварталов смутно доносились крики: «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Подробности пожара в Чикаго! Весь город объят пламенем!»

— Вот чем я расстроен, — прислушавшись к этим выкрикам, отвечал Каупервуд. — Вы знаете новость?

— Нет. О чем это кричат газетчики?

— В Чикаго грандиозный пожар.

— А-а!.. — отозвался Батлер, все еще не уяснив себе значения этого события.

— Вся деловая часть города в огне, мистер Батлер, — мрачно продолжал Каупервуд, — и не позднее завтрашнего дня у нас здесь произойдут финансовые потрясения. Вот об этом я и пришел поговорить с вами. Как у вас обстоят дела с капиталовложениями? Основательно вы увязли?

По выражению лица Каупервуда Батлер вдруг понял, что происходит нечто катастрофическое. Откинувшись назад в широком кожаном кресле, он поднял свою большую руку, прикрыв ею рот и подбородок. Над толстыми суставами пальцев, над широким и хрящеватым носом поблескивали из-под косматых бровей его большие глаза. Голову ровной жесткой щетиной покрывали коротко остриженные седые волосы.

— Вон оно что! — произнес он. — Вы полагаете, завтра и у нас разразится буря? А как ваши собственные дела?

— У меня все будет более или менее в порядке, если только наши финансовые тузы сохранят

хладнокровие и не поддадутся панике. Завтра, а то еще и сегодня нам всем понадобится много здравого смысла. Ведь мы накануне настоящей биржевой паники. Вы должны посмотреть правде в глаза, мистер Батлер! Долго эта паника не продлится, но и за короткий срок может произойти немало бед. Завтра, с первой же минуты открытия биржи, ценности полетят вниз на десять или пятнадцать пунктов. Банки начнут требовать погашения ссуд, и только предварительная договоренность может удержать их от такого шага. Но ни один человек не в состоянии воздействовать на них в одиночку. Здесь необходимы совместные усилия группы людей. Вы вместе с мистером Симпсоном и мистером Молленхауэром можете этого добиться, склонив банковских заправил объединиться и поддержать рынок. Все конные железные дороги попадут под удар. Если не поддержать курса, их акции катастрофически полетят вниз. Я знаю, что вы сделали крупные вложения в эти дороги. Вот я и подумал, что, возможно, вы, Молленхауэр и некоторые другие пожелаете принять свои меры. В противном случае, не скрою, мне тоже придется туговато. Я недостаточно силен, чтобы справиться самостоятельно.

Он ломал себе голову над тем, как открыть Батлеру всю правду насчет Стинера.

— Н-да, неважно получается, — задумчиво процедил старик.

Он думал о собственных делах. Паника и ему, конечно, не пойдет на пользу, но положение не так уж скверно. Банкротства ему нечего опасаться. Конечно, он может понести известные потери — не очень серьезные, — прежде чем ему удастся привести в порядок дела. А он не желал ничего терять.

— Как же это вы оказались в таком затруднительном положении? — полюбопытствовал он. Его интересовало, почему Каупервуд так страшится краха компаний конных железных дорог. — Разве у вас есть вложения в эти предприятия?

Перед Каупервудом встал вопрос — лгать или говорить правду; но нет, лгать было слишком рискованно. Если ему не удастся заручиться сочувствием и поддержкой Батлера, он может обанкротиться, и тогда правда все равно выплывет наружу.

— Я ничего не стану от вас скрывать, мистер Батлер, — сказал он, уповая на доброжелательное отношение старика и глядя на него тем смелым и уверенным взглядом, который так нравился Батлеру.

Тот порою гордился Каупервудом не меньше, чем своими сыновьями. Кроме того, он чувствовал, что молодой банкир так заметно выдвинулся именно благодаря ему, Батлеру.

— Надо вам сказать, что я уже довольно давно скупаю акции конных железных дорог, правда, не только для себя. Может быть, мне не следовало бы открывать вам то, что я сейчас открою, но, поступив иначе, я причиню ущерб и вам и многим другим лицам, которых я хотел бы от этого уберечь. Мне, разумеется, известно, что вы заинтересованы в исходе предстоящих осенью выборов. И я не хочу скрывать от вас, что я покупал много акций для Стинера и кое-кого из его друзей. Не буду утверждать, что средства для этих покупок всегда шли из городского казначейства, но в большинстве случаев это, видимо, было так. Я понимаю, как мое банкротство может отразиться и на Стинере, и на республиканской партии, и на ваших интересах. Конечно,

мистер Стинер не в одиночку додумался до такой комбинации, и я здесь заслуживаю не меньшего порицания, чем остальные, но все это само собой вытекало из других дел. Как вам известно, я, по предложению Стинера, распространял выпуск городского займа, и после этой операции кое-кто из его друзей предложил мне вложить их средства в конные железные дороги. С тех пор я не переставал вести для них эти дела. Я лично занимал у Стинера большие суммы из двух процентов годовых. Скажу больше: первоначально все сделки покрывались именно таким образом, и я вовсе не хочу сваливать свою вину на других. Ответственность падает на меня, и я готов ее нести, но если я потерплю крах, имя Стинера будет запятнано, и это пагубно отразится на всем городском самоуправлении. Разумеется, я не хочу оказаться банкротом, да для этого и нет никаких оснований. Если бы не угроза паники, я мог бы сказать, что мои дела никогда еще не были так хороши. Но я не в силах выдержать бурю, если не получу помощи, и я хочу знать, окажете ли вы мне ее. Если я вывернусь, то даю вам слово принять все меры для скорейшего возврата денег в городское казначейство. Жаль, что мистера Стинера сейчас нет в городе, не то я привез бы его к вам, чтобы он подтвердил мои слова.

Каупервуд лгал самым беззастенчивым образом, говоря о намерении привезти с собою Стинера; возвращать деньги в городское казначейство он тоже не собирался, разве что частями и в удобные ему сроки. Но звучало все это честно и убедительно.

— Какую сумму вложил Стинер в ваше предприятие? — осведомился Батлер. Он был несколько огорошен столь неожиданным оборотом дел. Вся эта

история выставляла Каупервуда и Стинера в весьма невыгодном для них свете.

— Около пятисот тысяч долларов, — отвечал Каупервуд.

Старик выпрямился в кресле.

— Неужто так много? — вырвалось у него.

— Да, приблизительно… может быть, немного меньше или больше, — я точно не знаю.

Старый подрядчик со скорбным и важным видом слушал все, что излагал ему Каупервуд, в то же время обдумывая, как это отзовется на интересах республиканской партии и на его собственных договорах с городским самоуправлением. Каупервуд внушал ему симпатию, но дело, о котором он сейчас рассказывал, выглядело сомнительным и очень нечистым. Батлер был человек медлительный, тяжелодум, но если уж он начинал думать над каким-нибудь вопросом, то додумывал его до конца. В филадельфийские конные железные дороги у него был помещен значительный капитал — не менее восьмисот тысяч долларов; у Молленхауэра, вероятно, и того больше. Сколько вложил в это дело сенатор Симпсон, он не знал. Но Каупервуд в свое время говорил ему, что и сенатор являлся держателем крупных пакетов таких акций. Большинство этих бумаг у них всех, как и у Каупервуда, было заложено в разных банках, а полученные под них деньги помещены в другие предприятия. Требование погашения ссуд не сулило им ничего хорошего, но все-таки ни у кого из этого триумвирата дела не были в таком уж отчаянном состоянии. Они сумеют вывернуться без особых хлопот,

хотя, возможно, и не без убытков, если тотчас же примут все меры для самозащиты.

Батлер не придал бы делу такого значения, если бы Каупервуд сообщил ему, что Стинер всадил в это предприятие тысяч семьдесят пять или сто. Это можно было бы как-нибудь уладить. Но пятьсот тысяч!..

— Большие деньги! — сказал Батлер, дивясь необычайной смелости Стинера, но еще не связывая ее с хитроумными махинациями Каупервуда. — Тут надо хорошенько пораскинуть мозгами. Если завтра начнется паника, нам нельзя терять ни минуты. А много ли вам будет проку от того, что мы поддержим рынок?

— Очень много, — отвечал Каупервуд, — хотя, конечно, мне придется доставать деньги еще и другим путем. Кстати, у меня числится ваш вклад в сто тысяч долларов. Как вы полагаете, потребуются они вам в ближайшие дни?

— Возможно.

— Не исключено, что и мне эти деньги будут так нужны, что я не сумею немедленно вернуть их вам без серьезного ущерба для себя, — заметил Каупервуд. — И это только одно из многих звеньев всей цепи. Если бы вы, сенатор Симпсон и Молленхауэр объединились — основная масса акций ведь в ваших руках — и воздействовали на мистера Дрекселя и мистера Кука, вам удалось бы заметно разрядить атмосферу. Я отлично выйду из положения, коль скоро от меня не потребуют погашения задолженности, а если на бирже не произойдет слишком резкого падения курсов, то никто с меня этого не потребует. В противном случае все мои бумаги будут обесценены, и я не выдержу.

Старик Батлер встал.

— Дело серьезное, — сказал он, — не надо было вам связываться со Стинером. Все это, как ни верти, выглядит достаточно неприглядно. Скверная, скверная история, — сурово добавил он. — Тем не менее я сделаю все возможное. Многого не обещаю, но я к вам всегда хорошо относился и не хочу оставлять вас в беде, разве только у меня не будет иного выхода. Неприятно, очень неприятно! И помните еще, что не я один решаю дела в нашем городе!

При этих словах Батлер подумал, что Каупервуд, собственно говоря, поступил вполне порядочно, своевременно предупредив его об угрозе собственным его интересам и выборам в муниципалитет, хотя, с другой стороны, он тем самым спасал и свою шкуру. Так или иначе, но Батлер решил сделать для него все возможное.

— Нельзя ли устроить, чтобы эта история со Стинером и городским казначейством не предавалась огласке день-другой, пока я не успею получше разобраться во всем происходящем? — осторожно спросил Каупервуд.

— Не обещаю, — отвечал Батлер, — хотя и сделаю все, что от меня зависит. Но вы можете быть спокойны: история эта не пойдет дальше, чем будет необходимо для вашего же блага.

Сейчас он уже раздумывал над тем, как им выпутаться из последствий совершенного Стинером преступления, если Каупервуд все-таки обанкротится.

— Оуэн! — позвал он, открыв дверь и перегибаясь через перила лестницы.

— Что, отец?

— Вели Дэну закладывать кабриолет и ждать у подъезда. А сам одевайся, поедешь со мной.

— Хорошо, отец.

Батлер вернулся в комнату.

— Н-да! Изрядная буря в стакане воды, а? В Чикаго пожар, а мне здесь, в Филадельфии, хлопот не обобраться! Ну и ну!

Каупервуд уже встал и направился к двери.

— А вы куда?

— Домой. Ко мне придут несколько человек, с которыми нужно повидаться. Но если вы разрешите, я еще раз заеду попозднее.

— Да, да, конечно, — ответил Батлер. — Я думаю, что к двенадцати наверняка уже буду дома. Ну, прощайте! Впрочем, мы, вероятно, еще увидимся. Я расскажу вам все, что мне удастся узнать.

Он вернулся зачем-то к себе в кабинет, и Каупервуд один спустился по лестнице. Стоявшая у портьеры Эйлин знаком подозвала его к себе.

— Я надеюсь, ничего страшного не случилось, дорогой? — с тревогой спросила она, заглядывая в его глаза, сегодня какие-то торжественно-серьезные.

Сейчас было не время для любовного воркования, и Каупервуд это чувствовал.

— Нет, — почти холодно ответил он, — надо думать, что ничего страшного.

— Только смотри, Фрэнк, не забывай обо мне надолго из-за своих дел! Не забудешь? Правда? Я ведь так люблю тебя!

— Нет, нет, не забуду! — отвечал он серьезно и быстро, хотя по тону чувствовалось, что мысли его далеко. — Ты же знаешь! Разве могу я тебя забыть? — Он хотел было поцеловать ее, но его вспугнул какой-то шорох. — Тес!

Каупервуд направился к двери, и Эйлин проводила его влюбленным, исполненным сочувствия взглядом.

Что, если с ее Фрэнком стрясется какая-нибудь беда? Разве мало на свете несчастий? Что ей тогда делать? Эта мысль больше всего ее мучила. Что она предпримет, как она может помочь ему? Он сегодня выглядит таким бледным, таким утомленным.

24

Чтобы правильно осветить положение, в котором оказался Каупервуд, нам придется сказать несколько слов об отношениях, существовавших в ту пору между республиканской партией в Филадельфии и Джорджем Стинером, Генри Молленхауэром, сенатором Марком Симпсоном и другими. Батлер, как мы уже видели, связанный с Каупервудом обычными деловыми интересами, вдобавок еще был дружески расположен к нему. Стинер служил слепым орудием в руках Каупервуда. Молленхауэр и сенатор Симпсон небезуспешно соперничали с Батлером во влиянии на городские дела. Симпсон представлял в законодательном собрании штата республиканскую партию, которая в случае необходимости могла потребовать от городского самоуправления изменения местных избирательных законов, пересмотра уставов городских учреждений, расследования деятельности политических организаций и отдельных лиц. К услугам Симпсона был целый ряд влиятельных газет, акционерных обществ, банков. Молленхауэр, человек солидный и почтенный, представлял филадельфийских немцев, несколько американских семейств и несколько крупных акционерных обществ. Все трое были сильными, ловкими людьми и опасными противниками для тех, кто сталкивался с ними на политическом поприще. Последние двое немало рассчитывали на популярность Батлера среди ирландцев, некоторых местных партийных лидеров и почтенных католиков, которые верили ему так, словно он был их духовным отцом. Батлер, со своей стороны, платил своим приверженцам покровительством, вниманием, помощью и неизменным

благожелательством. В награду за эти попечения город — через Молленхауэра и Симпсона — передавал ему крупные подряды на мощение улиц, постройку мостов и виадуков, прокладку канализации. Но получать эти подряды можно только при условии, что дела республиканской партии, видным деятелем которой он был и которая, так сказать, кормила его, ведутся чинно и благопристойно. С другой стороны, почему он, собственно, обязан заботиться об этом больше, чем Молленхауэр или Симпсон, — ведь Стинер не его ставленник. По службе казначей подчинялся главным образом Молленхауэру.

Вот о чем, изрядно обеспокоенный всем случившимся, думал Батлер, садясь с сыном в кабриолет.

— У меня только что был Каупервуд, — сказал он Оуэну, который в последнее время начал отлично разбираться в финансовых делах, а в вопросах политических и общественных выказывал даже большую прозорливость, чем отец, хотя и не был столь сильной личностью. — Говорит, что очутился в весьма затруднительном положении. Вот, слышишь? — добавил он, когда до них донеслись крики: «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!» — Чикаго в огне. Завтра на бирже начнется паника. Наши железнодорожные акции заложены в разных банках. Надо держать ухо востро, а не то от нас потребуют погашения ссуд. Завтра мы прежде всего должны позаботиться, чтобы этого не случилось. У Каупервуда есть моих сто тысяч долларов, но он просит не изымать их, а кроме того, говорит, что у него вложены в дело деньги Стинера.

— Стинера? — удивился Оуэн. — Он, что же, балуется на бирже? — До Оуэна доходили слухи о

Стинере и его присных, но он как-то не придал им значения и ничего еще не успел рассказать отцу. — И много у Каупервуда его денег?

Батлер ответил не сразу.

— Немало, — процедил он наконец. — По правде сказать, даже очень много: около пятисот тысяч. Если это станет известно, шум поднимется невообразимый.

— Ого! — вырвалось у изумленного Оуэна. — Пятьсот тысяч долларов! Господи ты боже мой! Неужели Стинер заграбастал полмиллиона? По совести говоря, я бы не поверил, что у него хватит ума на такое дело! Пятьсот тысяч! То-то будет скандал, если об этом узнают!

— Ну, ну, обожди малость! — отозвался Батлер, стараясь возможно яснее представить себе, как это могло произойти. — Мы не знаем всех подробностей. Возможно, что Стинер сначала и не собирался брать так много. Все еще может уладиться. Деньги вложены в разные предприятия. Каупервуд еще не банкрот. И деньги покуда не пропали. Теперь надо решить, что предпринять для его спасения. Если он говорит правду — а до сих пор еще не было случая, чтоб он солгал, — он может вывернуться, лишь бы акции городских железных дорог завтра утром не полетели вверх тормашками. Я сейчас повидаюсь с Молленхауэром и Симпсоном. Они тоже заинтересованы в этих бумагах. Каупервуд просил меня поговорить с ними; может, мне удастся воздействовать на банки, чтобы те поддержали рынок. Он думает, что мы укрепим свои активы, если завтра на бирже начнем скупать эти акции для поддержания курса.

Оуэн быстро перебирал в уме все, что ему было известно о Каупервуде. По его мнению, Каупервуда

следовало основательно проучить. Все это его затея, а не Стинера, тут Оуэн не сомневался. Его удивляло только, что отец сам этого не видит и не возмущается Каупервудом.

— Вот что я тебе скажу, отец, — помолчав, произнес он несколько театральным тоном. — Каупервуд накупил акций на взятые у Стинера деньги и сел в лужу. Не случись пожара, это сошло бы ему с рук, но сейчас он еще хочет, чтобы ты, Молленхауэр, Симпсон и другие вытаскивали его. Он славный малый, и я неплохо отношусь к нему, но с твоей стороны будет безумием действовать по его указке. Он и без того захватил в свои руки больше, чем следовало. На днях я слышал, что линия Фронт-стрит и большая часть линии Грин и Коутс принадлежат ему, да еще он совместно со Стинером является владельцем линии Семнадцатой и Девятнадцатой улиц. Но я не поверил и все собирался спросить тебя, так ли это. Я подозреваю, что Каупервуд в том и другом случае припрятал для себя контрольный пакет акций. Стинер только пешка; Каупервуд вертит им как угодно.

Глаза Оуэна зажглись алчностью и неприязнью. Каупервуд должен понести примерное наказание: надо продать с молотка его предприятие, а его самого изгнать из акционеров конных железных дорог. Оуэн давно жаждал занять в этом деле ведущее положение.

— Видишь ли, — глухо отвечал Батлер, — я всегда полагал, что этот молодой человек умен, но что он такой пройдоха, я не думал. Все разыграл как по нотам. Да и ты, я вижу, тоже не из простачков, а? Ну, надо хорошенько все взвесить, и, может, мы еще это дело уладим. Здесь есть одно очень существенное

обстоятельство. Мы прежде всего должны помнить о республиканской партии. Наш успех, как тебе известно, неразрывно связан с ее успехом. — Он замолчал и посмотрел на сына. — Если Каупервуд обанкротится и деньги не будут возвращены в кассу… — Старик внезапно оборвал начатую фразу. — В этой истории меня беспокоит только Стинер и городское казначейство. Если мы ничего не предпримем, то республиканской партии туго придется осенью на выборах, а заодно могут полететь и некоторые наши подряды. Не забывай о том, что в ноябре выборы! Я все думаю, брать у него или не брать эти сто тысяч долларов? Утром мне понадобится немало денег, чтобы покрыть задолженность.

Курьезная психологическая подробность: только сейчас Батлер начал по-настоящему уяснять себе всю трудность положения. В присутствии Каупервуда, который красноречиво излагал ему свои нужды, он до такой степени поддался воздействию его личности и своего расположения к нему, что даже толком не разобрался в том, насколько эта история затрагивает его собственные интересы. И только теперь, на свежем вечернем воздухе, беседуя с Оуэном, лелеявшим собственные честолюбивые замыслы и нимало не склонным щадить Каупервуда, Батлер начал трезво смотреть на вещи, и вся история предстала перед ним в более или менее правильном освещении. Ему пришлось согласиться, что Каупервуд серьезно скомпрометировал республиканскую партию и поставил под угрозу городское казначейство, а попутно и его, Батлера, личные интересы. И все же старик питал к нему симпатию и не намеревался бросить его на произвол судьбы. Сейчас он ехал к Молленхауэру и Симпсону, чтобы спасать Каупервуда, — правда, заодно еще и

республиканскую партию и свои собственные дела. Но все же какой срам! Он сердился и возмущался. Что за прохвост этот молодой человек! Кто бы мог подумать, что он пустится в такие авантюры. Тем не менее Батлер и сейчас не утратил расположения к нему; он чувствовал, что должен предпринять какие-то шаги для спасения Каупервуда, если только его еще можно спасти. Не исключено даже, что он исполнит его просьбу и, если и другие тоже отнесутся к нему с сочувствием, до последней минуты не тронет своего стотысячного вклада.

— Право же, отец, — помолчав, сказал Оуэн, — я не понимаю, почему ты должен беспокоиться больше, чем Молленхауэр и Симпсон. Если вы втроем захотите помочь Каупервуду выпутаться, дело ваше; но, убей меня, я не понимаю, зачем вам это нужно! Конечно, если эта история выплывет до выборов, то ничего хорошего не получится, но разве нельзя до тех пор замолчать ее? Твои вложения в конные железные дороги куда важнее этих выборов, и, если бы ты нашел способ прибрать к рукам конку, тебе больше не пришлось бы волноваться о выборах. Мой совет: завтра же утром потребовать свои сто тысяч долларов, чтобы удовлетворить претензии банков, в случае если курс акций сильно упадет. Это может повлечь за собой банкротство Каупервуда, но тебе нисколько не повредит. Ты явишься на биржу и скупишь его акции; меня не удивит, если он сам прибежит к тебе с таким предложением. Ты должен повлиять на Молленхауэра и Симпсона, пусть они припугнут Стинера и потребуют, чтобы он больше ни одного доллара не давал взаймы Каупервуду. Если ты этого не сделаешь, он бросится к Стинеру и возьмет у него еще денег. Стинер зашел уж слишком далеко. Может, Каупервуд не захочет распродать свой пай, это его дело, но он почти

наверняка вылетит в трубу, и тогда ты сумеешь скупить на бирже сколько угодно его акций. Я лично думаю, что он будет распродаваться. А портить себе кровь из-за этих стинеровских пятисот тысяч тебе незачем. Никто не заставлял его одалживать их Каупервуду. Пусть выпутывается как знает. Правда, партия может попасть под удар, но сейчас не это самое важное. Вы с Молленхауэром окажете давление на газеты, и они будут молчать до окончания выборов.

— Обожди, обожди малость! — сказал сыну старый подрядчик и снова погрузился в размышления.

25

Генри Молленхауэр, как и Батлер, жил в одной из новых частей города, на Брод-стрит, неподалеку от тоже нового и красивого здания библиотеки. Дом у него был обширный и очень типичный для жилища новоиспеченного богача того времени — четырехэтажное здание, облицованное желтым кирпичом и белым камнем, без всякого определенного стиля, но все-таки довольно приятное для глаза. Широкие ступени вели на просторную веранду, посредине которой красовалась Тяжелая резная дверь, а по бокам ее — узкие окна, украшенные светло-голубыми, очень изящными жардиньерками. Во всех двадцати комнатах этого дома были великолепные паркетные полы и очень дорого стоившие по тем временам деревянные панели. В первом этаже помещалась зала, огромная гостиная и обшитая дубом столовая, размером не меньше тридцати квадратных футов; во втором — комната, где стоял рояль, отданный в распоряжение трех дочерей хозяина, мнивших себя музыкантшами, библиотека, кабинет самого Молленхауэра и будуар его жены с прилегающими к нему ванной комнатой и небольшим зимним садом.

Молленхауэр считался и сам считал себя очень важной персоной. В финансовых и политических делах он обладал исключительной проницательностью. Хотя он был немцем, вернее, американцем немецкого происхождения, внешность у него была типично американская и притом очень внушительная. Холодный и острый ум светился в его глазах. Роста он был высокого, сложения плотного. Его могучая грудь и широкие плечи прекрасно гармонировали с красивой головой,

казавшейся в зависимости от ракурса то круглой, то удлиненной. Выпуклый лоб тяжело нависал над живыми, пытливыми, колючими глазами. Нос, рот, подбородок, а также полные гладкие щеки — словом, все крупное, выразительное, правильное лицо Молленхауэра свидетельствовало о том, что этот человек знает, чего хочет, и умеет поставить на своем, наперекор всем препятствиям. С Эдвардом Мэлией Батлером Молленхауэра связывала тесная дружба — насколько она возможна между двумя дельцами, — а Марка Симпсона он уважал приблизительно так, как один тигр уважает другого. Он умел ценить выдающиеся способности и всегда был готов играть честно, если честно велась игра. В противном случае его коварство не знало границ.

Молленхауэр не ждал ни Эдварда Батлера, ни его сына в воскресный вечер. Этот человек, владевший третьей частью всех богатств Филадельфии, сидел у себя в библиотеке, читал и слушал игру на рояле одной из своих дочерей. Жена и две другие дочери ушли в церковь. По натуре он был домосед. А так как воскресный вечер в мире политиков вообще считается удобным временем для всевозможных совещаний, то Молленхауэр предполагал, что кто-нибудь из его видных собратьев по республиканской партии может заглянуть к нему. Поэтому когда лакей — он же дворецкий — доложил о Батлере с сыном, он даже обрадовался.

— Кого я вижу! — приветствовал он Батлера, протягивая ему руку. — Очень, очень рад! И Оуэн с вами? Как дела, Оуэн? Чем прикажете потчевать вас, джентльмены, и что вы предпочитаете курить? Для начала надо выпить по рюмочке. Джон, — обратился он к слуге, — подайте-ка чего-нибудь крепкого!.. А я сидел и

слушал, как играет Каролина. Но вы, очевидно, смутили ее.

Он придвинул Батлеру кресло и указал Оуэну на место по другую сторону стола. Не прошло и минуты, как слуга вернулся с изящным серебряным подносом, в изобилии уставленным бутылками виски, старого вина и коробками с разными сортами сигар. Оуэн принадлежал к новому типу дельцов, воздерживавшихся от вина и от курения. Отец его в очень умеренном количестве позволял себе и то и другое.

— Уютный у вас дом! — сказал Батлер, поначалу умалчивая о причине своего посещения. — Неудивительно, что вы и в воскресенье вечером никуда не выезжаете. Что новенького в городе?

— Ничего особенного, насколько мне известно, — спокойно отвечал Молленхауэр. — Все идет как по маслу. Но вы, кажется, чем-то обеспокоены?

— Да, немножко, — отвечал Батлер, допивая коньяк с содовой. — Тревожные известия. Вы еще не читали вечерних газет?

— Нет, не читал. — И Молленхауэр выпрямился в кресле. — А разве сегодня вышли вечерние выпуски? Что же такое случилось?

— Ничего, если не считать пожара в Чикаго. И похоже, что завтра утром у нас на фондовой бирже начнется изрядная суматоха.

— Что вы говорите! А я еще ничего не слышал. Значит, вышли вечерние газеты?.. Так, так… Что же, большой там пожар?

— Говорят, весь город в огне, — вставил Оуэн, с интересом наблюдавший за выражением лица знаменитого политического деятеля.

— Да… Вот это новость! Надо послать за газетой. Джон! — кликнул он слугу и, когда тот появился, сказал: — Раздобудьте мне где-нибудь газету. Почему вы считаете, что это может отразиться на здешних делах? — обратился он к Батлеру после ухода слуги.

— Видите ли, существует одно обстоятельство, о котором я ничего не знал до самой последней минуты. Наш милейший Стинер, возможно, недосчитается изрядной суммы в своей кассе, если только дело не обернется лучше, чем кое-кто предполагает, — спокойно пояснил Батлер. — А такая история, как вы сами понимаете, едва ли произведет выгодное впечатление перед выборами, — добавил он, и его умные серые глаза впились в Молленхауэра, который ответил ему таким же пристальным взглядом.

— Откуда вы это узнали? — ледяным тоном осведомился Молленхауэр. — Неужели он намеренно произвел растрату? И сколько он взял, вам тоже известно?

— Довольно приличный куш, — по-прежнему спокойно отвечал Батлер. — Насколько я понял, около пятисот тысяч долларов. Пока это еще не растрата. Но как дело обернется в дальнейшем, неизвестно.

— Пятьсот тысяч! — в изумлении воскликнул Молленхауэр, стараясь, однако, сохранить обычное самообладание. — Не может быть! Когда же он начал брать деньги? И куда их девал?

— Он ссудил около пятисот тысяч молодому Каупервуду с Третьей улицы, тому самому, что проводил реализацию городского займа. На эти деньги они — в своих личных интересах — пускались в разные аферы, главным образом скупали акции конных железных дорог.

При упоминании о конных дорогах бесстрастное лицо Молленхауэра чуть-чуть дрогнуло.

— По мнению Каупервуда, этот пожар завтра вызовет биржевую панику, и он опасается, что ему не выйти из положения без солидной поддержки. Если же он обанкротится, то в городском казначействе окажется дефицит в пятьсот тысяч долларов, который уже нельзя будет восполнить, Стинера нет в городе, а Каупервуд явился ко мне с просьбой найти способ поддержать его. Надо сказать, что он в свое время выполнял для меня кое-какие поручения и потому понадеялся, что теперь я приду к нему на помощь, то есть склоню вас и сенатора воздействовать на крупные банки, чтобы таким образом поддержать завтра курс ценностей на бирже. Иначе Каупервуду грозит крах, а скандал, который, по его мнению, неизбежно разразится, может повредить нам на выборах. Мне кажется, что он тут не ведет никакой игры, а просто хлопочет о том, чтобы по возможности спасти себя и не подвести меня или, вернее, нас.

Батлер умолк. Молленхауэр, коварный и скрытный, даже виду не подал, что встревожен этим неожиданным известием. Но так как он всегда был уверен, что у Стинера нет ни крупицы финансовых или организационных способностей, то его любопытство было изрядно возбуждено. Значит, его ставленник пользовался средствами казначейства тайком от него и теперь оказался перед угрозой судебного преследования!

Каупервуда Молленхауэр знал лишь понаслышке, как человека, приглашенного в свое время для проведения операции с займом. На этой операции кое-что нажил и он, Молленхауэр. Ясно, что этот банкир околпачил Стинера и на полученные от него деньги скупал акции конных железных дорог! Следовательно, у него и у Стинера должно быть немало этих бумаг — обстоятельство, чрезвычайно заинтересовавшее Молленхауэра.

— Пятьсот тысяч долларов! — повторил он, когда. Батлер закончил свой рассказ. — Н-да, кругленькая сумма! Если бы Каупервуда могла спасти одна только поддержка рынка, мы, пожалуй, пошли бы ему навстречу, но в случае серьезной паники такой маневр останется безрезультатным. Если этот молодой человек сильно стеснен в средствах, а на бирже начнется резкое падение ценностей, то для его спасения понадобится еще целый ряд дополнительных мероприятий. Мне это известно по опыту. Вы случайно не знаете, каков его пассив?

— Нет, не знаю, — отвечал Батлер.

— Денег, вы говорите, он у вас не просил?

— Он хочет только, чтобы я не брал у него своих ста тысяч, покуда не определится его положение.

— А Стинера и в самом деле нет в городе? — осведомился недоверчивый по природе Молленхауэр.

— Так утверждает Каупервуд. Мы можем послать кого-нибудь проверить.

Молленхауэр уже обдумывал, как бы поумнее выйти из положения. Поддержать курс ценностей — это, конечно, самое лучшее, если таким образом удастся спасти Каупервуда, а заодно с ним казначея и честь

республиканской партии. Стинер окажется вынужденным возвратить в казну пятьсот тысяч долларов, для чего ему придется продать свои акции, и тогда почему бы ему, Молленхауэру, не купить их? Но тут, видимо, нужно будет учесть и интересы Батлера. А что, спрашивается, он может потребовать?

Из дальнейшего разговора с Батлером Молленхауэр выяснил, что Каупервуд готов возместить недостающие пятьсот тысяч долларов, если только ему удастся сколотить такую сумму. Насчет его паев в разных линиях конки у них пока разговора не было. Но какая могла быть уверенность в том, что Каупервуда удастся спасти таким способом и что у него даже в этом случае будет желание и возможность собрать пятьсот тысяч долларов и вернуть их Стинеру? Он сейчас нуждается в наличных, но кто даст их ему теперь, когда надвигается неминуемая паника? Какое обеспечение может он предложить? С другой стороны, если хорошенько нажать, можно будет принудить их обоих — его и Стинера — отдать за бесценок свои железнодорожные акции. Если ему, Молленхауэру, удастся заполучить их, то какое ему, собственно, дело, победит его партия осенью на выборах или потерпит поражение; впрочем, он, как и Оуэн, считал, что поражения можно избежать. Вернее, можно по примеру прежних лет купить победу. Растрату Стинера, если из-за краха Каупервуда он окажется растратчиком, несомненно, удастся скрыть до победы на выборах. Впрочем, мелькнула у него мысль, еще желательнее было бы припугнуть Стинера, чтобы он отказал в дополнительной помощи Каупервуду, а затем резко сбить цену на его акции конных железных дорог и тем самым на акции всех других держателей, не исключая Батлера и Симпсона. В Филадельфии эти линии

со временем станут одним из главнейших источников обогащения. Но сейчас надо делать вид, что в первую очередь его заботит спасение партии на предстоящих выборах.

— Я, конечно, не могу решать за сенатора, — задумчиво начал Молленхауэр, — и не знаю, какова будет его точка зрения. Но я лично готов сделать все от меня зависящее, чтобы поддержать курс ценностей, если это принесет какую-нибудь пользу. Готов хотя бы уже потому, что банки и от меня могут потребовать погашения задолженности. Но сейчас нам надо прежде всего позаботиться об избежании огласки до конца выборов, если Каупервуд все-таки вылетит в трубу. Ведь у нас нет никакой уверенности, что наши усилия поддержать рынок увенчаются успехом.

— Никакой! — хмуро подтвердил Батлер.

Оуэну уже стало казаться, что Каупервуд обречен. Но в это время у дверей позвонили. Горничная, заменившая посланного за газетой лакея, доложила о сенаторе Симпсоне.

— А, легок на помине! — воскликнул Молленхауэр. — Просите! Сейчас мы узнаем его мнение.

— Я думаю, что мне следует оставить вас, — обратился Оуэн к отцу. — Я пойду к мисс Каролине и попрошу ее спеть мне что-нибудь. Я буду ждать тебя, отец, — добавил он.

Молленхауэр подарил его одобрительной улыбкой, и Оуэн вышел, в дверях столкнувшись с сенатором Симпсоном.

Никогда еще в Пенсильвании, которая дала миру немало интересных личностей, не процветал более

любопытный тип, чем сенатор Симпсон. В противоположность Батлеру и Молленхауэру, сейчас тепло приветствовавших его, внешне он выглядел довольно невзрачно: невысокого роста — пять футов девять дюймов, тогда как рост Молленхауэра достигал шести, а Батлера — пяти футов и одиннадцати дюймов, с постным лицом и круто срезанным подбородком — у двух других щеки были как налитые, а тяжелые челюсти выдавались вперед. Взгляд у него тоже был не столь открытый, как у Батлера, и не столь надменный, как у Молленхауэра. Зато в его глазах светился недюжинный ум. Это были странные, глубоко сидящие, бездонные глаза; они напоминали глаза кошки, высматривающей добычу из темного угла со всем коварством кошачьей породы. Копна черных волос ниспадала на его красивый низкий белый лоб, а лицо отличалось синеватой бледностью, как у людей с плохим здоровьем. Несмотря на такую наружность, в этом человеке таилась своеобразная, упорная, незаурядная сила, с помощью которой он подчинял себе людей, — хитрость, научившая его распалять алчность обещаниями наживы и быть беспощадным в расправе с теми, кто осмеливался ему перечить. Симпсон был тихоня, как многие люди такого склада, хилый, с холодными, скользкими руками и вялой улыбкой, но глаза своей выразительностью искупали все недостатки его наружности.

— Добрый вечер, Марк, рад вас видеть, — приветствовал его Батлер.

— Здравствуйте, Эдвард, — негромко отозвался гость.

— Ну, дорогой мой сенатор, время не оставляет на вас никаких следов. Что прикажете вам налить?

— Нет, Генри, я ничего пить не буду, — отвечал Симпсон. — Я к вам заглянул на несколько минут, по пути домой. Моя жена здесь неподалеку, у Кэвеноу, и мне надо еще заехать за ней.

— Вы даже не подозреваете, как кстати вы явились, сенатор, — начал Молленхауэр, усаживаясь после того, как сел гость. — Батлер только что рассказывал мне о небольшом затруднении политического характера, возникшем с тех пор, как мы с вами не виделись. Вы, наверно, слышали, что в Чикаго грандиозный пожар?

— Да, мне только что рассказал об этом Кэвеноу. По-видимому, дело очень серьезное. Завтра утром надо ожидать резкого падения ценностей.

— Я тоже так считаю, — подтвердил Молленхауэр.

— А вот и вечерняя газета! — воскликнул Батлер, увидев слугу, входящего с газетой в руках.

Молленхауэр взял ее и развернул на столе. Это был один из первых экстренных выпусков в Америке; заголовки, набранные огромными буквами, сообщали, что пожар в «озерном» городе, начавшийся еще вчера, с каждым часом распространяется все шире.

— Вот ужас, — произнес Симпсон. — Душа болит за Чикаго. У меня там много друзей. Будем надеяться, что на деле все окажется не так страшно, как об этом пишут.

Симпсон везде и при любых обстоятельствах выражался несколько высокопарно.

— То, о чем мне сейчас рассказывал Батлер, — продолжал Молленхауэр, — до некоторой степени связано с этим бедствием. Вам известно, что наши

казначеи имеют обыкновение давать взаймы городские деньги из двух процентов годовых…

— Ну и что же? — спросил Симпсон.

— Так вот, мистер Стинер, как выяснилось, довольно широко ссужал городскими средствами молодого Каупервуда с Третьей улицы — того, что занимался реализацией нашего займа.

— Что вы говорите? — воскликнул Симпсон, изображая удивление. — И много он ему выдал?

Сенатор, так же как и Батлер и Молленхауэр, сам немало наживался на выгодных ссудах из того же источника, которые под видом вкладов предоставлялись различным банкам.

— Стинер, видимо, ссудил ему около пятисот тысяч долларов, и если Каупервуд не устоит перед грозой, то у Стинера обнаружится недостача этой суммы; как вы сами понимаете, такая история произведет весьма неблагоприятное впечатление на избирателей. Каупервуд должен сто тысяч мистеру Батлеру и сегодня приходил к нему для переговоров. Через мистера Батлера он просит нас помочь ему извернуться. В противном случае, — Молленхауэр сделал рукой многозначительный жест, — он банкрот.

Симпсон провел тонкой рукой по своим странно изогнутым губам и подбородку.

— Что же они сделали с полумиллионом долларов? — осведомился он.

— Эти ловкачи малость подрабатывали на стороне, — с усмешкой сказал Батлер. — В числе прочего они, кажется, скупали акции конных железных дорог, —

добавил он, закладывая большие пальцы за проймы жилета.

Молленхауэр и Симпсон кисло улыбнулись.

— Так, так, — произнес Молленхауэр.

Сенатор Симпсон молчал, и только выражение его лица свидетельствовало о напряженной работе мысли. Он тоже думал о том, до чего бессмысленно обращаться с такой просьбой к группе политиков и дельцов, тем более перед лицом надвигающегося кризиса. Правда, мелькнуло у него в уме, существует неплохой выход: он, Батлер и Молленхауэр объединяются и оказывают Каупервуду поддержку, в благодарность за что тот уступает им все свои акции конных железных дорог. В таком случае, пожалуй, можно будет и замолчать эту историю с казначейством; но, с другой стороны, какая существует гарантия, во-первых, что Каупервуд согласится расстаться со своими акциями и, во-вторых, что Батлер и Молленхауэр пойдут на эту сделку с ним, Симпсоном. Батлер, очевидно, пришел сюда замолвить словечко за Каупервуда. Что касается Молленхауэра, тот всегда втайне соперничал с ним. Хотя они и сотрудничали на политической арене, но финансовые цели у обоих были в корне различные. У них не было общих финансовых интересов, как, впрочем, не было их и у Батлера с Молленхауэром. Далее, Каупервуд совсем не так уж прост. И его вина в этом деле не идет ни в какое сравнение с виною Стинера: ведь заимодавец-то Стинер, а не Каупервуд. Стоит ли открывать коллегам то хитроумное решение вопроса, которое пришло ему в голову, спросил себя сенатор и тут же решил — нет, не стоит. Молленхауэр слишком коварен, чтобы можно было рассчитывать на его сотрудничество в таком деле.

Шансы, правда, блестящие, но и риск немалый. Лучше действовать в одиночку. А пока они потребуют от Стинера, чтобы он заставил Каупервуда вернуть пятьсот тысяч долларов. Если из этого ничего не выйдет, то Стинером, видимо, придется пожертвовать в интересах партии. Что же касается Каупервуда, то наличие такой точной информации о состоянии его дел дает полную возможность неплохо заработать на бирже при помощи подставных лиц. Те сперва распустят слухи о безвыходном положении, в которое попал Каупервуд, а затем предложат ему уступить свои акции — за бесценок, конечно. Нет, не в добрый час обратился Каупервуд к Батлеру.

— Вот что я вам скажу, — заговорил сенатор после продолжительного молчания. — Я, разумеется, очень сочувствую мистеру Каупервуду и далек от мысли упрекать его за скупку акций конных железных дорог, поскольку у него имелась к тому возможность; но я, право, не вижу, чем можно ему помочь, да еще в столь критический момент. Не знаю, как вы, джентльмены, но я сейчас при всем желании не вправе таскать из огня каштаны для других. Прежде всего мы должны решить, так ли уж велика грозящая партии опасность, чтобы нам стоило раскошеливаться.

Как только речь зашла о том, чтобы выложить наличные деньги, лицо Молленхауэра помрачнело.

— Я тоже, вероятно, не смогу оказать мистеру Каупервуду сколько-нибудь существенную поддержку, — со вздохом произнес он.

— Черт возьми! — воскликнул Батлер и со свойственным ему чувством юмора добавил; — Похоже,

что мне поневоле придется забрать у него свои сто тысяч долларов! С этого я и начну завтрашний день.

На сей раз ни Симпсон, ни Молленхауэр не снизошли даже до той кислой улыбки, которая раньше нет-нет да появлялась на их лицах. Они сохраняли непроницаемое и торжественное выражение.

— Что же касается денег, взятых из городского казначейства, — продолжал Симпсон, когда все несколько успокоились, — то это дело нам придется хорошенько обмозговать. Если мистер Каупервуд обанкротится и казначейство потеряет такую сумму, мы попадем в весьма затруднительное положение. А какими линиями конки в первую очередь интересовался этот Каупервуд? — спросил он как бы между прочим.

— Право, не знаю, — отвечал Батлер, не находя нужным открывать то, что сообщил ему Оуэн по пути к Молленхауэру.

— Но если нам не удастся заставить Стинера возместить недостающую сумму раньше, чем обанкротится Каупервуд, то ведь впоследствии все равно не избежать больших неприятностей, — сказал Молленхауэр. — С другой стороны, если Каупервуд поймет, что мы ждем от него возмещения убытков, он, вероятно, немедленно прикроет свою лавочку. Так что тут, собственно, ничего толкового и сделать нельзя. Кроме того, было бы нехорошо но отношению к нашему другу Эдварду, если бы мы что-нибудь предприняли до того, как он закончит свое дело с Каупервудом.

Он подразумевал заем Батлера Каупервуду.

— Разумеется, разумеется, — дипломатично подтвердил Симпсон, обладавший острым политическим чутьем.

— Будьте спокойны, свои сто тысяч я завтра же выручу! — вставил Батлер.

— Если наши опасения оправдаются, — сказал Симпсон, — мне кажется, нам надо будет приложить все усилия, чтобы скрыть беду до конца выборов. Газеты можно заставить помолчать. Но я предложил бы еще, — добавил он, вспомнив об акциях конки, так ловко скупленных Каупервудом, — предостеречь городского казначея с тем, чтобы он, учитывая создавшееся положение, никому больше не давал ссуды. А то Каупервуд, чего доброго, потребует с него еще денег. Вашего слова, Генри, будет вполне достаточно, чтобы воздействовать на него.

— Хорошо, я с ним поговорю, — угрюмо отозвался Молленхауэр.

— А по-моему, пусть выкручиваются сами, как умеют, — неопределенно заметил Батлер, подумав о том, как просчитался Каупервуд, обратившись за помощью к сим достойным блюстителям общественных интересов.

Так рухнули надежды Каупервуда на то, что Батлер и другие финансовые тузы поддержат его в эти трудные минуты.

Расставшись с Батлером, Каупервуд с обычной своей энергией стал разыскивать других лиц, которые могли бы оказать ему помощь. Он попросил миссис Стинер немедленно сообщить ему, как только придет какая-нибудь весть от ее мужа. Разыскав Уолтера Ли из банкирского дома «Дрексель и Кь», Эвери Стоуна из

фирмы «Джей Кук и Кь» и президента Джирардского национального банка Дэвисона, Каупервуд хотел узнать их точку зрения на происходящее, а также переговорить с Дэвисоном насчет займа под все свое движимое и недвижимое имущество.

— Я ничего не могу сказать вам, Фрэнк, — упорно повторял Уолтер Ли, — я не знаю, как завтра развернутся события. Очень хорошо, что вы приводите свои дела в порядок. Это необходимо. Я готов во всем пойти вам навстречу. Но, если шефы решат, что необходимо потребовать погашения ссуд известной категории, мы будем вынуждены повиноваться, ничего не поделаешь. Я приложу все усилия к тому, чтобы по возможности разрядить атмосферу. Но если Чикаго и правда стерт с лица земли, страховые компании — или часть их, во всяком случае, — вылетят в трубу, а тогда… только держись! Я полагаю, что вы сами потребуете от своих должников возвращения денег?

— Только в случае крайней необходимости.

— Ну что ж, точно так же смотрят на это и у нас!

Они обменялись рукопожатием. Эти двое симпатизировали друг другу. Ли был светский человек, обладавший врожденным изяществом манер, что не мешало ему иметь подлинно здравый смысл и богатый житейский опыт.

— Вот что я вам скажу, Фрэнк, — добавил он на прощание. — Я уже давно думал, что вы несколько зарвались с конными железными дорогами. Если вы сумеете удержать акции, это, конечно, будет очень здорово, но в такую тяжелую минуту, как сейчас, на них можно сильно обжечься. Вы привыкли чересчур уж

быстро «делать деньги» на этих бумагах да еще на облигациях городского займа.

Он посмотрел своему старому приятелю прямо в глаза, и оба улыбнулись.

Примерно такой же разговор повторился и со Стоуном, и с Дэвисоном, и со всеми другими. К приходу Каупервуда слухи о надвигающейся катастрофе уже дошли до них. Ни один человек не мог с уверенностью сказать, что принесет с собою завтрашний день. Но хорошего он обещал мало.

Каупервуд решил снова заехать к Батлеру, ибо был убежден, что тот уже повидался с Молленхауэром и Симпсоном. Батлер, как раз обдумывавший, что сказать Каупервуду, встретил его довольно любезно.

— А, вы уже вернулись! — сказал он, увидев Фрэнка.

— Да, мистер Батлер.

— Должен вам сказать, что мои попытки не увенчались особым успехом. Боюсь, что ничего не выйдет, — осторожно начал он. — Вы мне задали трудную задачу. Молленхауэр, по-видимому, намерен поддержать рынок ради собственной выгоды, и я думаю, что он так и сделает. У Симпсона тоже есть свои интересы, которые он будет отстаивать. Ну и я, конечно, буду покупать для себя.

Он замолчал, видимо, собираясь с мыслями.

— Мне пока что не удалось уговорить их устроить совещание с кем-либо из крупных капиталистов, — продолжал он, тщательно подбирая слова. — Они хотят выждать и посмотреть, как сложатся обстоятельства

завтра утром. Но все же на вашем месте я не стал бы падать духом. Если дело обернется очень плохо, они, возможно, еще изменят свое решение. Мне пришлось рассказать им про Стинера все как есть. История скверная, но они надеются, что вам удастся вывернуться, и тогда вы все уладите. Я тоже на это надеюсь. Что же касается моего вклада у вас, — ну что ж, утро вечера мудренее. Если я смогу обойтись, я его брать не буду. Но об этом мы лучше поговорим завтра. Кстати, на вашем месте я не пытался бы получить у Стинера еще денег. Все это и так уже имеет достаточно неприглядный вид.

Каупервуду сразу стало ясно, что от этих людей ему нечего ждать помощи. Единственное, что взволновало его, — это упоминание о Стинере. Неужели они уже снеслись с ним, предостерегли его? В таком случае визит к Батлеру был неудачным ходом; но, с другой стороны, если завтра его ждет банкротство, то как он мог поступить иначе? По крайней мере эти господа знают, в каком он положении. Когда его окончательно загонят в угол, он снова обратится к Батлеру, и тогда уже их воля — помочь ему или нет! Если они ему откажут и он вылетит в трубу, а республиканская партия потерпит поражение на выборах, им некого будет винить, кроме самих себя. Теперь важно опередить их и первым повидать Стинера; надо надеяться, что у него хватит ума не подвести себя под удар.

— Сейчас мое положение выглядит довольно мрачно, мистер Батлер, — сказал он напрямик, — но я думаю, что мне все же удастся вывернуться. Во всяком случае, я не теряю надежды. Очень сожалею, что потревожил вас. Мне хотелось бы, конечно, чтобы вы, джентльмены, нашли нужным и возможным помочь мне, но на нет и суда нет. Я сам могу еще принять кое-какие

меры. Кроме того, я надеюсь, что вы оставите у меня ваш вклад, пока это будет возможно.

Он быстро вышел, и Батлер задумался. «Умница этот молодой человек, — мысленно произнес он. — Очень жаль его. Но не исключено, что он сумеет выкрутиться».

Каупервуд поспешил домой; отец еще не ложился и сидел, погруженный в мрачное раздумье. Разговор между ними был проникнут глубокой сердечностью: отец и сын понимали друг друга с полуслова. Фрэнк любил отца. Он сочувствовал его неутомимому стремлению выбиться из низов и ни на минуту не забывал, что мальчиком видел от него только ласку и внимание. Кредит, полученный им в Третьем национальном банке под обеспечение не очень-то ценных акций линии Юнион-стрит, ему, по всей вероятности, удастся погасить, если только на бирже не произойдет катастрофического падения курсов. Эту ссуду он должен возвратить во что бы то ни стало. Но как быть с отцовскими вложениями в конные железные дороги, которые увеличивались по мере роста его собственных и достигли в общей сложности двухсот тысяч долларов, как спасти эти деньги? Акции были давно заложены, а полученные под них кредиты использованы для других целей. Необходимо внести дополнительное обеспечение в банки, где получены эти ссуды. Ссуды, ссуды и ссуды, и ни конца, ни края заботам. Если бы только заставить Стинера выдать ему еще тысяч двести или триста! Но перед лицом возможных финансовых затруднений это уже граничило бы с преступлением. Теперь все зависело от завтрашнего дня.

Настал серый и пасмурный понедельник, 9 октября. Каупервуд встал с первыми проблесками света,

побрился, оделся и через серо-зеленую галерею прошел к отцу. Старик не спал всю ночь и был уже на ногах. Его седые брови и волосы растрепались, бакенбарды сегодня отнюдь не выглядели благообразными. Глаза старого джентльмена смотрели устало, лицо его посерело. Каупервуд сразу заметил, как сильно он встревожен. Отец поднял глаза от маленького изящного письменного стола, где-то раздобытого для него Элсуортом, сидя за которым он методически сводил сейчас свой актив и пассив. Каупервуда передернуло. Он всегда страдал, видя отца встревоженным, а сейчас был бессилен ему помочь. Когда они вместе строили эти новые дома, он был убежден, что дни забот и тревог навсегда миновали для старика.

— Подсчитываешь? — привычно шутливым тоном спросил он, стараясь по мере сил подбодрить отца.

— Оцениваю свои ресурсы, чтобы знать, с чем я буду иметь дело, если…

— Он искоса посмотрел на сына, и Фрэнк улыбнулся.

— Не надо волноваться, отец! Я уже говорил тебе: я все устроил так, что Батлер и его приятели будут вынуждены поддержать рынок. Я попросил Райверса, Таргула и Гарри Элтинджа помочь мне сбыть на бирже мои бумаги — это ведь лучшие маклеры. Они будут действовать очень осторожно. Я не мог поручить этого Эду или Джо, ведь тогда все сразу поняли бы, что со мной происходит. А эти ребята создадут впечатление, будто сбивают курс ценностей, но в то же время не станут сбивать его слишком сильно. Мне нужно выбросить на биржу столько акций, чтобы, продав их на десять пунктов ниже курса, реализовать пятьсот тысяч

долларов. Возможно, что бумаги ниже не упадут. Сейчас трудно что-нибудь предугадать. Не может же падение длиться без конца! Если бы мне только узнать, что намерены делать крупные страховые общества! Утренней газеты еще не приносили?

Каупервуд хотел позвонить, но подумал, что слуги вряд ли встали. Он сам пошел в переднюю. Там лежали «Пресса» и «Паблик леджер», еще влажные от типографской краски. Бросив беглый взгляд на первые страницы, он сразу изменился в лице. В «Прессе» был помещен большой, на всю полосу, план Чикаго, имевший устрашающе мрачный вид: черной краской на нем была отмечена горевшая часть города. Никогда еще ему не приходилось видеть столь подробного плана Чикаго. Белое пространство на плане — озеро Мичиган, а вот река, разделяющая город на три почти равные части — северную, западную и южную. Каупервуду вдруг бросилось в глаза, что город распланирован несколько необычно и чем-то напоминает Филадельфию. Торговая его часть площадью в две или три квадратные мили была расположена на стыке трех главных частей города, к югу от основного русла реки, там, где после слияния юго-западного и северо-западного рукавов она впадала в озеро. Это был большой квартал в центре, но, судя по карте, он весь выгорел. «Чикаго

— сплошное пожарище!» — гласил огромный жирный заголовок во всю ширину листа. Затем следовали подробности — страдания тех, кто остался без крова, число погибших в огне и число потерявших все свое состояние. Далее обсуждался вопрос о том, как отразится пожар на Восточных штатах. Высказывались мнения, что страховые общества и промышленники,

возможно, окажутся не в силах выдержать такие огромные убытки.

— Проклятие! — мрачно буркнул Каупервуд. — Черт меня дернул впутаться в эти биржевые дела.

Он вернулся в гостиную и углубился в чтение газет.

Затем, несмотря на ранний час, поехал вместе с отцом в контору. Там его уже ждала почта — больше десятка писем с предложением аннулировать те или иные сделки или же продать бумаги. Пока он стоя просматривал корреспонденцию, мальчик-рассыльный принес еще три письма. Одно из них было от Стинера, сообщавшего, что он будет в городе к полудню — раньше ему никак не успеть. Каупервуд одновременно почувствовал и страх и облегчение. Ему потребуются крупные суммы для погашения ряда задолженностей еще до трех часов. Сейчас дорога каждая минута. Необходимо перехватить Стинера на вокзале и переговорить с ним раньше всех других. Да, день предстоял тяжелый, хлопотный и напряженный.

К прибытию Каупервуда Третья улица уже кишела банкирами и биржевиками, которых привела сюда крайняя острота минуты. Все куда-то спешили, в воздухе чувствовалась та наэлектризованность, Которая отличает сборище сотни встревоженных людей от людей спокойных и ничем не озабоченных. На бирже атмосфера тоже была лихорадочная. Одновременно с ударом гонга зал наполнился невообразимым шумом. Еще не отзвучал протяжный, металлический гул, как двести человек, составлявших местную биржевую корпорацию, издавая какие-то нечленораздельные звуки, ринулись — кто сбывать ценности, кто, напротив, перехватывать выгодные в данный момент предложения. Интересы

присутствующих были так разнообразны, что посторонний наблюдатель не мог бы разобраться, что же сейчас выгоднее — продавать или покупать.

Райверс и Таргул получили указание оставаться в самой гуще, а братья Каупервуды — Джозеф и Эдвард — сновать вокруг в поисках случая продать акции по более или менее сносной цене. «Медведи» упорно сбивали курс, так что все зависело от того, постараются ли агенты Молленхауэра, Симпсона и Батлера, а также другие биржевики поддержать акции конных железных дорог и сохранят ли эти бумаги какую-нибудь ценность. Накануне, расставаясь с Каупервудом, Батлер сказал, что они сделают все от них зависящее. Они будут скупать акции до последней возможности. Обещать неограниченную поддержку рынка он, конечно, не мог, так же как не мог поручиться за Молленхауэра и Симпсона. Да он и не знал, в каком состоянии их дела.

Когда возбуждение достигло наивысшего предела, вошел Каупервуд. Он еще в дверях стал искать глазами Райверса, но в эту минуту снова прозвучал гонг, и сделки прекратились. Вся толпа мгновенно повернулась к балкончику, с которого секретарь биржи оглашал поступившие сообщения. И в самом деле, этот маленький смуглый человечек лет тридцати восьми, чье тщедушное сложение и бледное, типично чиновничье лицо свидетельствовали о методическом, чуждом дерзновенных взлетов уме, уже стоял на своем месте, а позади него зияла открытая дверь. В правой руке у него белел листок бумаги.

— Американское общество страхования от пожара в Бостоне объявляет о своей несостоятельности.

Снова ударил гонг. И в тот же миг разразилась буря, еще более неистовая, чем раньше. Если в это сумрачное утро по прошествии какого-нибудь часа с минуты открытия биржи уже лопнула одна страховая компания, то что же сулят ближайшие четыре-пять часов и последующие дни? Это значило, что чикагские погорельцы уже не смогут восстановить свои предприятия. Это значило, что банки уже потребовали или сейчас потребуют погашения всех ссуд, связанных с обанкротившейся компанией. Выкрики перепуганных «быков», все дешевле предлагавших пакеты по тысяче и по пяти тысяч акций железнодорожных компаний — Северной Тихоокеанской, Иллинойс-Сентрал, Ридинг, Лейк-Шор и Уобеш, а также акций конных железных дорог и облигаций реализованного Каупервудом займа, надрывали сердца всех, кто был причастен к этим предприятиям. Каупервуд, воспользовавшись минутой затишья, подошел к Артуру Райверсу; но тот тоже ничего не мог ему сказать.

— По-моему, агенты Молленхауэра и Симпсона не слишком усердно поддерживают цены! — озабоченно произнес Каупервуд.

— Они получили извещение из Нью-Йорка, — хмуро отозвался Райверс. — Тут уж нечего и стараться. Насколько я понял, там вот-вот лопнут еще три страховые компании. Об их банкротстве могут объявить в любую минуту.

Они ненадолго вышли из этого кромешного ада, чтобы обсудить дальнейшие мероприятия. По соглашению со Стинером Каупервуд был уполномочен скупать облигации городского займа на сумму до ста тысяч долларов, независимо от биржевой игры, на

которой они оба тоже немало зарабатывали. Но это только в случае необходимости поддержать падающий курс. Сейчас Каупервуд решил купить облигаций на шестьдесят тысяч долларов и обеспечить ими полученные в других местах ссуды. Стинер немедленно возместит ему эту сумму и снова даст наличные деньги. Так или иначе, эта комбинация поможет ему или по крайней мере даст возможность поддержать на какой-то срок другие ценности и реализовать их еще до катастрофического падения курса. О, если бы у него были средства для того, чтобы играть сейчас на понижение! Если бы такая игра не грозила ему немедленным крахом! И даже в столь опасную минуту от Каупервуда не укрылось, что те обстоятельства, которые при нынешнем его стесненном положении грозили ему банкротством, в другое время принесли бы хорошую прибыль. Но сейчас он не мог ими воспользоваться. Нельзя стоять одновременно и на той и на другой стороне. Либо ты «медведь», либо ты «бык» — и необходимость заставила его быть «быком». Странный оборот событий, но ничего не поделаешь! Вся его изворотливость была сейчас бесполезна. Он совсем уже собрался уйти, чтобы повидать одного банкира, у которого надеялся получить денег под заклад своего дома, когда снова зазвучал гонг. И снова прекратились сделки. Артур Райверс со своего места возле стойки, где шла продажа ценных бумаг штата и облигаций городского займа, — к скупке этих облигаций он только что приступил, — выразительно посмотрел на Каупервуда. В ту же минуту к нему подбежал Ньютон Таргул.

— Все против вас! — воскликнул он. — Не стоит и пытаться продавать при такой конъюнктуре. Бесполезное

занятие! Они вышибают у вас почву из-под ног. Напряжение дошло до предела. Через несколько дней наступит перелом. Может быть, вы сумеете продержаться? Ну, готовьтесь к новой неприятности.

Он глазами указал на балкончик, где уже опять появился секретарь биржевого комитета.

— Восточное и Западное общества страхования от пожара в Нью-Йорке объявляют о своей несостоятельности!

Гул прокатился по залу, нечто вроде протяжного «о-о-ох!».

Секретарь постучал молотком, призывая к порядку.

— Общество страхования от пожара «Ири» в Рочестере объявляет о своей несостоятельности!

Снова — «о-о-ох!».

И опять стук молотка.

— Американская кредитная компания в Нью-Йорке прекратила платежи!

— О-о-ох!

Гроза бушевала.

— Ну, что скажете? — спрашивал Таргул. — Разве мыслимо устоять против такого шторма? Вы не могли бы прекратить продажу и продержаться несколько дней? Не лучше ли вам играть на понижение?

— Сейчас следовало бы закрыть биржу, — буркнул Каупервуд. — Это был бы превосходный выход. Иначе делу не поможешь.

Он торопливо подошел к группе биржевиков, очутившихся в одинаковом с ним положении; может

быть, они своим влиянием посодействуют осуществлению его идеи. Это было бы жестоким ходом против тех, для кого конъюнктура была благоприятна и кто пожинал сейчас богатый урожай. Но что ему до них! Дело есть дело. Распродавать бумаги по разорительно низким ценам было бессмысленно, и он отдал своим агентам распоряжение временно прекратить продажу. Если банкиры не пожелают оказать ему из ряда вон выходящую услугу, если фондовая биржа не будет закрыта, если не удастся убедить Стинера немедленно предоставить ему кредит еще на триста тысяч долларов, он разорен. Не теряя ни минуты, он отправился повидать нескольких банкиров и биржевиков, чьи конторы находились на той же Третьей улице, и предложил им потребовать закрытия биржи. А за несколько минут до двенадцати помчался на вокзал встречать Стинера, но, к величайшему своему огорчению, не встретил. Возможно, Стинер не поспел на этот поезд. Но Каупервуд почуял какой-то подвох и решил поехать сначала в ратушу, а затем к Стинеру на дом. Может быть, тот вернулся, но старается избежать встречи с ним?

Не найдя Стинера в ратуше, Каупервуд велел везти себя к нему домой. И даже не удивился, столкнувшись с ним у подъезда. Стинер был бледен и явно расстроен. При виде Каупервуда он побледнел еще больше.

— А! Здравствуйте, Фрэнк! — растерянно произнес он. — Откуда вы?

— Что случилось, Джордж? — в свою очередь, спросил Каупервуд. — Я рассчитывал встретить вас на вокзале Брод-стрит.

— Да, я сначала думал сойти там, — отвечал Стинер (физиономия у него при этом была дурацкая), — но

потом сошел на Западной станции, чтобы успеть забежать домой переодеться. Мне предстоит сегодня множество дел. Я собирался зайти к вам.

После срочной телеграммы Каупервуда такое объяснение звучало довольно глупо, но молодой делец пропустил его мимо ушей.

— Садитесь в мой экипаж, Джордж! — пригласил он Стинера. — Нам нужно серьезно поговорить. Я вам телеграфировал, что на бирже возможна паника. Так оно и случилось. Нам нельзя терять ни минуты. Акции катастрофически упали, и банки уже требуют погашения большинства моих ссуд. Я должен знать, дадите ли вы мне взаймы на несколько дней триста пятьдесят тысяч долларов из четырех или пяти процентов годовых. Я вам верну все до единого цента. Деньги мне нужны до зарезу. Без них я вылетаю в трубу. Вы понимаете, что это значит, Джордж? Весь мой актив до последнего доллара будет заморожен, а заодно и ваши вложения в конные железные дороги. Я не смогу отдать их вам для реализации, и вся эта история с ссудами из городского казначейства предстанет в весьма неприглядном свете. Вам невозможно будет покрыть дефицит в кассе, а чем это пахнет, вы, я думаю, сами понимаете. Мы с вами оба влипли. Я хочу, чтобы вы смогли выйти сухим из воды, но не в состоянии сделать это без вашей помощи. Вчера я вынужден был обратиться к Батлеру относительно его вклада, и я прилагаю все усилия, чтобы раздобыть деньги еще из других источников. Но боюсь, что я не выкарабкаюсь, если вы откажете мне в содействии.

Каупервуд замолчал. Он стремился как можно яснее обрисовать Стинеру всю картину, прежде чем тот успеет

ответить отказом, — пусть знает, что и его положение не лучше.

На деле же случилось именно то, что со свойственной ему проницательностью заподозрил Каупервуд. Стинера успели перехватить. Накануне вечером, как только Батлер и Симпсон ушли, Молленхауэр вызвал своего секретаря Эбнера Сэнгстека — весьма расторопного молодого человека

— и поручил ему разыскать казначея. Сэнгстек отправил подробную телеграмму Стробику, уехавшему на охоту вместе со Стинером, настойчиво рекомендуя ему предостеречь Стинера против Каупервуда. Растрата в казначействе обнаружена. Он, Сэнгстек, встретит Стробика и Стинера в Уилмингтоне (чтобы опередить Каупервуда) и сообщит подробности. Под страхом судебной ответственности Стинер должен прекратить выплату ссуд Каупервуду. Прежде чем встречаться с кем бы то ни было, Стинеру рекомендуется повидать Молленхауэра. Получив ответную телеграмму от Стробика, извещавшего, что они рассчитывают прибыть завтра в полдень, Сэнгстек поехал встречать их в Уилмингтон. Вот почему Стинер не попал прямо с вокзала в деловой квартал, а сошел на окраине под предлогом, что ему нужно заехать домой и переодеться, на деле же, чтобы повидать Молленхауэра до свидания с Каупервудом. Он был смертельно напуган и хотел выиграть время.

— Нет, не могу, Фрэнк, — жалобно произнес он. — Я и без того здорово увяз в этом деле. Секретарь Молленхауэра приезжал встречать нас в Уилмингтон именно затем, чтобы предостеречь меня от этого шага. Стробик держится того же мнения. Они знают, сколько у

меня роздано денег. Либо вы сами, либо кто-то другой сообщил им об этом. Я не могу идти против Молленхауэра. Всем, что у меня есть, я обязан ему. Это он устроил мне место казначея.

— Выслушайте меня, Джордж! Как бы вы сейчас ни поступили, не позволяйте сбивать себя с толку болтовней о долге перед партией. Вы в очень опасном положении, и я тоже. Если вы сейчас вместе со мной не примете мер к своему спасению, никто вас не спасет — ни теперь, ни после! Не говоря уже о том, что «после» будет поздно. Я убедился в этом вчера вечером, когда просил Батлера помочь нам обоим. Они уже знают о нашей заинтересованности в акциях конки и любыми способами хотят нас выпотрошить — в том-то вся и беда! Вопрос сейчас стоит так: кто кого? И нам остается либо спасать себя и обороняться, либо вместе пойти ко дну — вот все, что я хотел вам сказать. Молленхауэра ваша судьба трогает так же мало, как судьба вот этого фонаря. Его беспокоят не деньги, которые вы мне дали, а вопрос, кто на них заработает и сколько. Неужели вам непонятно: они узнали, что мы с вами прибираем к рукам конку, и это им не по нутру. Как только они вырвут у нас акции, мы тотчас же перестанем для них существовать, запомните это раз и навсегда! Если наши вложения пойдут прахом, вы конченый человек и я тоже: никто и пальцем не шевельнет, чтобы помочь нам, даже из соображений политических. Я хочу, чтобы вы до конца уразумели эту печальную истину, Джордж. И прежде чем вы скажете мне «нет», потому что этого требует от вас Молленхауэр, вы должны хорошенько продумать мои слова.

Он в упор смотрел на Стинера, пытаясь силой своей воли заставить казначея согласиться на тот

единственный шаг, который мог спасти его, Каупервуда, хотя бы Стинеру в конечном итоге от этого было мало проку. Интересно отметить, что Стинер сейчас вовсе не интересовал его. Он был для него просто пешкой, которой двигал по своему усмотрению всякий, кому она попадала в руки. И наперекор Молленхауэру, Симпсону и Батлеру Каупервуд старался удержать эту пешку. Он впился взглядом в Стинера, как змея в кролика, стараясь подчинить его себе и пробудить в этом полумертвом от страха человеке хотя бы инстинкт самосохранения.

Но Стинер растерялся, и на него уже ничто не могло подействовать. Лицо у него сделалось какого-то серовато-синего цвета, веки опухли, глаза ввалились, руки и губы стали влажными. Боже, в какую он влип историю!

— Все это так, Фрэнк! — с отчаянием в голосе воскликнул казначей. — Я знаю, что вы правы. Но вдумайтесь, в каком я окажусь положении, если дам вам эти деньги. Ведь они меня живьем съедят. Поставьте себя на мое место. Ах, если бы вы не обращались к Батлеру! Вам нужно было сперва переговорить со мной!

— Как же я мог переговорить с вами, Джордж, когда вы где-то там стреляли уток! Я во все концы рассылал телеграммы, пытаясь связаться с вами! Что мне оставалось делать? Я вынужден был действовать. Кроме того, я полагал, что Батлер относится ко мне дружелюбнее, чем это оказалось на деле. Сейчас не время корить меня за то, что я обратился к Батлеру; надо выходить из положения. Мы оба попали в неприятную историю. Речь идет о том, выплывем мы или пойдем ко дну. Мы, а никто другой, понимаете вы это? Батлер не мог или не захотел сделать то, о чем я его просил:

уговорить Молленхауэра и Симпсона поддержать курс ценностей. Они сейчас делают как раз обратное. Ведь они ведут свою игру, и сводится она к тому, чтобы выпотрошить нас. Неужели вы этого не понимаете? Они хотят отнять у нас все, что мы накопили. Нам надо спасать себя самим, Джордж, вот для чего я к вам приехал. Если вы не дадите мне трехсот пятидесяти или хотя бы трехсот тысяч долларов, — мы оба конченые люди. И вам, Джордж, придется хуже, чем мне, потому что юридически я не несу никакой ответственности! Но дело не в этом. Я хочу спасти и себя и вас, я знаю средство, которое на всю жизнь избавит нас от денежных затруднений, что бы они там ни говорили, что бы против нас ни злоумышляли; и в вашей власти воспользоваться им к нашей обоюдной выгоде. Неужели вы сами не понимаете? Я хочу спасти свое дело, а тогда будут спасены и ваше имя и ваши деньги.

Каупервуд замолк в надежде, что ему удалось, наконец, убедить Стинера, но тот по-прежнему колебался.

— Что же я могу поделать, Фрэнк? — слабым и жалобным голосом возразил он. — Мне нельзя идти против Молленхауэра. Если я сделаю то, о чем вы просите, они отдадут меня под суд. С них станется. Нет, Фрэнк! Я недостаточно силен. Если бы они ничего не знали, если бы вы не сообщили им, тогда… может быть, тогда — другое дело, но сейчас!..

Он покачал головой, его серые глаза выражали беспредельное отчаяние.

— Джордж, — снова начал Каупервуд, понимая, что если ему и удастся чего-нибудь добиться, то только при помощи самых неоспоримых доводов, — не будем больше

говорить о том, что я сделал. Я сделал то, что было необходимо. Вы уже утратили всякое самообладание и готовы совершить непоправимую ошибку. Я не хочу допустить этого. Я разместил в ваших интересах пятьсот тысяч долларов городских денег — частично, правда, и в своих интересах, но больше все-таки в ваших…

Это утверждение не вполне соответствовало истине.

— …И вот в такую минуту вы колеблетесь, не знаете, защищать вам свои интересы или нет. Я отказываюсь понимать вас! Ведь это кризис, Джордж! Акции летят ко всем чертям, не нам одним грозит разорение. На бирже паника, паника, вызванная пожаром, и тому, кто ничего не предпринимает для своей защиты, конечно, не сносить головы. Вы говорите, что обязаны местом казначея Молленхауэру и боитесь, как бы он не расправился с вами. Вдумайтесь хорошенько в свое и мое положение, и вы поймете, что он ничего не может вам сделать, покуда я не банкрот. Но если я объявлю себя банкротом, что будет с вами? Кто вас тогда спасет от суда? Уж не воображаете ли вы, что Молленхауэр прибежит и внесет за вас в казначейство полмиллиона долларов? Этого вам не дождаться. Если Молленхауэр и другие считаются с вашими интересами, то почему они не поддерживают меня сегодня на бирже? Я-то знаю почему. Они зарятся на наши акции конных железных дорог, а на то, что вас потом упрячут в тюрьму, им наплевать. Будьте благоразумны и послушайтесь меня. Я добросовестно относился к вашим интересам, вы этого не можете отрицать. Благодаря мне вы загребали деньги, и немалые! Одумайтесь, Джордж, поезжайте в казначейство и, прежде чем что-либо предпринять, выпишите мне чек на триста тысяч долларов. Не встречайтесь и не разговаривайте ни с

одним человеком, пока это не будет сделано. Семь бед — один ответ. Никто не может вам запретить выдать мне этот чек. Вы — городской казначей. Как только деньги будут у меня в руках, я выпутаюсь из этой передряги и через неделю, самое большее через две верну вам все сполна — к тому времени паника, без сомнения, уляжется. Когда эти деньги будут возвращены в казначейство, мы договоримся и относительно тех пятисот тысяч. Через три месяца, а может быть и раньше, я устрою так, что вы сможете покрыть дефицит. Да что говорить, я и через две недели смогу это сделать, дайте мне только снова встать на ноги! Время — вот все, что мне нужно. Вы не потеряете своих вложений, а когда вернете деньги, никто не станет чинить вам неприятностей. Они ни за что не пойдут на публичный скандал. Ну, так как же вы намерены поступить, Джордж? Молленхауэр не может помешать вам выписать мне чек, так же как я не могу принудить вас к этому. Ваша судьба в ваших собственных руках. Говорите же, как вы намерены поступить?

Стинер продолжал раздумывать и колебаться, хотя и был на краю гибели. Он боялся действовать, боялся Молленхауэра, боялся Каупервуда, боялся жизни и самого себя. Мысль о панике, о грозившей ему катастрофе в его представлении связывалась не столько с его имущественным положением, сколько с положением в обществе и в политическом мире. Мало есть людей, понимающих, что такое финансовое могущество. Мало кто чувствует, что значит держать в своих руках власть над богатством других, владеть тем, что является источником жизни общества и средством обмена. Но те, кто уразумел это, жаждут богатства уже не ради него самого. Обычно люди смотрят на деньги как на средство

обеспечить себе известные жизненные удобства, но для финансиста деньги — это средство контроля над распределением благ, средство к достижению почета, могущества, власти. Именно так, в отличие от Стинера, относился к деньгам Каупервуд. Стинер, всегда предоставлявший Каупервуду действовать за него, теперь, когда Каупервуд ясно и четко обрисовал ему единственный возможный выход из положения, трусил как никогда. Его способность рассуждать помрачилась от страха перед угрозой ярости и мести Молленхауэра, возможным банкротством Каупервуда и собственной неспособностью мужественно встретить беду. Врожденный финансовый талант Каупервуда сейчас уже не внушал ему доверия. Очень уж молод этот банкир и недостаточно опытен. Молленхауэр старше и богаче. Симпсон и Батлер тоже. Эти люди с их капиталами олицетворяли собою необоримую мощь. И кроме того, разве сам Каупервуд не признался ему, Стинеру, что он в опасности, что его загнали в тупик? Никакое признание не могло бы больше напугать Стинера, но Каупервуд вынужден был его сделать, ибо у Стинера не хватало мужества взглянуть опасности прямо в лицо.

Поэтому и в экипаже, по пути в казначейство, Стинер продолжал сидеть бледный, пришибленный, не в силах собраться с мыслями, не в силах быстро, отчетливо, ясно представить себе свое положение и единственно возможный выход из него. Каупервуд вошел в казначейство вместе с ним, чтобы еще раз попытаться воздействовать на него.

— Итак, Джордж? — сурово произнес он. — Я жду ответа. Время не терпит. Нам нельзя терять ни минуты. Дайте мне деньги, и я быстро выкарабкаюсь из этой истории, — идет? Повторяю еще раз: дорога каждая

минута. Не поддавайтесь запугиванью этих господ. Они ведут игру ради собственной выгоды, — следуйте их примеру.

— Я не могу, Фрэнк, — слабым голосом отвечал, наконец, Стинер: воспоминание о жестоком и властном лице Молленхауэра заглушало в нем боязнь за собственное будущее. — Я должен подумать. Так сразу я не могу. Стробик расстался со мной за несколько минут до вашего прихода, и он считает…

— Бог с вами, Джордж! — негодующе воскликнул Каупервуд. — Что вы мне толкуете про Стробика! Он-то тут при чем! Подумайте о себе! Подумайте о том, что будет с вами! Речь идет о вашей судьбе, а не о судьбе Стробика.

— Я все понимаю, Фрэнк, — упорствовал несчастный Стинер, — но, право, не представляю себе, как это сделать. Честное слово! Вы сами говорите, что не уверены, удастся ли вам выпутаться из этой истории, а еще триста тысяч долларов… это как-никак целых триста тысяч! Нет, Фрэнк. Не могу! Ничего не выйдет. Кроме того, мне необходимо сперва поговорить с Молленхауэром.

— Боже мой, что за чушь вы городите! — Каупервуда, наконец, взорвало; злобно, с нескрываемым презрением посмотрел он на казначея. — Ладно! Бегите к Молленхауэру! Спросите его, как вам половчей перерезать себе горло ради его выгоды! Одолжить мне еще триста тысяч долларов — нельзя, а рискнуть пятьюстами тысячами, уже взятыми из казначейства, и потерять их — можно. Так я вас понял? Ведь вы явно норовите потерять эти деньги, а с ними и все остальное. По-моему, вы просто рехнулись. Первое же слово

Молленхауэра напугало вас до полусмерти, и вы уже готовы все поставить на карту: свое состояние, репутацию, положение! Понимаете ли вы, что будет с вами, если я обанкрочусь? Вы попадете под арест. Вас посадят за решетку, Джордж, вот и все. А ваш Молленхауэр, который уже успел указать вам, чего не следует делать, пальцем не шевельнет для вас, когда вы опозоритесь. Вспомните: разве я не помогал вам, а? Разве я до последней минуты не вел успешно ваши дела? Что вы вбили себе в голову, хотел бы я знать? Чего вы боитесь?

Стинер собрался было привести еще какой-то малоубедительный аргумент, когда в кабинет вошел управляющий его канцелярией Альберт Стайерс. Стинер был так взволнован, что не сразу его заметил. Каупервуд же фамильярно обратился к нему:

— Что скажете, Альберт?

— Мистер Сэнгстек, по поручению мистера Молленхауэра, желает видеть мистера Стинера.

При звуке этого страшного имени Стинер съежился, как опавший лист. Это не укрылось от Каупервуда. Он понял, что рушится его последняя надежда получить от Стинера триста тысяч долларов. Но все же не сложил оружия.

— Ну что ж, Джордж, — сказал он, когда Стайерс отправился сообщить Сэнгстеку, что Стинер готов принять его, — мне все ясно. Этот человек вас загипнотизировал. Вы слишком напуганы и уже в себе не властны. Пусть все остается как есть: я еще вернусь. Только, ради бога, возьмите себя в руки. Подумайте, что поставлено на карту. Я уже сказал вам, чем все кончится, если вы не одумаетесь. Послушайтесь меня, и вы будете

независимым, богатым человеком. В противном случае — вас ждет тюремная решетка.

Решив еще раз попытаться найти помощь у банкиров и биржевиков, прежде чем ехать к Батлеру, Каупервуд быстро вышел из казначейства и вскочил в дожидавшийся его легкий рессорный кабриолет. Это был очаровательный экипаж желтого цвета с таким же желтым кожаным сиденьем, запряженный резвой гнедой кобылой. Каупервуд останавливался то у одного, то у другого здания и с напускным безразличием взбегал по ступеням банков и биржевых контор.

Но все было тщетно. Его выслушивали внимательно, даже сочувственно и тут же ссылались на шаткость положения. Джирардский национальный банк отказался отсрочить ссуду хотя бы на час, и Каупервуду пришлось немедленно переслать им толстую пачку своих наиболее ценных бумаг для покрытия разницы, вызванной падением биржевых курсов. В два часа пришел рассыльный от старого Каупервуда: как председатель Третьего национального банка он вынужден потребовать погашения ссуды в сто пятьдесят тысяч долларов. Акции, заложенные Фрэнком, по мнению директоров, недостаточно надежны. Каупервуд немедленно выписал чек на свой пятидесятитысячный вклад в этом банке, прибавил к нему двадцать пять тысяч долларов, хранившихся у него в конторе наличными, потребовал от фирмы «Тай и Кь» погашения ссуды в пятьдесят тысяч долларов, продал за треть номинала акции конки линии Грин и Коутс — той самой, с которой у него было связано столько надежд. Все полученные таким путем суммы он отправил в Третий национальный банк. Старому Каупервуду показалось, что камень свалился у него с души, но вместе с тем он был глубоко удручен. В полдень

старик сам отправился узнавать, сколько он может получить за свои бумаги. Поступая таким образом, он отчасти компрометировал себя, но его отцовское сердце страдало, а кроме того, ему следовало подумать и о своих личных интересах. Заложив дом и получив ссуду под залог обстановки, экипажей, земельного участка и акций, он реализовал сто тысяч долларов, которые и положил в своем банке на имя Фрэнка. Но при таком сильном шторме это был все-таки очень ненадежный якорь. Фрэнку необходимо было добиться отсрочки платежей по меньшей мере на трое-четверо суток. В два часа этого рокового дня, еще раз взвесив положение своих дел, Каупервуд угрюмо пробормотал:

«Нет, этот Стинер должен ссудить меня тремястами тысячами, вот и все. А теперь надо повидать Батлера, не то он еще потребует свой вклад до закрытия конторы».

Он снова вскочил в экипаж и, как одержимый, помчался к Батлеру.

26

Многое изменилось с того часа, когда Каупервуд беседовал с Батлером. Старик весьма дружелюбно откликнулся тогда на предложение объединиться с Молленхауэром и Симпсоном и поддержать курс ценных бумаг на бирже, но утром, в этот памятный понедельник, и без того запутанное положение осложнилось одним новым обстоятельством, которое заставило Батлера коренным образом пересмотреть занятую им позицию. В девять часов утра того самого дня, когда Каупервуд добивался помощи от Стинера, Батлер вышел из дому и уже собирался сесть в экипаж, когда почтальон вручил ему четыре письма, и он помедлил, чтобы просмотреть их. Первое было от мелкого подрядчика О'Хиггинса, второе — от духовника Батлеров, отца Михаила, священника церкви св.Тимофея, благодарившего за пожертвование в приходский фонд для бедных, третье — от «Дрекселя и Кь», относительно какого-то вклада, четвертое — анонимное, на плохой бумаге, от лица, по-видимому, не слишком грамотного, скорее всего от женщины. Неразборчивыми каракулями там было написано следующее:

«Милостивый государь! Сообщаю вам, что ваша дочка Эйлин путается с человеком, с которым ей негоже иметь дело, — с неким Фрэнком Каупервудом, дельцом. Ежели не верите, понаблюдайте за домом номер 931 по Десятой улице. Тогда вы убедитесь собственными глазами.»

Ни подписи, ни каких-либо признаков, по которым можно было бы судить, откуда пришло письмо. У Батлера сразу же сложилось впечатление, что оно написано

кем-то живущим по соседству с указанным домом. Старик иногда отличался необычайной остротой интуиции. Письмо и в самом деле пришло от девушки, прихожанки церкви св.Тимофея, жившей поблизости от указанного в письме дома; она знала в лицо Эйлин и ненавидела ее за вызывающий вид и роскошные туалеты. Эта девушка — бледное, худосочное, вечно неудовлетворенное создание — была одной из тех натур, которые почитают своим долгом следить за чужой нравственностью. Живя наискосок от дома, тайно нанятого Каупервудом, она наблюдала за подъездом и мало-помалу выяснила, — так ей по крайней мере казалось, — что к чему. Ей потребовалось лишь дополнить факты домыслами и связать все это вместе при помощи той догадливости, которая нередко близка к подлинному знанию. Плодом ее стараний и явилось письмо, очутившееся перед глазами Батлера во всей своей неприкрашенной откровенности.

У ирландцев склад ума философский и вместе с тем практический. Первый и непосредственный импульс всякого ирландца, попавшего в неприятное положение, — это найти выход из него и представить себе все в возможно менее печальном свете. Когда Батлер в первый раз прочел письмо, мурашки забегали у него по телу. Челюсти его сжались, серые глаза сощурились. Неужели это правда? Но иначе разве кто-то осмелился бы так решительно писать: «Ежели не верите, понаблюдайте за домом номер 931 по Десятой улице». Разве простая деловитость этих слов не является сама по себе неопровержимым доказательством? И речь идет о том самом человеке, который лишь накануне обращался к нему за помощью, о человеке, для которого он так много сделал? В медлительном, но остром уме Батлера ярче, чем когда-либо, возник образ его прелестной

дочери, и он вдруг отчетливо понял, что такое Фрэнк Алджернон Каупервуд. Чем объяснить, что он, Батлер, не разгадал коварства этого негодяя? Как могло случиться, что Каупервуд и Эйлин ни словом, ни жестом не выдали себя, если между ними действительно существовали какие-то отношения?

Родители обычно уверены, что они отлично знают своих детей, и время только укрепляет их в этом заблуждении. Ничего дурного до сих пор не случилось, ничего не случится и впредь. Они видят их каждый день, но видят затуманенными любовью глазами. Ослепленные этой любовью, они убеждены, что видят своих детей насквозь и что те, как бы они ни были привлекательны, безусловно, застрахованы от всяких соблазнов. Мэри — хорошая девушка, правда немного взбалмошная, но какая может с ней приключиться беда? Джон — прямодушный, целеустремленный юноша, — разве он способен поддаться злу? И какие душераздирающие стоны издает большинство родителей, когда случайно раскрывается печальная тайна их детей. «Мой Джон! Моя Мэри! Это невозможно!» Но это возможно. Весьма возможно. И даже очень вероятно. Многие родители, недостаточно опытные, недостаточно понимающие жизнь, озлобляются, становятся жестоки. Вспоминая нежность, затраченную на-детей, и все принесенные им жертвы, они чувствуют себя оскорбленными. Одни вовсе падают духом перед лицом столь явной неустойчивости нашей жизни, перед лицом опасностей, которыми она изобилует, и загадочными процессами, совершающимися в душе человека. Другие — те, кому жизнь уже преподала суровые уроки, либо те, кто от природы одарен интуицией и проницательностью, относятся ко всем таким явлениям, как к неисповедимому таинству

жизни, и, зная, что борьба здесь почти бесцельна, если возможна лишь скрытыми мерами, стараются не видеть худшего или примириться с ним на время, чтобы обдумать положение. Всякий мыслящий человек знает, что жизнь

— неразрешимая загадка; остальные тешатся вздорными выдумками да еще попусту волнуются и выходят из себя.

Итак, Эдвард Батлер, человек умный и многоопытный, стоя на ступеньках своего дома, держал в огрубелой жилистой руке клочок дешевой бумаги с начертанным на нем страшным обвинением против его дочери. Он мысленно увидел ее перед собой совсем еще маленькой (Эйлин была его старшей дочкой). Как заботился он о ней все эти годы! Она была прелестным ребенком; ее золотистая головка так часто прижималась к его груди, его жесткие, грубые пальцы тысячи раз ласкали ее нежные щечки! А теперь Эйлин уже двадцать три года, и она красавица, бедовая и своенравная. Мрачные, нелепые, тяжелые думы одолевали Батлера, он не знал, как взглянуть на все это, на что решиться, что предпринять. В конце концов неизвестно, кто тут прав и кто виноват, мысленно произнес он. Эйлин, Эйлин! Его Эйлин! Если жена узнает об этом, ее старое сердце не выдержит. Нет, она ничего не должна знать, ничего. А может быть, ей все-таки следует сказать?

Родительское сердце! Любовь в этом мире движется путаными, нехожеными тропами. Любовь матери всесильна, первобытна, эгоистична и в то же время бескорыстна. Она ни от чего не зависит. Любовь мужа к жене или любовника к любовнице — это сладостные узы единодушия и взаимности, соревнование в заботе и

нежности. Любовь отца к сыну или дочери — когда эта любовь существует — заключается в том, чтобы давать щедро, без меры, ничего не ожидая взамен; это благословение и напутствие страннику, безопасность которого вам дороже всего, это тщательно взвешенное соотношение слабости и силы, заставляющее скорбеть о неудачах любимого и испытывать гордость при его успехах. Такое чувство великодушно и возвышенно, оно ни о чем не просит и стремится только давать разумно и щедро. «Лишь бы мой сын преуспевал! Лишь бы моя дочь была счастлива!» Кто не слыхал этих слов, кто не задумывался над этими выражениями родительской мудрости и любви?

По пути в центр города Батлер со всей быстротой, доступной его недюжинному, но медлительному и до некоторой степени примитивному уму, перебирал все возможные последствия этого внезапного, прискорбного и тревожного открытия. Почему Каупервуд не довольствуется своей женой? Зачем ему понадобилось проникнуть в его, Батлера, дом и там завязать эту недостойную, тайную связь? В какой мере повинна здесь Эйлин? Она отнюдь не глупа и должна бы отдавать себе отчет в своих поступках. Кроме того, она добрая католичка, во всяком случае по воспитанию. Все эти годы она ходила к исповеди и причащалась. Правда, в последнее время Батлер стал замечать, что она не очень ревностно посещает церковь и порою изыскивает предлоги, чтобы в воскресенье остаться дома, но ведь, как правило, она все же ездит туда. А теперь, теперь… Тут мысли Батлера заходили в тупик, он снова возвращался к самому главному, и все начиналось сначала.

Медленно поднялся он по лестнице к себе в контору, сел за стол и опять стал думать, думать. Пробило десять часов, затем одиннадцать. Сын несколько раз обращался к нему с деловыми вопросами, но, убедившись, что отец в мрачном настроении, оставил его в покое. Пробило двенадцать, затем час, а Батлер по-прежнему сидел и думал, когда ему вдруг доложили о Каупервуде.

Не застав Батлера дома и не найдя там Эйлин, Каупервуд поспешил к нему в контору. В том же здании находилось управление нескольких линий конных железных дорог, крупнейшим акционером которых он был. Контора, как обычно, была разгорожена на помещения для бухгалтеров и счетоводов, дорожных смотрителей, кассира и так далее. Оуэн Батлер и его отец занимали в самой глубине ее маленькие, но изящно обставленные кабинеты; там вершились все важнейшие дела.

По дороге Каупервуда — в силу странного предчувствия, так часто возникающего у человека перед бедой, — неотступно преследовала мысль об Эйлин. Он думал о необычных узах, связывавших его с нею, и о том, что сейчас он спешит за помощью к ее отцу! Тяжелое чувство охватило его, когда он поднимался по лестнице, но он, естественно, не придал ему значения. С первого же взгляда на Батлера ему стало ясно, что произошло неладное. Батлер не приветствовал его, как обычно, смотрел исподлобья, и на лице его была написана такая суровость, какой Каупервуд у него никогда раньше не видел. Он сразу понял, что дело тут не в одном только нежелании Батлера оказать ему помощь, оставив свой вклад невостребованным. Что же случилось? Эйлин? Должно быть, так. Кто-то донес на них. Верно, их видели

вместе. Ну и что же? Это еще ничего не доказывает. Он ни словом не выдаст себя. Но вклад Батлер, несомненно, потребует обратно. Что же касается дополнительного займа, то и без разговоров ясно, что на нем надо поставить крест.

— Я зашел узнать, что вы надумали с вашим вкладом, мистер Батлер, — прямо и как всегда непринужденно произнес Каупервуд.

Ни по его поведению, ни по выражению его лица нельзя было предположить, что он что-то заметил.

Батлер — они были одни в кабинете — в упор смотрел на него из-под косматых бровей.

— Мне нужны мои деньги, — отрывисто и угрюмо произнес он.

При виде этого развязного лицемера, погубившего честь его Эйлин, в груди Батлера вспыхнула ярость, какой он уже давно не испытывал, и старик впился глазами в своего посетителя.

— Судя по тому, как развернулись события, я и полагал, что вы потребуете свои деньги, — спокойно, без дрожи в голосе отвечал Каупервуд.

— Все рушится, насколько я понимаю.

— Да, все рушится и, думаю, не скоро придет в порядок. Деньги понадобятся мне сегодня же. Я не могу ждать.

— Хорошо, — сказал Каупервуд, ясно чувствовавший всю шаткость своего положения.

Старик был не в духе. По тем или иным причинам присутствие Каупервуда раздражало, более того — оскорбляло его. Каупервуд уже не сомневался, что все

дело в Эйлин, что Батлер знает что-то или по крайней мере подозревает. Надо сделать вид, будто дела заставляют его торопиться, и положить конец этому разговору.

— Весьма сожалею, — сказал он. — Я надеялся на отсрочку, но ничего не поделаешь. Деньги будут вам приготовлены. Я немедленно пришлю их.

Он повернулся и быстро пошел к двери.

Батлер встал. Он думал, что все будет по-другому. Он собирался разоблачить Каупервуда, может быть, даже дать ему пощечину. Он собирался сказать что-то, что спровоцировало бы Каупервуда на резкость, бросить ему обвинение прямо в лицо. Но тот уже удалился, сохраняя свой обычный непринужденно-любезный вид.

Старик пришел в невероятное волнение, он был разъярен и разочарован. Открыв маленькую дверь, соединявшую его кабинет с соседней комнатой, он позвал:

— Оуэн!

— Да, отец?

— Пошли кого-нибудь в контору Каупервуда за деньгами.

— Так ты все-таки решил забрать свой вклад?

— Да.

Оуэн был озадачен гневом старика. «Что бы это могло значить?» — спрашивал он себя и решил, что у отца произошла какая-нибудь стычка с Каупервудом. Он вернулся к своему столу, написал требование и позвал

клерка. Батлер подошел к окну и стал смотреть на улицу. Он был огорчен, озлоблен, взбешен.

— Собака! — неожиданно для самого себя прохрипел он. — Я ему ни доллара не оставлю, до нитки раздену! И еще в тюрьму упрячу! Я его уничтожу! В два счета!

Он сжал свои огромные кулаки и стиснул зубы.

— Я с ним разделаюсь! Я ему покажу! Собака! Подлая тварь!

Никогда в жизни не испытывал он такой ярости, такого желания мстить без пощады.

Он зашагал по кабинету, обдумывая, что предпринять. Допросить Эйлин — вот с чего надо начать. Она будет запираться, но если он увидит по ее лицу, что его подозрения верны, он расправится с Каупервудом. Достаточно этой истории с городским казначеем. Правда, формально Каупервуд не несет уголовной ответственности, но уж он, Батлер, сумеет повернуть все так, что этому прохвосту не поздоровится.

Приняв такое решение, Батлер приказал клерку передать Оуэну, что скоро вернется, вышел, сел на конку и поехал домой. В дверях он столкнулся со своей старшей дочерью, как раз собиравшейся уходить. На ней был костюм из алого бархата с узенькой золотой оторочкой и эффектная алая с золотом шляпа. Ноги ее были обуты в ботинки из оранжевой кожи, а руки обтянуты длинными замшевыми перчатками бледно-лилового цвета. В ушах у Эйлин красовались длинные серьги из темного янтаря — янтарь был ее последним увлечением. При виде дочери старый

ирландец понял яснее чем когда-либо, что вырастил птичку с редкостным оперением.

— Куда это ты собралась, Эйлин? — спросил он, безуспешно стараясь скрыть страх, горе и кипевшую в нем злобу.

— В библиотеку, — спокойно отвечала она, но в тот же миг почувствовала, что с отцом творится неладное. Лицо у него было какое-то отяжелевшее, серовато-бледное. Он казался угрюмым и утомленным.

— Поднимись на минуту ко мне в кабинет, — произнес Батлер. — Мне нужно с тобой поговорить.

Эйлин повиновалась со смешанным чувством любопытства и удивления. Как странно, что отцу вдруг понадобилось говорить с ней в кабинете, да еще в минуту, когда она собиралась уходить! Его тон и вид не оставляли сомнения, что за этим необычным приглашением последует неприятный разговор. Как и всякий человек, преступивший правила морали своего времени, Эйлин то и дело возвращалась мыслью к гибельным последствиям возможного разоблачения. Не раз уже думала она о том, как отнесется семья к ее поступку, но ясно ничего себе представить не могла. Отец — человек очень решительный. Правда, она ни разу не видела, чтобы он холодно или жестоко отнесся к кому-нибудь из членов своей семьи, и тем более к ней! Он всегда так любил ее, что, казалось, ничто и никогда не оттолкнет его от дочери. Но кто знает?

Батлер шел впереди, медленно ступая по лестнице своими большими ногами. Эйлин поднималась вслед за ним; она успела бросить на себя беглый взгляд в стенное зеркало и теперь думала о том, как она хороша и что ее ждет сейчас. Чего хочет от нее отец? При мысли о

разговоре, который может произойти, кровь на мгновение отхлынула от ее лица.

Батлер вошел в свой душный кабинет и опустился в огромное кожаное кресло, несоразмерное со всей остальной мебелью и соответствовавшее только письменному столу. Перед этим столом, против окна, стояло кресло для посетителей; в него Батлер усаживал тех, чьи лица ему хотелось рассмотреть получше. Когда Эйлин вошла, он рукой указал на это кресло, что тоже показалось ей зловещим признаком, и сказал:

— Садись сюда!

Эйлин села, все еще не понимая, к чему он клонит. Она твердо помнила обещание, данное ею Каупервуду: запираться во что бы то ни стало. Если отец намерен допрашивать ее, это ни к чему не приведет. Ее долг перед Фрэнком — все отрицать. Красивое лицо Эйлин сделалось жестким и напряженным. Два ряда мелких белых зубов крепко сжались, и Батлеру стало ясно, что она насторожилась, ожидая нападения. В этом он усмотрел подтверждение ее вины и преисполнился еще большей скорби, стыда, гнева и сознания своего несчастья. Он порылся в левом кармане сюртука, вытащил пачку бумаг и затем извлек из этой пачки роковое письмо, столь невзрачное с виду. Его толстые пальцы дрожали, когда он вынимал листок из конверта. Эйлин не-сводила глаз с его лица и рук, не догадываясь, что он хочет показать ей. Наконец Батлер протянул дочери бумажку, казавшуюся крохотной в его большой руке, и буркнул:

— Читай!

Эйлин взяла и на секунду почувствовала облегчение: по крайней мере можно опустить глаза. Но

это чувство мгновенно исчезло: ведь сейчас ей опять придется смотреть отцу прямо в лицо.

«Милостивый государь! Сообщаю вам, что ваша дочка Эйлин путается с человеком, с которым ей негоже иметь дело, — с неким Фрэнком Каупервудом, дельцом. Ежели не верите, понаблюдайте за домом номер 931 по Десятой улице. Тогда вы убедитесь собственными глазами.»

Вопреки ее воле, лицо Эйлин побелело, но кровь тотчас же снова прилила к нему бурной, горячей волной.

— Это ложь! — воскликнула она, поднимая глаза на отца. — Кто смеет писать про меня такие мерзости? Какая наглость! Кто этот подлец?

Старый Батлер пристально смотрел на дочь. Ее бравада не обманула его. Будь Эйлин в самом деле ни в чем не повинна, она, при ее характере, вскочила бы возмущенная, негодующая. А сейчас она поспешила надеть личину высокомерия. Сквозь ее пылкий протест он читал правду, свидетельствовавшую против нее.

— А почем ты знаешь, дочка, что я не велел наблюдать за этим домом? — насмешливо спросил он. — Почем ты знаешь, что никто не видел, как ты входила туда?

Только торжественное обещание, данное Эйлин возлюбленному, спасло ее от этой ловушки. Она побледнела, но перед ее глазами тотчас возник образ Фрэнка, строго спрашивающего ее, что она скажет, если тайна их будет раскрыта.

— Это ложь! — прерывающимся голосом снова воскликнула она. — Я никогда не бывала в доме под

таким номером, и никто не видел, как я входила туда! Как ты можешь подозревать меня в этом, отец?

Несмотря на обуревавшие его сомнения, странно мешавшиеся с чувством непоколебимой уверенности в виновности Эйлин, Батлер не мог не залюбоваться ее смелостью: какой у нее вызывающий вид, с какой решимостью она лжет, чтобы защитить себя. Ее красота оказывала ей при этом большую услугу и возвышала ее в глазах отца. В конце концов, что можно поделать с подобной женщиной! Ведь она уже не десятилетняя девчонка, какой он продолжал мысленно видеть ее.

— Тебе не следовало бы говорить мне неправду, Эйлин, — сказал он. — Нехорошо лгать. Религия запрещает ложь. Кто стал бы писать такие вещи, будь это не так?

— Но это не так, — настаивала Эйлин, притворяясь разгневанной и негодующей. — И я считаю, что ты не имеешь права оскорблять меня такими подозрениями. Я не была в этом доме и не путаюсь с мистером Каупервудом! Боже мой! Ведь я едва знакома с ним и только изредка вижу его в обществе.

Батлер угрюмо покачал головой.

— Это большой удар для меня, дочка! Большой удар, — повторил он. — Я готов поверить твоим словам. Но не могу не думать о том, как прискорбно, если ты лжешь. Я никому не поручал следить за этим домом. Письмо пришло только сегодня утром. И то, что в нем сказано, видимо, неправда. Надеюсь, что неправда. Но сейчас мы не станем больше говорить об этом. Если ж в нем есть хоть доля истины и ты не зашла слишком далеко и еще можешь спасти свою душу, я просил бы тебя подумать о твоей матери, сестре, братьях и быть

умницей. Вспомни о церкви, которая тебя воспитала, об имени, честь которого ты должна поддерживать. Пойми — если ты сделала что-нибудь дурное и люди узнают об этом, то как ни велика Филадельфия, а нам в ней недостанет места. Твоим братьям нужно составить себе доброе имя, они работают в этом городе. Ты и Нора когда-нибудь захотите выйти замуж. Как ты будешь смотреть людям в глаза, как ты будешь жить, если то, что написано здесь, правда и эта правда выйдет наружу?

Голос старика звучал глухо от странных, грустных и непривычных чувств, обуревавших его. Он не хотел верить, что дочь виновна, и тем не менее знал, что это так. Он не хотел делать то, что, как человек волевой и религиозный, считал своим долгом, то есть сурово осудить ее. Другой отец, подумал он, при подобных обстоятельствах выгнал бы свою дочь из дому или, предварительно все проверив, убил бы Каупервуда. Но он этого не сделает. Если ему придется мстить, он отомстит как финансист и политик, вытеснит негодяя из финансового и политического мира. Но предпринять что-либо решительное в отношении Эйлин, — об этом он и думать не мог.

— Ах, отец, — отозвалась Эйлин, искусно пользуясь своими актерскими способностями и разыгрывая оскорбленную невинность, — как ты можешь такое говорить, когда знаешь, что я не виновата? Клянусь тебе!

Но старый ирландец с глубокой грустью читал правду под ее притворной обидой и видел, что одна из его самых заветных надежд рассыпается прахом. Он многого ждал от Эйлин и в смысле ее карьеры в обществе и в смысле счастливого замужества. Сколько прекрасных молодых людей были бы счастливы ее

благосклонностью, она родила бы ему прелестных внуков — утеху в старости.

— Не будем больше говорить об этом, дочка, — усталым голосом произнес он. — Ты так много всегда значила для меня, что мне трудно всему этому поверить. Видит бог, я и не хочу верить. Ты взрослая женщина, и если ты поступаешь дурно, то мне тебя уж не остановить. Я мог бы, конечно, выгнать тебя из дому — многие отцы поступили бы именно так, но я ничего подобного делать не стану. Однако, если ты в самом деле ведешь себя предосудительно,

— Батлер поднял руку, чтобы предупредить протест Эйлин, — помни: рано или поздно я узнаю правду, и тогда Филадельфия станет тесна для меня и того человека, который причинил мне это горе! Я доберусь до него, — угрожающе произнес старый Батлер вставая, — я доберусь до него, и тут уж…

Он побледнел и отвернулся. Эйлин ясно поняла, что Фрэнку, помимо всех грозящих ему неприятностей, предстоит еще помериться силами с ее отцом. Не потому ли он так сурово взглянул на нее вчера?

— Твоя мать умерла бы от горя, если б узнала, что кто-то дурно говорит о тебе, — дрожащим голосом продолжал Батлер. — У этого человека есть семья

— жена и дети. Ты не должна причинять им зло. Их и без того, если я не ошибаюсь, ждут в ближайшем будущем крупные неприятности. — У Батлера плотнее сжались челюсти. — Ты красивая девушка. Ты молода. Ты богата. Десятки молодых людей почли бы за честь назвать тебя своей женой. Что бы ты ни замышляла, что бы ты ни делала, не губи понапрасну свою жизнь. Не

губи свою бессмертную душу. Не разбивай вконец и моего сердца!

Эйлин, по натуре совсем не злая, мучительно боролась с противоречивыми чувствами — дочерней любовью и страстью к Каупервуду, — она с трудом сдерживала рыдания. Всей душой жалея отца, она не поколебалась в своей любви и верности Фрэнку. Она хотела что-нибудь сказать, еще убедительнее выразить свое возмущение, но понимала, что это бесполезно. Отец знал, что она лжет.

— Мне нечего больше сказать, отец, — проговорила она, вставая. За окном уже смеркалось. Внизу негромко хлопнула дверь, — очевидно, вернулся кто-то из сыновей Батлера. У Эйлин пропало всякое желание идти в библиотеку. — Все равно ты мне не поверишь. Но повторяю, меня оговорили напрасно.

Батлер поднял свою большую смуглую руку, требуя молчания. Эйлин поняла, что ее позорная связь уже не тайна для отца и мучительный разговор с ним окончен. Она повернулась и вышла, красная от стыда. Батлер ждал, покуда ее шаги не замерли в отдалении.

Тогда он встал. И снова сжал огромные кулаки.

— Негодяй! — вслух произнес он. — Негодяй! Я выживу его из Филадельфии, хотя бы мне пришлось истратить для этого все мои деньги, до последнего доллара!

27

Впервые в жизни Каупервуд столкнулся со своеобразным явлением, именуемым уязвленным отцовским чувством. Не зная точно, что именно привело Батлера в такую ярость, он все же догадывался, что дело в Эйлин. Каупервуд и сам был отцом. Своим сыном, Фрэнком-младшим, он не особенно восхищался. Но изящная маленькая Лилиан, со светлой, точно нимбом окруженной головкой, всегда внушала ему нежность. Она вырастет очаровательной женщиной, думал он, и жаждал упрочить ее положение в жизни. Он любил говорить ей, что у нее «глазки-бусинки», «не ножки, а кошачьи лапки», и ручки, как у куколки, такие они были крохотные. Девочка обожала отца, постоянно отыскивала его, где бы он ни был — в библиотеке, в гостиной, в кабинете или за обеденным столом, — и задавала ему бесконечные вопросы.

Отношение к собственной дочери позволяло ему представить себе те чувства, которые должно было возбудить в Батлере поведение Эйлин. Он спрашивал себя, что ощущал бы сам, если бы речь шла о его крошке Лилиан. Но ему как-то не верилось, чтобы он стал тревожить себя и мучить ее из-за такой истории, будь она в летах Эйлин. Ведь дети рано или поздно выходят из повиновения родительской воле, и отцу всегда трудно руководить ими, если они по натуре своей строптивы и не желают, чтобы ими руководили.

Каупервуд мрачно улыбнулся, подумав о том, сколько бед на него посыпалось. Чикагский пожар, несвоевременный отъезд Стинера, полное безразличие Батлера, Молленхауэра и Симпсона к судьбе Стинера и

его собственной. А теперь еще, возможно, разоблачена его связь с Эйлин. Он не был уверен, что их тайна раскрыта, но чутье подсказывало ему, что это так. Как будет держать себя Эйлин, чем она оправдается, если отец вдруг призовет ее к ответу, — вот что сейчас сильно тревожило Каупервуда. Только бы как-нибудь снестись с ней! Но если приходится возвращать Батлеру его вклад и погашать другие ссуды, которые тоже не сегодня завтра будут востребованы, то нельзя терять ни минуты. Надо или платить, или тотчас же признать себя несостоятельным. Ярость Батлера, Эйлин, опасность, грозившая ему самому, — все это временно отошло на задний план. Его разум всецело сосредоточился на одной мысли — как спасти свое финансовое положение.

Он поспешил повидать Джорджа Уотермена, своего шурина Дэвида Уиггина, ставшего к этому времени состоятельным человеком, Джозефа Зиммермена, крупного торговца мануфактурой, с которым ему в прошлом случалось вести дела, бывшего судью Китчена, богатого человека и крупного предпринимателя, казначея штата Пенсильвания Фредерика Ван-Ностренда, заинтересованного в акциях конных железных дорог, и многих других. Из всех, к кому он обращался за помощью, один действительно не в состоянии был ему помочь, другой трусил, третий алчно прикидывал в уме, как бы побольше с него содрать, четвертый был недостаточно решителен и требовал непомерно много времени на размышление. Все догадывались об истинном положении его дел, всем требовалось время подумать, а времени у него как раз и не было. Судья Китчен все же согласился одолжить ему тридцать тысяч долларов — жалкую сумму! Джозеф Зиммермен не пожелал рискнуть больше чем двадцатью пятью тысячами. Каупервуд

убедился, что в общей сложности ему удастся собрать семьдесят пять тысяч долларов, заложив для этого акций на вдвое большую сумму. Но это была смехотворная цифра! Он снова принялся подсчитывать, с точностью до одного доллара, и пришел к выводу, что сверх всей его наличности ему нужно достать по меньшей мере двести пятьдесят тысяч, в противном случае он вынужден будет закрыть контору. Завтра к двум часам все выяснится. Если он не сумеет обернуться, то в десятках гроссбухов Филадельфии рядом с его именем появится слово «банкрот».

Недурной финал для человека, еще совсем недавно заносившегося так высоко в своих надеждах! В первую очередь он должен погасить стотысячную ссуду Джирардского национального банка. Это был крупнейший в Филадельфии банк, и, сохранив расположение его заправил своевременной уплатой долга, Фрэнк мог и впредь, что бы ни случилось, рассчитывать на их благосклонность. Сейчас он еще даже не представлял себе, где добудет деньги. Однако, после недолгого раздумья, решил в тот же вечер передать судье Китчену и Зиммермену акции, под которые те согласились выплатить ему ссуды, и взять у них чеки или наличные. Затем он уговорит Стинера выдать ему чек на шестьдесят тысяч долларов — стоимость купленных им утром на бирже сертификатов городского займа. Из них он возьмет двадцать пять тысяч, недостающих для уплаты банку. И тогда в его распоряжении останется еще тридцать пять тысяч.

Единственная отрицательная сторона такого плана заключалась в том, что он был построен на дальнейшем запутывании истории с сертификатами. Купив их еще утром, Каупервуд не только не сдал их, как полагалось, в

амортизационный фонд (они были доставлены к нему в контору в половине второго), но тут же заложил, для того чтобы погасить очередной долг. Это был рискованный шаг, если принять во внимание, что Каупервуд находился под угрозой банкротства и не был уверен, что сумеет вовремя выкупить сертификаты.

Но, с другой стороны, размышлял Каупервуд, существует ведь соглашение между ним и городским казначеем (конечно, незаконное), благодаря которому такая комбинация может сойти за вполне благовидную и формально оправданную даже в случае его банкротства, так как он не обязан балансировать свои сделки до конца месяца. Если он прогорит и в амортизационном фонде не окажется этих облигаций, он может сказать, что обычно сдавал облигации позднее и потому попросту забыл о них. Таким образом, если он возьмет чек в уплату за эти еще не сданные облигации, то, собственно говоря, — оставляя в стороне закон и этику, — его поступок будет внешне вполне обоснован. Правда, город потеряет еще шестьдесят тысяч долларов. Но какое это имеет значение, раз казначейству все равно грозит дефицит в пятьсот тысяч? Будет, значит, пятьсот шестьдесят. Привычная осторожность Каупервуда сталкивалась здесь с необходимостью, и потому он решил повременить с этим чеком, пока Стинер окончательно не откажет ему в выдаче трехсот тысяч, — в этом случае он будет вправе потребовать чек. Вероятнее всего, Стинер даже не спросит, сданы ли облигации в амортизационный фонд, а если спросит, придется солгать, только и всего!

Каупервуд снова вскочил в экипаж и помчался обратно в контору: там, как он и думал, его уже ждало письменное требование Батлера. Он немедленно выписал чек на те сто тысяч долларов, которыми любящий отец

кредитовал его в своем банке, и отослал Батлеру. За это время пришло еще письмо от Альберта Стайерса, секретаря Стинера, с предупреждением больше не покупать и не продавать облигации городского займа, так как до особого распоряжения эти сделки не будут приниматься в расчет. Каупервуд сразу понял, откуда ветер дует. Стинер советовался с Батлером или Молленхауэром, и те поспешили предостеречь и запугать его. Несмотря на это, Каупервуд прямиком отправился в городское казначейство.

После свидания с Каупервудом у Стинера снова был разговор с Сэнгстеком, Стробиком и другими лицами, подосланными к нему для того, чтобы как следует его припугнуть. В результате этого разговора казначей решительно воспротивился всем планам Каупервуда. Стробик и сам был очень встревожен. Он, Уайкрофт и Хармон тоже пользовались средствами городского казначейства

— правда, в значительно меньших размерах, ибо им был не свойствен финансовый размах Каупервуда, — и теперь они должны были покрыть долг до того, как грянет буря. Если Каупервуд обанкротится и у Стинера обнаружится дефицит, не исключена возможность проверки всего бюджета, а тогда выплывут на свет и их махинации. Чтобы не быть обвиненными в должностном преступлении, необходимо так или иначе возвратить деньги.

— Отправляйтесь к Молленхауэру, — посоветовал Стинеру Стробик вскоре после ухода Каупервуда, — и откройте ему все. Он поддерживал вашу кандидатуру и устроил вас на пост казначея. Расскажите ему, в каком вы положении, и спросите, что делать. Он уж найдет

выход. Предложите ему ваши акции за помощь. Вам придется на это пойти. Ничего другого попросту не остается. А Каупервуду, черт возьми, не давайте больше ни доллара! Помните, что он толкнул вас в пропасть, из которой вы не знаете, как выкарабкаться. Наконец, если Молленхауэр откажется вам помочь, пусть он хоть заставит Каупервуда вернуть деньги в казну. Молленхауэр сумеет воздействовать на него.

Стробик привел еще множество доводов, и после его ухода Стинер со всех ног кинулся к Молленхауэру. Он был так перепуган, что задыхался и готов был броситься на колени перед этим американским немцем, великим финансистом и политиком. Если бы мистер Молленхауэр согласился ему помочь! Тогда есть надежда выпутаться из этой истории и не угодить в тюрьму!

— О боже мой! Боже мой! — шептал он, торопясь к Молленхауэру. — Что мне делать?

Позиция, занятая Генри Молленхауэром, жестким политиком и дельцом, прошедшим суровую школу, была такова, какую занял бы любой капиталист в этих сложных обстоятельствах.

Перебирая в памяти то, что сказал ему Батлер, Молленхауэр прежде всего прикинул, какие выгоды он может извлечь из создавшегося положения. Надо — если, конечно, это можно сделать, не скомпрометировав себя, — завладеть акциями конных железных дорог, находящимися во владении Стинера. Эти акции нетрудно перевести через биржевых маклеров на имя какого-нибудь подставного лица, а затем уж на имя его, Молленхауэра. Для этого придется основательно нажать на казначея, когда тот явится сегодня к нему; что же касается недостачи пятисот тысяч долларов в кассе

казначейства, то Молленхауэр еще не представлял себе, что тут можно сделать. Вероятнее всего, Каупервуд не сумеет покрыть свою задолженность; ну что ж, город в таком случае понесет убыток, но скандал необходимо замять до окончания выборов. Если остальные лидеры партии не проявят великодушия, как и полагал Молленхауэр, то Стинеру, конечно, не миновать разоблачения, ареста, суда, конфискации имущества и, возможно, даже тюрьмы. Правда, когда волна общественного негодования несколько схлынет, можно будет добиться от губернатора смягчения приговора. Было ли здесь налицо преступное соучастие Каупервуда — этим Молленхауэр не интересовался. Сто против одного — что нет. Этот человек достаточно хитер и осторожен. Впрочем, если представится возможность выгородить казначея, свалив вину на Каупервуда, и таким образом снять пятно с партии, Молленхауэр, конечно, не станет возражать. Но сначала нужно разузнать подробнее историю взаимоотношений этого биржевика со Стинером и попутно прибрать к рукам все, чем тот успел поживиться на посту казначея.

Войдя к Молленхауэру, Стинер окончательно обессилел и упал в кресло. Мозг его отказывался работать, нервы сдали, страх окончательно завладел им.

— Что скажете, мистер Стинер? — внушительным тоном спросил Молленхауэр, притворяясь, будто не знает, что привело к нему казначея.

— Я пришел поговорить относительно ссуд, предоставленных мною мистеру Каупервуду.

— А в чем, собственно, дело?

— Он должен мне или, вернее, городскому казначейству пятьсот тысяч долларов. Насколько мне

известно, ему грозит банкротство, и в таком случае он не сможет вернуть эти деньги.

— Кто вам сказал, что ему грозит банкротство?

— Мистер Сэнгстек, а позднее мистер Каупервуд и сам заезжал ко мне. Он объяснил, что во избежание краха ему необходимо раздобыть еще денег. И просил у меня дополнительно триста тысяч долларов. Уверял, что эта сумма нужна ему во что бы то ни стало.

— Вот это здорово! — воскликнул Молленхауэр, разыгрывая крайнее изумление. — Но вы, надо думать, не согласились. У вас и без того хватит неприятностей. Если он пожелает знать, почему вы ему отказываете, направьте его ко мне. И не давайте ему больше ни единого доллара. В противном случае, если дело дойдет до суда, вам не будет пощады. Я и так не знаю, что можно для вас сделать. Но если вы не станете больше ссужать его деньгами, мы, возможно, что-нибудь придумаем. Не ручаюсь, конечно, но попытаемся. Только смотрите: чтобы ни один доллар больше не утек из казначейства на продолжение этого темного дела. Оно и без того имеет достаточно неприглядный вид.

Молленхауэр вперил в Стинера предостерегающий взгляд. Тот, измученный и разбитый, уловив в словах своего покровителя слабый намек на милосердие, соскользнул с кресла и упал перед ним на колени, воздевая руки, как молящийся перед распятием.

— О мистер Молленхауэр, — бормотал он, задыхаясь и всхлипывая, — поверьте, я не хотел сделать ничего дурного! Стробик и Уайкрофт уверяли меня, что это вполне законно. Вы сами направили меня к Каупервуду. Я делал только то, что делали другие, — так по крайней мере мне казалось. Мистер Боуд, мой

предшественник, поступал точно так же: он вел эти дела через фирму «Тай и Кь». У меня жена и четверо детей, мистер Молленхауэр. Моему младшему только семь лет. Подумайте о них, мистер Молленхауэр! Подумайте, что означает для них мой арест! Я не хочу попасть в тюрьму! Я не думал, что поступаю незаконно, честное слово, не думал. Я отдам все, что у меня есть. Возьмите мои акции, и дома, и земельные участки, все; все, только выручите меня из беды! Не дайте им посадить меня за решетку.

Толстые побелевшие губы казначея судорожно подергивались, горячие слезы струились по его лицу, только что бледному, а теперь багровому. Зрелище почти неправдоподобное, но, к сожалению, не столь уж редкое, когда приоткрывается завеса над жизнью титанов финансового и политического мира!

Молленхауэр смотрел на него спокойно и задумчиво. Он часто видел перед собою слабых людей, не более бесчестных, чем он сам, но лишенных его ума и мужества, и они точно так же молили его — не обязательно на коленях, но все равно это были люди со сломленной волей и духом. Жизнь, в представлении этого человека с богатым и сложным житейским опытом, была безнадежно запутанным клубком. Что прикажете делать с так называемой моралью и нравственными заповедями? Этот Стинер считает себя бесчестным человеком, а его, Молленхауэра, честным. Вот он кается перед ним в своих преступлениях и взывает к нему, словно к праведнику или святому. А между тем Молленхауэр знает, что сам он столь же бесчестен, но более хитер, дальновиден и расчетлив. Дело не в том, что Стинер безнравствен, а в том, что он труслив и глуп. В этом его главная вина. Есть люди, воображающие, что существует какой-то таинственный кодекс права,

какой-то идеал человеческого поведения, оторванный и бесконечно далекий от практической жизни. Но он, Молленхауэр, никогда не видел, чтобы они претворяли его в жизнь, а случись так, это привело бы их только к финансовой (не нравственной, этого он не стал бы утверждать) гибели. Люди, которые цеплялись за этот бессмысленный идеал, никогда не были выдающимися деятелями в какой-либо практической области. Они навеки оставались нищими, жалкими, обойденными мечтателями. При всем желании он не мог бы заставить Стинера все это понять, да и не стремился просветить его. Жаль, разумеется, детишек Стинера, жаль его жену! Ей, вероятно, тоже пришлось немало поработать в жизни, как, впрочем, и ее мужу, чтобы пробить себе дорогу и хоть чего-то достичь. И вдруг это неожиданное бедствие, этот чикагский пожар, погубивший все их труды! Странное стечение обстоятельств! Если что-нибудь и заставляло Молленхауэра сомневаться в существовании благого и всемогущего провидения, то именно такие финансовые или общественные события, обрушивавшиеся как гром среди ясного неба и приносившие гибель и разорение множеству людей.

— Встаньте, Стинер, — спокойно сказал он после недолгого молчания. — Нельзя так распускаться. Плакать тут нечего, слезами делу не поможешь. Соберитесь с мыслями и хорошенько обдумайте свое положение. Может быть, оно не так уж безнадежно.

Пока Молленхауэр говорил, Стинер снова уселся в кресло и беспомощно всхлипывал, утирая глаза платком.

— Я сделаю все, что возможно, Стинер, хотя ничего конкретного сейчас не обещаю и за результат ручаться не могу. В нашем городе действуют различные

политические силы. Может быть, мне и не удастся спасти вас, но я попытаюсь. Зато вы должны полностью довериться мне. Не говорите и не делайте ничего, предварительно не посоветовавшись со мной. Время от времени я буду посылать к вам своего секретаря с указаниями, как действовать. Ко мне не являйтесь, пока я сам вас не позову. Вы меня поняли?

— Да, мистер Молленхауэр.

— Ну, теперь вытрите слезы. Из моей конторы неудобно выходить с заплаканными глазами. Поезжайте к себе в казначейство, а я пришлю к вам Сэнгстека. От него вы узнаете, что делать. Выполняйте в точности его слова. А как только я дам вам знать, приходите немедленно.

Он поднялся, большой, самоуверенный, спокойный. Его туманные обещания вернули Стинеру душевное равновесие. Сам мистер Молленхауэр, великий, могущественный Молленхауэр, поможет ему выпутаться из беды. В конце концов не исключено, что тюрьма и минует его. Когда через несколько минут Стинер отправился в казначейство, на его лице, правда, еще красном от слез, уже не заметно было других следов пережитого потрясения.

Не прошло и часа, как в казначейство, вторично за этот день, явился Эбнер Сэнгстек, смуглый человечек с высохшей правой ногой, обутой в тяжелый башмак на утолщенной подошве. На его скуластом, необычайно умном лице светились живые, пронизывающие, но непроницаемые глаза. Сэнгстек как нельзя лучше подходил для роли секретаря Молленхауэра. Достаточно было взглянуть на него, чтобы уже не сомневаться, что он заставит Стинера поступать точно по указке их

общего хозяина. Сейчас его задачей было уговорить казначея немедленно перевести через маклеров Батлера — «Тая и Кь» свои акции конных железных дорог на имя одного мелкого агента из клики Молленхауэра, который потом, в свою очередь, должен был перевести их на имя патрона. То немногое, что Стинеру предстояло получить за эти бумаги, должно было пойти на покрытие дефицита в казначействе. «Тай и Кь» сумеют так повести дело, что никто не перехватит этих ценностей, и в то же время придадут ему вид обыкновенной биржевой операции. Сэнгстек уже успел, в интересах своего шефа, проверить состояние дел Стинера и попутно узнал, для чего брали деньги в казначействе Стробик, Уайкрофт и Хармон. Этой тройке, через другого посредника, тоже был предложен выбор: либо немедленно продать все имеющиеся у них акции, либо предстать перед судом. С ними не стоило церемониться: они были лишь мелкими шестеренками в политической машине Молленхауэра. Строго-настрого наказав Стинеру ни на кого не переписывать остатков своего имущества и не слушать ничьих советов, а главное, коварных наставлений Каупервуда, Сэнгстек удалился.

Едва ли стоит упоминать, что Молленхауэр остался весьма удовлетворен таким оборотом дела. Теперь Каупервуд скорее всего будет вынужден обратиться к нему, но даже если он этого не сделает, в руках Молленхауэра уже все равно немалое количество тех предприятий, в которых Каупервуд так недавно играл ведущую роль. Если же ему всеми правдами и неправдами удастся заполучить еще и остальные, то Симпсону и Батлеру нечего и заикаться о конных железных дорогах! Его доля в этом деле теперь не

только не уступала доле других держателей, но, может быть, даже превосходила ее.

28

Таково было положение вещей в понедельник, к концу дня, когда Каупервуд снова приехал к Стинеру. Казначей сидел в своем служебном кабинете одинокий, подавленный, в состоянии, близком к невменяемости. Он жаждал еще раз повидать Каупервуда, но в то же время боялся встречи с ним.

— Джордж, — без промедления начал Каупервуд, — у меня нет ни одной лишней минуты, и я пришел, чтобы в последний раз сказать вам: вы должны дать мне триста тысяч долларов, если не хотите, чтобы я обанкротился. Дела сегодня обернулись очень скверно. Я буквально в безвыходном положении. Но долго такая буря свирепствовать не может, это очевидно по самому ее характеру.

Он смотрел на Стинера и читал в его лице страх и мучительное, но несомненное упорство.

— Чикаго горит, но очень скоро его примутся отстраивать заново. И тогда начнется тем больший подъем в делах. Так вот, возьмитесь за ум и помогите мне. Не поддавайтесь страху! — Стинер растерянно заерзал в кресле. — Не позволяйте этим политическим авантюристам так запугивать вас. Паника утихнет через несколько дней, и мы с вами станем богаче, чем были. Вы виделись с Молленхауэром?

— Да.

— И что же он вам сказал?

— То, что я и ожидал услышать. Он запретил мне иметь с вами дело. Я не могу, Фрэнк, понимаете, не

могу! — завопил Стинер, вскакивая. Он так нервничал, что не в состоянии был усидеть на месте во время этого разговора. — Я не могу! Они меня прижали к стене, затравили, им известны все наши дела. Послушайте, Фрэнк, — Стинер нелепо взмахнул руками, — вы должны вызволить меня из беды! Вы должны возвратить эти пятьсот тысяч долларов, иначе я погиб! Если вы не вернете долг и обанкротитесь, меня упекут в тюрьму. А у меня жена и четверо детей, Фрэнк! Я не могу этого вынести. Вы слишком широко размахнулись! Я не имел права так рисковать! Да я и не пошел бы на этот риск, если бы вы меня не уговорили. Поначалу я не представлял себе, чем это может кончиться. С меня довольно, Фрэнк! Не могу! Я отдам вам все свои акции, а вы верните мне эти пятьсот тысяч, и мы будем квиты.

Голос Стинера прерывался, он вытирал рукою вспотевший лоб и с тупой мольбой вглядывался в Каупервуда.

Тот, в свою очередь, смотрел на него несколько секунд холодным, неподвижным взглядом. Он хорошо знал человеческую натуру, и никакие странности поведения, особенно в минуты паники, не могли его удивить; но Стинер превзошел все ожидания.

— С кем вы еще виделись, Джордж, после моего ухода? Кто у вас был? Зачем вы понадобились Сэнгстеку?

— Он сказал мне то же, что и Молленхауэр. Никому и ни при каких обстоятельствах не давать больше взаймы, а главное, как можно скорее вытребовать назад пятьсот тысяч долларов.

— И вы полагаете, что Молленхауэр хочет помочь вам, не так ли? — спросил Каупервуд, безуспешно стараясь скрыть свое презрение к этому человеку.

— Надеюсь, что так. Кто же еще может помочь мне, Фрэнк, если не он? Молленхауэр — великая сила в нашем городе.

— Выслушайте меня, — снова начал Каупервуд, сверля Стинера взглядом. Он выдержал короткую паузу. — Как Молленхауэр приказал вам распорядиться вашими акциями конных железных дорог?

— Продать их через контору «Тай и Кь», а деньги внести в казначейство.

— А кому продать? — спросил Каупервуд, напряженно вдумываясь в последние слова Стинера.

— Странный вопрос — вероятно, любому, кто пожелает их купить.

— Все понятно, — произнес Каупервуд, уразумев, в чем дело. — Я, собственно, мог и сам догадаться. Джордж, они вас грабят, норовят присвоить ваши ценности. Молленхауэр водит вас за нос. Он знает, что я не в состоянии сейчас удовлетворить ваше требование, то есть вернуть вам пятьсот тысяч долларов. Поэтому он заставляет вас выбросить ваши акции на биржу, а там уж он сумеет их заграбастать. Можете быть уверены, что у него все подготовлено. Как только вы его послушаетесь, я окажусь у него в лапах, так, во всяком случае, он думает, вернее, они — он, Батлер и Симпсон. Они втроем хотят прибрать к рукам всю городскую конку, я это знаю, чувствую. Я уже давно этого жду. Молленхауэр так же мало помышляет о помощи вам, как о том, чтобы взмахнуть крылышками и полететь. Помяните мое слово:

как только вы продадите ваши акции, он потеряет к вам всякий интерес. Неужели вы воображаете, что он хоть пальцем шевельнет, чтобы спасти вас от тюрьмы, когда вы уже не будете иметь касательства к конным железным дорогам? Какой вздор! Если вы на это надеетесь, Джордж, значит, вы еще глупее, чем я полагал! Не сходите с ума! Нельзя же до такой степени теряться! Образумьтесь и взгляните опасности в лицо. Я вам все объясню. Если вы меня сейчас не поддержите, если, самое позднее завтра утром, вы не дадите мне трехсот тысяч долларов, — я конченый человек и вы тоже! А между тем наши дела, по существу, обстоят неплохо. Наши акции имеют сегодня не меньшую ценность, чем имели раньше. Поймите же, черт возьми, что эти акции обеспечены существующими железными дорогами! Дороги — доходное дело. Линия Семнадцатой и Девятнадцатой улиц уже сейчас приносит тысячу долларов в день. Каких еще доказательств вам нужно? Линия Грин и Коутс дает пятьсот долларов ежедневно. Вы трусите, Джордж! Вас запугали эти проклятые аферисты. Вы имеете такое же право давать взаймы деньги, как ваши предшественники — Боуд и Мэртаг. Они этим занимались постоянно. Пока вы делали то же самое в интересах Молленхауэра и его приспешников, все было в порядке! Разберемся, что значит положить в банк средства городского казначейства? Разве это не та же ссуда?

Каупервуд имел в виду широко практиковавшееся обыкновение депонировать часть городских средств, например, амортизационный фонд, на очень низких процентах или вовсе безвозмездно в банках, с которыми были связаны Молленхауэр, Батлер и Симпсон. Это почиталось их «законным» доходом.

— Не отказывайтесь от последних шансов на спасение, Джордж! Не складывайте оружия! Через несколько лет у вас будут миллионы, и тогда вы до конца жизни сможете сидеть сложа руки. Вам останется одна забота — сохранять то, что у вас есть. Ручаюсь вам, если вы меня не поддержите, они отрекутся от вас в ту же секунду, как я окажусь банкротом, спокойно предоставят вам сесть в тюрьму. Кто внесет за вас в городское казначейство полмиллиона долларов, Джордж? Где в такое время раздобудет их Молленхауэр, или Батлер, или кто-либо другой? Сейчас это немыслимо. Да они и не собираются этого делать. Когда придет конец мне, придет конец и вам, но запомните, в уголовном порядке будут преследовать вас, а не меня. Мне, Джордж, они ничего не могут сделать. Я просто маклер. Я не звал вас. Вы пришли ко мне по доброй воле. Если вы мне не поможете, ваша песенка спета, и вы прямиком отправитесь в тюрьму, за это я ручаюсь. Почему вы не защищаетесь, Джордж? Почему вы не хотите постоять за себя? У вас жена и дети, о которых вы обязаны подумать. Что может измениться от того, что вы ссудите мне еще триста тысяч? Если вас привлекут к ответственности, это никакой разницы не составит. А главное, если вы одолжите мне эти деньги, ни о каком суде уже не будет и речи. Тогда мне не угрожает банкротство. Через неделю, через десять дней буря утихнет, и мы снова будем богаты. Бога ради, Джордж, не раскисайте! Соберитесь с духом и действуйте разумно.

Он замолчал, так как лицо Стинера от отчаяния стало походить на расплывающийся студень.

— Не могу, Фрэнк! — заныл он. — Говорю вам — не могу. Они со мной расправятся без зазрения совести. Они меня сживут со света. Вы не знаете этих людей!

В позорной слабости Стинера Каупервуд прочитал свой приговор. Что можно сделать с таким человеком? Как вдохнуть в него бодрость? Нет, это безнадежно! С жестом, выражающим омерзение, гордое равнодушие и отказ от всех дальнейших увещаний, он направился к выходу, но в дверях остановился.

— Джордж, — сказал он, — мне очень жаль, от души жаль вас, а не себя. Я рано или поздно вывернусь. Я буду богат. Но вы, Джордж, совершаете величайшую в своей жизни ошибку. Вы станете нищим, каторжником, и, кроме себя, вам некого будет винить. Вся эта биржевая конъюнктура вызвана пожаром. Мои дела, если не считать падения ценностей на бирже вследствие паники, в полнейшем порядке. А вы сидите тут при деньгах и позволяете запугивать себя шайке интриганов и шантажистов, знающих о ваших и моих делах не больше, чем первый встречный. Они интересуются вами лишь постольку, поскольку надеются вас выпотрошить. Поймите: они удерживают вас от единственного шага, который еще мог бы вас спасти! Из-за каких-то несчастных трехсот тысяч, которые я через три или четыре недели вернул бы вам в пятикратном размере, вы готовы обречь меня на разорение, а себя на каторгу. Я отказываюсь понимать вас, Джордж! Вы не в своем уме! Вы до самой смерти будете раскаиваться в этом решении.

Он подождал несколько секунд: вдруг его слова в последнюю минуту возымеют какое-нибудь действие; но, убедившись, что Стинер по-прежнему глух ко всем доводам рассудка, скорбно покачал головой и вышел.

Впервые за всю свою жизнь Каупервуд на мгновение ощутил душевную усталость, более того — отчаяние. Он всегда насмешливо относился к греческому мифу о человеке, преследуемом фуриями. Но теперь злой рок словно и вправду преследовал его. Очень уж на то похоже. Но так или иначе, он не даст себя запугать. И даже в эти первые минуты тяжелых переживаний он вышел своей обычной бодрой походкой, высоко подняв голову и расправив плечи.

В большой комнате, примыкавшей к кабинету Стинера, Каупервуд встретил Альберта Стайерса, управляющего канцелярией и секретаря городского казначея. Каупервуд относился к нему по-приятельски и не раз обсуждал с ним второстепенные сделки, касавшиеся городского займа, так как Стайерс разбирался в тонкостях финансовых операций и в отчетности несравненно лучше своего начальника.

При виде Стайерса Каупервуд внезапно вспомнил о сертификатах городского займа, которые он купил на шестьдесят тысяч долларов. Он не сдал их в амортизационный фонд и в ближайшее время не собирался сдавать, хотя бы за полной невозможностью это сделать, пока у него на руках снова не будет значительных денежных ресурсов. Дело в том, что эти сертификаты он употребил на погашение неотложных платежей, а денег для их выкупа, вернее, реализации, у него не было, как, впрочем, не было и желания выкупать их. Согласно закону, Каупервуд обязан был немедленно депонировать сертификаты на счет городского казначейства и только после этого получить за них компенсацию у казначея. Иными словами, городской казначей не имел права оплачивать операцию такого рода, пока Каупервуд, лично или через своих агентов, не

представил ему подтверждения сдачи приобретенных им сертификатов в банк или другое финансовое учреждение. На деле же ни Каупервуд, ни Стинер этого закона не соблюдали. Каупервуд мог покупать сертификаты городского займа для амортизационного фонда на любую сумму, закладывать их где ему было угодно и получать соответствующую компенсацию из городского казначейства без всяких подтверждений от кого бы то ни было. К концу месяца казначейству обычно удавалось из разных источников собрать столько сертификатов, сколько нужно было для покрытия дефицита, но — и это случалось не раз — на дефицит вообще смотрели сквозь пальцы, если деньги, полученные от заклада сертификатов, нужны были Каупервуду для его биржевых махинаций. Конечно, это противоречило закону, но ни Каупервуд, ни Стинер не считались, вернее, не хотели считаться с законом.

Затруднение в данный момент заключалось в том, что Каупервуд получил от Стинера приказ воздержаться как от покупки, так и от продажи сертификатов; этот приказ ставил его в строго официальные отношения с городским казначейством. Правда, последняя покупка была совершена до получения письма, но Каупервуд не сдал сертификатов в фонд. Сейчас ему нужно было раздобыть чек на израсходованную им сумму; но ведь не исключено, что старая и удобная система сведения баланса к концу месяца уже отменена. Стайерс может потребовать у него расписку банка о сдаче сертификатов. Тогда ему не видать, как своих ушей, этого чека на шестьдесят тысяч долларов, ибо на руках у него нет бумаг, и, следовательно, депонировать их невозможно. Если же Стайерс ничего не потребует, то Каупервуд получит необходимый чек, но впоследствии

такая махинация может послужить основанием для судебного преследования. Если он до банкротства не сдаст сертификатов, ему потом могут предъявить обвинение в мошенничестве. Однако, говорил себе Каупервуд, ведь может случиться, что он и не обанкротится. Если хоть несколько банков, с которыми он ведет дела, по той или иной причине изменят свою позицию и перестанут требовать от него погашения задолженности, он спасен. Интересно, поднимет ли Стинер шум, если он все-таки получит необходимый ему чек? И как отнесутся к этому заправилы города? Сыщется ли прокурор, который даст ход этому делу, если Стинер вчинит иск? Нет, едва ли; и вообще тут бояться нечего. Любой суд примет во внимание соглашение, существовавшее между ним и Стинером, между маклером и клиентом. И вообще, когда деньги окажутся у него в руках, сто шансов против одного, что Стинер и не вспомнит о них. Эта сумма будет причислена к другим непогашенным обязательствам — и дело с концом. Все эти соображения с быстротой молнии промелькнули в мозгу Каупервуда. Надо рискнуть. Он подошел к столу секретаря.

— Послушайте, Альберт, — негромко произнес он, — я утром приобрел для амортизационного фонда на шестьдесят тысяч долларов сертификатов городского займа. Завтра я пришлю к вам за чеком, а не то лучше выпишите-ка мне его сейчас. Ваше уведомление о приостановке операций я получил. Сейчас я еду к себе в контору. Вы можете попросту занести в амортизационный фонд восемьсот облигаций из расчета семьдесят пять — восемьдесят долларов за штуку. Подробную опись я вам пришлю позднее.

— Прошу вас, мистер Каупервуд! — с готовностью согласился Альберт. — Акции, я слышал, чертовски летят вниз? Надеюсь, вас эта паника не коснулась?

— Только отчасти, Альберт, — с улыбкой отвечал Каупервуд, между тем как Стайерс уже выписывал чек.

А что, если по нелепой случайности сейчас выйдет из кабинета Стинер и не допустит выдачи чека, хотя это и законная операция? Он, Каупервуд, имеет право на этот чек — конечно, при условии, что, как полагается, депонирует облигации у хранителя амортизационного фонда. Каупервуд с волнением ждал, пока Альберт заполнит бланк, и только когда чек уже был у него в руках, вздохнул с облегчением. Шестьдесят тысяч долларов у него есть, а вечером он постарается реализовать обещанные ему семьдесят пять тысяч. Завтра надо будет снова повидаться с Китченом, Уолтером Ли, представителями «Джей Кук и Кь», «Кларк и Кь» — со всеми лицами и представителями фирм, которым он должен деньги (их набрался целый длинный список), — и узнать, как обстоит дело. Только бы выиграть время! Только бы добиться отсрочки хоть на одну неделю!

29

Но ни о какой отсрочке в такой напряженный момент не могло быть и речи. Семьдесят пять тысяч долларов, взятых взаймы у друзей, и шестьдесят тысяч, добытых у Стайерса, пошли на погашение задолженности Джирардскому национальному банку; остаток — тридцать пять тысяч — Каупервуд положил в сейф у себя дома. Затем он в последний раз обратился к банковским и финансовым деятелям с просьбой о помощи и получил отказ. Но даже в этот тяжелый для него час Каупервуд не проявил ни малейших признаков слабости. Он только поглядел из окна своего кабинета на маленький дворик и вздохнул. Что еще мог он предпринять? Он отправил отцу записку, прося его прийти к завтраку. Вторую такую же записку послал юрисконсульту Харперу Стеджеру, своему сверстнику, которого он очень любил. Ум Каупервуда лихорадочно разрабатывал все новые и новые планы получения отсрочки — Обращения к кредиторам и тому подобное, — но, увы, его банкротство было неизбежно. Хуже всего, что тогда откроются его махинации с городским казначейством и выйдет не только общественный, но и политический скандал. Самая большая из всех опасностей, грозящих ему, — это обвинение в соучастии, если не юридическом, то моральном, при расхищении городских средств. Его соперники немало поусердствуют, чтобы раздуть дело! Конечно, он и после банкротства сумеет постепенно встать на ноги, но это будет очень нелегко! А отец!.. Его тоже не пощадят. Возможно, он будет вынужден уйти с поста директора банка. Вот какие мысли одолевали Каупервуда, когда в его кабинет вошел конторский

рассыльный и доложил об Эйлин Батлер и Альберте Стайерсе, приехавшем почти одновременно с нею.

— Проси мисс Батлер, — сказал Каупервуд, вставая. — Мистеру Стайерсу предложи подождать.

Эйлин вошла быстрыми, решительными шагами. Эффектный золотисто-коричневый костюм с темно-красными пуговками подчеркивал красоту ее фигуры. На голову она сегодня надела маленькую коричневую шляпку с длинным пером, которая, по ее убеждению, очень шла к ней; шею охватывала тройная нитка золотых бус. Руки ее, как обычно, были затянуты в перчатки, маленькие ноги обуты в изящные башмачки. Выражение глаз у нее было какое-то ребячески-печальное, что она, впрочем, всячески старалась скрыть.

— Любимый мой! — воскликнула она, протягивая руки к Фрэнку. — Что случилось? Мне так хотелось вчера вечером обо всем расспросить тебя! Неужели правда, что тебе грозит банкротство? Отец и Оуэн говорили об этом вчера.

— Что именно они говорили? — спросил Каупервуд, обнимая ее и спокойно вглядываясь в ее тревожные глаза.

— Ах, ты знаешь, папа очень зол на тебя! Он подозревает нас. Кто-то написал ему анонимное письмо. Вчера он подверг меня форменному допросу, но из этого ничего не вышло. Я все отрицала. Я уже два раза приходила сюда сегодня утром, но тебя не было. Я гак боялась, что отец увидит тебя раньше и ты проговоришься.

— Я, Эйлин?

— Нет, конечно, нет! Я этого не думала. Впрочем, я и сама не знаю, что я думала. Мой милый, я в такой тревоге! Я всю ночь не спала. Я считала себя более сильной, но в душе так беспокоилась за тебя! Знаешь, что он сделал: посадил меня в кресло возле своего стола, прямо напротив окошка, чтобы лучше видеть мое лицо, и показал мне это письмо. В первую минуту я опешила и теперь даже не знаю, что и как отвечала ему.

— Что же ты все-таки сказала?

— Кажется, я сказала: «Какое бесстыдство! Это ложь!» Но сказала не сразу. Сердце у меня стучало, как кузнечный молот. Боюсь, что он все понял по моему лицу. У меня даже дыхание перехватило.

— Твой отец умный человек, — заметил Каупервуд. — Он знает жизнь. Теперь ты видишь, в каком мы трудном положении. Еще слава богу, что он показал тебе письмо, а не вздумал следить за домом. На это ему, верно, было слишком тяжело решиться. А теперь он ничего не может доказать. Но он все знает, его не обманешь!

— Почему ты думаешь, что он знает?

— Я вчера виделся с ним.

— Он что-нибудь говорил тебе?

— Нет. Но я видел его лицо: с меня было достаточно того, как он смотрел на меня.

— Милый мой! Мне ведь очень жаль и отца!

— Разумеется. Мне тоже. Впрочем, теперь уже поздно. Об этом надо было думать раньше.

— Но я тебя так люблю! Ох, дорогой мой, он мне этого никогда не простит! Он меня обожает. Он не

должен знать! Я ни в чем не признаюсь! Но… О боже, боже!

Она прижала руки к груди, а Каупервуд смотрел ей в глаза, стараясь ее успокоить. Веки Эйлин дрожали, губы подергивались. Ей было больно за отца, за себя, за Фрэнка. Глядя на нее, Каупервуд представлял себе всю силу родительской любви Батлера, а также всю силу и опасность гнева старого подрядчика. Сколько же разных обстоятельств тут переплеталось и как трагически могло все это кончиться!

— Полно, полно! — сказал он. — Теперь уж делу не поможешь. Где же моя сильная, смелая Эйлин? Я считал тебя мужественной. Неужели я ошибся? А сейчас мне так нужно, чтобы ты была храброй.

— Правда?

— Еще бы!

— У тебя большие неприятности?

— Меня, по-видимому, ожидает банкротство, дорогая.

— Не может быть!

— Да, девочка! Я загнан в тупик. И пока не вижу выхода. Я жду сейчас отца и Стеджера, моего юриста. Тебе нельзя здесь оставаться, моя прелесть. Твой отец тоже может в любую минуту зайти сюда. Мы должны где-нибудь встретиться завтра, скажем, во второй половине дня. Ты знаешь Индейскую скалу на берегу Уиссахикона?

— Знаю.

— Можешь быть там завтра в четыре?

— Могу.

— Смотри только, не следят ли за тобой. Если я не приду до половины пятого, не жди меня. Это будет значить, что я подозреваю слежку. Впрочем, бояться нечего, надо только соблюдать осторожность. А теперь иди, моя родная! В доме 931 нам уже нельзя бывать. Придется подыскать что-нибудь другое.

— Ах, родной мой, как все это ужасно!

— Ничего, Эйлин, я знаю, что ты возьмешь себя в руки и будешь храброй девочкой. Ты сама видишь, как это важно для меня!

Каупервуд впервые выглядел при ней удрученным.

— Хорошо, дорогой, хорошо! — отвечала Эйлин, обнимая его и притягивая к себе. — Да, да, ты можешь на меня положиться! О, Фрэнк, как я тебя люблю! Я просто убита горем! Но, может быть, ты еще избегнешь банкротства? Впрочем, что нам до этого, родной мой, ведь все равно ничто не изменится, правда? Разве мы будем меньше любить друг друга? Я на все готова для тебя, дорогой! И во всем буду тебя слушаться. Верь мне! От меня никто ничего не узнает.

Она всматривалась в его суровое, бледное лицо, и готовность бороться за любимого человека постепенно нарастала в ней. Ее любовь была греховной, беззаконной, безнравственной, но это была любовь, а любви, отверженной законом, присуща пламенная отвага.

— Я люблю тебя! Люблю, Фрэнк, очень люблю! — прошептала она.

Он высвободился из ее объятий.

— Иди, моя радость! Помни — завтра в четыре. Я жду тебя. И главное — молчи. Никому ни в чем не сознавайся.

— Будь спокоен!

— И не тревожься обо мне. Все как-нибудь образуется.

Он едва успел поправить галстук и в непринужденной позе усесться у окна, как в кабинет ворвался управляющий канцелярией Стинера — бледный, расстроенный, очевидно вне себя от волнения.

— Мистер Каупервуд, помните тот чек, который я вчера вечером выписал вам?.. Так вот, мистер Стинер говорит, что это незаконно, что я не должен был этого делать, и грозит всю ответственность возложить на меня. Он говорит, что меня могут арестовать за соучастие в преступлении, что он меня уволит, если я не верну чека, и немедленно отправит в тюрьму. Мистер Каупервуд, ведь я еще совсем молод. Я только что начал жизнь. У меня на руках жена и маленький сын. Неужели вы допустите, чтобы он так расправился со мной? Ведь вы отдадите мне этот чек! Правда? Без него я не могу возвратиться в казначейство. Он уверяет, что вас ждет банкротство, что вы это знали и потому не имели права брать у меня чек.

Каупервуд с любопытством глядел на него. Его поражало, до чего разнолики были все эти вестники бедствия. Да, если уж начинают сыпаться несчастья, то они сыплются со всех сторон. Стинер не вправе возводить на своего подчиненного такое обвинение. Операция с чеком не была противозаконной. Видно, казначей от страха совсем спятил. Правда, он, Каупервуд, получил распоряжение больше не покупать и

не продавать облигаций городского займа, но оно пришло уже после покупки этой партии и обратной силы не имеет. Стинер стращал и запугивал своего несчастного секретаря, человека, значительно более достойного, чем он сам, лишь бы получить обратно этот чек на шестьдесят тысяч долларов. Жалкий трус! Правильно сказал кто-то, что неизмеримы глубины низости, до которых может пасть глупец!

— Подите к Стинеру, Альберт, и скажите ему, что это невозможно. Облигации городского займа были приобретены до того, как пришло его распоряжение, это легко проверить по протоколам фондовой биржи. Здесь нет ничего противозаконного. Я имею право на этот чек, и любой суд, если я пожелаю к нему обратиться, решит дело в мою пользу. Ваш Стинер совсем потерял голову. Я еще не банкрот. Вам не грозит никакое судебное преследование, а если что-нибудь подобное и случится, то я найду способ защитить вас. Я не могу вернуть вам чек, потому что у меня его нет, но даже если бы он и был, я не стал бы его возвращать. Ибо это значило бы, что я позволил дураку одурачить меня. Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь.

— О мистер Каупервуд! — В глазах Стайерса блеснули слезы. — Стинер меня уволит! Он конфискует мой залог! Меня выгонят на улицу! Кроме жалованья, у меня почти ничего нет!

Он стал ломать руки, но Каупервуд только скорбно покачал головой.

— Не так все это страшно, как вам представляется, Альберт. Стинер только угрожает. Он ничего вам не может сделать. Это было бы несправедливо и незаконно. Вы можете подать на него в суд и получить то, что вам

причитается. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь вам. Но этот чек на шестьдесят тысяч долларов я вернуть не могу, потому что у меня его нет, понимаете? Здесь я бессилен. Повторяю: его у меня нет. Он пошел в уплату за облигации. Этих облигаций у меня тоже нет. Они в амортизационном фонде или будут там в ближайшее время.

Каупервуд оборвал свою речь, пожалев, что упомянул об этом. Последние слова нечаянно сорвались у него с языка; это случалось с ним чрезвычайно редко и сейчас объяснялось лишь исключительной трудностью положения. Стайерс продолжал умолять, но Каупервуд заявил ему, что это бесполезно. Наконец молодой человек ушел, испуганный, разбитый, надломленный. В глазах у него стояли слезы. Каупервуд от души его жалел.

Едва дверь успела закрыться за Стайерсом, как Каупервуду доложили о приходе отца.

Старик выглядел вконец измученным. Накануне они беседовали с Фрэнком почти до рассвета, но плодом этой беседы явилось только чувство полной неуверенности в будущем.

— Добрый день, отец! — бодро приветствовал его Фрэнк, заметив подавленное состояние старика.

Он и сам теперь понимал, что надежды на спасение уже не осталось, но что пользы было в этом сознаваться?

— Ну, как дела? — спросил Генри Каупервуд, с усилием поднимая глаза на сына.

— Да как тебе сказать, тучи нависли грозовые. Я решил, отец, созвать своих кредиторов и просить об отсрочке. Ничего другого мне не остается. Я лишен

возможности реализовать сколько-нибудь значительную сумму. Я надеялся, что Стинер передумает, но об этом не может быть и речи. Его секретарь только что вышел отсюда.

— Зачем он приходил? — осведомился Каупервуд-старший.

— Хотел, чтобы я вернул ему чек на шестьдесят тысяч, выданный мне в уплату за облигации городского займа, которые я купил вчера.

Фрэнк, однако, умолчал как о том, что он заложил эти облигации, так и о том, что чек он употребил на погашение задолженности Джирардскому национальному банку и сверх того еще оставил себе тридцать пять тысяч наличными.

— Ну, это уж из рук вон, — возмутился старый Каупервуд. — Я полагал, что у него больше здравого смысла. Ведь это совершенно законная сделка. Когда, ты говоришь, он уведомил тебя о необходимости прекратить покупку облигаций?

— Вчера около двенадцати.

— Он рехнулся! — лаконически заметил старик.

— Это все дело рук Молленхауэра, Симпсона и Батлера — я знаю. Они подбираются к моим акциям конных железных дорог. Но у них ничего не выйдет! Разве только после учреждения опеки по моим делам и после того, как уляжется паника. Преимущественное право приобретения этих бумаг будет предоставлено моим кредиторам. Пусть покупают у них, если хотят! Не будь этой истории со ссудой в пятьсот тысяч, я бы и не беспокоился. Мои кредиторы поддержали бы меня. Но как только это получит огласку!.. А тут еще выборы на

носу! Надо тебе сказать, что я не желал портить отношения с Дэвисоном и заложил эти облигации. Я рассчитывал собрать достаточно денег и выкупить их. Ведь им, собственно говоря, следовало бы находиться в амортизационном фонде.

Старый джентльмен сразу понял, в чем дело, и нахмурился.

— Ты можешь нажить себе таким образом большие неприятности, Фрэнк!

— Это вопрос чисто формальный, — отвечал сын. — Кто знает, быть может, я намеревался выкупить их. Да я и постараюсь это сделать сегодня до трех часов, если успею. В моей практике случалось, что проходило и восемь и десять дней, прежде чем я сдавал сертификаты в амортизационный фонд. В такую бурю, как сейчас, я имею право изворачиваться по собственному усмотрению.

Каупервуд-старший потер подбородок. То, что он услышал, до крайности встревожило его, но выхода из создавшегося положения он не видел. Его личные ресурсы были исчерпаны. Он потеребил бакенбарды и уставился в окно на зеленый дворик. Возможно, что это и вправду вопрос чисто формальный, — кто знает? Финансовые отношения городского казначея с другими маклерами и до Фрэнка не были как следует упорядочены. Это известно каждому банковскому деятелю. Может быть, и в данном случае этот обычай примут во внимание? Трудно сказать! Но как бы там ни было, дело это рискованное и не совсем чистое. Хорошо, если бы Фрэнк успел изъять облигации и депонировал их как положено.

— На твоем месте я постарался бы выкупить их, — посоветовал старый Каупервуд.

— Я так и сделаю, если смогу.

— Сколько у тебя денег?

— В общей сложности тысяч двадцать. Нужно же мне иметь немного наличности на случай прекращения платежей.

— У меня к вечеру наберется тысяч восемь — десять.

Старик рассчитывал получить эту сумму, перезаложив дом.

Каупервуд спокойно посмотрел на него. Он все сказал отцу, больше ему говорить было нечего.

— После твоего ухода я в последний раз попробую уломать Стинера, — сказал он. — Мы пойдем к нему вместе с Харпером Стеджером, которого я жду с минуты на минуту. Если Стинер будет стоять на своем, я разошлю извещения всем кредиторам, а также уведомлю секретаря биржи. Что бы ни случилось, отец, прошу тебя, не унывай! Впрочем, ты умеешь держать себя в руках. Я лечу в пропасть, а между тем, будь у Стинера капля ума… — Фрэнк помолчал. — Но что пользы говорить об этом идиоте!

Он стал смотреть в окно, думая о том, как легко могло бы все уладиться с помощью Батлера, не будь этого злополучного анонимного письма. Вместо того чтобы вредить своей же партии, Батлер в такой крайности, несомненно, выручил бы его. Но теперь…

Отец встал, собираясь уходить. Отчаяние, как лихорадочный озноб, насквозь пронизывало его.

— Так, так, — устало пробормотал он.

Каупервуду было мучительно больно за старика. Какой позор! Его отец!.. Он чувствовал, как из глубины его души поднимается волна глубокой печали, но минуту спустя уже овладел собой и стал думать о делах, соображая по обыкновению быстро и четко. Как только старик вышел, Каупервуд велел просить Харпера Стеджера. Они обменялись рукопожатием и тотчас же отправились к Стинеру. Но тот обмяк, словно порожний воздушный шар, и накачать его было уже невозможно. Каупервуд и Стеджер ушли ни с чем.

— По-моему, вам еще рано горевать, Фрэнк, — заметил Стеджер. — Мы на самых законных основаниях оттянем это дело до выборов и даже дольше, а тем временем вся шумиха уляжется. Тогда вы созовете кредиторов и попытаетесь образумить их. Они не захотят поступиться своими ценностями, даже если Стинер угодит в тюрьму.

Стеджер еще не знал об облигациях на шестьдесят тысяч долларов, заложенных Каупервудом. Так же как не знал об Эйлин Батлер и безудержной ярости ее отца.

30

За это время произошло еще одно событие, о котором не догадывался Каупервуд. В тот самый день, когда почта доставила Батлеру анонимное письмо, касающееся его дочери, миссис Фрэнк Алджернон Каупервуд получила почти точную копию этого письма, но почему-то без упоминания имени Эйлин.

«Вам, вероятно, неизвестно, что ваш муж путается с другой женщиной. Ежели не верите, понаблюдайте за домом номер 931 по Десятой улице.»

В понедельник утром, когда миссис Каупервуд поливала цветы в оранжерее, горничная подала ей это письмо. Настроение у Лилиан в то утро было самое безмятежное, ибо она пребывала в полном неведении относительно долгого совещания минувшей ночью. Случалось, что Фрэнк и раньше бывал озабочен финансовыми бурями, но они обычно проносились мимо, не причиняя ему вреда.

— Положите письмо на стол в библиотеке, Энни. Я потом прочту.

Она полагала, что это какое-нибудь светское приглашение.

Через несколько минут Лилиан неторопливо — она не умела торопиться — поставила лейку и направилась в библиотеку. Письмо лежало на зеленом кожаном бюваре, составлявшем одно из украшений огромного стола. Она взяла в руки конверт, не без любопытства посмотрела на него — бумага была дешевенькая — и распечатала. Прочитав письмо, она слегка побледнела, и рука у нее задрожала, но лишь чуть-чуть. Не умея страстно любить,

она, следовательно, не умела и сильно страдать. Она была оскорблена, возмущена, в первую минуту даже взбешена, а главное — испугана, но не потеряла присутствия духа.

Тринадцать лет жизни с Каупервудом многому научили ее. Она знала, что он эгоистичен, занят только собой и далеко не так увлечен ею, как раньше. Ее былые опасения насчет разницы в их возрасте постепенно оправдались. С некоторых пор Фрэнк уже не так любил ее, и она это чувствовала. Что тому причиной? — спрашивала она себя, и этот вопрос порой подразумевал: кто тому причиной? Может быть, дела так поглощали ее мужа и он целиком ушел в свои финансы? А теперь означает ли это письмо, что наступил конец ее владычеству? Может ли быть, что Фрэнк собирается ее бросить? Куда же она денется? Что будет делать? Беспомощной она, конечно, не была, так как у ней имелся свой капитал, который она доверила Фрэнку. Но кто эта другая женщина? Молода ли она, хороша ли собой, каково ее положение в обществе? Неужели это… У миссис Каупервуд перехватило дыхание: неужели… она невольно раскрыла рот… это Эйлин Батлер?

Лилиан стояла неподвижно, уставившись на письмо, отгоняя от себя эту мысль. Несмотря на всю осторожность Эйлин и Каупервуда, она не раз замечала, что их тянет друг к другу. Каупервуд был расположен к Эйлин и вечно за нее заступался. Лилиан и сама не раз Думала, что у них удивительно схожие характеры. Фрэнк любил молодежь. Но ведь Эйлин стоит несравненно ниже его на общественной лестнице, вдобавок он женат и у него двое детей… Его положение в обществе и в финансовом мире прочно и солидно, а этим не шутят. Тем не менее миссис Каупервуд задумалась: сорок лет,

двое детей, морщинки под глазами и сознание, что ты уже не так любима, как некогда, способны заставить задуматься любую женщину, даже богатую и независимую. Она может уйти от него, но куда? Что скажут люди? Как быть с детьми? Удастся ли ей изобличить его в незаконной связи? Захватить с поличным? Да и хочет ли она этого? Сейчас она поняла, что никогда не любила Фрэнка так, как некоторые жены любят своих мужей. Ее чувство не было обожанием. Все эти годы она считала его неотъемлемой принадлежностью своей жизни и надеялась, что он, в свою очередь, достаточно привязан к ней, чтобы сохранять верность, или по крайней мере настолько увлечен своими делами, что никакая пошлая связь вроде той, о которой говорилось в этом письме, не выведет его из душевного равновесия, не станет помехой в его блестящей карьере. Очевидно, она ошиблась. Что же ей теперь делать? Что говорить? Как действовать? Ее отнюдь не блестящий ум отказывался помочь ей в эту критическую минуту. Она не умела ни думать о будущем, ни бороться.

Заурядный ум в лучшем случае напоминает собой простейший механизм. Его функции подобны органическим функциям устрицы, вернее, даже моллюска. Через свой сифонный мыслительный аппаратик он соприкасается с могучим океаном фактов и обстоятельств. Но этот аппаратик поглощает так мало воды, так слабо гонит ее, что его работа не отражается на беспредельном водном пространстве, каким является жизнь. Противоречивости бытия такой ум не замечает. Ни малейший отзвук житейских бурь и бедствий не доходит до него, разве только случайно. Когда грубый и наводящий на размышление факт — каким в данном

случае оказалось письмо — вдруг заявляет о себе среди мерного хода событий, в таком уме происходит мучительное смятение, вся, так сказать, нормальная работа его расстраивается. Сифонный аппарат перестает действовать надлежащим образом. Он всасывает страх и страдание. Плохо прилаженные части скрипят, как засоренная машина, и жизнь либо угасает, либо едва теплится.

Миссис Каупервуд обладала заурядным умом. В сущности, она совсем не знала жизни, и жизнь ничему не могла научить ее. Ее мозг почти не воспринимал то, что происходит вокруг. Она была начисто лишена живости, которой отличалась Эйлин Батлер, хотя и воображала себя очень живой. Увы, это было заблуждение! Лилиан была прелестна в глазах тех, кто ценит безмятежность. Для людей иного склада она была лишена всякой прелести. В ней не было ни обаяния, ни блеска, ни силы. Фрэнк Каупервуд недаром почти с первых дней спрашивал себя, зачем он, собственно, женился на ней. Теперь он уже не задавался такими вопросами, ибо считал неразумным копаться в ошибках и неудачах прошлого. Сожалеть о чем-то, по его мнению, было нелепостью. Он смотрел только вперед и думал только о будущем.

И все же по-своему миссис Каупервуд была глубоко потрясена; она бесцельно бродила по дому во власти своих горьких дум. В письме ей советовали собственными глазами убедиться в измене Каупервуда, но она решила повременить с этим. Надо еще придумать, как установить слежку за домом 931, если уж решаться на такое дело. Фрэнк ни о чем не должен догадываться. Если окажется, что это Эйлин Батлер, хотя скорей всего это не она, надо будет известить ее родителей. Но, с другой стороны, это

значило бы выставить себя на посмешище. Лилиан решила по мере сил не обнаруживать своих чувств за обедом, но Каупервуд к обеду не пришел. Он был так занят, столько времени проводил в частных беседах с разными лицами, в совещаниях с отцом и другими дельцами, что Лилиан почти не видела его ни в этот понедельник, ни в последующие дни.

Во вторник в половине третьего Каупервуд созвал своих кредиторов, а в половине шестого уже было решено, что он сдает дела под опеку. Но даже в эти часы, лицом к лицу с главными кредиторами — их было человек тридцать,

— ему не казалось, что произошла катастрофа. Все это только временные затруднения. Конечно, сейчас картина складывалась мрачная. История с его долгом городскому казначейству наделает много шума. Не меньший шум поднимется из-за заложенных им облигаций городского займа, если Стинер не предпочтет смолчать об этом. Но как бы там ни было, а Каупервуд не считал себя обреченным человеком.

— Джентльмены, — сказал он, заканчивая свою речь, не менее четкую, самоуверенную, независимую и убедительную, чем всегда, — вы видите теперь, как обстоит дело. Эти бумаги стоят сейчас не меньше, чем когда-либо, так как с материальными ценностями, которые они олицетворяют, ровно ничего не случилось. Если вы предоставите мне отсрочку на пятнадцать или, скажем, на двадцать дней, я, несомненно, приведу свои дела в полный порядок. И я, пожалуй, единственный, кто в состоянии это сделать, ибо мне досконально известно положение на бирже. Биржа скоро придет в нормальное состояние. Более того, в делах наступит небывалый

подъем. Мне нужно только время. При данной конъюнктуре время — это все. Я прошу вас сказать, могу ли я рассчитывать на пятнадцать или двадцать дней отсрочки, или, если вы сочтете это возможным, на месяц. Вот все, что мне требуется.

Он вышел из приемной, где предусмотрительно были опущены все шторы, и заперся в своем кабинете, чтобы предоставить кредиторам возможность свободно обмениваться мнениями. Среди них были и друзья, стоявшие за него. Он ждал час, другой, третий, а они все совещались. Наконец к нему вошли Уолтер Ли, судья Китчен, Эвери Стоун — представитель «Джей Кук и Кь» — и еще несколько человек. Это был комитет, выбранный для подробного выяснения того, как обстоят его дела.

— Сегодня уже ничего сделать не удастся, Фрэнк, — спокойным тоном сообщил Уолтер Ли. — Большинство настаивает на ревизии отчетности. В этих запутанных сделках с городским казначеем, о которых вы говорили, кое-что остается неясным. По всей видимости, вам так или иначе следует временно объявить себя неплатежеспособным; не исключено, что впоследствии вам будет дана возможность возобновить свое дело.

— Очень жаль, джентльмены, — сдержанно отвечал Каупервуд. — Будь моя воля, я предпочел бы что угодно, только не прекращать платежей даже на час, ибо мне известно, что это значит. Если вы будете рассматривать принадлежащие мне ценные бумаги с учетом их настоящей рыночной стоимости, то убедитесь, что мой актив значительно превосходит пассив, но какой от этого прок? Если двери моей конторы будут закрыты, мне перестанут доверять. Мне следовало бы продолжать дело.

— Мне крайне неприятно, Фрэнк, дружище, — сказал Ли, сердечно пожимая ему руку, — я лично предоставил бы вам любую отсрочку. Но эти старые дураки не желают прислушаться к голосу благоразумия. Они до смерти напуганы паникой. Видимо, им самим приходится туго, так что их особенно и винить нельзя. Я не сомневаюсь, что вы снова встанете на ноги, хотя, конечно, лучше было бы не закрывать лавочку. Но с этими господами ничего не поделаешь. Черт возьми, о банкротстве тут не может быть и речи. Дней через десять ваши бумаги снова поднимутся до полной стоимости.

Судья Китчен тоже выразил Каупервуду сочувствие. Но от этого было не легче. Его принуждали закрыть дело. Решено было пригласить эксперта-бухгалтера для проверки конторских книг. Но ведь Батлер тем временем может предать огласке историю с городским казначейством, а Стинер заявить в суд о его последней операции с покупкой облигаций городского займа.

Человек шесть друзей, желавших быть ему полезными, оставались с ним до четырех часов утра, но ему все-таки пришлось закрыть контору. Сделав это, Каупервуд понял, что его мечтаниям о богатстве и славе нанесен сокрушительный удар, а может быть, и окончательное поражение.

Оставшись, наконец, совсем один в своей спальне, он поглядел на себя в зеркало. Лицо у него было бледное и усталое, но по-прежнему мужественное и энергичное. «К черту! — мысленно произнес он. — Им меня не осилить! Я еще молод! И я выкручусь из этой передряги. Непременно выкручусь. Я найду выход!»

Погруженный в тяжелое раздумье, он начал медленно, словно бы нехотя, раздеваться. Потом

вытянулся на кровати и несколько мгновений спустя — как это ни странно при обстоятельствах столь сложных и запутанных — уже спал. Такова была его натура — он мог спать, безмятежно посапывая, тогда как его отец бродил взад и вперед по комнате, не находя себе покоя. Старому джентльмену все рисовалось в самых мрачных красках, будущее было исполнено безнадежности. А перед его сыном все-таки брезжила надежда.

В это же время Лилиан Каупервуд у себя в спальне ворочалась и металась на постели, потрясенная свалившимся на нее новым бедствием. Из отрывочных разговоров с отцом, мужем, Анной и свекровью она поняла, что Фрэнк накануне банкротства или уже обанкротился — точно еще никто ничего не знал. Фрэнк был слишком занят, чтобы вдаваться в объяснения. Всему виною был пожар в Чикаго. Об истории с городским казначейством пока еще не упоминалось. Фрэнк попал в западню и теперь отчаянно боролся за свое спасение.

В эти тяжкие минуты миссис Каупервуд на время забыла о письме, в котором говорилось об измене мужа, вернее, не думала о нем. Она была поражена, испугана, ошеломлена. Ее маленький прелестный мирок вдруг бешено завертелся перед глазами. Нарядный корабль их благосостояния стало немилосердно кидать из стороны в сторону. Ей казалось, что она обязана лежать в постели и стараться уснуть, но глаза ее были широко раскрыты и голова болела от дум. Несколько часов назад Фрэнк настойчиво убеждал ее не беспокоиться за него, говоря, что она все равно ничем ему помочь не может; и Лилиан ушла от него в мучительном недоумении: в чем же заключается ее долг, какую линию поведения ей избрать? Кодекс условных приличий повелевал ей

оставаться при муже. Так она и решила сделать. То же самое подсказывала ей религия, а также привычка. Надо подумать о детях. Они ни в чем не виноваты. Надо отвоевать Фрэнка, если еще возможно. Это пройдет. Но все же какой тяжелый удар!

31

Весть о неплатежеспособности банкирской конторы «Фрэнк Каупервуд и Кь» вызвала сильное возбуждение на фондовой бирже и вообще в Филадельфии. Очень уж это было неожиданно, и очень уж о большой сумме шла речь. Фактически Каупервуд обанкротился на миллион двести пятьдесят тысяч долларов, а его актив при сильно снизившемся курсе ценных бумаг едва достигал семисот пятидесяти тысяч. Немало труда было потрачено на составление баланса Каупервуда; когда же этот баланс был официально опубликован, курс акций упал еще на три пункта, и на другой день газеты посвятили этому событию множество статей под жирными заголовками. Каупервуд не намеревался объявлять себя полным банкротом. Он думал лишь временно приостановить платежи, с тем чтобы спустя некоторое время договориться с кредиторами и вновь открыть дело. Только два препятствия стояли на пути к этому; во-первых, история с пятьюстами тысячами долларов, взятыми из городских средств под смехотворно низкие проценты, что ясно показывало, как велись дела в казначействе; во-вторых, чек на шестьдесят тысяч долларов. Финансовая сметка Каупервуда натолкнула его на мысль расписать имевшиеся у него акции на имя наиболее крупных кредиторов, что впоследствии должно было помочь ему возобновить дело. Все тот же Харпер Стеджер заготовил документы, по которым «Джей Кук и Кь», «Эдвард Кларк и Кь», «Дрексель и Кь» и некоторые другие банкирские дома получили преимущественные права. Каупервуд прекрасно понимал, что если даже мелкие кредиторы возмутятся и подадут на него в суд, добиваясь пересмотра этого решения или даже

объявления его банкротом, то это большой роли не сыграет,

— гораздо важнее, что он проявил намерение в первую очередь удовлетворить претензии наиболее влиятельных кредиторов. Это придется им по душе, и впоследствии, когда все уляжется, не исключено, что они пожелают помочь ему. Кроме того, множество исков в такую критическую минуту — прекраснейшее средство для оттяжки времени, покуда биржа и настроение умов не придут в норму, и Каупервуд даже хотел, чтобы исков было побольше. Харпер Стеджер хмуро улыбнулся — хотя в разгар этого финансового урагана улыбки были редкостью, — когда они вдвоем подсчитали количество исков.

— Право же, вы молодец, Фрэнк! — воскликнул он. — Вы скоро будете окружены такой сетью исков, что никто через нее не пробьется. Все ваши кредиторы будут вести непрерывные тяжбы друг с другом.

Каупервуд усмехнулся.

— Я хочу только выиграть время, ничего больше, — отозвался он.

И все же впервые в жизни он чувствовал себя несколько подавленным, ибо дела, в течение стольких лет поглощавшего всю его энергию и умственные силы, более не существовало.

Главной причиной его беспокойства были не пятьсот тысяч долларов, которые он взял из городского казначейства, хотя он знал, что весть об этом займе до крайности взбудоражит общественное мнение и финансовый мир,

— но в конце концов это была законная или по крайней мере полузаконная операция, — а шестьдесят тысяч долларов в сертификатах городского займа, которые он своевременно не сдал в амортизационный фонд и теперь не мог бы сдать, даже если бы нужная для их выкупа сумма свалилась на него с неба. Сертификаты от него ускользнули, и это было неоспоримым фактом. Каупервуд день и ночь думал, как выйти из положения. Единственное, что можно теперь сделать, решил он наконец, это пойти к Молленхауэру или Симпсону — он лично не знал ни того, ни другого, но после разрыва с Батлером ему больше не к кому было обратиться — и сказать им: правда, в настоящее время я не в состоянии вернуть пятьсот тысяч долларов, но если против меня не возбудят преследования, которое лишит меня возможности позднее возобновить свое дело, то я даю слово вернуть все эти деньги до последнего цента. Если они на это не пойдут и его делу будет нанесен непоправимый ущерб, тогда пусть дожидаются, пока он соблаговолит возместить эти деньги, чего, по всей вероятности, никогда не будет! Но, по совести говоря, он и сам толком не знал, как даже они, при всем их могуществе, могли бы приостановить судебное преследование. В его бухгалтерских книгах значилось, что он должен эту сумму городскому казначейству, а в книгах городского казначейства значилось, что пятьсот тысяч долларов числятся за ним. Кроме того, существовала местная организация, именовавшая себя «Гражданской ассоциацией помощи городскому самоуправлению», которая время от времени ревизовала общественные фонды. Присвоение Каупервудом городских средств не укроется от нее, и тогда может быть назначено общественное расследование. Об этом

деле уже знали многие частные лица, к примеру, кредиторы, проверявшие сейчас его отчетность.

Так или иначе, но Каупервуд считал необходимым встретиться с Молленхауэром или Симпсоном. Предварительно он решил переговорить с Харпером Стеджером. Итак, спустя несколько дней после закрытия конторы он вызвал его и рассказал ему об этой операции, умолчав, впрочем, о том, что он вовсе не собирается сдавать облигации в амортизационный фонд, прежде чем его дела не придут в порядок.

Харпер Стеджер, высокий, худощавый, элегантный, обладал приятным голосом и прекрасными манерами, хотя поступь его странным образом напоминала поступь кота, почуявшего близость собаки. Его удлиненное, тонкое лицо принадлежало к тому типу, который очень нравится женщинам; глаза у него были голубые, а волосы каштановые, с рыжеватым отливом. Его пристальный, загадочный взгляд, устремленный поверх тонкой руки, — он имел обыкновение в задумчивости прикрывать ею рот и подбородок, — производил сильное впечатление на собеседника.

Это был в полном смысле слова жестокий человек, но жестокость его сказывалась не в действиях, а в полном равнодушии ко всему на свете; ничего святого для него не существовало. Он не был беден, не был и рожден в бедности. Природа наделила его острым умом, направленным главным образом на то, что было движущим стимулом в его работе, — на достижение еще большего богатства и известности. Сотрудничество с Каупервудом открывало широкий путь к обогащению. Кроме того, Каупервуд очень интересовал его. Никем другим из своей клиентуры Стеджер так не восхищался.

— Пусть возбуждают судебное преследование, — сказал он, мгновенно вникнув, как опытный юрист, во все детали положения. — Обвинение будет чисто формальным. Если даже дело дойдет до суда, что я считаю маловероятным, то обвинение сведется к растрате или присвоению сумм доверенным лицом. В данном случае доверенным лицом были вы. И единственный выход из положения для вас — показать под присягой, что вы получили чек с ведома и согласия Стинера. Тогда, думается мне, вам будет предъявлено чисто формальное обвинение в превышении прав, и вряд ли найдется состав присяжных, который решится вынести обвинительный приговор только на том основании, что между вами и городским казначеем существовал не вполне официальный сговор. И все-таки я ни за что не ручаюсь, — никогда не знаешь заранее, что скажут присяжные. Это выяснится лишь в процессе разбирательства. Все будет зависеть от того, к кому суд отнесется с большим доверием — к вам или к Стинеру, и еще от того, насколько желательно будет заправилам города найти козла отпущения и выгородить Стинера. Тут все дело в предстоящих выборах. Если бы эта паника приключилась в другое время…

Каупервуд движением руки остановил Стеджера. Это он знал и сам.

— Все зависит от того, как сочтут нужным действовать наши политики. А в них я не слишком уверен. Очень сложное создалось положение. Сейчас это дело уже не замолчишь. — Разговор происходил в доме Каупервуда, в его рабочем кабинете. — Будь что будет, — добавил он. — А скажите, Харпер, что мне грозит, если меня обвинят в присвоении собственности

доверителя и суд признает меня виновным? Сколько лет тюремного заключения это сулит в худшем случае?

Стеджер в задумчивости потер подбородок.

— Как вам сказать, — произнес он наконец, — вопрос вы мне задали серьезный. Закон гласит: от одного до пяти лет. Но обычно по таким делам приговор не превышает трех лет. Конечно, в вашем случае…

— Ах, оставьте, — не без досады прервал его Каупервуд. — Мое дело нисколько не отличается от других таких же, и вы прекрасно это знаете. Если господа политики пожелают назвать это растратой, так это и будет называться.

Он задумался, а Стеджер встал и неторопливо прошелся по комнате. Он тоже думал.

— А скажите, посадят меня в тюрьму до полного окончания дела, то есть пока оно не пройдет все инстанции, или нет? — с суровой прямотой спросил Каупервуд.

— Видите ли, во всех судебных процессах такого рода, — теребя себя за ухо и стараясь выражаться как можно мягче, отвечал Стеджер, — на первых стадиях разбирательства еще можно избежать заключения, но после того, как суд вынесет обвинительный приговор, это уже трудно, даже невозможно. По закону только в тюрьме можно дожидаться разрешения на пересмотр дела и подтверждения обоснованности кассационной жалобы, а на это требуется обычно дней пять.

Молодой делец пристально смотрел в окно, и Стеджер добавил:

— Сложная получается история.

— Еще бы не сложная! — отозвался Каупервуд и про себя добавил: «Тюрьма! Пять дней в тюрьме!..»

Принимая во внимание все прочие обстоятельства, это было для него страшным ударом. Пять дней в тюрьме, пока не будет подтверждена обоснованность кассационной жалобы, — если такое подтверждение вообще последует. Нет, этого надо избежать во что бы то ни стало. Тюрьма! Исправительная тюрьма! Его репутации финансиста будет нанесен сокрушительный Удар.

32

Необходимость собраться вместе и окончательно разрешить наболевший вопрос стала ясна всем трем финансистам — Батлеру, Молленхауэру и Симпсону, ибо положение час от часу становилось все более угрожающим. На Третьей улице носились слухи, что, помимо крупного банкротства, самым неблагоприятным образом отозвавшегося на финансовой конъюнктуре, и без того катастрофической после чикагского пожара, Каупервуд с помощью Стинера

— или Стинер с помощью Каупервуда — ограбили городское казначейство на пятьсот тысяч долларов. Теперь вставал вопрос, как замолчать это дело до окончания выборов, которые должны были состояться только через три недели. Банкиры и маклеры перешептывались о том, что Каупервуд, уже зная о предстоящем ему банкротстве, взял из городского казначейства какой-то чек, да еще без ведома Стинера. Кроме того, возникла опасность, что дело дойдет до сведения некоей достаточно беспокойной организации, известной под названием «Гражданская ассоциация помощи городскому самоуправлению», председателем которой был весьма популярный в Филадельфии владелец железоделательного завода Скелтон Уит, человек исключительной честности и высокой нравственности. Уит уже много лет вел наблюдение за ставленниками находившейся у власти республиканской партии в тщетной надежде пробудить в них политическую совесть. Это был человек серьезный и суровый, одна из тех непреклонных и справедливых натур, которые смотрят на жизнь сквозь призму долга и,

не смущаемые никакими низменными страстями, идут своим путем, стремясь доказать, что десять заповедей стоят превыше порядков, заведенных людьми.

Первоначально эта ассоциация была создана с целью искоренить злоупотребления в налоговом аппарате. Но затем в промежутках между выборами она начала неустанно расширять круг своей деятельности: полезность ее временами подтверждалась то случайной газетной заметкой, то спешным покаянием какого-нибудь второстепенного городского деятеля, который после этого обычно прятался за спину могущественных политических заправил, вроде Батлера, Молленхауэра и Симпсона, и тогда уже чувствовал себя в полной безопасности. В данный момент ассоциации нечего было делать, и прекращение платежей конторой Каупервуда, замешанной в злоупотреблении средствами городского казначейства, по мнению многих политиков и банкиров, как раз и являлось тем полем деятельности, которого она давно искала.

Совещание, решавшее судьбу Каупервуда, состоялось дней через пять после его банкротства, в доме сенатора Симпсона на Риттенхауз-сквер, в центре района, населенного потомственной финансовой знатью Филадельфии. Симпсон, родом из квакерской семьи, обладал недюжинным художественным вкусом и врожденным чутьем финансиста, которым он широко пользовался для того, чтобы добиться политического влияния. Он проявлял исключительную щедрость в тех случаях, когда деньгами можно было завербовать могущественного или хотя бы полезного политического приверженца, и широко раздавал назначения на посты ревизоров, попечителей, судей, уполномоченных республиканской партии и прочие административные

должности тем, кто преданно и беспрекословно творил его волю. Могуществом своим он намного превосходил и Молленхауэра и Батлера, так как олицетворял собой власть штата и всего государства. Когда главари республиканской партии готовились развернуть предвыборную кампанию по всей стране и жаждали узнать, какую позицию в отношении этой партии займет штат Пенсильвания, они обращались именно к сенатору Симпсону. И Симпсон давал им исчерпывающие ответы. Давно перешагнув с политической арены штата на общегосударственную политическую арену, он был заметной фигурой в сенате Соединенных Штатов в Вашингтоне, и его голос имел большой вес на всех совещаниях по финансовым вопросам.

Четырехэтажный дом в венецианском стиле, который он занимал, выделялся множеством необычных архитектурных деталей: оконным витражом, дверью со стрельчатой аркой, медальонами цветного мрамора, вделанными в стены. Сенатор был пламенным поклонником Венеции. Он часто посещал ее, так же как Афины и Рим, и вывез оттуда много прекрасных образцов искусства минувших времен. Он очень любил строгие бюсты римских императоров, а также уцелевшие фрагменты статуй мифических богов и богинь, красноречиво свидетельствующие о художественных замыслах эллинов. На антресолях причудливого дома хранилось одно из ценнейших сокровищ его коллекции: резной мраморный цоколь с установленным на нем конической формы монолитом, фута в четыре вышиной, который венчала на редкость похотливая голова Пана; рядом с монолитом виднелись маленькие ножки, отломанные до колен и, по всей вероятности, некогда принадлежавшие прелестной нагой нимфе. Цоколь,

поддерживавший монолит и ножки нимфы, был украшен бычьими черепами, высеченными из того же куска мрамора и увитыми розами. Приемная Симпсона была уставлена бюстами Калигулы, Нерона и других римских императоров, а вдоль лестницы шли барельефы, изображавшие шествие нимф и жрецов, влекущих к алтарям жертвенных животных. В одном из отдаленных уголков дома висели часы с музыкальным боем — каждые четверть часа они издавали странные, мелодичные и жалобные звуки. Стены комнат были увешаны фламандскими гобеленами, в бальном зале, в библиотеке, в большой и малой гостиных стояла резная мебель времен итальянского Возрождения. В живописи сенатор себя знатоком не считал и потому не полагался на свой вкус, но все картины, имевшиеся у него, принадлежали кисти выдающихся мастеров. Больше, чем картины, его занимали горки с экзотическими бронзовыми статуэтками, венецианским стеклом и китайским нефритом. Симпсон не был рьяным коллекционером, но отдельные редкостные экземпляры доставляли ему огромное удовольствие. Разбросанные там и сям тигровые и леопардовые шкуры, диван, покрытый шкурой мускусного быка, и столы, на которых тисненая кожа и сафьян заменяли обычное сукно, — все это делало его жилище элегантным и изысканно роскошным. Изящнейшая столовая Симпсона была выдержана в стиле жакоб, а за пополнением его винного погреба заботливо следил лучший филадельфийский специалист. Сенатор Симпсон любил устраивать большие приемы, и, когда двери его дома распахивались для званого обеда, банкета или бала, можно было с уверенностью сказать, что у него соберутся сливки местного общества.

Совещание происходило в библиотеке сенатора, встретившего своих коллег со щедрым радушием человека, знающего, что предстоящая беседа сулит ему только приятное. На столе были приготовлены сигары, вина, разные сорта виски. Обмениваясь в ожидании Батлера общими замечаниями на темы дня, Молленхауэр и Симпсон покуривали сигары, и каждый таил про себя свои сокровенные мысли.

Случилось так, что накануне Батлер узнал от окружного прокурора мистера Дэвида Петти об операции с чеком на шестьдесят тысяч долларов. В то же самое время Стинер сообщил об этом Молленхауэру. И Молленхауэр (а не Батлер) тотчас же сообразил, что, воспользовавшись положением Каупервуда, можно, пожалуй, отвести обвинение от партии, а заодно еще и выманить у него принадлежащие ему акции конных железных дорог, разумеется, тайком и от Батлера и от Симпсона. Для этого следовало только припугнуть Каупервуда судебным преследованием.

Вскоре вошел и Батлер, прося извинить его за опоздание. Пытаясь скрыть свое семейное горе за личиной благодушия, он сказал:

— Ну, доложу вам, и жизнь! Все банки, вынь да положь, требуют обеспечения своих ссуд!

Он взял сигару и закурил.

— Положение действительно не слишком обнадеживающее, — с улыбкой отозвался сенатор Симпсон. — Прошу вас, господа, садитесь. Я несколько часов назад имел разговор с Эвери Стоуном из банкирской конторы «Джей Кук и Кь». По его словам, на Третьей улице уже поговаривают о причастности Стинера к банкротству этого Каупервуда, и газеты,

конечно, не замедлят поднять отчаянный шум, если не будут приняты соответствующие меры. Я не сомневаюсь, что эта новость весьма скоро дойдет до ушей мистера Уита, главы «Гражданской ассоциации помощи городскому самоуправлению». Нам предстоит, джентльмены, сейчас же решить, как мы будем действовать. Прежде всего, по-моему, мы должны без лишней шумихи вычеркнуть кандидатуру Стинера из наших списков. Эта история может повлечь за собой очень серьезные последствия, и нам необходимо тотчас же сделать все от нас зависящее, чтобы их предотвратить.

Молленхауэр затянулся сигарой и выпустил голубовато-серое облачко дыма. Он молчал и, казалось, был погружен в созерцание гобеленов на противоположной стене.

— Совершенно ясно, — продолжал сенатор Симпсон, видя, что его коллеги отмалчиваются, — если мы в кратчайший срок не возбудим судебного преследования по своей инициативе, это сделает кто-нибудь другой, и вся история предстанет в весьма невыгодном свете. Мое мнение таково: выждать, пока не обнаружится, что кто-то уже готов действовать, пусть та же пресловутая ассоциация, и тогда самим обратиться в суд, сделав вид, будто это наше давнишнее намерение. Самое важное — выгадать время: поэтому я предлагаю всеми возможными способами затруднить доступ к книгам городского казначейства. Если же ревизия все-таки начнется — а я вполне допускаю эту возможность, — надо постараться, чтобы она устанавливала факты как можно медленнее.

Сенатор не считал нужным говорить обиняками со своими влиятельными собратьями, когда дело касалось важных вопросов, и предпочитал в таких случаях вопреки обычной для него напыщенности речи называть вещи своими именами.

— Что ж, по-моему, предложение весьма благоразумное, — сказал Батлер, поглубже усаживаясь в кресле и всячески стараясь скрыть свое подлинное настроение. — Не сомневаюсь, что наши люди сумеют затянуть ревизию недельки на три. Они, насколько мне известно, спешить не любят.

Произнося это, он только думал, как бы ему перевести разговор на самого Каупервуда и посоветовать возможно скорее возбудить против него судебное преследование, но так, чтобы никто не мог упрекнуть его, Батлера, в том, что он пренебрегает интересами партии.

— Да, мысль неплохая, — спокойно подтвердил Молленхауэр, выпуская кольцо дыма и думая о том, как бы вообще избежать разговора о Каупервуде и его преступлении до того, как он, Молленхауэр, с ним повидается.

— Нам нужно тщательно разработать план действий, — снова заговорил сенатор Симпсон, — чтобы в случае необходимости немедленно приступить к его выполнению. Я считаю, что это дело всплывет не позже чем через неделю, а то и раньше, так что времени терять нельзя. Мой совет: пусть мэр города напишет городскому казначею и запросит у него объяснения по этому делу, а казначей ответит на это письмо; далее, пусть мэр с согласия членов муниципалитета временно отрешит казначея от должности — по-моему, закон дает ему такое

право — или по меньшей мере лишит его основных полномочий. Разумеется, мы не станем предавать эти мероприятия огласке, пока не окажемся к тому вынужденными. Но письма будут у нас наготове, и мы немедленно опубликуем их в случае, если нас заставят действовать.

— Если джентльмены не возражают, я позабочусь о том, чтобы письма были заготовлены, — спокойно, но не без поспешности вставил Молленхауэр.

— Да, это разумная предосторожность, — непринужденно заметил Батлер. — При сложившейся обстановке мы, пожалуй, ничего другого и не можем сделать, разве только переложить ответственность на кого-нибудь еще, в этом смысле я и хотел бы высказаться. Может статься, что мы совсем не так уж беспомощны, если учесть все обстоятельства.

В его глазах блеснул торжествующий огонек, а по лицу Молленхауэра пробежала легкая тень досады. Итак, Батлер знает, а может быть, и Симпсон тоже!

— Что вы хотите этим сказать? — спросил сенатор и с любопытством взглянул на Батлера. Он ничего не знал об истории с чеком, так как вообще не очень внимательно следил за деятельностью городского казначейства и со времени предыдущего совещания не виделся ни с кем из своих коллег. — Неужели кто-нибудь посторонний причастен к этому делу?

Его острый ум политика усиленно заработал.

— Гм!.. Посторонним я бы его не назвал, — учтиво продолжал Батлер. — Я имею в виду самого Каупервуда. С тех пор как мы виделись в последний раз, джентльмены, выяснились кое-какие подробности, из

которых я заключаю, что этот молодой человек далеко не так чист, как мы полагали. Похоже на то, что он был зачинщиком всей авантюры и втянул в нее Стинера вопреки его желанию. Я по своему почину занялся этим делом, и, думается мне, Стинер здесь не так уж виноват. По некоторым данным выяснилось, что Каупервуд многократно грозил Стинеру всевозможными неприятностями, если тот не даст ему еще денег, и только на днях обманом выманил у него крупную сумму, из чего следует, что он виновен не менее, чем Стинер. Город заплатил ему шестьдесят тысяч долларов за облигации городского займа, а они почему-то не значатся в амортизационном фонде. И если теперь под угрозой оказалась репутация партии, то я не вижу, почему мы должны церемониться с Каупервудом.

Батлер замолчал, убежденный, что нанес Каупервуду серьезный удар, и он не ошибался. Сенатор и Молленхауэр оба были крайне удивлены, так как на первом совещании Батлер, казалось, был весьма расположен к молодому банкиру, а то, что он сейчас им сообщил, едва ли могло служить достаточным основанием для столь враждебного выступления. Особенно удивлен был Молленхауэр, ибо в симпатии Батлера к Каупервуду он в свое время усматривал возможный камень преткновения для своих планов.

— Скажите на милость! — задумчиво произнес сенатор Симпсон, проводя по губам своей холеной белой рукой.

— Да, я могу это подтвердить, — спокойно сказал Молленхауэр, видя, что его собственный, так хорошо продуманный план застращать Каупервуда и отнять у него акции конных железных дорог рассыпается

прахом. — У меня на днях был разговор со Стинером обо всем этом деле: он уверяет, что Каупервуд пытался выманить у него еще триста тысяч долларов, но, убедившись, что ничего не выйдет, умудрился без его ведома и согласия получить шестьдесят тысяч.

— Но каким же образом? — недоверчиво спросил сенатор Симпсон.

Молленхауэр рассказал о проделке Каупервуда.

— Вот оно что! — заметил сенатор, когда Молленхауэр кончил. — Ну и ловкач! И вы говорите, что облигации не сданы в амортизационный фонд?

— Нет, не сданы, — с готовностью подтвердил Батлер.

— Что ж, нам это только на руку. — Симпсон облегченно вздохнул. — Козел отпущения, пожалуй, найден. Это-то нам и нужно. При подобных обстоятельствах я не вижу смысла выгораживать Каупервуда. Напротив, если понадобится, мы можем даже сделать его центром внимания. И тогда пусть себе газеты болтают на здоровье. В конце концов они для того и существуют. Мы же постараемся должным образом осветить дело, и тогда выборы успеют пройти, прежде чем выяснятся все подробности, даже если вмешается мистер Уит. Я охотно возьму на себя заботу о прессе.

— Ну, если так, — сказал Батлер, — то этим наши хлопоты сейчас, пожалуй, исчерпываются; однако я считаю, что Каупервуд должен понести наказание наравне со Стинером. Он виновен не меньше, а может быть, и больше, и я лично хочу, чтобы он получил по заслугам. Ему место в тюрьме, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы его туда отправить.

Молленхауэр и Симпсон с удивлением посмотрели на своего обычно столь благодушного коллегу; что значило это внезапное стремление покарать Каупервуда? По мнению Молленхауэра и Симпсона, — в другое время к этому так же отнесся бы и Батлер, — Каупервуд, преступив юридические права, не преступил своих человеческих прав. Они значительно меньше винили его за то, что он сделал, чем Стинера за то, что тот позволил ему это сделать. Но раз Батлер избрал такую точку зрения и формально преступление было налицо, то они, естественно, желали обернуть все это на благо республиканской партии, даже если Каупервуду и придется сесть в тюрьму.

— Возможно, что вы правы, — осторожно заметил сенатор Симпсон. — Итак, заготовьте письма. Генри, и если уж нам придется до выборов возбуждать против кого-нибудь преследование, то, пожалуй, целесообразнее всего будет возбудить его против Каупервуда. О Стинере мы упомянем только в случае крайней необходимости. Я оставляю это дело на ваше попечение, так как в пятницу мне необходимо уехать в Питтсбург; не сомневаюсь, что вы ничего не упустите из виду.

Сенатор встал. Он всегда дорого ценил свое время. Батлер был очень доволен исходом совещания. Теперь, в случае протеста общественности или каких-либо выпадов против республиканской партии, триумвират уж не пощадит Каупервуда. Важно только, чтобы поскорее раздались протестующие голоса, но, судя по всему, ждать этого остается недолго. Надо еще хорошенько вникнуть в дела и без того раздраженных кредиторов Каупервуда: если удастся скупить у них векселя и тем самым помешать Каупервуду возобновить свое дело, то песенка его спета. Да, добром ему уж не придется

помянуть тот день, когда он совратил Эйлин с пути истинного, подумал Батлер. Расплата приближается.

33

Все виденное и слышанное только укрепляло Каупервуда в мысли, что городские политиканы намереваются сделать из него козла отпущения, и притом в ближайшем будущем. Через несколько дней после того, как Каупервуд закрыл свою контору, к нему зашел Альберт Стайерс и сообщил немаловажные новости. Стайерс все еще состоял на службе в городском казначействе, — как, впрочем, и Стинер, — и давал требуемые объяснения Сэнгстеку и еще одному уполномоченному Молленхауэра, которые занимались ревизией книг казначейства. Стайерс пришел к Каупервуду, чтобы получить от него дополнительные сведения относительно чека в шестьдесят тысяч долларов, а кстати поговорить и о своей собственной причастности к этому делу. Стинер, как выяснилось, пугал своего управляющего судом, утверждая, что он виноват в недостаче этой суммы и что поручителям придется отвечать за него. Каупервуд, услышав его слова, только рассмеялся и уверил Стайерса, что все это сплошной вздор.

— Альберт, — улыбаясь, сказал он, — уверяю вас, вся эта история выеденного яйца не стоит. Вы не несете никакой ответственности за то, что выдали мне чек. Вот что я вам предложу: посоветуйтесь с моим юрисконсультом Стеджером. Это вам не будет стоить ни цента, и он точно скажет, что следует предпринять. А теперь возвращайтесь к себе в казначейство и не волнуйтесь больше. Я очень сожалею, что причинил вам столько неприятностей, но все равно из ста шансов только один за то, что вы сохранили бы свое место при

новом казначее. А я со временем подыщу вам подходящую должность.

В это же время Каупервуда заставило серьезно задуматься письмо от Эйлин с подробным изложением разговора, происшедшего у Батлера за обеденным столом в отсутствие отца семейства. Оуэн говорил о том, что деятели республиканской партии — ее отец, Молленхауэр и Симпсон — собираются «прижать к ногтю» Фрэнка за противозаконную финансовую комбинацию, — какую именно, она толком не поняла, но, кажется, речь шла о каком-то чеке. Эйлин с ума сходила от беспокойства. Неужели они хотят засадить его в тюрьму, спрашивала она в письме. Ее возлюбленного! Ее ненаглядного Фрэнка! Неужели с ним вправду может стрястись такое несчастье?

Прочитав это письмо, Каупервуд насупился и злобно стиснул зубы. Необходимо что-то предпринять, может быть, повидать Молленхауэра, или Симпсона, или того и другого и через них предложить городу какое-то компромиссное решение. В настоящее время он не мог обещать им наличных денег, только векселя, но не исключено, что это их устроит. Неужели они намерены погубить его из-за такого пустячного дела, как эта операция с чеком? Да тут и противозаконного-то ничего нет. Что же тогда сказать о пятистах тысячах, которые ему выдал Стинер, или о сомнительных операциях прежних городских казначеев! Какая подлость! Ловко задумано с точки зрения политики, но до чего же это низко и какая страшная опасность грозит ему.

Симпсона, однако, не оказалось в городе, он уехал на десять дней, а Молленхауэр, памятуя высказанное Батлером предложение воспользоваться промахом

Каупервуда в интересах партии, уже предпринял те шаги, о которых они договорились. Письма были составлены и только ждали отправки. Кроме того, после описанного нами совещания мелкие сошки из республиканской партии, беря пример со своих повелителей, стали на всех углах трубить об этой истории с чеком, утверждая, что ответственность за дефицит в городском казначействе в основном ложится на Каупервуда. Молленхауэр с первого же взгляда понял, с каким сильным человеком он имеет дело. Каупервуд не выказал ни малейшего страха. Как всегда спокойно и учтиво, он заявил, что имел обыкновение занимать в городском казначействе деньги под низкие проценты, что биржевая паника сильно ударила по нему и в настоящий момент у неге нет возможности вернуть долг.

— До меня дошли слухи, мистер Молленхауэр, — говорил он, — что против меня, как соучастника в проступке казначея, собираются возбудить дело. Я все же надеюсь, что городские власти не прибегнут к такой мере и что вы вашим влиянием предотвратите этот шаг. Мои дела отнюдь не в плохом состоянии, и для того, чтобы окончательно привести их в порядок, мне требуется лишь некоторое время. Я предлагаю моим кредиторам пятьдесят центов за доллар наличными и векселя сроком на один, два и три года для погашения остальной задолженности. Что же касается ссуды, полученной мною из городского казначейства, то, если мы придем к какому-нибудь соглашению, я рассчитаюсь доллар за доллар и хочу просить лишь о небольшой отсрочке. Курс ценных бумаг, как вы сами понимаете, должен подняться, и, если не говорить об уже понесенных мною убытках, я опять буду на коне. Насколько мне известно, дело зашло достаточно далеко.

Газеты в любой миг могут поднять шум, если им не заткнут рот те, кто ими распоряжается. — Каупервуд выразительно поглядел на Молленхауэра. — Если бы при разбирательстве этого дела мне удалось остаться более или менее в стороне, то, конечно, с незапятнанным именем я бы скорее встал на ноги. Так било бы выгоднее и для города, ибо тогда я безусловно сполна погасил бы свою задолженность.

Он улыбнулся самой приятной и самой вкрадчивой улыбкой. На Молленхауэра, видевшего его в первый раз, он безусловно произвел впечатление. Тот не без любопытства поглядывал на молодого Давида из мира финансистов. Если бы существовала хоть малейшая возможность принять предложение Каупервуда, хоть слабая надежда, что деньги в самом деле будут возвращены и Каупервуд в недалеком будущем снова встанет на ноги, Молленхауэр как следует обдумал бы свой ответ. Ведь в таком случае можно было бы рассчитывать, что Каупервуд переведет на него то, что ему удастся спасти из своего состояния. Но при сложившихся обстоятельствах почти не было надежды, что он когда-нибудь оправится от удара. Молленхауэр слышал, будто «Гражданская ассоциация помощи городскому самоуправлению» зашевелилась и не то уже приступила, не то собиралась приступить к расследованию. А уж если она приложит руку к этому делу, то, без всякого сомнения, доведет его до конца.

— Видите ли, мистер Каупервуд, — любезным тоном отвечал он, — вся беда в том, что дело зашло слишком далеко и фактически находится вне сферы моего влияния. Я не имею к нему почти никакого касательства. Но если я правильно понял, вас беспокоит не столько вопрос о пятистах тысячах долларов, заимствованных из

казначейства, сколько этот чек на шестьдесят тысяч долларов, полученный вами только на днях. Мистер Стинер утверждает, что вы завладели чеком незаконно, и всячески поносит вас. Об этом уже узнал мэр города и другие официальные лица, и, конечно, не исключено, что они предпримут какие-нибудь действия. Я не в курсе дела.

Молленхауэр говорил явно неискренне. Это было заметно по тому, как уклончиво он упомянул о мэре города, пешке в его руках. Каупервуд с первых же его слов понял это. Он почувствовал сильное негодование, но совладал с собой и сохранил учтиво-почтительный тон.

— Я получил чек на шестьдесят тысяч долларов, — с напускной откровенностью отвечал он, — накануне объявления моей неплатежеспособности, это верно. Но он предназначался в уплату за сертификаты, которые я приобрел по распоряжению мистера Стинера, и деньги мне причитались на законном основании. Они были мне нужны, и я их потребовал. В чем же здесь правонарушение?

— Никакого правонарушения и нет, если операция была произведена с соблюдением всех формальностей, — благодушно согласился Молленхауэр. — Но ведь, насколько я понимаю, эти сертификаты были приобретены для амортизационного фонда, а между тем они туда не поступили. Чем вы это объясняете?

— Простым упущением, — самым невинным тоном и с таким же благодушием, как и Молленхауэр, отвечал Каупервуд. — Сертификаты были бы там, если бы мне не пришлось совершенно внезапно объявить себя

неплатежеспособным. Я не в состоянии был самолично за всем уследить. Да у нас и порядка такого не было, чтобы немедленно передавать сертификаты в фонд. Если вы спросите мистера Стинера, он вам это подтвердит.

— Вот как! — промолвил Молленхауэр. — Из разговора со Стинером у меня сложилось другое впечатление. Так или иначе, в амортизационном фонде их нет, и с точки зрения закона это составляет весьма существенную разницу. Я лично в этом деле ни с какой стороны не заинтересован — или, во всяком случае, не больше, чем всякий добрый республиканец. В сущности, я не вижу, как вам помочь. В чем, по-вашему, может выразиться мое вмешательство?

— Не думаю, чтобы вы могли что-нибудь для меня сделать, мистер Молленхауэр, — довольно сухо отвечал Каупервуд, — разве только вы соизволите быть со мною совершенно откровенным. Я ведь не новичок в политических делах Филадельфии. И мне известны силы, которые движут ими. Я считал, что вы можете в корне пресечь эту затею преследовать меня судебным порядком и дать мне время снова встать на ноги. За эти шестьдесят тысяч долларов я несу не большую уголовную ответственность, чем за те пятьсот тысяч, которые раньше получил в казначействе, — пожалуй, даже меньшую. Не я посеял эту панику на бирже. Не я поджег Чикаго. Мистер Стинер и его приятели извлекли немало выгод из деловых отношений со мной. Неужели же я не имел права после всех услуг, оказанных мною городу, сделать попытку спасти себя; неужели я не мог рассчитывать на некоторую снисходительность городского управления, которому принес столько пользы! Я поддерживал паритет городского займа. Что же касается денег, которые мне давал взаймы мистер

Стинер, то ему жаловаться не на что — он имел с этого дела более чем высокий процент.

— Совершенно верно, — согласился Молленхауэр, глядя в упор на Каупервуда и невольно проникаясь уважением к самообладанию этого человека и к трезвости его ума. — Я прекрасно понимаю, как все это вышло, мистер Каупервуд. Мистер Стинер несомненно многим обязан вам — равно как и все городское самоуправление. Я не касаюсь того, как должен поступить муниципалитет. Я знаю только, что вы вольно или невольно попали в очень каверзную историю и что общественное мнение в некоторых кругах чрезвычайно возбуждено против вас. Я лично не становлюсь ни на ту, ни на другую сторону, и, если бы не создалась ситуация, при которой уже ничего нельзя предпринять, я не возражал бы против оказания вам посильной помощи. Но теперь что же можно сделать? Республиканская партия накануне выборов оказалась в очень тяжелом положении. И ответственность за это, хотя бы и невольная, ложится на вас, мистер Каупервуд. Мистер Батлер, по причине мне неизвестной, настроен в отношении вас крайне недоброжелательно. А мистер Батлер пользуется у нас огромным влиянием…

«Возможно ли, чтобы Батлер открыл им, какая ему нанесена обида?» — подумал Каупервуд, но тут же отогнал от себя эту мысль. Такое предположение было слишком невероятно.

— Я от души сочувствую вам, мистер Каупервуд, но единственное, что я могу вам посоветовать, — переговорите с мистером Батлером и мистером Симпсоном. Если они найдут какой-нибудь способ оказать вам помощь, я охотно присоединюсь к ним. Ничего

другого я, право, придумать не могу. Сколько-нибудь значительного влияния на дела города я не имею.

Собственно говоря, Молленхауэр ожидал, что тут-то Каупервуд и предложит ему свои ценные бумаги, но тот этого не сделал. Он лишь сказал:

— Очень вам благодарен, мистер Молленхауэр, за любезный прием. Охотно верю, что вы помогли бы мне, будь у вас такая возможность. Но теперь мне придется самому вести борьбу, в меру своих сил, конечно. Разрешите откланяться.

Каупервуд поднялся и вышел. Он только сейчас понял, как безнадежна была его попытка.

Тем временем, заметив, что хотя слухи об этой истории в казначействе растут и ширятся, но никто, по-видимому, не собирается предпринимать каких-либо шагов для ее выяснения, мистер Скелтон Уит, президент «Гражданской ассоциации помощи городскому самоуправлению», в конце концов был вынужден (отнюдь не против своего желания) созвать в зале заседаний на Маркет-стрит комитет из десяти филадельфийских граждан, председателем которого он состоял, и доложить собравшимся о том, как произошло банкротство Каупервуда.

— Мне думается, джентльмены, — заявил он, — что нашей организации представляется случай оказать городу и его жителям немалую услугу и таким образом в полной мере оправдать название, которое мы для себя избрали, надо только как можно тщательнее произвести расследование и выявить всю подноготную этого дела. А затем уже, опираясь на факты, решительно требовать, чтобы раз навсегда был положен конец тем безобразным злоупотреблениям, которые имели место в данном

случае. Я знаю, что эта задача не из легких. Республиканская партия и те, на кого она опирается — в городе и в штате, — будут, конечно, против нас. Ее лидеры, разумеется, боятся шума — это может помешать прохождению их списка во время выборов — и не станут равнодушно взирать на развиваемую нами деятельность. Но если мы проявим достаточную стойкость, то тем самым будет сделано большое и полезное дело. В нашей общественной жизни далеко не все обстоит благополучно. Нельзя допускать, чтобы принципы права попирались до бесконечности. Пора уже научиться соблюдать их. Посему я и ставлю этот вопрос на ваше благосклонное рассмотрение.

Мистер Уит опустился на свое место, и комитет немедленно занялся рассмотрением вопроса. Прежде всего решено было выделить комиссию (так впоследствии гласило официальное сообщение комитета) «для расследования странных слухов, разнесшихся по городу и порочащих один из наиболее важных отделов городского самоуправления». Комиссии было предложено доложить о результатах расследования на заседании комитета, назначенном уже на следующий вечер. За сутки, прошедшие между двумя заседаниями, четыре члена комитета, крупные знатоки финансового дела, выполнили возложенную на них задачу и представили тщательно разработанный отчет, правда, не в точности соответствовавший фактам, но все же близкий к истине настолько, насколько можно было к ней приблизиться за такой короткий срок.

«Как выяснилось (говорилось в отчете после вступительных слов, объясняющих, с какой целью была создана комиссия), в городском казначействе в течение многих лет практиковался обычай при выпуске

утвержденных городским советом займов поручать реализацию таковых какому-нибудь биржевому маклеру; последний, как правило, через небольшие промежутки времени, обычно первого числа каждого месяца, отчитывался перед городским казначеем в суммах, вырученных от продажи облигаций. В данном случае таким маклером является Фрэнк А.Каупервуд, в отношениях с которым казначейство, по-видимому, не придерживалось даже этой порочной и отнюдь не деловой системы. События последних дней — пожар в Чикаго, вызванное им падение ценностей на фондовой бирже и последовавшее за этим банкротство Фрэнка А.Каупервуда — до такой степени запутали дело, что комиссия не в состоянии была точно установить, практиковалась ли вообще какая-нибудь регулярная отчетность. Но, судя по тому, как мистер Каупервуд орудовал облигациями городского займа, закладывая их в банках и так далее, можно вывести заключение, что он ни перед кем не отчитывался и что в его распоряжении всегда находились сотни тысяч долларов, принадлежащих городу, в наличных деньгах, а также ценные бумаги, посредством которых он проделывал различные финансовые операции. К сожалению, мы еще не имели возможности детально разобраться, к каким результатам привели эти операции.

Некоторые из них заключались в том, что крупные партии облигаций закладывались еще до их выпуска, причем заимодавцу выдавалось подтверждение из канцелярии казначея, что ордер на соответствующее количество облигаций выписан и оформлен. Такие методы, видимо, практиковались уже довольно давно, и так как это вряд ли могло делаться без ведома городского казначея, то остается предположить

существование между ним и мистером Каупервудом преступного сговора, целью которого было незаконное использование средств города в своих личных интересах.

Помимо того, город уплачивал немалые проценты по вышеупомянутым закладным операциям, а деньги, вырученные этим путем, оставались в руках приглашенного казначеем биржевого маклера и, следовательно, городу никакой прибыли не приносили. Платежи по краткосрочным обязательствам города временно приостанавливались, а на те деньги, которым следовало находиться в городской кассе, мистер Каупервуд крупными партиями и по пониженной цене скупал эти обязательства. В результате законные держатели ордеров на облигации городского займа не могли получить того, что им причиталось, а городское казначейство терпело еще больший убыток, чем составляет сам по себе дефицит, превышающий пятьсот тысяч долларов. В настоящее время отчетность городского казначея проверяется экспертом-бухгалтером, и через несколько дней точно выяснится, как производились все эти операции. Будем надеяться, что огласка дела положит конец таким порочным методам.»

К отчету была приложена копия статьи уголовного кодекса о злоупотреблении общественным доверием. Далее говорилось, что если никто из налогоплательщиков не пожелает возбудить судебное дело против замешанных в этом преступлении лиц, то комиссия почтет своим долгом взять это на себя, не считаясь с тем, что подобные действия едва ли входят в ее компетенцию.

Отчет был немедленно передан в газеты. И хотя Каупервуд и лидеры республиканской партии были уже

ко всему готовы, это явилось для них большим ударом. Стинер совсем потерял голову от страха. Холодный пот прошиб его, когда он увидел заметку, сдержанно озаглавленную: «Заседание Гражданской ассоциации помощи городскому самоуправлению». Все газеты были так тесно связаны с политическими и финансовыми заправилами города, что не осмелились открыто выступить с комментариями. Редакторы и издатели уже с неделю были в основном осведомлены о подробностях дела, но от Молленхауэра, Симпсона и Батлера поступил приказ: большого шума не поднимать. Это, мол, весьма невыгодно отразится на делах города, принесет ущерб торговле и так далее. Не следует пятнать честь Филадельфии. Словом, старая история!

В первую очередь, конечно, возник вопрос, кто же главный виновник — городской казначей, биржевой маклер или, может быть, они оба? Сколько денег фактически исчезло из казначейства? Куда они ушли? Кто такой Фрэнк Алджернон Каупервуд? И почему он не арестован? Каким образом ему удалось до такой степени втереться в доверие лиц, возглавляющих финансовые учреждения города? И хотя тогда еще не наступила эпоха так называемой «желтой прессы», бойко комментирующей жизнь и поступки отдельных личностей, местные газеты, даже те, что были по рукам и ногам связаны волей политических и финансовых магнатов, не сочли возможным обойти это дело молчанием.

Появились неизбежные передовицы. В торжественных и очень сдержанных тонах они повествовали о том, какой позор и бесчестье может

навлечь один человек на большой город и благородную политическую партию.

Тогда-то и был пущен в ход план, сфабрикованный Молленхауэром, Батлером и Симпсоном «на крайний случай» и состоящий в том, чтобы, взвалив всю вину на Каупервуда, тем самым хотя бы на время снять пятно позора с республиканской партии. Забавно было видеть, с какой готовностью все газеты и даже «Гражданская ассоциация помощи городскому самоуправлению» согласились, что главный, если не единственный виновник всего Каупервуд. Конечно, Стинер выдал ему ссуду, более того — отдал в его руки реализацию городских займов, но все же считалось, почему — неизвестно, что Каупервуд нагло злоупотребил доверием казначея. Затем следовали неясные намеки на то, что он получил чек на шестьдесят тысяч долларов за облигации, которых не оказалось в амортизационном фонде; категорически утверждать это до получения точных сведений никто не решался, так как и газеты и производившая расследование комиссия знали, что законы штата предусматривают суровую кару за клевету.

В надлежащее время муниципалитет передал в прессу безупречно подготовленную переписку. В одном из писем мэр города Джейкоб Борчардт требовал, чтобы мистер Джордж Стинер немедленно объяснил свое странное поведение; другое являлось ответом мистера Стинера на запрос мистера Борчардта. Лидеры республиканской партии считали, что это послужит наилучшим доказательством стремления партии очистить свои ряды от всяких темных личностей и вместе с тем оттянет дело до окончания выборов.

КАНЦЕЛЯРИЯ МЭРА ГОРОДА ФИЛАДЕЛЬФИИ

18 октября 1871 г.

Городскому казначею мистеру Джорджу Стинеру.

Милостивый государь!

К нам поступили сведения, что значительный пакет облигаций городского займа, выпущенных Вами для продажи от лица городского казначейства — и, соответственно, с разрешения мэра города, — очутился вне Вашего контроля, а вырученные за продажу указанных облигаций суммы не были переданы в казначейство.

Далее нам стало известно, что крупная сумма принадлежащих городу денег попала в руки одного, а может быть, и нескольких биржевых маклеров или банкиров, имеющих конторы на Третьей улице, и что означенные биржевые маклеры или банкиры оказались в затруднительном финансовом положении, вследствие чего интересам города может быть нанесен существенный ущерб.

Посему просим Вас безотлагательно сообщить, соответствуют ли эти сведения истине, дабы я, как мэр города, если эти прискорбные факты действительно имели место, мог своевременно принять меры, возлагаемые на меня долгом и обязанностями.

С совершенным уважением Джейкоб Борчардт, мэр города Филадельфии.

КАНЦЕЛЯРИЯ КАЗНАЧЕЯ ГОРОДА ФИЛАДЕЛЬФИИ

19 октября 1871 г.

Достопочтенному Джейкобу Борчардту.

Милостивый государь!

Настоящим подтверждаю получение Вашего письма от 18-го сего месяца и весьма сожалею, что в данный момент не в состоянии представить запрошенных Вами сведений. К сожалению, я должен подтвердить, что городское казначейство действительно переживает затруднения, проистекающие от нарушения долга тем биржевым маклером, который в течение ряда лет ведал реализацией городских займов. Довожу также до Вашего сведения, что с того момента, как это было обнаружено, я не переставал и не перестаю прилагать все старания к тому, чтобы предупредить или хотя бы уменьшить грозящие городу потери.

С глубоким почтением Джордж Стинер.

КАНЦЕЛЯРИЯ МЭРА ГОРОДА ФИЛАДЕЛЬФИИ

21 октября 1871 г.

Городскому казначею мистеру Джорджу Стинеру.

Милостивый государь!

При сложившихся обстоятельствах считаем необходимым отменить предоставленные Вам полномочия по размещению городского займа в той его части, которая еще не реализована. Всякие обращения за облигациями, разрешенными к выпуску, но еще не выпущенными, следует направлять в нашу канцелярию.

С совершенным почтением Джейкоб Борчардт, мэр города Филадельфии.

Писал ли мистер Джейкоб Борчардт те письма, под которыми значилась его подпись? Нет, не писал. Их составил мистер Энбер Сэнгстек в конторе мистера Молленхауэра, и мистер Молленхауэр, ознакомившись с

их содержанием, заметил, что, «пожалуй, так будет хорошо, даже очень хорошо».

А писал ли мистер Стинер, казначей города Филадельфии, свой сугубо дипломатический ответ? Нет, не писал. Мистер Стинер находился в состоянии полной прострации и однажды, принимая ванну, даже расплакался. Письмо это тоже написал мистер Энбер Сэнгстек и только дал его подписать мистеру Стинеру. А мистер Молленхауэр, просмотрев письмо перед отправкой, нашел, что оно составлено «как надо». Время сейчас было такое, что все крысята и все мыши притаились в своих норках, ибо из темноты на них глядел огромными горящими глазами свирепый кот — общественное мнение, — действовать осмеливались лишь самые старые, самые мудрые крысы.

В это самое время господа Молленхауэр, Батлер и Симпсон уже несколько дней совещались с окружным прокурором мистером Петти относительно мер, которые, способствуя официальному обвинению Каупервуда, дали бы Стинеру возможность выйти сухим из воды. Батлер, само собой разумеется, настаивал на судебном преследовании Каупервуда. Петти утверждал, что обелить Стинера нельзя, поскольку бухгалтерские книги Каупервуда пестрят записями о приобретении для него акций конных железных дорог. Что же касается Каупервуда… «Дайте мне подумать!» — сказал он. Потом они обсуждали вопрос, не следует ли арестовать Каупервуда и, если понадобится, судить его, ибо самый факт его ареста в глазах общества послужит доказательством его виновности, а попутно и благородного негодования городского самоуправления, и таким образом до окончания выборов отвлечет внимание

общественности от той сомнительной роли, которую в данном случае играла республиканская партия.

В результате всех этих переговоров вечером 26 октября 1871 года Молленхауэр отправил к мэру города Эдварда Стробика, представителя городского совета, с официальным заявлением, в котором Фрэнк Каупервуд — биржевой маклер, приглашенный городским казначеем для реализации займа, — обвинялся в растрате и присвоении чужих средств. То, что такое же обвинение одновременно было предъявлено и Джорджу Стинеру, роли не играло. Козлом отпущения был избран Каупервуд.

34

Разительный контраст, который являли собой в то время Каупервуд и Стинер, заслуживает того, чтобы на нем ненадолго остановиться. Лицо Стинера сделалось пепельно-серым, губы посинели. Каупервуд, невзирая на очень невеселые мысли о возможном тюремном заключении, о том, как воспримут это его родители, жена, дети, коллеги и друзья, оставался спокойным и уравновешенным, что объяснялось, конечно, исключительной стойкостью его духа. В этом вихре бедствий он ни на секунду не утратил трезвости мышления и мужества. *Совесть*, которая терзает человека и нередко даже приводит его к гибели, никогда не тревожила Каупервуда. Понятия греха для него не существовало. Жизнь, с его своеобразной точки зрения, имела лишь две стороны — силу и слабость. Пути праведные и неправедные? Такое различие ему было неведомо. В его представлении все это было метафизическими абстракциями, раздумывать над которыми он не имел охоты. Добро и зло? Пустяки, придуманные попами для наживы. Что же касается благосклонного отношения общества или, напротив, остракизма, которому так часто подвергается человек, попавший в полосу несчастий, то что такое, собственно, остракизм? Разве ему или его родителям был когда-нибудь открыт доступ в избранное общество? Нет! А затем ведь вовсе не исключено, что после того как пронесутся эти бедствия, общество вновь признает его. Нравственность и безнравственность? Сущий вздор. Вот сила и слабость — это другое дело. Если человек силен, он всегда может постоять за себя и принудить других считаться с ним. Если же человек слаб, ему надо бежать

в тыл, удирать с линии огня. Он, Каупервуд, был силен, знал это и всегда верил в свою счастливую звезду. Словно чья-то рука — он не мог бы сказать, чья именно, и это было единственное из области метафизики, что занимало его, — всегда и во всем ему помогала, все улаживала, хотя бы в самую последнюю минуту. Она раскрывала перед ним изумительные возможности. Почему он был наделен такой проницательностью? Почему ему так везло и в финансовых делах и в личной жизни? Он ничем этого не заслужил, ничем этого не оправдывал. Случайность?.. Но как тогда объяснить никогда не покидавшее его ощущение уверенности, его деловые «наития», внезапные и не раз им испытанные «побуждения» к действию? Жизнь — темное, неразгаданное таинство, но, как бы там ни было, ее составные части — сила и слабость. Сила одерживает победу, слабость терпит поражение. Теперь ему осталось лишь полагаться на свою быструю сообразительность, на точность расчетов, верность суждений, ни на что больше. И право же, Каупервуд, оживленный, развязный, холеный и щегольски одетый, с подкрученными усами, в тщательно выутюженном костюме, со здоровым румянцем на чисто выбритом лице, мог бы служить образцом неукротимой энергии и отваги.

Он сам отправился к Скелтону Уиту и попытался изложить ему свою точку зрения на всю эту историю, настаивая на том, что он поступал точно так же, как многие другие до него. Уит выслушал его недоверчиво. Он не понимал, например, почему в амортизационном фонде нет скупленных облигаций на шестьдесят тысяч долларов. Ссылки Каупервуда на обычай не произвели на него впечатления. Правда, мистер Уит согласился, что другие люди из мира политики наживались не хуже

Каупервуда, и предложил ему самолично выступить свидетелем обвинения, на что Каупервуд, не задумываясь, ответил отказом.

— Я не доносчик, — напрямик заявил он мистеру Уиту.

Тот в ответ только криво усмехнулся.

Мистер Батлер ликовал, несмотря на всю свою озабоченность предстоящими выборами, так как теперь «этот негодяй» попался в сети, из которых ему скоро не выпутаться. В случае победы республиканской партии на пост окружного прокурора вместо Дэвида Петти намечался ставленник Батлера — молодой ирландец Деннис Шеннон, не раз консультировавший Батлера по юридическим вопросам. Два других лидера охотно согласились на его кандидатуру. Этот Шеннон, умный малый, пяти футов десяти дюймов ростом, атлетического сложения, красивый, светловолосый, синеглазый и румяный, был весьма искусным и темпераментным судейским оратором и юристом. Он очень гордился расположением старого Батлера, соблаговолившего включить его в списки кандидатов на распределяемые республиканской партией посты, и обещал в случае своего избрания по мере сил и уменья выполнять его волю.

Но для лидеров республиканской партии в этой бочке меда была все-таки и ложка дегтя, а именно: в случае осуждения Каупервуда та же участь ждала и Стинера. Сыскать лазейку, через которую мог бы выскочить городской казначей, увы, не представлялось возможным. Если Каупервуд виновен в том, что обманом присвоил шестьдесят тысяч долларов городских денег, тогда Стинер присвоил пятьсот тысяч. Это грозило

тюремным заключением сроком на пять лет. Стинер мог отрицать свою вину, доказывая, что он действовал в духе установившихся традиций; мог уклониться от горькой необходимости признать себя виновным, но это не спасло бы его. Никакой состав присяжных не решился бы пройти мимо столь красноречивых фактов. Что касается Каупервуда, то, несмотря на предубеждение общества, можно было еще сомневаться, будет ли ему вынесен обвинительный приговор. В отношении же Стинера сомнений быть не могло.

Необходимо вкратце рассказать, как развертывались события, после того как Каупервуду и Стинеру было предъявлено официальное обвинение. Юрисконсульт Каупервуда Стеджер пронюхал, что преследование уже возбуждено, еще до того как это стало общеизвестно. Он посоветовал своему клиенту тотчас же предстать перед следственными органами, не дожидаясь приказа об аресте, и тем самым предотвратить газетную шумиху, которая возникла бы неизбежно, если бы за ним явилась полиция.

А когда мэр города подписал ордер на арест Каупервуда, тот, следуя указаниям Стеджера, явился вместе с ним к мистеру Борчардту и внес залог — двадцать тысяч долларов (его поручителем был президент Джирардского национального банка мистер Дэвисон) в обеспечение своей явки в Центральное управление полиции на слушание дела. Для защиты интересов города председатель городского совета Стробик пригласил адвоката Марка Олдслоу. Мэр с любопытством смотрел на Каупервуда, так как, будучи человеком сравнительно новым в политическом мире

Филадельфии, он раньше не знал его. Каупервуд отвечал ему приветливым взглядом.

— Изрядная комедия, сэр, — спокойно заметил Каупервуд, и Борчардт, улыбнувшись, любезно возразил, что он лично смотрит на всю эту процедуру как на формальность, неизбежную в такое тревожное время.

— Ведь вы и сами это понимаете, мистер Каупервуд, — заключил он.

— Да, конечно, понимаю! — с усмешкой отвечал тот.

Затем последовало еще несколько довольно небрежно произведенных дознаний в так называемом центральном суде, где Каупервуд, когда ему вручили обвинительный акт, заявил, что не признает себя виновным. На ноябрь здесь же был назначен предварительный разбор его дела, и Каупервуд, учитывая сложность обвинения, составленного Петти, счел за благо предстать перед присяжными, решающими вопрос о предании суду. Последние, под нажимом вновь избранного окружного прокурора Шеннона, постаравшегося обставить все это очень торжественно, постановили, что дело будет слушаться 5 декабря под председательством судьи Пейдерсона из Первого отдела квартальной сессии, то есть местного отделения пенсильванского суда, разбирающего уголовные дела такого характера. Суд над Каупервудом состоялся, как и следовало ожидать, уже после бурных осенних выборов. Благодаря хитроумным махинациям Молленхауэра и Симпсона, не гнушавшихся даже насилием над личностью избирателя и фальсификацией бюллетеней, выборы принесли новую победу республиканской партии, хотя ее ставленники и получили меньшее число голосов,

чем в прошлый раз. «Гражданская ассоциация помощи городскому самоуправлению», несмотря на понесенное на выборах поражение, объяснявшееся мошенническими приемами противников, отважно продолжала громить тех, кого она считала главными злоумышленниками.

Все это время Эйлин Батлер следила за перипетиями дела Каупервуда по крикливым газетным статьям и городским пересудам; следила со всею горячностью, страстью и напряжением, на какие только была способна ее недюжинная и сильная натура. Там, где было замешано чувство. Эйлин не умела рассуждать: она часто виделась с Фрэнком, и он многое рассказывал ей, — насколько, конечно, ему позволяла его природная осторожность, — и потому, несмотря на газетную шумиху и разговоры, слышанные ею дома за столом и у чужих людей, она была твердо убеждена, что каким бы дурным его ни изображали, он на самом деле вовсе не таков. Только одна заметка, вырезанная Эйлин из филадельфийской газеты «Паблик леджер» вскоре после того, как Каупервуду было предъявлено формальное обвинение в мошенничестве, немного утешила и успокоила ее. Эйлин спрятала заметку у себя на груди, так как эти строки почему-то казались ей доказательством, что ее обожаемый Фрэнк не так уж виноват и что на него возведено много напраслины. Заметка же эта была просто сокращенным изложением одного из многочисленных «манифестов», которые выпускала «Гражданская ассоциация помощи городскому самоуправлению». Она гласила:

«Дело обстоит, видимо, гораздо серьезнее, чем можно было предполагать. Дефицит в пятьсот тысяч долларов образовался не вследствие продажи облигаций городского займа и отсутствия должной отчетности за

таковую, а в результате ссуд, предоставлявшихся городским казначеем своему биржевому маклеру. Кроме того, комитет получил достоверные сведения, что ежемесячный расчет за проданные биржевым маклером облигации городского займа производился по самому низкому курсу истекшего месяца, разницу же между этим курсом и тем, по которому фактически продавались облигации, городской казначей и его маклер делили между собой. Отсюда следует, что в их обоюдных интересах было время от времени оказывать давление на рынок с целью добиться низкого расчетного курса. Тем не менее комитет рассматривает судебное преследование, возбужденное против биржевого маклера, мистера Каупервуда, лишь как попытку отвлечь общественное внимание от подлинных виновников и тем самым дать им возможность наивыгоднейшим для себя образом уладить дело.»

«Вот! — сказала себе Эйлин, прочитав заметку. — Теперь все ясно!» Эти политиканы — в том числе и ее отец, как она поняла из его разговора с нею,

— пытаются свалить на Фрэнка вину за свои собственные преступления. Фрэнк совсем не такой дурной человек, каким его изображают. В отчете «Ассоциации» это прямо сказано. Она упивалась словами: «…попытку отвлечь общественное внимание от подлинных виновников». Разве не то же самое говорил он ей в те счастливые часы, которые они проводили то в одном, то в другом месте, преимущественно же в доме на Шестой улице, нанятом им для свиданий с нею после того, как они вынуждены были расстаться со своим прежним убежищем. Фрэнк гладил ее пышные волосы, ласкал ее и уверял, что вся эта история подстроена местными политическими заправилами с целью взвалить

вину на него и, по возможности, выгородить партию вообще и Стинера в частности. Он, Каупервуд, конечно, выпутается, но все-таки Эйлин должна держать язык за зубами. Он не отрицал, что продолжительное время состоял в деловых и обоюдовыгодных отношениях со Стинером, и точно объяснил ей, в чем заключались эти отношения. Эйлин все поняла или по крайней мере думала, что поняла. Но так или иначе, Фрэнк заверял ее в своей невиновности, и этого для нее было достаточно.

Что же касается домов старшего и младшего Каупервудов, столь недавно и с таким блеском объединившихся в дни процветания, а теперь связанных горестными узами общей беды, то жизнь в них почти замерла. Источником этой жизни был Фрэнк Алджернон. Он придавал силу и мужество отцу, вдохновлял и благодетельствовал братьев, был надеждою детей, опорой жены, величием и гордостью семейства Каупервудов. В нем воплощались для всех его близких удача, сила, честолюбивые стремления, достоинство и счастье. Но теперь его ярко горевшая звезда померкла и, видимо, близилась к закату.

С того самого утра, когда роковое письмо, словно бомба, разрушило весь привычный жизненный уклад Лилиан Каупервуд, она пребывала в каком-то полумертвом состоянии. Вот уже несколько недель Лилиан, по-прежнему методически выполняя свои обязанности — во всяком случае так это выглядело со стороны, — предавалась неотвязным и мучительным думам. Она была глубоко несчастна. Ей минуло сорок лет, и к этому времени ее жизнь, казалось бы, должна была покоиться на прочной, незыблемой основе, а теперь жестокая рука грозила вырвать ее из благодатной

почвы, где она жила и цвела, и выбросить увядать в палящем зное горестей и унижений.

У Каупервуда-старшего все дела тоже стремительно шли под уклон. Как мы уже говорили, его вера в сына была безгранична, но он понимал и без конца твердил себе, что Фрэнк в какой-то миг, видимо, совершил ошибку и теперь жестоко расплачивается за нее. Старик, конечно, считал, что Фрэнк был вправе попытаться спастись уже известным нам способом, но не мог не страдать от сознания, что его сын попался в капкан обстоятельств, вызывавших сейчас все эти толки. Фрэнк, по его мнению, был на редкость блестящим человеком. Он мог бы добиться исключительных успехов, не связываясь ни с городским казначеем, ни с политическими воротилами. Конные железные дороги и политики-спекулянты погубили его. По целым дням шагая из угла в угол, старый Каупервуд все яснее понимал, что его звезда близится к закату, что крах Фрэнка — и его крах, что этот позор — публичное обвинение в бесчестных действиях — несет погибель и ему. За несколько недель его волосы окончательно поседели, походка стала медлительной, лицо побледнело, глаза ввалились. Живописные бакенбарды напоминали сейчас старые флаги — украшения лучших, безвозвратно ушедших дней. Единственным его утешением было то, что Фрэнк полностью рассчитался с Третьим национальным банком, не остался должен ему ни единого доллара. И все-таки старик знал, что правление банка не примирится с пребыванием в его составе человека, чей сын способствовал расхищению городской кассы и фигурировал сейчас во всех связанных с этим делом газетных сообщениях. Кроме того, Генри

Каупервуд был стар. Ему пришла пора уходить в отставку.

Развязка наступила в тот день, когда Фрэнк был арестован по обвинению в присвоении общественных средств. Старик был предупрежден сыном, которого, в свою очередь, предупредил Стеджер, что этого не миновать, и, как всегда, отправился в банк, хотя ему и казалось, что тяжкое бремя пригибает его к земле. Прежде чем выйти из дому после бессонной ночи, он написал на имя председателя правления Фруэна Кессона прошение об отставке, дабы немедленно вручить ему эту бумагу. Мистер Кессон, коренастый, хорошо сложенный и весьма привлекательный с виду мужчина лет пятидесяти, в душе облегченно вздохнул при виде прошения.

— Я понимаю, как вам тяжело, мистер Каупервуд, — сочувственно сказал он. — Мы — я вправе сказать это от имени всех членов правления — переживаем вместе с вами ваше горе. Нам вполне понятно, каким образом ваш сын оказался причастным к этой истории. Он не единственный банковский деятель, замешанный в делах городского управления. Далеко не единственный! Это старая система. Мы высоко ценим вашу верную тридцатипятилетнюю службу. Если бы у нас была хоть малейшая возможность помочь вам в преодолении этих временных трудностей, мы были бы только счастливы, но вы сами банковский деятель и понимаете, что сейчас такой возможности нет. Во всех делах сумятица невообразимая. Если бы буря улеглась, если бы хоть знать, когда она уляжется…

Он замолчал, ибо не мог заставить себя сказать, что ему и правлению банка чрезвычайно прискорбно расставаться с мистером Каупервудом при таких

обстоятельствах. Пусть уж лучше говорит сам мистер Каупервуд.

Во время его речи старый Каупервуд делал над собой огромные усилия, чтобы вообще произнести хоть слово. Он достал большой полотняный платок и высморкался, затем выпрямился в кресле и довольно спокойно положил руки на стол. Но нервы его были напряжены до крайности.

— Я не вынесу этого! — вдруг вырвалось у старика. — Сделайте милость, оставьте меня сейчас одного!

Кессон, щеголеватый, холеный джентльмен, поднялся и вышел из комнаты. Он очень хорошо понимал, в каком напряженном состоянии должен находиться человек, с которым он только что разговаривал. Дверь едва успела закрыться за ним, как старый Каупервуд уронил голову на руки, и тело его затряслось от судорожных рыданий.

«Никогда, никогда я не думал, что доживу до этого! — бормотал он про себя. — Никогда не думал!»

Потом он вытер горячие, соленые слезы, подошел к окну и, глядя на улицу, стал думать о том, чем ему теперь заняться.

35

Время шло, а Батлер все больше терялся в догадках и все чаще задумывался над тем, как поступить с дочерью. Ее скрытность и явное стремление всячески избегать разговоров с ним убеждали его в том, что она продолжает встречаться с Каупервудом, а это рано или поздно должно кончиться публичным скандалом. Он хотел даже пойти к миссис Каупервуд и заставить ее воздействовать на мужа, но потом передумал. Во-первых, у него все же не было полной уверенности, что Эйлин встречается с Каупервудом, а во-вторых, миссис Каупервуд могла и не знать об измене мужа. Потом он вознамерился пойти к самому Каупервуду и пригрозить ему, но это была уже крайняя мера, и опять-таки он не имел никаких доказательств. Обращаться в сыскное бюро он не решался, как не решался и довериться кому-нибудь из членов своей семьи. Однажды он сам отправился побродить вокруг дома номер 931 по Десятой улице, но без толку. Дом сдавался внаем: Каупервуд уже успел от него отказаться.

Наконец Батлер решился отправить Эйлин погостить куда-нибудь подальше — в Бостон или в Новый Орлеан, где жила ее тетка со стороны матери. Но действовать следовало очень тонко, а Батлер был не мастер на такие дела; тем не менее он начал подготовку. Написал письмо к свояченице в Новый Орлеан, спрашивая, не может ли она, конечно не выдавая его, попросить сестру на время отпустить к ней дочь и одновременно послать приглашение самой Эйлин. Но потом порвал это письмо. Через несколько дней Батлер случайно узнал, что миссис Молленхауэр и ее три дочери — Каролина, Фелиция и

Альта — собираются в первых числах декабря в Европу, намереваясь побывать в Париже, на Ривьере и в Риме, и решил поговорить с Молленхауэром, пусть он убедит жену пригласить с собой Нору и Эйлин или в крайнем случае одну Эйлин; мотивировать это можно тем, что миссис Батлер не хочет оставлять его одного, а девушкам надо повидать свет. Это был бы прекрасный способ на некоторое время удалить Эйлин. Они собирались провести в Европе не менее полугода. Молленхауэр охотно исполнил его просьбу: обе семьи были очень дружны. Миссис Молленхауэр не менее охотно согласилась — из соображений светского характера, — и приглашение состоялось. Нора была в восторге. Она жаждала хоть недолго пожить в Европе и давно мечтала о подобной возможности. Эйлин была польщена вниманием миссис Молленхауэр. Случись это на несколько лет раньше, она не замедлила бы согласиться. Но сейчас она восприняла приглашение лишь как новую помеху, как еще одно, пусть второстепенное, препятствие к ее встречам с Каупервудом. Не успела ничего не подозревавшая миссис Батлер заговорить о приглашении, полученном от навестившей ее миссис Молленхауэр, как Эйлин холодно отвергла его.

— Она очень хочет, чтобы вы поехали с ними, если отец ничего не будет иметь против, — настаивала мать. — И я уверена, что вы прекрасно проведете время. Они поживут в Париже, а потом отправятся на Ривьеру.

— Ах как чудесно! — воскликнула Нора. — Мне всегда так хотелось побывать в Париже! А тебе, Эйлин? Вот было бы замечательно.

— Мне что-то не хочется ехать, — отозвалась Эйлин. Она решила с самого начала не проявлять

никакого интереса к этой затее, чтобы не обнадеживать отца. — Кроме того, у меня нет зимних туалетов. Я лучше подожду и поеду в другой раз.

— Что с тобой, Эйлин, опомнись! — возмутилась Нора. — Ты десятки раз говорила, что хочешь побывать за границей зимою. А теперь, когда представляется такой случай… Наряды можно сшить и там.

— Да уж за границей, наверно, найдется что-нибудь подходящее, — поддержала ее миссис Батлер. — Кроме того, у тебя еще две или три недели до отъезда.

— А они не хотят, чтобы с ними поехал кто-нибудь из мужчин, мама, в роли сопровождающего или советчика, что ли? — спросил Кэлем.

— Я тоже не прочь предложить свои услуги, — сдержанно заметил Оуэн.

— Право слово, не знаю, — миссис Батлер усмехнулась, прожевывая кусок.

— Придется вам, сынки, спросить у них!

Эйлин стояла на своем. Ей не хочется ехать. Это слишком неожиданно. То не так, и это не так. Тут как раз вошел старый Батлер и уселся на обычное место во главе стола. Прекрасно зная, о чем идет речь, он старательно делал вид, будто это его не касается.

— Ты ведь не будешь возражать, Эдвард? — спросила его жена, в общих чертах изложив ему суть дела.

— Возражать? — с прекрасно разыгранной грубоватой шутливостью отозвался Батлер. — Что я себе враг, что ли? Да я счастлив буду на время избавиться от всей вашей компании!

— Вот это да! — воскликнула миссис Батлер. — Воображаю, как бы ты жил здесь один!

— А я не был бы один, уж поверь, — сказал Батлер. — В нашем городе найдется немало домов, где мне будут рады, так что я и без вас обойдусь.

— В нашем городе найдется немало домов, куда бы тебя на порог не пустили, если б не я. Это уж как пить дать! — благодушно срезала его миссис Батлер.

— Что ж, тут тоже спорить не приходится, — согласился Батлер, с нежностью взглянув на нее.

Эйлин была непреклонна. Все доводы Норы и матери оказывались тщетными. Но Батлер, раздосадованный крушением своего плана, еще не сложил оружия. Убедившись, что Эйлин все равно не уговоришь принять приглашение миссис Молленхауэр, он еще немного подумал и решил прибегнуть к услугам сыщика.

В те времена особенно славилось агентство знаменитого сыщика Уильяма Пинкертона. Этот человек, выходец из бедной семьи, после многих жизненных перипетий занял очень видное положение в своей своеобразной и для многих неприятной профессии. Но в глазах людей, которых те или иные печальные обстоятельства побуждали прибегнуть к услугам Пинкертона, его патриотическое поведение во время Гражданской войны и близость к Аврааму Линкольну служили лучшей рекомендацией. Это он, вернее, подобранные им люди охраняли Линкольна в продолжение всего бурного периода его пребывания у власти. Созданное Пинкертоном предприятие имело отделения в Филадельфии, Вашингтоне, Нью-Йорке и во многих других городах. Батлер не раз видел вывеску

филадельфийского отделения, но не пожелал туда обратиться. Приняв окончательное решение, он надумал поехать в Нью-Йорк, где, как ему говорили, находилось главное агентство.

Накануне он попросту сказал, что уезжает на один день, как делал это неоднократно. До Нью-Йорка было пять часов езды по железной дороге, и он прибыл туда к двум часам дня. В конторе, расположенной в нижней части Бродвея, Батлер спросил директора и был принят высоким мужчиной лет пятидесяти, седоволосым и сероглазым, грузного сложения, с крупным, несколько одутловатым, но умным и хитрым лицом. Его короткие руки с толстыми пальцами во время разговоров с клиентами непрерывно барабанили по столу. Одет он был в темно-коричневый сюртук, показавшийся Батлеру чересчур франтоватым, а в галстуке у него красовалась брильянтовая булавка в форме подковы. Сам старый Батлер неизменно одевался в скромный серый костюм.

— Добрый день! — произнес он, когда мальчик ввел его к этому достойному мужу, отпрыску ирландца и американки, носившему фамилию Мартинсон.

Мистер Гилберт Мартинсон кивнул в ответ, потом измерил Батлера взглядом и, угадав в нем человека с сильным характером, вероятно, занимающего видное положение в обществе, встал и предложил ему стул.

— Прошу садиться, — сказал он, рассматривая посетителя из-под густых косматых бровей. — Чем могу служить?

— Вы директор, если не ошибаюсь? — осведомился Батлер, испытующе глядя на него.

— Да, сэр, — просто отвечал Мартинсон. — Я занимаю здесь пост директора.

— А что, самого мистера Пинкертона, владельца конторы, сейчас нет? — осторожно спросил Батлер. — Не сочтите за обиду, но я хотел бы поговорить с ним лично.

— Мистер Пинкертон сейчас в Чикаго, и я жду его обратно не раньше чем через неделю или дней десять, — отвечал Мартинсон. — Вы можете говорить со мной так же откровенно, как с ним. Я здесь его замещаю. Но, конечно, вам видней.

Батлер немного поколебался, мысленно оценивая собеседника.

— Скажите, вы человек семейный? — задал он, наконец, несколько неожиданный вопрос.

— Да, сэр, — серьезно отвечал Мартинсон. — У меня жена и двое детей.

Как опытный сыщик он понял, что речь сейчас пойдет о предосудительном поведении кого-нибудь из членов семьи — сына, дочери, жены. С такими случаями он сталкивался нередко.

— Я, видите ли, думал поговорить с самим мистером Пинкертоном, но если вы его замещаете… — Батлер не докончил фразы.

— Да, сэр, я здесь руковожу всей работой, — сказал Мартинсон. — Вы можете довериться мне так же, как доверились бы самому мистеру Пинкертону. Попрошу вас ко мне в кабинет. Там нам удобнее будет беседовать.

Он поднялся и показал Батлеру на смежную комнату с окнами, выходящими на Бродвей; в ней стоял массивный продолговатый стол из гладкого

отполированного дерева и четыре стула с кожаными спинками, на стене висело несколько картин, изображающих эпизоды Гражданской войны, которые привели к победе северян. Батлер не без колебания последовал за Мартинсоном. Мысль посвятить постороннего человека в дела Эйлин претила ему. Даже сейчас он еще не был уверен, что решится заговорить. Он только посмотрит, «что представляют собой эти ребята», — говорил себе старик, и тогда уж решит, как ему быть. Он подошел к одному из окон и уставился на улицу, кишевшую бесчисленными омнибусами и экипажами. Мистер Мартинсон спокойно затворил дверь.

— Итак, чем могу быть вам полезен, мистер… — Он остановился, рассчитывая с помощью этого невинного трюка узнать фамилию посетителя. Иногда это ему удавалось, но Батлер был не так-то прост.

— Я все еще в нерешительности, начинать ли мне это дело, — медленно произнес Батлер. — Тем более, пока у меня нет полной уверенности, что все будет обставлено должным образом. Мне нужно кое-что разузнать про… получить кое-какие сведения… Но это дело сугубо частного характера…

Он замолчал, обдумывая, как лучше выразиться, и в то же время не спуская глаз с Мартинсона. Тот отлично понял его душевное состояние. Таких случаев он навидался немало.

— Разрешите мне прежде всего сказать вам, мистер…

— Скэнлон, если вам непременно нужно это знать, — мягко прервал его Батлер. — Оно не хуже

всякого другого, а своего настоящего имени я до поры до времени предпочитаю не называть.

— Пусть будет Скэнлон, — так же мягко повторил Мартинсон. — Мне, право, все равно, настоящее это ваше имя или нет. Я только что собирался вам сказать, что вы можете и совсем не называть себя; но это зависит лишь от того, какого рода сведения вам нужны. Дело же ваше, смею вас уверить, останется в тайне, словно вы никогда и ни с кем о нем не говорили. Престиж нашей организации зиждется на оказываемом нам доверии, и мы не можем им злоупотреблять. Это привело бы к нежелательным последствиям. Среди наших служащих есть мужчины и женщины, работающие свыше тридцати лет, — мы никогда никого не увольняем, разве только за очень серьезный проступок, но мы подбираем таких людей, которых и не приходится увольнять за серьезные проступки. Мистер Пинкертон великолепно разбирается в людях. У нас есть сотрудники, которые даже считают себя сердцеведами. За год мы выполняем свыше десяти тысяч поручений во всех концах Соединенных Штатов. Мы ведем дело лишь до тех пор, пока это угодно клиенту. И стараемся узнать лишь то, что ему нужно знать. Мы не вмешиваемся без необходимости в чужие дела. Если оказывается, что мы не можем получить требуемые сведения, мы немедленно сами заявляем об этом. От многих дел мы отказываемся наотрез и даже не начинаем их. Может случиться, что и ваше дело принадлежит к их числу. Мы не гонимся за поручениями и не скрываем этого. Некоторые дела политического характера или же дела, имеющие целью сведения личных счетов, мы просто отказываемся вести, не желая быть к ним причастными. Теперь судите сами. Вы, надо думать, человек бывалый. Я тоже. Так можете ли вы себе

представить, чтобы такая организация, как наша, злоупотребляла чьим-либо доверием?

Он замолчал и пристально посмотрел на Батлера, ожидая ответа.

— Едва ли, — сказал Батлер. — Вы правы. Но все-таки нелегко выставлять на свет свои частные дела, — с грустью добавил старик.

Оба некоторое время молчали.

— Ну что ж, — произнес, наконец, Батлер. — Вы производите на меня впечатление порядочного человека, а мне нужен совет. Учтите, я готов хорошо заплатить, и то, что меня интересует, нетрудно выяснить. Мне желательно узнать, встречается ли некий субъект, проживающий в том же городе, что и я, с одной женщиной, и если встречается, то где именно. Я думаю, для вас это не представит затруднений?

— Ничего не может быть проще, — отвечал Мартинсон. — Мы все время выполняем такие поручения. Разрешите, мистер Скэнлон, облегчить вам задачу. Мне совершенно ясно, что вы не желаете говорить больше того, что необходимо, и мы тоже не хотим узнавать от вас ничего лишнего. Нам, конечно, нужно знать, какой город вы имеете в виду, а также одно из имен — его или ее, — не обязательно оба, если только вы сами не захотите пойти нам в этом смысле навстречу. Иногда, зная имя одного лица — его, например,

— и имея описание женщины — конечно, совершенно точное — или ее фотографию, мы через некоторое время уже сообщаем то, что интересует клиента, хотя, разумеется, более точные данные упрощают нашу работу. Но это уж как вы считаете для

себя удобнее. Сообщите мне ровно столько, сколько найдете нужным, и я гарантирую, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы добыть интересующие вас сведения.

— Гм! В таком случае, — сказал Батлер, решившись, наконец, хотя и не без внутреннего сопротивления, — я буду откровенен с вами. Моя фамилия не Скэнлон, а Батлер. Я живу в Филадельфии. Там есть один делец, некий Каупервуд — Фрэнк А.Каупервуд…

— Одну минутку, — прервал его Мартинсон, доставая из кармана блокнот и карандаш. — Сейчас я запишу. Как вы назвали его?

Батлер повторил.

— Так. Я слушаю вас.

— У него контора на Третьей улице — «Фрэнк А.Каупервуд» — там вам любой покажет. Он недавно обанкротился.

— А, понятно! — вставил Мартинсон. — Я о нем слышал. Он замешан в какой-то истории с растратой городских средств. Вы, вероятно, не пожелали обратиться в наше филадельфийское отделение, чтобы не посвящать тамошних агентов в свои тайны. Не так ли?

— Совершенно верно, и человек этот тот самый, о котором вы слышали, — подтвердил Батлер. — Я не хочу, чтобы в Филадельфии кто-нибудь знал о моем деле. Потому я и приехал сюда. Этот Каупервуд живет в собственном доме на Джирард-авеню, номер девятнадцать тридцать семь. Его тоже нетрудно сыскать.

— Само собой разумеется, — сказал Мартинсон.

— Так вот я хочу узнать о нем… и об одной женщине, вернее девушке…

Старый Батлер умолк, и лицо его страдальчески нахмурилось при необходимости упомянуть имя Эйлин. Он никак не мог примириться с этой мыслью, — он так любил свою дочь, так гордился своей Эйлин! В груди его накипала ненависть к Каупервуду.

— Это ваша родственница, надо полагать? — деликатно осведомился Мартинсон. — Вам не нужно ничего более сообщать мне, если можно, опишите только ее наружность. Нам этого будет достаточно.

Он ясно видел, что имеет дело с почтенным старым человеком и что тот сильно удручен. Об этом свидетельствовало вдруг окаменевшее, печальное лицо Батлера.

— Вы можете говорить со мной откровенно, мистер Батлер, — добавил он. — Я понимаю вашу нерешительность. Мы хотим получить от вас только такие сведения, которые дадут возможность нам действовать, ничего больше.

— Да, — угрюмо отвечал Батлер, — это моя родственница. Скажу вам прямо: она моя дочь. Вы кажетесь мне честным, разумным человеком. Я ее отец и ни за что на свете не хотел бы причинить ей хоть малейшее зло. Я пытаюсь спасти ее — и только. Он — вот кто мне нужен!

Его огромная рука сжалась в кулак.

Этот жест не укрылся от Мартинсона; он сам был отцом двух дочерей.

— Я понимаю ваши чувства, мистер Батлер, — сказал он. — Я ведь тоже отец. Мы сделаем для вас все, что в наших силах. Если вы мне подробно ее опишете или дадите возможность одному из моих агентов взглянуть на нее, как бы случайно, у вас дома или в конторе, я думаю, что мы очень скоро сумеем вам сказать, происходят ли между ними более или менее регулярные встречи. Это, кажется, все, что вы хотите узнать, не правда ли?

— Все, — хмуро подтвердил Батлер.

— Что ж, тут много времени не потребуется, мистер Батлер: дня три-четыре, если нам повезет, в крайнем случае — неделя, десять дней, две недели, но уж никак не больше. Все зависит от того, как долго вы поручите нам следить за ними, в случае если в первые дни ничего не удастся обнаружить.

— Я хочу узнать правду, сколько бы это ни заняло времени, — с горечью отвечал Батлер. — Я должен знать все, хотя бы потребовался месяц, два, три. Должен! — с этими словами старик поднялся, исполненный решимости, непреклонный. — Пришлите мне людей опытных и тактичных. Лучше всего человека, который сам отец, если у вас есть такой и если он умеет держать язык за зубами.

— Я вас понимаю, мистер Батлер, — ответил Мартинсон. — Положитесь на меня. Вы будете иметь дело с лучшими агентами, заслуживающими полного доверия. Они не проболтаются. Я сделаю так: пошлю к вам сперва одного человека, чтобы вы сами могли судить, годится он вам или нет. Я ему ничего говорить не стану. Вы сами потолкуете с ним. Если он вам подойдет, расскажите ему суть дела, а он уж будет знать, как

действовать. Если ему понадобится помощь, я пришлю еще людей. Где вы живете?

Батлер дал ему свой адрес.

— И все это останется между нами? — еще раз спросил он.

— Можете быть спокойны.

— Когда же ваш агент явится ко мне?

— Завтра, если вам угодно. У меня есть на примете человек, которого я сегодня же могу послать в Филадельфию. Сейчас он ушел, не то я позвал бы его, чтобы вы могли сами с ним поговорить. Впрочем, я ему все растолкую. Вам совершенно не о чем беспокоиться. Репутация вашей дочери будет в надежных руках.

— Очень вам благодарен, — произнес Батлер, несколько смягчившись. — Премного обязан. Вы окажете мне большую услугу, и я хорошо заплачу…

— Не стоит об этом говорить, мистер Батлер, — перебил его Мартинсон. — Вы можете пользоваться всеми услугами нашей организации по обычному тарифу.

Он проводил Батлера до двери и подождал, покуда она не закрылась за ним. Батлер вышел подавленный и жалкий. Подумать только, что он вынужден пустить сыщиков по следу своей дочери, своей Эйлин!

36

На другой же день в контору к Батлеру явился долговязый, угловатый, мрачного вида человек, черноволосый и черноглазый, с длинным лицом, обтянутым пергаментного цвета кожей, с головой, удивительно напоминающей голову ястреба. Проговорив с Батлером больше часа, он удалился. Под вечер, в обеденное время, он снова пришел к нему, уже на дом, и в кабинете Батлера, с помощью небольшой хитрости, получил возможность взглянуть на Эйлин. Батлер послал за ней, а сам остался в дверях, отступив немного в сторону, чтобы девушку было хорошо видно, когда она подойдет к нему. Сыщик стоял за одной из тяжелых портьер, уже повешенных на зиму, и делал вид, будто смотрит на улицу.

— Кто-нибудь выезжал сегодня на Сестричке? — спросил Батлер у дочери. Кобыла Сестричка была любимицей в семье Батлера.

Его план заключался в том, чтобы в случае, если Эйлин заметит сыщика, выдать его за барышника, пришедшего купить или продать лошадь. Сыщик Джонас Олдерсон по внешности мог вполне сойти за барышника.

— Кажется, нет, отец, — отвечала Эйлин. — Сама я никуда не ездила. Но я сейчас спрошу.

— Не стоит. Я только хотел знать, не понадобится ли она тебе завтра утром?

— Я могу обойтись без нее, если она тебе нужна. Меня вполне устраивает Джерри.

— Хорошо! В таком случае пусть она остается в конюшне.

Батлер спокойно закрыл дверь. Эйлин решила, что речь идет о продаже лошади. Но так как она была уверена, что, не посоветовавшись с ней, отец не продаст Сестричку, на которой она любит ездить, то тотчас же забыла об этом разговоре.

После ее ухода Олдерсон вышел из-за портьеры и заявил, что больше ему ничего не требуется.

— Это все, что мне нужно было знать, — сказал он. — Я извещу вас, как только мне удастся что-нибудь выяснить.

Он ушел, и через тридцать шесть часов дом и контора Каупервуда, дом Батлера, контора Харпера Стеджера, а также сам Каупервуд и Эйлин уже находились под пристальным наблюдением. Сначала для этого потребовалось шесть человек, потом, когда была обнаружена вторая квартира, нанятая Каупервудом на Шестой улице, туда откомандировали седьмого сыщика. Все они были присланы из Нью-Йорка. Через неделю Олдерсон уже все знал. Он условился с Батлером, что известит его, когда у Эйлин будет свидание с Каупервудом, чтобы тот мог немедленно отправиться по указанному адресу и застать ее на месте преступления. Батлер не собирался убивать Каупервуда — Олдерсон не допустил бы этого, по крайней мере у себя на глазах, — но изругать негодяя последними словами, избить его и увести Эйлин — тут уж никто не мог ему помешать. О, тогда она перестанет уверять его, что не встречается с Каупервудом! Перестанет рассуждать и своевольничать. Ей придется покориться отцовской власти. И она либо сама исправится, либо он пошлет ее в исправительное

заведение. Подумать только, какой пример для ее сестры или какой-нибудь другой честной девушки! Теперь уж она поедет в Европу, поедет в любое место, которое он ей укажет!

Батлер вынужден был поделиться с Олдерсоном этими замыслами, и тот напрямик заявил, что в его обязанности входит охранять Каупервуда от каких бы то ни было посягательств на его личность.

— Мы не вправе позволить вам бить его или вообще прибегать к насилию, — сказал он Батлеру, когда об этом впервые зашел разговор. — Это против наших правил. Вы войдете в дом, где они встречаются, для этого, если нужно, мы добудем ордер на обыск, конечно, скрыв вашу причастность к делу. Мы скажем, что ведем слежку за одной нью-йоркской девушкой. Но войдете вы туда в присутствии моих людей. А они не допустят скандала. Вы можете забрать свою дочь — мы уведем ее, а если вы пожелаете, также и его. Но в таком случае вам придется предъявить ему какое-то обвинение. Кроме того, не исключено, что это заметит кто-нибудь из соседей, и мы не можем поручиться, что вы, таким образом, не соберете толпу любопытных.

Батлера и самого мучили сомнения. Конечно, такое предприятие связано с большим риском огласки. И все же он хотел знать правду. Хотел застращать Эйлин, воздействовать на нее самыми суровыми мерами.

Итак, через неделю Олдерсон узнал, что Эйлин и Каупервуд встречаются на Шестой улице, по-видимому, в частном доме. На деле же это был настоящий дом свиданий, но только самого высокого класса. В этом четырехэтажном кирпичном здании с облицовкой из белых каменных плит имелось восемнадцать комнат,

обставленных с кричащей роскошью, но весьма опрятных. Клиентура была самая фешенебельная, и доступ туда открывался лишь по рекомендациям старых клиентов. Это обеспечивало сохранность тайны, в которой так нуждаются всякие запретные дела. Достаточно было сказать: «У меня тут назначено свидание», — и хозяйка, если обе стороны были знакомы ей, немедленно отводила гостей в удобные апартаменты. Каупервуду этот дом был давно известен, и когда им пришлось расстаться с уютной квартиркой на Десятой улице, он предложил Эйлин встречаться с ним здесь.

Олдерсон, узнав, какое это заведение, сказал Батлеру, что проникнуть в него и разыскать там кого-нибудь — дело чрезвычайно трудное. Для этого требовался ордер на обыск, получить который очень нелегко. Можно, конечно, ворваться силой, как это иногда и практикуется в делах об оскорблении общественной нравственности. Но тогда возникает риск натолкнуться на отчаянное сопротивление владельцев и посетителей дома. Это могло случиться и здесь. Единственное верное средство избежать шума — договориться с хозяйкой при помощи солидной суммы денег.

— Но в данном случае этого делать, пожалуй, не стоит, — заметил Олдерсон. — У меня есть основания полагать, что хозяйка весьма расположена к интересующему вас человеку. По-моему, лучше рискнуть и попытаться застигнуть их врасплох.

— Помимо руководителя операции, — пояснил он, — нам потребуется человека три или четыре. Один из них, после того как дверь отворят на звонок, войдет в переднюю, а остальные последуют за ним и окажут ему

поддержку. Затем необходимо будет быстро произвести обыск, потребовав, чтобы были открыты все двери. Что касается слуг — если они там окажутся, — их нужно любым способом заставить молчать. Иногда это достигается посредством денег, иногда физической силой. Далее кто-нибудь из сыщиков под видом слуги легонько постучится в одну дверь, в другую, в третью (Батлер вместе с остальными агентами должен следовать за ним), и когда дверь откроют, можно будет установить, находится ли в комнате то лицо, которое они разыскивают. Если на стук не отворят, придется взломать дверь. Дом стоит в густонаселенном квартале, так что удрать из него можно только через парадный или черный ход, а там будут поставлены люди.

Это был смело задуманный план, дававший возможность, невзирая на все препятствия, в суматохе незаметно увести Эйлин.

Когда Батлеру изложили столь неприятную процедуру, он очень взволновался. Подумал было отказаться от этой затеи, ограничившись разговором с дочерью; надо сказать ей, что ему все известно и что ее запирательство бесцельно. А затем предложить ей выбор: Европа или исправительный пансион. Но отчасти из-за врожденной грубости собственной натуры, отчасти же из-за того, что горячий, необузданный нрав Эйлин невольно внушал ему опасения, Батлер в конце концов избрал другой путь. Он только предложил Олдерсону еще раз тщательно все обдумать и, как только будет установлено, что Эйлин или Каупервуд вошли в дом, сообщить ему. Он придет немедленно и с помощью сыщиков изобличит Эйлин.

План был дикий и отвратительный, недостойный отца и нисколько не эффективный в смысле исправления заблудшей дочери. Насилие никогда до добра не доводит. Но Батлер этого не понимал. Он стремился напугать Эйлин, заставить ее путем сильной встряски осознать всю чудовищность ее поступка. Целая неделя прошла в ожидании, и наконец, когда нервы Батлера уже напряглись до предела, наступила развязки. Каупервуду к тому времени уже было предъявлено официальное обвинение, и он ожидал суда. Эйлин время от времени сообщала ему, как, по ее мнению, относится к нему ее отец. Свои догадки она строила, конечно, не на разговорах с Батлером — он держал себя с дочерью крайне замкнуто, не желая, чтобы она знала, как неустанно он хлопочет об окончательном крушении Каупервуда, — а на случайных замечаниях Оуэна, который делился услышанным с Кэлемом, а тот, ничего не подозревая, в свою очередь, пересказывал все это сестре. Так, например, она узнала, кто намечен кандидатом на пост окружного прокурора и какую он займет позицию в деле Каупервуда, ибо этот человек часто бывал у Батлеров дома и в конторе. Оуэн сказал Кэлему, что Шеннон, видимо, сделает все от него зависящее, чтобы «упечь» Каупервуда, и что, по словам «старика», это будет только справедливо.

Она узнала еще, что ее отец хочет помешать Каупервуду вновь открыть свою контору, ибо это было бы незаслуженным снисхождением.

— Да просто счастье будет, если общество наконец избавится от этого проходимца! — сказал как-то Оуэну Батлер, прочитав в газете заметку о борьбе, которую Каупервуд вел во всех судебных инстанциях.

Оуэн потом спрашивал брата, не знает ли он, почему отец так ожесточен против Каупервуда. Но тот тоже ничего не понимал. Через Эйлин все эти разговоры доходили до Каупервуда. Так он услышал, что судья Пейдерсон, который должен был судить его, — старый приятель Батлера и что Стинера, вероятно, приговорят к тюремному заключению на срок, предусмотренный законом, но вскоре исхлопочут ему помилование.

Каупервуд держался по-прежнему бодро. Он уверял Эйлин, что в финансовом мире у него есть могущественные друзья, которые в случае, если суд вынесет и ему обвинительный приговор, обратятся к губернатору с ходатайством о помиловании. Да и вообще он не думает, что будет осужден, так как обвинение недостаточно обосновано. Все дело в том, что политические воротилы, напуганные недовольством публики и подстрекаемые Батлером, решили отыграться на его шкуре. Вся эта история началась после получения Батлером анонимного письма.

— Если бы не твой отец, радость моя, — говорил он Эйлин, — я бы мигом разделался с этим обвинением. Я убежден, что ни Молленхауэр, ни Симпсон лично против меня ничего не имеют. Правда, они хотят вырвать из моих рук конные железные дороги и, естественно, в первую очередь стремятся облегчить участь Стинера. Но если бы не твой отец, они, конечно, не зашли бы так далеко, не избрали бы меня своей жертвой. Вдобавок твой отец вертит этим самым Шенноном и всей прочей мелюзгой как ему заблагорассудится. В том-то вся и беда! А раз начав, они уже не могут остановиться.

— Ах, я знаю! — отозвалась Эйлин. — Все это из-за меня! Если бы не я и не эти его подозрения, он бы,

конечно, пришел тебе на помощь. Иногда мне кажется, что это я принесла тебе несчастье. Я уж не знаю, что и делать. Я готова даже не встречаться с тобой какое-то время, если это может помочь тебе, но сейчас, верно, уже ничем не поможешь. О, как я люблю тебя, Фрэнк, как люблю! Для тебя я готова на все! Какое мне дело до того, что думают или говорят люди. Я люблю тебя!

— Тебе только так кажется! — пошутил он. — Понемногу разлюбишь! Найдутся другие.

— Другие! — воскликнула Эйлин, и голос ее зазвучал презрительно и негодующе. — Теперь для меня не существует других. Мне нужен только ты, Фрэнк! Если ты когда-нибудь меня бросишь, я покончу с собой. Вот увидишь!

— Не говори так. Эйлин! — рассердился Каупервуд. — Не хочу слушать глупости. Ничего ты с собой не сделаешь. Я тебя люблю, и ты знаешь, что я тебя не брошу. Но если бы ты теперь бросила меня, тебе было бы лучше.

— О, какой вздор! — воскликнула она. — Бросить тебя! И я, по-твоему, на это способна? Но если ты меня бросишь, помни, что я тебе сказала! Клянусь, я так и сделаю.

— Ну, полно, полно! Замолчи!

— Клянусь тебе! Клянусь моей любовью! Клянусь твоим благополучием и моим собственным счастьем! Я наложу на себя руки. Мне нужен только ты!

Каупервуд встал. Страсть, которую он разбудил в ней, теперь пугала его. Эта страсть была опасна и неизвестно куда могла завести их обоих.

Был пасмурный ноябрьский день, когда Олдерсон, извещенный дежурным сыщиком о приходе Эйлин и Каупервуда в дом на Шестой улице, появился в конторе Батлера и предложил ему немедленно ехать с ним. Но даже теперь Батлер с трудом верил, что найдет свою дочь в таком месте. Какой позор! Какой ужас! Что он скажет ей? И хватит ли у него сил ее упрекать? Как ему быть с Каупервудом? Его большие руки тряслись при мысли о том, что ему предстояло. За несколько домов до места назначения показался другой сыщик, дежуривший на противоположной стороне улицы. Батлер и Олдерсон вышли из пролетки и вместе с ним направились к подъезду. Было уже около половины пятого. В одной из комнат дома, к которому они подошли, в это время сидел Каупервуд без сюртука и жилета и слушал сетования Эйлин.

Комната, где они встречались, была очень типична для царившего в те времена мещанского представления о роскоши. Большинство «роскошных» гарнитуров мебели, выпускавшихся на рынок тогдашними мебельными фабрикантами, представляли собой имитацию стиля одного из Людовиков. Портьеры, как правило, были тяжеловесные, расшитые серебром или золотом и чаще всего красные. Ковры отличались яркостью узора и густым бархатистым ворсом. Мебель, из какого бы дерева ее ни делали, поражала своей тяжеловесностью, громоздкостью и обилием украшений. В упомянутой нами комнате стояла тяжелая ореховая кровать, гардероб, комод и туалетный столик из того же дерева. Над столиком висело большое прямоугольное зеркало в золоченой раме. На стенах, в таких же золоченых рамах, красовалось несколько безвкусных пейзажей и изображений нагих женщин. Золоченые стулья были

обиты парчой, расшитой пестрыми цветами и приколоченной блестящими медными гвоздиками. На толстом, розоватом брюссельском ковре были вытканы большие голубые корзины с цветами. В общем, комната производила впечатление светлой, пышно обставленной и немного душной.

— Знаешь, мне иногда становится страшно, — говорила Эйлин. — Ведь вполне возможно, что отец следит за нами. Я уже не раз спрашивала себя, что делать, если он застигнет нас здесь. Тут уж никакая ложь не поможет.

— Да, конечно, — согласился Каупервуд.

Он, как всегда, находился во власти ее очарования. У нее были такие прелестные, нежные руки, такая стройная и белая шея; рыжевато-золотистые волосы ярким ореолом окружали голову, большие глаза сверкали. Она вся была исполнена цветущей, женственной прелести — увлекающаяся, неуравновешенная, романтическая и… восхитительная.

— Чему быть, того не миновать, — проговорил Фрэнк. — И все-таки я уж сам думал, не лучше ли нам на время воздержаться от встреч. Собственно, это письмо должно было научить нас уму-разуму.

Он обнял Эйлин, которая стояла у туалета, приводя в порядок волосы, и поцеловал ее прелестные губы.

— Кокетка ты у меня, Эйлин, но милей тебя нет никого на свете, — шепнул он ей на ухо.

В это самое время Батлер и второй сыщик притаились в стороне от входной двери, а Олдерсон,

принявший на себя руководство операцией, дернул звонок. Дверь открыла чернокожая служанка.

— Что, миссис Дэвис дома? — любезным тоном осведомился Олдерсон, называя фамилию хозяйки. — Я хотел бы ее повидать.

— Войдите, пожалуйста, — отвечала ничего не подозревавшая служанка, указывая на дверь приемной справа от входа.

Олдерсон снял мягкую широкополую шляпу и вошел. Не успела служанка уйти наверх за хозяйкой, как он вернулся в прихожую и впустил Батлера и двух сыщиков. Никем не замеченные, они теперь уже вчетвером вошли в приемную. Через несколько минут появилась сама «мадам», как принято называть хозяек таких заведений. Высокая, плотная и довольно приятная с виду блондинка, с голубыми глазами и приветливой улыбкой. Частое общение с полицией и разнузданная жизнь в молодые годы развили в ней осторожность и недоверие к людям. Зарабатывая свой хлеб способами, ничего общего не имевшими с честным трудом, и не зная другого ремесла, она прежде всего была озабочена тем, чтобы жить в мире с полицией и клиентами, как, впрочем, и любой коммерсант в любой другой отрасли. На ней был просторный пеньюар в голубых цветах, схваченный у ворота голубым бантом так, что сквозь вырез проглядывало дорогое белье. Средний палец ее левой руки украшало кольцо с большим опалом, в уши были продеты ярко-голубые бирюзовые серьги. Желтые шелковые туфельки с бронзовыми пряжками довершали ее туалет. В общем, внешность хозяйки вполне гармонировала с приемной, отделка и обстановка которой состояли из обоев с золотыми цветами,

кремового с голубыми разводами брюссельского ковра, гравюр, оправленных в массивные золоченые рамы и изображающих нагих женщин, и огромного, от пола до потолка, трюмо — тоже в золоченой раме. Нужно ли говорить, что Батлер до глубины души был потрясен этой атмосферой разврата, гибельные чары которой пленили, по-видимому, и его дочь.

Олдерсон подал знак одному из сыщиков, и тот немедленно встал позади женщины, отрезав ей путь к отступлению.

— Весьма сожалею, что потревожил вас, миссис Дэвис, — сказал Олдерсон,

— но нам нужно видеть одну парочку, которая находится в вашем доме. Речь идет о девушке, бежавшей из дома. Никакого шума не будет, нам надо только найти ее и увести с собой.

Миссис Дэвис побледнела и открыла рот.

— Только не вздумайте кричать, — добавил он, заметив это. — Иначе мы вынуждены будем принять свои меры! Мои люди караулят дом со всех сторон. Никто отсюда выйти не может. Известен вам некий мистер Каупервуд?

К счастью, миссис Дэвис не принадлежала к натурам слишком нервным или особо воинственным и к жизни относилась более или менее философски. В Филадельфии она еще не успела установить контакт с полицией и потому опасалась разоблачения. Что пользы кричать, подумала она. Дом все равно окружен, и поблизости нет никого, кто мог бы спасти эту пару. Хозяйка не знала их подлинных имен. Для нее они были мистер и миссис Монтегью.

— Я не знаю такого человека, — взволнованно отвечала она.

— Разве здесь нет рыжеволосой девушки? — спросил один из помощников Олдерсона. — И мужчины с каштановыми усами, одетого в серый костюм? Они пришли полчаса назад. Неужели вы их не заметили?

— Во всем доме сейчас только одна пара, но я не знаю, те ли это, кого вы ищете. Если вам угодно, я попрошу их спуститься сюда. Только, ради бога, не поднимайте шума!

— Ведите себя тихо, и никакого шума не будет, — отвечал Олдерсон. — Не волнуйтесь! Нам нужно только найти эту девушку и увести ее отсюда. Оставайтесь на месте. В какой они комнате?

— Во втором этаже, вторая комната. Но, может быть, вы разрешите мне проводить вас? Так будет лучше. Я постучусь к ним и попрошу их выйти.

— Нет, это мы сделаем сами. Оставайтесь здесь. Вам нечего бояться. Только оставайтесь на месте, — настойчиво повторил сыщик.

Олдерсон жестом пригласил Батлера следовать за ним, но тот вдруг спохватился, что совершил большую ошибку, ввязавшись в это грязное дело. Что с того, если он вломится в комнату и заставит Эйлин выйти, раз ему нельзя убить Каупервуда? Достаточно, если ее заставят спуститься сюда. Она поймет, что ему все известно. Не стоит, решил он, обличать Каупервуда на людях. Он боялся этой сцены, боялся самого себя.

— Пусть она сходит туда, — угрюмо произнес он, указывая на миссис Дэвис. — А вы только следите за нею. Скажите девушке, чтобы она спустилась ко мне.

Сразу смекнув, что дело касается какой-то семейной трагедии, и надеясь, что теперь ей удастся благополучно вывернуться, миссис Дэвис тотчас же отправилась наверх; Олдерсон и его помощники следовали за ней по пятам. Подойдя к комнате, занятой Каупервудом и Эйлин, она легонько постучала в дверь. В это время они вдвоем сидели в большом кресле. Услышав стук, Эйлин побледнела и вскочила на ноги. Не будучи особенно нервной, она почему-то весь этот день предчувствовала беду. Взгляд Каупервуда мгновенно сделался жестким.

— Не волнуйся, это, наверно, кто-нибудь из прислуги, — сказал он. — Я пойду открою.

Он направился к двери, но Эйлин остановила его.

— Подожди. — Немного успокоившись, она подошла к шкафу и, достав оттуда халат, накинула его на себя. Стук повторился. Тогда Эйлин чуть-чуть приотворила дверь.

— Миссис Монтегью, — взволнованно, но стараясь овладеть собой, вымолвила миссис Дэвис, — внизу какой-то джентльмен спрашивает вас!

— Меня?! — воскликнула Эйлин, побледнев еще сильнее. — Вы уверены, что меня?

— Да, он сказал, что хочет вас видеть. С ним еще несколько человек. Мне кажется, там кто-то из ваших родственников.

И Эйлин и Каупервуд мгновенно поняли, что происходит. Кто-то выследил их — Батлер или миссис

Каупервуд, — скорее всего Батлер. Каупервуд прежде всего подумал о том, как защитить Эйлин. За себя, даже в эту минуту, он особенно не боялся. В нем было достаточно рыцарства, чтобы не дать страху взять над собою верх там, где дело касалось женщины. Не исключено, что Батлер пришел с намерением убить его, но он не испугался, даже не позволил себе остановиться на этой мысли, хотя оружия при нем не было.

— Я оденусь и спущусь вниз, — сказал он, взглянув на бледное лицо Эйлин. — Ты оставайся здесь. И прошу тебя, не волнуйся, все будет в порядке. Только спокойно!.. Предоставь все мне. Я во всем виноват, я и распутаю это дело. — Он снял с вешалки пальто, шляпу и добавил: — Одевайся скорее, а я пойду вперед.

Не успела дверь закрыться за миссис Дэвис, как Эйлин стала одеваться — торопливо, в страшной тревоге. Мозг ее работал, как мотор, запущенный на полную скорость. Может ли быть, что это отец? — спрашивала она себя. Нет, нет, это не он. Наверно, в доме есть другая женщина, которая и в самом деле носит фамилию Монтегью. Но если это все-таки отец — как великодушно, что он хранил ее тайну, не посвятил в нее никого из домашних. Он любил ее, она это знала. Для девушки, попавшей в такую историю, очень много значит, если дома ее любят, ласкают и балуют. А Эйлин любили, ласкали, баловали. Она не могла себе представить, чтобы отец способен был прибегнуть к грубому физическому воздействию по отношению к ней или к кому-то Другому. Но каково ей будет сейчас встретиться с ним, взглянуть ему в глаза. Образ отца, возникший в ее воображении, тотчас же подсказал ей, что нужно делать.

— Нет, Фрэнк, — взволнованно шепнула она Каупервуду, — если это отец, то лучше пойти мне. Я знаю, как нужно говорить с ним. Мне он ничего не сделает. А ты оставайся здесь. Я не боюсь, право, нисколько не боюсь! Если ты мне понадобишься, я позову тебя.

Фрэнк подошел к ней, взял в обе руки ее прелестное личико и серьезно посмотрел ей в глаза.

— Не бойся ничего, — сказал он. — Я сойду вниз. Если это твой отец, уезжай с ним. Я уверен, что он ничего не сделает ни тебе, ни мне. А потом черкни мне в контору. Я буду там. Если я смогу быть тебе полезен, дай мне знать. Мы что-нибудь придумаем. Тебе незачем вступать в какие-либо объяснения. Не отвечай ему ничего.

Он уже успел надеть сюртук и пальто и теперь стоял у двери со шляпой в руке. Эйлин была почти одета и торопливо застегивала платье, с трудом справляясь с рядом малиновых пуговок на спине. Каупервуд помог ей. Когда она была уже в шляпе и в перчатках, он еще раз повторил:

— Разреши мне пойти вперед. Я хочу посмотреть, кто там.

— Нет, прошу тебя, Фрэнк! — храбро запротестовала она. — Пусти меня вперед. Это отец, я знаю. Больше ведь некому! — В ту же минуту у нее мелькнула мысль, что Батлер привел с собой сыновей, но она тотчас ее отогнала. Нет, этого не может быть. — Ты придешь, если я позову тебя, — продолжала она. — Мне он ничего плохого не сделает, если же пойдешь ты, он сразу впадет в ярость. Пусти меня, а сам оставайся здесь

в дверях. Если я тебя не позову, значит, все в порядке. Хорошо?

Ее прекрасные руки лежали у него на плечах, пока он напряженно обдумывал эти слова.

— Хорошо, — сказал он наконец, — но я пойду вслед за тобой.

Они подошли к порогу, и он открыл дверь. В коридоре стоял Олдерсон со своими двумя помощниками, а в нескольких шагах от них миссис Дэвис.

— В чем дело? — резко обратился Каупервуд к Олдерсону.

— Там внизу дожидается джентльмен, который хочет видеть эту даму, — отвечал сыщик. — Надо полагать, это ее отец, — спокойно присовокупил он.

Каупервуд посторонился, пропуская Эйлин; она быстро прошла мимо, взбешенная тем, что эти люди проникли в ее тайну. К ней сразу вернулась вся ее отвага. Она была возмущена: как смел отец выставить ее на посмеяние? Каупервуд двинулся было за нею.

— Я бы не советовал вам идти туда сейчас, — благоразумно предостерег его Олдерсон. — Это ее отец. Ее фамилия Батлер, не так ли? Вы его мало интересуете, он хочет забрать свою дочь.

Каупервуд тем не менее пошел дальше и остановился на площадке.

— Зачем ты сюда пришел, отец? — донесся до него голос Эйлин.

Ответа Батлера он не расслышал и вдруг успокоился, вспомнив, как сильно этот человек любит дочь.

Очутившись лицом к лицу с отцом, Эйлин хотела было заговорить вызывающе и с негодованием, но взгляд его серых, глубоко сидящих глаз, смотревших на нее из-под косматых бровей, свидетельствовал о такой муке, о таком великом горе, что она, невзирая на свое озлобление, как-то сникла. Все это было слишком печально.

— Никогда я не думал найти тебя в таком месте, дочка, — проговорил Батлер. — Я полагал, что ты больше уважаешь себя. — Голос его дрогнул и прервался. — Я знаю, с кем ты здесь, — продолжал он, грустно покачивая головой. — Негодяй! Я с ним еще разделаюсь! По моему приказу за тобой все время следили. И зачем только я дожил до такого позора! До такого позора!.. Немедленно поедем домой!

— В том-то и беда, отец, что ты нанял людей выслеживать меня, — начала Эйлин. — Мне казалось, что ты должен бы…

Она умолкла, потому что он поднял руку каким-то странным, страдальческим, но вместе повелительным жестом.

— Замолчи! Замолчи! — крикнул он, мрачно глядя на нее из-под насупленных седых бровей. — Я не выдержу… Не вводи меня в грех! Мы еще в стенах этого заведения. И он тоже еще здесь! Немедленно поедем домой!

Эйлин поняла. Он говорил о Каупервуде. Это ее испугало.

— Я готова, — взволнованно вымолвила она.

Старик Батлер, подавленный горем, пошел вперед. Он знал, что никогда в жизни ему не забыть этих тяжких минут.

37

Несмотря на всю свою ярость, всю свою решимость расправиться с Каупервудом любыми средствами, Батлер был так ошеломлен и потрясен поведением Эйлин, что стал словно совсем другим человеком, чем сутки назад. Она держала себя смело, более того, вызывающе, а он был уверен, что, захваченная на месте преступления, она падет духом. И вот теперь, когда они наконец выбрались из злополучного дома, он, к вящему своему отчаянию, обнаружил, что пробудил в девушке боевой задор, весьма схожий с тем, который обуревал его самого. У Эйлин характер был не менее твердый, чем у него и у Оуэна. Она сидела рядом с отцом в наемной пролетке, которая увозила их домой, и лицо ее то заливалось краской, то бледнело под наплывом проносившихся в ее голове мыслей. Раз скрывать уже было нечего, то Эйлин решила не отступаться, открыто заявить отцу о связи с Каупервудом, о своей любви к нему, о своих взглядах на такого рода отношения. Что ей за дело до того, о чем думает сейчас отец, говорила она себе. Снявши голову, по волосам не плачут! Она любит Каупервуда; в глазах отца она навеки обесчещена. Так не все ли равно, что он еще скажет? Несмотря на свою отцовскую любовь, он пал так низко, что шпионил за нею, опозорил ее в глазах посторонних людей — сыщиков и в глазах Каупервуда. Разве могла она после этого питать к нему прежние чувства? Он совершил ошибку. Совершил бессмысленный и недостойный поступок, которому все равно не было оправдания, как бы дурно ни поступила она сама. Чего он достиг тем, что осрамил ее, сорвал завесу с сокровеннейших тайников ее души, да еще в присутствии чужих — и кого? — сыщиков! О, какой мукой были для

нее эти несколько шагов от спальни до приемной! Никогда она не простит отца — никогда, никогда, никогда! Он убил ее любовь к нему. Отныне между ними завяжется беспощадная борьба. И в то время как они ехали в полном молчании, ее маленькие кулаки злобно сжимались и разжимались, ногти впивались в ладони, губы складывались в холодную усмешку.

Вопрос, приносит ли пользу грубое насилие, никем еще не разрешен. Насилие так неотъемлемо связано с нашим бренным существованием, что приобретает характер закономерности. Более того, возможно, что именно ему мы обязаны зрелищем, именуемым жизнью, и это, пожалуй, даже можно доказать научно. Но тогда какая же цена всему этому? Чего стоит такое «зрелище»? Чего, в частности, стоит сцена, разыгравшаяся между Эйлин и ее отцом?

Старый Батлер ехал и думал: единственное, что теперь предстоит ему, — это поединок с дочерью, который бог весть куда заведет их обоих. Что он может с ней поделать? Вот они едут под свежим впечатлением этой страшной сцены, а она не говорит ни слова. Она даже посмела спросить его, зачем он туда пришел! Как ему справиться с ней, если ее не сломило и то, что ее поймали на месте преступления? Его хитрый замысел, казавшийся таким удачным, в нравственном смысле полностью провалился.

Они подъехали к дому, и Эйлин вышла из пролетки. Старый Батлер, слишком потрясенный, чтобы сразу предпринимать какие-то дальнейшие действия, решил поехать к себе в контору. Но по дороге остановил пролетку и пошел пешком — поступок для него необычный, ибо уже много лет он не знал, что значит

идти в тяжком раздумье. Поравнявшись с католической церковью, где шла служба, он вошел туда и стал молить небо просветить его. Полумрак, неугасимая лампада перед дарохранильницей и высокий белый алтарь, уставленный свечами, несколько умиротворили его взволнованные чувства.

Недолго пробыв в церкви, он отправился домой. Эйлин не вышла к обеду, и старику кусок не шел в горло. Запершись в своем кабинете, он снова стал думать, думать и думать. Мысль об Эйлин, застигнутой в непотребном доме, не давала ему покоя. Подумать только, что Каупервуд осмелился привести в такое место Эйлин, балованное дитя старых Батлеров! Но молитвы молитвами, а все-таки, несмотря на свою неуверенность, сопротивление Эйлин и мучительность всей этой истории, он должен вызволить дочь из беды. Ей необходимо на время уехать, отказаться от Каупервуда. По всей вероятности, его засадят в тюрьму, и на свете едва ли найдется человек, который бы в большей мере заслуживал такой участи! Уж он, Батлер, постарается привести в движение все пружины. Это в конце концов его долг. Чтобы добиться своего, ему достаточно намекнуть в судебном мире, что он этого хочет. Он не станет прибегать к подкупу присяжных заседателей, это было бы преступлением, но проследит, чтобы дело было освещено надлежащим образом. А уж когда Каупервуду будет вынесен приговор, никто, кроме бога, ему не поможет. Его не спасут тогда никакие ходатайства друзей-финансистов. Судьи всех инстанций прекрасно понимают свою выгоду. Они соответственно взглянут на дело в угоду тем, кто в данный момент стоит у власти, — этого он сумеет добиться.

Тем временем Эйлин усиленно старалась разобраться в создавшемся положении. Несмотря на обоюдное молчание по пути домой, она знала, что ей предстоит разговор с отцом. Это неизбежно. Он потребует, чтобы она куда-нибудь уехала. Вероятнее всего, он в той или иной форме снова поднимет разговор о поездке в Европу — Эйлин поняла теперь, что приглашение миссис Молленхауэр было очередной хитростью отца, — и ей надо решать, поедет ли она или нет. Неужели она покинет Каупервуда как раз теперь, когда ему предстоит суд? Нет, ни за что! Она должна знать, что с ним происходит. Лучше уж ей убежать из дому — к кому-нибудь из родных, друзей, к чужим людям, наконец, — и попросить приюта. У нее есть немного денег. Отец время от времени давал ей довольно крупные суммы. Она возьмет кое-что из одежды и скроется. Домашние, конечно, попросят ее вернуться, после того как некоторое время проживут без нее. Мать совсем обезумеет. Нора, Кэлем и Оуэн будут вне себя от печали и изумления, а отец — ну что говорить об отце, достаточно на него посмотреть. Может быть, ее побег заставит его образумиться. Невзирая на свою взбалмошность, Эйлин была гордостью и душой всего дома и отлично это знала.

Вот в каком направлении работал ее мозг, когда через несколько дней после унизительного разоблачения отец позвал ее к себе в кабинет. В этот день он рано вернулся из конторы, рассчитывая застать Эйлин дома и с глазу на глаз поговорить с нею. Расчет его оказался правильным. Последнее время у нее не было никакого желания выезжать, — слишком напряженно ждала она всяких неприятностей. Она только что отправила Каупервуду письмо, прося его встретиться с нею завтра

на Уиссахиконе, даже если он убедится, что за ним следят. Она должна с ним повидаться. Отец, писала она, ничего пока не сделал, но наверняка попытается что-нибудь предпринять. Об этом ей и нужно поговорить с Фрэнком.

— Я все время думаю о тебе, Эйлин, и о том, что нам делать, — без всяких предисловий начал Батлер, как только они очутились вдвоем в его кабинете. — Ты на пути к погибели. Ужас охватывает меня при мысли о том, как ты губишь свою бессмертную душу. Я хочу помочь тебе, дитя мое, покуда еще не поздно. Все это время я не переставал упрекать себя и думал, может, я или твоя мать что-нибудь сделали неверное или, напротив, что-нибудь упустили в твоем воспитании, и вот ты попала в такую беду. Конечно же, дитя мое, это лежит на моей совести. Ты видишь перед собой человека с разбитым сердцем. Мне уж никогда не поднять головы. Какой позор! Какой срам! Зачем только я дожил до этого!

— Но дай мне сказать, отец, — прервала его Эйлин, содрогаясь при мысли, что ей предстоит выслушать длинную проповедь относительно ее долга перед богом, церковью, семьей, отцом и матерью. Ей и самой все это прежде казалось очень важным, но общение с Каупервудом, придерживавшимся других взглядов, изменило ее воззрения. Они вдвоем не раз обсуждали эти вопросы — о родителях, детях, мужьях, женах, братьях и сестрах. Каупервудовская позиция «не вмешиваться в естественный ход событий» глубоко проникла в ее душу и перестроила все ее миросозерцание. Эйлин смотрела на вещи сквозь призму его жестокой, прямолинейной формулы: «Мои желания — прежде всего». Он сожалел, что между людьми возникают мелкие разногласия, приводящие к

пререканиям, ссорам, враждебности и разрыву, но считал, что бороться с этим невозможно. Один человек перерастает другого. Взгляды людей меняются

— отсюда перемены во взаимоотношениях. Что же до моральных устоев, то у одних они есть, а у других нет, и ничего с этим не поделаешь. Он лично в половой связи отнюдь не видел ничего дурного. Если мужчина и женщина подходят друг другу, то их отношения чисты и прекрасны. Эйлин — его жена, невенчанная, но любимая и любящая — была не только не менее хороша и чиста, чем любая другая женщина на свете, но лучше и чище большинства из них. Человек живет при определенном общественном строе, в определенных бытовых условиях и сталкивается с определенными воззрениями своего времени. Для того чтобы добиться успеха в обществе, никого не оскорбляя, чтобы облегчить себе жизненный путь и все прочее, необходимо — пусть чисто внешне — считаться с общепринятыми нормами. Больше ничего не требуется. Держи только ухо востро! А попался — борись молча, стиснув зубы. Он так и поступал сейчас, в пору финансовых затруднений. Так он готов был поступить и в тот день, когда их застигли на Шестой улице. Вся эта житейская мудрость всплыла сейчас в мозгу Эйлин, слушавшей наставления отца.

— Дай же мне сказать, отец! Я люблю мистера Каупервуда, все равно, как если бы я была его женой. Я и буду его женой, когда он добьется развода с миссис Каупервуд. Ты не хочешь понять нас. Он любит меня, и я его люблю. Я ему необходима.

Батлер смотрел на нее каким-то странным, недоумевающим взглядом.

— Развод, ты говоришь? — начал он, думая о догматах католической церкви. — Он разведется с женой, бросит детей — и все ради тебя? Ты ему необходима, вот как? — саркастически добавил он. — Ну, а что будет с его женой и детьми? Им, надо полагать, он не нужен, а? Что это за разговоры такие?!

Эйлин вызывающе тряхнула головой.

— И все же это так, — отвечала она. — Только ты не хочешь понять!

Батлер не верил своим ушам. Никогда в жизни он не слышал ничего подобного. Изумление и гнев охватили его. Он прекрасно разбирался во всех тонкостях политики и коммерции, но романтика — в этом он ничего не смыслил. Подумать только, его дочь — католичка — и так рассуждает. И у кого она нахваталась подобных представлений, разве только у самого Каупервуда с его коварным, все растлевающим умом!

— Давно ли у тебя, дитя мое, такие взгляды? — неожиданно спокойным и ровным голосом осведомился он. — И откуда? Дома ты ничего подобного слышать не могла, за это я ручаюсь. То, что ты говоришь, бред сумасшедшего.

— Ах, оставь, отец! — вспылила Эйлин, убедившись, сколь безнадежно спорить со стариком о таких вещах. — Ведь я не ребенок. Мне двадцать четыре года. Ты ничего не понимаешь: мистер Каупервуд не любит свою жену. Он постарается получить развод и тогда женится на мне. Я его люблю, и он меня любит, вот и все!

— Вот и все? Отлично, — повторил Батлер, принимая непреклонное решение так или иначе образумить эту девчонку. — Значит, ты и не думаешь

считаться с его женой и детьми? А то, что он скоро, сядет в тюрьму, тоже для тебя ничего не значит, надо полагать? Когда он наденет полосатую куртку, ты, вероятно, будешь любить его по-прежнему, а может быть, и больше? — (Старик был очень хорош, когда говорил с издевкой.) — Ну что ж, такое счастье тебе, пожалуй, обеспечено!

Эйлин вспыхнула.

— Конечно, я так и знала! — злобно выкрикнула она. — Ты только об этом и мечтаешь! Я знаю, чего ты добиваешься! И Фрэнк знает. Ты хочешь упечь его в тюрьму за преступления, которых он не совершал. И все из-за меня! О, я прекрасно понимаю! Но все напрасно. Это тебе не удастся! Он умнее и лучше, чем ты думаешь, и из всех твоих стараний ровно ничего не выйдет! Он опять выплывет! Ты хочешь покарать его за меня, но ему от этого ни жарко, ни холодно. Так или иначе, я выйду за него замуж. Я люблю его, я буду его ждать и стану его женой! А ты можешь поступать, как тебе угодно! Вот и все!

— Ты станешь его женой? — с изумлением и несколько растерянно повторил Батлер. — Вот как? Ты будешь его ждать и выйдешь за него замуж? Ты отнимешь его у жены и детей, возле которых, будь в нем хоть капля порядочности, он сейчас должен был бы находиться, вместо того чтобы таскаться за тобою? Ты будешь его женой? Ты не постыдишься покрыть позором отца, и мать, и всю семью? И ты смеешь говорить это в глаза мне, который воспитал, выходил тебя, сделал из тебя человека? Чем была бы ты сейчас, если бы не я и не твоя бедная мать, эта неутомимая труженица, которая из года в год заботилась о тебе, старалась устроить твою

жизнь? Но ты, надо полагать, умнее нас! Ты знаешь жизнь лучше меня, лучше всех, кто мог бы дать тебе добрый совет. Я растил тебя, как настоящую леди, и вот благодарность. Я, оказывается, ничего не смыслю, а ты твердишь мне о своей любви к грабителю, растратчику, банкроту, лжецу, вору, будущему арестанту…

— Отец! — решительным тоном прервала его Эйлин. — Я не желаю этого слушать. Все, что ты о нем сказал, неправда! Я не хочу больше оставаться здесь!

Она направилась к двери, но Батлер вскочил и преградил ей дорогу. Жилы на его лбу вздулись, а лицо побагровело от ярости.

— Погоди, мои счеты с ним еще не кончены, — продолжал он, не обращая внимания на ее порыв уйти и почему-то убежденный, что она в конце концов поймет его. — Я с ним еще разделаюсь, и это так же верно, как то, что меня зовут Эдвард Батлер! Ведь есть же закон в нашей стране, и я добьюсь, чтобы с ним поступили по закону! Я ему покажу, как втираться в порядочные дома и красть детей у родителей!

Он умолк, чтобы перевести дух, а Эйлин, побледнев, в упор смотрела на него. Как смешон порою ее отец! До чего же он отсталый человек по сравнению с Каупервудом. Подумать только: он говорит, что Каупервуд пришел к ним в дом и украл ее у родителей, когда она сама с такой готовностью пошла за ним! Какой вздор! Но стоит ли спорить? Чего она добьется, если будет стоять на своем? Эйлин замолчала и только пристально смотрела на отца. Но Батлер еще не выдохся. У него все кипело внутри, хотя он и старался сдержать свою ярость.

— Мне очень жаль, дочка, — уже спокойнее продолжал он, решив, что она больше не находит возражений. — Гнев пересилил меня. Я вовсе не о том хотел говорить, когда звал тебя сюда. У меня совсем другое на уме. Я думал, что ты, может быть, захочешь теперь поехать в Европу поучиться музыке. Сейчас ты просто не в себе. Тебе необходим отдых. А для этого самое лучшее — переменить обстановку. Ты могла бы очень недурно провести там время. Если хочешь, с тобой может поехать Нора, а также твоя бывшая наставница — сестра Констанция. Ты ведь не станешь возражать против нее?

При упоминании о поездке в Европу, да еще с сестрой Констанцией — музыка была явно приплетена для придания новизны старому варианту — Эйлин вскипела, но в то же время едва сдержала улыбку. Как нелепо и бестактно со стороны отца заводить разговор об этом после всех обвинений и угроз по адресу Каупервуда и ее, Эйлин. До чего же он недипломатичен в делах, которые близко его затрагивают. Просто смешно. Но она снова сдержалась и промолчала, понимая, что сейчас любые доводы бесполезны.

— Не стоит говорить об этом, отец, — начала Эйлин, несколько смягчившись. — Я не хочу сейчас ехать в Европу. Не хочу уезжать из Филадельфии. Я знаю, что ты этого добиваешься, но сейчас и думать не могу о поездке. Мне нельзя уехать.

Лицо Батлера вновь омрачилось. Чего она, собственно, хочет добиться своим упорством? Уж не надеется ли она переупрямить его, да еще в таком деле? Дикая мысль. Но все же он постарался овладеть собой и продолжал сравнительно мягко:

— Это было бы самое лучшее для тебя, Эйлин! Не думаешь же ты оставаться здесь после…

Он запнулся, так как у него чуть было не сорвалось «после того, что произошло». А он знал, как болезненно отнесется к этому Эйлин. Его собственное поведение, то, что он устроил на нее форменную облаву, так не соответствовало ее представлениям об отцовской заботе, что она, конечно, чувствовала себя оскорбленной. Но, с другой стороны, каким позором был ее проступок!

— После той ошибки, которую ты совершила, — закончил он, — ты, верно, и сама пожелаешь уехать. Не захочешь же ты больше предаваться смертному греху. Это было бы противно всем законам — божеским и человеческим.

Он страстно желал, чтобы в Эйлин наконец пробудилось сознание совершенного ею греха, безнравственности ее поступка. Но она была далека от этого.

— Ты не понимаешь меня, отец! — с безнадежностью в голосе воскликнула Эйлин, когда он кончил. — Не способен понять. У меня свои взгляды, у тебя свои. И я ничего не могу с этим поделать! Если хочешь знать правду, я больше не верю в учение католической церкви. И этим все сказано.

Едва Эйлин проговорила эти слова, как уже пожалела о них. Они нечаянно сорвались у нее с языка. На лице Батлера появилось выражение неописуемой скорби и отчаяния.

— Ты не веришь в учение церкви? — переспросил он.

— Нет… не совсем. Не так, как ты.

Он покачал головой.

— Лукавый овладел твоей душой! — сказал старик. — Мне ясно, дочь моя, что с тобой случилась ужасная беда. Этот Каупервуд погубил тебя, твое тело и душу. Нужно что-то предпринять. Я не хочу быть жестоким, но ты должна уехать из Филадельфии. Тебе нельзя здесь оставаться. Я этого не допущу. Поезжай за границу или к тетке в Новый Орлеан, куда-то уехать ты должна. Я не позволю тебе остаться здесь, это слишком опасно. Все на свете так или иначе выходит наружу. Того и гляди пронюхают газеты. Ты молода. У тебя вся жизнь впереди. Мне страшно за твою душу, но пока ты молода, пока ты полна жизни, ты еще можешь образумиться. Я буду непреклонен, это мой долг перед тобой и перед церковью. Ты должна изменить свое поведение. Должна расстаться с этим человеком. Расстаться навсегда. У него и в мыслях нет на тебе жениться, но если бы он даже захотел стать твоим мужем, это было бы преступлением перед богом и людьми. Нет, нет, этому не бывать! Он банкрот, мошенник, вор! Выйдя за него замуж, ты стала бы самой несчастной женщиной в мире! Он изменял бы тебе. Он не способен на верность. Я уж эту породу знаю! — Старик перевел дыхание; горе душило его. — Ты должна уехать, запомни твердо! Я говорю это, желая тебе добра, но требую повиновения. Я забочусь только о твоих интересах. Я тебя люблю, но уехать ты должна! Мне больно тебя отсылать, мне было бы приятнее, если б ты могла по-прежнему жить с нами. Никто больше меня не будет огорчен твоим отъездом. Но ты должна уехать. Постарайся устроить все так, чтобы матери твой отъезд

не показался странным, но уехать ты должна, слышишь, должна!

Он замолчал, глядя на Эйлин из-под косматых бровей грустным, но твердым взглядом. Она знала, что его решение неизменно. На лице старого Батлера застыло суровое, почти молитвенное выражение. Эйлин ничего не отвечала. Спорить она уже была не в состоянии. Все равно без толку. Но ехать… нет, она никуда не поедет. Это она знала твердо. Нервы ее были натянуты, как струны, и она стояла перед отцом бледная и решительная.

— Так вот, купи необходимые вещи, — продолжал Батлер, не понимая того, что творилось в ее душе, — и собери все, что тебе потребуется. Скажи, куда ты решишь ехать, и приготовься, не мешкая, к отъезду.

— Нет, отец, я не поеду, — проговорила Эйлин так же сурово и твердо, как отец. — Я не поеду! Никуда не поеду из Филадельфии!

— Ты хочешь сказать, дочь моя, что отказываешь мне в повиновении, когда я прошу сделать то, что необходимо для твоего же блага? Правильно ли я тебя понял?

— Да, — твердо отвечала Эйлин. — Я не поеду! Прости меня, но я не поеду!

— Ты говоришь всерьез? — угрюмо и печально переспросил Батлер.

— Да, отец, — так же угрюмо подтвердила Эйлин.

— Тогда мне придется подумать о том, что предпринять, — сказал старик.

— Ты все-таки дочь мне, какая бы ты ни была, и я не допущу, чтобы ты окончательно погубила себя неповиновением, отказом исполнить то, что является твоим священным долгом. Я дам тебе несколько дней на размышление, но все равно ты уедешь. Больше нам говорить не о чем. В этой стране все-таки существуют законы и меры воздействия на тех, кто эти законы нарушает. Я разыскал тебя, как ни больно мне это было, и я снова тебя разыщу, если ты вздумаешь меня ослушаться. Ты должна изменить свое поведение. Я не могу позволить тебе продолжать такую жизнь. Теперь тебе все понятно. Это — мое последнее слово. Откажись от этого человека, и тогда проси чего хочешь! Ты моя дочь, и я сделаю все на свете, лишь бы видеть тебя счастливой. Да и может ли быть иначе? Для чего мне еще жить, если не для моих детей! Ведь это для тебя, для вас всех я работал не покладая рук. Одумайся же, будь умницей! Разве ты не любишь своего старого отца? Я укачивал тебя, Эйлин, когда ты была еще крошкой и чуть ли не умещалась у меня на ладони. Я был тебе всегда хорошим отцом, ты не станешь этого отрицать. Посмотри на других девушек, твоих подруг. Разве кто-нибудь из них имел больше или хотя бы столько, сколько ты? Ты не пойдешь против моей воли, я уверен. Ты же любишь меня. Ведь ты любишь своего старого отца. Правда?

Голос его задрожал, слезы навернулись на глаза. Он умолк и положил свою большую смуглую руку на плечо Эйлин. Ее расстроила его мольба, и она готова была смягчиться, тем более что знала, как безнадежны его усилия. Она не может отказаться от Каупервуда. Отец попросту не понимает ее. Он не знает, что такое любовь. Он, конечно, никогда не любил так, как любит она.

Батлер продолжал ее увещевать, она же по-прежнему молча стояла перед ним.

— Я рада была бы повиноваться тебе, — мягко, даже нежно проговорила она наконец. — Поверь, я сама была бы рада. Я люблю тебя, да, люблю. И хотела бы сделать по-твоему. Но я не могу, не могу. Я слишком люблю Фрэнка Каупервуда. Ты этого не понимаешь, не хочешь понять!

При упоминании этого имени жесткая складка залегла у рта Батлера. Теперь он понял, что она одержима страстью и что его тщательно продуманная попытка воздействовать на нее потерпела крах. Значит, надо изобрести что-то другое.

— Ну что ж, ладно! — произнес он с такой бесконечной грустью, что Эйлин не выдержала и отвернулась. — Поступай, как знаешь! Но хочешь ты или не хочешь, а уехать тебе придется. Другого выхода нет. Мне же осталось только молить бога, чтоб ты одумалась.

Эйлин медленно вышла из комнаты, а Батлер подошел к письменному столу и опустился в кресло.

— Вот беда-то, — прошептал он. — Как все запуталось!

38

В нелегком положении очутилась Эйлин Батлер. Девушка, от природы менее отважная и решительная, не выдержав этих трудностей, отступила бы перед ними. Ведь, несмотря на обширный круг друзей и знакомых, Эйлин почти не к кому было прибегнуть в тяжелую минуту. В сущности, она не могла вспомнить никого, кто согласился бы без лишних расспросов приютить ее на сколько-нибудь продолжительный срок. У нее были приятельницы, замужние и незамужние, весьма расположенные к ней, но среди них не нашлось бы, пожалуй, ни одной по-настоящему ей близкой. Единственный человек, у которого она могла найти временное пристанище, была некая Мэри Келлиген, известная среди друзей под именем Мэйми; она когда-то училась вместе с Эйлин, а теперь сама была учительницей в одной из филадельфийских школ.

Семья Келлигенов состояла из матери — миссис Кэтрин Келлиген, вдовы-портнихи (ее муж, специалист по передвижке домов, погиб лет десять назад при обвале стены), и двадцатитрехлетней дочери Мэйми. Они жили в двухэтажном кирпичном домике на Черри-стрит, близ Пятнадцатой улицы. Миссис Келлиген не была особенно искусна в своем ремесле, во всяком случае

— в глазах семьи Батлеров, столь высоко поднявшихся по социальной лестнице. Эйлин время от времени поручала ей шитье простых домашних платьев, белья, капотов и пеньюаров, а также переделку старых своих туалетов, сшитых у первоклассной портнихи на Честнат-стрит. Эйлин бывала у Келлигенов потому, что когда-то, в лучшие дни этой семьи, вместе с Мэйми

посещала школу при монастыре св.Агаты. Теперь Мэйми зарабатывала сорок долларов в месяц преподаванием в шестом классе одной из ближайших школ, а миссис Келлиген — в среднем около двух долларов в день, да и то не всегда. Занимаемый ими домик был их собственностью. Он не был заложен, но обстановка его красноречиво свидетельствовала о том, что доход обеих обитательниц не превышает восьмидесяти долларов в месяц.

Мэйми Келлиген красотой не блистала и выглядела много хуже, чем некогда ее мать. Миссис Келлиген даже в свои пятьдесят лет была еще очень свежа, весела, жизнерадостна и обладала большим запасом добродушного юмора. Умом и темпераментом Мэйми тоже уступала матери. Она всегда была тихой и серьезной, что, может быть, отчасти объяснялось обстоятельствами ее жизни. Впрочем, она и от природы не отличалась ни живостью, ни женской привлекательностью. При всем том она была хорошей, честной девушкой и доброй католичкой, наделенной той своеобразной и роковой добродетелью, которая стольких людей приводила к разладу с внешним миром, то есть чувством долга. Для Мэйми Келлиген долг (вернее, соблюдение тех поучений и правил, которых она наслышалась и придерживалась с детства) неизменно стоял на первом месте и служил источником радости и утешения. Главными точками опоры для Мэйми среди странной и малопонятной жизни были: ее долг перед церковью; долг перед школой; долг перед матерью; долг перед друзьями и так далее. Миссис Келлиген, заботясь о Мэйми, нередко желала, чтобы у той было меньше чувства долга и больше женских прелестей, очаровывающих мужчин.

Несмотря на то что ее мать была портнихой, Мэйми никогда не одевалась к лицу, а случись это, чувствовала бы себя не в своей тарелке. Башмаки у нее были всегда слишком большие и неуклюжие, юбки, даже сшитые из хорошей материи, отличались скверным покроем и как-то нелепо висели на ней. В те времена только что начали входить в моду яркие вязаные жакеты, очень красиво сидевшие на хороших фигурах. Увы, к Мэйми Келлиген это не относилось. Ее худые руки и плоская грудь в этой модной одежде выглядели еще более убого. Ее шляпы обычно смахивали на блин с почему-то воткнутым в него длинным пером и никак не гармонировали ни с ее прической, ни с типом лица. Мэйми почти всегда выглядела утомленной, но это была не столько физическая усталость, сколько прирожденная апатия. В ее серую жизнь романтический элемент вносила разве что Эйлин Батлер.

Эйлин же привлекал в этот дом общительный характер матери Мэйми, безукоризненная чистота их бедного жилища, трогательная заботливость, с которой миссис Келлиген относилась к заказам Эйлин, и то, что обе они любили слушать ее игру на рояле. Девушка забегала к ним отдохнуть от шумных развлечений и поговорить с Мэйми Келлиген о литературе, которой они обе интересовались. Любопытно, что Мэйми нравились те же книги, что и Эйлин: «Джен Эйр», «Кенелм Чиллингли», «Трикотрин» и «Оранжевый бант». Время от времени Мэйми рекомендовала приятельнице последние новинки этого жанра, и Эйлин неизменно восхищалась ее вкусом.

Потому-то в грудную минуту Эйлин и вспомнила о Келлигенах. Если отец вздумает ее притеснять и вынудит на время уйти из дому, она переберется к ним. Они ее

примут, не вдаваясь ни в какие расспросы. Остальные члены семьи Батлеров почти не знали Келлигенов и никогда не вздумали бы искать там Эйлин. В уединении Черри-стрит ей нетрудно будет укрыться, и несколько недель никто не услышит о ней. Интересно, что Келлигенам, так же как и Батлерам, никогда бы и в голову не пришло, что Эйлин способна на предосудительный поступок. И если ей все же придется уйти из дому, то и те и другие объяснят это просто очередной ее причудой.

С другой стороны, семья Батлеров в целом гораздо больше нуждалась в Эйлин, чем Эйлин — в ней. Присутствие Эйлин всегда способствовало хорошему настроению всех остальных, и пустоту, которая образуется с ее уходом, нелегко будет заполнить.

Взять хотя бы старого Батлера: маленькая дочурка на его глазах превратилась в ослепительно красивую женщину. Он помнил, как она ходила в школу и училась играть на рояле, — по его мнению, то был верх изящного воспитания. Он видел, как менялись ее манеры, становясь все более светскими; она набиралась жизненного опыта, и это поражало его. Постепенно она научилась уверенно и остроумно судить о самых разных вещах, и он охотно прислушивался к ее словам. Она больше смыслила в искусстве и литературе, чем Оуэн и Кэлем, превосходно умела держать себя в обществе. Когда Эйлин выходила к столу, Батлер с восторгом смотрел на нее. Она была его детищем, и это сознание преисполняло старика гордостью. Разве не он обеспечивал ее деньгами для всех этих изящных туалетов? Он и впредь будет продолжать заботиться о ней. Не даст какому-то выскочке загубить ее жизнь. Он собирался и свое завещание составить так, чтобы в

случае банкротства ее будущего мужа она не осталась без средств. «Вот это леди, так леди! — нередко восклицал он, добавляя с нежностью: — До чего же мы сегодня очаровательны!» За столом Эйлин обычно сидела подле него и ухаживала за ним. Это ему нравилось. Он и прежде, когда она была ребенком, всегда сажал ее возле себя.

Мать тоже безмерно любила старшую дочь, а Кэлем и Оуэн проявляли к ней братскую нежность, так что до сих пор Эйлин своей красотой и живым, веселым нравом воздавала за то, что получала от семьи, и семья это чувствовала. Стоило Эйлин отлучиться на день-два, и в доме воцарялась скука, даже еда выглядела менее аппетитной. Зато когда она возвращалась, все снова становились веселы и довольны.

Эйлин это, конечно, сознавала. Теперь, когда она намеревалась уйти из дому и начать самостоятельную жизнь, лишь бы избегнуть этой ненавистной поездки, она черпала мужество в сознании своего значения для семьи. Еще раз обдумав все, что сказал ей отец. Эйлин решила действовать без промедления. На следующее же утро, после того как он ушел в контору, она оделась словно для прогулки и решила зайти к Келлигенам часов около двенадцати — в это время Мэйми как раз приходила домой завтракать. Разговор о своем намерении Эйлин решила завести как бы невзначай и, если они не станут возражать, немедленно перебраться к ним. Временами она задавала себе вопрос, почему Фрэнк, очутившись в столь тяжелом положении, не предложил ей бежать с ним куда-нибудь в далекие края. Но тут же отвечала себе, что он лучше знает, как поступать. Она была очень удручена посыпавшимися на нее напастями.

Миссис Келлиген сидела дома одна и пришла в восторг, увидев Эйлин. Поговорив о городских новостях и не зная, как приступить к делу, которое привело ее сюда, Эйлин села за рояль и начала играть какую-то грустную пьесу.

— Как вы чудесно играете, Эйлин! — сказала миссис Келлиген, легко впадавшая в сентиментальность. — Я наслаждаюсь, слушая вас. О, если бы вы почаще приходили к нам! Последнее время вас совсем не видно.

— Я была очень занята, миссис Келлиген, — отвечала Эйлин. — Этой осенью у меня набралось столько всяких дел, что я минуты не могла урвать. Мои родные предлагали мне поехать в Европу, но я наотрез отказалась. Ах, боже мой! — вздохнула она, и пальцы ее снова забегали по клавишам, наигрывая печальную, романтическую мелодию.

Дверь отворилась, и вошла Мэйми. Ее некрасивое лицо просияло при виде подруги.

— Да это Эйлин Батлер! — воскликнула она. — Какими судьбами? И где ты так долго пропадала?

Эйлин встала, и они расцеловались.

— Ах, я была очень занята, Мэйми! Я только что говорила об этом с твоей мамой. А как ты поживаешь? Как идет работа?

Мэйми с готовностью принялась рассказывать о всяких школьных неполадках: число учеников в классах все растет, работы с каждым днем становится больше.

Покуда миссис Келлиген накрывала на стол, ее дочь прошла к себе в комнату, и Эйлин последовала за ней.

Мэйми начала приводить в порядок прическу перед зеркалом, а Эйлин в задумчивости смотрела на нее.

— Что с тобой сегодня, Эйлин? — спросила Мэйми. — У тебя такой вид…

Она не договорила и еще раз пристально взглянула на подругу.

— Какой же именно? — переспросила Эйлин.

— Как тебе сказать? То ли неуверенный, то ли огорченный. Я никогда не видела тебя такой. Что случилось?

— Ничего, — ответила Эйлин. — Просто я задумалась.

Она стояла у окна, выходившего во дворик, и спрашивала себя, сможет ли она долго прожить здесь. Домишко такой крохотный, обстановка такая убогая…

— Нет, что-то с тобой неладно сегодня. Эйлин! — заметила Мэйми и, подойдя ближе, заглянула ей в глаза. — На тебе лица нет!

— Меня мучает одна мысль, — сказала Эйлин, — вот я все думаю и думаю. И не знаю, как мне быть, в этом вся беда.

— О чем ты? — спросила Мэйми. — Что с тобой творится? И почему ты не хочешь мне сказать?

— Я скажу, но не сейчас. — Эйлин немного помолчала. — Как ты думаешь, твоя мама ничего бы не имела против, если бы я немного пожила у вас? — вдруг спросила она. — По некоторым причинам мне нужно на время уйти из дому.

— Как ты можешь спрашивать, Эйлин! — воскликнула подруга. — Против!.. Ты прекрасно знаешь, что она будет в восторге и я тоже. Ах, Эйлин, милая, ты в самом деле хочешь побыть у нас? Но что заставляет тебя уйти из дому?

— Вот этого-то я и не могу тебе открыть до поры до времени. И не столько из-за тебя, сколько из-за твоей мамы. Понимаешь, я не уверена, как она на это посмотрит, — добавила Эйлин. — Ты меня сейчас не расспрашивай. Мне нужно подумать. Ах, боже мой!.. Но я правда хочу переехать к вам, если вы разрешите. Ты сама скажешь маме или мне поговорить с ней?

— Нет, конечно, я скажу сама, — отвечала Мэйми, пораженная таким оборотом событий. — Но, право, это даже смешно — спрашивать ее! Я заранее знаю, что она скажет, да и ты тоже. Тебе надо только съездить за вещами. Вот и все! Мама ничего и спрашивать не станет, если ты сама не пожелаешь ей рассказать.

Мэйми так и загорелась от радости. Ей очень хотелось подольше насладиться обществом подруги.

Эйлин задумчиво посмотрела на нее, понимая, почему она пришла в такой восторг и почему, вероятно, будет рада и ее мать. Она внесет свежую струю в их однообразное существование.

— Но вы никому не должны говорить, что я у вас, понимаешь? Это секрет для всех и прежде всего — для моих родных. Поверь, что у меня есть на то причины, и очень веские; сейчас я еще не могу тебе сказать, в чем дело. Так ты обещаешь молчать?

— Ну, конечно! — с готовностью согласилась Мэйми. — Но ведь ты не собираешься навсегда уйти из

дому, Эйлин? — тревожно, хотя и не без любопытства, добавила она.

— Ах, я, право, ничего не знаю, знаю только, что мне необходимо на время уйти. Вот и все!

Она замолчала, и Мэйми снова оторопело взглянула на подругу.

— Да! — вырвалось у нее. — Видно, на свете еще не перевелись чудеса! Но я так рада, что ты поживешь у нас! О маме уж и говорить нечего. И, конечно, мы будем молчать, раз ты этого хочешь. У нас никто не бывает, а если кто и придет, ты можешь не показываться. Мы тебя устроим в большой комнате рядом с моей. Ах, как это будет чудесно! Я прямо в восторге! — Молоденькая учительница заметно оживилась. — Пойдем скорее, обрадуем маму.

Эйлин на мгновение заколебалась: в эту минуту она еще не была уверена, что поступает правильно, но в конце концов они обе спустились вниз. У самой двери Эйлин слегка отступила, пропуская вперед подругу, и та бросилась к матери со словами:

— Ах, мама, слушай, что я тебе скажу! Эйлин немного поживет у нас. Только она не хочет, чтобы об этом знали. Переедет она в ближайшие дни.

Миссис Келлиген с сахарницей в руках повернулась к гостье и посмотрела на нее столь же удивленно, сколь и радостно. Ее разбирало любопытство, почему Эйлин вздумала вдруг переехать к ним и зачем ей понадобилось уходить из семьи. С другой стороны, она так любила ее, что не могла не ощутить искренней и большой радости при мысли об этом. Да и что тут такого? Разве дочь знаменитого Эдварда Батлера не взрослая,

самостоятельная женщина, везде желанная представительница столь преуспевающей семьи? Миссис Келлиген была чрезвычайно польщена намерением Эйлин поселиться у них, каковы бы ни были обстоятельства, которые ее к этому побуждали.

— Не понимаю, Эйлин, как это ваши родители отпускают вас. Но у нас вы все равно будете желанной гостьей. Оставайтесь, сколько вам угодно, хоть навсегда.

Она радушно улыбалась. Подумать только, Эйлин Батлер просит позволения переехать к ней! Теплота, с которой миссис Келлиген ее приветствовала, и восторг самой Мэйми заставили Эйлин вздохнуть с облегчением. Затем она подумала, что ее пребывание в доме повлечет за собой лишние расходы для семьи.

— Я буду, конечно, вносить свою долю денег, если перееду к вам, — сказала она, обращаясь к миссис Келлиген.

— Ах, какой вздор. Эйлин! — воскликнула Мэйми. — Я этого не допущу. Ты переедешь к нам и будешь моей гостьей.

— Нет, это невозможно. Если вы не позволите мне платить, я не перееду!

— запротестовала Эйлин. — Вы должны согласиться.

Она знала, что мать и дочь не в состоянии содержать ее.

— Хорошо, хорошо, не будем сейчас говорить об этом, — вмешалась миссис Келлиген. — Переезжайте, когда вам угодно, и оставайтесь, тоже сколько вам угодно. Достань-ка чистые салфетки, Мэйми!

Эйлин осталась завтракать, но вскоре ушла на свидание с Каупервудом, очень довольная, что главного затруднения более не существует. Теперь она свободна и может приехать сюда, когда только ей вздумается. Оставалось лишь собрать кое-что из вещей, а то и просто явиться, ничего не взяв с собой. Возможно, Фрэнк что-нибудь ей посоветует.

Каупервуд между тем не делал попыток снестись с Эйлин после того злополучного дня, когда они были застигнуты в доме свиданий, но ждал письма от нее, которое и не замедлило прийти. Как всегда, это было длинное послание, полное надежд, любви и задора, в котором она повествовала обо всем, что происходило у нее в семье, и делилась своими планами ухода из дому. Последнее немало озадачило и обеспокоило Каупервуда.

Одно дело — Эйлин в лоне семьи, всеми любимая, окруженная заботой, и другое — Эйлин одинокая, оставленная на его, Каупервуда, попечение. Ему никогда не приходило в голову, что она может уйти из дому, прежде чем он будет готов ее принять. Если она решится на это сейчас, могут возникнуть весьма неприятные осложнения. Тем не менее он любил ее, любил страстно и готов был на все для ее счастья. Содержать ее должным образом он мог бы даже теперь, если, конечно, его не посадят в тюрьму; впрочем, он и оттуда сумеет позаботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась. И все-таки будет гораздо лучше, если удастся уговорить ее остаться дома до окончательного выяснения его судьбы. Он ни минуты не сомневался в том, что, как бы ни обернулись ближайшие события, со временем он выпутается из всех затруднений и снова станет состоятельным человеком. Тогда он добьется развода и женится на Эйлин. Если же из этого ничего не выйдет, он

куда-нибудь уедет с нею, а в таком случае, может быть, даже лучше, если она немедленно уйдет из семьи. Но, с другой стороны, его дела так запутаны, а тут еще розыски, которые, несомненно, начнет Батлер, — все это чревато опасностями. Старик способен открыто обвинить его в похищении дочери. И Каупервуд решил уговорить Эйлин остаться дома, на время прекратить встречи и переписку с ним и, более того, уехать за границу. К ее возвращению он сумеет поправить свои дела, да и она успокоится, а сейчас они должны руководствоваться прежде всего доводами рассудка.

С этими мыслями он отправился на свидание, которое она назначила ему в письме, хотя и считал это несколько рискованным.

— А будешь ли ты чувствовать себя там хорошо? — спросил он, выслушав ее описание жилища Келлигенов. — Уж очень все это отдает бедностью!

— Да, но я их искренне люблю, — отвечала Эйлин.

— И ты уверена, что они сумеют молчать?

— О, конечно! В этом я уверена, совершенно уверена.

— Ну что ж, — заключил он, — тебе виднее. Я ничего не хочу тебе навязывать, но на твоем месте я бы счел за благо послушаться отца и уехать на некоторое время. Его это успокоит, а я буду ждать тебя здесь. Время от времени мы могли бы даже писать друг другу.

Услышав это. Эйлин нахмурилась. Она любила его так страстно, что одна мысль о разлуке была для нее, как нож в сердце. Ее Фрэнк останется тут, в беде, возможно, под судом, а она уедет! Ни за что! Неужели он не любит ее так сильно, как она его? Как может он предлагать

что-либо подобное? Да и любит ли он ее вообще? — спрашивала она себя. Уж не хочет ли он бросить ее как раз в то время, когда она собирается сделать шаг, который должен еще больше их сблизить? Глаза ее затуманились, она была жестоко уязвлена.

— Как ты можешь такое говорить! — воскликнула она. — Ты отлично знаешь, что сейчас я не уеду из Филадельфии. Или ты думаешь, что я оставлю тебя одного в это трудное время?

Каупервуд понял ее негодование. Он был достаточно проницателен и страстно любил ее. «Боже мой, — подумал он, — все что угодно, только не причинять ей боли!»

— Родная моя, — торопливо проговорил он, увидев ее затуманившиеся глаза, — ты меня не поняла. Я хочу того же, чего и ты. Ты все это придумала, чтобы не разлучаться со мной, — будь по-твоему. Не вспоминай больше о том, что я сказал! Я боялся, что твой уход из дому повредит нам обоим, но будем верить, что ничего не случится. Ты знаешь, как отец тебя любит, и надеешься, что заставишь его передумать? Отлично, переезжай к миссис Келлиген! Но помни, радость моя, что мы оба должны соблюдать величайшую осторожность. Дело принимает серьезный оборот. Если ты оставишь семью и твой отец вздумает публично обвинить меня в похищении, это кончится плачевно для нас обоих. Одного такого обвинения будет достаточно, чтобы меня засудить. И что тогда? Сейчас нам лучше встречаться пореже. Так редко, как только мы сможем выдержать. Если бы у нас в свое время достало благоразумия на какой-то срок прекратить встречи, после того как твой отец получил это письмо, все было

бы благополучно. Теперь, конечно, уж ничего не поделаешь, но нам надо действовать вдвойне осторожно. Разве ты не согласна со мной? Так вот: хорошенько все обдумай и поступай, как ты сочтешь правильным. А когда решишь, дай мне знать. И как бы ты ни поступила, я заранее все одобряю, ты меня поняла? — Он привлек ее к себе и поцеловал. — Да, но у тебя ведь нет денег, правда? — спохватился он.

Эйлин, глубоко растроганная его словами, на минуту задумалась, но тут же решила, что путь, избранный ею, единственно правильный. Отец горячо любит ее. Он ни за что не скомпрометирует ее в глазах общества, а следовательно, и не воспользуется ее уходом для открытого преследования Каупервуда. Вероятнее всего, он станет умолять ее вернуться домой, сказала Эйлин, и под воздействием ее доводов Каупервуд вынужден был уступить. Что пользы спорить? Никто на свете не заставит ее бросить своего возлюбленного.

Впервые за все время знакомства с Эйлин он достал из кармана пачку кредиток.

— Вот здесь, дорогая, двести долларов, — сказал он. — Тебе хватит этого до нашей следующей встречи, или же ты снова напишешь мне. Я позабочусь о том, чтобы ты ни в чем не нуждалась. И не смей думать, будто я не люблю тебя! Ты сама знаешь, что это вздор. Я тебя обожаю!

Эйлин не хотела брать деньги — ей ничего не нужно, а кроме того, у нее дома еще кое-что есть, но он не стал ее слушать, зная, как они могут ей понадобиться.

— Полно об этом говорить, родная, — сказал он. — Я ведь знаю, что деньги тебе пригодятся.

Эйлин так привыкла получать крупные суммы от отца и матери, что не придала этому особого значения. Фрэнк ее любит, и какие могут быть между ними счеты? Когда она немного успокоилась, они принялись обсуждать вопрос о переписке и пришли к выводу, что самое лучшее — сыскать надежного человека, через которого можно будет передавать письма. Когда они расстались, Эйлин, только что приходившая в отчаяние из-за его, как ей казалось, недостаточно страстного отношения к ней, вновь воспрянула духом. Нет, он ее любит, решила она, и ушла со счастливой улыбкой. У нее есть Фрэнк, на которого она может опереться, и теперь она проучит отца!

Каупервуд, провожая ее глазами, покачал головой. Сейчас она стала для него дополнительным бременем, но отказаться от нее он, конечно, не мог. Сорвать завесу с иллюзий, созданных ее любовью, и сделать ее несчастной, когда он сам так влюблен в нее? Нет! Да и зачем бы ему это делать? В конце концов все еще может обернуться к лучшему. Если Батлер снова прибегнет к помощи сыщиков, то выяснится, что Эйлин ушла вовсе не к нему, Каупервуду. Если же наступит минута, когда надо будет пустить в ход весь свой здравый смысл и холодную расчетливость, чтобы спастись от смертельной опасности, то он тайно сообщит Батлерам о местопребывании Эйлин. Это послужит доказательством, что он имел лишь отдаленное отношение к ее бегству, а им будет дана возможность уговорить ее вернуться. Может быть, все еще и обойдется, как знать! Во всяком случае, он будет бороться с препятствиями по мере их возникновения. Каупервуд тотчас поехал к себе в контору, а Эйлин отправилась домой с твердым намерением осуществить свой план. Отец дал ей время

на размышление; возможно, что он и еще продлит этот срок, но она не станет ждать. Привыкнув к тому, что любые ее желания исполнялись, она не видела причины, почему бы ей не поступить по-своему и теперь. Скоро пять часов. Она подождет до семи, когда вся семья усядется за стол, и потихоньку выскользнет из дому.

Но одно неожиданное обстоятельство заставило ее отложить осуществление своего намерения. Дома она застала гостей — мистера Стейнметса с женой. Стейнметс — известным инженер, сотрудничал с Батлером, составляя проекты для многих его подрядных работ. Был как раз канун Дня благодарения, и Стейнметсы стали наперебой уговаривать Эйлин и Нору погостить недели две у них в Уэст-Честере, в их новом доме, об уюте и красоте которого Эйлин слышала уже не раз. Люди они были очень приятные, еще не старые, и в доме у них всегда собирался обширный круг друзей. Эйлин решила повременить со своим бегством и принять приглашение. Отец разговаривал с ней самым сердечным тоном. Присутствие Стейнметсов и их просьба были для него таким же облегчением, как и для Эйлин. Уэст-Честер находился в сорока милях от Филадельфии, и, живя там. Эйлин вряд ли могла бы видеться с Каупервуд ом.

Она тотчас же написала Фрэнку о перемене в своих планах и уехала, а он облегченно вздохнул, вообразив в эту минуту, что буря промчалась мимо.

39

Между тем близился день, когда должно было слушаться дело Каупервуда. Он не сомневался, что суд, о чем бы ни свидетельствовали факты, сделает все возможное для вынесения ему обвинительного приговора, но не находил выхода из создавшегося положения. Разве только бросить все и уехать из Филадельфии, но об этом не стоило и думать. Единственная возможность обеспечить себе будущее и сохранить дружеские отношения с рядом лиц из финансового мира заключалась в том, чтобы как можно скорее предстать перед судом, в надежде, что если он и будет осужден, то со временем друзья помогут снова встать на ноги. Он много говорил со Стеджером о возможности лицеприятного отношения к нему состава суда, но адвокат не разделял его опасений. Во-первых, присяжных не так-то просто подкупить; во-вторых, большинство судей, несмотря на различие политических убеждений, люди честные и не пойдут дальше того, что им подскажут лидеры партии, а это в конце концов не так уж страшно. Судья, который должен был председательствовать на этом процессе, Уилбер Пейдерсон, — участник квартальной сессии — прямой ставленник республиканской партии и, следовательно, кругом обязан Молленхауэру, Симпсону и Батлеру, но, с другой стороны, Стеджер слышал о нем только как о честном человеке.

— Не понимаю, — говорил Стеджер, — почему этим господам так хочется покарать вас? Разве что в назидание всему штату. Выборы-то ведь прошли. Кстати, говорят, что уже сейчас принимаются меры к тому, чтобы

вызволить Стинера, в случае если он будет осужден, чего ему, конечно, не миновать. Судить его им волей-неволей придется. Ему дадут год или два, самое большее три, а потом он будет помилован, не отбыв и половины срока. То же самое, в худшем случае, предстоит и вам. Они не смогут выпустить его, а вас оставить в тюрьме. Но до этого не дойдет, помяните мое слово. Мы выиграем дело в первой же инстанции, а нет — так наша кассация будет удовлетворена в верховном суде штата. Тамошняя пятерка судей ни в коем случае не поддержит этой вздорной затеи.

Стеджер искренне верил в то, что говорил, и Каупервуда это радовало. До сих пор молодой юрист отлично вел его дела. И все же мысль о том, что Батлер преследует его, не давала ему покоя. Это обстоятельство весьма осложняло дело, а Стеджер о нем даже и не подозревал. Слушая оптимистические заверения своего адвоката, Каупервуд все время помнил о Батлере.

Слушание дела взбудоражило чуть ли не весь город с населением в шестьсот тысяч человек. Каупервуды решили, что никто из женщин их семьи не будет присутствовать на суде. На этом настаивал Фрэнк, не желая давать лакомую пищу газетным репортерам. Отец пойдет в суд, ибо он может понадобиться в качестве свидетеля. Накануне пришло письмо от Эйлин. Она сообщала о своем возвращении из Уэст-Честера и желала Фрэнку удачи. Исход его дела так волнует ее, что она не в состоянии оставаться вдали и вернулась в Филадельфию, не для того, чтобы присутствовать на суде, раз он этого не желает, но чтобы быть как можно ближе в минуты, когда решается его судьба. Ей хочется прибежать к нему, поздравить, если его оправдают, утешить, если он будет осужден. Она понимает, что столь

поспешное возвращение, вероятно, усугубит ее конфликт с отцом, но тут уж она ничего поделать не может.

Миссис Лилиан Каупервуд находилась в положении весьма трудном и фальшивом. Ей приходилось разыгрывать любящую и нежную жену, хотя она и понимала, что Фрэнку вовсе этого не хочется. Он интуитивно догадывался теперь, что она знает об его отношениях с Эйлин, и только ждал подходящей минуты, чтобы объясниться с ней начистоту. Проводив мужа до дверей в то роковое утро, Лилиан обняла его сдержанно, как все последние годы, и не могла даже заставить себя поцеловать его, хотя и сознавала, сколь тяжкое ему предстоит испытание. У него тоже не было ни малейшего желания ее целовать, но он этого не показал. Потом она все же коснулась губами его щеки и произнесла:

— Я надеюсь, что все кончится благополучно!

— Право, тебе незачем тревожиться, Лилиан, — бодро отозвался он. — Все будет в порядке!

Он сбежал с лестницы, направился к Джирард-авеню, по которой проходила ранее принадлежавшая ему линия конки, и вскочил в вагон. Он думал об Эйлин, о том, как искренне она соболезнует ему и какой, в сущности, насмешкой стала теперь его семейная жизнь, думал, окажутся ли присяжные заседатели здравомыслящими людьми, и так далее, и так далее. Если ему не удастся, если… Да, день предстоял нелегкий!

На углу Третьей улицы он вышел из вагона и торопливо зашагал к себе в контору. Стеджер уже дожидался его.

— Итак, Харпер, настал решающий час! — мужественно произнес Каупервуд.

Суд первого отдела четвертой сессии, в котором должно было слушаться дело, помещался в знаменитом Дворце Независимости (на углу улиц Шестой и Честнат), где тогда, так же как и сто лет назад, сосредоточивалась вся судебная и административная жизнь Филадельфии. Это было невысокое двухэтажное здание из красного кирпича; центральную его часть венчала белая деревянная башня то ли в староанглийском, то ли в голландском стиле, квадратная у основания, круглая посередине и с восьмиугольной вершиной. Само здание состояло из центрального корпуса и двух боковых крыльев, каждое из которых образовывало букву Т. Окна и двери, с мелко застекленными полукружиями наверху, были выдержаны в стиле, который так восхищает любителей «колониальной архитектуры». В этом здании и в пристройке, известной под названием «Государственные ряды», впоследствии снесенной, но тогда тянувшейся от задней стены главного корпуса по направлению к Уолнат-стрит, размещались канцелярии мэра, начальника полиции, городского казначея, залы заседаний городского совета и прочие важные административные учреждения, а также все четыре отдела квартальных сессий суда, слушавших уголовные дела, в недавнее время очень участившиеся в Филадельфии. Гигантская ратуша, впоследствии выросшая на углу Брод-стрит и Маркет-стрит, тогда еще только строилась.

Для того чтобы придать не слишком просторным судебным залам более торжественный вид, в них соорудили возвышения из темного орехового дерева, на возвышениях стояли ореховые же судейские столы, но

весь этот замысел оказался не слишком удачным. И столы, и места для присяжных заседателей, и барьеры были слишком громоздки и несоразмерны с помещением. Наиболее подходящим цветом для стен при темной ореховой мебели почему-то сочли кремовый, но время и пыль сделали его крайне унылым. В залах не было ни картин, ни каких-либо иных украшений, если не считать пышных и вычурных газовых светильников на столе «его чести» да люстры, свисавшей посередине. Раскормленные туши судебных приставов и судейских чиновников, озабоченных только тем, как бы не потерять своих выгодных должностей, тоже не скрашивали этого унылого помещения. Два пристава, находившиеся в зале, где должно было слушаться дело Каупервуда, только и делали, что наперебой бросались подавать судье стакан воды, если он за ним тянулся. Один, похожий на тучного, обрюзгшего нудного мажордома, предшествовал «его чести», когда тот отправлялся в туалетную комнату или возвращался оттуда. На его обязанности лежало при входе судьи в зал громко возглашать: «Суд идет — обнажить головы! Прошу всех встать!» Когда судья садился, второй пристав, стоя слева от него между местами присяжных заседателей и свидетельской скамьей, невнятной скороговоркой произносил ту прекрасную и полную человеческого достоинства декларацию обязанностей, налагаемых обществом на каждого своего представителя, которая начинается словами: «Слушайте все! Слушайте все! Слушайте все!» и заканчивается: «Всякий, кто имеет справедливое основание для жалобы, пусть приблизится, и он будет выслушан!» Но здесь эти слова, казалось, утрачивали свое значение. Привычка и равнодушие превратили их в какую-то нечленораздельную скороговорку. Третий

пристав стоял на страже у дверей совещательной комнаты. Кроме приставов, в зале находились стенограф и секретарь суда — маленький человечек, чахлый, с бескровным лицом, бесцветными, как разбавленное молоко, глазами, с жидкими волосенками и бородкой цвета свиного сала, похожий на американизированного и дряхлого китайского мандарина.

Судья Уилбер Пейдерсон, тощий, как селедка, председательствовавший еще при слушании дела в следственной инстанции, когда присяжные решили вопрос о предании Каупервуда суду, был довольно любопытным типом. Внимание к себе он привлекал прежде всего своей необычной худобой и худосочием. Технику судебного дела и законы он знал хорошо, но понятия не имел о том, что знают мудрые судьи, то есть о подлинной жизни, о том неуловимом сплетении обстоятельств, которые взывают к сердцу судьи, опрокидывая все писаные законы, а временами даже свидетельствуя о полной их непригодности. Достаточно было взглянуть на этого сухопарого педанта, на его курчавые седые волосы, голубовато-серые рыбьи глаза, правильные, но неодухотворенные черты лица, чтобы сказать, что он начисто лишен воображения. Правда, он бы вам не поверил и… оштрафовал бы вас за неуважение к суду! Старательно используя каждую мелкую удачу, извлекая выгоду из каждого мало-мальски удобного случая, рабски прислушиваясь к властному голосу своей партии и угодливо повинуясь всесильному капиталу, он сумел достигнуть своего нынешнего поста. Впрочем, это было не такое уж большое достижение! Жалованья он получал всего-навсего шесть тысяч долларов в год, а его скромная известность не выходила за пределы тесного мирка местных адвокатов и судейских чиновников. И все

же он испытывал величайшее удовлетворение, чуть ли не ежедневно видя свое имя в газетах, сообщавших, что мистер Пейдерсон председательствовал в суде, разбиравшем такое-то дело, или вынес такой-то приговор. Он считал, что это превращает его в заметную фигуру. «Смотрите, я не такой, как все!» — часто думал он и радовался. Он бывал очень польщен, когда на повестке дня у него оказывалось какое-нибудь громкое дело, и, восседая перед тяжущимися и публикой, мнил себя поистине важной персоной. Правда, время от времени необычное сплетение житейских обстоятельств смущало его ограниченный ум; но и во всех таких случаях он неизменно помнил о букве закона. Достаточно было порыться в папках старых процессов, чтобы узнать, как разрешали такие вопросы умные люди. Кроме того, все адвокаты — великие проныры. Они подсовывают судье под нос судебные решения, не заботясь о его мнении и взглядах.

— Ваша честь, в томе тридцать втором судебных решений штата Массачусетс, страница такая-то, строка такая-то, дело Эрандела против Бэннермена, вы найдете… — и так далее, и так далее. Как часто это можно слышать в суде! Много думать в большинстве таких случаев уже не приходится. А святость закона между тем вознесена, подобно стягу, во славу властей предержащих.

Пейдерсона, как правильно заметил Стеджер, вряд ли можно было назвать несправедливым судьей. Но, как и всякий судья, выдвинутый определенной партией, в данном случае республиканской, он был предан ей до мозга костей, и потому был судьей пристрастным. Всем обязанный партийным заправилам, он готов был, конечно, по мере своих сил, на что угодно, лишь бы

способствовать интересам республиканской партии и выгоде своих хозяев, большинство людей не дает себе труда поглубже заглянуть в механизм, называемый совестью. Если же они и удосужатся это сделать, то им, как правило, недостает умения распутать переплетенные нити этики и морали. Они искренне верят в то, что подсказывает им дух времени или деловые интересы власть имущих. Кто-то однажды обмолвился: «Судья, душою преданный концернам». И таких судей множество.

Пейдерсон тоже принадлежал к их числу. Он благоговел перед богатством и силой. В его глазах Батлер, Молленхауэр и Симпсон были великими людьми, а кто могуществен, тот и прав. Он давно уже слышал про растрату, в которой участвовали Каупервуд и Стинер, и благодаря своему знакомству со многими политическими деятелями довольно точно нарисовал себе общую картину этого дела. Республиканская партия, по мнению ее лидеров, была поставлена в весьма затруднительное положение хитроумными махинациями Каупервуда. По его милости Стинер уклонился от пути праведного гораздо дальше, чем это дозволено городскому казначею; и хотя он был инициатором всего дела, главная ответственность падала на Каупервуда, толкнувшего казначея на этот гибельный поступок. Кроме того, республиканской партии нужен был козел отпущения, и для Пейдерсона этим одним уже все было сказано. Правда, теперь, когда выборы прошли и стало очевидно, что партия никакого существенного ущерба не понесла, Пейдерсон не совсем понимал, почему в это дело так настойчиво втягивают Каупервуда, но, полагая, что у лидеров имеются на то достаточные основания, не слишком ломал себе голову над этим вопросом. Из разных источников он слышал, что Батлер питает к

Каупервуду личную неприязнь. В чем тут было дело, никто точно не мог сказать. Общее же мнение склонялось к тому, что Каупервуд вовлек его в какие-то сомнительные спекуляции. Так или иначе, все понимали, что этому делу решено было дать ход в интересах республиканской партии и для острастки рядовых ее членов. Ради вящего морального воздействия на общество Каупервуд должен был понести не меньшее наказание, чем Стинер. Стинеру же предстояло получить наивысший для такого рода преступлений срок заключения, дабы все поняли, как справедливы республиканская партия и суд. Впоследствии губернатор мог своею властью, если он того пожелает и если ему на это намекнут лидеры партии, смягчить наказание. В наивном представлении широкой публики судьи квартальной сессии были подобны воспитанницам монастырского пансиона, то есть жили вне мирской суеты и не ведали того, что творилось за кулисами политической жизни города. На деле же они были прекрасно обо всем осведомлены, а главное, зная, кому они обязаны своим положением и властью, умели быть благодарными.

40

Когда Каупервуд, свежий, подтянутый (типичный делец и крупный финансист), вошел в сопровождении отца и адвоката в переполненный зал суда, все взоры обратились на него. Нет, не похоже, подумалось большинству присутствующих, чтобы такому человеку был вынесен обвинительный приговор. Он, несомненно, виновен, но столь же несомненно, что у него найдутся способы и средства обойти закон. Его адвокат, Харпер Стеджер, тоже показался всем умным и оборотистым человеком. Погода стояла холодная, и оба они были одеты в длинные голубовато-серые пальто, по последней моде, Каупервуд в ясную погоду имел обыкновение носить бутоньерку в петлице, но сегодня он от нее отказался. Его галстук из плотного лилового шелка был заколот булавкой с крупным сверкающим изумрудом. Если не считать тоненькой часовой цепочки, на нем больше не было никаких украшений. Он и всегда-то производил впечатление человека жизнерадостного, но сдержанного, добродушного и в то же время самоуверенного и деловитого, а сегодня эти его качества выступали как-то особенно ярко.

Каупервуд с первого взгляда охватил всю своеобразную обстановку суда, теперь так остро его интересовавшую. Прямо перед ним находилась еще никем не занятая судейская трибуна, справа от нее — тоже пока пустовавшие места присяжных заседателей, а между ними, по левую руку от кресла судьи, свидетельская скамья, где ему предстояло сейчас давать показания. Позади нее уже стоял в ожидании выхода суда тучный судебный пристав, некий Джон Спаркхивер,

на обязанности которого лежало подавать свидетелю потрепанную и засаленную Библию и после принесения присяги говорить: «Пройдите сюда». В зале находились и другие приставы. Один — у прохода к барьеру напротив судейского стола, где обвиняемый выслушивал приговор и где помещались места адвокатов и скамья подсудимых; другой пристав стоял в проходе, ведущем в совещательную комнату, и, наконец, третий охранял дверь, через которую впускали публику. Каупервуд тотчас заметил Стинера, сидевшего на свидетельской скамье. Казначей так дрожал за свою судьбу, что решительно ни к кому не питал злых чувств. Он, собственно, и раньше не умел злобствовать, а теперь, очутившись в столь незавидном положении, только бесконечно сожалел, что не последовал совету Каупервуда. Правда, в душе его все еще теплилась надежда, что Молленхауэр и представляемая им политическая клика в случае обвинительного приговора будут ходатайствовать за него перед губернатором. Стинер был очень бледен и порядком исхудал. От розовощекой дородности, отличавшей его в дни процветания, не осталось и следа. Одет он был в новый серый костюм с коричневым галстуком и тщательно выбрит. Почувствовав пристальный взгляд Каупервуда, он вздрогнул и опустил глаза, а затем принялся как-то нелепо теребить себя за ухо.

Каупервуд кивнул ему.

— Знаете, что я вам скажу, — заметил он Стеджеру, — мне жаль Джорджа. Это такой осел! Впрочем, я сделал для него все, что мог.

Каупервуд искоса оглядел и миссис Стинер — низкорослую женщину с желтым лицом и острым

подбородком, в очень скверно сшитом платье. «Как это похоже на Стинера — выбрать себе такую жену», — подумал он. Браки между людьми не слишком преуспевшими и вдобавок неполноценными всегда занимали его воображение. Миссис Стинер, разумеется, не могла питать добрых чувств к Каупервуду, ибо считала его бессовестным человеком, загубившим ее мужа. Теперь они опять были бедны, собирались переезжать из своего большого дома в более дешевую квартиру, и она всеми силами гнала от себя эти печальные мысли.

Несколько минут спустя появился судья Пейдерсон, сопутствуемый низеньким и толстым судебным приставом, похожим скорее на зобастого голубя, чем на человека. Как только они вошли, пристав Спаркхивер постучал по судейскому столу, возле которого перед этим он клевал носом, и пробормотал: «Прошу встать!» Публика встала, как встает во всех судах всего мира. Судья порылся в кипе бумаг, лежавших у него на столе.

— Какое дело слушается первым, мистер Протус? — отрывисто спросил он судебного секретаря.

Покуда тянулась длинная и нудная процедура подготовки дел к слушанию и разбирались разные мелкие ходатайства адвокатов, Каупервуд с неослабевающим интересом наблюдал за всей этой сценой, в целом именуемой судом. Как он жаждал выйти победителем, как негодовал на несчастное стечение обстоятельств, приведшее его в эти стены! Его всегда бесило, хотя он и не показывал этого, судейское крючкотворство, все эти оттяжки и кляузы, так часто затрудняющие любое смелое начинание. Если бы его спросили, что такое закон, Каупервуд решительно

ответил бы: это туман, образовавшийся из людских причуд и ошибок; он заволакивает житейское море и мешает плавать утлым суденышкам деловых и общественных дерзаний человека. Ядовитые миазмы его лжетолкований разъедают язвы на теле жизни; случайные жертвы закона размалываются жерновами насилия и произвола. Закон

— это странная, жуткая, захватывающая и вместе с тем бессмысленная борьба, в которой человек безвольный, невежественный и неумелый, так же как и лукавый и озлобленный, равно становится пешкой, мячиком в руках других людей — юристов, ловко играющих на его настроении и тщеславии, на его желаниях и нуждах. Это омерзительно тягучее и разлагающее душу зрелище — горестное подтверждение бренности человеческой жизни, подвох и ловушка, силок и западня. В руках сильных людей, каким был и он, Каупервуд, в свои лучшие дни, закон — это меч и щит, для разини он может стать капканом, а для преследователя — волчьей ямой. Закон можно повернуть куда угодно — это лазейка к запретному, пыль, которой можно запорошить глаза тому, кто пожелал бы воспользоваться своим правом *видеть*, завеса, произвольно опускаемая между правдой и ее претворением в жизнь, между правосудием и карой, которую оно выносит, между преступлением и наказанием. Законники — в большинстве случаев просвещенные наймиты, которых покупают и продают. Каупервуда всегда забавляло слушать, как велеречиво они рассуждают об этике и чувствах, видеть, с какой готовностью они лгут, крадут, извращают факты по любому поводу и для любой цели. Крупные законники, в сущности, лишь великие пройдохи, вроде него самого;

как пауки, сидят они в тени, посреди своей хитро сплетенной сети и дожидаются неосторожных мошек в образе человеческом. Жизнь и в лучшем-то случае — жестокая, бесчеловечная, холодная и безжалостная борьба, и одно из орудий этой борьбы — буква закона. Наиболее презренные представители всей этой житейской кутерьмы — законники. Каупервуд сам прибегал к закону, как прибег бы к любому оружию, чтобы защититься от беды; и юристов он выбирал так же, как выбирал бы дубинку или нож для самообороны. Ни к одному из них он не питал уважения, даже к Харперу Стеджеру, хотя этот человек чем-то нравился ему. Все они — только необходимое орудие: ножи, отмычки, дубинки и ничего больше. Когда они заканчивают дело, с ними расплачиваются и забывают о них. Что касается судей, то по большей части это незадачливые адвокаты, выдвинувшиеся благодаря счастливой случайности, люди, которые, вероятно, во многом уступили бы красноречиво разливавшимся перед ними защитникам, случись им поменяться ролями. Каупервуд не уважал судей — он слишком хорошо знал их. Знал, как часто встречаются среди них льстецы, политические карьеристы, политические поденщики, пешки в чужих руках, конъюнктурщики и подхалимы, стелющиеся под ноги финансовым магнатам и политическим заправилам, которые по мере надобности и пользуются ими, как тряпкой для обтирания сапог. Судьи — глупцы, как, впрочем, и большинство людей в этом дряхлом и зыбком мире. Да, его пронзительный взгляд охватывал всех, находившихся перед ним, но оставался невозмутимым. Единственное спасение Каупервуд видел в необычайной изворотливости своего ума. Никто не сумел бы убедить его, что этим бренным

миром движет добродетель. Он знал слишком многое и знал себя.

Покончив наконец с множеством мелких ходатайств, судья приказал огласить дело по иску города Филадельфии к Фрэнку А.Каупервуду, и секретарь возвестил о начале процесса зычным голосом. Деннис Шеннон, новый окружной прокурор, и Стеджер поспешно встали. Стеджер и Каупервуд, а также Шеннон и Стробик (последний в качестве истца, представляющего интересы штата Пенсильвания) уселись за длинный стол внутри огороженного пространства, между барьером и судейской трибуной. Стеджер — больше для проформы — предложил судье Пейдерсону прекратить дело, но его ходатайство было отклонено.

Немедленно был составлен список присяжных заседателей — двенадцать человек из числа лиц, призванных в течение месяца отбывать эту повинность,

— и предложен на рассмотрение сторон. Процедура составления списка была в этой инстанции делом довольно простым. Она состояла в том, что секретарь, похожий на китайского мандарина, писал на отдельном листке фамилию каждого кандидата в присяжные заседатели на данный месяц — всего их было около пятидесяти человек, — опускал эти билетики во вращающийся барабан, несколько раз его повертывал и вытаскивал первый попавшийся: такой ритуал восславлял *случай* и определял, кто будет присяжным номер один. Рука секретаря двенадцать раз погрузилась в барабан и извлекла имена двенадцати присяжных заседателей, которых, по мере того как объявлялись их фамилии, приглашали занять свое место.

Каупервуд наблюдал за этой процедурой с глубоким интересом. Да и что сейчас могло интересовать его больше, чем люди, которым предстояло его судить? Правда, все делалось так быстро, что он не мог составить себе точного представления о них, хотя и успел заметить, что все они принадлежат к средним слоям буржуазии. В глаза ему бросился только один старик лет шестидесяти пяти, сутулый, с сильной проседью в волосах и в бороде, с косматыми бровями и бледным лицом; он показался Каупервуду человеком по натуре доброжелательным, с большим житейским опытом за плечами, такого при благоприятных обстоятельствах и с помощью достаточно убедительных доводов, пожалуй, можно будет склонить на свою сторону. Другого, по-видимому, торговца, низкорослого, с тонким носом и острым подбородком, Каупервуд почему-то сразу невзлюбил.

— Надеюсь, не обязательно, чтобы этот тип вошел в состав присяжных? — тихо спросил он Стеджера.

— Конечно, нет, — отвечал Стеджер. — Я отведу его. Мы имеем право, так же как и обвинители, на пятнадцать отводов без указания причин.

Когда места присяжных наконец заполнились, секретарь протянул защитнику и прокурору дощечку с прикрепленными к ней записками, на которых значились фамилии двенадцати присяжных в том порядке, в каком они были выбраны: в верхнем ряду — первый, второй и третий, затем — четвертый, пятый, шестой, и так далее. Поскольку представителю обвинения дано право первому отводить кандидатов, то Шеннон встал, взял дощечку и начал спрашивать присяжных об их профессии или роде занятий, о том, что было им известно о деле до суда, и

не настроены ли они заранее в пользу той или другой стороны.

Стеджер и Шеннон стремились отобрать людей, которые хоть как-то могли бы разобраться в финансовых вопросах, а следовательно, и в этом не совсем обычном деле, и притом не питали бы (в этом был заинтересован Стеджер) предубеждения против человека, разумно попытавшегося защититься от финансовой бури, или же (в этом был заинтересован Шеннон) отнеслись бы сочувственно к средствам защиты, которые он пустил в ход, поскольку средства эти наводил» на мысль о вымогательстве, плутовстве и бесчестных махинациях. И Шеннон и Стеджер вскоре заметили, что среди присяжных преобладает та мелкая и средняя рыбешка, которую в таких случаях вытаскивают на поверхность судебные сети, закинутые в океан городской жизни. Это были преимущественно управляющие предприятиями, всякого рода агенты, торговцы, редакторы, инженеры, архитекторы, меховщики, бакалейщики, коммивояжеры, репортеры и представители других профессий, чей богатый жизненный опыт делал их пригодными для выполнения обязанностей присяжных. Людей с высоким общественным положением среди них почти не было, зато многие обладали тем примечательным качеством, которое именуется здравым смыслом.

Во время этой процедуры Каупервуд хладнокровно изучал лица присяжных. Внимание его привлек один молодой владелец цветочного магазина: бледный, с широким лбом мыслителя и белыми, бескровными руками, он показался Каупервуду человеком, который не сможет устоять против его обаяния, и Каупервуд поспешил шепнуть об этом Стеджеру. Одному еврею-скорняку с хитрыми глазами был дан отвод, так

как он все время следил за ходом дел на бирже и сам потерял две тысячи долларов в акциях конных железных дорог. Толстый оптовый торговец-бакалейщик, белокурый, с румяным лицом и голубыми глазами, произвел на Каупервуда впечатление тупого упрямца. Его кандидатура тоже была отведена. Среди присяжных был еще худой, щеголеватый директор небольшого магазина готового платья, которому очень хотелось увильнуть от обязанностей присяжного заседателя, почему он и заявил (хотя это была неправда), что не признает присяги на Библии. Судья Пейдерсон нахмурился, но отпустил его. Затем набралось еще человек десять — знакомые Каупервуда, знакомые Стинера, те, которые признали себя предубежденными, и, наконец, ярые республиканцы, возмущавшиеся действиями Каупервуда, — всем им разрешили удалиться.

К полудню все же был установлен состав присяжных, более или менее приемлемый для обеих сторон.

41

Ровно в два часа окружной прокурор Деннис Шеннон начал свою речь. Весьма обыденным и даже благодушным тоном — такая уж у него была манера — он заявил, что мистер Фрэнк А.Каупервуд, в настоящую минуту представший перед судом, обвиняется: во-первых, в хищении, во-вторых, в растрате, в-третьих, в присвоении собственности доверителя и наконец, в-четвертых, опять-таки в растрате известной суммы, точнее, шестидесяти тысяч долларов, полученной им по выписанному на его имя чеку девятого октября тысяча восемьсот семьдесят первого года. Вышеупомянутые шестьдесят тысяч предназначались на покупку определенного количества сертификатов городского займа, каковые мистер Каупервуд в качестве агента или доверенного лица обязан был приобрести — согласно распоряжению городского казначея и на основании существовавшей между последним и мистером Каупервудом договоренности — для амортизационного фонда в целях выкупа срочных сертификатов. Тем не менее полученный мистером Каупервудом чек по назначению использован не был.

— Теперь, джентльмены, — таким же ровным голосом продолжал Шеннон, — прежде чем перейти к рассмотрению весьма несложного вопроса, получил или не получил мистер Каупервуд в упомянутый день от городского казначея шестьдесят тысяч долларов, — во всяком случае ценных бумаг на эту сумму в амортизационном фонде не числится, — я позволю себе объяснить вам, почему ему предъявлено обвинение, во-первых, в хищении, во-вторых, в растрате, в-третьих,

в присвоении собственности доверителя и, в-четвертых, в растрате денег, полученных по чеку. Итак, вы видите, что обвинение, говоря языком юристов, содержит четыре пункта; почему именно четыре, сейчас вам станет понятно. Человек может быть виновен одновременно в хищении и в растрате или только в хищении и только в растрате, и вот прокурор, представляющий интересы народа, иногда сомневается не в том, совершил или не совершил обвиняемый оба упомянутых преступления, а в том, подходят ли они под один пункт обвинения настолько, чтобы лицо, виновное в обоих преступлениях, понесло соответственное наказание. В таких случаях, джентльмены, принято предъявлять обвинение по отдельным пунктам, как это и сделано нами. В данном деле эти четыре пункта в известной мере совпадают и подтверждают друг друга, и ваш долг (после того, как мы детально осветим эти пункты и ознакомим вас со свидетельскими показаниями) будет заключаться в том, чтобы решить, доказано ли обвинение по одному пункту, по двум, по трем или по всем четырем, — это уже будет зависеть от вашей точки зрения или, правильнее сказать, от того, насколько доказательными вы сочтете улики и свидетельские показания. Хищением, как вам, вероятно, известно, называется присвоение чужих денег или имущества без ведома или согласия на то законного владельца, растратой же мы именуем злостное и своекорыстное использование имущества, и прежде всего денег, лицом, попечению которого они вверены. Присвоение собственности доверителя (то есть третий пункт нашего обвинения) — это лишь особый вид хищения: кража доверенным лицом имущества доверителя. Пункт четвертый, то есть растрата денег, полученных по чеку, является, собственно, уточнением

формулировки обвинения по второму пункту и означает присвоение денег, выданных по чеку для какой-либо определенной цели. Все эти четыре обвинения, джентльмены, как видите, тождественны. Они совпадают и подтверждают друг друга. Итак, народ через посредство своего представителя, окружного прокурора, утверждает, что обвиняемый, мистер Каупервуд, виновен по всем четырем пунктам. А теперь, джентльмены, мы перейдем к истории совершенного преступления; для меня лично из нее явствует, что обвиняемый, мистер Каупервуд, принадлежит к наиболее коварным и преступным типам, какие только встречаются в финансовом мире, что мы и надеемся доказать вам при помощи свидетельских показаний.

Пользуясь тем, что правила ведения процесса не дозволяют прерывать обвинителя во время изложения дела, Шеннон начал пространно рассказывать, как Каупервуд познакомился со Стинером, как сумел втереться к нему в доверие, как мало смыслил тогда Стинер в финансовых вопросах, и так далее. В заключение он рассказал, как Каупервуд получил чек на шестьдесят тысяч долларов без ведома городского казначея, который, по его словам, узнал о выдаче чека, когда это было уже совершившимся фактом, что и дает основание обвинить Каупервуда в хищении; завладев чеком, обвиняемый незаконно присвоил сертификаты, которые он обязан был приобрести для амортизационного фонда, если таковые вообще были приобретены. Совокупность всех этих фактов, заявил Шеннон, и дает основание признать мистера Каупервуда виновным по всем четырем пунктам.

— Мы располагаем прямыми и неопровержимыми доказательствами, подтверждающими все нами

сказанное, — повысив голос, закончил мистер Шеннон. — Речь идет не о каких-либо слухах или предположениях, а только о фактах. Неопровержимые свидетельские показания помогут вам уяснить себе, как все это было проделано. И если после всего вами услышанного вы все же будете считать, что этот человек невиновен, что он не совершил преступлений, в которых его обвиняют, то ваш долг его оправдать. И напротив, если вы убедитесь в правдивости свидетельских показаний, ваш долг признать его виновным и вынести ему обвинительный приговор. Благодарю вас, джентльмены, за оказанное мне внимание!

Присяжные зашевелились, устраиваясь поудобнее в надежде на небольшую передышку. Но отдыхать им не пришлось, так как Шеннон вызвал Джорджа Стинера, который встал и торопливо вышел вперед, очень бледный, очень вялый и измученный. Когда он занял место на свидетельской скамье и положил руку на Библию, присягая в том, что будет говорить правду, его глаза тревожно забегали по залу.

Поначалу голос его звучал едва слышно. Прежде всего он рассказал о своем знакомстве с Каупервудом, состоявшемся в начале тысяча восемьсот шестьдесят шестого года, точной даты он не помнил. Это было еще во время первого срока его пребывания на посту городского казначея, так как он был впервые избран осенью тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года. Его тогда очень тревожило положение с городским займом, котировавшимся на рынке ниже паритета, между тем как, согласно закону, город имел право продавать его только по паритету. Кто-то рекомендовал ему Каупервуда, кажется, мистер Стробик; впрочем, он в этом не уверен. Городские казначеи в столь критические

минуты всегда обращались к биржевым маклерам, и он, Стинер, поступил, как все. Далее Стинер, поощряемый вопросами и подсказками неугомонного Шеннона, принялся излагать содержание своей первой беседы с Каупервудом, отлично ему запомнившейся. Мистер Каупервуд уверил его, что этой беде можно помочь. Разработав, или, вернее, продумав план действия, он через некоторое время явился снова и посвятил его, Стинера, в свои замыслы. При искусной помощи Шеннона Стинер изложил суть этого плана, далеко не лестно характеризовавшего человеческую честность, но зато свидетельствовавшего о хитрости и изобретательности человеческого ума.

После довольно нудного повествования об отношениях, которые установились между ним и Каупервудом, Стинер заговорил наконец о том времени, когда в результате дружеской и деловой связи, окрепшей за много лет и весьма положительно отозвавшейся на материальном положении обоих, Каупервуд стал не только ворочать миллионами долларов из средств города, но вдобавок заполучил в полное свое распоряжение пятьсот тысяч долларов на чрезвычайно низких процентах и эти деньги вложил в доходные линии конно-железных дорог в интересах своих и казначея. Стинер отнюдь не стремился внести полную ясность в этот вопрос, но Шеннон, зная, что впоследствии ему придется обвинять Стинера в этом же преступлении, и учитывая, что Стеджер вот-вот примет участие в перекрестном допросе, не позволил городскому казначею отделаться туманными фразами, Шеннон хотел во что бы то ни стало внушить присяжным, что Каупервуд — человек изворотливый и коварный, и это вполне ему удалось. По мере того, как допрашиваемый приводил

примеры необычайной ловкости Каупервуда, то один, то другой присяжный оборачивался и с любопытством его разглядывал. Заметив это и стараясь произвести как можно более благоприятное впечатление, Каупервуд все время смотрел на Стинера спокойным, умным и проникновенным взглядом.

Наконец речь зашла об истории с чеком на шестьдесят тысяч долларов, который Альберт Стайерс вручил Каупервуду девятого октября на исходе служебного дня. Шеннон предъявил этот чек Стинеру в качестве вещественного доказательства. Видел ли он таковой ранее? Да, видел. Где? В канцелярии окружного прокурора Петти в двадцатых числах октября. Он видел его тогда впервые? Да. А до этого он никогда не слышал о нем? Нет, слышал. Когда? Десятого октября. Не будет ли он любезен рассказать суду, каким образом и при каких обстоятельствах ему довелось впервые услышать об этом чеке? Стинер заерзал на стуле. Очень уж нелегко вывернуться. Прямой ответ был бы по меньшей мере нелестной характеристикой его собственных моральных качеств. Тем не менее он откашлялся и начал описывать тот краткий, но горький период своей жизни, когда Каупервуд, очутившись в тяжелом положении и на краю банкротства, явился в казначейство и потребовал, чтобы он ссудил ему дополнительно еще триста тысяч долларов. Тут между Стеджером и Шенноном возникла чуть ли не перебранка, так как Стеджер хотел создать впечатление, будто Стинер врет самым беззастенчивым образом. Улучив минуту, он заявил протест — тем самым добившись значительного отклонения от основной темы, — на том основании, что Стинер все время употребляет выражения «я думаю» или «мне кажется».

— Я возражаю! — несколько раз восклицал Стеджер. — Я ходатайствую о том, чтобы заявление свидетеля было изъято из протокола как не заслуживающее доверия, голословное и не относящееся к делу. Свидетелю не дано права распространяться о том, что он думает, и обвинитель прекрасно это знает.

— Ваша честь, — протестовал, в свою очередь, Шеннон, — я делаю все от меня зависящее, чтобы добиться от свидетеля простого и правдивого изложения фактов, и, по-моему, небезуспешно.

— Я возражаю! — снова загремел Стеджер. — Ваша честь, я настаиваю на том, что прокурор не имеет права воздействовать на присяжных лестными отзывами об искренности свидетеля. Мнение прокурора о свидетеле и об его искренности к делу не относится. Я вынужден просить вашу честь сделать прокурору строгое предупреждение.

— Ходатайство удовлетворено, — заявил судья Пейдерсон. — Попрошу обвинителя держаться ближе к делу.

Шеннон продолжал допрос.

Показания Стинера были чрезвычайно существенны, так как они проливали свет на то, о чем хотел умолчать Каупервуд, а именно: что у него произошел крупный разговор с казначеем; что тот наотрез отказался дополнительно ссудить его деньгами; что Каупервуд накануне получения чека, а затем и в тот самый день говорил Стинеру о своем катастрофическом финансовом положении, предупреждая, что если Стинер не поддержит его трехсоттысячной ссудой, то ему грозит крах, и тогда они оба будут разорены. Далее Стинер заявил, что девятого октября утром (то есть в день

получения чека) он дал Каупервуду письменное предписание воздержаться от приобретения сертификатов для амортизационного фонда. А Каупервуд, уже после их разговора, состоявшегося в конце того же дня, мошенническим путем получил чек на шестьдесят тысяч долларов от Альберта Стайерса — без его, Стинера, ведома. Когда же Стинер послал к нему Стайерса с требованием вернуть чек, Каупервуд отказался это сделать, несмотря на то, что на другой день, в пять часов пополудни, объявил о передаче дел под опеку. Сертификаты же, на приобретение которых был взят чек, так и не были переданы в амортизационный фонд. Все эти показания крайне не благоприятствовали Каупервуду.

Нечего и говорить, что перекрестный допрос неоднократно прерывался выкриками «возражаю!» или «изъять!» то со стороны Стеджера, то со стороны Шеннона. Бывали минуты, когда зал суда буквально гудел от пререканий этих двух джентльменов, и «его чести» то и дело приходилось стучать молотком по столу и грозить им штрафом за неуважение к суду. Такие вспышки негодования со стороны судьи Пейдерсона заставляли присяжных оживляться и с нескрываемым интересом прислушиваться к спору.

— Джентльмены, я призываю вас прекратить препирательства, в противном случае я буду вынужден наложить на вас обоих крупный штраф! Вы в суде, а не в пивной! Мистер Стеджер, предлагаю вам немедленно извиниться передо мною и вашим коллегой! Мистер Шеннон, прошу вас воздержаться от столь агрессивных методов. Ваше недопустимое поведение оскорбляет суд. Я вас предупреждаю в последний раз.

Оба юриста принесли свои извинения, как это полагается в таких случаях, но тут же взялись за прежнее.

— Что сказал вам Каупервуд, — обратился Шеннон к Стинеру после одного из таких бурных перерывов, — в тот день, девятого октября, когда он явился к вам и потребовал дополнительной ссуды в триста тысяч долларов? Повторите сказанное им возможно более точно, желательно — слово в слово.

— Я возражаю! — выкрикнул Стеджер. — Точные слова мистера Каупервуда запечатлены только в памяти мистера Стинера, а его память не может приниматься во внимание в данном случае. Свидетель все время пересказывал факты лишь в общих чертах.

Судья Пейдерсон хмуро усмехнулся.

— Ходатайство отклонено, — объявил он.

— Я требую занесения в протокол! — крикнул Стеджер.

— Насколько мне помнится, — отвечал Стинер, нервно барабаня пальцами по ручке кресла, — он сказал, что, если я не дам ему триста тысяч долларов, он обанкротится, а я стану нищим и угожу в тюрьму.

— Я возражаю! — пронзительно крикнул Стеджер, вскакивая с места. — Ваша честь, я возражаю против самого метода допроса, применяемого обвинением! Обвинитель поступает противозаконно и беспрецедентно, пытаясь извлечь из отнюдь не надежной памяти свидетеля показания, не имеющие ровно никакого отношения к фактам, интересующим суд; эти показания не могут ни подтвердить, ни опровергнуть, действительно ли мистер Каупервуд полагал, что он

обанкротился, или нет. Мистер Стинер может привести свою версию этого разговора или какой-либо другой беседы, имевшей место в то время, а мистер Каупервуд — свою. Факт тот, что их версии полностью расходятся. Не понимаю, чего, собственно, хочет добиться мистер Шеннон столь странными методами, разве только повлиять на присяжных заседателей и внушить им доверие к заявлениям, которые угодно делать обвинителю, хотя он при всем желании не может подтвердить их фактами. Мне думается, ваша честь, вам следует предупредить свидетеля, что он должен показывать только то, что помнит в точности, а не то, что ему «как будто помнится». Я лично полагаю, что все показания свидетеля, сделанные им за последние пять минут, следует изъять из протокола.

— Ходатайство отклонено, — хладнокровно отозвался судья Пейдерсон, и Стеджер, произнесший эту тираду главным образом для того, чтобы ослабить впечатление, произведенное на присяжных показаниями Стинера, опустился на свое место.

Шеннон снова принялся за Стинера:

— Теперь я попрошу вас, мистер Стинер, рассказать суду, возможно более точно, что еще говорил вам тогда мистер Каупервуд. Едва ли он ограничился одним замечанием, что вы будете разорены и попадете в тюрьму. Неужели ничего другого при этом не было сказано?

— Насколько мне помнится, — отвечал Стинер, — он сказал еще, что шайка политических интриганов пытается застращать меня, что, если я не дам ему трехсот тысяч долларов, мы оба будем разорены и все равно семь бед — один ответ.

— Ага! — вскричал Шеннон. — Он так и сказал?

— Да, сэр, он так и сказал, — подтвердил Стинер.

— Но как он выразился? Не можете ли вы точно вспомнить его слова? — обрадовался Шеннон; он протянул руку к Стинеру, словно приглашая его неотчетливее вспомнить разговор, происшедший между ним и Каупервудом.

— Насколько я припоминаю, он именно так и сказал, — уклончиво отозвался Стинер. — Семь бед — один ответ.

— Совершенно верно! — воскликнул Шеннон и резко повернулся спиной к присяжным, чтобы бросить взгляд на Каупервуда. — Я так и предполагал!

— Низкопробная уловка, ваша честь! — закричал Стеджер, вскакивая с места. — Все это делается с целью повлиять на господ присяжных заседателей. Это фиглярство! Я просил бы вас сделать предупреждение представителю обвинения, просить его придерживаться фактов, если он таковыми располагает, и оставить эти актерские замашки!

В зале заулыбались. Заметив это, судья Пейдерсон сурово нахмурился.

— Вы вносите возражение, мистер Стеджер? — осведомился он.

— Да, конечно, ваша честь, — подтвердил неугомонный защитник.

— Ходатайство отклонено. И обвинитель и защитник вольны в своих словах.

Стеджер сам готов был улыбнуться, но не осмелился.

Каупервуд, боясь, что показания Стинера представили его в очень уж невыгодном свете, все же с жалостью смотрел на казначея. Какая бесхарактерность! Какое слабоволие! До чего довела их обоих его трусость!

Когда Шеннон, выудив у свидетеля эти неутешительные для Каупервуда сведения, кончил допрос, за Стинера принялся Стеджер, но ему удалось извлечь из казначея меньше, чем он рассчитывал. Стинер говорил сущую правду, а впечатление, производимое правдой, трудно ослабить каким-либо ловким трюком, хотя иногда это и удается. Стеджер кропотливо перебирал все детали взаимоотношений Стинера с Каупервудом, стараясь выставить обвиняемого бескорыстным посредником, а отнюдь не инициатором хитроумной и преступной авантюры. Задача, взятая им на себя, была нелегка. Стеджеру, однако, удалось произвести более или менее выгодное впечатление. И все же присяжные слушали его скептически. Быть может, думали они, несправедливо наказывать Каупервуда за то, что он с такою жадностью ухватился за представившуюся ему возможность быстрого обогащения, но, право же, не стоило и прятать под маской невинности столь явную человеческую алчность. Наконец оба — и прокурор и защитник — на время оставили в покое Стинера, и в качестве свидетеля был вызван Альберт Стайерс.

Стайерс остался все тем же худощавым, подвижным и располагающим к себе человеком, каким он был во время расцвета своей служебной карьеры; пожалуй, он казался только чуть-чуть бледнее, вот и все. Свое маленькое состояние он спас благодаря Каупервуду,

который посоветовал ему довести до сведения «Ассоциации помощи городскому самоуправлению», что его поручители намереваются присвоить себе его залог, тогда как по закону он должен перейти к городу, если у властей имеются обоснованные претензии, каковых в данном случае не имелось. Неизменно бдительная ассоциация выпустила по этому поводу одно из своих многочисленных «заявлений», и Альберт с удовольствием наблюдал, как Стробик и другие немедленно пошли на попятный. Естественно, что Стайерс испытывал своего рода благодарность к Каупервуду, хотя однажды напрасно со слезами молил его о помощи. Он очень хотел сейчас быть ему полезным, но, как человек по натуре правдивый, не сумел в своих показаниях изложить ничего, кроме фактов, которые частично свидетельствовали в пользу Каупервуда, частично же против него.

Стайерс показал, что Каупервуд в тот день сообщил ему о приобретении сертификатов, потребовал причитающиеся за них деньги и добавил, что Стинер совершенно напрасно так напуган и еще, что ему, Стайерсу, не грозит никакая опасность. Далее Стайерс подтвердил правильность записей в предъявленных ему бухгалтерских книгах городского казначейства, а также соответствующих записей в книгах Каупервуда. Его показание, что Стинер был поражен, узнав о выдаче управляющим канцелярией чека, было против Каупервуда. Но тот надеялся, что ему удастся сгладить своими показаниями эффект этого сообщения.

До этого момента и Стеджер и Каупервуд считали, что все складывается для них более или менее

благоприятно и ничего не будет удивительного, если они выиграют процесс.

42

Разбирательство продолжалось. Один за другим выступали свидетели обвинения, пока, наконец, Шеннон не уверился в том, что в достаточной мере изобличил Каупервуда, после чего объявил свою миссию временно законченной. Тогда с места поднялся Стеджер и начал препираться с судьей, требуя прекращения дела ввиду отсутствия таких-то и таких-то улик, подтверждающих состав преступления. Но Пейдерсон упорно стоял на своем. Он слишком хорошо знал, какое значение придают этому делу в политических кругах Филадельфии.

— Я считаю, мистер Стеджер, что это не подлежит рассмотрению, — усталым голосом произнес он, выслушав пространную тираду защитника. — Традиции городской администрации мне известны, и предъявленное здесь обвинение к ним никакого отношения не имеет. Вам следует адресоваться к присяжным, а не ко мне. Я сейчас вникать в эти подробности не могу. За вами остается право возобновить ходатайство к концу рассмотрения дела. Ходатайство отклонено.

Окружной прокурор Шеннон, слушавший с глубоким вниманием, опустился на свое место. Убедившись, что никакими хитроумными доводами судью не проймешь, Стеджер подошел к Каупервуду, который только улыбнулся его неудаче.

— Нам, очевидно, остается возложить все надежды на присяжных! — сказал Стеджер.

— Я в этом не сомневался, — отвечал Каупервуд.

Тогда Стеджер обратился с речью к присяжным; вкратце изложив им свою точку зрения на дело, он перешел к выводам из свидетельских показаний.

— Собственно говоря, джентльмены, особой разницы между показаниями свидетелей обвинения и свидетелей защиты быть не может. Мы не собираемся оспаривать ни того, что мистер Каупервуд получил от мистера Стинера чек на шестьдесят тысяч долларов, ни того, что он не сдал в амортизационный фонд сертификатов городского займа на означенную сумму (кстати, законно им полученную за посредничество), хотя он, по утверждению обвинителя, был обязан это сделать. Но мы, со своей стороны, утверждаем и сумеем, бесспорно, доказать, что как агент городского казначейства, свыше четырех лет находившийся в деловых отношениях с городским самоуправлением, он был вправе, согласно своей договоренности с казначеем, производить любые расчеты, а равно и сдачу сертификатов в амортизационный фонд первого числа следующего месяца, то есть ближайшего первого числа после той или иной сделки. В подтверждение наших слов мы можем назвать ряд коммерсантов и банкиров, которые в прошлом вели дела с городским казначейством на основе точно такой же договоренности. Обвинитель хочет внушить вам, во-первых, будто мистер Каупервуд, получая этот чек, уже знал о предстоящем ему банкротстве, во-вторых, будто он, вопреки его утверждению, вовсе не покупал сертификатов для передачи их в амортизационный фонд, и, наконец, будто, зная о своем предстоящем банкротстве и невозможности сдать по назначению сертификаты займа, он все же спокойно отправился к мистеру Альберту Стайерсу, управляющему канцелярией мистера Стинера, и, заявив

ему, что приобрел для города такое-то количество сертификатов, обманным путем получил чек.

Я не собираюсь, джентльмены, затевать излишние словопрения по этому вопросу; свидетельские показания сейчас с достаточной ясностью осветят факты. Мы предоставим слово целому ряду свидетелей и очень просим вас выслушать их со вниманием. Покорнейше прошу вас также учесть следующее: ни от одного из свидетелей, если не считать мистера Джорджа Стинера, мы не слышали даже косвенного подтверждения того, что мистер Каупервуд в момент своего визита к городскому казначею знал о грозящем ему банкротстве или что он будто бы вовсе не покупал пресловутых сертификатов, равно как и того, что он будто бы не имел права держать их у себя с тем, чтобы сдать в амортизационный фонд лишь к первому числу следующего месяца, то есть в срок, когда обычно подводился баланс его расчетов с городским казначейством. Мистер Стинер, бывший городской казначей, может, конечно, утверждать, что ему угодно. Мистер Каупервуд, со своей стороны, будет утверждать обратное. Вам, джентльмены, предстоит рассудить, кто из них внушает больше доверия: Джордж Стинер — бывший городской казначей, некогда состоявший в деловом товариществе с моим подзащитным и теперь ополчившийся на человека, чей неустанный и многолетний труд обогатил его, только потому, что чикагский пожар вызвал на бирже панику и финансовые потрясения; или мистер Фрэнк Каупервуд, видный банкир и финансист, который сделал все от него зависевшее, чтобы собственными силами противостоять буре, который с пунктуальной точностью соблюдал свое соглашение с городом и до последнего момента прилагал

все усилия, чтобы преодолеть денежные затруднения, навлеченные на него пожаром и паникой. Не далее как вчера мистер Каупервуд предложил городу возместить всю свою задолженность (хотя фактически он не единственный должник) и в самом скором времени — если только ему позволят не закрывать свою контору — вернуть все до единого доллара, включая те пятьсот тысяч, о которых здесь шла речь, и таким образом доказать не на словах, а на деле, что ни у кого нет и не было никаких оснований подозревать его в нечестных намерениях. Как вы, вероятно, уже догадываетесь, джентльмены, город не соблаговолил принять его предложение; позднее я возьму на себя смелость объяснить, почему именно. Пока же мы продолжим допрос свидетелей. А я от имени защиты вторично попрошу вас внимательно выслушать их показания. Вникните в то, что будет говорить мистер Дэвисон, когда он выступит здесь в качестве свидетеля. С не меньшей тщательностью взвесьте показания мистера Каупервуда и всех прочих. Тогда вам нетрудно будет составить на этот счет свое собственное мнение и решить, имеются ли достаточные основания для этого судебного преследования! Я лично таковых не вижу. Разрешите выразить вам признательность, джентльмены, за внимание, с которым вы меня выслушали.

Затем Стеджер вызвал Артура Райверса, который должен был засвидетельствовать, что во время паники на бирже он, как агент Каупервуда, скупал большими партиями облигации городского займа в целях поддержания их курса. Вслед за ним братья Каупервуда, Эдвард и Джозеф, показали, что ими были получены инструкции от Райверса покупать и продавать

вышеупомянутые облигации, но главным образом — покупать.

Следующим свидетелем был мистер Дэвисон, председатель правления Джирардского национального банка, крупный мужчина, не столько полный, сколько широкий и тяжеловесный Грудь и плечи у него были могучие, волосы белокурые, голова большая, с крутым, широким лбом умного и здравомыслящего человека. Толстый, чуть приплюснутый нос придавал его лицу выражение силы, губы у него были тонкие, плотно сжатые и прямые. В холодных голубых глазах мистера Дэвисона иногда мелькали искорки скептического юмора; вообще говоря, это был доброжелательный, живой, миролюбивый человек, хотя внешность его скорее свидетельствовала об обратном. С первых же его слов стало ясно, что он привык считаться лишь с непреложными фактами финансовой жизни и по самому складу своего характера тяготел к Фрэнку Алджернону Каупервуду, хотя тот как личность и не восхищал его. По неторопливым, исполненным сознания собственного достоинства движениям было видно, что он считает все эти судебные процедуры чем-то вздорным, ненужным, посягающим на достоинство подлинного финансиста, короче говоря — докучливой чепухой. На сонного пристава Спаркхивера, подавшего ему Библию для присяги, он обратил так же мало внимания, как если бы это был деревянный чурбан. Присяга в его представлении была чистой формальностью. Иногда говорить правду выгодно, иногда нет. Свои показания он давал непринужденно и просто.

Мистера Фрэнка Алджернона Каупервуда он знает без малого десять лет. Почти все это время он вел дела либо с ним самим, либо через него с другими лицами. О

взаимоотношениях мистера Каупервуда с мистером Стинером ему ничего не известно, с последним он даже не знаком. Что касается чека на шестьдесят тысяч долларов — да, он его видел. Чек этот был передан его банку десятого октября вместе с другими ценными бумагами в обеспечение кредита, который был превышен банкирской конторой «Каупервуд и Кь». Эта сумма была занесена в кредит банкирской конторы «Каупервуд и Кь», а банк, со своей стороны, реализовал чек через расчетную палату. После этого никаких сумм, превышающих кредиты мистера Каупервуда, из банка взято не было, и счет этого финансиста был, таким образом, сбалансирован.

Между тем мистер Каупервуд мог бы получить в банке весьма значительные суммы, и никто не заподозрил бы его в неблаговидных действиях. Он, Дэвисон, понятия не имел, что Каупервуду грозит банкротство, и никогда бы не предположил, что это может случиться так внезапно. Каупервуд неоднократно превышал свой кредит в Джирардском национальном банке, что всегда считалось самым обыденным явлением. Такое превышение кредита давало Каупервуду возможность активно использовать свои ресурсы, а в финансовом мире это называется умелым ведением дел. Превышая кредит, он всегда обеспечивал эти суммы и обычно присылал в банк целые пачки ценных бумаг и чеков, которые затем так или иначе использовались. Счет мистера Каупервуда в банке был самый крупный и самый активный, добавил мистер Дэвисон. К моменту банкротства мистера Каупервуда в Джирардском национальном банке находилось на девяносто с лишним тысяч долларов облигаций городского займа, присланных туда мистером Каупервудом в качестве обеспечения.

Во время перекрестного допроса Шеннон, стремясь произвести надлежащее впечатление на присяжных, допытывался, нет ли у мистера Дэвисона каких-либо скрытых причин быть расположенным к Каупервуду. Но из этой затеи ничего не вышло. Стеджер брал слово вслед за ним и делал все от него зависевшее, чтобы благоприятные для Каупервуда показания мистера Дэвисона запечатлелись в умах присяжных; для этой цели он заставлял президента банка снова и снова повторять сказанное. Шеннон, конечно, протестовал, но тщетно. Стеджеру удалось добиться своего.

Наконец защитник предоставил слово Каупервуду; как только эта фамилия была произнесена, все насторожились.

Каупервуд бодрым, быстрым шагом вышел вперед. Он был спокоен и уверен в себе; сейчас решалась вся его жизнь, которую он так высоко ценил. Ни юристы, ни присяжные, ни эта марионетка — судья, ни козни судьбы не потрясли его, не смирили, не подорвали его сил. Сейчас он вдруг понял, что представляют собой эти присяжные. Он хотел помочь своему защитнику запутать Шеннона, смешать все его карты, но разум приказывал ему оперировать только неопровержимыми фактами или тем, что можно выдать за таковые. Он был уверен, что как финансист он поступил правильно. Жизнь — война, и в особенности жизнь финансиста; стратегия — ее закон, ее краеугольный камень, ее необходимость. Зачем же тревожиться из-за жалких душонок, неспособных это понять? Чтобы помочь Стеджеру и воздействовать на присяжных, он рассказал всю свою историю, которую представил в наиболее разумном и благоприятном для него освещении. Во-первых, он не по своей инициативе пошел к мистеру Стинеру, а только откликнулся на его

приглашение. Во-вторых, он ни к чему не принуждал мистера Стинера. Он только обрисовал ему и его друзьям некоторые финансовые возможности, и те с благодарностью за них ухватились. (Шеннон в это время еще не сумел дознаться, как хитро были организованы конно-железнодорожные компании Каупервуда; фокус же здесь заключался в том, что этот хитрец все время оставлял за собой возможность «вытряхнуть» своих компаньонов, да так, чтобы те и пикнуть не успели. Потому-то Каупервуд и имел сейчас смелость распространяться о «блестящих возможностях», предоставленных им Стинеру. Шеннон не мог его изобличить, ибо, так же как и Стеджер, не был финансистом. Им оставалось только верить Каупервуду на слово, хотя Шеннон и не был расположен это делать.)

— Как могу я нести ответственность за обычаи, укоренившиеся в казначействе? — заявил Каупервуд. — Я в конце концов только банкир и маклер.

Глядя на него, присяжные верили всему, но только не версии с чеком на шестьдесят тысяч долларов, хотя и по атому пункту Каупервуд привел достаточно правдоподобное объяснение. В те дни, когда он еще бывал у Стинера, ему и в голову не приходила мысль о банкротстве. Правда, он просил Стинера одолжить ему денег, но — принимая во внимание масштаб их дел — не такую уж большую сумму, всего полтораста тысяч долларов. Стинер, по справедливости, мог бы подтвердить, что он, Каупервуд, не обнаруживал тогда ни малейшей тревоги. Казначей был для него лишь одним из источников, откуда он черпал средства. В то время у него существовало еще и множество других. Он никогда не прибегал к столь сильным выражениям, как показал Стинер, и вовсе не так уж настаивал на этой

ссуде, хотя и объяснил Стинеру, что тот совершает ошибку, поддаваясь панике и отказывая ему в дальнейшем кредите. Этот источник получения средств был для него наиболее доступным и-удобным, но не единственным. Он имел все основания полагать, что его друзья из числа крупных финансистов в случае надобности расширят ему кредит, благодаря чему он успеет привести свои дела в порядок и будет продолжать работу, а тем временем буря уляжется. Он говорил Стинеру, что в первый день паники скупил на бирже значительное количество облигаций городского займа с целью поддержать их курс и что ему причитается с городского казначейства шестьдесят тысяч долларов. Стинер не возражал. Не исключено, конечно, что казначей был расстроен и недостаточно вслушался в его слова. Вслед за тем, к вящему его, Каупервуда, удивлению, на крупнейшие банкирские дома был произведен нажим — кем и в силу каких причин, он не знает, — принудивший их обойтись с ним весьма жестоко. Этот нажим, еще усилившийся на следующий день, заставил его закрыть контору, хотя он до последней минуты не верил, что это возможно. Чек на шестьдесят тысяч долларов попал к нему в руки по случайному стечению обстоятельств. Деньги ему были нужны — этого он не отрицает, — упомянутая сумма причиталась ему на законном основании, а все его служащие были в этот день очень заняты. Он попросил выписать ему чек и захватил его с собою просто ради экономии времени. Стинер прекрасно знал, что, откажись он выдать этот чек, Каупервуд взыскал бы деньги в судебном порядке. Что же касается несдачи приобретенных им сертификатов в амортизационный фонд, то это момент чисто технический, он лично в

технику дел никогда не вникал. Такими делами ведал его бухгалтер, мистер Стэпли. Он, Каупервуд, даже не знал, что сертификаты не сданы по назначению. (Явная ложь: что-что, а уж это он знал!) Джирардскому национальному банку пресловутый чек был передан по чистой случайности. Сложись обстоятельства по-другому, он мог с таким же успехом попасть в какой-нибудь другой банк.

В этом тоне Каупервуд и продолжал свои показания; на все хитроумные вопросы Стеджера и Шеннона он отвечал с такой располагающей откровенностью, так серьезно, деловито и внимательно относясь к судебной процедуре, что можно было поклясться: этот человек — олицетворение так называемой коммерческой чести. По правде говоря, он и в самом деле верил, что все им содеянное, все, что он сейчас изложил суду, согласуется с законом и оправдано необходимостью. Он старался изобразить присяжным дело так, как оно представлялось ему, чтобы каждый из них мог поставить себя на его место и понять его побуждения.

Наконец он кончил, и надо заметить, что присяжные весьма разноречиво отнеслись как к его показаниям, так и к нему самому. Первый по жребию присяжный, Филипп Молтри, решил, что Каупервуд лжет. Он не представлял себе, чтобы человек мог не знать о предстоящем ему вскоре банкротстве. Разумеется, он знал! Да и вообще все его махинации в компании со Стинером так или иначе заслуживали наказания; в продолжение всей речи Каупервуда Молтри только и думал о том, как он в совещательной комнате произнесет: «Да, виновен!» Для этого он и обдумывал доводы, которые должны будут убедить других в виновности Каупервуда. Напротив, второй присяжный, Саймон Гласберг, текстильный фабрикант, полагал, что все поступки Каупервуда вполне

правомерны, и решил голосовать за оправдательный вердикт. Безупречным он Каупервуда не считал, но и не считал его заслуживающим наказания. Третий присяжный, архитектор Флетчер Нортон, полагал, что Каупервуд виновен, но вместе с тем находил, что такого одаренного человека не стоит сажать в тюрьму. Четвертый, Чарлз Хиллеген, подрядчик ирландского происхождения, человек религиозного склада, считал, что Каупервуд виновен и должен понести наказание. Пятый, Филипп Лукаш, торговец углем, держался того же мнения. Шестой присяжный, Бенджамин Фрейзер, специалист по горному делу, слушая Каупервуда, не пришел ни к каким определенным выводам. Седьмой, Дж.Бриджес, биржевой маклер, имевший контору на Третьей улице, человек ограниченный и узкопрактический, считал Каупервуда опасным воротилой, безусловно виновным и заслуживающим наказания. Он твердо решил голосовать за обвинительный вердикт. Восьмой, Гай Трипп, управляющий небольшой пароходной компанией, колебался. Девятый, Джозеф Тисдейл, в прошлом фабрикант клея, думал, что Каупервуд, пожалуй, и виновен, но в глубине души не считал его действия преступными, — обстоятельства сложились так, что ничего другого не оставалось. Тисдейл решил голосовать за оправдание. Десятый присяжный, Ричард Марш, склонный к сентиментальности, владелец цветочного магазина, тоже сочувствовал Каупервуду. Одиннадцатый, Ричард Уэббер, бакалейщик, мелкая сошка в коммерческом мире, зато ражий детина, был против Каупервуда. Он считал его виновным. И наконец, двенадцатый, Уошингтон Томас, владелец мучного лабаза, полагая Каупервуда виновным, все же считал,

что после приговора ему следовало бы ходатайствовать о помиловании. Людей надо исправлять — таков был его девиз.

Вот какую позицию занимали присяжные, когда Каупервуд кончил говорить и сел, раздумывая о том, произвели ли его показания хоть сколько-нибудь благоприятное впечатление.

43

Поскольку адвокату первому предоставляется право обратиться с речью к присяжным, то Стеджер, учтиво поклонившись своему коллеге, выступил вперед. Опершись руками о барьер, за которым сидели присяжные, он начал говорить спокойно, скромно и убедительно.

— Господа присяжные заседатели! Мой подзащитный, мистер Фрэнк Алджернон Каупервуд, известный в нашем городе банкир и финансист, чья контора находится на Третьей улице, обвиняется штатом Пенсильвания, представленным здесь окружным прокурором, в получении из казначейства города Филадельфии обманным путем шестидесяти тысяч долларов в виде чека от девятого октября тысяча восемьсот семьдесят первого года, выписанного на его имя неким Альбертом Стайерсом, управляющим канцелярией и главным бухгалтером тогдашнего казначея. Итак, господа, каковы же факты? Вы слышали показания ряда свидетелей и знаете в общих чертах всю историю. Возьмем для начала показания Джорджа Стинера. Он заявил, что в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году ему был необходим человек — банкир идя маклер, — который мог бы посоветовать, как поднять до паритета городской заем, котировавшийся в то время очень низко, и не только посоветовать, но и провести эту операцию в жизнь. Мистер Стинер в ту пору мало что смыслил в финансах. Мистер Каупервуд был энергичным молодым человеком и пользовался репутацией на редкость искусного биржевого маклера. Он немедленно изыскал возможность, не только абстрактную, но и

практическую, повысить котировку городского займа. Мистер Каупервуд и мистер Стинер тогда же вошли а соглашение — подробности вы слышали из уст самого Стинера, — на основании которого крупный пакет облигаций городского займа был вручен мистером Стинером для реализации моему подзащитному, и тот благодаря умелому маневрированию, попеременно то покупая, то продавая облигации, — останавливаться на этом особо не стоит, замечу только, что такие операции часто и вполне легально производятся в финансовом мире, — поднял заем до паритета и, как показали свидетели, годами поддерживал его курс.

Так что же теперь случилось, джентльмены, какие такие обстоятельства заставили мистера Стинера явиться в зал суда и выдвинуть против своего давнишнего агента и маклера, обвинение в хищении и растрате? Что заставило его утверждать, будто тот злонамеренно присвоил шестьдесят тысяч долларов из средств городского казначейства? Как это понимать? Может быть, мистер Каупервуд в неурочное время, с преступными намерениями, без ведома мистера Стинера и его помощников забрался в казначейство и унес оттуда шестьдесят тысяч долларов городских денег? Ничего подобного! Обвинение, как вы слышали из уст окружного прокурора, гласит, что мистер Каупервуд явился к казначею среди бела дня, между четырьмя и пятью часами, за день до того, как он объявил себя неплатежеспособным, и просидел с мистером Стинером в его кабинете около получаса. Затем он вышел оттуда, сообщил мистеру Альберту Стайерсу, что приобрел на шестьдесят тысяч долларов облигаций городского займа для амортизационного фонда, за каковые ему еще не было уплачено, попросил кредитовать эти шестьдесят

тысяч в отчетности казначейства, ему же выдать чек на означенную сумму; чек был ему вручен, и он удалился. Что тут особенного, джентльмены? Или необычного? Отрицал ли кто-нибудь из свидетелей, что мистер Каупервуд был агентом города именно по такого рода сделкам? Усомнился ли кто-нибудь в том, что мистер Каупервуд действительно приобрел эти облигации городского займа?

Почему же в таком случае мистер Стинер обвиняет мистера Каупервуда в мошенническом присвоении и преступной растрате шестидесяти тысяч долларов, выданных ему за облигации, которые он имел право купить и которые — чего никто не оспаривает, — он действительно купил? Вот тут-то собака и зарыта,

— сейчас вы все поймете, господа присяжные заседатели! Мой подзащитный затребовал чек, взял его и положил деньги в банк на свое имя, не потрудившись — как утверждает обвинение — передать в амортизационный фонд те облигации, в оплату которых был выдан упомянутый чек. Не сделав этого своевременно и будучи вынужден под давлением финансовых событий прекратить платежи, он тем самым — так явствует из обвинения, а также из высказываний встревоженных лидеров республиканской партии — сделался растратчиком, вором, чем хотите, проще же говоря — козлом отпущения, отвлекающим общественное мнение от Джорджа Стинера и вожаков республиканской партии.

Здесь мистер Стеджер дал смелую, более того, вызывающую характеристику политического положения, сложившегося после чикагского пожара и вызванной им паники, причем Каупервуд у него выглядел

несправедливо оклеветанным человеком, которого политические заправилы Филадельфии до пожара ценили очень высоко, но впоследствии, опасаясь провала на выборах, избрали козлом отпущения.

На это у Стеджера ушло с полчаса времени. Затем, отметив, что Стинер — прихвостень и в то же время ширма для политических воротил — был использован ими в качестве слепого орудия для осуществления финансовых замыслов, с которыми им нежелательно было связывать свои имена, он продолжал:

— Теперь, после всего мною сказанного, вдумайтесь, господа присяжные, до чего смехотворно все это обвинение! До чего оно нелепо! Фрэнк Каупервуд в течение многих лет действовал как агент города в такого рода делах. В своих действиях он руководствовался определенными условиями, принятыми им вместе с мистером Стинером и, очевидно, с благословения вышестоящих лиц, ибо эти условия и правила применялись и прежними деятелями городской администрации задолго до появления на сцене мистера Стинера в качестве городского казначея. Согласно одному из таких правил, Каупервуд был обязан подводить баланс всем своим сделкам и отчитываться в них к первому числу каждого следующего месяца. Это значит, что он не должен был ни уплачивать городскому казначею какие-либо суммы, ни передавать ему какие-либо чеки, ни сдавать деньги или сертификаты в амортизационный фонд до первого числа следующего месяца, потому что — прошу вашего внимания, господа присяжные, это чрезвычайно важно! — потому что сделки, связанные с городским займом, как и все прочие, которые он заключал для городского казначейства, были так многочисленны, так молниеносны, так

непосредственны, что для их проведения необходима была гибкая, не связывающая рук система расчетов, в противном случае они вообще были бы неосуществимы. Без такой системы мистер Каупервуд не мог бы удовлетворительно выполнять поручения мистера Стинера или других лиц, причастных к казначейству. Ведение постоянной отчетности было бы до крайности затруднено и для мистера Каупервуда и для городского казначея. Мистер Стинер сам признал это в своих показаниях. Альберт Стайерс это подтвердил. Итак, что же дальше? Дальше я скажу следующее. Какой же суд может предположить, какой здравомыслящий человек может поверить, чтобы при таком положении вещей мистер Каупервуд сам возился со всеми этими вкладами в различные банки, в амортизационный фонд и в городскую кассу или же напоминал своему главному бухгалтеру: «Послушайте, Стэпли, вот чек на шестьдесят тысяч долларов, позаботьтесь сегодня же передать в амортизационный фонд сертификаты городского займа на эту сумму». Нелепейшее предположение! Разумеется, у мистера Каупервуда, как и у всякого делового человека, была своя система. Когда наступал срок, определенные чеки и сертификаты автоматически передавались куда следует. Мистер Каупервуд, вручив чек своему главному бухгалтеру, больше о нем и не вспоминал. Можно ли себе представить, чтобы банковский деятель такого масштаба поступал иначе?

Мистер Стеджер перевел дыхание и сделал паузу, ожидая вопросов, но, поскольку таковые не последовали, удовлетворенно продолжал:

— Правда, на это можно возразить, что, мол, мистер Каупервуд знал о предстоящем ему банкротстве. Но мистер Каупервуд утверждает, что он об этом не

подозревал. Сейчас только он свидетельствовал, что лишь в последнюю минуту узнал о том, как обернулись события. В таком случае, кто же мог отказать ему в выдаче чека, на который он имел законное право? Но я знаю, в чем тут дело. И думаю, что смогу все объяснить вам, если вы соблаговолите меня выслушать.

Стеджер сделал попытку воздействовать на присяжных с другой позиции.

— Все очень просто; мистер Джордж Стинер, напуганный пожаром и последовавшей за ним паникой, — и, может быть, именно потому, что мистер Каупервуд советовал ему не пугаться событий, происходивших на филадельфийской бирже, — вообразил, будто мистеру Каупервуду грозит банкротство. А так как у мистера Стинера в банкирской конторе Каупервуда была депонирована значительная сумма на очень низких процентах, то он решил не давать мистеру Каупервуду больше денег — даже тех, которые причитались ему за услуги и не имели ровно никакого отношения к суммам, взятым им взаймы из расчета двух с половиной процентов. Нелепейшее поведение! Но объяснялось оно тем, что мистер Джордж Стинер после пожара и паники, вначале никак не повлиявших на платежеспособность мистера Каупервуда, буквально дрожал за собственную шкуру, и если он решил не давать Фрэнку Каупервуду даже тех денег, которые тому причитались по праву, то лишь оттого, что сам он, Стинер, в своекорыстных интересах незаконно пользовался городскими средствами (правда, при посредстве мистера Каупервуда как маклера) и теперь боялся разоблачения и наказания. Разрешите спросить вас, господа присяжные, была ли хоть крупица благоразумия в таком решении мистера Стинера? И как

вы себе это решение объясняете? Состоял ли еще мистер Каупервуд агентом города, когда он приобрел сертификаты займа, о которых здесь говорилось? Разумеется, состоял. А в таком случае, имел ли он право на этот чек в шестьдесят тысяч долларов? Найдется ли здесь хоть один человек, который решится это право оспаривать? Тогда что же значат все эти сомнения в его правах и в его честности? Откуда вообще могли возникнуть подобные разговоры? Я сейчас вам отвечу. Они могли возникнуть лишь в силу одной причины, а именно: ввиду желания местных политических деятелей снять подозрение с республиканской партии и свалить вину на кого-нибудь другого.

Вам может показаться, господа присяжные, что я слишком далеко зашел в своих поисках подоплеки этого, мягко выражаясь, странного решения обвинить мистера Каупервуда, агента городского казначейства, в том, что он потребовал и получил законно причитавшиеся ему деньги. Но учтите положение, в котором оказалась тогда республиканская партия. Учтите, что это произошло накануне выборов и что всякое разоблачение подробностей столь крупной растраты городских средств чрезвычайно неблагоприятно отразилось бы на исходе голосования. Республиканской партии предстояло провести своих ставленников на посты казначея и окружного прокурора. Надо сказать, что среди ее лидеров укоренилась традиция давать городским казначеям и их присным возможность наживаться путем выдачи из средств города ссуд на очень низких процентах. Жалованье им полагалось небольшое, а следовательно, надо было выискивать средства для приличного существования. Можно ли считать мистера Стинера ответственным за этот обычай давать взаймы

деньги, принадлежащие городу? Ни в какой мере. Ответствен ли за него мистер Каупервуд? Ни в какой мере. Эта практика установилась задолго до того, как мистер Каупервуд и мистер Стинер появились на сцене. Почему же теперь поднялась вся эта шумиха? Да потому, что и Стинер и лидеры республиканской партии убоялись разоблачения перед выборами. Ни одного городского казначея еще ни разу не выводили на чистую воду. Разоблачение бесчестных методов, которыми пользовался мистер Стинер, для широкой публики явилось бы ошеломляющей новостью. Чикагский пожар и сопровождавшая его биржевая паника грозили подорвать устойчивость и кредитоспособность многих финансовых учреждений нашего города, в том числе и конторы мистера Каупервуда. Перед многими финансистами встала опасность банкротства, следовательно, мог обанкротиться и Фрэнк Каупервуд. А обанкротившись, он задолжал бы городу Филадельфии пятьсот тысяч долларов, полученных взаймы от городского казначея на очень льготных условиях, — из расчета двух с половиной процентов. Может быть, это невыгодно характеризует мистера Каупервуда? Может быть, он сам пошел к городскому казначею и просил ссудить его деньгами из расчета двух с половиной процентов? Но даже если и так — что в этом преступного с деловой точки зрения? Разве каждому не дано право занимать деньги где угодно и на каких угодно процентах? Разве мистера Стинера принуждали давать деньги мистеру Каупервуду? Мистер Стинер показал сегодня, что он первый пригласил к себе мистера Каупервуда. Откуда же, скажите на милость, взялось это дикое обвинение в хищении, в растрате, в присвоении собственности доверителя и так далее и тому подобное?

А вот откуда. Еще раз, господа присяжные, прошу вашего внимания. Лицам, стоявшим за спиной мистера Стинера, лицам, руководившим его действиями, для спасения своей политической репутации понадобился козел отпущения — а под руку им попался именно Фрэнк Алджернон Каупервуд. Вот и все. Никакой другой причины нет, не было и не могло быть. Если мистер Каупервуд в ту тяжкую минуту нуждался в деньгах, чтобы преодолеть трудности, то в их интересах было выплатить ему ссуду и предать все дело забвению. Это было бы, конечно, незаконно — так же незаконно, как и многое другое, что делалось ими, — зато куда более безопасно. Но страх, господа присяжные, страх, малодушие и неспособность взглянуть в лицо кризису помешали им так поступить. Они боялись оказать доверие человеку, который до сих пор никогда этим доверием не злоупотреблял, человеку, чья преданность и исключительная финансовая одаренность приносили немало выгоды им и городскому самоуправлению. У бывшего городского казначея не хватило мужества остаться верным своему соратнику и пренебречь слухами о его возможном банкротстве, он предпочел — чего он сам не отрицает, — спасая свою шкуру, потребовать от мистера Каупервуда возврата пятисот тысяч долларов или большей части этой суммы, фактически использованной мистером Каупервудом для его же, Стинера, выгоды, и вдобавок еще отказался возместить деньги, которые мой подзащитный, действуя согласно договоренности, израсходовал на покупку облигаций. Является ли хоть одна из сделок, совершенных мистером Каупервудом, противозаконной? Нет, не является. Был ли мистеру Каупервуду своевременно предъявлен иск на эти пятьсот тысяч долларов, которые он теперь вряд ли

сможет возвратить городу из-за своего банкротства? Ничуть не бывало. Все дело в том, что Джорджа Стинера охватил бессмысленный панический страх, а лидеры республиканской партии, прознав о дефиците в казначействе, пожелали выгородить казначея и свалить ответственность на человека, не состоящего в ее рядах. Вы слышали, что показал сегодня мистер Каупервуд: ведь он и пошел-то к мистеру Стинеру как раз с тем, чтобы предотвратить подобную возможность. И именно после сделанного им предостережения мистер Стинер разволновался, утратил всякое самообладание и потребовал, чтобы мой подзащитный вернул деньги — все пятьсот тысяч долларов, которые казначей ссудил ему из расчета двух с половиной процентов. Ну разве же с финансовой точки зрения это не отъявленная глупость? Нечего сказать, подходящий момент, чтобы требовать погашения совершенно законной ссуды!

Однако я возвращаюсь к пресловутой истории с чеком на шестьдесят тысяч долларов. Мистер Стинер свидетельствовал здесь, что когда мистер Каупервуд накануне банкротства явился к нему, он наотрез отказался ссудить его деньгами, и тогда мистер Каупервуд будто бы без его ведома и согласия уговорил управляющего и главного бухгалтера казначейства Альберта Стайерса выписать ему чек на шестьдесят тысяч долларов, на который мой подзащитный якобы не имел права, а потому Стинер, знай он об этом, никогда бы не разрешил ему выдать этот чек.

Какой вздор! Как мог Стинер об этом не знать! Бухгалтерские книги были у него в казначействе, и он мог в любую минуту заглянуть в них. Мистер Стайерс на другое утро первым делом доложил ему об этом чеке. А мистер Каупервуд забыл уже и думать о нем, так как

имел право на эти деньги и без всякого труда получил бы в любом суде исполнительный лист на эту сумму, независимо от своего банкротства. Утверждение мистера Стинера, что он задержал бы выдачу чека, попросту смехотворно. Эта мысль, несомненно, пришла ему в голову лишь на другой день, после разговора с его политическими единомышленниками, когда было решено любой ценой, любыми путями и средствами отвести подозрение от деятелей республиканской партии. Вот и вся предыстория этого дела. И вы можете быть уверены, что это прекрасно понимают те, кто так старается добиться обвинительного приговора для мистера Каупервуда.

Стеджер сделал паузу и многозначительно взглянул на Шеннона.

— Господа присяжные заседатели! — произнес он в заключение спокойным и проникновенным голосом. — Когда вы приступите к обсуждению этого дела в совещательной комнате, вы убедитесь, что и хищение, и растрата, и незаконное присвоение чека на шестьдесят тысяч долларов, то есть все пункты обвинения, свидетельствуют лишь о настойчивом стремлении окружного прокурора создать видимость преступления и являются просто-напросто плодом взбудораженной фантазии трусливых политиканов, спасающих за счет мистера Каупервуда собственную шкуру, иными словами — выдумкой бесчестных людей, которые преследуют только одну цель: выйти сухими из воды. Они боятся, как бы у членов республиканской партии в Пенсильвании не создалось слишком уж нелестное мнение о партийной верхушке и ее хозяйничании у нас в Филадельфии. Они стремятся по мере сил выгородить Джорджа Стинера и всю его вину свалить на моего подзащитного. Но этого не

должно быть и не будет! Как честные и мыслящие люди, вы не допустите такого исхода дела. Посему я со спокойной душой заканчиваю свою речь!

Стеджер порывисто отвернулся от присяжных и мат правился к своему месту рядом с Каупервудом. Тут поднялся Шеннон — молодой, спокойный, энергичный и напористый.

По правде говоря, Шеннон не расходился со Стеджером в мнении о Каупервуде и не осуждал его за методы, к которым тот прибегал, чтобы «сделать деньги». Более того, Шеннон думал, что на месте Каупервуда поступил бы точно так же. Но он был только что избран окружным прокурором. Ему нужно было показать себя и вдобавок угодить своим хозяевам, то есть лидерам республиканской партии, считавшим, что при данном положении вещей Каупервуд должен быть осужден. Поэтому Шеннон крепко оперся руками о барьер, пристально посмотрел на присяжных, и, мысленно наметив несколько исходных положений, начал:

— Господа присяжные заседатели! Мне кажется, что если все мы вдумчиво отнесемся к тому, что здесь сегодня выяснилось, то нам уже нетрудно будет прийти к определенному и, я бы сказал, исчерпывающе правильному заключению, — надо только добросовестно разобраться в фактах. Подсудимый мистер Каупервуд, как я уже говорил, обвиняется в хищении, в присвоении собственности доверителя, в растрате и дополнительно — в растрате шестидесяти тысяч долларов, полученных им по чеку, который был выдан девятого октября тысяча восемьсот семьдесят первого года «Фрэнку А.Каупервуду и компания» управляющим канцелярией городского

казначея от имени последнего, но за своей подписью. Мистер Каупервуд утверждает, что в этот момент он был не только вполне платежеспособен, но что он действительно приобрел сертификаты городского займа на шестьдесят тысяч долларов и депонировал их или собирался в ближайшее время депонировать в амортизационном фонде города, что явилось бы завершением обычной сделки, то есть приобретения на бирже «Фрэнком А.Каупервудом и компания» по доверенности города определенного количества облигаций городского займа с передачей их в амортизационный фонд и немедленным возмещением понесенных расходов. Теперь, джентльмены, попробуем разобраться, как все это обстояло на деле. Действительно ли «Фрэнк А.Каупервуд и компания», — кстати, никакой «компании», как вы могли сегодня убедиться, нет, есть только Фрэнк А.Каупервуд, — так вот, действительно ли упомянутый Фрэнк А.Каупервуд имел право на этот чек? Иными словами, являлся ли он в тот момент уполномоченным города или не являлся? Был ли он платежеспособен? Далее: знал ли он, что ему угрожает банкротство, и не ухватился ли за этот чек на шестьдесят тысяч долларов, как утопающий за соломинку, чтобы спасти свое положение в финансовом мире, не подумав даже о тех последствиях, которые может повлечь за собой этот поступок, если взглянуть на него с точки зрения закона, морали и так далее? Или же он действительно приобрел сертификаты городского займа на указанную им сумму, в указанное им время и указанным образом и получил только то, что причиталось ему по праву? Намеревался ли он сдать эти сертификаты городского займа, как он утверждает и как он, естественно, должен был сделать, в амортизационный

фонд, или же у него этого намерения не было? Далее: в день, когда он получил этот чек на шестьдесят тысяч долларов, оставались ли его отношения с городским казначеем такими же, как прежде, или они стали иными? Было ли их деловое сотрудничество ликвидировано в результате беседы, имевшей место за четверть часа до получения чека, или за два дня, или за две недели — сроки здесь роли не играют? Как вам известно, любой делец имеет право в любую минуту расторгнуть договор, если в этом договоре особо не оговорен срок его действия. Я попрошу вас учесть это обстоятельство при рассмотрении дела. Далее: прекратил ли Джордж Стинер тогда же, девятого октября тысяча восемьсот семьдесят первого года, то есть до того, как Каупервуду был выдан чек на шестьдесят тысяч долларов, действие этого договора, зная или предполагая, что Фрэнк Каупервуд находится в крайне стесненных обстоятельствах и не сможет в дальнейшем честно и аккуратно выполнять свои договорные обязательства? Необходимо также выяснить, действительно ли мистер Фрэнк Каупервуд, зная, что он уже не является агентом городского казначея и города, а также зная, что он неплатежеспособен, — мистер Стинер утверждает, что он сам признал это, — и не намереваясь депонировать в амортизационном фонде сертификаты, якобы приобретенные для указанного фонда, вошел в канцелярию мистера Стинера, заявил его секретарю, что приобрел на шестьдесят тысяч долларов сертификатов городского займа, попросил выписать ему чек, затем спокойно положил его в карман и ушел, даже не подумав о том, как он будет возмещать городу эту сумму, а двадцать четыре часа спустя обанкротился, задолжав городу, кроме вышеуказанной суммы, еще пятьсот тысяч

долларов, взятых им ранее в казначействе? Каковы факты, которыми мы располагаем в этом деле? Что говорили выступавшие здесь свидетели? Что показали Джордж Стинер, Альберт Стайерс, председатель правления Джирардского национального банка Дэвисон и сам мистер Каупервуд? Какая картина складывается при сопоставлении всех подробностей этого дела? Господа присяжные заседатели, вам предстоит разрешить весьма своеобразную проблему!

Он умолк, обвел взором присяжных, поправил манжеты, и все это с видом человека, который напал, наконец, на след ловкого, неуловимого преступника, сумевшего втереться в доверие почтенных граждан города и обвести вокруг пальца не менее почтенную коллегию присяжных.

Затем он продолжал:

— Итак, джентльмены, каковы же эти факты? Вы сами слышали, как происходило дело. Вы здравомыслящие люди. Мне нечего вам объяснять. Перед вами два человека: один — избранный городом Филадельфией на пост городского казначея, поклявшийся охранять интересы своего города и наивыгоднейшим для него образом вести финансовые дела, другой — маклер, к которому ввиду неустойчивой финансовой конъюнктуры обратились с просьбой помочь разрешить трудную — этого я не оспариваю — финансовую проблему. Они заключают друг с другом негласное финансовое соглашение, следствием которого является ряд противозаконных сделок, и вот один из этих двух, более коварный, умный и лучше осведомленный обо всех ходах и выходах Третьей улицы, увлекает за собой другого по опасной дорожке выгодных

капиталовложений и приводит его наконец — пусть даже неумышленно — к бездне банкротства, общественного позора, разоблачений и так далее. Тогда тот, кто легче уязвим, иными словами, тот, чье положение ответственнее, то есть казначей города Филадельфии, уже не может или, скажем, не решается идти дальше за своим доверенным. И вот перед нами возникает та картина, которую обрисовал в своих показаниях мистер Стинер: матерый, алчный и беспощадный финансовый волк, оскалив хищную пасть, хватает трепещущего, наивного, ничего не смыслящего в этих аферах ягненка и рычит: «Если ты не дашь этих денег, то есть трехсот тысяч долларов, нужных мне позарез, ты станешь арестантом, твоих детей вышвырнут на улицу, твоя жена и вся твоя семья будут снова ввергнуты в нищету, и никто для тебя даже пальцем не шевельнет!» Вот что, по словам мистера Стинера, сказал ему мистер Каупервуд. Я со своей стороны нисколько не сомневаюсь, что так оно и было. Мистер Стеджер в чрезвычайно изысканных выражениях, поскольку дело касается его клиента, рисует мистера Каупервуда благородным, добрым и предупредительным человеком, маклером-джентльменом, которого чуть ли не принудили взять ссуду в пятьсот тысяч долларов из двух с половиной процентов, тогда как по онкольным ссудам на Третьей улице деньги приносят от десяти до пятнадцати процентов, а то и больше. Но вот этому я уже не верю. Мне кажется странным, чтобы такой милый, любезный, доброжелательный человек, занимающий скромное положение платного агента и, естественно, старающийся угодить своему нанимателю, мог прийти к мистеру Стинеру за три дня до этой истории с шестидесятитысячным чеком и заявить ему — мистер

Стинер показал это сегодня под присягой: «Если вы немедленно, сегодня же, не дадите мне еще триста тысяч долларов из городских средств, я стану банкротом, а вы арестантом. Вам не миновать тюрьмы». Вдумайтесь в его слова! «Я стану банкротом, а вы арестантом. Меня никто не тронет, а вас арестуют. Я всего только агент». Не знаю, похоже ли это на слова милого, мягкого, ни в чем не повинного, благовоспитанного агента и наемного маклера, или же на слова наглого, высокомерного и жестокого хищника, человека, привыкшего распоряжаться, приказывать и любой ценой побеждать?

Господа присяжные, я не намереваюсь защищать здесь Джорджа Стинера. По-моему, он виновен не меньше, если не больше, чем его самоуверенный сообщник, этот пронырливый финансист, явившийся как волк в овечьей шкуре к городскому казначею, чтобы толкнуть его на неправедный путь личного обогащения. Но когда при мне мистера Каупервуда называют, как это было сделано сейчас, милым, любезным, простодушным исполнителем чужих поручений, я содрогаюсь! Господа присяжные, для того чтобы составить себе обо всем правильное представление, надо вспомнить, что лет десять — двенадцать назад, когда мистер Джордж Стинер был бедным человеком и новичком в политическом мире, к нему явился этот ловкий, лукавый биржевик и научил его извлекать выгоду из городских средств. В то время никто не знал Джорджа Стинера, как, впрочем, и Фрэнка Каупервуда, когда тот впервые встретился с вновь избранным городским казначеем. О, как ясно вижу я этого человека — эту хитрую лису! — вот он явился к Стинеру, изящный, молодой, свежий, прекрасно одетый, и сказал: «Доверьтесь мне! Разрешите мне орудовать городским займом, отдайте в мои руки

городские деньги из двух процентов годовых или еще того меньше!» Разве трудно вам представить себе эту картину? Разве вы не видите его в этой роли?

Джордж Стинер был беден, да, пожалуй, даже очень беден, когда он впервые вступил на пост городского казначея. У него не было ничего, кроме жалкого агентства по страхованию и продаже недвижимых имуществ, приносившего ему, скажем, две с половиной тысячи в год. Он должен был содержать жену и четверых детей и не имел ни малейшего понятия о том, что называется роскошью и комфортом. Но вот является мистер Каупервуд — правда, не по своей инициативе, а приглашенный мистером Стинером, но приглашенный для дела, из которого мистер Стинер тогда еще не собирался извлекать никакой личной выгоды, — и преподносит ему свой грандиозный план манипуляций с городским займом, долженствующий обогатить их обоих. Основываясь на впечатлении, которое произвел выступавший здесь в качестве свидетеля Джордж Стинер, можете ли вы предположить, чтобы он сам придумал и предложил столь хитроумный план обогащения вот этому джентльмену?

Шеннон указал пальцем на Каупервуда.

— Похож ли мистер Стинер на человека, способного научить этого джентльмена чему-нибудь новому по части финансов или сложнейших биржевых комбинаций? Кажется ли он вам достаточно изобретательным, чтобы придумать все эти невероятные трюки, благодаря которым оба они впоследствии нажили изрядные капиталы? Согласно заявлению, сделанному Каупервудом своим кредиторам после банкротства, несколько недель назад он исчислял свое состояние в миллион двести

пятьдесят тысяч долларов, между тем ему только недавно исполнилось тридцать четыре года. В какой цифре выражалось его состояние, когда он впервые вступил в деловые отношения с бывшим казначеем? Вы об этом не имеете понятия? Ну, так я вам скажу. Приблизительно с месяц тому назад, когда я вступил на свой пост, я затребовал сведения по этому вопросу. Что же оказалось, господа присяжные: в ту пору его состояние немногим превышало двести тысяч долларов. Двести тысяч долларов, вот и все! У меня имеется выписка из книг банкирской конторы «Дан и Кь» за тот год. По ней вы можете убедиться, как быстро выросло состояние этого новоиспеченного Цезаря! Сколько прибыли принесли ему последние несколько лет! Но, может быть, и у Джорджа Стинера было не меньшее состояние ко времени, когда он был смещен со своего поста и предан суду за растрату? Как вы полагаете? Вот выписка из его актива и пассива, относящаяся к тому времени. Можете убедиться собственными глазами, джентльмены! Ровно в двухстах двадцати тысячах заключалось его состояние три недели назад, и у меня есть все основания считать эти сведения точными. Отчего же, вы полагаете, мистер Каупервуд богател так быстро, а мистер Стинер так медленно? Ведь они соучастники в преступлении. Мистер Стинер щедро ссужал мистера Каупервуда принадлежащими городу деньгами из двух процентов годовых, тогда как на Третьей улице по онкольным ссудам платили временами шестнадцать-семнадцать процентов. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что мистер Каупервуд умел с максимальной для себя выгодой употреблять так дешево доставшиеся ему деньги. Или он не похож на человека, умеющего ворочать большими делами? Вы видели его,

когда он давал показания. Вы эти показания слышали. Как он был обходителен, как откровенен и чист душой! Он якобы только и думал о том, как получше услужить Стинеру и его друзьям, но тем не менее сам за шесть лет нажил не меньше миллиона, а мистеру Стинеру дал нажить не больше ста шестидесяти тысяч, ибо к началу их сотрудничества у того все же имелись кое-какие сбережения — несколько тысяч долларов.

Теперь Шеннон дошел в своей речи до главного, то есть до момента, когда Каупервуд, выйдя девятого октября от Стинера, выманил у Альберта Стайерса чек на шестьдесят тысяч долларов. Возмущение прокурора — так по крайней мере казалось слушателям — столь коварными и преступными действиями не знало границ. Это явное воровство, кража в прямом смысле слова, и Каупервуд прекрасно понимал, что делает, когда просил Стайерса выписать ему чек!

— Вы только подумайте! — Тут Шеннон повернулся и пристально посмотрел на Каупервуда, который совершенно спокойно и без тени смущения встретил его взгляд. — Вы только подумайте, какая выдержка у этого человека: в коварстве своем он не уступает Макиавелли. Он знал, что его банкротство неизбежно. После двух дней неусыпных хлопот, после двух дней отчаянных попыток предотвратить катастрофу, которая лишила бы его возможности продолжать свои махинации, он понял, что у него не осталось других источников спасения, кроме последнего, а именно — городского казначейства, понял, что если он и здесь не добьется помощи, то его банкротство неминуемо. Он и без того уже задолжал городской кассе пятьсот тысяч долларов и, пользуясь городским казначеем как бессловесным орудием, так запутал его, что Стинер пришел в ужас от этой

колоссальной задолженности. Что же, остановило это мистера Каупервуда? Ничуть не бывало!

Шеннон зловеще погрозил пальцем Каупервуду, и тот с досадой отвернулся.

— Во что бы то ни стало хочет выслужиться! — шепнул Каупервуд своему адвокату. — Надо, чтобы вы сказали об этом присяжным.

— Я бы рад сказать, — с горестной усмешкой согласился Стеджер, — но мне больше не дадут слова.

— Вы только подумайте, — вновь загремел Шеннон, поворачиваясь к присяжным, — какая безграничная, истинно волчья алчность должна быть у человека, чтобы заявить, будто он только что приобрел на шестьдесят тысяч долларов сертификатов и желает немедленно получить чек на эту причитающуюся ему сумму. Действительно ли он приобрел эти сертификаты? Кто знает? Нет на свете человека, который сумел бы разобраться в запутанном лабиринте отчетности мистера Каупервуда. Но в лучшем случае, то есть даже если он и приобрел, как он утверждает, эти сертификаты, то городу от этого не было никакого проку, ибо мистер Каупервуд и не подумал передать их в амортизационный фонд, где им надлежало находиться. Его защитник и он сам говорят, что он не обязан был делать это раньше первого числа следующего месяца, хотя закон гласит, что передача должна производиться немедленно, и обвиняемому это известно. Его защитник и он сам утверждают, будто он не знал, что его ждет банкротство. Поэтому, мол, не было нужды беспокоиться насчет этих сертификатов. Не думаю, чтобы кто-нибудь из вас, джентльмены, этому поверил! Случалось ли мистеру Каупервуду в течение всей его финансовой деятельности

так торопиться с получением чека? Известны ли нам аналогичные случаи в истории его преступных сделок? Вы прекрасно знаете, что этого еще не бывало. Никогда в жизни он сам не приходил за чеком. Но на сей раз счел за благо получить его в собственные руки. Чем это объяснить? Откуда вдруг такая спешка? По его же собственным словам, несколько часов промедления никакой роли не играли. Он мог бы послать за чеком кого-нибудь из служащих своей конторы. Так делалось всегда. Почему же вдруг все переменилось? Я сейчас вам скажу почему! — Шеннон до предела возвысил голос. — Я вам скажу почему! Каупервуд знал, что он разорен! Он знал, что последний более или менее законный путь к спасению — то есть помощь Джорджа Стинера — для него закрыт! Он знал, что честным путем, путем прямого соглашения, ему больше не получить из казначейства города Филадельфии ни одного доллара! Он знал, что если он уйдет из канцелярии казначея без чека, а затем пошлет кого-нибудь за ним, то городской казначей спохватится, предупредит своих служащих, и тогда ему не видать этих денег! Вот откуда такая спешка! Теперь, господа присяжные, вы знаете правду!

Итак, я подхожу к концу своей обвинительной речи против этого корректного, честного и добропорядочного гражданина, которого вы, по словам его защитника мистера Стеджера, можете осудить, лишь совершив вопиющую несправедливость. Я еще хотел только добавить, что считаю вас людьми здравомыслящими и разумными, каких в нашей стране встречаешь на любом поприще; иными словами, вы деловитые и честные американцы. Итак, — голос Шеннона снова сделался вкрадчивым, — мне остается сказать лишь следующее: если после всего, что вы здесь слышали и видели, вы

продолжаете считать, что мистер Фрэнк Каупервуд — порядочный и честный человек, что он не украл умышленно и злостно шестьдесят тысяч долларов из городской кассы Филадельфии, что он и в самом деле приобрел сертификаты городского займа и намеревался, как он утверждает, сдать их в амортизационный фонд, — тогда, конечно, вам остается только отпустить его на свободу, и к тому же поскорее, чтобы он еще сегодня мог вернуться на Третью улицу и заняться приведением в порядок своих весьма запутанных финансовых дел. В таком случае вы, как честные, справедливые люди, обязаны немедленно отпустить его на свободу и снова принять в лоно нашего общества, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить незаслуженную обиду, которая, по словам моего оппонента мистера Стеджера, была ему нанесена. Если таково ваше убеждение, вы должны тотчас признать его невиновным. Пусть вас не беспокоит судьба Джорджа Стинера! Вина этого человека установлена его собственными показаниями. Он признал себя виновным. Ему без всякого дальнейшего разбирательства вскоре будет вынесен приговор. Но этот человек — Фрэнк Алджернон Каупервуд — претендует на честность и порядочность. Он утверждает, что и не подозревал о предстоящем ему банкротстве. Он утверждает, что прибегал к угрозам, к принуждению и запугиванию не потому, что предугадывал крах, а потому, что не хотел терять время на поиски поддержки в другом месте. Как это вам нравится? Или, может быть, вы поверили, что он приобрел на шестьдесят тысяч долларов сертификатов городского займа и ему действительно причитались за них деньги? Если так, то почему же он не сдал эти бумаги в амортизационный фонд? Их там нет и поныне, так же как нет и

шестидесяти тысяч долларов. Кому же достались эти деньги? Джирардскому национальному банку, в котором мистер Каупервуд превысил кредит на сто тысяч долларов! Получил ли означенный банк эти шестьдесят тысяч плюс еще сорок тысяч другими чеками и облигациями? Разумеется, получил. Почему же, собственно? А не приходит ли вам на ум, что правление Джирардского национального банка теперь будет признательно мистеру Каупервуду за ту последнюю маленькую услугу, которую он ему оказал перед своим банкротством? Не думаете ли вы, что председатель правления банка мистер Дэвисон, который, как вы слышали, всячески выгораживал здесь мистера Каупервуда, быть может, — утверждать это категорически я, конечно, не берусь, — именно потому так и расположен к мистеру Каупервуду? Вполне допустимо. Вообще же — судите сами. Так или иначе, джентльмены, но Дэвисон называет мистера Каупервуда честным и порядочным человеком, то же самое говорит о нем его защитник мистер Стеджер, Вы выслушали все показания, Теперь вам остается только обдумать и взвесить их. Если вы хотите отпустить этого человека на свободу — дело ваше. (Он устало махнул рукой.) Вы — судьи. Я бы этого не сделал. Но я в конце концов только юрист, тяжелым трудом добывающий свой хлеб. У меня одни убеждения. У вас могут быть другие — это дело ваше. (Шеннон снова выразительно, почти с презрением махнул рукой.) Я кончил, джентльмены, мне остается только поблагодарить вас за внимание. Решение вопроса предоставлено вам.

Он величественно отвернулся, и присяжные зашевелились; зашевелились и праздные зрители, наполнявшие зал. Судья Пейдерсон вздохнул с

облегчением. К этому времени уже совсем стемнело, и в зале ярко горели газовые светильники. За окнами шел снег. Судья утомленным движением перелистал бумаги и, придав себе торжественный вид, обратился к присяжным с традиционным напутствием, после чего те один за другим направились в совещательную комнату.

Каупервуд посмотрел на отца, который торопливо шел к нему через быстро пустевший зал.

— Ну, скоро все станет ясно! — сказал он.

— Да, — упавшим голосом отозвался Каупервуд-старший. — Будем надеяться, что все кончится благополучно. Несколько минут назад я видел здесь Батлера.

— Вот как! — удивился Каупервуд, на которого это известие произвело сильное впечатление.

— Да, — подтвердил отец. — Он только что ушел.

Итак, подумал Каупервуд, Батлер настолько заинтересован в его судьбе, что даже не поленился прийти в суд. Шеннон — послушное орудие в его руках. Пейдерсон в какой-то мере его ставленник. Старика можно было одолеть в деле, касавшемся его дочери, но одолеть его здесь вряд ли удастся, разве только присяжные решительно встанут на его, Каупервуда, сторону. Если же они признают его виновным, батлеровский приспешник Пейдерсон, конечно, не упустит случая приговорить его к предельному сроку заключения. Шутка сказать, пять лет тюрьмы! Мурашки забегали у него по спине при одной мысли о таком исходе дела. Но стоит ли тревожиться о том, чего еще не случилось?

Стеджер подошел к нему и сообщил, что срок действия залога, под который Каупервуд был оставлен на свободе, истек в ту минуту, когда присяжные удалились в совещательную комнату, и теперь он фактически находится под надзором шерифа (кстати, им обоим знакомого), некоего Эдлея Джесперса. Если присяжные не оправдают его, добавил Стеджер, он останется под надзором шерифа до тех пор, пока приговор не будет обжалован.

— На это потребуется не меньше пяти дней, Фрэнк, — сказал Стеджер, — но Джесперс — славный малый. Он будет вести себя разумно. Понятно, если нам повезет, вы обойдетесь без встречи с ним. А сейчас вам придется последовать за судебным приставом. Но надо думать, что все кончится благополучно и мы отправимся домой. Ох, и хочется же мне выиграть это дело! — добавил он. — Вот будет здорово, если мы вдвоем посмеемся над ними! Я считаю, что с вами обошлись возмутительно, и, по-моему, я достаточно разъяснил это присяжным. В случае же обвинительного приговора я найду десятки причин ходатайствовать о пересмотре дела.

Он поднялся и вместе с Каупервудом и его отцом неторопливо последовал за одним из помощников шерифа, низкорослым человеком по прозванию Эдди Зандерс, которому было поручено взять Каупервуда-младшего под стражу. Они вошли в так называемую «караульную» в глубине здания, где подсудимые дожидались возвращения присяжных из совещательной комнаты. Это было высокое четырехугольное мрачное помещение с окном на Честнат-стрит и еще одной, неизвестно куда открывавшейся дверью. Потолок здесь был закопченный,

пол исшарканный, вдоль стен, на которых не было ни картины, ни единого украшения, тянулись деревянные скамьи. С середины потолка спускалась газовая труба с двумя рожками. Все помещение было пропитано затхлым, едким запахом, яснее слов говорившим о тех отбросах и обломках жизни — преступных и невинных, — которым время от времени приходилось стоять или сидеть здесь, терпеливо дожидаясь решения своей участи.

Каупервуда охватило отвращение, но он был слишком уравновешенным человеком и слишком хорошо владел собою, чтобы показать это. Он с детства отличался исключительной чистоплотностью и всегда тщательно, даже педантично следил за собой. А теперь ему пришлось столкнуться с такой стороной жизни, что его поневоле бросило в дрожь. Стеджер, по пятам следовавший за ним, старался что-то объяснить ему, загладить неприятное впечатление, ободрить.

— Не очень-то уютная комната, — сказал он, — но потерпите немного! Я думаю, присяжные будут совещаться недолго.

— Возможно, но мне от этого будет мало проку! — отозвался Каупервуд, подходя к окну. Помолчав немного, он добавил: — Чему быть, того не миновать!

Старый Каупервуд насупился. Что, если Фрэнку придется отбывать длительное тюремное заключение, то есть долго находиться в этой обстановке? О боже! Он вздрогнул и впервые за много лет стал мысленно творить молитву.

44

Меж тем в совещательной комнате разгорелась настоящая перепалка: все вопросы, которые во время судебного заседания каждый обдумывал про себя, теперь обсуждались вслух.

Весьма интересно наблюдать, как присяжные колеблются и взвешивают все «за» и «против» при обсуждении подобных дел; любопытен тот смутный психологический процесс, в результате которого они приходят к тому или иному решению. Так называемая «истина» в лучшем случае есть нечто весьма туманное, ибо факты даже при самом честном отношении к делу нередко подвергаются различному и превратному толкованию. Сегодня перед присяжными стояла особо сложная задача, и они немало потрудились над тем, чтобы всесторонне ее рассмотреть.

Суд присяжных приходит не столько к определенным выводам, сколько к определенным решениям, вердиктам, и приходит путем весьма своеобразным. Случается, что отдельные присяжные еще ничего не успели уяснить себе, а совещание в целом уже выносит вердикт. Известную роль в этом, как знают все юристы, играет время. Присяжные все вместе и каждый в отдельности обычно ропщут на излишнюю затрату времени при обсуждении дела. Не велика радость часами биться над разрешением какой-то проблемы, разве что она почему-либо оказывается захватывающе интересной. Замысловатые и темные логические тонкости в конце концов утомляют и наводят уныние. Скукой веет даже от самых стен совещательной комнаты.

С другой стороны, разногласия, возникающие в процессе обсуждения, не могут не вызывать у присяжных досады. Человеческому разуму присуще созидательное начало, и любая неразрешенная проблема для него мучительна. Человеку со здоровым восприятием жизни она не дает покоя, как и всякое незаконченное дело. Присяжные в совещательной комнате подобны атомам кристалла, над которыми так много размышляют ученые и философы; они стремятся составить единое и стройное целое, сплотить ряды, ибо только тогда они становятся тем, чем из чувства долга и порядочности обязались стать, то есть как бы единым, разумным судьей. Это же инстинктивное стремление к единству замечается и в самых различных явлениях природы — в дрейфе унесенных волнами деревьев в Саргассовом море, в геометрически точном распределении пузырьков воздуха на поверхности спокойной воды, в поразительных архитектурных сооружениях, безотчетно возводимых некоторыми насекомыми, в соединении атомов, из которых слагается субстанция и структура мироздания. Временами кажется, что физическая субстанция жизни — та внешняя форма, которую наш глаз принимает за реальность, — проникнута безграничной мудростью, мудростью, которая стремится установить порядок, более того, сама является этим порядком. Атомы нашего так называемого естества, нашего так называемого разума — на деле же прихотливых душевных состояний — знают, куда им двигаться и что делать. Они олицетворяют собой порядок, мудрость, волю, от нас не зависящие. Они созидают, строят, существуют как бы вне нас. Так же работает и подсознание присяжных. Но тут надо помнить еще и о своеобразном гипнотическом воздействии одной личности на другую, о многообразном влиянии друг на

друга разных типов людей, которое имеет место до того момента, когда произойдет уже полное слияние, в исконном химическом значении этого слова. В совещательной комнате четкая мысль или твердая воля двух-трех человек могут возобладать над всеми остальными и преодолеть доводы или сопротивление большинства. Один человек, умеющий постоять за свое вполне определившееся мнение, может сделаться либо победоносным вожаком податливой массы, либо мишенью, беспощадно поражаемой сосредоточенным огнем умозаключений. Люди презирают тупое, немотивированное сопротивление. Нигде от человека так не ждут твердо обоснованного мнения, как в совещательной комнате суда, если, конечно, это мнение желают выслушать. Сказать: «Я не согласен» — мало. Мы знаем случаи, когда присяжные в запальчивости доходили до драки. В тесных стенах совещательной комнаты не раз вспыхивала вражда, длившаяся потом годами. Не в меру упорные присяжные подвергались бойкоту в делах, никакого отношения к суду не имеющих, только за их не подкрепленное доводами упрямство или «особое мнение».

Здесь же, после того как все сошлись на том, что Каупервуд, безусловно, заслуживает наказания, начались споры, следует ли признать его виновным по всем четырем пунктам обвинения. Не будучи в состоянии толком разобраться в различии между этими пунктами, присяжные приняли было компромиссное решение: «Виновен по всем четырем пунктам, но заслуживает снисхождения». Однако от последней формулировки тут же отказались: Каупервуд либо виновен, либо не виновен. Судья не хуже, если не лучше их разберется в смягчающих обстоятельствах. Стоит ли связывать ему

руки? Тем более что такие формулировки обычно оставляются без внимания и свидетельствуют только о шаткости позиции присяжных.

Итак, ночью, в десять минут первого, присяжные были наконец готовы огласить свой вердикт, о чем немедленно уведомили судью Пейдерсона, все время не покидавшего здания суда — отчасти из интереса к этому делу, отчасти же потому, что он жил поблизости. За Каупервудом и Стеджером послали пристава. Зал суда был ярко освещен. Пристав, секретарь и стенограф сидели на своих местах. Присяжные гуськом вышли из совещательной комнаты, а Каупервуд вместе со Стеджером заняли места у дверцы, которая вела в огороженную барьером часть зала: здесь подсудимым полагалось выслушивать приговор и все, что сочтет нужным сказать судья. Старый Каупервуд, очень взволнованный, стоял подле сына.

Каупервуду впервые в жизни почудилось, будто все это происходит во сне. Неужели он тот самый Фрэнк Каупервуд, который два месяца назад был таким богатым, преуспевающим, уверенным в себе? Неужели сейчас только пятое или шестое декабря? (Это было после полуночи.) Почему так долго совещались присяжные? Что это может значить? Вот они уже в зале: стоят и торжественно смотрят прямо перед собой, а вот и судья Пейдерсон поднимается на свою трибуну, — его курчавые волосы забавно топорщатся. Пристав призывает всех к порядку. Судья смотрит не на Каупервуда — это было бы невежливо, — а на присяжных заседателей, которые теперь, в свою очередь, смотрят на него. На вопрос секретаря: «Господа

присяжные заседатели, пришли ли вы к единодушному решению?» — старшина отвечает: «Да».

— Считаете вы подсудимого виновным или невиновным?

— Мы считаем подсудимого виновным в соответствии с обвинительным актом.

Как они пришли к такому решению? Неужели все дело в том, что он взял чек на шестьдесят тысяч долларов, которые ему не причитались? Но ведь, в сущности, он имел право на эти деньги! Боже мой, какое значение имели шестьдесят тысяч долларов, если учесть все те суммы, которыми ворочали он и Джордж Стинер! Ровно никакого! Казалось бы, сущий пустяк, а между тем он-то и выплыл на поверхность, этот мелкий ничтожный чек, и превратился в гору вражды, в каменную стену — в тюремную стену, преградившую ему путь к дальнейшему преуспеянию. Непостижимо! Каупервуд оглянулся кругом. Какой огромный, голый, холодный зал! И все-таки он прежний Фрэнк Каупервуд! Нельзя допускать себя до таких вздорных мыслей! Его борьба за свою свободу, за свои права, за свою реабилитацию еще не кончилась. Видит бог, она еще только начинается! Через пять дней его выпустят на поруки. Стеджер подаст кассационную жалобу. Он, Каупервуд, окажется на свободе, и в его распоряжении будут целых два месяца для продолжения борьбы. Он еще не побежден. Он отстоит себя. Присяжные ошиблись. Суд высшей инстанции подтвердит это; он отменит приговор, тут не может быть сомнений. Каупервуд повернулся к Стеджеру, который в это время требовал от секретаря суда поименного опроса присяжных заседателей: может быть,

хоть один из них признает, что поддался уговорам и голосовал против своей воли!

— Полностью ли вы согласны с вынесенным решением? — услышал Фрэнк вопрос, обращенный к Филиппу Молтри, первому по списку присяжных.

— Да! — торжественно подтвердил сей достойный гражданин.

— Полностью ли вы согласны?.. — Секретарь ткнул пальцем в Саймона Гласберга.

— Да, сэр!

— Полностью ли вы согласны с вынесенным решением? — обратился он к Флетчеру Нортону.

— Да!

Так были опрошены все присяжные. Они отвечали твердо и уверенно вопреки смутной надежде Стеджера, что кто-нибудь из них передумает. Судья поблагодарил присяжных, присовокупив, что после столь долгого заседания они могут считать себя свободными на всю сессию. Теперь Стеджеру оставалось только просить судью Пейдерсона отсрочить вынесение приговора, пока не придет ответ на апелляцию перед верховным судом штата о пересмотре дела.

В то время как Стеджер по всем правилам излагал свое ходатайство судье, тот с нескрываемым любопытством разглядывал Каупервуда; и поскольку дело это было весьма серьезным и верховный суд мог усомниться в правильности решения, он поспешил согласиться с доводами адвоката. После этой процедуры Каупервуду осталось только, несмотря на поздний час, отправиться под конвоем помощника шерифа в

окружную тюрьму, где ему предстояло пробыть по меньшей мере пять дней, а то и дольше.

Здание Мойэменсинтской тюрьмы, расположенное на углу улиц Десятой и Рид, внешне не производило гнетущего впечатления. В центральной его части помещались тюремные камеры и резиденция шерифа или другого должностного лица тюремного ведомства; к этой центральной части высотой в три этажа, с зубчатым карнизом и круглой, тоже зубчатой башней, по вышине равной одной трети здания, примыкали двухэтажные крылья, завершавшиеся опять-таки зубчатыми башенками. Весь ансамбль очень напоминал средневековый замок, а потому, с точки зрения американца, был в достаточной мере похож на тюрьму. Фасад здания, высотою не более тридцати пяти футов в средней части и не более двадцати пяти по бокам, отступал от улицы на сто футов в глубину; от крыльев в обе стороны тянулась двадцатифутовая каменная стена, замыкавшая весь квартал. Здание это не производило мрачного впечатления еще и потому, что в центральной его части окна были широкие, без решеток, а в двух верхних этажах — даже завешенные гардинами, что сообщало всему фасаду вид жилой и даже приятный. В правом крыле помещалась так называемая окружная тюрьма, предназначавшаяся для лиц, отбывающих краткосрочное заключение. В левом — тюрьма для подследственных. Сложенный из гладкого и светлого камня, этот тюремный замок скудно освещался изнутри и в такую вьюжную ночь производил впечатление странное, фантастическое, почти сверхъестественное.

Когда Каупервуд туда отправился, ночь стояла морозная и ветреная. Мела поземка. Кроме отца и Стеджера, Каупервуда сопровождал Эдди Зандерс,

помощник шерифа, на время квартальных сессий приставленный к суду. Это был низенький человек, темноволосый, с короткими щетинистыми усами и глуповатыми, но хитрыми глазками. В жизни у него было две заботы: поддерживать достоинство своего звания, представлявшегося ему чрезвычайно почетным, и как-нибудь да подработать. Он знал только то, что имело касательство к весьма ограниченной сфере его деятельности, а именно: умел доставлять заключенных в тюрьму и обратно, следить за тем, чтобы они не сбежали. К известному типу заключенных, то есть к богатым и зажиточным людям, он относился дружелюбно, ибо давно уже понял, что такое дружелюбие хорошо оплачивается. Сейчас, по пути в тюрьму, он любезно высказал несколько замечаний о погоде, о том, что идти совсем недалеко и что на месте они, вероятно, еще застанут шерифа Джесперса, а не то можно будет послать его разбудить. Каупервуд не слушал. Он думал о матери, о жене и об Эйлин.

Когда они наконец пришли, Каупервуда введя в центральную часть тюрьмы, так как здесь находилась канцелярия шерифа Эдлея Джесперса. Джесперс, лишь недавно избранный на этот пост, тщательно соблюдал все формальности, связанные с несением службы, но в душе отнюдь не был формалистом. В определенных кругах было известно, что Джесперс для «подкрепления» своего весьма скудного оклада «сдавал» заключенным отдельные комнаты, а также предоставлял целый ряд преимуществ тем, кто в состоянии был ему заплатить. Другие шерифы до него поступали точно так же. Когда Джесперс занял свой пост, некоторые заключенные уже пользовались подобными привилегиями, и он, конечно, не стал нарушать однажды заведенного обычая.

Комнаты, которые он, как он сам выражался, сдавал «кому следует», были расположены в центральной части здания, где находилась и его квартира. В этих комнатах на окнах не было решеток, и они совсем не походили на тюремные камеры. Бояться, что кто-нибудь убежит, не приходилось, так как у дверей канцелярии всегда стоял часовой, имевший наказ внимательно следить за поведением «квартирантов». Заключенный, пользовавшийся такой привилегией, во многих отношениях был практически свободным человеком. Если он хотел, ему приносили еду прямо в комнату. Он мог читать, развлекаться картами, принимать гостей и даже играть на любом музыкальном инструменте по своему выбору. Неукоснительно соблюдалось здесь только одно правило: если заключенный был видным лицом, то в случае прихода газетного репортера он обязан был спускаться вниз, в общую приемную для посетителей, дабы газеты не пронюхали, что он в отличие от других арестантов не содержится в тюремной камере.

Обо всем этом Стеджер заблаговременно осведомил Каупервуда, но, когда тот переступил порог тюрьмы, его поневоле охватило какое-то странное чувство обреченности и отрезанности от мира. Каупервуда вместе с его спутниками ввели в небольшое помещение, тускло освещенное газовым рожком. Там не было ничего, кроме конторки и стула. Шериф Джесперс, тучный и краснолицый, приветствовал их самым любезным образом. Зандерса он тут же отпустил, и тот не замедлил уйти.

— Прескверная погода, — заметил Джесперс и, посильнее открутив газ, приготовился к процедуре регистрации заключенного.

Стеджер подошел к конторке шерифа и о чем-то заговорил с ним вполголоса; лицо мистера Джесперса просветлело.

— А-а, конечно, конечно! Это можно, мистер Стеджер, будьте покойны! Ну, конечно, что ж тут такого.

Каупервуд, со своего места наблюдавший за толстым шерифом, догадывался, о чем идет речь. Он уже успел вновь обрести свое обычное хладнокровие, критическое отношение ко всему происходящему и уравновешенность. Так вот она, тюрьма, а это заплывшее жиром ничтожество и есть тот шериф, который будет над ним надзирать! Пускай! Он, Каупервуд, и здесь сумеет устроиться! У него мелькнула мысль, не подвергнут ли его обыску, — ведь арестантов принято обыскивать! Но вскоре он убедился, что обыска не будет.

— Ну вот и все, мистер Каупервуд! — сказал Джесперс, вставая. — Думаю, что мне удастся устроить вас с некоторым комфортом. Конечно, здесь не гостиница, — он хихикнул, — но кое-что я смогу для вас сделать. Джон! — крикнул он, и из соседней комнаты, протирая заспанные глаза, показался один из тюремщиков. — Ключ от шестого номера здесь?

— Да, сэр.

— Дай-ка мне его!

Джон исчез и сейчас же вернулся, а Стеджер тем временем объяснил Каупервуду, что ему могут принести сюда одежду и всякие другие вещи, какие он пожелает. Он сам зайдет к нему утром поговорить о делах, а если Фрэнк захочет видеть кого-нибудь из родных, то им тоже будет разрешено навещать его. Фрэнк тут же заявил отцу, что он предпочел бы по возможности избежать

этого. Пусть Джозеф или Эдвард принесут утром чемодан с бельем и всем прочим; что же касается остальных членов семьи, то им лучше подождать, пока он выйдет на волю или уж станет настоящим арестантом. Он хотел было написать Эйлин и предупредить ее, чтобы она ничего не предпринимала, но шериф подал знак, и Каупервуд спокойно последовал за ним. Сопровождаемый Стеджером и отцом, он поднялся наверх, в свое новое жилище.

Это была комната размером в пятнадцать на двадцать футов, с белыми стенами и относительно высоким потолком. Здесь стояла желтая деревянная кровать с высокой спинкой, такой же желтый комод, небольшой стол «под вишневое дерево», три неказистых стула с плетеными сиденьями и резными спинками (тоже отделанные «под вишню»), деревянный умывальник в тон кровати и на нем — кувшин, таз, открытая мыльница и маленькая в розовых цветочках дешевая кружка для чистки зубов и для бритья, выделявшаяся среди других сравнительно добротных вещей и стоившая, должно быть, не более десяти центов. Шерифу Джесперсу эта комната приносила доход в тридцать — тридцать пять долларов в неделю. Каупервуд сторговался на тридцати пяти.

Он порывисто подошел к окну, выходившему на занесенную снегом лужайку, и заявил, что здесь совсем недурно. Отец и Стеджер готовы были остаться, сколько он пожелает, но говорить им было не о чем. Да Каупервуду и не хотелось разговаривать.

— Пусть Эд принесет мне утром белье и один или два костюма, больше ничего не нужно. Джордж соберет мои вещи, — сказал Фрэнк, подразумевая слугу, который

в их семье совмещал роль камердинера с рядом других обязанностей. — Скажи Лилиан, чтобы она не беспокоилась. Мне очень хорошо. Я предпочел бы, чтоб она сюда не являлась, раз я через пять дней выйду. А не выйду, тогда успеет прийти. Поцелуй за меня детишек! — добавил он с благодушной улыбкой.

После того как предсказания Стеджера относительно исхода дела в первой инстанции не оправдались, он уже боялся с уверенностью говорить о том, какое решение примет верховный суд штата. Но что-то нужно было сказать.

— Мне кажется, Фрэнк, вы можете не тревожиться насчет результата моей апелляции. Я получу указание о пересмотре дела, и тогда у нас будет отсрочка месяца на два, а то и более. Не думаю, чтобы залог превышал тридцать тысяч долларов. Так или иначе, дней через пять-шесть вы отсюда выйдете.

Каупервуд отвечал, что и сам надеется на такой исход, но час уже поздний и обсуждать это не стоит. После нескольких бесплодных попыток продолжить разговор старый Каупервуд и Стеджер пожелали Фрэнку спокойной ночи и оставили его размышлять в одиночестве. Каупервуд был утомлен, а потому быстро разделся, лег на свое довольно жесткое ложе и вскоре уснул крепким сном.

45

Что бы ни говорилось о тюрьмах вообще, как бы ни смягчалось пребывание в них отдельной комнатой, угодливостью надзирателей и общим старанием возможно лучше устроить заключенного, — тюрьма остается тюрьмой, и от этого никуда не уйдешь. Находясь в условиях, ни в чем не уступавших пансионату средней руки, Каупервуд тем не менее проникся атмосферой той настоящей тюрьмы, от которой сам он пока был избавлен. Он знал, что где-то поблизости находятся камеры, вероятно, грязные, зловонные и кишащие насекомыми, с тяжелыми решетчатыми дверями, которые могли бы так же быстро и с таким же лязгом захлопнуться за ним, не будь у него денег, чтобы обеспечить себе лучшее существование. Вот вам пресловутое равенство, подумал он: даже здесь, в суровых владениях правосудия, одному человеку предоставляется относительная свобода, какой сейчас пользуется, например, он сам, а другой лишен даже необходимого, потому что у него нет достаточной смекалки, друзей, а главное, денег, чтобы облегчить свою участь.

Наутро после суда Каупервуд проснулся, открыл глаза и вдруг с удивлением осознал, что он находится не в приятной привычной атмосфере своей спальни, а в тюремной камере, вернее, в довольно удобной меблированной комнате, ее заменяющей. Он встал и взглянул в окно. Двор и вся Пассаюнк-авеню были покрыты снегом. Несколько ломовых подвод бесшумно ехали мимо тюрьмы. Еще редкие в этот утренний час пешеходы спешили куда-то по своим делам. Он тотчас

принялся размышлять о том, что ему следует предпринять, как действовать, чтобы восстановить свое дело и реабилитировать себя; погруженный в эти мысли, он оделся и дернул сонетку, которую ему указали еще вчера. На звонок должен был явиться тюремный служитель, затопить камин и принести завтрак. Служитель в поношенной гиней форме, полагая, что человек, занимающий такую комнату, должен быть весьма важной персоной, положил растопку и уголь, развел огонь, а немного погодя принес и завтрак, который при всей его скудности мало походил на тюремную пищу.

После этого, несмотря на всю внешнюю предупредительность шерифа, Каупервуду пришлось терпеливо прождать несколько часов, прежде чем к нему был допущен его брат Эдвард, принесший белье и верхнюю одежду. За небольшую мзду один из служителей доставил ему газеты, которые Каупервуд равнодушно пробежал, с интересом прочитав только отдел финансовых новостей. Уже под конец дня пришел Стеджер, извинился за опоздание и сообщил, что он договорился с шерифом и тот будет пропускать к Фрэнку всех, кто явится по важному делу.

К этому времени Каупервуд успел написать Эйлин, прося ее не делать никаких попыток увидеться с ним, так как к десятому числу он уже выйдет на свободу и встретится с нею либо сразу же, либо в один из ближайших дней. Он понимает, что ей не терпится повидать его, но у него имеются основания думать, что за нею следят нанятые ее отцом сыщики.

Это было не так, но уже одна мысль о подобной возможности угнетала Эйлин, а если добавить сюда

несколько презрительных замечаний по поводу осужденного финансиста, которыми за обеденным столом обменялись ее братья, легко понять, что чаша ее терпения переполнилась. После письма от Каупервуда, присланного на адрес Келлигенов, она решила ничего не предпринимать, пока десятого утром не прочла в газете, что ходатайство Каупервуда о пересмотре решения суда удовлетворено и что теперь он снова — хотя бы временно — на свободе. Это известие придало ей мужества осуществить, наконец, свою давнюю мечту, то есть доказать отцу, что она может обойтись без него и он все равно не заставит ее подчиниться. У Эйлин еще сохранились двести долларов, полученные от Фрэнка, и кое-что из собственных денег — всего около трехсот пятидесяти долларов. Этого, как она полагала, должно было хватить на осуществление ее затеи или, во всяком случае, до тех пор, пока она так или иначе не устроит свою судьбу. Зная, как любят ее родные, Эйлин была уверена, что от всей этой истории они будут страдать больше, чем она. Возможно, что, убедившись в твердости ее решения, отец предпочтет оставить ее в покое и помириться с ней. Во всяком случае, первый шаг должен быть сделан, и она немедленно написала Каупервуду, что уходит к Келлигенам и уже там поздравит его с освобождением.

В каком-то смысле это известие порадовало Каупервуда. Он знал, что все его беды произошли главным образом вследствие происков Батлера, и совесть не укоряла его за то, что теперь он станет причиной страданий старого ирландца, который потеряет дочь. Прежнее его благоразумное стремление не выводить старика из себя не дало результатов, а раз Батлер так непреклонен, то, пожалуй, ему будет полезно убедиться,

что Эйлин может постоять за себя и обойтись без отцовской помощи. Не исключено, что она, таким образом, заставит его пересмотреть свое отношение к ней и, быть может, даже прекратить политические интриги против него, Каупервуда. В бурю хороша любая гавань. А кроме того, ему теперь нечего терять; он решил, что этот шаг Эйлин может даже пойти им обоим на пользу, и поэтому не стремился ее удержать.

Собрав свои драгоценности, немного белья, два-три платья, которые могли ей пригодиться, и еще кое-какие мелочи, Эйлин уложила все это в самый большой из своих портпледов. Застегнув его, она вспомнила про обувь и чулки, но, несмотря на все ее старания, эти вещи уже не влезали. Самую красивую шляпу, которую ей непременно хотелось захватить с собой, тоже некуда было сунуть. Тогда она увязала еще один узел, не слишком элегантный на вид. Но она решила пренебречь такими пустяками. Порывшись в ящике туалета, где у нее хранились деньги и драгоценности, Эйлин вынула свои триста пятьдесят долларов и положила в сумочку. Конечно, это небольшие деньги, но Каупервуд о ней позаботится! Если же он не сможет ее обеспечить, а отец останется непреклонен, то она подыщет себе какую-нибудь работу. Эйлин ничего не знала о том, как холодно встречает мир людей, практически ни к чему не подготовленных и лишенных достаточных средств. Она не знала, что такое скорбный жизненный путь. И вот десятого декабря, мурлыкая себе под нос — для бодрости — какую-то песенку, она дождалась, пока отец не спустился, как обычно, вниз в столовую, затем перегнулась через перила лестницы и, убедившись, что Оуэн, Кэлем и Нора с матерью уже сидят за столом, а горничной Кэтлин поблизости не видно, проскользнула в

отцовский кабинет, достала из-за корсажа письмо, положила его на стол и поспешно вышла. Краткая надпись гласила: «Отцу», в письме же говорилось:

«Дорогой папа, я не могу поступить, как ты хочешь. Я слишком люблю мистера Каупервуда и потому ухожу из дому. Не ищи меня у него. Там, где ты думаешь, меня не будет. Я ухожу не к нему. Я попробую жить самостоятельно, пока он не сможет на мне жениться. Мне очень больно, но я не могу согласиться на твое требование. И не могу забыть, как ты поступил со мною. Передай от меня прощальный привет маме, мальчикам и Норе.

Эйлин.»

Для вящей уверенности, что отец найдет письмо, она положила на него очки в толстой оправе, которые тот надевал при чтении. В ту минуту она почувствовала себя так, словно совершила кражу, — это было совсем новое для нее ощущение. Ее вдруг укололо сознание своей неблагодарности. Может быть, она поступает дурно? Отец всегда был так добр к ней. Мать придет в отчаяние. Нора будет огорчена, Оуэн и Кэлем тоже. Нет, все равно они не понимают ее! А отец оскорбил ее своим поступком. Он мог бы сочувственно отнестись к ней; но он слишком стар и слишком погряз в религиозных догмах и ходячей морали — где ему понять ее. Может быть, он никогда не позволит ей вернуться домой. Ну что ж, она как-нибудь проживет и без него. Она его проучит! Если понадобится, она надолго поселится у Келлигенов, возьмет место школьной учительницы или начнет давать уроки музыки.

Эйлин, крадучись, спустилась по лестнице в переднюю и, открыв наружную дверь, выглянула на

улицу. Фонари уже мигали в темноте, дул холодный, резкий ветер. Портплед оттягивал ей руки, но Эйлин была сильная девушка. Она быстро прошла шагов пятьдесят до угла и повернула на юг; нервы ее напряглись до крайности; все это было как-то ново, недостойно и совсем не похоже на то, к чему она привыкла. На одном из перекрестков она наконец остановилась передохнуть и опустила на землю портплед. Из-за угла, насвистывая песенку, показался какой-то мальчуган; когда он приблизился, она окликнула его:

— Мальчик! Эй, мальчик!

Он подошел и с любопытством оглядел ее.

— Хочешь немного подработать?

— Хочу, мэм, — учтиво ответил он, сдвигая набекрень засаленную шапчонку.

— Отнеси мне портплед! — сказала Эйлин.

Мальчик подхватил портплед, и они двинулись дальше.

Вскоре она уже была у Келлигенов и среди общего восторга водворилась в своем новом жилище. Как только она почувствовала себя в безопасности, все волнение ее улеглось, и она принялась заботливо раскладывать и развешивать свои вещи. То, что ей при этом не помогала горничная Кэтлин, прислуживавшая миссис Батлер и обеим ее дочерям, казалось Эйлин несколько странным, но ничуть не огорчительным. У нее, собственно, не было ощущения, что она навсегда лишилась всех привычных условий жизни, и потому она старалась устроиться поуютней. Мэйми Келлиген и ее мать смотрели на Эйлин

с робким обожанием, что тоже напоминало ей атмосферу, в которой она привыкла жить.

46

Тем временем семья Батлеров собралась за обеденным столом. Миссис Батлер, исполненная благодушия, сидела на хозяйском месте. Ее седые волосы, зачесанные назад, оставляли открытым гладкий, лоснящийся лоб. На ней было темно-серое платье с отделкой из лент в серую и белую полоску, хорошо оттенявшее ее живое, румяное лицо. Эйлин выбрала фасон этого платья и проследила за тем, чтобы оно было хорошо сшито. Нора в светло-зеленом платье, с красным бархатным воротником и рукавчиками, выглядела прелестно. Она была молода, стройна и весела. От ее глаз, румянца и волос веяло свежестью и здоровьем. Она вертела в руках нитку кораллов, только что подаренную ей матерью.

— Посмотри, Кэлем! — обратилась она к брату, который сидел напротив нее и легонько постукивал по столу ножом. — Правда, красивые? Это мама мне подарила!

— Мама тебя слишком балует. Я бы на ее месте подарил тебе… отгадай что?

— Ну, что?

Кэлем лукаво посмотрел на сестру. Нора в ответ состроила ему гримаску. В эту минуту вошел Оуэн и сел на свое место. Миссис Батлер заметила гримасу дочери.

— Вот погоди, брат еще рассердится на тебя за такие штучки, — сказала она.

— Ну и денек выдался сегодня! — устало произнес Оуэн, разворачивая салфетку. — Работы было по горло!

— Что, какие-нибудь неприятности? — участливо осведомилась мать.

— Нет, мама, ничего особенного. Просто куча разных хлопот!

— А ты поешь как следует и сразу почувствуешь себя лучше, — ласково сказала миссис Батлер. — Томсон (зеленщик Батлеров) прислал нам сегодня свежие бобы. Непременно попробуй.

— Ну, конечно, Оуэн, — засмеялся Кэлем, — бобы все уладят. Мама уж найдет выход.

— Бобы прямо замечательные, поверь моему слову, — отозвалась миссис Батлер, не замечая его иронии.

— Никто и не сомневается, мама, — сказал Кэлем, — это лучшая пища для мозга. Не мешало бы нам покормить ими Нору!

— Ты бы, умник, сам их поел! Что-то ты сегодня очень развеселился. Не иначе, как собираешься на свидание!

— Угадала! Сама ты умничаешь! Свидание, да не с одной, а сразу с пятью или шестью. По десять минут на каждую. Я бы и тебе назначил свидание, будь ты немножко покрасивее.

— Тебе пришлось бы долго дожидаться, — насмешливо отвечала Нора. — Я бы не очень-то к тебе торопилась. Плохо мое дело, если я не найду никого получше тебя.

— Такого, как я, ты хочешь сказать, — поправил ее Кэлем.

— Детки, детки! — со своим обычным спокойствием одернула их миссис Батлер, в то же время отыскивая глазами старого слугу Джона. — Еще немножко, и вы поссоритесь. Полно уж. А вот и отец. Где же Эйлин?

Батлер вошел своей тяжелой походкой и уселся за стол.

Слуга Джон явился с подносом, на котором среди других блюд красовались бобы, и миссис Батлер велела ему послать кого-нибудь за Эйлин.

— Здорово похолодало! — заметил Батлер, чтобы начать разговор, и поглядел на пустующий стул старшей дочери. Сейчас она войдет — его любимица, причина всех его тревог! В последние два месяца он вел себя с ней очень осторожно, по возможности избегая в ее присутствии даже упоминать про Каупервуда.

— Да, погода холодная! — подтвердил Кэлем. — Скоро настанет настоящая зима.

Джон стал по старшинству обносить обедающих; все уже наполнили свои тарелки, а Эйлин все не было.

— Посмотрите-ка, Джон, где Эйлин, — сказала удивленная миссис Батлер. — А то обед совсем простынет.

Джон ушел и вернулся с известием, что мисс Батлер нет в ее комнате.

— Не понимаю, куда она девалась! — удивленно заметала миссис Батлер. — Ну да ладно, захочет есть, так сама придет! Она знает, что время обедать.

Разговор перешел на новый водопровод, на постройку ратуши, уже близившуюся к концу, на различные беды, постигшие Каупервуда, и общее

состояние фондовой биржи, на новые золотые прииски в Аризоне, на предстоявший в ближайший вторник отъезд миссис Молленхауэр с дочерьми в Европу (при этом Нора и Кэлем сразу оживились) и, наконец, на рождественский благотворительный бал.

— Эйлин уж, наверно, его не пропустит, — заметила миссис Батлер.

— Я тоже пойду! — воскликнула Нора.

— С кем же это, позвольте спросить? — вмешался Кэлем.

— А это уж мое дело, сударь! — отрезала сестра.

После обеда миссис Батлер не спеша направилась в комнату Эйлин узнать, почему она не вышла к столу. Батлер удалился к себе, думая, что хорошо бы поделиться с женой своими тревогами. Не успел он сесть за стол и зажечь свет, как в глаза ему бросилось письмо. Он сразу узнал почерк Эйлин. Что это значит, зачем ей вздумалось писать ему? Тяжелое предчувствие овладело им; он медленно вскрыл конверт и, надев очки, принялся читать с напряженным вниманием.

Итак, Эйлин ушла! Старик вглядывался в каждое слово, и ему казалось, что все слова начертаны огненными буквами. Она пишет, что ушла не к Каупервуду. Но скорей всего он бежал из Филадельфии и увез ее с собой. Эта капля переполнила чашу. Это конец. Эйлин совращена и уведена из дому — куда, навстречу какой судьбе? И все-таки Батлеру не верилось, что Каупервуд толкнул ее на этот поступок. Слишком уж это было рискованно: такая история могла гибельно отразиться не только на Батлерах, но и на его собственной семье. Газеты живо обо всем пронюхают.

Он встал, комкая в руке письмо. В это время послышался скрип двери. В кабинет вошла жена. Батлер мгновенно овладел собой и сунул письмо в карман.

— Эйлин нет в ее комнате, — недоумевающим тоном сказала миссис Батлер.

— Она не говорила тебе, что куда-нибудь уходит?

— Нет, — честно отвечал он, думая о том мгновении, когда ему придется открыть жене всю правду.

— Странно, — заметила миссис Батлер с сомнением в голосе, — должно быть, ей понадобилось что-нибудь купить. Но почему она никому про это не сказала?

Батлер ничем не выдавал своих чувств, не смел выдать их.

— Она вернется, — сказал он собственно лишь для того, чтобы выиграть время.

Необходимость притворяться мучила его. Миссис Батлер ушла, и он закрыл за нею дверь. Потом снова достал письмо и перечитал его. Девчонка сошла с ума! Она поступила дико, безобразно, бессмысленно. Куда она могла пойти, если не к Каупервуду? Вся история и без того была на грани скандала, а теперь этого не миновать. Сейчас оставалось только одно. Каупервуд, если он еще в Филадельфии, конечно, знает, где она. Необходимо сейчас же ехать к нему, угрожать, хитрить, а если надо будет, то и просто прикончить его. Эйлин должна вернуться домой. Пусть уж не едет в Европу, но она обязана вернуться домой и прилично вести себя до тех пор, пока Каупервуд не сможет на ней жениться. На большее сейчас надеяться нечего. Пусть ждет: может быть, настанет день, когда он, ее отец, заставит себя примириться с ее безумным намерением. Ужасная мысль!

Поступок Эйлин убьет мать, обесчестит сестру. Батлер встал, снял с вешалки шляпу, надел пальто и вышел.

У Каупервудов его провели в приемную. Сам хозяин в это время был наверху, в своем кабинете, занятый просмотром каких-то бумаг. Как только ему доложили о Батлере, он поспешил вниз. Интересно отметить, что сообщение о приходе Батлера, как и следовало ожидать, не лишило его обычного самообладания. Итак, Батлер здесь! Это, конечно, означает, что Эйлин ушла из дому. Сейчас им предстоит помериться силами; посмотрим, кто окажется тверже духом. Каупервуд считал, что по уму, по светскому такту и во всех других отношениях он сильнейший. Его духовное «я», то, что мы называем жизненным началом, было закалено, как сталь. Он вспомнил, что хотя и говорил отцу и жене о стараниях лидеров республиканской партии — в том числе Батлера — сделать его козлом отпущения, никто все же не считает старого подрядчика заклятым врагом семьи Каупервудов, и потому сейчас следует соблюдать учтивость. Каупервуд был бы очень рад, если б ему удалось смягчить старика и в мирном, дружеском тоне поговорить с ним о том, что случилось. Вопрос об Эйлин должен быть улажен немедленно, раз и навсегда. С этой мыслью он вошел в комнату, где его ждал Батлер.

Узнав, что Каупервуд дома и сейчас к нему выйдет, старый Батлер твердо решил, что их встреча должна быть краткой, но решительной. Его слегка передернуло, когда он услышал шаги Каупервуда, легкие и быстрые, как всегда.

— Добрый вечер, мистер Батлер! — любезно приветствовал его хозяин, подходя и протягивая ему руку. — Чем могу служить?

— Прежде всего уберите вот это, — угрюмо отозвался Батлер, подразумевая его руку. — Мне этого не требуется. Я пришел говорить с вами о моей дочери и желаю, чтобы вы мне прямо ответили: где она?

— Вы спрашиваем про Эйлин? — в упор глядя на него спокойным и полным любопытства взглядом, осведомился Каупервуд собственно лишь для того, чтобы выгадать время и обдумать свои дальнейшие слова. — Что же я могу сказать вам о ней?

— Вы можете сказать, где она. И можете заставить ее вернуться домой, где ей подобает находиться. Злой рок привел вас в мой дом, но я не для того пришел сюда, чтобы пререкаться с вами. Вы скажете мне, где находится моя дочь, и впредь оставите ее в покое, а не то я… — Старик сжал кулаки, грудь его вздымалась от с трудом сдерживаемой ярости. — Я вам советую быть разумным и не доводить меня до крайности, слышите? — добавил он, помолчав немного и овладев собой. — Я не желаю иметь с вами никакого дела. Мне нужна моя дочь!

— Выслушайте меня, мистер Батлер, — невозмутимо произнес Каупервуд, которому эта сцена, укрепившая в нем сознание своего превосходства над противником, доставляла подлинное удовлетворение. — Если разрешите, я буду с вами вполне откровенен. Возможно, я знаю, где ваша дочь, а возможно, и нет. Возможно, я пожелаю сказать вам это, а возможно, и нет. Кроме того, она может этого не захотеть. Но если вам не угодно быть со мной вежливым, то вообще бессмысленно продолжать этот разговор. Вы вправе поступать, как вам угодно. Не подниметесь ли вы ко мне в кабинет? Там нам будет удобнее.

Батлер вне себя от изумления глядел на человека, которому он некогда покровительствовал. За всю свою долгую жизнь он не встречал такого хищника

— сладкоречивого, хитрого, сильного и бесстрашного. Явившись к Батлеру в овечьей шкуре, он обернулся волком. Пребывание в тюрьме нисколько не укротило его.

— Я не пойду к вам в кабинет, — возразил Батлер, — и вам не удастся удрать с Эйлин из Филадельфии, если вы на это рассчитываете. Я уж об этом позабочусь! Вам, я вижу, кажется, что сила на вашей стороне, и вы думаете этим воспользоваться. Ничего у вас не выйдет! Мало вам того, что вы явились ко мне нищим, просили помочь вам, и я сделал для вас все, что было в моих силах, нет, вам понадобилось еще украсть у меня дочь! Если бы не ее мать, и сестра, да еще братья — порядочные молодые люди, которым вы в подметки не годитесь, — я бы не сходя с места проломил вам башку. Обольстить молодую невинную девушку, сделать из нее распутницу! И так поступает женатый человек! Благодарите бога, что это я разговариваю здесь с вами, а не один из моих сыновей; тогда бы вас уже не было в живых!

Старик задыхался от бессильной ярости.

— Весьма сожалею, мистер Батлер, — все так же невозмутимо ответил Каупервуд. — Я хотел многое объяснить вам, но вы сами затыкаете мне рот. Я не собираюсь ни бежать с вашей дочерью, ни вообще уезжать из Филадельфии. Вы знаете меня и знаете, что это на меня не похоже: мои финансовые интересы слишком обширны. Мы с вами деловые люди. Нам следовало бы обсудить этот вопрос и прийти к какому-то

соглашению. Я уже думал поехать к вам и объясниться, но не был уверен, что вы пожелаете меня выслушать. Теперь, раз уж вы пришли ко мне, нам тем более следовало бы потолковать. Если вам угодно подняться ко мне наверх, я к вашим услугам, в противном случае — не обессудьте. Итак?

Батлер понял, что преимущество на стороне Каупервуда. Ничего не поделаешь — придется идти наверх! Иначе ему, конечно, не получить нужных сведений.

— Ладно уж, — буркнул он.

Каупервуд любезно пропустил его вперед и, войдя за ним в кабинет, закрыл дверь.

— Нам надо обсудить это дело и прийти к соглашению, — повторил он. — Я вовсе не такой плохой человек, как вы полагаете, хотя знаю, что у вас есть основания плохо думать обо мне.

Батлер не сводил с него негодующего взгляда.

— Я люблю вашу дочь, и она меня любит. Вам непонятно, как я смею говорить подобные слова, будучи женатым человеком, но уверяю вас — это правда. Я несчастлив в браке. Я намеревался договориться с женой, получить от нее развод и жениться на Эйлин. Все карты спутала эта паника. У меня честные намерения. Винить следует не меня, а обстоятельства, так неудачно сложившиеся месяца два назад. Я вел себя не особенно скромно, но ведь я человек! Ваша дочь не жалуется на это, она все понимает.

При упоминании о дочери Батлер залился краской стыда и гнева, но тотчас же овладел собой.

— И вы полагаете, что, если она не жалуется, значит, все в порядке? — саркастически осведомился он.

— С моей точки зрения — да, с вашей — нет. У вас, мистер Батлер, свой взгляд на вещи, у меня — свой.

— Еще бы! — воскликнул Батлер. — Здесь вы совершенно правы!

— Это отнюдь не доказывает, однако, — продолжал Каупервуд, — моей или вашей правоты. По-моему, цель в данном случае оправдывает средства. А моя цель — жениться на Эйлин. И я это сделаю, если только мне удастся выкарабкаться из финансовых затруднений. Конечно, и я и Эйлин предпочли бы вступить в брак с вашего согласия, но если это невозможно, то на нет и суда нет.

Каупервуд считал, что такое его заявление если и не успокоит старого подрядчика, то все же заставит его призвать на помощь свою житейскую мудрость. Без видов на замужество теперешнее положение Эйлин было бы очень незавидно. Пусть он, Каупервуд, в глазах общества человек, осужденный за растрату, но ведь это еще ничего не доказывает. Он добьется свободы и оправдания — наверняка добьется, и Эйлин еще будет считать почетным сочетаться с ним законным браком. Рассуждая так, Каупервуд не учитывал всей глубины религиозных и нравственных предубеждений Батлера.

— Насколько я знаю, — закончил он, — вы в последнее время делали все от вас зависящее, чтобы столкнуть меня в пропасть, — по-видимому, из-за Эйлин; но этим вы только приостановили осуществление моего намерения.

— А вы хотите, чтобы я помогал вам, так, что ли? — с бесконечным презрением, но сдержанно проговорил Батлер.

— Я хочу жениться на Эйлин, — еще раз подчеркнул Каупервуд. — И она хочет стать моей женой. При сложившихся обстоятельствах, как вы понимаете, вам спорить не приходится, что бы вы об этом ни думали; между тем вы продолжаете меня преследовать и препятствуете мне выполнить мой долг.

— Вы — негодяй, — отвечал Батлер, отлично понимая, к чему клонит Каупервуд. — Я вас считаю мошенником и не хотел бы, чтобы кто-нибудь из моих детей был связан с вами. Я не отрицаю, — раз уж так сложилось, — что, будь вы свободным человеком, наилучшим исходом для Эйлин было бы замужество с вами. Это единственный порядочный шаг, который вы могли бы сделать, если бы пожелали, в чем я сильно сомневаюсь. Но сейчас все эти разговоры ни к чему. Зачем вам нужно, чтобы она где-то скрывалась? Жениться на ней вы не можете. Развода вам не получить. У вас и без того хлопот полон рот со всеми вашими исками и с угрозой тюремного заключения. Эйлин для вас только лишний расход, а денежки вам еще ой как понадобятся для других целей. Зачем же уводить ее из порядочного дома и ставить в такое положение, что вам же самому будет зазорно на ней жениться, если уж до этого дойдет. Будь в вас хоть капля уважения к себе самому и того чувства, которое вам угодно называть любовью, вы должны были бы оставить ее в родительском доме, где она могла бы вести жизнь, достойную порядочной женщины. Зарубите себе, однако, на носу, что вам до нее все равно как до звезды небесной, несмотря на то, что вы с ней сделали. Если бы

в вас была хоть капля порядочности, вы не заставили бы ее опозорить семью и разбить сердце старой матери. Какая вам от этого польза? К чему это, по-вашему, приведет? Бог мой, да найдись у вас хоть капля разума, вы бы это и сами поняли. Вы не только не облегчаете свое положение, а усугубляете его тяжесть. Да и Эйлин впоследствии вас за все это не поблагодарит!

Батлер замолчал, сам дивясь тому, что позволил втянуть себя в подобный разговор. Он так презирал этого человека, что старался не смотреть ему в лицо, но его отцовским долгом, его обязанностью было вернуть Эйлин домой. Каупервуд же глядел на него так, будто внимательно вслушивался в слова собеседника.

— Говоря по правде, мистер Батлер, — произнес он, — я вовсе не хотел, чтобы Эйлин уходила из дому. И если вы когда-нибудь сами спросите ее, она вам это подтвердит. Я прилагал все старания, чтобы ее отговорить, но, поскольку она стояла на своем, мне оставалось только позаботиться, чтобы в любом месте, где бы ей ни пришлось жить, она была хорошо устроена. Эйлин глубоко оскорблена тем, что вы приставили к ней сыщиков. Вот это да еще ваше требование, чтобы она куда-то уехала против своей воли, и было главной причиной ее ухода из дому. Еще раз уверяю вас, что я этого не хотел. Вы, видимо, забываете, мистер Батлер, что Эйлин — взрослая женщина и у нее есть собственная воля. Вы считаете, что я, во вред ей, руковожу ее действиями. На самом же деле я страстно люблю ее, вот уже три или даже четыре года, и если вы имеете понятие о любви, то знаете, что любовь не всегда равносильна власти. И я нимало не погрешу против истины, говоря, что Эйлин влияет на меня не меньше, чем я на нее. Я люблю ее — в том-то вся и беда. Вы пришли ко мне и

требуете, чтобы я вернул вам дочь. А между тем я далеко не убежден, что могу это сделать. Я не уверен, что она меня послушается. Более того, моя просьба может обидеть ее, навести на мысль, что я ее разлюбил. А мне очень не хочется, чтобы она так думала. Как я уже говорил вам, она глубоко уязвлена вашим поступком по отношению к ней и тем, что вы принуждаете ее покинуть Филадельфию. Ее возвращение больше зависит от вас, чем от меня. Я мог бы сказать вам, где она, но я еще не уверен, правильно ли я поступлю, сделав это. Во всяком случае, я открою вам ее местопребывание не раньше, чем буду знать, как вы намерены вести себя в отношении Эйлин и всего этого дела.

Он кончил, продолжая невозмутимо смотреть на старого подрядчика, который, в свою очередь, не сводил с него свирепого взгляда.

— О каком это деле вы толкуете? — спросил Батлер, невольно заинтересовавшись таким неожиданным оборотом разговора.

Теперь он сам, помимо своей воли, начал несколько иначе смотреть на всю эту историю. Многое представилось ему в ином свете. Каупервуд, по-видимому, говорит искренне. Возможно, конечно, что все его обещания лживы, но также возможно, что он любит Эйлин и в самом деле намерен со временем добиться развода и жениться на ней. Однако развод противоречит учению католической церкви, которую Батлер глубоко почитал. Согласно законам божеским и человеческим, Каупервуд не вправе бросить жену и детей, связать свою жизнь с другой женщиной, даже с Эйлин, даже во имя ее спасения. С точки зрения общества, это настоящее преступление, доказывающее

только, какой, в сущности, негодяй Каупервуд. Но, с другой стороны, он не католик, и точка зрения Батлера для него не обязательна, а кроме того — и это самое худшее, — Эйлин окончательно скомпрометирована (отчасти, конечно, причиной тому и ее безудержная пылкость). Теперь не так-то просто будет внушить ей иные взгляды и заставить ее благопристойно вести себя; все эти «за» и «против» надо будет еще как следует обдумать, Батлер знал, что в душе никогда не примирится с таким замужеством Эйлин, конечно, нет, он не может нарушить верность церкви, но у него достало здравого смысла вдуматься в слова Каупервуда. К тому же он жаждал возвращения Эйлин и понимал, что теперь уж вопрос о ее будущем будет решать она сама.

— Речь ведь, собственно, идет о малом, — продолжал Каупервуд. — Только о том, чтобы вы отказались от намерения заставить Эйлин уехать из Филадельфии и прекратили козни против меня. — При этих словах он вкрадчиво улыбнулся. Он все еще не терял надежды смягчить Батлера своим великодушным поведением. — Я, конечно, не могу принудить вас поступать против вашего желания. И заговорил я об этом, мистер Батлер, только потому, что, если бы не ваш гнев из-за Эйлин, я уверен, вы так не ополчились бы на меня. Мне известно, что вы получили анонимное письмо и в тот же день затребовали у меня свой вклад. После этого я из разных источников узнал, что вы очень восстановлены против меня, и я могу об этом лишь сожалеть. Я не виновен в растрате шестидесяти тысяч долларов, и вы это знаете. Я ничего не злоумышлял. Я не предвидел банкротства, когда воспользовался для своей надобности этими сертификатами, и если бы от меня одновременно не потребовали покрытия ряда других

ссуд, я продолжал бы свое дело до конца месяца и к первому числу, как всегда, сдал бы сертификаты в амортизационный фонд. Я очень ценил ваше расположение ко мне, и мне больно было его утратить. Вот все, что я хотел вам сказать.

Батлер смотрел на Каупервуда задумчивым, испытующим взглядом. В этом человеке, думал он, есть хорошие качества, но как же велико в нем и неосознанное злое начало. Батлер прекрасно знал и о том, как Каупервуд получил чек, и о многих других подробностях этого дела. А сейчас Каупервуд ловчил так же, как в тот вечер, после известия о пожаре. Нет, он попросту хитер, расчетлив и бессердечен.

— Я не буду давать вам никаких обещаний, — заявил Батлер. — Скажите мне, где моя дочь, и я обдумаю этот вопрос. После всего происшедшего у вас нет оснований рассчитывать на меня, никаких одолжений вы с моей стороны ожидать не можете. Но я все-таки подумаю.

— Это меня вполне удовлетворяет, — отвечал Каупервуд. — На большее я не вправе рассчитывать. Но поговорим об Эйлин. Вы продолжаете настаивать на ее отъезде из Филадельфии?

— Нет, если она вернется домой и будет вести себя благопристойно. Но тому, что было между вами, необходимо положить конец. Эйлин позорит семью и губит свою душу. То же самое можно сказать и о вас. Когда вы будете свободным человеком, мы встретимся и побеседуем. Больше я ничего не обещаю.

Каупервуд, довольный уже тем, что уладил дело в пользу Эйлин, хотя и не добился многого для себя, решил, что ей надо как можно скорее возвратиться

домой. Кто знает, каков будет результат его апелляции в верховный суд. Ходатайство о пересмотре дела, поданное ввиду «сомнений в правильности приговора», может быть отклонено, и в таком случае он снова окажется в тюрьме. Если ему суждено сесть за решетку, Эйлин будет лучше, спокойнее в лоне семьи. В ближайшие два месяца до решения верховного суда ему не обобраться хлопот. А потом — потом он все равно будет продолжать борьбу, что бы с ним ни случилось.

Во время этих переговоров Каупервуд не переставал думать о том, как ему осуществить свое компромиссное решение, не оскорбив Эйлин советом вернуться к отцу. Он знал, что она не откажется от встреч с ним, да и сам не хотел этого. Если он не подыщет достаточно веских доводов, оправдывающих в глазах Эйлин то, что он открыл Батлеру ее местопребывание, это будет выглядеть как предательский поступок с его стороны. Нет, прежде чем это сделать, надо придумать какую-нибудь версию, приемлемую для Эйлин. Каупервуд знал, что долго довольствоваться своей теперешней жизнью она не сможет. Ее бегство вызвано отчасти враждебным отношением Батлера к нему, отчасти твердой решимостью старика заставить ее покинуть Филадельфию и расстаться с ним. Правда, сейчас уже многое изменилось. Батлер, что бы он ни говорил, уже больше не был олицетворением карающей Немезиды. Он размяк, жаждал только найти свою дочь и готов был ее простить. Он потерпел поражение, был побит в им же затеянной игре, и Каупервуд ясно читал это в его взгляде. Надо с глазу на глаз поговорить с Эйлин и объяснить ей положение; ему наверняка удастся внушить ей, что сейчас в их обоюдных интересах покончить дело миром, Батлера надо заставить подождать где-нибудь,

хотя бы здесь, пока он, Фрэнк, съездит и потолкует с Эйлин. Выслушав его, она, по всей вероятности, не станет с ним спорить.

— Лучше всего будет, — сказал Каупервуд после недолгого молчания, — если я дня через два-три повидаюсь с Эйлин и спрошу, каковы ее намерения. Я передам ей наш разговор, и если она пожелает, то вернется домой.

— Дня через два-три! — в ярости крикнул Батлер. — На черта мне это нужно! Она сегодня же должна вернуться! Мать еще не знает, что она сбежала. Сегодня же, слышите? Я немедленно поеду за ней.

— Нет, из этого ничего не выйдет, — возразил Каупервуд. — Ехать надо мне. Если вам угодно будет подождать здесь, я съезжу, переговорю с ней и тотчас же поставлю вас обо всем в известность.

— Ладно, — буркнул Батлер, который расхаживал взад и вперед по комнате, заложив руки за спину. — Но только, ради бога, поторопитесь! Нельзя терять ни минуты.

Он думал о миссис Батлер. Каупервуд позвал слугу, велел ему распорядиться насчет экипажа, приказал никого не впускать в кабинет и торопливо пошел вниз, предоставив Батлеру шагать взад и вперед по этой ненавистной для него комнате.

47

Хотя Каупервуд приехал к Келлигенам уже около одиннадцати, Эйлин еще не ложилась. Она сидела наверху в спальне и делилась с Мэйми и миссис Келлиген впечатлениями светской жизни, когда вдруг раздался звонок. Миссис Келлиген пошла вниз и открыла дверь.

— Если я не ошибаюсь, мисс Батлер находится здесь? — осведомился Каупервуд. — Не откажите передать ей, что к ней приехали с поручением от ее отца.

Несмотря на строгий наказ Эйлин никому, даже членам семьи Батлеров, не открывать ее пребывания здесь, уверенный тон Каупервуда и упоминание имени Батлера привели миссис Келлиген в совершенную растерянность.

— Подождите минуточку, — сказала она. — Я пойду узнаю.

Она повернулась к лестнице, а Каупервуд быстро вошел в переднюю с видом человека, весьма довольного, что ему удалось найти ту особу, к которой он имел поручение.

— Передайте, пожалуйста, мисс Батлер, что я недолго задержу ее, — крикнул он вслед поднимавшейся по лестнице миссис Келлиген в надежде, что Эйлин услышит его.

И в самом деле, она тотчас же сбежала вниз. Эйлин была поражена, что Фрэнк явился так скоро, и со свойственной ей самоуверенностью решила, что дома

царит ужасное волнение. Она очень огорчилась бы, будь это не так.

Мать и дочь Келлиген очень хотели узнать, о чем они говорят, но Каупервуд соблюдал осторожность. Едва Эйлин сошла вниз, он предостерегающе приложил палец к губам и сказал:

— Вы мисс Батлер, не так ли?

— Да, это я, — стараясь не улыбаться, отвечала Эйлин. Как ей хотелось поцеловать его! — Что случилось, дорогой? — тихо спросила она.

— Боюсь, девочка, что тебе придется вернуться домой, — прошептал он, — иначе поднимется невообразимая кутерьма. Твоя мать, по-видимому, еще ничего не знает, а отец сидит сейчас у меня в кабинете и ждет тебя. Если ты согласишься вернуться, то выведешь меня из больших затруднений. Я тебе сейчас объясню…

Он передал ей весь разговор с Батлером и свое мнение по поводу этого разговора. Эйлин несколько раз менялась в лице при упоминании тех или иных подробностей. Но, убежденная ясностью его доводов и его уверениями, что они будут встречаться по-прежнему, она уступила. Как-никак, а капитуляция отца означала для нее немалую победу. Она тотчас же распрощалась с миссис Келлиген и Мэйми, с иронической улыбкой сказав им, что дома никак не могут обойтись без нее, добавила, что пришлет за вещами в другой раз, и вместе с Каупервудом доехала до дверей его дома. Он предложил ей подождать в экипаже, а сам пошел уведомить ее отца.

— Ну? — спросил Батлер, стремительно обернувшись на скрип двери и не видя Эйлин.

— Она ждет вас внизу в моем экипаже, — объявил Каупервуд. — Может быть, вам угодно воспользоваться им, чтобы доехать до дома? Я потом пришлю за ним кучера.

— Нет, благодарю вас! Мы пойдем пешком.

Каупервуд приказал слуге идти к экипажу, а Батлер, тяжело ступая, направился к двери.

Он прекрасно понимал, что Каупервуд всецело подчинил себе его дочь, и, вероятно, надолго. Единственное, что оставалось теперь ему, Батлеру, это удерживать ее дома в надежде, что влияние семьи заставит ее образумиться. Беседуя с ней по дороге домой, он тщательно выбирал слова, боясь, как бы снова не оскорбить дочь. Спорить с нею сейчас было бессмысленно.

— Ты могла бы еще разок поговорить со мной, Эйлин, прежде чем уйти из дому, — сказал он. — Не могу даже представить себе, что было бы с матерью, если б она узнала об этом. Но она ни о чем не догадывается. Тебе придется сказать, что ты осталась обедать у кого-нибудь из знакомых.

— Я была у Келлигенов, — отвечала Эйлин. — Ничего не может быть проще. Мама нисколько не удивится.

— У меня очень тяжело на душе. Эйлин! Но я хочу надеяться, что ты одумаешься и впредь не станешь так огорчать меня. Больше я сейчас ничего не скажу.

Эйлин вернулась к себе в комнату, торжествуя победу, и в доме Батлеров все как будто пошло своим чередом. Но было бы ошибочно думать, будто

понесенное Батлером поражение существенно изменило его точку зрения на Каупервуда.

В эти два месяца, которые оставались в распоряжении Каупервуда со дня выхода из тюрьмы и до разбора апелляции, он изо всех сил старался наладить свои дела, претерпевшие столь сокрушительный удар. Он принялся за работу так, как будто ничего не случилось, но теперь, после вынесения ему обвинительного приговора, шансы на успех были очень невелики. Основываясь на том, что при объявлении банкротства ему удалось защитить интересы наиболее крупных кредиторов, Каупервуд надеялся, что, когда он очутится на свободе, ему снова охотно откроют кредит те финансовые учреждения, чья помощь могла быть наиболее эффективной, например: «Кук и Кь», «Кларк и Кь», «Дрексель и Кь» и Джирардский национальный банк, — разумеется, при условии, что его репутации из-за приговора не будет нанесен слишком серьезный ущерб. В силу своего неизбывного оптимизма Каупервуд недоучел, какое гнетущее впечатление произведет этот приговор — справедливый или несправедливый — даже на самых горячих его сторонников.

Лучшие друзья Каупервуда в финансовом мире пришли теперь к убеждению, что он идет ко дну. Какой-то ученый финансист однажды обмолвился, что на свете нет ничего более чувствительного, чем деньги, и эта чувствительность в значительной мере передалась самим финансистам, постоянно имеющим дело с деньгами. Стоит ли оказывать помощь человеку, который, возможно, на несколько лет сядет в тюрьму? Вот если он проиграет дело в верховном суде и уже неминуемо должен будет отправиться за решетку, тогда надо будет что-нибудь сделать для него, например,

похлопотать перед губернатором, но до того времени целых два месяца, и, может быть, все еще обойдется. Поэтому при своих многократных просьбах о возобновлении кредита или принятии разработанного им плана восстановления своего дела Каупервуд неизменно наталкивался на вежливые, но уклончивые ответы. Подумаем, посмотрим, есть кое-какие препятствия… И так далее, и так далее — бесконечные отговорки людей, не желающих себя утруждать. Все эти дни Каупервуд, как обычно, бодрый и подтянутый, ходил по разным банкам и конторам, любезно раскланивался со старыми знакомыми и на вопросы отвечал, что питает самые радужные надежды и что дела его идут превосходно. Ему не верили, но это его мало заботило. Он стремился убедить или переубедить только тех, кто действительно мог быть ему полезен; этой задаче он отдавал все свои силы и ничем другим не интересовался.

— А, добрый день, Фрэнк! — окликали Каупервуда приятели. — Как дела?

— Недурно! Совсем недурно! — весело отвечал он. — Даже вполне хорошо!

И, не вдаваясь в излишние подробности, объяснял, как он действует. Иной раз ему удавалось заразить своим оптимизмом тех, кто знал его и сочувственно к нему относился, но большинство не проявляло к его судьбе ни малейшего интереса.

В эти же дни Каупервуд и Стеджер часто ходили по судам, ибо Каупервуда то и дело вызывали из-за разных исков, связанных с его банкротством. Это было мучительное время, но он не дрогнул. Он решил остаться в Филадельфии и бороться до конца — вернуть себе положение, которое он занимал до пожара, оправдаться

в глазах общества. Он был вполне убежден, что добьется своего, если его не посадят в тюрьму, но даже и в этом случае — так силен был его природный оптимизм — надеялся достигнуть цели по выходе на свободу. Правда, в Филадельфии ему уже тогда не восстановить свое доброе имя, — это пустые мечты.

Главными противоборствующими ему силами были неуемная вражда Батлера и происки городских заправил. Каким-то образом — хотя никто не мог бы в точности сказать, откуда это пошло, — в политических кругах сложилось мнение, что молодой финансист и бывший городской казначей проиграют дело и в конце концов угодят в тюрьму. Стинер, поначалу собиравшийся признать себя виновным и безропотно понести наказание, поддался на уговоры друзей, которые убедили его отрицать вину и в объяснение своих действий ссылаться на издавна существующую традицию; иначе, говорили они, у него не остается никакой надежды на оправдание. Он так и поступил, но все-таки был осужден. Потом, для приличия, была составлена апелляционная жалоба, и дело его сейчас находилось в верховном суде штата.

Кроме того, — с легкой руки девушки, в свое время писавшей Батлеру и жене Фрэнка, — начались перешептывания о том, что дочь Батлера Эйлин состоит в любовной связи с Каупервудом. Упоминался какой-то дом на Десятой улице, который Каупервуд будто бы нанимал для нее. Нечего и удивляться, что Батлер так мстительно настроен. Это объяснение проливало свет на многие обстоятельства. В результате в деловых и финансовых кругах симпатии стали склоняться на сторону противников Каупервуда, Кто же не знает, что в начале своей карьеры Каупервуд пользовался дружеским

покровительством Батлера? Нечего сказать, хороша благодарность! Самые старые и самые стойкие из его сторонников, и те укоризненно покачивали головой. Значит, Каупервуд и здесь руководствовался принципом «Мои желания — прежде всего», которым неизменно определялось все его поведение. Конечно, он человек сильный и поистине блестящий. Никогда еще Третья улица не знала такого дерзкого, предприимчивого, смелого в деловых замыслах и в то же время осторожного финансиста. Но разве чрезмерная дерзость и самомнение не могут прогневить Немезиду? Она, как и смерть, охотно избирает блестящую мишень. Разумеется, Каупервуду не следовало соблазнять дочь Батлера. И уж, конечно, он не должен был так бесцеремонно брать этот чек, особенно после ссоры и разрыва со Стинером. Слишком уж он напорист! И весьма сомнительно, чтобы при таком прошлом ему удалось снова занять здесь прежнее положение! Банкиры и предприниматели, ближе всех стоявшие к нему, смотрели на это довольно скептически.

Что же касается Каупервуда, то его девиз «Мои желания — прежде всего», а также его любовь к красоте и к женщинам оставались неизменными, и в этом отношении он был по-прежнему безудержен и легкомыслен. Даже сейчас прелесть и очарование такой девушки, как Эйлин Батлер, значили для него больше, чем доброжелательность пятидесяти миллионов человек, если, конечно, он мог обойтись без этой доброжелательности. До чикагского пожара и паники его звезда всходила так быстро, что в чаду удач и успехов он не имел времени задуматься над отношением общества к его поступкам. Молодость и радость бытия кипели в его крови. Он был свеж и полон жизненных сил, как только

что зазеленевшая трава. Жизнь казалась ему приятной, словно прохладный весенний вечер, и никакие сомнения не смущали его. После краха, когда рассудок как будто должен был подсказать ему необходимость хоть на время отказаться от Эйлин, он и не подумал этого сделать. Она олицетворяла для него прекрасные дни его недавнего прошлого. Она была звеном между этим прошлым и грезившимся ему победоносным будущим.

Правда, теперь Каупервуда очень тревожила мысль, что если его посадят в тюрьму или официально признают банкротом, то он лишится места на фондовой бирже, и тогда в Филадельфии для него на время или даже навсегда будет закрыта широкая дорога к благосостоянию. В настоящее время на это место на бирже наложили арест как на часть его актива, и тем самым была приостановлена его биржевая деятельность. Эдвард и Джозеф, едва ли не единственные посредники, которых он еще сохранил, исподволь и по мелочам продолжали действовать за него на бирже; другие биржевики, естественно, видели в братьях Каупервуда его агентов, и если бы они стали распространять слух, будто действуют самостоятельно, это только заставило бы Третью улицу заподозрить, что Каупервуд замыслил какой-то хитрый маневр, едва ли выгодный его кредиторам и, уж во всяком случае, противозаконный. Но так или иначе, а на бирже ему необходимо остаться если не явно, то тайно, и его быстрый, изобретательный ум тотчас же нашел выход: надо за известную мзду подыскать себе фиктивного компаньона из людей, уже зарекомендовавших себя на бирже, который фактически будет подставным лицом, пешкой в его руках.

После недолгих размышлений выбор Каупервуда остановился на человеке, имевшем очень скромное дело,

но честном и к нему расположенном. Это был некий Стивен Уингейт, мелкий маклер, владелец небольшой конторы на Третьей улице. Сорока пяти лет от роду, среднего роста, плотный, с довольно располагающей внешностью, неглупый и трудолюбивый, он не отличался ни энергией, ни предприимчивостью. Для того чтобы сделать карьеру, если для него вообще могла идти речь о карьере, ему безусловно нужен был такой компаньон, как Каупервуд. Уингейт имел место на фондовой бирже, пользовался хорошей репутацией, его уважали, но до процветания ему было далеко. В былые времена он не раз обращался за помощью к Каупервуду, который любезно ссужал его мелкими суммами под невысокие проценты, давал ему дельные советы и прочее, причем делал это охотно, ибо был расположен к Уингейту и даже жалел его. Теперь Уингейт медленно плыл по течению навстречу не слишком обеспеченной старости и, конечно, должен был оказаться сговорчивым. В настоящее время никому и в голову не пришло бы заподозрить в нем агента Каупервуда, а, с другой стороны, Каупервуд мог быть вполне уверен, что Уингейт будет выполнять его указания с педантической точностью. Каупервуд пригласил его к себе и имел с ним продолжительную беседу. Он откровенно обрисовал положение, сказал, в чем он может быть полезен Уингейту как компаньон, на какую долю рассчитывает в делах его конторы, и Уингейт охотно на все это согласился.

— Я рад буду действовать по вашим указаниям, мистер Каупервуд, — заверил его маклер. — Я знаю: что бы ни случилось, вы меня не оставите, а во всем мире нет человека, с которым я работал бы охотнее или к кому относился бы с большим уважением, чем к вам. Эта буря пронесется, и вы снова будете на коне. Во всяком случае,

можно попробовать. Если дело у нас не пойдет на лад, вы поступите так, как сочтете нужным.

На таких условиях было заключено это соглашение, и Каупервуд начал понемножку заниматься делами, прикрываясь именем Уингейта.

48

Ко времени, когда верховный суд штата Пенсильвания рассмотрел наконец ходатайство Каупервуда об отмене приговора, вынесенного первой инстанцией, и пересмотре дела, слухи о связи Каупервуда с Эйлин успели широко распространиться. Как мы уже знаем, это обстоятельство дискредитировало его и продолжало наносить ему вред. Оно как бы подтверждало то впечатление, которое с самого начала старались создать лидеры республиканской партии, а именно, что Каупервуд-то и есть настоящий преступник, а Стинер только его жертва. Не вполне законные деловые махинации Каупервуда — плод его незаурядной финансовой одаренности — изображались как опасные происки современного Макиавелли, хотя он отнюдь не позволял себе того, чего не делали бы потихоньку другие. У Каупервуда была жена и двое детей; и филадельфийцы, ничего не знавшие об его истинных намерениях, но взбудораженные слухами, уже решили, что он не сегодня завтра собирается бросить семью, развестись с Лилиан и жениться на Эйлин. С точки зрения людей благонамеренных, это само по себе было уже преступлением, а если еще учесть финансовые затруднения Каупервуда, его процесс, обвинительный приговор и банкротство, то станет понятным, почему в Филадельфии так охотно верили всему, что говорили про него заправилы города. Он будет осужден. Верховный суд не удовлетворит его ходатайства о новом слушании дела. Так иногда наши сокровенные мысли и намерения каким-то чудом превращаются в достояние широкой публики. Люди знают многое, что, казалось бы, никак не

могло дойти до них. Волей-неволей приходится думать, что существует передача мыслей на расстоянии!

Таким вот путем эти слухи дошли не только до пятерых судей верховного суда штата Пенсильвания, но и до самого губернатора.

За тот месяц, что Каупервуд провел на свободе после подачи апелляции, Харпер Стеджер и Дэннис Шеннон успели побывать у членов верховного суда и высказаться — один за, другой против удовлетворения ходатайства о пересмотре дела.

Через своего защитника Каупервуд подал в верховный суд обстоятельно мотивированную жалобу, в которой он изобличал: во-первых, необоснованность обвинительного вердикта присяжных и, во-вторых, несостоятельность доказательств, на которых строилось обвинение в краже и других преступлениях. Два часа десять минут потребовалось Стеджеру на то, чтобы изложить свои доводы; окружной прокурор Шеннон возражал ему еще дольше, и все время пятеро судей — люди с большим юридическим опытом, но малосведущие в финансовых вопросах — слушали обоих с неослабевающим интересом. Трое из них — Смитсон, Рейни и Бекуис, чутко отзывавшиеся на политические веяния времени и пожелания своих хозяев, холодно отнеслись к истории финансовых операций Каупервуда, ибо знали о его связи с дочерью Батлера и о явно враждебной позиции, занятой этим человеком в отношении Каупервуда. Они считали, что рассматривают дело справедливо и беспристрастно, но в действительности ни на секунду не забывали о том, как Каупервуд поступил с Батлером. Двое других судей — Марвин и Рафальский, люди более широких взглядов, но

не менее связанные в своих действиях соображениями политического порядка, понимали, что решение по делу Каупервуда было несправедливым, но не видели возможности это исправить. Он сам очень повредил себе в глазах политических деятелей и общества. Убежденные Стеджером, они приняли во внимание урон, уже понесенный Каупервудом; более того, судья Рафальский, у которого в свое время была почти такая же связь с молодой девушкой, хотел было возразить против обвинительного приговора, но по зрелом размышлении пришел к выводу, что было бы неразумно действовать вразрез с требованиями своих политических хозяев. И все же, когда судьи Смитсон, Рейни и Бекуис уже готовы были, не утруждая себя сомнениями, оставить вердикт в силе, Марвин и Рафальский заявили о своем «особом мнении». Таким образом, создался чрезвычайно запутанный юридический казус. Каупервуд получал возможность, опираясь на право «свободы действий», перенести дело в верховный суд Соединенных Штатов. Все равно, в любом суде — в Пенсильвании или в другом каком-нибудь штате — судьи, несомненно, пожелают тщательно разобраться в столь необычном и важном деле. А потому двое оставшихся в меньшинстве, заявив о своем «особом мнении», собственно, ничем не рисковали. Лидеры республиканской партии не выкажут недовольства, поскольку Каупервуд так или иначе будет осужден. Им это даже придется по душе, так как все приобретет куда более справедливую видимость. Кроме того, Марвин и Рафальский хотели отмежеваться от недостаточно продуманного приговора, который собирались вынести Смитсон, Рейни и Бекуис. Итак все пятеро судей, как это обычно бывает с людьми при подобных обстоятельствах, воображали, что

рассматривают дело честно и беспристрастно. И Смитсон от своего имени и от имени своих коллег Рейни и Бекуиса огласил 11 февраля 1872 года следующее решение:

«Обвиняемый Фрэнк Каупервуд ходатайствует об отмене вердикта присяжных заседателей в суде первой инстанции (вынесенного по делу: штат Пенсильвания против Фрэнка Каупервуда) и о назначении нового слушания упомянутого дела. Верховный суд не считает, что в отношении обвиняемого была допущена несправедливость. (Далее следовало довольно подробное изложение всех обстоятельств дела, причем указывалось, что обычай и традиции, установившиеся в городском казначействе, равно как и действительно бесцеремонное обращение Каупервуда со средствами города, не имеют никакого отношения к вопросу об ответственности Каупервуда за несоблюдение духа и буквы закона.) Получение обвиняемым на мнимо законном основании не причитающихся ему сумм (пояснил судья Смитсон от имени большинства) может быть квалифицировано как хищение. В данном случае присяжным надлежало установить, руководствовался ли обвиняемый преступным намерением. Присяжные решили дело не в пользу обвиняемого, и верховный суд считает вынесенный ими вердикт достаточно обоснованным. Для какой цели воспользовался обвиняемый чеком городского казначейства? Обвиняемый находился накануне банкротства. Он заложил в обеспечение своей задолженности переданные ему для реализации сертификаты городского займа, а еще до того получил незаконным путем ссуду в пятьсот тысяч долларов. И у присяжных имелись все основания полагать, что легальным образом ему уже не удалось бы добиться дополнительной ссуды из

городского казначейства. Поэтому он явился туда и обманным путем, если не формально, то по существу, получил еще шестьдесят тысяч долларов. Присяжные усмотрели в этих действиях обвиняемого наличие преступного намерения.»

В таких словах верховный суд большинством голосов отклонил ходатайство Каупервуда о пересмотре дела. Судья Марвин от своего имени и от имени Рафальского написал следующее:

«Из доказательств, которыми располагает суд, явствует, что мистер Каупервуд получил чек как агент городского казначейства, с другой же стороны, не установлено, что в качестве агента он не выполнил (или по крайней мере не намеревался выполнить) в полной мере тех обязательств, которые возлагало на него получение чека. На суде выяснилось, что количество и стоимость облигаций городского займа, купленных для амортизационного фонда, не должны были по политическим соображениям ни оглашаться на бирже, ни каким-либо иным путем становиться достоянием гласности. В то же время мистеру Каупервуду, агенту казначейства, была предоставлена полная свобода распоряжаться своим активом и пассивом при условии, что конечный итог его операций будет вполне удовлетворительным. Сроки приобретения облигаций не были обусловлены никаким соглашением, равно как и суммы, ассигнуемые на приобретение отдельных партий таковых. Подсудимый мог быть признан виновным по первому пункту, только если он пытался мошеннически завладеть чеком в своих личных интересах. Но вердиктом присяжных этот факт не установлен и, более того, на основании имеющихся данных не мог быть установлен; далее присяжные сочли подсудимого

виновным и по трем остальным пунктам, не располагая для этого абсолютно никакими доказательствами. Как можем мы утверждать, что они вынесли справедливое решение по первому пункту, если в обвинении по остальным трем пунктам ими допущена столь очевидная несправедливость. По мнению, представленному меньшинством голосов, решение суда первой инстанции по обвинению подсудимого в хищении (пункт первый) необоснованно, вердикт присяжных подлежит отмене, а дело — передано на новое рассмотрение.»

Судья Рафальский, человек деловитый, но склонный к созерцательности, еврей по происхождению и типичный американец по внешности, счел своим долгом написать еще третье мнение, которое должно было содержать его личные соображения, подвергнуть критике решение большинства и послужить дополнением к тем пунктам, в которых оно совпадало с мнением судьи Марвина. Вопрос о виновности Каупервуда был весьма запутанным, что явствовало прежде всего из разногласий членов верховного суда, хотя по соображениям политическим они и стремились вынести ему обвинительный приговор. Судья Рафальский, например, считал, что если Каупервудом и было совершено преступление, то это преступление не могло быть квалифицировано как хищение; к этому он присовокуплял:

«Доказательства, которыми располагает суд, не позволяют заключить, что Каупервуд не собирался в скором времени вернуть свой долг, а также что городской казначей или управляющий его канцелярией Альберт Стайерс не намеревался расстаться с теми ценностями, которые обеспечивали этот чек. Мистер Стайерс показал, что мистер Каупервуд сообщил ему о

приобретении облигаций городского займа на означенную сумму, тогда как сколько-нибудь убедительных доказательств обратного мы не имеем. То обстоятельство, что облигации им не были сданы в амортизационный фонд, хотя и противоречит букве закона, но, по справедливости, должно рассматриваться как следствие давно установившегося обычая. Может быть, у Каупервуда вошло в практику поступать именно так? По моему разумению, большинство членов верховного суда слишком широко толкует понятие „хищение", в результате такого толкования получается, что всякий делец, производящий обширные и абсолютно законные операции на бирже, вдруг, неожиданно для себя, в результате биржевой паники или пожара, как это и имело место в случае с мистером Каупервудом, может оказаться преступником. То, что суд занимает позицию, создающую подобные прецеденты и приводящую к таким последствиям, кажется мне по меньшей мере достойным удивления.»

Хотя Каупервуд чувствовал известное удовлетворение от того, что мнения членов верховного суда разделились, и хотя он заранее готовился к наихудшему и старался соответственно устроить свои дела, все же он испытал горькое разочарование. Было бы неверно утверждать, что этот обычно сильный и самонадеянный человек был неспособен страдать. Чувства такого порядка не были ему чужды, но всегда находились под неуловимым контролем холодного рассудка, ни на мгновение ему не изменявшего. Теперь, по словам Стеджера, Каупервуду оставалось только апеллировать к верховному суду Соединенных Штатов, ввиду того, что один из пунктов решения якобы противоречит положению об основных правах

американского гражданина, записанных в конституции. А это была бы затяжная и дорогостоящая история. Кроме того, ему было не очень ясно, какой, собственно, пункт подлежал обжалованию. Опять ушло бы много времени — год, полтора, а то и больше, и в результате ему, быть может, все-таки пришлось бы отбывать заключение, не говоря уже о том, что все время ожидания тоже не удалось бы провести на свободе.

Выслушав Стеджера, объяснившего ему, как обстоит дело, Каупервуд на несколько мгновений задумался и затем сказал:

— Ну что ж, по-видимому, мне остается либо сесть в тюрьму, либо бежать из Америки, и я выбираю первое. Здесь, в Филадельфии, я буду продолжать борьбу и в конце концов выйду победителем. Я постараюсь добиться либо пересмотра дела в верховном суде Соединенных Штатов, либо помилования у губернатора. Я не собираюсь удирать, это ясно! И люди, которые воображают, будто положили меня на обе лопатки, глубоко заблуждаются. Я живо выкарабкаюсь и покажу этим мелкотравчатым политиканам, что такое настоящая борьба! Теперь уж им не видать от меня ни доллара! Ни цента! Если бы они не преследовали меня, я со временем возместил бы им все пятьсот тысяч. Но теперь — черта с два!

Он стиснул зубы, его серые глаза угрожающе сверкнули.

— Я ведь сделал все, что мог, Фрэнк, — с искренним сочувствием произнес Стеджер. — Вы должны признать, что я боролся изо всех сил. Может быть, я оказался не на высоте, вам виднее, но я сделал все от меня зависящее. Можно, конечно, предпринять еще кое-какие шаги, но

стоит ли на это идти, решать вам. Как вы скажете, так и будет.

— Перестаньте болтать вздор, Харпер, — с досадой отозвался Каупервуд. — Если бы я был недоволен тем, как вы действовали, я не постеснялся бы вам это сказать. Продолжайте в том же духе и постарайтесь подыскать достаточные основания для апелляции в верховный суд Соединенных Штатов, а я тем временем начну отбывать срок. Надо полагать, что судья Пейдерсон не замедлит назначить день для вынесения приговора.

— Это в известной мере зависит от вас, Фрэнк. Мне нетрудно выхлопотать отсрочку на неделю или дней на десять, если вы сочтете это нужным. Я уверен, что Шеннон не будет противиться. Вся штука только в том, что завтра за вами явится Джесперс. Получив извещение, что вам отказано в пересмотре дела, он обязан будет снова взять вас под стражу. Если ему не заплатить, он поторопится вас арестовать. Но с ним можно договориться. Если вы хотите еще повременить с этим, я думаю, он согласится выпускать вас под надзором своего агента, но ночевать вам, к сожалению, придется там. После истории с Альбертсоном, происшедшей несколько лет назад, эти правила соблюдаются очень строго.

Стеджер имел в виду одного банковского кассира, которого выпустили на ночь из тюрьмы будто бы под стражей, что, однако, не помешало ему сбежать. В свое время это вызвало суровые нарекания по адресу шерифа, и с тех пор осужденные, независимо от своего имущественного и общественного положения, должны были до вынесения приговора оставаться в тюрьме хотя бы в ночное время.

Каупервуд спокойно обдумывал положение, стоя у окна в конторе Стеджера на Второй улице. Однажды вкусив гостеприимства Джесперса, он не особенно боялся пребывания в тюрьме под опекой этого джентльмена, но проводить ночи под замком, если это ничуть не сокращает срока его заключения, казалось ему нелепым. Впрочем, все, что он мог еще предпринять для устройства своих дел, — раз речь шла о днях, а не о месяцах, которые ему оставалось провести на свободе, — он проделает в тюремной камере почти с тем же успехом, что и в конторе на Третьей улице. К чему лишняя оттяжка? Ему предстоит отбыть тюремное заключение, — так уж лучше примириться со своей участью без лишних размышлений. Можно, конечно, помешкать еще день-другой, чтобы получше все обдумать, но о большем не стоит и хлопотать.

— А если мы предоставим всему идти своим чередом, то когда мне будет вынесен приговор? — осведомился он наконец.

— Думаю, что в пятницу или в понедельник на будущей неделе, — отвечал Стеджер. — Я не знаю, каковы намерения Шеннона. Надо будет зайти к нему и выяснить.

— Да, придется, — согласился Каупервуд. — Пятница или понедельник — это, в сущности, безразлично. Впрочем, пожалуй, все-таки предпочтительней понедельник. Вы не могли бы уговорить Джесперса до тех пор оставить меня в покое? Он знает, что на меня можно положиться.

— Ничего не могу вам обещать, Фрэнк, посмотрим! Я сегодня же вечером потолкую с ним. Возможно, что

сотня долларов заставит его несколько поступиться строгостью правил.

Каупервуд угрюмо усмехнулся.

— Я думаю, что сотня долларов заставит Джесперса поступиться любыми правилами, — сказал он и встал, собираясь уходить. Стеджер тоже поднялся.

— Я повидаюсь и с Шенноном и с Джесперсом, а потом заеду к вам. Вы после обеда будете дома?

— Да.

Они надели пальто и вышли на улицу, где дул холодный февральский ветер. Каупервуд поспешил обратно в свою контору на Третьей улице, Стеджер — к Шеннону, а затем к Джесперсу.

49

Поскольку окружной прокурор не возражал против небольшой отсрочки, вынесение приговора было назначено на понедельник.

После разговора с Шенноном, часов в пять, когда уже совсем стемнело, Стеджер отправился в окружную тюрьму. Шериф Джесперс лениво вышел из кабинета, где он занимался чисткой своей трубки.

— Здравствуйте, мистер Стеджер! — приветствовал он посетителя. — Как поживаете? Рад вас видеть. Присядьте! Надо думать, вы опять относительно Каупервуда? Я только что получил от окружного прокурора уведомление о том, что ваш клиент проиграл дело.

— Увы, это так, — вкрадчивым тоном подтвердил Стеджер. — Мистер Каупервуд просил меня заглянуть к вам и узнать, как вы намереваетесь поступить. Судья Пейдерсон назначил вынесение приговора на понедельник, в десять утра, надеюсь, вы ничего не будете иметь против, если мистер Каупервуд явится к вам лишь в понедельник, часам к восьми утра или, в крайнем случае, в воскресенье вечером! Вы ведь знаете, что он человек вполне благонадежный.

Стеджер осторожно нащупывал почву и говорил нарочито небрежным тоном, дабы показать, что вопрос о сроке возвращения Каупервуда в тюрьму является сущим пустяком, и тем самым избежать уплаты ста долларов. Но от Джесперса не так-то просто было отвертеться. Его жирное лицо слегка вытянулось. Как же Стеджер просит его об услуге, даже не заикнувшись о «благодарности»?

— Ведь это, как вы сами понимаете, мистер Стеджер, противоречит закону,

— начал он осторожно и как бы участливо. — Я всей душой рад услужить мистеру Каупервуду, но после истории, которая произошла у нас с Альбертсоном три года назад, пришлось ввести большие строгости, и…

— Да, да, мне это известно, шериф, — мягко прервал его Стеджер, — но как вы сами понимаете, это случай не совсем обычный. Мистер Каупервуд очень крупный делец, и ему надо о многом позаботиться. Конечно, если бы речь шла о том, чтобы сунуть долларов семьдесят пять или сто какому-нибудь судейскому клерку или уплатить штраф, тогда ничего не могло бы быть проще, но…

Стеджер умолк и тактично отвел взгляд, а с лица Джесперса тотчас же сошло разочарованное выражение. Закон, который при обычных условиях так трудно было нарушить, вдруг отодвинулся куда-то на задний план; Стеджер понял, что больше никаких доводов не потребуется.

— Дело это весьма щекотливое, мистер Стеджер, — отвечал шериф услужливо, но все еще жалобным голосом. — Случись что-нибудь, и я немедленно лишусь места. Я бы ни за что не пошел на такой риск, но, вообще говоря, я знаю мистера Каупервуда и мистера Стинера, оба они мне нравятся. Кроме того, на мой взгляд, с ними поступили несправедливо. Я согласен сделать исключение для мистера Каупервуда, но только пускай он не слишком показывается на людях. Мне не хотелось бы, чтоб об этом узнали в канцелярии окружного прокурора. Надеюсь, ваш клиент не будет возражать, если я для вида приставлю к нему на это

время своего человека. Закон вынуждает меня это сделать. Мой агент ничем не стеснит мистера Каупервуда, будет следовать за ним в отдалении и вообще вести себя очень деликатно. Мистер Каупервуд может просто не замечать его.

Джесперс посмотрел на Стеджера почти просительным взглядом, и Стеджер кивнул в знак согласия.

— Отлично, шериф, отлично! Вы совершенно правы.

С этими словами он достал из кармана бумажник, а шериф, осторожности ради, повел его в свой кабинет.

— Я хочу показать вам, мистер Стеджер, ряд юридических книг, которые намерен приобрести, — благодушно заметил он, засовывая в карман маленькую пачку десятидолларовых ассигнаций, переданную ему адвокатом. — Как вы сами понимаете, мы иногда очень нуждаемся в справках. Вот и я подумал, что недурно иметь эти книги под рукой.

Широким жестом он указал на ряд государственных законодательных сборников, новейших изданий судебных уставов, тюремных установлений и так далее.

— Хорошая мысль, шериф! Просто превосходная! Итак, вы полагаете, что если мистер Каупервуд явится сюда в понедельник утром, скажем, часов в восемь или в половине девятого, то все будет в порядке?

— Полагаю, что так, — согласился Джесперс, изрядно беспокоясь, но стараясь держаться как можно предупредительнее. — Вряд ли он может нам понадобиться раньше этого срока. Но в случае чего я дам вам знать, и вы привезете его. Впрочем, я уверен, что это не пот требуется, мистер Стеджер: надо думать, все

сойдет благополучно. — Они вернулись в вестибюль. — Очень рад был снова повидать вас, мистер Стеджер, очень рад,

— повторил Джесперс. — Заходите, прошу вас!

Любезно распростившись с шерифом, Стеджер поспешил к Каупервуду.

При виде Каупервуда, поднимавшегося по возвращении из конторы в элегантном сером костюме и отлично сшитом пальто на крыльцо своего прекрасного особняка, никто бы не мог предположить, что он в эту минуту спрашивает себя, не последнюю ли ночь ему предстоит провести дома. Ни выражение его лица, ни походка не свидетельствовали об угнетенном душевном состоянии. Он вошел в прихожую, где, несмотря на ранний час, уже горел свет. Навстречу ему попался старый чернокожий слуга Симс, прозванный «судомоем», который нес ведро угля для камина.

— Ну и стужа сегодня на дворе, мистер Каупервуд! — сказал Симс, считавший «стужей» любую температуру ниже шестидесяти градусов тепла по Фаренгейту. Больше всего в жизни он сожалел о том, что Филадельфия расположена не в Северной Каролине, откуда он был родом.

— Да, холодновато, Симс! — рассеянно отвечал Каупервуд.

Он думал сейчас о своем доме, о том, каким дом этот выглядел с Джирард-авеню, когда он сейчас подходил сюда, и о том, что думали о нем, Каупервуде, соседи, когда видели его из своих окон. Погода в этот день стояла ясная и холодная. В приемной и в гостиной горели огни, ибо с тех пор, как его дела пошатнулись,

Каупервуд особенно заботился о том, чтобы его жилище не выглядело мрачным и унылым. В западном конце улицы лиловые и фиолетовые тени ложились на белую пелену снега. Зеленовато-серый дом с окнами, в которых сквозь кремовые кружевные занавеси пробивался мягкий свет, казался сейчас особенно красивым. Каупервуду вспомнилось, сколько энергии он потратил на постройку и убранство этого дома. Кто знает, удастся ли теперь сохранить его за собой?

— Где миссис Каупервуд? — очнувшись от своих мыслей, спросил он негра.

— Кажется, в гостиной, сэр.

Каупервуд стал подниматься по лестнице, размышляя о том, что вот и старый Симс скоро лишится места, если только Лилиан после разорения не пожелает оставить его у себя. Но это было бы на нее очень не похоже. Он вошел в гостиную, где за овальным столом, стоявшим посредине комнаты, сидела миссис Каупервуд, пришивая крючок и петельку к юбочке маленькой Лилиан. Заслышав шаги мужа, она подняла глаза и улыбнулась, как все последние дни, странной, неуверенной улыбкой, свидетельствовавшей о душевной боли, страхе, мучительных подозрениях.

— Что слышно, Фрэнк? — осведомилась она.

Улыбку, игравшую на ее губах, можно было сравнить со шляпой, поясом или брошкой, которые по желанию снимают и надевают.

— Ничего особенного, — со своей обычной беззаботностью отвечал он, — если не считать того, что я, кажется, проиграл дело. Стеджер скоро будет здесь с

ответом. Он прислал мне записку, что зайдет сегодня вечером.

Ему не хотелось говорить напрямик, что дело окончательно проиграно. Он знал, что Лилиан и без того в тяжелом состоянии, и не хотел ошеломлять ее еще такою вестью.

— Не может быть! — со страхом и удивлением прошептала она, вставая.

Она всегда вращалась в таком мире, где не думают о тюрьмах, где жизнь течет размеренно изо дня в день, в мире, куда не вторгаются такие страшные понятия, как суд или арест, и эти последние месяцы просто сводили ее с ума. Каупервуд так решительно отстранял ее от своей жизни, так мало посвящал в свои дела, что она пребывала в полной растерянности, не понимая, что, собственно, происходит. Все, что ей было известно, она узнала от родителей и сестры Фрэнка да еще из газет, которые читала тайком.

Она ни о чем не подозревала даже в тот день, когда Фрэнк отправился в окружную тюрьму, и только старый Каупервуд, вернувшись, рассказал ей о случившемся. Для нее это было страшным ударом. А теперь Фрэнк так спокойно наносит ей новый удар, которого она, правда, с замиранием сердца ждала каждый день, каждый час. Это было уж слишком!

Лилиан, стоявшая перед мужем с детской юбочкой в руках, все еще казалась прелестной женщиной, несмотря на то, что ей уже было сорок — на пять лет больше, чем Каупервуду. На ней было платье, сшитое в дни их недавнего процветания, из тяжелого кремового шелка с темно-коричневой отделкой, которое очень шло ей. Глаза Лилиан чуть-чуть ввалились и веки покраснели, но,

помимо этого, ничто не выдавало ее тяжелых душевных переживаний. В ней отчасти еще сохранилось то мягкое спокойствие, которое десять лет назад так пленило Каупервуда.

— Какой ужас! — тихо произнесла она, и ее руки задрожали. — Какой ужас! И ничего больше нельзя сделать? Неужели тебе не избегнуть тюрьмы?

Ее отчаяние и страх отталкивающе подействовали на Каупервуда. Ему нравились более сильные, более решительные женщины, но все-таки она была его женой и когда-то он любил ее.

— Да, похоже на то, — отвечал он, и в его голосе впервые за последние годы прозвучали теплые нотки, ибо он от души жалел Лилиан, хотя в то же время и опасался проявлять нежность, которую она могла бы ложно истолковать, тогда как он уже давно не питал к ней никаких чувств.

Но Лилиан была не так глупа и понимала, что прозвучавшее в его голосе сострадание было вызвано только поражением, понесенным им, а стало быть, и ею. Она усилием воли сдержала слезы, но тем не менее была растрогана. Отзвук прежней нежности в его словах вызвал в ней воспоминания о далеких, навсегда ушедших днях. О, если бы их можно было вернуть!

— Я не хочу, чтобы ты так убивалась из-за меня, — сказал Каупервуд, прежде чем она успела заговорить. — Я еще не сдался. И я выкарабкаюсь из этой истории. Мне, правда, придется сесть в тюрьму, чтобы еще больше не запутать положения. К тебе у меня одна только просьба — не унывать в присутствии других членов семьи,

особенно отца и матери. Необходимо поддержать в них бодрость духа.

На мгновение ему захотелось взять ее за руку, но он сдержался. Лилиан мысленно отметила это движение. Какая разница по сравнению с тем, что было десять — двенадцать лет назад! Но теперь это не причиняло ей такой боли, какую она испытала бы прежде. Она смотрела на мужа и не находила слов. Да и что могла она ему сказать?

— Значит, если все так и будет, тебе скоро придется нас покинуть? — с трудом выжала она из себя.

— Я еще не знаю. Возможно, даже сегодня, возможно, в пятницу. А может быть, только в понедельник. Я жду вестей от Стеджера. Он должен быть здесь с минуты на минуту.

В тюрьму! В тюрьму! Фрэнк, ее муж, опора всей семьи, должен будет сесть в тюрьму! Она и сейчас еще не понимала, за какую провинность, и стояла в недоумении: что же ей теперь делать, как быть?

— Может быть, нужно что-нибудь для тебя приготовить? — спросила она вдруг, словно очнувшись от сна. — Не могу ли я быть чем-нибудь полезной? Скажи, Фрэнк, а не лучше ли тебе уехать из Филадельфии? Ведь, если ты не хочешь, тюрьмы можно избежать.

Впервые в жизни Лилиан изменило ее невозмутимое спокойствие.

Он посмотрел на нее холодным, испытующим взглядом: трезвый ум дельца тотчас же пробудился в нем.

— Это было бы равносильно признанию своей вины, Лилиан, а я невиновен,

— сухо отвечал он. — Я не сделал ничего, что могло бы вынудить меня бежать, равно как и ничего, что заслуживало бы уголовного наказания. Я иду туда лишь затем, чтобы выгадать время. Нельзя без конца тянуть этот процесс. Пройдет известный срок, не слишком долгий, и меня освободят — либо по суду, либо в результате ходатайства о помиловании. Сейчас же я считаю целесообразным не опротестовывать приговора. Я и не подумаю бежать из Филадельфии. Из пяти членов верховного суда двое высказали «особое мнение», а это достаточно веское доказательство того, что преследование возбуждено против меня безосновательно.

Лилиан поняла, какую ошибку она допустила. Его ответ все разъяснил ей.

— Я совсем не то хотела сказать, Фрэнк, — виноватым тоном проговорила она. — Ты и сам понимаешь! Конечно, я знаю, что ты невиновен! И как могла бы я, именно я, тебя заподозрить?

Она замолчала, ожидая услышать какой-нибудь ответ, может быть, ласковое слово — отзвук былой страстной любви… Но он уже сел за письменный стол, и мысли его были заняты другим.

Лилиан снова до боли ощутила ложность своего положения. Как все это грустно и как безнадежно! Что же ей делать дальше? И как намерен поступить Фрэнк? Внутренняя дрожь сотрясала Лилиан, но вялая, безвольная натура заставляла ее сдерживаться и молчать — зачем отнимать у него время? О чем говорить? Все равно ничего путного из этих разговоров

не выйдет. Он больше не любит ее — и этим все сказано. Ничто на свете, даже эта трагедия, не соединит их снова. Он любит другую женщину — Эйлин, и ему безразличны тревожные мысли жены, ее страхи, ее скорбь и отчаяние. В страстном желании видеть его свободным он способен был усмотреть намек на то, что он виновен, сомнение в его правоте, неодобрение его действий! Она на миг отвернулась, а он встал и направился к двери.

— Я вернусь через несколько минут, — сказал он. — Ребятишки дома?

— Да, они в детской, — тихо отвечала она, растерянная и подавленная.

«Ах, Фрэнк!» — чуть было не сорвалось у нее, но, прежде чем она успела раскрыть рот, он уже сбежал по лестнице и скрылся. Лилиан вернулась к столу, прикрывая рукой дрожащие губы. Глаза ее подернулись дымкой глубокой грусти. Неужели, думалось ей, жизнь могла обернуться так печально, а любовь так окончательно, так бесповоротно угаснуть? Ведь десять лет назад… Нет, зачем бередить душу воспоминаниями? Значит, это возможно, и никакие размышления тут не помогут. Уже второй раз жизнь ее рассыпается прахом. Первый муж умер, а второй изменил, полюбил другую, и вдобавок ему еще грозит тюрьма. Почему на нее обрушиваются все эти несчастья? Неужели она такая дурная женщина? Что ей теперь делать? К кому обратиться? Она не представляла себе, на какой срок может быть осужден Фрэнк. На год? Или на пять лет, как пишут газеты? О боже! За пять лет дети позабудут отца. Она прижала руку ко лбу, где ощущала тупую боль. Лилиан пыталась мысленно проникнуть в будущее, но сейчас голова ее была пуста. И вдруг, помимо воли,

грудь ее бурно заколыхалась, резкие болезненные спазмы сжали ей горло, глаза начало жечь, и она разразилась судорожными, горестными, безутешными рыданиями почти без слез. Сперва она не могла овладеть собой и стояла, вздрагивая всем телом, но постепенно глухая боль начала стихать, и Лилиан снова стала такой же, какой была прежде.

«Зачем плакать? — с необычайной страстностью вдруг спросила она себя. — К чему сокрушаться так бурно и тщетно? Разве это поможет?»

Но, несмотря на столь мудрые философские увещевания, она все еще слышала отголоски бури, потрясшей ее душу. «Зачем плакать?» Она могла с таким же успехом сказать: «Как же мне не плакать?» — могла, но не хотела. Вопреки разуму и логике она знала, что эта буря не пронеслась мимо, что тучи сгустились, нависли над нею и гроза еще грянет с новой силой.

50

Приход Стеджера с известием, что шериф не станет ничего предпринимать до понедельника, когда Каупервуд должен будет сам явиться к нему, несколько разрядил атмосферу. Такая отсрочка давала возможность все обдумать не торопясь и уладить кое-какие домашние дела. Каупервуд как можно мягче сообщил обо всем родителям, переговорил с отцом и братьями о необходимости безотлагательно подготовиться к переезду в более скромное жилище. Они совместно обсудили кучу разных второстепенных подробностей — ведь рушилось очень большое хозяйство; кроме того, Каупервуд не раз совещался со Стеджером и нанес визиты Дэвисону, Эвери Стоуну (представителю фирмы «Джей Кук и Кь»), Джорджу Уотермену (прежний хозяин Каупервуда Генри Уотермен уже умер), бывшему казначею штата Ван-Ностренду, после выборов больше не занимавшему этот пост, и многим другим лицам; словом, хлопот было немало. Раз уж на самом деле приходилось садиться в тюрьму, он хотел, чтобы его друзья-финансисты объединились и походатайствовали за него перед губернатором. Поводом для такого ходатайства и его отправной точкой должно было служить «особое мнение» двух членов верховного суда. Каупервуд хотел, чтобы Стеджер проследил за этим, а сам он, не щадя сил, спешил повидаться со всеми, кто мог бы оказаться ему полезен, в том числе с Эдвардом Таем, который по-прежнему имел контору на Третьей улице, Ньютоном Таргулом, Артуром Райверсом, Джозефом Зиммерменом, «текстильным королем», который теперь стал миллионером, судьей Китченом,

Тэренсом Рэлихеном, бывшим представителем финансовых кругов в Гаррисберге, и множеством других.

Рэлихена Каупервуд попросил связаться с газетами и постараться настроить их так, чтобы они начали кампанию за его освобождение, а Уолтера Ли — организовать сбор подписей под петицией к губернатору о помиловании. Предполагалось, что эту петицию подпишут все крупные финансисты и другие видные люди. Ли, так же, как Рэлихен и многие другие, охотно обещал ему свое содействие.

Больше предпринимать было, в сущности, нечего, оставалось еще только урывками встречаться с Эйлин, что среди всех хлопот и спешных дел порою казалось совершенно невозможным. И все же он выбирал время для этих встреч, так велико было его стремление отогреться в лучах ее любви. Какие у нее были глаза все эти дни! Они пылали желанием никогда не разлучаться с ним, видеть его счастливым! Подумать только, что его так терзают — ее Фрэнка! О, она догадывалась обо всем, как бы он ни храбрился, как бы бодро ни говорил с нею! И ведь именно ее любовь привела его в тюрьму, она это знала. На какую жестокость оказался способен ее отец! А как низменны враги Фрэнка, хотя бы этот дурак Стинер, портреты которого она часто видела в газетах. Глядя на Фрэнка, Эйлин изнемогала от страданий за своего сильного, красивого возлюбленного, — самого сильного, самого отважного, самого умного, самого ласкового, самого прекрасного человека в мире! Ей ли не знать, что он сейчас переживает! Каупервуд заглядывал в ее глаза, читал в них это безрассудное, пылкое чувство и улыбался, растроганный. Какая любовь! Любовь матери к своему детищу, собаки к хозяину. Как сумел он

пробудить такое чувство? Каупервуд не находил ответа, но оно было прекрасно.

В эти последние тяжкие дни ему хотелось как можно чаще видеть Эйлин. За месяц, проведенный на свободе, — со дня вынесения обвинительного вердикта и до отказа в удовлетворении его ходатайства перед верховным судом, — он четыре раза встречался с нею. Теперь им оставалось еще только одно свидание — в субботу перед роковым понедельником, когда ему предстояло отправиться в тюрьму. Он не видел Эйлин с тех самых пор, как было вынесено решение верховного суда, но получил от нее письмо «до востребования» и назначил ей встречу на субботу в маленькой гостинице в Кэмдене. Этот городок, расположенный на другом берегу реки, казался Каупервуду наиболее безопасным местом в окрестностях Филадельфии. Он не представлял себе, как Эйлин примет известие о предстоящей им долгой разлуке и как она вообще будет поступать впредь, лишенная возможности советоваться с ним по всякому поводу. Необходимо поговорить с нею, успокоить ее. Но в этот раз, — как он предвидел и опасался, жалея ее, — Эйлин еще более бурно предавалась своему горю и негодованию. Издали завидев его, она поспешила к нему навстречу с той смелостью и решительностью, которую она одна позволяла себе в обращении с ним, с почти мужской отвагой, всегда так восхищавшей Каупервуда, Обвив его шею руками, она начала, захлебываясь от слез:

— Милый, можешь ничего мне не говорить. Я все прочла в газетах. Не отчаивайся, родной мой! Я люблю тебя. Я буду тебя ждать. Я не покину тебя, хотя бы мне пришлось ждать десять лет. Что там десять — сто, но мне так больно за тебя, мой дорогой! В мыслях я все время

буду с тобою, счастье мое, я буду любить тебя всеми силами души.

Она не переставала ласкать его, а он смотрел на нее с той спокойной нежностью, которая свидетельствовала и о его самообладании и о его чувстве к Эйлин, его восхищении ею. «Разве можно не любить ее? — говорил себе Каупервуд. — Да и кто бы ее не полюбил?» В ней было столько страсти, трепета, желаний. Он обожал ее сейчас, может быть, еще больше, чем прежде, ибо, несмотря на всю свою внутреннюю силу, так и не сумел подчинить ее себе. Даже в дни, когда он был настроен замкнуто и мрачно, она обращалась с ним, как со своей неотъемлемой собственностью, своей игрушкой. Она часто

— и особенно когда бывала взволнованна — разговаривала с ним так, словно он был ее маленьким баловнем, ее ребенком. Временами ему начинало казаться, что она сумеет покорить его своей воле, заставить его служить ей, до такой степени она была самобытна и уверена в своей женской прелести.

Вот сейчас она нашептывала ему слова любви, словно он уже совсем пал духом и нуждается в ее материнской заботе и нежности, хотя горести отнюдь не сломили его; но на мгновение ему показалось, что он и вправду сломлен.

— Мои дела совсем не так уж плохи, Эйлин, — все же решился он наконец вставить, и в его голосе зазвучало больше ласки и нежности, чем обычно, но Эйлин, не обращая ни малейшего внимания на его слова, продолжала с тем же пылом:

— Нет, нет, все очень плохо складывается, мой милый. Я знаю. Ах, Фрэнк, бедняжка! Но я буду

приходить к тебе. Это я уж, во всяком случае, сумею устроить. Как часто там разрешают посещать заключенных?

— Говорят, только раз в три месяца, девочка, но когда я попаду туда, этот вопрос можно будет уладить. Впрочем, стоит ли тебе появляться там, Эйлин? Ведь ты знаешь, как сейчас все настроены. Не лучше ли немного выждать? Ведь так ты еще больше ожесточишь отца! Если он захочет, то может очень повредить мне и там.

— Раз в три месяца! — вне себя перебила она Каупервуда, едва только он начал ее уговаривать. — Нет, Фрэнк, не может быть! Я не верю! Раз в три месяца! Я не выдержу! Об этом не может быть и речи! Я сама пойду к начальнику тюрьмы. Он разрешит мне видеться с тобой. Я уверена, что разрешит, если я сама с ним поговорю!

Она задыхалась от волнения и не могла остановиться, пока Каупервуд сам не прервал ее.

— Подумай, что ты говоришь, Эйлин! Опомнись! Ты забываешь о своем отце! О своей семье! Возможно, что твой отец знаком с начальником тюрьмы. Неужели ты хочешь, чтобы весь город говорил о том, что дочь Батлера бегает в тюрьму на свидание со мной? Твой отец бог знает что с тобой сделает. Кроме того, ты не знаешь так, как я, всех этих мелких политических интриганов. Они сплетничают, словно старые бабы. Тебе придется взвешивать каждый свой шаг. Я не хочу потерять тебя, я хочу тебя видеть. Только действуй обдуманно и осторожно. Не торопись со свиданием. Ты понимаешь, как я буду тосковать по тебе, но прежде мы оба должны прощупать почву. Ты не потеряешь меня, ведь я никуда не денусь.

Он умолк: ему представился длинный ряд зарешеченных камер, — в одной из них будет заключен и он, может быть, надолго… Представилась Эйлин, разговаривающая с ним через решетку или в самой камере. Но эта мрачная перспектива не помешала ему тотчас же подумать о том, как обворожительна сегодня его возлюбленная. Какой она оставалась юной и сильной! Он близился к зрелости, она же была еще молода и прекрасна. Ей очень шел ее наряд — шелковое, в белую и черную полоску, платье с турнюром, по забавной моде того времени, котиковая шубка и такая же шапочка, небрежно сидевшая на золотисто-рыжих волосах.

— Знаю, все знаю, — упорно твердила она. — Но подумай только: три месяца! Родной мой, я не могу, не хочу столько ждать! Это вздор какой-то! Три месяца! Я знаю, что моему отцу не пришлось бы дожидаться три месяца, вздумай он повидать кого-нибудь там, не пришлось бы ждать и тому, кто обратился бы к нему за содействием. Я тоже не стану ждать столько времени. Я уж найду пути!

Каупервуд улыбнулся. Не так-то просто переубедить Эйлин.

— Но ты же не мистер Батлер, девочка. И ты не станешь докладывать ему о своих намерениях.

— Конечно! Но там ни одна живая душа не узнает, кто я. Я приду под густой вуалью. Не думаю, чтобы начальник тюрьмы знал отца. Впрочем, даже если и так, то меня он, во всяком случае, не знает, и, если я обращусь к нему, он меня не выдаст.

Ее уверенность в своих чарах, в своем обаянии, в своей неотразимости не укладывалась ни в какие рамки. Каупервуд покачал головой.

— Прелесть моя, ты самая лучшая и самая невозможная женщина на свете, — с нежностью произнес он и, притянув ее к себе, крепко поцеловал. — Но все-таки тебе придется послушаться меня. У меня есть адвокат — Стеджер, ты его знаешь. Он сегодня же переговорит с начальником тюрьмы о нашем деле. Возможно, ему удастся все устроить, но возможно также, что у него ничего не выйдет. Я узнаю об этом завтра или в воскресенье и напишу тебе. Но смотри, ничего не предпринимай, пока не получишь от меня письма. Я убежден, что добьюсь сокращения срока между свиданиями наполовину, не исключено, что мы сможем встречаться раз в месяц или даже раз в две недели. Там и писать-то разрешают по одному письму в три месяца…

Эйлин опять вспыхнула от возмущения, но он продолжал:

— Я уверен, что в какой-то мере мне удастся обойти и это правило, но не пиши мне, пока я не дам тебе знать, или, по крайней мере, не подписывайся и не указывай никакого адреса. Там вскрывают и прочитывают всю корреспонденцию. При свидании или в письмах, все равно, будь осторожна: ты у меня ведь не слишком осмотрительная. Итак, будь умницей. Хорошо?

Они говорили еще о многом — о его родных, о явке в суд, предстоящей ему в понедельник, о том, скоро ли его выпустят для присутствия при разбирательстве предъявленных ему исков, будет ли он помилован и все прочее. Эйлин по-прежнему верила в его звезду. Она читала в газетах особые мнения двух членов верховного

суда, так же как и мнения трех других, которые решили дело не в его пользу. Она убеждена, что карьера Фрэнка в Филадельфии отнюдь не кончена: пройдет какое-то время, он восстановит свое положение и потом уедет куда-нибудь и увезет ее с собой. Конечно, ей жаль миссис Каупервуд, но она не подходит Фрэнку; ему нужна женщина молодая, красивая, сильная — словом, такая, как она, Эйлин, только такая. Она бурно и страстно обнимала его, пока не пришла пора расставаться. Они обдумали план дальнейших действий настолько, насколько это можно было сделать в подобном положении, не позволявшем что-либо предвидеть с полной уверенностью. В последнюю минуту оба они были крайне удручены, но она призвала на помощь все свое самообладание, чтобы смело взглянуть в глаза неведомому будущему.

51

Настал понедельник, крайний срок явки Каупервуда в тюрьму. Все, что можно сделать, было сделано. Он простился с отцом, матерью, братьями и сестрой. Разговор с женой вышел какой-то деловой и холодный. С сыном и дочкой он не стал прощаться особо. Все предшествующие дни — четверг, пятницу, субботу и воскресенье — после того, как стало известно, что в понедельник он должен будет отправиться в тюрьму, — Каупервуд, возвращаясь домой, собирался задушевно и ласково поговорить с ними. Он понимал, что сейчас невольно наносит им удар. Но, впрочем, не был в этом уверен. Устраивает же большинство людей свою жизнь, невзирая на обстоятельства и независимо от того, насколько балует их судьба. В конце концов его дети будут жить не хуже других детей, не говоря уже о том, что он, конечно, станет материально поддерживать их — по мере сил. В его планы не входило отнимать детей у жены, лишать их матери. Они должны остаться с нею. Он искренне желал, чтобы им жилось хорошо. Время от времени он будет навещать их, где бы она с ними ни поселилась. Но для себя он хотел свободы действий, хотел разойтись с Лилиан, начать жизнь заново, создать новую семью с Эйлин. Вот почему в последние вечера, особенно в этот воскресный вечер, он был к детям внимательнее, чем обычно, хотя и старался, чтобы они не догадались о предстоящей разлуке.

— Фрэнк, — обратился он к своему довольно вялому сыну, — как бы я хотел, чтобы ты немного встряхнулся и стал большим, сильным и здоровым малым! Ты не любишь играть. Надо бы тебе подружиться с

мальчишками, стать у них главарем. Почему бы тебе не заняться также гимнастикой, не попытаться развить свою мускулатуру?

Этот разговор происходил в гостиной родительского дома, где, растерянные и смущенные, собрались все члены семьи Каупервудов.

Маленькая Лилиан, сидевшая за длинным столом напротив отца, подняла глаза и с любопытством посмотрела на него и на братишку. От обоих детей тщательно скрывали, какой печальный оборот приняли дела Каупервуда: они считали, что он просто уезжает куда-то на месяц-другой. Лилиан читала сказки, полученные в подарок на рождество.

— Ничего он не станет делать, — заявила она, отрываясь от своей книжки и окидывая брата неожиданно суровым взглядом, — даже побегать со мной вперегонки и то не хочет.

— Вот еще, больно интересно бегать с тобой вперегонки! — буркнул Фрэнк-младший. — Да если бы я и захотел, так ты все равно не умеешь.

— Не умею, вот как?! — обиделась девочка. — А ну-ка, попробуй меня обогнать.

— Лилиан! — предостерегающе остановила ее мать.

Каупервуд улыбнулся и ласково погладил сына по голове.

— Ничего, Фрэнк, ты еще вырастешь молодцом, — сказал он, слегка ущипнув ребенка за ухо. — Только не робей и возьми себя в руки.

Он не встретил у мальчика отклика, на который рассчитывал. Немного погодя миссис Каупервуд увидела,

как Фрэнк обнял девочку, прижал ее к себе и стал с нежностью гладить кудрявую головку. На мгновение в Лилиан шевельнулась ревность к дочери.

— Моя девочка будет умницей без меня, правда? — шепнул ей Каупервуд.

— Конечно, папа, — весело отвечала маленькая Лилиан.

— Ну, вот и чудесно! — сказал он и, наклонившись, нежно поцеловал девочку. — Глазки-пуговки!

Миссис Каупервуд по его уходе вздохнула. «Детям все, мне ничего!» — подумала она, хотя и дети в прошлом видели от отца не слишком много ласки.

С матерью Каупервуд в этот последний час был так нежен и предупредителен, как только может быть любящий сын. Он прекрасно понимал ограниченность ее интересов и то, как она страдала за него, за всю семью. Он никогда не забывал ее теплой заботы о нем в детстве и готов был на что угодно, лишь бы избавить ее от этого страшного несчастья на старости лет. Но сделанного не воротишь! Временами нервы его были натянуты до крайности, как это всегда бывает с человеком в минуты удачи или крушения надежд; но он твердо помнил о необходимости держать себя в руках, не показывать, что творится в его душе, поменьше говорить и идти своим путем, не смиренно, но уверенно навстречу тому, что ждало его впереди. Так именно и держал себя Каупервуд в это последнее утро, ожидая — и не напрасно, — что его пример благотворно подействует на всю семью.

— Итак, мама, — ласково произнес он вставая (он не позволил сопровождать себя ни матери, ни жене, ни сестре, ибо ему это не принесло бы никакой пользы, а на

них повлияло бы удручающе), — мне пора! Не тревожься и не падай духом!

Он обнял ее, а она долго с нежностью и отчаянием целовала сына.

— Ступай, Фрэнк! — с трудом произнесла мать, задыхаясь, и наконец выпустила его из объятий. — Я буку молиться за тебя.

Он тотчас же отошел от нее, боясь длить эти мгновения.

— Прощай, Лилиан, — мягко и дружелюбно обратился он к жене. — Я, вероятно, еще вернусь через несколько дней. Меня отпустят в суд для разбора кое-каких дел.

Сестре Фрэнк сказал:

— Прощай, Анна. Не позволяй им слишком убиваться.

— Увидимся после, — коротко объявил он отцу и братьям, а затем, как всегда подтянутый и элегантный, быстро спустился в приемную, где его уже дожидался Стеджер, и они вместе вышли.

Жгучая тоска охватила всю семью, когда за ним захлопнулась дверь. Они не расходились еще несколько минут. Мать тихо плакала, у отца был такой вид, точно он потерял все на свете, но старик бодрился и всячески старался держать себя в руках. Анна уговаривала Лилиан собраться с духом, а та, не зная, что думать, на что надеяться, все пыталась проникнуть мыслью в будущее. Солнце, недавно еще столь ярко сиявшее над их домом, закатилось.

52

В тюрьме Каупервуда приветливо встретил Джесперс, обрадованный, что все сошло гладко и его репутация осталась незапятнанной. Поскольку в суде на повестке дня стояло несколько дел, они решили отправиться туда не раньше десяти часов. Снова появился Эдди Зандерс, которому было поручено доставить Каупервуда к судье Пейдерсону, а затем в исправительную тюрьму. Ему же были вручены для передачи начальнику тюрьмы все относившиеся к делу бумаги.

— Вам, я полагаю, известно, что Стинер тоже здесь, — по секрету сообщил Стеджеру шериф Джесперс. — У него теперь нет ни цента за душой, но я все же устроил ему отдельную камеру. Мне не хотелось сажать такого человека в общую.

Джесперс явно сочувствовал Стинеру.

— Правильно, я очень рад за него, — подавляя улыбку, отвечал Стеджер.

— Насколько я понимаю, мистеру Каупервуду было бы неприятно встретиться здесь со Стинером, потому я и принял все меры, чтобы избежать этого. Джордж только что ушел отсюда с другим моим помощником.

— Очень хорошо. Это весьма предусмотрительно с вашей стороны, — снова одобрил его Стеджер.

Шериф вел себя тактично, и Стеджер был рад за Каупервуда. По-видимому, у Джесперса и Стинера установились самые дружеские отношения, несмотря на растерянность и безденежье бывшего казначея.

Каупервуд и сопровождавшие его пошли пешком, так как до суда было недалеко, и по дороге все время говорили о пустяках, сознательно обходя серьезные вопросы.

— Все складывается не так уж плохо, — заметил Эдвард отцу. — Стеджер убежден, что через год или даже раньше губернатор помилует Стинера, а тогда он неизбежно должен будет выпустить и Фрэнка.

Старый Каупервуд бесчисленное множество раз слышал такие рассуждения, но ему не надоедало слушать их вновь и вновь. Эти слова успокаивали его, как колыбельная песенка младенца. Снег, покрывавший землю и в этом году словно не желавший таять, распогодившийся день, ясный и солнечный, надежда, что в суде соберется не слишком много публики, — все это, казалось, очень занимало Каупервудов — отца и обоих братьев. Старик, чтобы хоть немного облегчить тяжесть, давившую ему душу, даже заговорил о воробьях, дравшихся из-за хлебной корки, и подивился их способности переносить зимний холод. Каупервуд, который шел впереди со Стеджером и Зандерсом, беседовал с адвокатом о судебных разбирательствах, предстоявших в связи с делами его конторы, и о том, что необходимо предпринять в связи с этим.

По приходе в здание суда Каупервуда снова ввели в ту же маленькую караульню, где он несколько недель назад ожидал вердикта присяжных.

Старый Каупервуд с обоими сыновьями заняли места в зале заседаний. Эдди Зандерс остался при вверенном ему подсудимом; тут же находился и Стинер с другим помощником шерифа, неким Уилкерсоном, но и он и Каупервуд делали вид, будто не замечают друг друга. Фрэнк, собственно, не прочь был заговорить со

своим бывшим компаньоном, но видел, что Стинер робеет и стыдится, поэтому оба безмолвно сидели, каждый в своем углу. После сорокаминутного томительного ожидания дверь, которая вела в зал, отворилась и вошел судебный пристав.

— Подсудимые, встать! — приказал он.

Подсудимых, включая Каупервуда и бывшего городского казначея, оказалось шесть человек. Двое из них были взломщики, пойманные с поличным во время ночной облавы.

Еще один из арестованных, молодой человек двадцати шести лет, был всего-навсего конокрад, обличенный в том, что увел у зеленщика лошадь и продал ее. И, наконец, последний — долговязый, неуклюжий, безграмотный и туповатый негр, который, проходя мимо дровяного склада, унес валявшийся там отрезок свинцовой трубы с намерением продать находку или выменять ее на стаканчик виски. Его дело, собственно, не должно было слушаться в этой инстанции; но, поскольку, когда сторож дровяного склада его задержал, он отказался признать себя виновным, не понимая даже, чего, собственно, от него хотят, дело было передано в суд. Позднее он передумал, сознался и теперь должен был предстать перед судьей Пейдерсоном, чтобы услышать обвинительный приговор или же выйти на свободу, так как участковый суд передал его дело для слушания в высшей инстанции. Все эти сведения Каупервуду сообщил Эдди Зандерс, взявший на себя роль проводника и наставника.

Зал суда был переполнен. Каупервуд почувствовал себя жестоко униженным, когда ему пришлось вместе с остальными арестованными пройти по боковому проходу;

следом за ним шел Стинер, хорошо одетый, но растерянный, пришибленный, больной и унылый.

Первым по списку значился негр, Чарлз Аккермен.

— Ваша честь, — поспешил разъяснить судье помощник окружного прокурора,

— этот человек перед участковым судом отказался признать себя виновным: то ли он был пьян, то ли сделал это по другой причине. А поскольку жалобщик не пожелал снять обвинение, участковый суд вынужден был передать подсудимого сюда. Но потом подсудимый передумал и перед окружным прокурором признал свою виновность. Нам поневоле пришлось обременить вас этим делом.

Судья Пейдерсон насмешливо взглянул на негра, которого, впрочем, нимало не смутил этот взгляд: он продолжал стоять, удобно облокотясь о барьер, за которым подсудимые обычно стоят навытяжку и дрожат от страха. Он уже и раньше бывал под судом — за пьянство, драки и тому подобное, — но тем не менее остался наивным и простодушным.

— Ну, Аккермен, — сурово вопросил судья, — украли вы кусок свинцовой трубы стоимостью, как тут указано, в четыре доллара восемьдесят центов?

— Да, сэр, украл, — начал негр. — Я вам расскажу, господин судья, как было дело. Прохожу я как-то в субботу под вечер мимо дровяного склада, — я как раз был тогда без работы, — и вижу сквозь забор — валяется кусок трубы. Ну, я отыскал палку, просунул ее под забор, подкатил эту самую трубу и унес. А потом вот этот мистер — сторож, значит, — он выразительным жестом указал на свидетельскую скамью, где занял место

жалобщик, на случай, если судья захочет о чем-нибудь его спросить, — приходит ко мне домой и называет меня вором.

— Но ведь вы и правда взяли эту трубу, не так ли?

— Взял, сэр, что и говорить.

— Что же вы с ней сделали?

— Спустил за двадцать пять центов.

— Вы хотите сказать, продали? — поправил судья.

— Да, сэр, продал.

— Разве вы не знаете, что так поступать нехорошо? Разве, подсовывая палку под забор и подкатывая к себе трубу, вы не понимали, что совершаете кражу?

— Да, сэр, я знал, что это нехорошо, — добродушно улыбаясь, отвечал Аккермен. — Я, по правде сказать, не думал, что это кража, но знал, что это нехорошо. Я, конечно, понимал, что не годится мне ее брать.

— Конечно, вы понимали! Разумеется, понимали! В том-то и беда! Вы понимали, что это кража, и все-таки украли. А что, человек, который купил у негра украденную вещь, уже взят под стражу? — внезапно спросил судья у помощника прокурора. — Его следует привлечь к ответственности, ибо как скупщик краденого он заслуживает еще более сурового наказания, чем этот негр.

— Да, сэр, — отвечал помощник прокурора, — его дело передано судье Йогеру.

— Хорошо. Значит, все в порядке, — сурово изрек Пейдерсон. — Я лично причисляю скупку краденого к самым серьезным преступлениям.

Затем судья снова обратился к Аккермену.

— Теперь слушайте, Аккермен! — продолжал он, раздраженный тем, что приходится возиться с таким пустячным делом. — Я сейчас вам кое-что объясню, а вы извольте слушать меня со вниманием. Стойте прямо! Не наваливайтесь на барьер! Помните, что вы находитесь перед судом!

Аккермен, положив оба локтя на барьер, стоял так, словно непринужденно беседовал с приятелем по ту сторону забора, подле своего дома. Услышав окрик судьи, он, впрочем, поспешил выпрямиться, сохраняя на лице все то же простодушное и виноватое выражение.

— Постарайтесь-ка взять в толк то, что я вам скажу. Украв кусок свинцовой трубы, вы совершили преступление. Вы меня слышите? И я мог бы сурово покарать вас за это! Имейте в виду, что закон дает мне право посадить вас на год в исправительную тюрьму, понимаете ли вы, что это значит — год каторжной работы за кражу куска трубы! Итак, если вы способны соображать, вслушайтесь хорошенько в мои слова. Я не стану сейчас же отправлять вас в тюрьму. Я немного повременю с этим, хотя приговор будет гласить — год исправительной тюрьмы. Целый год!

Лицо Аккермена посерело. Он провел языком по пересохшим губам.

— Но приговор не будет сейчас приведен в исполнение. Он останется висеть над вами, и, если вас снова поймают при посягательстве на чужую собственность, вы понесете наказание разом и за то преступление и за это. Вы меня поняли? Ясно, что это значит? Отвечайте! Вы поняли?

— Да, сэр! Понял, сэр! — пробормотал негр. — Это значит, что сейчас вы меня отпустите, вот что!

В публике расхохотались, и даже сам судья с трудом сдержал улыбку.

— Я вас отпускаю до первой провинности! — громовым голосом воскликнул он. — Если только вы опять попадетесь на воровстве, вас сейчас же приведут сюда, и тогда уж вы отправитесь в исправительную тюрьму на год и сверх того еще на тот срок, какой вам тогда присудят. Понятно? А теперь проваливайте, да впредь ведите себя хорошо! Не вздумайте снова красть. Займитесь какой-нибудь работой! Не воруйте больше, слышите! Не дотрагивайтесь до того, что вам не принадлежит! И не попадайтесь мне снова на глаза! Не то я вас уж наверняка упеку в тюрьму!

— Да, сэр! Нет, сэр! Я больше не буду, — залепетал Аккермен. — Никогда больше не стану трогать чужого.

Он поплелся к выходу, легонько подталкиваемый судебным приставом, и был наконец благополучно выпровожен за дверь под перешептыванье и смех публики, немало позабавившейся его простотой и неуместной суровостью Пейдерсона. Но пристав тут же объявил слушание следующего дела, и внимание присутствующих обратилось на других подсудимых.

Это было дело двух взломщиков, которых Каупервуд не переставал разглядывать с нескрываемым интересом. Он впервые в жизни присутствовал при вынесении приговора. Ему еще ни разу не доводилось бывать ни в участковом, ни в городском уголовном суде и лишь изредка — в гражданском. Он был доволен тем, что негра отпустили на все четыре стороны и что Пейдерсон

проявил больше здравого смысла и человечности, чем можно было от него ожидать.

Каупервуд осмотрелся, отыскивая глазами Эйлин. Он возражал против ее присутствия в суде, но она могла с этим не посчитаться. И правда, она была здесь, в самых задних рядах, зажатая в толпе, под густой вуалью; значит, все-таки пришла! Эйлин была не в силах противиться желанию поскорее узнать участь своего возлюбленного, собственными ушами услышать приговор, быть подле Фрэнка в этот час тягчайшего, как ей думалось, испытания. Она была возмущена, когда его ввели в зал вместе с уголовниками и заставили ждать на виду у всех, но тем более восхищалась его достоинством, осанкой и самоуверенностью, не изменившей ему даже в эти минуты. Он нисколько не побледнел, мысленно отметила она, вот он стоит, все такой же спокойный и собранный, как всегда. Ах, если б только он мог видеть ее сейчас! Если б он хоть взглянул в ее сторону, она приподняла бы вуаль и улыбнулась ему! Но он не смотрел, так как не хотел видеть ее здесь. Все равно в скором времени она встретится с ним и все ему расскажет!

С обоими взломщиками судья разделался быстро, приговорив каждого к году исправительной тюрьмы, и их увели, растерянных, видимо, не отдававших себе ясного отчета ни в тяжести своего преступления, ни в том, что ждало их в будущем.

Теперь на очереди стояло дело Каупервуда, и «его честь» приосанился: Каупервуд не был обыкновенным преступником, и с ним требовалось особое обхождение. Судья заранее знал, каков будет исход дела. Когда один из молленхауэровских приспешников, близкий друг

Батлера, высказал мнение, что и Каупервуду и Стинеру следовало бы дать по пять лет, судья принял это к сведению.

— Фрэнк Алджернон Каупервуд! — возгласил секретарь.

Каупервуд быстро выступил вперед. Ему было больно и стыдно оттого, что он оказался в таком положении, но он ни взглядом, ни единым движением не выдал своих чувств. Пейдерсон посмотрел на него в упор, как обычно смотрел на подсудимых.

— Ваше имя и фамилия? — спросил судебный пристав, а стенограф приготовился записывать.

— Фрэнк Алджернон Каупервуд.

— Местожительство?

— Джирард-авеню, дом номер тысяча девятьсот тридцать семь.

— Род занятий?

— Владелец банкирской и биржевой конторы.

Стеджер, исполненный достоинства и энергичный, стоял рядом с Каупервудом, готовый, когда придет время, произнести свое заключительное слово, обращенное к суду и публике. Затертая в толпе у двери, Эйлин впервые в жизни нервно кусала пальцы, на лбу у нее выступили крупные капли пота. Отец Каупервуда весь дрожал от волнения, а братья смотрели в сторону, стараясь скрыть свой страх и горе.

— Отбывали ли вы когда-нибудь наказание по суду?

— Никогда, — спокойно отвечал за Каупервуда его адвокат.

— Фрэнк Алджернон Каупервуд, — выступив вперед, прогнусавил секретарь суда, — есть ли у вас возражения против вынесения вам сейчас приговора? Если есть, изложите их!

Каупервуд хотел было ответить отрицательно, но Стеджер поднял руку.

— С разрешения суда я должен заявить, — громко и отчетливо произнес он,

— что мой подзащитный, мистер Каупервуд, не признает себя виновным; такого же мнения придерживаются и двое из пяти судей филадельфийского верховного суда — высшей судебной инстанции нашего штата.

Среди слушателей, наиболее заинтересованных всем происходящим, был Эдвард Мэлия Батлер, только что вошедший в зал из соседней комнаты, где он разговаривал со знакомым судьей. Угодливый служитель доложил ему, что сейчас будет объявлен приговор Каупервуду. Батлер находился в суде с самого утра под предлогом какой-то неотложной надобности, на самом же деле, чтобы не пропустить этого момента.

— Мистер Каупервуд показал, — продолжал Стеджер, — и его показание было подтверждено другими свидетелями, что он являлся только агентом того джентльмена, виновность которого впоследствии была признана этим же составом суда. Он утверждает, — и с ним согласны двое из пяти членов верховного суда штата, — что в качестве агента он имел все права и полномочия не сдавать в амортизационный фонд сертификаты городского займа на шестьдесят тысяч долларов в тот срок, в который, по мнению окружного прокурора, он обязан был это сделать. Мой подзащитный

— человек исключительных финансовых способностей. Из многочисленных письменных обращений к вашей чести в его защиту вы могли убедиться, что он пользуется уважением и симпатией огромного большинства наиболее почтенных и выдающихся представителей финансового мира. Мистер Каупервуд занимает весьма видное положение в обществе и принадлежит к числу людей, значительно преуспевающих в своей сфере. Только жестокий и неожиданный удар судьбы привел его на скамью подсудимых, — я имею в виду пожар и вызванную им панику, которые так тяжело отразились на совершенно здоровом и крепком финансовом предприятии. Вопреки вердикту, вынесенному судом присяжных, и решению трех из пяти членов филадельфийского верховного суда я утверждаю, что мой подзащитный не растратчик, что никакого хищения он не совершил, что его напрасно признали виновным, а следовательно, он не должен и нести наказания за преступление, которого не совершал.

Я уверен, что вы, ваша честь, не истолкуете превратно мои слова и те побуждения, которые заставляют меня настаивать на правильности всего мною сказанного. Я ни на минуту не собираюсь подвергать сомнению нелицеприятность данного состава суда или суда вообще, так же как не критикую и самого судопроизводства. Я только глубоко скорблю о том, что злополучное стечение обстоятельств создало обманчивую видимость, в которой трудно разобраться непрофессионалу, и в силу этого стечения обстоятельств столь почтенный человек, как мой подзащитный, оказался на скамье подсудимых. Элементарная справедливость требует, по-моему, чтобы это было сказано здесь во всеуслышание и с полной ясностью. Я

обращаюсь к вашей чести с ходатайством о снисхождении, и если совесть не позволяет вам совсем прекратить это дело, то я прошу вас хотя бы учесть и взвесить изложенные мною факты при определении меры наказания.

Стеджер вернулся на свое место, а судья Пейдерсон кивнул в знак того, что выслушал все сказанное достопочтенным защитником и намерен отнестись к его словам со вниманием, какового они заслуживают, но не более. Затем он повернулся в сторону Каупервуда и, призвав на помощь все свое судейское величие, начал:

— Фрэнк Алджернон Каупервуд, признанные вами присяжные заседатели сочли вас виновным в хищении. Ходатайство о пересмотре дела, возбужденное от вашего имени адвокатом, было, после тщательного рассмотрения, отклонено, ибо большинство членов верховного суда безоговорочно согласились с вердиктом присяжных, полагая, что он вынесен надлежащим порядком, на основании закона и свидетельских показаний. Ваше преступление не может не быть названо тяжким преступлением, хотя бы уже потому, что крупная сумма денег, которой вы завладели, принадлежит городу. Вашу виновность усугубляет еще и то обстоятельство, что вы, для личных выгод, незаконно пользовались сотнями тысяч долларов из средств города, равно как и сертификатами городского займа. Высшую меру наказания, предусмотренную законом за подобное преступление, следует считать весьма милосердной. Тем не менее суд должным образом учтет ваше прежнее видное положение и те обстоятельства, которые повлекли за собой ваше банкротство, равно как и ходатайства ваших многочисленных друзей и коллег в финансовой сфере. Суд не оставит без внимания ни

одного существенного факта из истории вашей деятельности.

Пейдерсон умолк, словно бы в нерешительности, хотя отлично знал, что скажет дальше. Он помнил, чего ждали от него «хозяева».

— Если из вашего дела нельзя извлечь иной морали, — продолжал он, перебирая лежавшие перед ним бумаги, — то оно все же послужит для многих весьма полезным уроком и покажет, что нельзя безнаказанно запускать руки в городскую казну и грабить ее под предлогом деловых операций, а также поможет многим понять, что закон обладает еще достаточной силой, чтобы совершить правосудие и защитить общество.

— Посему суд приговаривает вас, — торжественно закончил Пейдерсон, меж тем как Каупервуд продолжал невозмутимо смотреть на него, — к уплате в пользу округа штрафа в пять тысяч долларов, к покрытию всех судебных издержек, одиночному заключению в Восточной тюрьме и принудительным работам сроком на четыре года и три месяца, со взятием под стражу во исполнение приговора.

Услышав это, старый Каупервуд опустил голову, стараясь скрыть слезы. Эйлин закусила губу и судорожно сжала кулаки, чтобы не расплакаться и подавить в себе ярость и негодование. Четыре года и три месяца! Какой бесконечно долгий пробел в его и в ее жизни! Но она будет ждать. Все лучше, чем восемь или десять лет, а она опасалась и такого приговора. Может быть, теперь, когда самое тяжелое позади и Фрэнк очутится в тюрьме, губернатор помилует его.

Судья Пейдерсон уже потянул к себе папку с делом Стинера. Он был доволен собой: финансисты теперь не

могут сказать, что он не обратил должного внимания на их ходатайство в пользу Каупервуда. С другой стороны, и политические деятели будут удовлетворены: он наложил на Каупервуда почти максимальную кару, но так, что со стороны могло показаться, будто он учел просьбы о снисхождении. Каупервуд сразу раскусил этот трюк, но не утратил своего обычного спокойствия. Он только подумал, как это трусливо и гадко. Судебный пристав хотел было увести его.

— Пусть осужденный еще побудет здесь, — неожиданно остановил его судья.

Секретарь уже назвал Джорджа Стинера, и Каупервуд в первую минуту не понял, зачем судья задерживает его, но только в первую минуту. Надо, чтобы он выслушал еще и приговор по делу своего соучастника. Стинеру были заданы обычные вопросы. Рядом с бывшим казначеем все время стоял его адвокат Роджер О'Мара, ирландец по происхождению, опытный политик, консультировавший Стинера с первой минуты его злоключений; впрочем, сейчас даже он не нашелся что сказать и только попросил судью учесть прежнюю безукоризненную честность его подзащитного.

— Джордж Стинер, — начал судья, и все присутствующие, в том числе и Каупервуд, насторожились. — Поскольку ваше ходатайство о пересмотре дела и об отмене приговора отклонено, суду остается лишь определить наказание, соответствующее характеру вашего преступления. Я не хочу отягчать нравоучениями и без того тяжелую для вас минуту. Но все же не премину сурово осудить ваши действия. Злоупотребление общественными средствами стало язвой нашего времени, и если не пресечь это зло со всей

решимостью, то оно в конце концов разрушит весь наш общественный порядок. Государство, разъедаемое коррупцией, становится нежизнеспособным. Ему грозит опасность рассыпаться при первом же серьезном испытании.

Я считаю, что ответственность за ваше преступление и за все ему подобные в значительной мере ложится на общество. До последнего времени общество с недопустимым равнодушием взирало на мошеннические проделки должностных лиц. Наша политика должна руководствоваться более высокими и более чистыми принципами, наше общественное мнение должно клеймить позором злоупотребление государственными средствами. Недостаточная принципиальность общества и сделала возможным ваше преступление. Помимо этого, я не усматриваю в вашем деле никаких смягчающих обстоятельств.

Судья Пейдерсон для большего эффекта сделал паузу. Он близился к вершине своего красноречия и хотел, чтобы его слова запечатлелись в умах слушателей.

— Общество вверило свои деньги вашему попечению, — торжественно продолжал он. — Вам было оказано высокое, священное доверие. Вы должны были охранять двери казначейства, как серафим — врата рая, и пылающим мечом неподкупной честности грозить каждому, кто посмел бы приблизиться к ним с преступной целью. Этого требовало от вас ваше положение выборного представителя общества.

Учитывая все обстоятельства вашего дела, суд не может применить к вам меру наказания мягче наивысшей меры, предусмотренной законом. Но, согласно статье

семьдесят четвертой Уголовного кодекса, суды нашего штата не вправе приговаривать к заключению в исправительную тюрьму на срок, истекающий между пятнадцатым ноября и пятнадцатым февраля, к эта статья заставляет меня снизить на три месяца тот максимальный срок, к которому я должен был бы приговорить вас, а именно: пять лет. Посему суд приговаривает вас к уплате в пользу округа штрафа в пять тысяч долларов, — Пейдерсон отлично знал, что Стинер не в состоянии выплатить эту сумму, — к одиночному заключению в Восточной тюрьме и принудительным работам сроком на четыре года и девять месяцев со взятием под стражу во исполнение приговора.

Судья положил бумаги на стол и задумчиво потер рукою подбородок; Каупервуда и Стинера поспешно увели. Батлер, вполне удовлетворенный исходом разбирательства, одним из первых покинул зал суда. Убедившись, что все кончено и ей здесь больше нечего делать, Эйлин тоже торопливо пробралась к дверям, а через несколько минут после нее ушли отец и братья Каупервуда. Они хотели дождаться его на улице и проводить в тюрьму. Остальные члены семьи с волнением дожидались известий дома, поэтому Джозефа немедленно отправили к ним.

Между тем небо заволокло тучами, день нахмурился, и казалось, вот-вот пойдет снег. Эдди Зандерс, получивший на руки все относящиеся к делу бумаги, заявил, что нет нужды возвращаться в окружную тюрьму. Поэтому все пятеро — Зандерс, Стеджер и Фрэнк с отцом и братом — сели на конку, конечная станция которой всего на несколько кварталов отстояла от

Восточной тюрьмы. Через полчаса все они уже стояли у ее ворот.

53

Восточная тюрьма штата Пенсильвании, в которой Каупервуду предстояло отбыть четыре года и три месяца одиночного заключения, находилась на углу улиц Фейермаунт и Двадцать первой, в огромном здании из серого камня; хмурое и величественное, это здание несколько напоминало дворец Сфорца в Милане, хотя, разумеется, в архитектурном отношении сильно ему уступало. Его серые стены окружали целый квартал, и оно высилось одинокое и неприступное, как и положено тюрьме. Стена, опоясывавшая огромную — свыше десяти акров — тюремную территорию и сообщавшая ей значительную долю ее угрюмого величия, имела тридцать пять футов в вышину и свыше семи в толщину. Сама тюрьма, невидимая с улицы и состоявшая из семи корпусов, раскинувшихся наподобие щупалец осьминога вокруг центрального здания, занимала почти две трети огороженного стеною пространства, так что для лужаек и газонов оставалось очень мало места. Эти корпуса, вплотную примыкавшие к наружным стенам, имели сорок два фута в ширину и сто восемьдесят в длину; четыре из них были двухэтажные. Вместо окон там были лишь узенькие просветы под самым потолком длиной не больше трех с половиной футов и шириной дюймов в восемь. При некоторых камерах нижнего этажа были устроены крохотные дворики — десять на шестнадцать футов, то есть размером не превышающие самих камер и, в свою очередь, обнесенные высокими кирпичными стенами. Стены камер, полы и крыши — все было из камня; камнем были выложены и коридоры, имевшие лишь десять футов в ширину, и одноэтажные галереи, достигавшие в вышину пятнадцати футов. Тому, кто из

центрального помещения, так называемой ротонды, смотрел на расходящиеся длинные корпуса, все казалось несоразмерно узким и сдавленным. Железные двери, — перед ними имелись еще массивные деревянные, для того чтобы в случае надобности совершенно изолировать заключенных, — производили тяжелое, гнетущее впечатление. Света в помещениях было в общем достаточно, так как стены часто белили, а узкие отверстия в крыше застекляли на зиму матовым стеклом, но все было так голо, так утомительно для глаз, как это бывает только в местах заключения с их скупым и чисто утилитарным оборудованием. В этих стенах несомненно шла жизнь — тюрьма насчитывала в то время четыреста заключенных, и почти все камеры были заняты. Но никто из арестованных этой жизни не видел и не ощущал. Здесь люди жили и в то же время не жили. Кое-кого из заключенных после долгих лет пребывания в тюрьме назначали «старостами», но таких было немного. В тюрьме имелись: пекарня, механическая и столярная мастерские, кладовая, мельница и огороды, но для обслуживания всех этих заведений требовалось очень мало людей.

Тюрьма, построенная в 1822 году, постепенно разрасталась, корпус за корпусом, пока не достигла своих нынешних, весьма внушительных, размеров. Обитатели ее были разнообразны как по своему умственному развитию, так и по совершенным преступлениям — от мелкой кражи до убийства. Правила тюремного распорядка определялись так называемой «пенсильванской системой», которая, в сущности, сводилась к одиночному заключению, соблюдению полной тишины и индивидуальному труду в изолированных камерах.

Если не считать недавнего пребывания в окружной тюрьме, собственно даже не очень походившей на тюрьму, то Каупервуд ни разу в жизни не бывал в подобном заведении. Однажды, когда он еще мальчиком бродил по окрестным городам, ему случилось пройти мимо «арестантского дома», как назывались тогда городские тюрьмы, — небольшого серого здания с высокими зарешеченными окнами, — и в одном из мрачных оконных проемов второго этажа он увидел какого-то пропойцу или бродягу с испитым бескровным лицом, всклокоченными волосами и мутным взглядом; заметив Фрэнка, тот крикнул ему (стояло лето, и окна были открыты):

— Эй, сынок, сбегай-ка да купи мне табачку, ладно?

Фрэнк поднял глаза, пораженный и испуганный отталкивающей внешностью арестанта, и ответил, прежде чем успел подумать:

— Нет… не могу.

— Ну, смотри, как бы тебя самого когда-нибудь не упекли за решетку, стервец! — в бешенстве крикнул бродяга, видимо, еще не вполне протрезвившийся после вчерашнего пьянства.

Каупервуд никогда не вспоминал об этом случае, но тут он вдруг всплыл в памяти. Вот и его сейчас запрут в этой мрачной, унылой тюрьме; на улице метет метель, а он будет беспощадно выброшен из жизни.

Никому из близких не позволили сопровождать его за наружную стену, даже Стеджеру, хотя он и получил разрешение посетить Каупервуда позднее. Это правило соблюдалось незыблемо. Зандерса, имевшего при себе сопроводительные бумаги и знакомого с привратником,

пропустили немедленно. Остальные повернули назад, грустно распрощавшись с Каупервудом, который старался вести себя так, словно все это было только малозначащим эпизодом,

— да так он, собственно, и относился к тому, что с ним произошло.

— Ну что ж, до свиданья, — сказал он, пожимая всем руки. — Ничего со мной не случится, и я скоро выберусь отсюда. Вот увидите! Пусть Лилиан не слишком расстраивается.

Он вошел в тюремный двор, и ворота со зловещим лязгом захлопнулись за ним. Зандерс шагал впереди под темными, мрачными сводами высокой подворотни ко вторым воротам, где уже другой привратник огромным ключом отпер решетчатую калитку. Очутившись во внутреннем дворе, Зандерс свернул налево в маленькую канцелярию; там за высокой конторкой стоял тюремный чиновник в синем форменном мундире, худой, светловолосый, с узкими серыми глазками. На его обязанности лежала регистрация заключенных. Взяв бумаги, поданные помощником шерифа, он деловито просмотрел их. Это был приказ о заключении Каупервуда. Чиновник, в свою очередь, выдал Зандерсу справку о том, что принял от него арестанта, и помощник шерифа удалился, весьма довольный чаевыми, которые Каупервуд сунул ему в руку.

— Желаю доброго здоровья, мистер Каупервуд, — сказал он на прощанье. — Весьма сожалею и надеюсь, что вам здесь будет не так уж плохо.

Он хотел прихвастнуть перед надзирателем близким знакомством с этим необычным заключенным, и

Каупервуд, верный своей тактике тонкого притворства, сердечно пожал ему руку.

— Весьма признателен, мистер Зандерс, за вашу любезность, — сказал он и тотчас повернулся к своему новому начальству, желая произвести как можно более выгодное впечатление.

Он знал, что попадает теперь в руки мелких чиновников, от которых целиком зависит, будут ли ему предоставлены какие-либо льготы или не будут. Ему хотелось сразу показать этому надзирателю, что он готов беспрекословно подчиниться всем правилам, что он уважает начальство, но и себя унижать не намерен. Морально он был подавлен, но не терял присутствия духа даже здесь, в тисках, куда загнало его правосудие, в исправительной тюрьме штата, которой он всеми правдами и неправдами старался избежать.

Надзиратель Роджерс Кендал, несмотря на свое тщедушие и официальную внешность, был человеком довольно способным, во всяком случае по сравнению с другими представителями тюремной администрации: догадливый, не слишком образованный, не слишком умный по природе, не слишком усердный, но достаточно энергичный, чтобы держаться на своей должности; он неплохо разбирался в арестантах, так как уже без малого двадцать шесть лет имел с ними дело. Относился он к ним холодно, недоверчиво, цинично.

Ни с кем этот человек не допускал ни малейшей фамильярности и требовал точного соблюдения всех правил внутреннего распорядка.

Каупервуд стоял перед ним в красивом синевато-сером костюме, превосходно сшитом сером пальто и черном котелке по последней моде, в новых

ботинках из тончайшей кожи, в галстуке из плотного шелка спокойной и благородной расцветки. Его волосы и усы свидетельствовали о стараниях опытного парикмахера, холеные ногти блестели.

С первого же взгляда на него надзиратель понял, что перед ним птица высокого полета, из тех, кого превратности судьбы редко забрасывают в его сети.

Каупервуд стоял посреди комнаты, казалось, ни на кого и ни на что не глядя, но все замечал.

— Заключенный номер три тысячи шестьсот тридцать три, — сказал Кендал писарю, передавая ему листок желтой бумаги, на котором значились имя и фамилия Каупервуда, а также порядковый номер, исчислявшийся со дня основания тюрьмы.

Писарь из арестантов занес эти данные в книгу, а листок отложил в сторону, для передачи «старосте», которому предстояло отвести Каупервуда в так называемый «пропускник».

— Вам надо раздеться и принять ванну, — обратился Кендал к Каупервуду, с любопытством разглядывая его. — Правда, вам едва ли нужна ванна, но у нас уж такое правило.

— Благодарю, — отвечал Каупервуд, довольный, что даже здесь он, видимо, производил должное впечатление. — Я готов подчиняться всем правилам.

Он собирался уже снять пальто, но Кендал движением руки остановил его и позвонил. Из соседней комнаты вошел не то надзиратель, не то арестант из породы «старост». Это был маленький, смуглый кривобокий человечек. Одна нога у него была короче другой, а следовательно, и одно плечо ниже другого.

Несмотря на впалую грудь, косые глаза и неровную походку, он двигался довольно проворно. Одежда его состояла из мешковатых полосатых штанов и такой же полосатой, как полагалось в тюрьме, куртки, из-под которой виднелась рубаха с открытым воротом; на голове у него сидела непомерной величины полосатая же шляпа с оттопыренными полями, показавшаяся Каупервуду особенно отвратительной. Фрэнк не мог отделаться от неприятного впечатления, которое произвели на него косые глаза этого человека. У «старосты» была дурацкая и льстивая манера каждую минуту отдавать честь, прикладывая руку к шляпе. Это был «домушник», и ему «припаяли» десять лет, но благодаря хорошему поведению он добился чести работать в канцелярии без унизительного мешка, натянутого на голову. За это он был весьма признателен начальству. Сейчас он смотрел на Кендала глазами боязливой собаки, а на Каупервуда поглядывал лукаво, как бы показывая, что прекрасно понимает его положение и не питает к нему доверия.

В глазах обычного арестанта все товарищи по несчастью одинаковы; более того, он утешается сознанием, что все они не лучше его. Пусть судьба жестоко расправилась с ним, — он в мыслях не менее жестоко расправляется с другими заключенными. Малейший намек, преднамеренный или случайный, что я, мол, праведнее тебя, в стенах тюрьмы считается самым тяжким, самым непростительным грехом. Этот «староста» был так же неспособен понять Каупервуда, как муха — понять движение маховика, но, мелкая сошка, он был уверен, что раскусил новичка. Мошенник — мошенник и есть, а потому Каупервуд для него ничем не отличался от последнего карманного воришки. Он немедленно

почувствовал желание унизить его, поставить на одну доску с собой.

— Вам придется вынуть из карманов все, что у вас есть, — обратился Кендал к Каупервуду. Обычно он просто приказывал: «Обыскать заключенного!»

Каупервуд шагнул к нему и вынул бумажник с двадцатью пятью долларами, перочинный нож, карандаш, маленькую записную книжку и крохотного слоненка из слоновой кости, подаренного ему Эйлин «на счастье», вещицу, которой он очень дорожил именно потому, что это был ее подарок. Кендал с любопытством посмотрел на слоненка.

— Можете увести, — кивнул он «старосте». Каупервуду еще предстояла процедура переодевания и купанья.

— За мной, — сказал тот и, пройдя вперед, ввел Каупервуда в соседнюю комнату, где за загородками стояли три старые чугунные ванны, а на грубых деревянных полках лежало простое мыло, жесткое, застиранное полотенце и прочие умывальные принадлежности. Рядом с полками были вбиты крючки для одежды.

— Залазь сюда, — распорядился «староста» Томас Кьюби, показывая на одну из ванн.

Каупервуд понял, что это было началом мелочного и неотступного надзора, но счел за благо сохранить свое обычное благодушие.

— Сейчас, сию минуту, — сказал он.

«Староста» несколько смягчился.

— Сколько тебе припаяли? — осведомился он.

Каупервуд недоумевающе посмотрел на него. Он не понял вопроса. «Староста», сообразив, что новичок не знает тюремного жаргона, повторил:

— Сколько же тебе припаяли? Ну, на сколько лет засадили?

— А! Понимаю, — ответил Каупервуд. — На четыре года и три месяца.

Он решил не раздражать этого человека. Так будет лучше.

— За что? — полюбопытствовал Кьюби.

Каупервуд на мгновение растерялся.

— За кражу, — отвечал он.

— Ну, ты легко отделался! — заметил Кьюби. — Меня закатали на целый десяток. Судья попался дубина.

Кьюби никогда не слыхал о преступлении Каупервуда. А если бы и слыхал, не мог бы понять всех тонкостей его дела. Каупервуд не испытывал ни малейшего желания продолжать беседу, да и не знал, что говорить. Ему хотелось, чтобы этот субъект поскорее убрался отсюда. Но тот продолжал стоять. Лучше уж поскорее очутиться в камере наедине с собой!

— Да, это обидно! — посочувствовал он, и «староста» тотчас понял, что перед ним не свой брат арестант, иначе он не сказал бы ничего подобного.

Кьюби открыл краны. Каупервуд тем временем разделся и теперь стоял голый, не смущаясь присутствием этого дикаря.

— Не позабудь и башку ополоснуть! — сказал Кьюби и вышел.

Пока ванна наполнялась, Каупервуд размышлял над своей участью. Поразительно, до чего жестоко обходилась с ним судьба в последнее время. В отличие от большинства людей в его положении, он не терзался угрызениями совести и не считал себя виновным в бесчестном поступке. Ему просто не повезло. Подумать только, что он очутился здесь в этой огромной безмолвной тюрьме, что он арестант и должен теперь стоять возле этой отвратительной чугунной ванны, а за ним надзирает тронувшийся в уме преступник!

Он сел в ванну, наскоро помылся едким желтым мылом и вытерся грубым серым полотенцем, потом потянулся за бельем, но оно исчезло.

В эту минуту вошел Кьюби.

— Поди-ка сюда! — бесцеремонно позвал он.

Каупервуд нагишом последовал за ним Его провели через канцелярию в комнату, где были весы, измерительные приспособления, регистрационные книги и прочее. К нему снова подошел Кьюби, ожидавший у двери, а писарь, завидев его, машинальным движением взял чистый бланк. Кендал внимательно оглядел статную фигуру Каупервуда, начинавшего уже полнеть в талии, и мысленно отметил, что этот заключенный сложением выгодно отличается от большинства своих собратьев.

— Становись на весы! — скомандовал Кьюби.

Каупервуд повиновался. Надзиратель подвигал гирями и тщательно проверил цифры.

— Вес — сто семьдесят пять! — объявил он. — Теперь вот сюда!

Он указал на стену, по которой вверх от пола тянулась тонкая вертикальная планка семи с половиной футов в высоту. По ней скользила рейка, опускавшаяся на голову стоявшего у стены человека. Сбоку на планке были отмечены дюймы и доли дюйма — половинки, четверти, осьмушки и так далее, справа находилось приспособление, измеряющее длину руки. Каупервуд понял, что от него требуется, и, став под рейку, застыл в неподвижности.

— Ноги вместе, плотней к стене! — командовал Кьюби. — Вот так! Пять футов девять дюймов и десять шестнадцатых! — выкрикнул он, и писарь занес эти данные в регистрационный бланк.

Затем Кьюби достал рулетку и принялся измерять плечи Каупервуда, его ноги, грудь, талию, бедра. Он громко называл цвет его глаз, волос, усов и, заглянув ему в рот, добавил в заключение:

— Зубы все целы!

После того как Каупервуд еще раз сообщил свой адрес, возраст, профессию и на вопрос, знает ли он какое-нибудь ремесло, дал отрицательный ответ, ему разрешили вернуться в ванную комнату и надеть приготовленную для него тюремную одежду — грубое шершавое белье, белую бумажную верхнюю рубаху с открытым воротом, толстые голубовато-серые бумажные носки, каких он никогда в жизни не носил, и необыкновенно жесткие и тяжелые, словно сделанные из дерева или железа, башмаки со скользкими подошвами. Затем он облачился в мешковатые арестантские штаны из полосатой ткани и бесформенную куртку. Он понимал, что в этом костюме у него нелепый и жалкий вид. Когда он снова вошел в канцелярию надзирателя, его охватило

какое-то странное, мучительное чувство безнадежности, которое он никогда еще не испытывал и сейчас всячески старался подавить в себе. Так вот, значит, как поступает общество с преступником. Отталкивает его от себя, срывает с него приличные одежды, облекает вот в эти отрепья. Тоска и злоба овладели им; как он ни силился, ему не удавалось справиться с нахлынувшими на него ощущениями. Он всегда ставил себе за правило — скрывать то, что он чувствует, но сейчас это было ему не под силу. В подобной одежде он чувствовал себя униженным, несуразным и знал, что таким же видят его и другие. Огромным усилием воли он все же заставил себя казаться спокойным, покорным и внимательным ко всем, кто теперь над ним начальствовал. В конце концов, думал он, надо смотреть на это, как на игру, как на дурной сон, или представить себе, что ты попал в болото, из которого, если повезет, еще есть надежда благополучно выбраться. Он верил в свою звезду. Долго так продолжаться не может. Это только нелепая и непривычная роль, в которой он выступает на давно изученных им подмостках жизни.

Кендал тем временем продолжал разглядывать Каупервуда.

— Ну-ка подыщи для него шляпу! — приказал он своему помощнику.

Тот подошел к шкафу с нумерованными полками, достал оттуда безобразную полосатую шляпу с высокой тульей и прямыми полями и предложил Каупервуду примерить ее. Шляпа пришлась более или менее впору, и Каупервуд решил, что настал конец его унижениям. Больше, казалось, уже не во что было его наряжать. Но он ошибся.

— Теперь, Кьюби, отведи его к мистеру Чепину, — приказал Кендал.

Кьюби знал свое дело. Он отправился назад в ванную и принес оттуда вещь, о которой Каупервуд знал лишь понаслышке: белый в синюю полоску мешок, по длине и ширине размером приблизительно в половину обыкновенной наволочки. Развернув мешок, Кьюби встряхнул его и приблизился к Каупервуду. Таков был обычай. Применение мешка, установившееся еще в ранние времена существования тюрьмы, имело целью лишить заключенного ориентации и тем самым предупредить возможность побега. С этого мгновения Каупервуд уже не имел права общаться с кем-либо из заключенных, вступать с ними в беседу, даже видеть их; разговаривать с тюремным начальством тоже воспрещалось, он обязан был лишь отвечать на вопросы. Это было жестокое правило, но оно строго соблюдалось здесь, хотя, как позднее узнал Каупервуд, и тут тоже можно было добиться известных послаблений.

— Придется тебе напялить эту штуку, — сказал Кьюби, раскрывая мешок над головой Каупервуда.

Каупервуд понял. Когда-то давно он слышал об этом обычае. В первый миг он, правда, опешил и взглянул на мешок с неподдельным удивлением, но тут же с готовностью поднял руки, чтобы помочь натянуть его.

— Не надо, — сказал Кьюби. — Опусти руки! Я и сам справлюсь.

Каупервуд повиновался. Мешок, нахлобученный на голову, доходил ему до груди, так что он ничего не видел. Он почувствовал себя несчастным, пришибленным, почти раздавленным. Эта белая в синюю полоску тряпка едва не лишила его самообладания.

Неужели, подумал он, нельзя было избавить меня от такого крайнего унижения?

— Пойдем! — сказал ему провожатый, и Каупервуда повели — куда, этого он уже не видел.

— Оттяни малость нижний край да поглядывай под ноги, — посоветовал Кьюби.

Каупервуд так и сделал, теперь он уже смутно видел ноги и кусок пола, на который ступал. И так его, словно слепого, вели сначала по короткому переходу, потом по длинному коридору, через комнату, где сидели дежурные надзиратели, и, наконец, вверх по узенькой железной лестнице, к надзирателю второго этажа. Здесь он услышал голос Кьюби:

— Мистер Чепин, я привел вам от мистера Кендала нового арестанта.

— Сейчас иду, — донесся откуда-то неожиданно приятный голос.

Чья-то большая, тяжелая рука подхватила Каупервуда за локоть, и его повели дальше.

— Теперь уж недалеко, — произнес тот же голос. — А там я сниму с вас мешок.

И Каупервуд почему-то, — возможно, потому, что в этих словах ему послышалась нотка сочувствия, — почувствовал, как судорога свела ему горло.

Оставалось сделать всего несколько шагов.

Они подошли к двери, и провожатый Каупервуда открыл ее огромным железным ключом. Затем та же большая рука тихонько его подтолкнула. В ту же секунду он был освобожден от мешка и увидел, что находится в тесной выбеленной камере, довольно сумрачной, без

окон, но с узким застекленным отверстием под потолком. Посредине одной из боковых стен на крючке висела жестяная лампочка, видимо, служившая для вечернего освещения. В одном углу стояла железная койка с соломенным тюфяком и двумя синими, вероятно, никогда не стиранными, одеялами. В другом была приделана небольшая раковина с медным краном. На стене против койки находилась маленькая полочка. В ногах стоял грубый деревянный стул с уродливой круглой спинкой; в углу возле раковины торчала обмызганная метла. Там же красовалась и чугунная параша, опорожнявшаяся в сточный желоб возле стены и, видимо, промывавшаяся вручную, из ведра. В камере явно водились крысы и всякие паразиты, отчего там стоял пренеприятный запах. Пол был каменный. Взгляд Каупервуда, сразу охватив все это, остановился на тяжелой двери, крест-накрест забранной толстыми железными прутьями и снабженной массивным блестящим замком. Он увидел также, что за этой железной дверью имелась вторая, деревянная, которая наглухо изолировала его от внешнего мира. О ясном, живительном солнечном свете здесь нечего было и мечтать. Чистота всецело зависела от охоты и умения заключенного пользоваться водой, мылом и метлой.

Оглядев камеру, Каупервуд перевел взор на надзирателя, мистера Чепина; это был крупный, тяжеловесный, медлительный человек, весь словно покрытый толстым слоем пыли, но явно незлобивый. Мундир тюремного ведомства мешковато сидел на его нескладной фигуре. Мистер Чепин стоял с таким видом, словно ему не терпелось скорее сесть. Его грузное тело отнюдь не казалось сильным, добродушная физиономия сплошь поросла седоватой щетиной. Плохо подстриженные волосы смешными патлами выбивались

из-под огромной фуражки. И тем не менее Чепин произвел на Каупервуда очень неплохое впечатление. Более того, сразу подумалось, что этот человек, пожалуй, отнесется к нему внимательнее, чем до сих пор относились другие. Это его ободрило. Он не мог знать, что перед ним лишь надзиратель «пропускника», в ведении которого ему предстояло пробыть всего две недели, до полного ознакомления с правилами тюремного распорядка, и что сам он — всего лишь один из двадцати шести заключенных, вверенных мистеру Чепину.

Для упрощения знакомства сей почтенный муж подошел к койке и уселся на нее. Каупервуду он указал на деревянный стул, и тот, пододвинув его к себе, в свою очередь, на него опустился.

— Ну, вот вы и здесь! — благодушнейшим тоном произнес мистер Чепин; он был человек немудрящий, благожелательный, многоопытный в обращении с заключенными и неизменно снисходительный к ним. Годы, врожденная доброта и религиозные убеждения — он был квакером — располагали его к милосердию, но в то же время многолетние наблюдения, как позднее узнал Каупервуд, привели его к выводу, что большинство заключенных по натуре скверные люди. Как и Кендал, он всех их считал безвольными, ни на что не годными, подверженными различным порокам, и, в общем, не ошибался. Но при этом он сохранял свое старческое добродушие и отеческую мягкость в обращении, ибо, подобно многим слабым и недалеким людям, превыше всего ставил человеческую справедливость и добропорядочность.

— Да, вот я и здесь, мистер Чепин, — просто отвечал Каупервуд. Он запомнил фамилию надзирателя, слышанную от «старосты», и старик был этим очень польщен.

Старый Чепин чувствовал себя несколько озадаченным. Перед ним сидел знаменитый Фрэнк А.Каупервуд, о котором он не раз читал в газетах, крупный банкир, ограбивший городское казначейство. И ему и его соучастнику Стинеру

— это Чепин тоже вычитал из газет — предстояло отбыть здесь изрядный срок. Пятьсот тысяч долларов в те дни были огромной суммой, гораздо более крупной, чем пять миллионов сорок лет спустя. Чепина поражала даже самая мысль о растрате такой неимоверной суммы, не говоря уж о махинациях, которые, судя по газетам, проделал с этими деньгами Каупервуд. У старика давно выработался перечень вопросов, которые он предлагал каждому новому заключенному: жалеет ли тот, что совершил преступление, намерен ли он исправиться, если обстоятельства будут тому благоприятствовать, живы ли его родители и так далее. И по тому, как они отвечали — равнодушно, с раскаянием или с вызовом, — он решал, заслуженное ли они несут наказание. Он отлично понимал, что с Каупервудом нельзя говорить, как с каким-нибудь взломщиком, грабителем, карманником или же простым воришкой и мошенником. Но иначе разговаривать этот человек не умел.

— Так, так, — продолжал он. — Вы, надо полагать, никогда и не думали попасть в такое место, мистер Каупервуд?

— Не думал, — подтвердил тот. — Несколько месяцев тому назад я не поверил бы этому, мистер

Чепин! На мой взгляд, со мной поступили несправедливо, но теперь, конечно, поздно об этом говорить.

Он видел, что старому Чепину хочется прочесть ему маленькое нравоучение, и готов был его выслушать. Скоро он останется один, и ему не с кем будет даже перемолвиться словом; если можно установить с этим человеком более или менее дружеское общение, тем лучше. В бурю хороша любая гавань, а утопающий хватается и за соломинку.

— Да, конечно, все мы в жизни совершаем ошибки, — с чувством собственного превосходства продолжал мистер Чепин, наивно убежденный в своих способностях наставника и проповедника. — Мы не всегда знаем, что выйдет из наших хитроумных планов, верно я говорю? Вот вы теперь попали сюда, и вам, надо полагать, обидно, что многое обернулось не так, как вы рассчитывали. Но если бы все началось сначала, я думаю, вы не стали бы повторять то, что сделали, как вы скажете?

— Нет, мистер Чепин, в точности, пожалуй, не стал бы повторять, — довольно искренне ответил Каупервуд, — хотя должен сказать, что я считаю себя правым во всех своих поступках. Я нахожу, что, с точки зрения юридической, со мной поступили незаконно.

— Н-да, так оно всегда бывает, — задумчиво почесывая свою седую голову и благодушно улыбаясь, продолжал Чепин. — Я часто говорю молодым парням, которые попадают сюда, что мы знаем гораздо меньше, чем нам кажется. Мы забываем, что на свете есть люди не глупее нас и всегда найдется кому за нами проследить. И суд, и сыщики, и тюремщики все время

начеку; оглянуться не успеешь, и тебя уже схватили. Этого не миновать тому, кто дурно себя ведет.

— Да, вы правы, мистер Чепин, — согласился Каупервуд.

— Ну, а теперь, — заметил старик после того, как он важно изрек еще несколько нравоучительных, но, в общем, вполне благожелательных сентенций,

— вот ваша койка и стул, а там вот умывальник и отхожее место. Смотрите, держите все в чистоте и порядке! (Можно было подумать, что он вверяет Каупервуду невесть какое ценное имущество.) Вы должны сами по утрам застилать свою постель, подметать пол, промывать парашу и содержать камеру в опрятном виде. Никто другой за вас этого делать не станет. Приступайте к делу с самого утра, как только встанете, а потом, около половины седьмого, вам принесут завтрак. Подъем у нас в половине шестого.

— Слушаю, мистер Чепин, — учтиво отвечал Каупервуд. — Можете быть уверены, что я стану выполнять ваши указания в точности.

— Вот, собственно, и все, — произнес Чепин. — Раз в неделю вы должны мыться с ног до головы, для этого я вам выдам чистое полотенце. Каждую пятницу полагается мыть пол в камере. — Каупервуда при этих словах слегка передернуло. — Если захотите, можно получить горячую воду. Я прикажу кому следует. Что касается родных и друзей… — Он встал с койки и встряхнулся, как огромный лохматый пес. — Вы женаты, не так ли?

— Да, — подтвердил Каупервуд.

— Ну, вот, по правилам, ваша жена и друзья могут посещать вас раз в три месяца, а ваш адвокат… У вас ведь есть адвокат?

— Да, сэр, — отвечал Каупервуд, которого начал забавлять этот разговор.

— Ну, вот, ваш адвокат, если ему угодно, может приходить каждую неделю или хоть каждый день. Насчет адвокатов никакого запрета нет. Писать письма разрешается только раз в три месяца, а если захотите чего-нибудь из тюремной лавки — табаку, скажем, или чего другого, — то напишите на бумажке, и раз у начальника тюрьмы есть ваши деньги, я вам все доставлю.

Старик безусловно не польстился бы на взятку. В нем еще были живы старые традиции, но со временем подарки или лесть несомненно сделают его сговорчивее и покладистей. Каупервуд уразумел это довольно скоро.

— Хорошо, мистер Чепин, я все понял, — сказал он, вскакивая с места, как только поднялся старик.

— Когда пробудете здесь две недели, — задумчиво добавил Чепин (он забыл упомянуть об этом раньше), — начальник тюрьмы отведет вам постоянную камеру где-нибудь внизу. К тому времени вам надо будет решить, какой работой вы хотите заняться. Если будете примерно себя вести, то не исключено, что вам предоставят камеру с двориком.

Он вышел, и дверь зловеще замкнулась за ним. Каупервуд остался один, немало огорченный последними словами Чепина. Только две недели — потом его переведут от этого славного старика к другому,

неизвестному надзирателю, с которым, возможно, не так-то легко будет поладить.

— Если я вам понадоблюсь — заболеете или еще чего случиться, у нас тут есть особый сигнал. — Чепин вновь приоткрыл дверь. — Вывесьте полотенце на прутьях дверной решетки, только и всего. Я увижу, когда буду проходить, и зайду узнать, что вам нужно.

Каупервуд, сильно упавший духом, на миг оживился.

— Слушаю, сэр, — сказал он. — Благодарю вас, мистер Чепин!

Старик ушел, и Каупервуд слышал, как на цементном полу постепенно замирали его шаги. Он стоял, напрягая слух, и до него долетал чей-то кашель, глухое шарканье ног, гудение какой-то машины, металлический скрежет вставляемого в замок ключа. Все эти звуки доносились едва слышно, как бы издалека. Каупервуд приблизился к своему ложу: оно не отличалось чистотой, постельного белья на нем вовсе не было; он пощупал рукой узкий и жесткий тюфяк. Так вот на чем отныне предстоит ему спать, ему, человеку, так любившему комфорт и роскошь, так умевшему ценить их! Что, если бы Эйлин или кто-нибудь из его богатых друзей увидели его сейчас? При мысли о насекомых, которые водились, вероятно, в этой постели, он почувствовал приступ тошноты. Что тогда делать? Единственный стул был очень неудобен. Свет, пробивавшийся сквозь отверстие под потолком, скудно освещал камеру. Каупервуд старался внушить себе, что понемногу привыкнет к этой обстановке, но взгляд его упал на парашу в углу, и он снова почувствовал отвращение. Вдобавок здесь еще начнут шнырять крысы, на это очень похоже. Ни картин, ни книг, ничего, что радовало бы

глаз, даже размяться и то негде, а кругом ни души, только четыре голые стены и безмолвие, в которое он будет погружен на всю ночь, когда закроют наглухо наружную дверь. Какая страшная участь!

Каупервуд сел и принялся обдумывать свое положение. Итак, он все же заключен в Восточную тюрьму, где, по расчетам его врагов (в том числе и Батлера), ему придется провести четыре долгих года, даже больше. Стинер, вдруг промелькнуло у него в голове, сейчас, вероятно, подвергается всем процедурам, каким только что подвергли его самого. Бедняга Стинер! Какого он свалял дурака! Что ж, теперь пускай расплачивается за свою глупость. Разница между ним и Стинером в том, что Стинера постараются вызволить отсюда. Возможно, что уже сейчас его участь так или иначе облегчена, но об этом ему, Каупервуду, ничего не известно. Он потер рукой подбородок и задумался — о своей конторе, о доме, о друзьях и родных, об Эйлин. Потом потянулся за часами, но тут же вспомнил, что их отобрали. Значит, вдобавок ко всему он лишен возможности узнавать время. У него не было ни записной книжки, ни пера, ни карандаша, чтобы хоть чем-нибудь отвлечься. К тому же он с самого утра ничего не ел. Но это неважно. Важно то, что он отрезан от всего мира, заперт тут в полном одиночестве, не знает даже, который теперь час, и не может ничего предпринять — ни заняться делами, ни похлопотать об обеспечении своего будущего. Правда, Стеджер, вероятно, скоро придет навестить его. Это как-никак утешительно. Но все же, если вспомнить, кем он был раньше, какие перспективы открывались перед ним до пожара… а что стало с ним теперь! Он принялся разглядывать свои башмаки, свою одежду. Боже!.. Потом встал и начал

ходить взад и вперед, но каждый его шаг, каждое движение гулом отдавались в ушах. Тогда он подошел к двери и стал смотреть сквозь толстые прутья, но ничего не увидел, кроме краешка дверей двух других камер, ничем не отличавшихся от его собственной. Усевшись, наконец, на единственный стул, он погрузился в раздумье, но, почувствовав усталость, решил все же испробовать грязную тюремную койку и растянулся на ней. Оказывается, она не так уж неудобна. И все же немного погодя он вскочил, сел на стул, потом опять начал мерить шагами камеру и снова сел. В такой тесноте не разгуляешься, подумал он. Нет, это невыносимо — словно ты заживо погребен! И подумать только, что теперь ему придется проводить здесь все время — день за днем, день за днем, пока…

Пока — что?

Пока губернатор не помилует его, или он не отбудет своего срока, или не иссякнут последние крохи его состояния… или…

Он думал, время шло и шло. Было уже около пяти часов, когда, наконец, явился Стеджер, да и то лишь ненадолго. У него было много хлопот в связи с вызовом Каупервуда в ближайшие четверг, пятницу и понедельник по целому ряду исков, вчиненных его прежними клиентами. Но после ухода адвоката, когда надвинулась ночь и Каупервуд подрезал обгоревший фитилек в своей крохотной керосиновой лампочке и напился крепкого чая со скверным хлебом, выпеченным из муки пополам с отрубями, который ему просунул сквозь окошко в двери «староста» под присмотром надзирателя, у него стало и вовсе скверно на душе. Вскоре после этого другой «староста», ни слова не

говоря, резко захлопнул наружную дверь. В девять часов — Каупервуд это запомнил — где-то прозвонит большой колокол, и тогда он должен будет немедленно погасить свою коптилку, раздеться и лечь. За нарушение правил несомненно полагались наказания — урезанный паек, смирительная рубашка, может быть и плети — откуда ему знать, что именно… Он был подавлен, зол, утомлен. Позади осталась такая долгая и такая безуспешная борьба! Вымыв под раковиной толстую фаянсовую чашку и жестяную миску, Каупервуд сбросил с себя башмаки, все свое постыдное одеяние, даже шершавые кальсоны, и устало растянулся на койке. В камере было отнюдь не тепло, и он старался согреться, завернувшись в одеяло, но тщетно. Холод был у него в душе.

— Нет, так не годится! — сказал он себе. — Не годится! Этого я долго не выдержу.

Все же он повернулся лицом к стене и, промаявшись еще несколько часов, уснул.

54

Тем, кому благоволение фортуны, благородное происхождение либо мудрость родных и друзей помогают избежать проклятия, постигающего людей избранных и обеспеченных, проклятия, которое выражается в словах «исковеркать жизнь», тем едва ли будет понятно душевное состояние Каупервуда в эти первые дни, когда он сидел в своей камере и мрачно думал, что вот, несмотря на всю его изворотливость, он понятия не имеет о том, что с ним станется. Самые сильные души временами поддаются унынию. Бывают минуты, когда и людям большого ума — им-то, наверно, чаще всего — жизнь рисуется в самых мрачных красках. Как много страшного в ее хитросплетениях! И только смельчаки, обладающие незаурядной отвагой и верой в свои силы, основанной, конечно, на действительном обладании этими силами, способны бесстрашно смотреть жизни в лицо. Каупервуд отнюдь не был наделен из ряда вон выходящим интеллектом. У него был достаточно изощренный ум, с которым — как это часто бывает у людей практического склада — сочеталось неуемное стремление к личному преуспеянию. Этот ум, подобно мощному прожектору, бросал свои ослепительные лучи в темные закоулки жизни, но ему не хватало объективности, чтобы исследовать подлинные глубины мрака. Каупервуд в какой-то мере представлял себе проблемы, над которыми размышляли великие астрономы, социологи, философы, химики, физики и физиологи; но все это по существу не слишком его интересовало. Жизнь преисполнена множества своеобразных тайн. И наверное, необходимо, чтобы кто-нибудь добивался их разгадки. Но так или иначе, а

его влекло к другому. Его призванием было «делать деньги» — организовывать предприятия, приносящие крупный доход, или, в данное время, хотя бы сохранить то, что однажды было достигнуто.

Но и это, по зрелом размышлении, стало казаться ему почти невозможным. Его дело было слишком расстроено, слишком подорвано злополучным стечением обстоятельств. Он мог бы, как объяснил ему Стеджер, годами тянуть исковые тяжбы, возникшие в связи с его банкротством, выматывая душу из кредиторов, но тем временем имущество его все равно бы таяло, проценты по долговым обязательствам росли, судебные издержки накоплялись, кроме того, он вместе со Стеджером обнаружил, что кое-кто из кредиторов перепродал свои бумаги Батлеру, кое-кто — Молленхауэру, а уж они-то не пойдут ни на какие уступки и будут требовать полного удовлетворения своих претензий. Единственное, на что ему оставалось надеяться, — это через некоторое время войти в соглашение кое с кем из кредиторов и снова начать «делать дела» при посредстве Стивена Уингейта. Тот должен был навестить его в ближайшие дни, как только Стеджер сумеет договориться об этом с начальником тюрьмы Майклом Десмасом, который на второй же день пришел в камеру Каупервуда взглянуть на нового заключенного.

Десмас был крупный мужчина, ирландец по происхождению, человек, кое-что смысливший в политике. За время своего пребывания в Филадельфии он занимал самые различные должности: в дни молодости был полисменом, в Гражданскую войну — капралом, а теперь — послушным орудием Молленхауэра. Он был широкоплеч, на редкость мускулист и, несмотря на свои пятьдесят семь лет, мог

бы прекрасно постоять за себя в рукопашной схватке. Руки у него были большие и жилистые, лицо скорее какое-то квадратное, чем круглое или продолговатое, лоб высокий. Голову его покрывала густая щетина седых волос, над верхней губой топорщились коротко подстриженные седоватые усики; взгляд его серо-голубых глаз свидетельствовал о природном уме и проницательности, на щеках играл румянец, а когда Десмас улыбался, обнажая ровные острые зубы, в этой улыбке было что-то волчье. Между тем он был человеком отнюдь не жестоким и порою даже добродушным, хотя на него иногда и находили приступы гнева. Десмасу, увы, не хватало умственного развития, чтобы видеть разницу (как в духовном, так и в общественном положении) между отдельными арестантами. Он не понимал, что в тюрьму время от времени попадают люди, которым, независимо от их политической значимости, следует уделять особое внимание. Но если политические верхи указывали Десмасу на это различие между арестантами (как было в случае с Каупервудом и Стинером), тогда другое дело. И все же поскольку тюрьма — заведение общественное, где во всякую минуту можно ждать адвокатов, сыщиков, врачей, священников, журналистов и, наконец, просто родственников и друзей арестантов, то начальнику ее приходится — хотя бы уж для того, чтобы не утратить власти над своими подчиненными — всячески поддерживать дисциплину и порядок, иногда даже вопреки желанию того или иного из политических заправил, и ни для одного из арестантов не допускать чрезмерных поблажек. Случалось, конечно, что среди арестантов попадались люди богатые и избалованные, жертвы тех потрясений, которые временами происходят

в общественной жизни, и к ним надо было относиться возможно более снисходительно.

Десмас, конечно, знал всю историю Каупервуда и Стинера. Политиканы успели предупредить его, что со Стинером, учитывая его заслуги, следует обходиться помягче. Относительно Каупервуда никто ничего подобного не говорил, хотя все признавали, что его постигла весьма жестокая участь. Начальник тюрьмы может, конечно, что-нибудь сделать и для него, но только на свой страх и риск.

— Батлер имеет против него зуб, — как-то сказал Десмасу Стробик. — Из-за его дочки и вышла вся эта история. Послушать Батлера, так Каупервуда надо посадить на хлеб и на воду, а между тем он совсем неплохой малый. Откровенно говоря, будь у Стинера хоть капля разума, Каупервуд не сидел бы здесь. Но киты не спускали глаз с казначея и не дали ему одолжить Каупервуду денег.

Несмотря на то, что Стробик, под давлением Молленхауэра, сам советовал Стинеру не ссужать больше Каупервуду ни цента, сейчас он считал поведение своей жертвы предосудительным. Мысль о собственной непоследовательности даже не приходила ему в голову.

Видя, что Каупервуд не пользуется расположением «большой тройки», Десмас решил не обращать на него особого внимания и уж, во всяком случае, не торопиться с какими бы то ни было поблажками. Стинеру предоставили удобное кресло, чистое белье, особую посуду, газеты, привилегии в переписке, допуске посетителей и прочем. Каупервуду же… гм, надо сперва присмотреться к нему и тогда уж решить! Тем временем и хлопоты Стеджера не остались безуспешными. На

другой же день после поступления Каупервуда в тюрьму Десмас получил письмо из Гаррисберга от весьма важного лица, Тэренса Рэлихена; в письме этом говорилось, что он будет очень благодарен за всякую любезность, оказанную мистеру Каупервуду. Прочитав письмо, Десмас отправился к камере Каупервуда и поглядел на него через зарешеченный глазок в двери. По дороге он имел короткий разговор с Чепином, весьма похвально отозвавшимся о новом заключенном.

Десмас никогда раньше не видел Каупервуда, и тот, несмотря на уродливую тюремную одежду, неуклюжие башмаки, грубую рубашку и отвратительную камеру, произвел на него сильное впечатление. Вместо вялого, тщедушного человечка с бегающими глазами — обычный тип арестанта, — он увидел перед собой энергичного, сильного мужчину, статную фигуру которого не изуродовали ни омерзительная одежда, ни перенесенные несчастья. Обрадованный появлением хоть какого-то живого человека, Каупервуд поднял голову и посмотрел на Десмаса большими, ясными, холодными глазами — глазами, которые в прошлом внушали такое доверие и так успокоительно действовали на всех, кому приходилось иметь с ним дело. Десмас был поражен. По сравнению со Стинером, которого он знал раньше и теперь увидел в тюрьме, Каупервуд был подлинным олицетворением силы. Что бы там ни говорили, но один сильный человек всегда уважает другого. А Десмас обладал незаурядной физической силой. Он смотрел на Каупервуда, Каупервуд смотрел на него. И Десмас невольно проникался к нему сочувствием. Казалось, два тигра смотрят друг на друга.

Каупервуд чутьем угадал, что перед ним начальник тюрьмы.

— Мистер Десмас, если не ошибаюсь? — почтительно и любезно осведомился он.

— Да, сэр, это я, — отвечал Десмас, все более и более одолеваемый любопытством. — Не слишком уютные у нас хоромы, как вы скажете?

Начальник тюрьмы дружелюбно осклабился, обнажив два ряда ровных зубов. В этой улыбке было что-то звериное.

— Да, конечно, мистер Десмас, — подтвердил Каупервуд, стоя по-солдатски, навытяжку. — Впрочем, я и не думал, что попаду в шикарный отель, — с улыбкой добавил он.

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, мистер Каупервуд? — спросил Десмас, у которого мгновенно мелькнула мысль, что такой человек, пожалуй, со временем еще пригодится. — Я имел беседу с вашим адвокатом.

Каупервуд был весьма обрадован этим обращением — «мистер». Так вот откуда дует ветер! Ну что ж, значит, можно ожидать, что здесь ему будет не так уж скверно! Немного терпения! Надо «прощупать» этого человека!

— Я не хочу просить вас ни о чем таком, что вам будет затруднительно исполнить, — учтиво отвечал Каупервуд, — но кое-что мне все-таки очень хотелось бы изменить. Я хотел бы иметь простыни, и потом, может быть, вы разрешите, чтобы мне передали из дому теплое белье. То, которое сейчас на мне, очень неудобно.

— Да, по правде сказать, эта шерсть не из лучших, — с невозмутимым спокойствием отозвался Десмас. — Ее выделывают где-то здесь же, в Пенсильвании, для нужд штата. Против того, чтобы вы носили собственное белье, если вам так угодно, я не возражаю. Равно и насчет простынь: если они у вас будут, можете пользоваться. Только не надо слишком торопиться. А то всегда находится много охотников поучать начальника тюрьмы, как ему относиться к своим обязанностям.

— Я прекрасно понимаю это, — отвечал Каупервуд, — и бесконечно вам признателен. Вы можете быть уверены, что все сделанное вами для меня будет оценено по достоинству и не пойдет вам в ущерб. За этими стенами у меня есть немало друзей, которые со временем вас отблагодарят.

Он говорил медленно и внушительно, не сводя с начальника пристального взгляда. На Десмаса его слова произвели должное впечатление.

— Хорошо, хорошо, — сказал он все тем же дружелюбным тоном. — Многого я, конечно, обещать не могу. Правила есть правила. Но кое-что, безусловно, можно сделать, так как эти правила допускают известные поблажки для заключенных примерного поведения. Если желаете, мы дадим вам более удобный стул и несколько книг. Если вы еще занимаетесь делами, я ни в коем случае не стану вам в этом препятствовать. Конечно, мы не можем позволить, чтобы здесь то и дело шныряли люди — тюрьма не торговая контора. Но препятствовать вам время от времени видеться кое с кем из ваших друзей я тоже не собираюсь. Что касается вашей корреспонденции… Ну что ж, на первых порах нам

придется ее просматривать, согласно общим правилам. А там будет видно. Многого, повторяю, я обещать не могу. Подождем, пока вас не переведут из этого флигеля вниз. Там есть несколько камер с двориками, и если окажутся свободные…

Начальник тюрьмы многозначительно подмигнул, и Фрэнк понял, что его ждет участь хотя и нелегкая, но все же не столь мрачная, как он опасался. Десмас предложил Каупервуду подумать о том, какое ремесло он хочет для себя выбрать.

— У вас непременно появится потребность занять чем-нибудь руки. Это уж я знаю наверняка. Через некоторое время все здесь стремятся работать. Иначе не бывает.

Каупервуд понял его и рассыпался в благодарностях. Он испытывал ужас при мысли о бездеятельном пребывании в камере, где и повернуться-то было трудно; но теперь возможность часто видеться с Уингейтом и Стеджером, а через некоторое время и переписываться без контроля тюремной администрации сулила большое облегчение. Слава богу, он будет носить собственное белье, шелковое и шерстяное, а может быть, ему вскоре позволят еще и снять неуклюжие башмаки. Получив все эти льготы, он начнет заниматься ремеслом, сможет гулять во дворике, про который упомянул Десмас, и его жизнь станет если не идеальной, то, во всяком случае, сносной. Тюрьма, конечно, останется тюрьмой, но есть надежда, что для него она не будет таким кошмаром, как для многих других.

За две недели, проведенные Каупервудом в «пропускнике» под надзором Чепина, он узнал почти

столько же о тюремном быте, сколько за все время своего заключения: ведь это не была обыкновенная тюрьма, с тюремным двором, тюремными разговорами, тюремной маршировкой на прогулке, тюремной столовой и тюремным трудом. Ни для него, ни для множества других заключенных здесь не существовало общей тюремной жизни. Подавляющее большинство арестантов работало у себя в камерах среди полного безмолвия, выполняя какое-нибудь определенное задание и ничего не зная о том, что происходит вокруг. Основой режима здесь было одиночное заключение, и только ограниченное число заключенных допускалось к несложным работам вне камер. Как Каупервуд и предполагал, — старый Чепин вскоре подтвердил это,

— из четырехсот заключенных не более семидесяти пяти человек работали, да и то нерегулярно, на кухне, в огороде, в саду, на мельнице, на общей уборке, и лишь это одно хоть как-то спасало их от одиночества. Но даже таким счастливцам запрещалось разговаривать между собой, и хотя на время работы они освобождались от гнусного мешка, по дороге на работу и обратно в камеру им все же приходилось его надевать. Каупервуд не раз видел их, когда они, тяжело ступая, проходили мимо его камеры, и шествие это оставляло в нем впечатление чего-то чудовищного, неестественного, жуткого. Временами у него являлось сильное желание остаться и впредь под надзором благодушного и разговорчивого старика Чепина, но он знал, что это невозможно.

Две недели протекли скоро — надо признаться, это были довольно тоскливые две недели, — и протекли они среди таких однообразных и будничных занятий, как уборка койки, подметание камеры, одевание, принятие пищи, раздевание, подъем в половине шестого, отход ко

сну в девять, мытье посуды после еды и все прочее. Каупервуду казалось, что он никогда не привыкнет к тюремной пище. Завтрак в половине седьмого, как мы уже говорили, состоял из ломтя грубого темного хлеба, выпеченного из отрубей с небольшой примесью белой муки, и черного кофе. На обед, в половине двенадцатого, выдавалась бобовая или овощная похлебка с кусочком жесткого мяса и тот же хлеб. На ужин, в шесть, заключенные получали крепкий чай и опять хлеб — ни масла, ни молока, ни сахара. Каупервуд не курил, и потому маленький табачный паек не представлял для него интереса. В первые две или три недели Стеджер приходил каждый день, а со второго дня пребывания Каупервуда в тюрьме Стивен Уингейт, его новый компаньон, также получил разрешение ежедневно его посещать. Десмас позволил это, хотя и считал такую льготу несколько преждевременной. Посетители обычно оставались у Каупервуда не более часа или полутора, а потом снова тянулся долгий-предолгий день. Несколько раз — между девятью часами утра и пятью пополудни — Фрэнка водили в суд для дачи показаний по искам, предъявленным в связи с его банкротством, и вначале это несколько сокращало время.

Примечательно, что, как только Каупервуд очутился в тюрьме, прочно и, по-видимому, на долгие годы изолированный от всего мира, те, кто в свое время были так искренне к нему расположены, забыли даже думать о нем. Он человек конченый — таково было общее мнение. Единственное, что еще можно было для него сделать, это со временем употребить свое влияние, чтобы вызволить его из тюрьмы, но кто же мог сказать, когда наступит такое время? И это было все. Он никогда уже не займет прежнего положения, никогда не будет играть

сколько-нибудь значительной роли — таково опять же было общее мнение. Очень жаль, конечно, более того — очень трагично, но он исчез без возврата.

— Способный был молодой человек, — заметил президент Джирардского национального банка Дэвисон, читая в газете об осуждении и аресте Каупервуда. — Жаль его, очень жаль! Он допустил большую ошибку.

Только родителям Каупервуда, Эйлин и его жене, в сердце которой скорбь смешивалась с негодованием, действительно недоставало его. Эйлин, одержимая страстью, страдала больше всех. Четыре года и три месяца, размышляла она. Если он не выйдет раньше срока, ей будет тогда уже около двадцати девяти, а ему под сорок. Сохранит ли он свое чувство к ней? Будет ли она все так же хороша? Не изменятся ли вообще его взгляды по прошествии почти что пяти лет? Все это время он будет носить арестантскую одежду, и за ним навеки останется недобрая слава арестанта. Как ни тяжелы были эти мысли, но они только укрепляли в ней решение не отступаться от Фрэнка, что бы ни случилось, и всеми силами помогать ему.

На другой же день после суда Эйлин поехала взглянуть на зловещие серые стены тюрьмы. И так как она ровно ничего не понимала в сложностях закона и уложения о наказаниях, то тюрьма показалась ей особенно страшной. Чего только не могут сделать там с ее Фрэнком! Очень ли он страдает? Думает ли он о ней постоянно, как она о нем? О, как все это ужасно! Как обидно за себя, за свою горячую любовь к нему. Эйлин вернулась домой с твердым решением повидать его, но так как Каупервуд сказал ей, что посетителей допускают лишь раз в три месяца и что он напишет ей о дне

свиданий или о возможности увидеться вне тюремных стен, то она не знала, как к этому приступиться. Осторожность прежде всего!

Однако на следующий же день она написала ему обо всем: о своей поездке в непогоду к зданию тюрьмы, о том, как ей страшно думать, что он находится за этими мрачными серыми стенами, и о своем непоколебимом решении как можно скорее с ним увидеться. В силу недавней договоренности с начальником тюрьмы это письмо было немедленно вручено Каупервуду. Он написал ответ и передал его Уингейту для отправки. Там говорилось:

«Дорогая моя девочка!

Я вижу, ты пала духом оттого, что мы не скоро снова будем вместе, но надо взять себя в руки. Приговор ты уже знаешь из газет. Меня привели сюда около полудня, прямо из суда. Будь у меня возможность, я тотчас же написал бы тебе подробно обо всем, чтобы тебя успокоить, но такой возможности у меня не было. Здешние правила этого не дозволяют: я, собственно, и сейчас пишу тебе тайком. Так или иначе, я прочно застрял в тюрьме, но, конечно, жажду из нее выйти. Прошу тебя, дорогая, соблюдай осторожность, если захочешь прийти сюда! Мне ты доставишь только радость и очень меня ободришь, но себе можешь нанести большой ущерб. К тому же я считаю, что и без того причинил тебе много зла, — больше, чем я смогу когда-либо искупить, и для тебя лучше всего было бы забыть обо мне, но я знаю, что ты этого не сделаешь, а если бы сделала, мне было бы очень грустно. В пятницу, в два часа дня, мне предстоит отправиться в суд по особым делам, это на углу Шестой и Честнат-стрит, но

там мы не сможем увидеться. Меня поведет конвоир. Будь осторожна. Может быть, хорошенько подумав, ты решишь не искать этой встречи.»

Последние строки были проникнуты глубоким унынием, впервые вкравшимся в его отношения с Эйлин; но обстоятельства изменили Каупервуда. Раньше он мнил себя неким высшим существом, чьей благосклонности нелегко добиться, хотя, конечно, и Эйлин была женщиной, благосклонности которой стоит искать. Иногда ему казалось, что со временем эта связь оборвется сама собой, — ведь он может достичь таких высот, что Эйлин будет ему уже не пара. Да, такая мысль мелькала у него! Но теперь — в полосатой арестантской одежде — он смотрел на это иначе. Позиция Эйлин, ослабленная было ее долгой, страстной привязанностью к нему, значительно укрепилась. Преимущества были явно на ее стороне. Разве в конце концов она не дочь Эдварда Батлера, и разве не возможно, что после долгой разлуки она откажется стать женой каторжника? Она, собственно, должна оставить его, и, пожалуй, сама этого пожелает. С какой стати ей его дожидаться? Ее жизнь еще не загублена. Общество не знает, так по крайней мере ему казалось, или, во всяком случае, не все знают, что она была его любовницей. Она может выйти замуж за другого. Может навсегда уйти из его жизни. Как это было бы печально! Но вместе с тем разве он не обязан из простого чувства порядочности предложить ей порвать с ним или, по крайней мере, обдумать свое отношение к нему?

Он знал ее слишком хорошо, чтобы считать способной на такой поступок. И в его положении, чем бы это ни грозило ей, было огромным счастьем сохранить ее любовь — это связующее звено между ним и лучшими

днями его прошлого. Торопливо набрасывая записку к Эйлин в присутствии Уингейта, который должен был ее отправить (надзиратель Чепин любезно вышел на это время из камеры Каупервуда, хотя, по правилам, должен был присутствовать при свидании), он, однако, не мог удержаться, чтобы в последний миг не высказать своих сомнений, и когда Эйлин прочитала эти строки, они поразили ее в самое сердце. В них сказалось все уныние, охватившее его, полный упадок духа. Видно, тюрьма — и как скоро! — все же сломила его волю, после того как он долго и отважно боролся. Теперь уж Эйлин всем существом жаждала ободрить его, проникнуть к нему, как бы это ни было трудно и опасно. «Я должна его увидеть», — сказала она себе.

Что касается посещения Каупервуда членами семьи — родителями, братьями, сестрой и женой, то он ясно дал им понять в один из тех дней, когда его водили в суд, что если бы даже они добились разрешения, им все же не следует навещать его чаще чем раз в три месяца, если, конечно, он не попросит их об этом сам или не даст им знать через Стеджера. По правде говоря, он пока еще не испытывал желания видеть кого-нибудь из них. Ему осточертел весь строй общественной жизни. Он хотел сейчас только одного — забыть суету, среди которой жил раньше и в которой, как оказалось, было мало проку. К этому времени Каупервуд уже успел истратить без малого пятнадцать тысяч долларов на судебные издержки, защиту, содержание семьи и прочее, но это его не волновало. Он надеялся кое-что заработать, орудуя через Уингейта. Его родные не остались совсем без средств, на скромную жизнь у них было достаточно. Он посоветовал им переехать в дома, требующие меньших издержек, так они и поступили: родители,

братья и сестра перебрались в трехэтажный дом, приблизительно таких же размеров, как их старый дом на Батнвуд-стрит, а жена — в еще более тесный и дешевый двухэтажный домик на Двадцать первой улице, неподалеку от тюрьмы. На это переселение ушла часть тех тридцати пяти тысяч долларов, которые Каупервуд припрятал, после того как обманным путем выудил у Стинера чек. По сравнению с особняком на Джирард-авеню, новые жилища казались Генри Каупервуду страшным убожеством. Не оставалось и следа той роскоши, которая отличала их пышный дом на Джирард-авеню, — тут была готовая мебель, купленная в магазине, довольно красивые, но дешевые портьеры и прочие вещи. Опека, под которую перешло теперь все личное имущество Фрэнка и которой старый Каупервуд передал также и все свое достояние, не позволяла вывезти ничего сколько-нибудь ценного. Все должно было пойти с молотка в пользу кредиторов. От описи, произведенной уже довольно давно, Каупервудам удалось скрыть только несколько мелочей. Среди немногих предметов, которые старому Каупервуду очень хотелось оставить себе, был его письменный стол, сделанный на заказ по эскизу Фрэнка, но стол этот оценили в пятьсот долларов, и получить его можно было только по уплате шерифу этой суммы или путем покупки на аукционе, а так как у Генри Каупервуда таких денег не было, то стол попал в чужие руки. В домах было много вещей, которые всем хотелось сохранить, и Анна в буквальном смысле слова выкрала некоторые из них, в чем лишь много времени спустя призналась родителям.

Настал день, когда по приказанию шерифа в обоих домах на Джирард-авеню должны были состояться торги. Всякий мог теперь бродить по комнатам, рассматривать

картины, статуи и другие произведения, переходившие в руки тех, кто предлагал наиболее высокую цену. Каупервуд был известен как любитель искусства и коллекционер: этой репутации способствовала не столько подлинная ценность того, что было им собрано, сколько отзывы таких знатоков, как Нортон Флетчер, Уилтон Элсуорт, Гордон Стрейк и другие известные архитекторы и антиквары, с чьим мнением и вкусом считались в Филадельфии. Очаровательные вещицы, которыми он так дорожил, бронзовые статуэтки эпохи расцвета итальянского Возрождения, заботливо подобранное венецианское стекло, скульптуры Пауэрса, Хосмера и Торвальдсена — вещи, которые через тридцать лет вызвали бы только улыбку, но высоко ценились в те дни, полотна видных американских художников от Гилберта до Йемена Джонсона, а также несколько образчиков современной французской и английской школ — все пошло с молотка за бесценок. В Филадельфии в то время не очень смыслили в искусстве, и потому некоторые картины, не получившие должной оценки, были проданы значительно дешевле своей настоящей стоимости. Стрейк, Нортон и Элсуорт пришли на аукцион и скупили все, что было возможно.

Сенатор Симпсон, Молленхауэр и Стробик тоже явились посмотреть, нет ли чего интересного. Была здесь и целая ватага политических деятелей помельче. Но самое лучшее из всего, что поступило в продажу, скупил Симпсон — трезвый ценитель подлинного искусства. В его руки перешла горка с венецианским стеклом, две высокие, белые с голубым, мавританские вазы, четырнадцать китайских безделушек из нефрита, а также несколько расписных сосудов и ажурный оконный экран нежнейшего зеленоватого оттенка. Молленхауэру за

весьма невысокую цену досталась обстановка и убранство прихожей и гостиной Генри Каупервуда, а Эдварду Стробику — два гарнитура спальной под «птичий глаз». Адам Дэвис тоже почтил торги своим присутствием и приобрел письменный стол «буль», которым так дорожил старый Каупервуд. К Флетчеру Нортону перешли четыре греческие чаши, кувшин и две амфоры, которые он считал прекрасными произведениями искусства и сам же в свое время продал Каупервуду. Множество других превосходных вещей, в том числе севрский обеденный сервиз, гобелен, бронзу Бари и картины Детайля, Фортуни и Джорджа Иннеса, купили Уолтер Ли, Артур Райверс, Джозеф Зиммермен, судья Китчен, Харпер Стеджер, Тэренс Рэлихен, Трэнор Дрейк, мистер Саймон Джонс с женой, мистер Дэвисон, Фруэн Кэссон, Флетчер Нортон и судья Рафальский.

Через четыре дня после начала торгов оба дома были уже пусты. Даже вещи, находившиеся в свое время в доме номер девятьсот тридцать один по Десятой улице и сданные на хранение, когда хозяева сочли наиболее целесообразным отказаться от этого дома, были изъяты со склада и пущены в продажу вместе с имуществом из двух других домов. Только это и навело родителей Каупервуда на мысль о какой-то тайне, существовавшей в отношениях между сыном и его женой. Никто из Каупервудов при мрачной картине разрушения не присутствовал. Эйлин, которая прочитала в газете о торгах, зная, как дорожил Каупервуд красивыми вещами, — не говоря уже о том, сколько чудесных воспоминаний было связано с некоторыми из них у нее самой, — пришла в отчаяние. Но она недолго предавалась мрачным мыслям, ибо была твердо убеждена, что настанет день, когда Фрэнк выйдет на

свободу и достигнет еще более высокого положения в финансовом мире. Откуда в ней бралась столь твердая уверенность, она и сама не знала, но тем не менее это было так.

55

Тем временем Каупервуда перевели в ведение другого надзирателя, в новую камеру, помещавшуюся в нижнем этаже корпуса номер три. По размерам — десять футов на шестнадцать — она не отличалась от других, но к ней примыкал упомянутый уже нами дворик. За два дня до этого к Каупервуду пришел начальник тюрьмы Десмас, и у них состоялся непродолжительный разговор сквозь зарешеченный глазок в двери.

— В понедельник вас переведут отсюда, — сказал Десмас, как всегда размеренно и неторопливо. — Вам предоставят камеру с двориком; впрочем, много пользы от него не будет: у нас разрешается проводить вне камеры только полчаса в день. Я уже предупредил надзирателя относительно ваших деловых посетителей. Он не станет возражать. Вы только постарайтесь не тратить на них слишком много времени, и все будет в порядке. Я решил обучить вас плетению стульев. Это, по-моему, для вас самая подходящая работа. Она легкая, но требует внимания.

Начальник тюрьмы и несколько связанных с ним политических деятелей извлекали из этого тюремного промысла немалые барыши. Труд был действительно нетяжелый и довольно простой, задания на день давались умеренные, но вся продукция находила немедленный сбыт, а прибыль шла в карманы работодателей. Поэтому они, естественно, стремились, чтобы заключенные не сидели без дела, да и тем это тоже шло на пользу. Каупервуд был рад возможности чем-нибудь заняться, так как к книгам его особенно не влекло, а деловых отношений с Уингейтом и ликвидации

старых дел было недостаточно, чтобы занять его ум. И все же он не мог не подумать, что если он и сейчас кажется самому себе неузнаваемым, то насколько же еще возрастет это ощущение, когда он, сидя за решеткой, будет заниматься плетением стульев! Тем не менее Каупервуд поблагодарил Десмаса за заботу, а также за разрешение передать ему простыни и принадлежности туалета, которые он только что получил.

— Не стоит об этом говорить, — мягко и приветливо отвечал тот (к этому времени он уже начал весьма интересоваться Каупервудом). — Я прекрасно знаю, что и здесь, как везде, есть разные люди. Если человек привык ко всем этим вещам и хочет содержать себя в опрятности, я не собираюсь ему в этом препятствовать.

Новый надзиратель, в ведение которого теперь попал Каупервуд, ничем не напоминал Элиаса Чепина. Звали его Уолтер Бонхег. Это был рослый детина тридцати семи лет, флегматичный, но хитрый; главная цель его жизни заключалась в увеличении доходов сверх положенного ему жалованья. По повадкам Бонхега можно было предположить, что он играет роль осведомителя Десмаса, но это было бы верно лишь отчасти. Зная лукавство и подобострастие Бонхега, а также его поразительный нюх к наживе своей и чужой, Десмас инстинктивно понял, что от него нетрудно добиться поблажек для того или иного заключенного, стоит только ему дать понять хотя бы намеком, что это необходимо или желательно. Короче говоря, если Десмас выказывал малейший интерес к какому-нибудь арестанту, ему не приходилось даже сообщать об этом Бонхегу; достаточно было вскользь обронить, что вот такой-то привык к совсем иной жизни или же что ввиду тяжелых переживаний в прошлом на нем может дурно отразиться

суровое обращение, и Бонхег готов был разбиться в лепешку для этого арестанта. Беда была лишь в том, что человеку неглупому и мало-мальски сообразительному его внимание было неприятно, так как надзиратель явно напрашивался на подачки, а с людьми бедными и невежественными он обходился грубо и высокомерно. Бонхег устроил себе постоянную статью дохода от продажи арестантам товаров, которые тайком доставлял в тюрьму. Правила тюремного распорядка строго воспрещали

— по крайней мере на бумаге — снабжать заключенных тем, чего не было в ассортименте тюремной лавки, а именно: хорошим табаком, писчей бумагой, перьями, чернилами, виски, сигарами и какими бы то ни было лакомствами. С другой стороны — и это было весьма на руку Бонхегу, — заключенным выдавали прескверный табак и никуда не годные перья, чернила и бумагу, которыми не пользовался ни один мало-мальски уважающий себя человек, если, конечно, у него была возможность раздобыть себе что-нибудь получше. Виски не разрешалось получать вообще, а лакомства считались недопустимыми, так как они свидетельствовали бы о явно привилегированном положении тех, кому доставлялись. Тем не менее и то и другое в тюрьме не было редкостью. Если у заключенного водились деньги и он хотел что-либо достать через посредство Бонхега, он мог быть уверен, что получит желаемое. За деньги можно было купить и звание «старосты», дозволявшее бывать на главном тюремном дворе, а также право оставаться в дворике при камере сверх положенного получаса в день.

Как это ни странно, но Каупервуду оказалось весьма на руку то обстоятельство, что Бонхег дружил с надзирателем, в ведении которого находился Стинер: с

бывшим казначеем, благодаря заступничеству его политических сообщников, обращались крайне снисходительно, и это стало известно Бонхегу. Сам он был не охотник читать газеты и плохо разбирался в политических событиях, но знал, что и Каупервуд и Стинер в прошлом люди с большим весом и что из них двоих Каупервуд более важная персона. Кроме того, Бонхег прослышал, что у Каупервуда еще водятся деньги. Об этом ему сообщил один из заключенных, пользовавшийся правом читать газеты. Итак, Бонхег, независимо от указаний начальника тюрьмы Десмаса, отданных как бы вскользь и крайне немногословных, сам стремился услужить Каупервуду, разумеется, не задаром.

В первый же день водворения Каупервуда в новую камеру Бонхег вразвалку подошел к еще открытой двери и покровительственным тоном спросил:

— Ну как, все свои вещи перетащили?

Собственно, он был обязан запереть дверь тотчас же после того, как заключенный вошел в камеру.

— Да, сэр, — отвечал Каупервуд, предусмотрительно узнавший у Чепина фамилию нового надзирателя. — Вы, надо думать, мистер Бонхег?

— Он самый, — подтвердил надзиратель, немало польщенный таким проявлением почтительности, но еще более заинтересованный тем, что практически сулило ему новое знакомство. Ему не терпелось раскусить Каупервуда, понять, что это за человек.

— Вы увидите, что здесь куда лучше, чем наверху, — заметил он. — Не так душно. Эти вторые двери наружу все-таки кое-что значат.

— Ну, понятно, — не преминул ввернуть Каупервуд. — Очевидно, это и есть тот дворик, о котором мне говорил мистер Десмас.

Уши Бонхега едва ли не дрогнули, как у послушного коня при звуке этого магического заклинания. Ведь если Каупервуд в таких приятельских отношениях с Десмасом, что тот заранее описал, какая у него будет камера, то необходимо проявить к нему особую предупредительность.

— Да, это ваш дворик. Но толку-то от него немного, — добавил надзиратель, — начальство не разрешает находиться в нем более получаса в день. Конечно, ничего бы не случилось, если б кое-кому разрешали оставаться там и подольше…

Это был первый намек на взятку, на возможность купить известные послабления, и Каупервуд тотчас же понял, что к чему.

— Как обидно, — сказал он, — неужели даже хорошее поведение не меняет дела?

Он ожидал ответа на свой вопрос, но Бонхег продолжал как ни в чем не бывало:

— Мне надо будет обучить вас ремеслу. Начальник сказал, что вы займетесь плетением стульев. Если хотите, мы можем сейчас же приступить к делу.

Не дожидаясь согласия Каупервуда, он куда-то вышел и вскоре вернулся с тремя некрашеными стульями без сидений и связкой тростниковых стеблей или волокон, которую бросил на пол. Затем он торжественно возгласил:

— Глядите внимательно! — и стал показывать Каупервуду, как переплетать волокна, предварительно пропуская их сквозь отверстия по краям стула, как их подрезать и закреплять маленькими ореховыми колышками.

Немного погодя он принес шило, молоточек, ящик с колышками и кусачки. Продемонстрировав несколько раз, как получить те или иные геометрические узоры из полосок разной длины, Бонхег разрешил Каупервуду попробовать самому и стал через его плечо наблюдать за работой. Молодой финансист, быстро все схватывавший, будь то область умственного или физического труда, принялся за дело с обычной для него энергией и через пять минут уже доказал Бонхегу, что может работать не хуже всякого другого. Конечно, быстрота и сноровка должны были еще прийти с практикой.

— У вас дело пойдет на лад, — сказал надзиратель. — В день полагается изготовить десять штук. Первые дни, покуда вы не набьете себе руку, конечно, не в счет. А потом я зайду посмотреть, как вы управляетесь. Ну а про вывешивание полотенца за дверь вы, вероятно, знаете? — спросил он.

— Да, мистер Чепин объяснил мне это, — отвечал Каупервуд. — Большинство правил я теперь, видимо, знаю и постараюсь их не нарушать.

Ближайшие дни принесли с собой много изменений в тюремном быту Каупервуда, но, конечно, этого было далеко не достаточно, чтобы сделать его жизнь терпимой. Обучая Каупервуда искусству плетения стульев, Бонхег недвусмысленно намекнул, что готов оказать ему целый ряд услуг. Одной из побудительных причин такой готовности было следующее: ему не давало

покоя, что к Стинеру приходит больше посетителей, чем к Каупервуду, что бывшему казначею время от времени присылают корзины с фруктами, которые он отдает надзирателю, и что его жене и детям разрешены свидания вне установленных сроков. Бонхега разбирала зависть. Как же это так, — свой брат надзиратель задается теперь перед ним, рассказывая, как весело живут в галерее номер четыре. Бонхегу очень хотелось, чтобы Каупервуд воспрял духом и показал, что он тоже кое-что да значит.

Поэтому он начал с наводящих вопросов:

— Вот, я вижу, к вам каждый день приходят ваши адвокат и компаньон. Но, может, вам еще кого-нибудь хотелось бы повидать? Правда, наши правила не разрешают жене, сестре или кому-нибудь еще приходить в неположенные дни. — Тут он сделал паузу и многозначительно поглядел на Каупервуда, как бы давая понять, что намерен поведать ему нечто сугубо секретное. — Но ведь далеко не все правила соблюдаются здесь в точности, — добавил он.

Не таков был Каупервуд, чтобы упустить представившийся случай. Он чуть заметно улыбнулся — отчасти, чтобы дать выход своей радости, отчасти из желания показать Бонхегу, как он ему признателен, вслух же сказал:

— Дело в том, мистер Бонхег, что вы, я полагаю, лучше многих других понимаете, в каком я положении, и потому будем говорить с вами прямо. Конечно, есть люди, которым хотелось бы прийти ко мне, но я боялся их приглашать, не зная, дозволено ли это. Если вы мне пойдете навстречу, я буду вам очень признателен. Мы с вами люди практические, и я прекрасно понимаю, что

когда человеку оказывают услугу, он должен помнить, кому он этой услугой обязан. Если при вашем содействии я начну пользоваться здесь большими удобствами, то докажу вам, что умею это ценить. При себе у меня денег нет, но я всегда могу достать их и уж, конечно, постараюсь, чтобы вы получили надлежащее вознаграждение.

Толстые короткие уши Бонхега чуть покраснели. Умные речи приятно слушать.

— Для вас я могу это устроить, — подобострастно заверил он Каупервуда.

— Положитесь на меня! Когда бы и кого бы вы ни захотели видеть, дайте только мне знать. Понятно, я должен соблюдать осторожность, да и вы тоже, но все это устроится. И если у вас будет охота утром подольше остаться во дворике или выйти туда в другое время, — валяйте! Беда невелика. Я оставлю дверь открытой. Если же поблизости окажется мистер Десмас или еще кто из начальства, я звякну ключом об вашу решетку, а вы войдете и закроете дверь. Когда вам понадобится что купить, ну там варенья, яиц, масла или чего-нибудь в этом роде, — я все раздобуду. Вы, наверное, захотите сделать свой стол немного разнообразнее.

— Я вам чрезвычайно признателен, мистер Бонхег, — спокойно и почтительно отвечал Каупервуд, с трудом сдерживая улыбку и сохраняя серьезную мину.

— Что касается того, о чем мы уже толковали, — повторил надзиратель (он имел в виду свидания в неположенные дни), то это я могу вам устроить в любое время. Я знаю всех караульных. Захочется вам кого видеть — пишите этому человеку записку и давайте ее мне. Когда он придет, пускай спросит меня, я уж проведу

его к вам. Разговаривать будете у себя в камере. Понятно? Но как только я легонько постучу, ему надо будет уходить. Это уж вы запомните. Так, значит, известите меня — и все.

Каупервуд был от души благодарен ему и высказал это в самых любезных выражениях. Первая его мысль была об Эйлин: теперь она сможет навестить его, остается только сообщить ей об этом. Надо, конечно, чтобы она надела густую вуаль, тогда ей ничто не будет угрожать. Он сел писать, и когда пришел Уингейт, попросил его отправить письмо.

Два дня спустя, в три часа пополудни — точно в назначенное Каупервудом время — Эйлин явилась в тюрьму. На ней был серый суконный костюм с белой бархатной отделкой и блестящими, как серебро, стальными гранеными пуговицами; белоснежная горностаевая горжетка, шапочка и муфта служили ей как для украшения, так и для защиты от холода. Поверх этого бросающегося в глаза наряда она набросила длинную темную накидку, которую намеревалась снять сейчас же по приходе. Эйлин одевалась для этого случая с величайшим тщанием и немало времени потратила на выбор прически, обуви, перчаток и золотых украшений. Лицо ее, по совету Каупервуда, было скрыто под густой зеленой вуалью. Приехала она в такое время, когда Каупервуд предполагал, что будет один. Уингейт обычно приходил в четыре, по окончании делового дня, а Стеджер если и являлся, то по утрам. Необычность всего, что ей предстояло, очень волновала Эйлин; сойдя с конки — в данном случае этот способ передвижения показался ей наиболее подходящим, — она переулком направилась к тюрьме. Холодная погода и серые тюремные стены под таким же серым небосводом

наполнили ее душу отчаянием, но она изо всех сил старалась сохранять спокойствие, чтобы своим видом ободрить возлюбленного. Она знала, как живо он воспринимает ее красоту, подчеркнутую соответствующим убранством.

В ожидании ее прихода Каупервуд постарался придать своей камере более или менее сносный вид. Он лишний раз подмел пол и перестелил койку; затем побрился, причесал волосы и вообще по мере возможности привел себя в порядок. Свою работу — стулья с неоконченными сиденьями — он засунул под койку. Кружка и миска были вымыты и стояли на полке, а грубые, тяжелые башмаки он почистил щеткой, которой обзавелся для этой цели. Никогда еще Эйлин не видела его таким! Вся эта обстановка уязвляла его эстетическое чувство. Эйлин неизменно восхищалась вкусом, с которым он одевался, и его уменьем носить костюм, теперь же он предстанет перед ней в одежде, которую не скрасит никакая осанка! Его душевное равновесие поддерживалось только непоколебимым сознанием собственного достоинства. В конце концов он все же Фрэнк Каупервуд, а это что-нибудь да значит, как бы он ни был одет. Эйлин будет того же мнения. Ведь еще может прийти день, когда он опять станет свободен и богат, и Эйлин верит в это. Кроме того, как бы он ни выглядел и в каких бы обстоятельствах ни находился, она будет все так же относиться к нему или даже любить его еще больше. Если он и опасался чего-нибудь, то именно слишком бурных проявлений ее сострадания. Какое счастье, что Бонхег сам предложил впустить Эйлин в камеру: разговаривать с ней через решетку было бы невыносимо.

По приходе в тюрьму Эйлин спросила мистера Бонхега, ее провели в центральное здание и немедленно послали за ним.

— Я хотела бы, если можно, навестить мистера Каупервуда, — пробормотала она, когда он предстал перед ней.

— Пожалуйста, я провожу вас, — с готовностью откликнулся Бонхег.

Уже при входе в центральное здание он был поражен юностью посетительницы, хотя и не мог разглядеть ее лица. Это, однако, вполне соответствовало тому, что он ожидал от Каупервуда! Человек, который сумел украсть полмиллиона долларов и обвести вокруг пальца весь город, конечно, пускается в самые удивительные приключения, а Эйлин выглядела как настоящая искательница приключений. Он провел ее в комнату, где стоял его стол и где дожидались приходившие на свидание посетители, а сам поспешил к Каупервуду, сидевшему за работой. Легонько стукнув ключом о дверь, Бонхег доложил:

— Вас спрашивает какая-то молодая леди. Привести ее сюда?

— Благодарю вас, конечно, приведите! — отвечал Каупервуд, и Бонхег быстро удалился, забыв — не намеренно, а лишь по недостатку чуткости — оставить дверь камеры незапертой, так что ему пришлось отпирать ее в присутствии Эйлин.

При виде длинного коридора, массивных дверей, всего этого помещения, геометрически точно перегороженного решетками, и серого каменного пола у Эйлин мучительно сжалось сердце. Тюрьма, железные

клетки! И в одной из них он. Обычно мужественная, она вся похолодела. Ее Фрэнк в таком страшном месте! Какая низость запереть его сюда! Судьи, присяжные, юристы, тюремщики представлялись ей скопищем людоедов, свирепо взиравших на нее и ее любовь. Громыхание ключа в замке и тяжело распахнувшаяся дверь еще усилили душевную тоску Эйлин. Затем она увидела Каупервуда.

Памятуя об обещанной мзде, Бонхег впустил Эйлин и скромно удалился. Эйлин смотрела на Фрэнка из-под вуали, боясь произнести хоть слово, так как она еще не была уверена, что надзиратель ушел. А Каупервуд, который лишь огромным усилием воли держал себя в руках, не сразу подал ей знак, что они одни.

— Все в порядке, — сказал он наконец. — Никого нет.

Эйлин подняла вуаль и, снимая накидку, украдкой оглядела тесную, словно сдавленную стенами камеру, увидела ужасное состояние Фрэнка, его бесформенную одежду, железную дверь позади него, которая вела во дворик. Фрэнк в этой камере, где еще вдобавок из-под койки торчали незаконченные плетенки, производил на нее неестественное, жуткое впечатление. Ее возлюбленный! И в таких условиях! Эйлин трясло как в лихорадке, и она тщетно пыталась заговорить. Она нашла в себе силы лишь обнять его и, гладя по голове, забормотала:

— Мой дорогой, любимый! Что они с тобой сделали! Бедненький ты мой!

Она прижимала его голову к себе. Каупервуд прилагал все усилия, чтобы овладеть собой, но вдруг задрожал и лицо его перекосилось. Ее любовь была так

безгранична, так неподдельна; она успокаивала и вместе с тем, как он в том убеждался, расслабляла его, превращая в беспомощного ребенка. Так или иначе, но под воздействием слепых, таинственных сил, порою берущих верх над разумом, он впервые в жизни потерял самообладание. Глубокое волнение Эйлин, воркующий звук ее голоса, бархатная нежность ее рук, ее красота, всегда так властно манившая его и, быть может, еще более ослепительная здесь, среди этих нагих стен, его собственная униженность и бессилие — все это отняло у него остаток воли. Он не понимал, что с ним случилось, старался справиться с собой, но не мог. Когда, лаская его, она прижала к себе его голову, он почувствовал стеснение в груди, дыхание у него перехватило и болезненная судорога свела горло. Странное и непривычное желание заплакать овладело им; он отчаянно этому противился, но все его существо было потрясено. И словно для того, чтобы совсем доконать его, в воображении Каупервуда возникла своеобразная пестрая картина привольного мира, так недавно им покинутого, прекрасного, чарующего, в который он надеялся со временем вернуться. Острее чем когда-либо ощутил он в этот миг всю унизительность своих грубых башмаков, рубахи из простой бумажной ткани, полосатой куртки и клички «арестант», которая навеки останется за ним. Он порывисто отстранил Эйлин, повернулся к ней спиной, сжал кулаки; все его мускулы напряглись, но поздно: он плакал и не мог остановиться.

— Проклятие! — гневно и жалобно воскликнул Каупервуд, охваченный стыдом и злобой. — Только не хватало мне плакать! Что со мной творится, черт побери!

Эйлин увидела его слезы. В мгновение ока она бросилась к нему, обхватила одной рукой его голову, а

другой — потрепанную куртку и так крепко прижала его к себе, что он не сразу сумел высвободиться.

— О милый, милый, милый! — лихорадочно, изнемогая от жалости, зашептала она. — Я люблю тебя, обожаю! Я дала бы изрезать себя на куски, если бы это пошло тебе на пользу! Подумать только, они довели тебя до слез! Ах, родной мой, родной, любимый мальчик!

Она еще крепче прижала к себе содрогавшееся от рыданий тело и свободной рукой гладила его голову. Она целовала его в глаза, волосы, щеки. Фрэнк попытался освободиться и снова воскликнул:

— Что же это со мной, черт побери?!

Но она опять притянула его к себе.

— Плачь, милый, плачь, не стыдись своих слез! Положи голову мне на плечо и плачь. Плачь вместе со мной. Маленький мой, сокровище мое!

Через минуту-другую он успокоился и напомнил ей, что сейчас может войти надзиратель. Понемногу к нему вернулось самообладание, утраты которого он так стыдился.

— Чудесная ты девочка! — прошептал он с нежной и виноватой улыбкой. — Верная, сильная, такая мне и нужна; ты для меня огромная поддержка. Но только не убивайся! Я себя чувствую отлично, и здесь вовсе не так плохо, как кажется. Ну, а теперь расскажи о себе.

Но Эйлин не очень-то легко было успокоить. Напасти, обрушившиеся на него в последнее время, и условия, в которых он здесь находился, возмущали ее чувство справедливости и человеческого достоинства. Подумать только, до чего довели ее чудного,

замечательного Фрэнка: он плакал! Она нежно гладила его голову, меж тем как ее душу обуревала бешеная, беспощадная ярость против жизни, против нелепых превратностей судьбы и тех преград, которые жизнь эта ставит на пути человека. Отец — будь он проклят! Родные

— что ей до них! Фрэнк! Фрэнк для нее — *все*! Как мало значит остальной мир, когда дело касается Фрэнка! Никогда, никогда, никогда она не бросит его, что бы ни случилось! И сейчас, безмолвно прильнув к нему, она вела в душе беспощадную борьбу с жизнью, законом, судьбой и обстоятельствами. Закон — вздор! Люди — звери, дьяволы, враги, бешеные собаки! С наслаждением, с восторгом она пожертвовала бы собой. Она готова была бежать хоть на край света ради Фрэнка или вместе с Фрэнком. Ради него она способна на все. Семья для нее — ничто, и жизнь — тоже ничто, ничто, ничто! Она сделает все, что он захочет, все, что ему вздумается! Важно только одно — спасти его и дать ему как можно больше счастья. Ему, ему одному — больше для нее никто не существует.

56

Время шло. После договоренности с Бонхегом жена, мать и сестра стали изредка навещать Каупервуда. Лилиан с детьми устроилась в небольшом доме, за который платил Фрэнк, а на все другие нужды Уингейт выдавал ей в счет его доходов сто двадцать пять долларов в месяц. Каупервуд понимал, что ему следовало бы выплачивать ей больше, но его возможности в это время были далеко не блестящи. Окончательный крах всех финансовых дел Каупервуда наступил в марте, когда его официально объявили банкротом и все его имущество было конфисковано в пользу кредиторов. Только на покрытие задолженности городскому казначейству — пятьсот тысяч долларов — потребовалось бы больше денег, чем можно было реализовать, если бы не установили расчет по тридцать центов за доллар. Но и после этого городу все равно ничего не досталось, так как путем различных махинаций у него оттягали права на получение этой суммы. Город якобы опоздал с предъявлением претензий. Это, конечно, послужило к выгоде других кредиторов, поделивших между собой сумму, в которой было отказано городскому казначейству.

По счастью, Каупервуд вскоре на опыте убедился, что его деловые операции, проводимые совместно с Уингейтом, сулят недурную прибыль. Его компаньон несомненно имел по отношению к нему самые честные намерения. Он взял к себе на службу — правда, за весьма скромное вознаграждение — обоих братьев Каупервуда: один должен был вести отчетность и заведовать конторой, другой, вместе с Уингейтом,

орудовать на бирже, поскольку за Джо и Эдвардом там сохранились их места. Кроме того, хотя и с большим трудом, Уингейт приискал место служащего в одном из банков для старого Каупервуда.

Со времени ухода из Третьего национального банка старик пребывал в чрезвычайно подавленном моральном состоянии, не зная, чем в дальнейшем заполнить свою жизнь. Позор его сына! Страшные часы суда над ним и взятие его под стражу! Со дня осуждения Фрэнка присяжными и особенно со дня вынесения ему приговора и отправки в тюрьму старый Каупервуд двигался как во сне. Этот процесс! Это обвинение против Фрэнка! Его родной сын — арестант, в полосатой одежде, после того, как они с Фрэнком еще так недавно гордились своей принадлежностью к числу наиболее преуспевающих и уважаемых людей в городе! Как и многие в минуты скорби, старик начал усердно читать Библию, пытаясь найти на ее страницах то утешение, которое, как он привык верить с юных лет, хотя в последнее время редко вспоминал об этом, содержалось в ней для страждущих душ. Псалтырь, книга Исайи, Иова, Экклезиаст… Но горе было велико, и Библия его не врачевала.

Изо дня в день он уединялся в своей новой комнатке, служившей ему спальней и кабинетом, уверяя жену, что у него еще остались кое-какие неотложные дела, требующие сугубой сосредоточенности. Запершись на ключ, он садился и начинал раздумывать над всеми своими бедами и утратами, самой горькой из которых была утрата доброго имени. А через несколько месяцев, когда Уингейт подыскал для него место бухгалтера в одном из пригородных банков, он стал спозаранку уходить из дому и возвращаться поздно вечером, всегда

мрачно раздумывая о несчастьях — прошлых, а возможно, и будущих.

Жалкое зрелище являл собою этот старик — не первая и не последняя жертва превратностей финансового мира. Он брал с собой в коробочке еду, так как возвращаться домой во время недолгого дневного перерыва было затруднительно, а закусывать в ресторане при его нынешних доходах он себе не мог позволить. Его единственным желанием теперь было вести пристойное и незаметное существование, пока не придет смертный час, ждать которого, как он надеялся, оставалось уже недолго. Нельзя было без боли смотреть на его костлявое тело, тонкие ноги, седые волосы и совсем побелевшие бакенбарды. Он сильно исхудал, и движения его сделались угловатыми. Когда ему предстояло решить какой-нибудь трудный вопрос, он становился в тупик и не мог сосредоточиться. Старая привычка подносить иногда руку ко рту и удивленно раскрывать глаза, появившаяся у него еще в лучшие времена, теперь полностью завладела старым Каупервудом. Сам того не сознавая, он постепенно опускался, превращаясь в какой-то автомат. Жизнь искони усеивает свои берега такими страшными и жалкими обломками крушения.

Фрэнк Каупервуд в эту пору немало раздумывал над своим равнодушием к жене, которое он с особенной ясностью осознал в последнее время, а также о том, как сообщить ей об этом равнодушии и тем самым положить конец их супружеству. Но ничего, кроме жесткого и правдивого объяснения, он не придумал. Он замечал, что она теперь всячески старалась подчеркнуть свою преданность ему и вела себя так, словно никакие подозрения ее не смущали. Между тем со времени суда

до нее из различных источников то и дело доходили слухи, что его интимная связь с Эйлин продолжается, и только мысль о бедствиях, обрушившихся на мужа, да еще надежда вновь увидеть его преуспевающим финансистом удерживали ее от объяснения с ним. Он заперт в одиночной камере, говорила она себе, и вправду искренне жалела его, но прежней любви уже не испытывала. Поистине он заслуживал наказания за свое недостойное поведение, потому его и покарала рука всевышнего.

Не трудно себе представить, как отозвался Каупервуд на такое отношение, когда заметил это. Хотя Лилиан приносила ему всевозможные лакомые кушанья и сокрушалась об его участи, он по множеству мелких признаков догадывался, что она не только скорбит, но и порицает его, а Каупервуд всю жизнь не терпел проповедей и постных физиономий. По сравнению с Эйлин, полной обнадеживающей жизнерадостности и пылкого задора, усталая безликость миссис Каупервуд была но меньшей мере скучна. Эйлин после первой вспышки озлобления на судьбу, вспышки, кстати, не вызвавшей у нее слез, видимо снова уверовала в то, что он выйдет на свободу и опять начнет преуспевать. Она не переставала говорить о будущем, о грядущих успехах Каупервуда, потому что свято в них верила. Чутьем она понимала, что тюремные стены не могут сделать его узником по натуре. В день первого свидания она перед уходом дала Бонхегу десять долларов, поблагодарила его своим мелодичным голосом за внимание, впрочем, не открывая лица, и попросила и впредь быть любезным к Каупервуду, этому «большому человеку», как она охарактеризовала его; корыстолюбивый и тщеславный Бонхег был окончательно покорен. С тех пор он готов

был на что угодно для дамы в темной накидке. Будь на то его воля, посетительница могла бы хоть целую неделю не выходить из камеры Каупервуда, но, к сожалению, существовали еще и правила тюремного распорядка.

Приблизительно на четвертом месяце своего пребывания в тюрьме Каупервуд решил, наконец, переговорить с женой о невозможности продолжать совместную жизнь и о своем желании получить развод. К этому времени он уже успел свыкнуться с арестантским бытом. Тишина камеры и черная работа, которую ему приходилось выполнять, такая гнетущая, примитивная, вначале способная свести с ума своим бессмысленным однообразием, теперь казалась ему будничной — тупой, но не мучительной. Кроме того, он приобрел сноровку одиночных заключенных. Научился, например, подогревать на своей лампочке остатки обеда или кушаний, присланных женой и Эйлин. Он более или менее избавился от зловония в своей камере, упросив Бонхега доставлять ему в небольших пакетиках известь, которой и пользовался весьма щедро. Кроме того, с помощью крысоловок он одержал верх над особенно наглыми крысами. С разрешения Бонхега, по вечерам, уже после того, как его камеру запирали на ночь и плотно затворяли наружную деревянную дверь, он выносил свой стул во дворик и, если погода была не слишком холодная, подолгу сидел там, глядя в небо, в ясные ночи усеянное звездами. Астрономия как наука никогда раньше не интересовала Фрэнка, но теперь Плеяды, кольцо вокруг Ориона, Большая Медведица, Полярная звезда приковывали к себе его внимание и будоражили фантазию. Он дивился математической правильности расположения звезд в созвездии Ориона и размышлял, нет ли в этом какого-нибудь скрытого

смысла. Туманное скопище солнц в Плеядах говорило о неизмеримых глубинах пространства, и он думал о Земле — крохотном шарике, плывущем в беспредельных просторах эфира. Перед лицом этих явлений собственная жизнь начинала казаться ему чем-то весьма маловажным, и он ловил себя на мысли о том, имеет ли она вообще какое-нибудь значение. Впрочем, он без труда стряхивал с себя подобные настроения, ибо ему была свойственна жажда величия, и он очень высоко ставил себя и свою деятельность, а натура у него была практическая и жизнелюбивая. Какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что, каково бы ни было его нынешнее положение, он еще станет знаменитым человеком и слава о нем прогремит по всему миру, надо только дерзать, дерзать и дерзать. Не у всех есть дар предвидения и уменье ловить мимолетный миг, но ему это дано, и он должен стать тем, для чего он создан! Ему не уйти от заложенного в нем величия, как многим другим — от ничтожества.

Миссис Каупервуд явилась во второй половине дня — скорбная, с портпледом, в котором она принесла несколько смен белья, две простыни, тушеное мясо в кастрюльке и пирог. И хотя она была сегодня не грустнее обычного, Каупервуд объяснил ее задумчивость мыслями о его связи с Эйлин, про которую, как ему было известно, Лилиан знала. Что-то в ее манере держаться заставило его заговорить с ней об этом. Спросив о детях и выслушав ее вопросы относительно того, что принести ему в следующий раз, он сказал, сидя на своем единственном стуле, меж тем как она сидела на койке:

— Лилиан, мне уже давно хотелось серьезно поговорить с тобой. В сущности, это следовало бы сделать раньше, но лучше поздно, чем никогда. Тебе

известно — я это знаю — об отношениях между мной и Эйлин Батлер, и лучше всего сказать об этом открыто и прямо. Я ее очень люблю, а она глубоко привязана ко мне. Если я когда-нибудь выйду отсюда, я хочу все устроить так, чтобы мы с ней могли пожениться. Это значит, что тебе придется дать мне развод: я надеюсь на твое согласие, об этом-то я и хотел сейчас поговорить с тобой. Такое мое желание вряд ли является для тебя большой неожиданностью, — ведь ты и сама, наверное, уже давно замечаешь, что наши отношения оставляют желать лучшего. При настоящих обстоятельствах я не думаю, чтобы это было для тебя тяжелым ударом.

Он выжидательно замолчал, так как миссис Каупервуд не сразу ему ответила. Первой ее мыслью было, что она должна изобразить удивление или гнев, но, поймав на себе его пристальный, испытующий взгляд, ясно доказывавший, что никакие проявления бурных чувств не тронут его, она поняла, насколько это было бесполезно. А что за сухость и деловитость тона, как бесстыдно он говорит о том, что ей казалось, глубоко личным и интимным. Она никогда не могла понять его отношения к сокровенным тайнам жизни. Он имел обыкновение невозмутимо говорить о том, что, по ее понятиям, неизменно следовало обходить молчанием. Нередко ей приходилось краснеть, слушая, с какой откровенностью он обсуждает те или иные случаи из светской жизни, но она думала, что такая бесцеремонность свойственна всем выдающимся личностям, и потому молчала. Есть люди, которые ни с чем не желают считаться, и общество, видимо, бессильно против них. Может быть, господь когда-нибудь их покарает, но даже в этом она не была уверена, и каким бы дурным, прямолинейным и бесцеремонным человеком

ни был Фрэнк, он все-таки интереснее большинства так называемых солидных людей, для которых важнее всего учтивость в речах и скромность в мыслях.

— Я знаю, — начала она довольно миролюбиво, хотя и не без сдержанного возмущения. — Я уже знала давно и все ждала, что ты заговоришь об этом. Недурная награда за мою преданность! Но это так похоже на тебя, Фрэнк! Когда ты вобьешь себе какую-нибудь блажь в голову, тебя ничто не остановит. Все шло так хорошо; у нас двое детей, которых ты должен бы любить, но тебе этого показалось мало — ты связался с этой тварью, дочкой Батлера, и теперь весь город говорит о вас. Я знаю, что она бегает сюда в тюрьму. Я как-то раз столкнулась с ней, когда она выходила отсюда, и, конечно, все уже знают об этих посещениях. Она не понимает, что такое порядочность, ей, тщеславной дряни, ни до кого дела нет, но тебе, Фрэнк, должно быть стыдно идти по такому пути, когда я еще твоя жена, когда у тебя есть дети, отец, мать и когда — ты сам это прекрасно знаешь — тебе еще предстоит такая упорная борьба, чтобы снова выбиться в люди! Будь в ней хоть капля порядочности, она не стала бы путаться с тобой, бесстыдная девчонка!

Каупервуд выслушал жену и глазом не моргнув. Ее слова только лишний раз подтверждали то, в чем он уже давно убедился, — по всему своему складу она чужой ему человек. Лилиан уже не была так привлекательна внешне, а по умственному уровню стояла ниже Эйлин. К тому же общение с женщинами, которые удостаивали посещениями его дом в дни расцвета, уже давно заставило Каупервуда осознать, что Лилиан лишена подлинной светскости и утонченности. Правда, Эйлин в этом смысле ненамного превосходила ее, но она была

молода, восприимчива, чутка и могла еще выработать в себе эти качества. Благоприятные условия — так по крайней мере ему хотелось думать

— могли еще преобразить Эйлин, тогда как Лилиан — теперь он в этом окончательно убедился — была безнадежна.

— Я не уверен, что ты способна понять меня, Лилиан, — сказал он наконец, — но мы с тобой уже не подходим друг другу.

— Три или четыре года назад ты был другого мнения, — с горечью перебила его жена.

— Когда я на тебе женился, мне был двадцать один год, — жестко и неумолимо продолжал Каупервуд, не обращая внимания на ее слова, — и я, право, был слишком молод, чтобы сознавать значение своего поступка. Я был мальчишкой. Но это неважно. Я не подыскиваю себе оправданий. И хочу сказать лишь одно; прав я или не прав, были у меня на то уважительные причины или нет, но мои взгляды с тех пор изменились. Я больше не люблю тебя и не хочу, — независимо от того, как на это смотрят другие, — продолжать отношения, которые меня не удовлетворяют. У тебя своя точка зрения, у меня своя. Ты себя считаешь правой, и с тобой будут согласны тысячи людей, но я иного мнения. Мы никогда из-за этого не ссорились, так как я считал, что тут и разговаривать не о чем. По-моему, при создавшемся положении я не совершаю никакой несправедливости, прося тебя вернуть мне свободу. Я не собираюсь бросить тебя или детей на произвол судьбы, я сумею обеспечить вам вполне приличное содержание, но, если мне суждено когда-нибудь выйти отсюда, мне нужна будет личная свобода, и тебе придется мне ее

предоставить. Деньги — те, что у тебя были, и даже гораздо больше — ты получишь назад, как только я выйду на волю и восстановлю свое дело. Но только в том случае, если ты не станешь чинить препятствий, а напротив — пойдешь мне навстречу. Я хочу и буду всегда помогать тебе, но так, как я сочту нужным.

Он задумчиво расправил складку на своих полосатых брюках и одернул рукав куртки. Каупервуд походил сейчас скорее на умного и развитого рабочего, чем на преуспевшего джентльмена, которым был еще недавно.

Миссис Каупервуд пришла в негодование.

— Очень мило ты со мной разговариваешь и поступаешь! — трагическим голосом воскликнула она, вскакивая и принимаясь ходить по крохотному пространству шага в два, не более, между стеной и койкой. — Когда ты хотел на мне жениться, я должна была сообразить, что ты слишком молод и еще сам себя не знаешь. Деньги — вот единственное, о чем ты думаешь, да еще о том, чтобы удовлетворять свои прихоти! Ты даже не понимаешь, что такое справедливость, и в жизни не понимал. Ты думаешь только о себе, Фрэнк! Я никогда еще не встречала такого жестокого человека. Во время всей этой истории ты обходился со мной, как с собакой. А сам между тем путался с этой дрянной ирландской девчонкой и ее-то наверно посвящал во все свои дела. До последней минуты ты предоставляешь мне думать, будто любишь меня по-прежнему, а потом, ни с того, ни с сего, требуешь развода! Но не тут-то было. Я тебе развода не дам, можешь и не помышлять об этом!

Каупервуд молча слушал ее. Он понимал, что его позиция в этом сложном семейном конфликте весьма выгодна. Он ведь сидит в тюрьме, на долгий срок оторванный от семейной жизни, — за это время жена привыкнет обходиться без него. Когда он выйдет из тюрьмы, ей нетрудно будет добиться развода с бывшим арестантом, особенно если она укажет на его связь с другой женщиной, чего он, конечно, не станет отрицать. Надо надеяться, что при этом удастся избежать упоминания имени Эйлин. Если он не будет оспаривать обвинения, миссис Каупервуд может назвать любое вымышленное имя. Кроме того, Лилиан — женщина слабохарактерная. Он сумеет подчинить ее своей воле. А сейчас, пожалуй, нет смысла продолжать разговор. Лед сломан, положение, надо думать, теперь ей ясно, а остальное сделает время.

— Не разыгрывай трагедии, Лилиан, — безразличным тоном произнес он. — Не такая уж беда потерять меня, раз у тебя будут средства к жизни. Вряд ли я останусь в Филадельфии, после того как выйду отсюда. Я думаю поехать на Запад, и скорее всего поеду один. Я не собираюсь немедленно жениться, даже если ты и дашь мне развод. И не собираюсь никого с собой брать. Для детей будет лучше, если ты останешься здесь и разведешься со мной. Общественное мнение будет тогда на вашей стороне.

— Я на это не пойду! — решительно заявила миссис Каупервуд. — Не соглашусь — никогда и ни за что! Можешь говорить, что тебе угодно. После всего, что я для тебя сделала, ты обязан остаться со мной и с детьми. И я не соглашусь на развод. Можешь больше не просить меня, я не согласна!

— Ну что ж, — спокойно произнес Каупервуд, вставая, — сейчас больше не стоит об этом спорить. Тем более, что твое время уже почти истекло. (Посетителям, как правило, разрешалось оставаться двадцать минут.) Может быть, ты впоследствии передумаешь.

Лилиан взяла свои вещи — муфту и портплед, в котором принесла мужу белье, — и собралась уходить. Обычно она на прощанье с притворной нежностью целовала Каупервуда, но теперь была слишком обозлена, чтобы следовать этому обыкновению. В то же время ей было больно, больно за себя и, как ей казалось, за него тоже.

— Фрэнк, — трагическим голосом воскликнула она в последнюю минуту, — я никогда не видела такого человека, как ты. Мне кажется, что у тебя нет сердца. Ты недостоин хорошей жены. Ты заслуживаешь как раз такой, какая тебе достанется! Ах, подумать только!..

Слезы хлынули у нее из глаз, и она порывисто вышла из камеры, озлобленная и вместе с тем полная сожалений.

Каупервуд не двинулся с места. По крайней мере не будет больше этих никому не нужных поцелуев, не без удовольствия подумал он. Все это, конечно, жестоко, принимая во внимание ее чувства. По существу, он не причинил ей зла, рассуждал Каупервуд, ведь он не намеревался материально ущемлять ее, а это самое главное. Лилиан сегодня потеряла самообладание, но она справится с собой и со временем, возможно, поймет его. Кто знает? Во всяком случае он объяснил ей свои намерения и считал, что этим уже кое-что достигнуто. Сейчас он больше всего напоминал цыпленка, пробивающего себе выход из скорлупы, то есть из

прежних стесненных условий жизни. Пусть он в тюрьме, пусть ему предстоит отбывать наказание еще без малого четыре года, — в глубине души он знает, что перед ним открыт весь мир. Если ему не удастся восстановить свое дело в Филадельфии, он может уехать на Запад. Но он останется в этом городе столько, сколько понадобится для того, чтобы вновь завоевать уважение всех, кто знал его в былые дни, и тем самым как бы получить «верительные грамоты», которые он возьмет с собой в чужие края.

«Брань на вороту не виснет! — мысленно произнес он, когда дверь закрылась за Лилиан. — Пока человек жив, не все потеряно. Я еще расправлюсь кое с кем из этих господ!»

Когда Бонхег пришел запереть дверь камеры, Каупервуд спросил его, не собирается ли дождь: в коридоре что-то очень темно.

— К вечеру, видно, польет, — отвечал Бонхег, которого все еще не переставали удивлять доходившие до него со всех сторон слухи о сложных и запутанных делах Каупервуда.

57

Ровно тринадцать месяцев провел Каупервуд в Пенсильванской Восточной тюрьме до дня своего освобождения. Этим досрочным освобождением он был обязан частично самому себе, частично обстоятельствам, от него не зависевшим. Начать с того, что через полгода после его заключения в тюрьму скончался Эдвард Мэлия Батлер, умер скоропостижно, сидя за столом в своем кабинете. Поведение Эйлин гибельно отразилось на его сердце. С того дня, когда Каупервуду был вынесен приговор, но особенно после того, как Фрэнк плакал на ее плече во время их свидания в тюрьме, Эйлин озлобилась и ожесточилась против отца. Ее отношение к нему, неестественное для дочери, было вполне естественно для переживающей душевные муки влюбленной женщины. Каупервуд сказал ей, что, по его мнению, Батлер употребил все свое влияние, чтобы не допустить его помилования губернатором даже в том случае, если будет помилован Стинер, за тюремной жизнью которого Каупервуд следил с неослабевающим интересом. Эйлин пришла в безумную ярость. Она пользовалась любым предлогом, чтобы побольнее оскорбить отца, старалась не замечать его, по мере возможности избегала сидеть вместе с ним за столом, а когда не было иного выхода, менялась местами с Норой и усаживалась подле матери. Она теперь никогда не соглашалась играть на рояле или петь в его присутствии и упорно избегала молодых людей, подававших надежды на политическом поприще, которых приглашали в дом Батлеров главным образом ради нее. Старик, конечно,

прекрасно понимал, в чем дело, но ничего не говорил. Он больше не надеялся смягчить дочь.

Мать и братья сначала только недоумевали. (Миссис Батлер так никогда и не узнала истины.) Но вскоре после осуждения Каупервуда Оуэн и Кэлем стали догадываться о причине такого поведения Эйлин. Однажды, уже собираясь уходить с вечера из одного дома, где Оуэн, благодаря своему растущему значению в финансовом мире, был желанным гостем, он услыхал, как один из двух мало знакомых ему молодых людей, застегивая пальто, сказал другому:

— Вы читали в газете, что этот Каупервуд получил четыре года?

— Да, — последовал ответ. — А ведь умный малый, этого не отнимешь! Я знал девушку, с которой он… ну, вы понимаете, кого я имею в виду: некую мисс Батлер.

Оуэн подумал, что ослышался. У него не мелькнуло даже тени подозрения, пока другой гость, открывая дверь и выходя на улицу, не добавил:

— Что ж, старый Батлер с ним поквитался. Говорят, это он засадил его в тюрьму.

Оуэн нахмурился. В его глазах появился суровый, угрожающий блеск. Характером он пошел в отца. О чем это, черт возьми, они толкуют? Что за мисс Батлер? Возможно ли, чтобы они подразумевали Эйлин или Нору, но какое отношение к той или другой мог иметь Каупервуд? Едва ли речь идет о Норе, подумал он. Она по уши влюблена в одного знакомого ему молодого человека и собирается замуж. Но вот Эйлин всегда была очень расположена к Каупервуду и неизменно одобрительно отзывалась о нем. Неужели это она? Нет,

Оуэн не верил: он хотел догнать тех двоих и потребовать у них объяснения, но когда вышел на улицу, то увидел, что они ушли уже довольно далеко и к тому же не в ту сторону, куда должен был идти он. Тогда Оуэн решил спросить отца.

Старый Батлер тотчас же рассказал ему обо всем, но потребовал, чтобы сын держал язык за зубами.

— Жаль, что я этого не знал, — со злобой проговорил Оуэн. — Я пристрелил бы этого Каупервуда как собаку!

— Потише, потише! — остановил его Батлер. — Твоя жизнь дороже жизни этого субъекта, и вдобавок вся наша семья была бы втоптана в грязь вместе с ним. Он уже получил по заслугам за все свои пакости и получит еще. Только смотри помалкивай! Надо повременить! Раньше чем через год или два он не выберется на свободу. При ней ты тоже помалкивай. Что толку от разговоров! Я надеюсь, что долгая разлука с ним ее образумит.

После этого разговора Оуэн старался быть возможно предупредительнее с сестрой, но он до такой степени тянулся к высшему обществу и так жаждал преуспеть в большом свете, что не понимал, как могла Эйлин совершить подобный проступок. Он негодовал, что из-за нее на его пути оказался камень преткновения. Теперь враги, кроме всего прочего, могли при желании бросить ему в лицо еще и этот упрек, а в том, что такое желание у них возникнет, можно было не сомневаться.

Кэлем узнал об истории с Эйлин совсем из другого источника, но почти в то же самое время. Он состоял членом Атлетического общества, имевшего отличное собственное здание в городе и превосходный загородный

клуб, куда Кэлем время от времени отправлялся поплавать в бассейне и понежиться в турецкой бане. Однажды вечером в бильярдной к нему подошел один из его приятелей и сказал:

— Послушайте, Батлер, вы знаете, что я вам друг?

— Да, конечно, — отвечал тот. — А в чем дело?

— Видите ли, — продолжал молодой человек, некий Ричард Петик, глядя на Кэлема с подчеркнутой преданностью, — мне не хотелось бы рассказывать вам историю, которая может огорчить вас, но я не считаю себя вправе о ней умолчать.

Он потеребил высокий воротник, подпиравший его подбородок:

— Я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях, Петик, — настораживаясь, сказал Кэлем. — Но в чем дело? Что вы имеете в виду?

— Повторяю, мне очень не хочется огорчать вас, но этот мальчишка Хибс распускает тут всякие слухи про вашу сестру.

— Что такое? — воскликнул Кэлем, вскочив как ужаленный; он тотчас вспомнил, какие правила поведения диктует общество в подобных случаях. Надо показать всю степень своего гнева. Если задета честь, надо потребовать надлежащего удовлетворения, а сначала, вероятно, дать пощечину обидчику. — Что же он говорит о моей сестре? Какое право имеет он упоминать здесь ее имя? Он ведь с нею даже не знаком!

Петик сделал вид, будто его чрезвычайно беспокоит, как бы чего не вышло между Батлером и Хибсом. Он снова стал рассыпаться в уверениях, что не

хочет причинять неприятность Кэлему, хотя на самом деле сгорал от желания посплетничать. Наконец он решился:

— Хибс распространяет толки, будто ваша сестра была каким-то образом связана с тем Каупервудом, которого недавно судили, и будто из-за этого он и угодил в тюрьму.

— Что такое? — снова воскликнул Кэлем, мгновенно отбросив напускное спокойствие и принимая вид глубоко уязвленного человека. — Он это сказал? Хорошо же! Где он? Посмотрим, повторит ли он то же самое при мне!

На его юношески худощавом и довольно тонком лице промелькнуло что-то, напоминавшее неукротимый воинственный дух отца.

— Послушайте, Кэлем, — понимая, что он вызвал настоящую бурю, и несколько опасаясь ее исхода, попытался утихомирить его Петик, — будьте осторожны в выражениях. Не затевайте здесь скандала. В клубе это не принято. Кроме того, возможно, что он пьян и просто повторяет вздорные слухи, которых где-то наслышался. Ради бога, не волнуйтесь так!

Петик был причиной всего этого смятения и тревожился, опасаясь, что скандал неблагоприятно отзовется на нем самом. Его сочтут сплетником, и он окажется замешанным в эту историю. Но Кэлема уже не так-то просто было удержать. С побелевшим лицом он направился в ресторан — помещение, отделанное в староанглийском вкусе, — где, потягивая коньяк с одним из своих сверстников, сидел Хибс.

— Послушайте, Хибс! — окликнул его Кэлем.

Услышав этот оклик и увидев в дверях Кэлема, Хибс поднялся и подошел к нему. Это был довольно красивый юноша, типичный питомец Принстонского университета. Из разных источников — в том числе и от других членов клуба

— до него дошли слухи об Эйлин, и он рискнул повторить их в присутствии Петика.

— Что вы тут рассказывали про мою сестру? — гневно спросил Кэлем, в упор глядя на Хибса.

— Я… право же… — замялся тот, предчувствуя неприятность и стараясь выпутаться. Он не отличался большой храбростью, о чем красноречиво свидетельствовала его внешность. Волосы у него были соломенного цвета, глаза голубые, щеки розовые. — Право же… я, собственно, ничего… Кто вам сказал, что я говорил о ней?

Хибс взглянул на Петика, понимая, кто его выдал; тот поспешно проговорил:

— Лучше уж не отпирайтесь, Хибс! Вы прекрасно знаете, что я слышал ваши разглагольствования.

— Ну, и что же я, по-вашему, сказал? — вызывающим тоном спросил Хибс.

— Да, что это вы сказали? — свирепо подхватил Кэлем, беря инициативу в свои руки. — Прошу повторить при мне.

— Что вы, право, — волнуясь, забормотал Хибс, — по-моему, я говорил лишь то, что слышал от других. Я только повторил с чужих слов, будто ваша сестра была очень дружна с мистером Каупервудом. Сам я ничего не добавил.

— Ах, вот как, вы ничего не добавили? — воскликнул Кэлем и, быстро вынув из кармана правую руку, ударил Хибса по лицу. Затем, разъярясь, повторил удар левой рукой. — Может быть, это научит тебя, щенок, воздерживаться от разговоров о моей сестре.

Хибс тотчас сжал кулаки. У него была некоторая тренировка в кулачном бою. Защищаясь, он нанес Кэлему несколько довольно сильных ударов в грудь и в подбородок. В обоих залах ресторана поднялась невообраэимая суматоха. Опрокидывая столы и стулья, все кинулись к дерущимся. Противников быстро разняли; из очевидцев каждый держал сторону того, с кем находился в приятельских отношениях, и, перебивая других, спешил высказать свое мнение. Кэлем разглядывал свою руку, окровавленную от удара, который он нанес Хибсу. Как истинный джентльмен, он сохранял полное спокойствие. Хибс, разгоряченный, вне себя, твердил, что подвергся оскорблению без всякого к тому повода. Какое безобразие — наброситься на него в клубе! Всему виною Петик, подслушавший чужой разговор и потом оговоривший его, Хибса. Тот, в свою очередь, возмущался и уверял, что поступил так, как подобает другу. Это происшествие наделало в клубе столько шуму, что лишь благодаря огромным усилиям обеих сторон не попало в газеты. Кэлем пришел в ярость, убедившись, что слухи об Эйлин были небезосновательны и возникли под влиянием общей молвы. Он открыто заявил о выходе из клуба и больше там не показывался.

— Я очень сожалею, что ты ударил этого мальчишку, — заметил Оуэн, узнав о разыгравшемся скандале. — Это только подольет масла в огонь. Эйлин следовало бы куда-нибудь уехать, но она не хочет. Она

все еще влюблена в того субъекта, и мы должны скрывать это от матери и Норы. Мы с тобой еще хлебнем горя из-за нашей сестрицы!

— Черт возьми! — воскликнул Кэлем. — Надо заставить ее уехать.

— Что же ты поделаешь, если она не хочет, — отозвался Оуэн. — Отец пытался принудить ее, и то ничего не добился. Предоставим всему идти своим чередом. Каупервуд сидит в тюрьме, и ему, надо думать, крышка. Публика считает, что его упрятал туда отец, а это тоже кое-что значит. Может быть, через некоторое время нам удастся спровадить Эйлин. Да, лучше бы нам никогда не знать этого негодяя. У меня руки чешутся убить его, как только он выйдет из-за решетки.

— Не стоит, — сказал Кэлем, — будут неприятности, и это только еще больше развяжет языки. Кроме того, он теперь конченый человек.

Братья решили прежде всего поторопить Нору со свадьбой. С Эйлин же они были так холодны и сухи, что миссис Батлер не переставала горестно недоумевать и расстраиваться.

В этом мире всеобщей вражды старый Батлер совсем растерялся, не знал, что делать и как поступать. Уже несколько месяцев он без конца думал об одном и том же, но не находил решения. Он впал в мрачное, почти мистическое отчаяние и, наконец, семидесяти лет от роду, измученный и безутешный, испустил дух, сидя за письменным столом в своем кабинете. Физической причиной смерти было поражение левого сердечного желудочка, но немалую роль сыграло и душевное состояние в связи с тяжелыми мыслями об Эйлин. Разумеется, его смерть нельзя было приписать только

огорчениям из-за дочери, ибо он был человеком грузным, апоплексического сложения и уже давно страдал склерозом кровяных сосудов; к тому же он много лет вел очень малоподвижный образ жизни, гибельно отражавшийся на его пищеварении. Да и вообще ему перевалило за семьдесят, и он отжил свой век. Его нашли утром уже окоченевшим, он сидел, свесив на грудь голову и уронив руки на колени.

Похороны были пышные. Отпевание происходило в церкви св.Тимофея при огромном стечении народа — присутствовало много политических деятелей и представителей городской администрации; в толпе перешептывались о том, что кончину Батлера, быть может, ускорило горе, причиненное дочерью. Немало, конечно, было сказано о его благотворительной деятельности. Молленхауэр и Симпсон прислали огромные венки в знак своей скорби. Его смерть сильно огорчила их, так как все вместе они составляли нераздельную троицу. Но раз его не стало, то, собственно, не стоило больше и вспоминать об этом. Все свое состояние Батлер оставил жене, и его завещание было, вероятно, самым кратким, какое когда-либо заверял нотариус в Филадельфии:

«Завещаю возлюбленной жене моей Норе все мое состояние, в чем бы оно ни заключалось, с правом распоряжаться им по собственному ее усмотрению».

Никаких превратных толкований это завещание вызвать не могло. Но незадолго до своей смерти Батлер составил второй секретный документ, в котором пояснял, как распорядиться наследством, когда настанет ее черед умирать. Собственно, это и было его настоящее завещание, только замаскированное, и миссис Батлер ни

за что на свете не согласилась бы что-либо изменить в нем. Батлер непременно хотел, чтобы она до самой смерти оставалась единственной наследницей всего его имущества. Сумма, с самого начала предназначавшаяся Эйлин, не подверглась никакому изменению. Согласно воле покойного — и ничто в мире не заставило бы миссис Батлер уклониться от точного ее выполнения, — Эйлин по смерти матери получала двести пятьдесят тысяч долларов. Но миссис Батлер, рассматривавшая этот документ как свое собственное завещание, никому и словом не обмолвилась ни о распоряжении относительно Эйлин, ни о всем прочем. Эйлин нередко задумывалась, оставил ли ей что-нибудь отец, но никогда не пыталась узнать. Вероятно, ничего, решила она, и надо с этим примириться.

После смерти Батлера во взаимоотношениях семьи произошли большие перемены. Похоронив его, они как будто вернулись к прежней мирной совместной жизни, но это была лишь видимость. Оуэн и Кэлем не в силах были скрыть своего презрительного отношения к Эйлин, и она, понимая, в чем дело, отвечала им тем же. Эйлин держалась очень высокомерно. Оуэн хотел заставить ее уехать сразу же после смерти отца, но потом передумал, решив, что это ни к чему не приведет. Миссис Батлер, наотрез отказавшаяся выехать из старого дома, боготворила старшую дочь, и это тоже не позволяло братьям настаивать на отъезде Эйлин. Кроме того, всякая попытка «выжить» сестру привела бы к необходимости все объяснить матери, что они считали невозможным. Оуэн усердно ухаживал за Каролиной Молленхауэр, на которой надеялся жениться отчасти потому, что ее ожидало после смерти отца большое наследство, отчасти же потому, что действительно был влюблен в нее. В

январе следующего года — Батлер скончался в августе — Нора скромно отпраздновала свою свадьбу, а весной ее примеру последовал и Кэлем.

Тем временем произошли большие перемены в политической жизни Филадельфии. Некий Том Коллинс, прежде один из подручных Батлера, а с недавних пор видный человек в Первом, Втором, Третьем и Четвертом кварталах, где он держал множество кабаков и других подобных заведений, стал претендовать на руководящую роль в городе. Молленхауэр и Симпсон вынуждены были считаться с ним, ибо его противодействие означало бы почти верную потерю на выборах без малого ста пятнадцати тысяч голосов; правда, среди бюллетеней было много фальшивых, но особого значения это не имело. Сыновья Батлера больше не могли рассчитывать на широкую политическую деятельность, им пришлось ограничиться коммерческими операциями в области конных железных дорог и подрядами. Помилование Каупервуда и Стинера, чему, конечно, воспротивился бы Батлер, так как, удерживая в тюрьме Стинера, он тем самым удерживал там и Каупервуда, теперь стало значительно более простым делом. Скандал из-за расхищения городских средств постепенно стих, газеты перестали даже упоминать о нем. Стараниями Стеджера и Уингейта была составлена и подана губернатору пространная петиция, подписанная всеми крупными финансистами и биржевиками; в ней указывалось, что осуждение Каупервуда было явной несправедливостью, почему они и ходатайствуют о его помиловании. Что касается Стинера, то за него особенно хлопотать не приходилось: лидеры республиканской партии выжидали только удобной минуты, чтобы обратиться к губернатору с просьбой об его освобождении. До сих пор они ничего

не предпринимали, так как знали, что Батлер будет противодействовать освобождению Каупервуда, а выпустить одного, позабыв о другом, было невозможно. Петиция губернатору, поданная уже после смерти Батлера, как нельзя лучше решала вопрос.

И все же непосредственные шаги были сделаны лишь в марте, через полгода после смерти старого подрядчика, когда Стинер и Каупервуд уже пробыли в тюрьме тринадцать месяцев — срок, вполне достаточный для того, чтобы умиротворить широкую публику. За этот период Стинер сильно изменился как физически, так и духовно. Несмотря на то, что его время от времени посещали второстепенные члены городского самоуправления, некогда в той или иной форме пользовавшиеся его щедротами, и сам он, правда, по тюремным понятиям, почти ни в чем не был стеснен, а семья его не страдала от лишений, — он все же понимал, что его политическая и общественная карьера кончена. Хотя то один, то другой приятель присылал ему корзины с фруктами и все они не скупились на уверения, что его скоро выпустят, бывший казначей знал: по выходе из тюрьмы он может рассчитывать только на свой опыт агента по страхованию и продаже недвижимости. Это было весьма ненадежным делом еще в те дни, когда он пытался укрепиться на политическом поприще. Что же будет теперь, когда его знают лишь как человека, ограбившего городское казначейство на полмиллиона долларов и присужденного к пяти годам тюрьмы? Кто одолжит ему хотя бы четыре-пять тысяч долларов для самого скромного начала? Не те ли, что приходят теперь навещать его и выражают свое соболезнование по поводу несправедливого приговора? Да никогда! Все они будут уверять, что у них нет ни одного лишнего цента.

Вот если бы он мог предложить хорошее обеспечение — тогда другое дело! Но будь у него хорошее обеспечение, ему незачем было бы обращаться к ним. Единственный человек, который действительно помог бы ему, знай он о его нужде, был Фрэнк Каупервуд. Если бы Стинер признал свою ошибку, — каковой Каупервуд считал отказ во второй ссуде, — тот охотно дал бы ему денег, даже не надеясь получить их обратно. Но Стинер, плохо разбираясь в людях, считал, что Каупервуд безусловно стал его врагом, и у него никогда не хватило бы ни мужества, ни деловой сметки обратиться к нему.

В течение всего своего пребывания в тюрьме Каупервуд откладывал небольшие суммы при посредстве Уингейта. Он платил крупные гонорары Стеджеру, пока тот наконец не решил, что больше уже ничего не должен с него брать.

— Если вы когда-нибудь снова станете на ноги, Фрэнк, вы отблагодарите меня, но я думаю, тогда вы и вспоминать-про меня не захотите! Я только и делал, что проигрывал да проигрывал ваше дело в разных инстанциях. Ходатайство о помиловании я составлю и подам без всякого гонорара. Впредь я буду работать на вас безвозмездно.

— Полно нести вздор, Харпер! — отозвался Каупервуд. — Я не знаю никого, кто мог бы лучше вести мое дело. И во всяком случае, никому я не доверяю так, как вам. Вы ведь заметили, что я недолюбливаю адвокатов!

— Ну что ж, — отозвался Стеджер, — адвокаты тоже недолюбливают финансистов, так что мы с вами квиты!

И они обменялись рукопожатием.

Итак, когда в начале марта 1873 года решено было наконец ходатайствовать о помиловании Стинера, пришлось волей-неволей просить о том же и для Каупервуда. Делегация, состоявшая из Стробика, Хармона и некоего Уинпенни, которому предстояло выразить якобы единодушное желание городского совета и администрации, а также присоединившихся к ним Молленхауэра и Симпсона видеть бывшего казначея на свободе, посетила в Гаррисберге губернатора и вручила ему официальное ходатайство, составленное так, чтобы произвести надлежащее впечатление на публику. Одновременно Стеджер, Дэвисон и Уолтер Ли подали петицию о помиловании Каупервуда. Губернатор, заранее получивший на этот счет указания из сфер гораздо более влиятельных, чем упомянутые лица, отнесся к ходатайствам с сугубым вниманием. Он лично займется этим делом. Ознакомится с судебными отчетами о преступлениях, совершенных обоими заключенными, со сведениями об их прошлой жизни. Конечно, он ничего не может обещать, но по ознакомлении с делом будет видно… Через десять дней — после того как петиции уже покрылись изрядным слоем пыли в ящике его письменного стола — он издал два отдельных указа о помиловании, даже пальцем не пошевельнув для изучения вопроса. Один из них, в знак уважения, он передал на руки Стробику, Хармону и Уинпенни, чтобы они, согласно выраженному ими желанию, могли сами вручить его Стинеру. Второй указ, по просьбе Стеджера, отдал ему, и обе делегации, явившиеся за этими бумагами, уехали. Под вечер того же дня к тюремным воротам прибыли — правда, в разные часы — две группы. Одна состояла из Стробика, Хармона и Уинпенни, другая — из Стеджера, Уингейта и Уолтера Ли.

58

Историю с ходатайством — вернее, точный срок, когда следовало ожидать его удовлетворения, — скрывали от Каупервуда, хотя все наперебой твердили ему, что он скоро будет помилован или что у него имеются веские основания на это надеяться. Уингейт и Стеджер, по мере возможности, постоянно держали его в курсе своих хлопот. Но когда, со слов личного секретаря губернатора, стал известен день подписания указа о помиловании, Стеджер, Уингейт и Уолтер Ли договорились ни единым словом не упоминать об этом и устроить Каупервуду сюрприз. Стеджер и Уингейт зашли даже так далеко, что намекнули ему, будто произошла какая-то заминка и дело с его освобождением, возможно, затянется. Каупервуд был огорчен, но держался стоически, внушая себе, что можно еще потерпеть, так как все равно его час настанет. Тем сильнее он удивился, когда однажды в пятницу, уже под вечер, Уингейт, Стеджер и Уолтер Ли подошли к дверям его камеры вместе с начальником тюрьмы Десмасом.

Десмас был очень рад, что Каупервуд наконец выходит на свободу, так как искренне восхищался им, и решил пойти к нему в камеру, чтобы посмотреть, как тот отнесется к радостной вести. По пути он счел своим долгом отметить, что Каупервуд все время примерно вел себя.

— Он разбил во дворе при камере садик, — сообщил начальник тюрьмы Уолтеру Ли. — Посадил там фиалки, гвоздику, герань, и они очень хорошо принялись.

Ли улыбнулся. Как это похоже на Каупервуда — быть деятельным и стараться скрасить свою жизнь даже в тюрьме. Такого не одолеешь!

— Это исключительный человек, — заметил Ли Десмасу.

— О да! — подтвердил начальник тюрьмы. — Достаточно взглянуть на него, чтобы в этом убедиться.

Все четверо посмотрели сквозь решетку: Каупервуд не замечал их, так как они подошли очень тихо, и продолжал работать.

— Прилежно трудитесь, Фрэнк? — спросил Стеджер.

Каупервуд оглянулся через плечо и встал. Как и все последние «дни, он размышлял о том, чем ему заняться по выходе из тюрьмы.

— Как прикажете это понимать? — спросил он. — Прямо политическая делегация пожаловала!

И в ту же секунду он догадался. Все четверо радостно улыбались, а Бонхег, по приказанию начальника, отпирал дверь.

— Да тут и понимать нечего, Фрэнк, — весело отозвался Стеджер, — разве только одно — вы теперь свободный человек. Если угодно, можете собирать пожитки и уходить.

Каупервуд спокойно смотрел на своих друзей. После того, что они недавно ему сказали, он не ожидал освобождения так скоро. Он не принадлежал к тем, кого забавляют подобные шутки или сюрпризы, но внезапное сознание своей свободы обрадовало его. Правда, он уже так давно ждал этой минуты, что значительная доля прелести ее для него утратилась. Он был несчастен в

тюрьме, но не сломлен. Поначалу было тяжко терпеть позор и унижение. Но впоследствии, когда он освоился с обстановкой, ощущение гнета и чувство оскорбленного достоинства притупились. Его только раздражало сознание, что, сидя взаперти, он попусту теряет время. Если не считать неудовлетворенных стремлений — главным образом жажды успеха и жажды оправдать себя, — он убедился, что может жить в тесной камере и притом совсем неплохо. Он уже давно свыкся с запахом извести (заглушавшим другой, более скверный запах) и с множеством крыс, которых он, впрочем, усердно истреблял. В нем пробудился известный интерес к плетению стульев, и он так наловчился, что при желании мог изготовлять по двадцать штук в день. Не менее охотно работал Каупервуд весной, летом и осенью в своем крохотном садике. Каждый вечер, сидя там, он изучал небосвод, и любопытно, что в память об этих вечерах много лет спустя он подарил великолепный телескоп одному знаменитому университету. Каупервуд никогда не смотрел на себя как на обыкновенного арестанта, так же как не считал, что понес достаточную кару, если в его действиях и вправду был какой-то элемент преступления. Бонхег рассказал ему о многих заключенных; среди них были убийцы, были люди, совершившие еще более тяжкие злодеяния, а также и мелкие преступники; кое-кого Каупервуд даже знал в лицо: Бонхег не раз водил его на главный двор. Каупервуд видел, как готовят еду для заключенных, слышал о довольно сносном тюремном житье Стинера и о многом другом. В конце концов он пришел к убеждению, что тюрьма не так уж страшна, жаль только, что такой человек, как он, Каупервуд, попусту растрачивает время. Сколько бы он успел сделать на свободе, не возясь со

всеми этими исковыми заявлениями. Суды и тюрьмы! Он невольно качал головой, думая о том, сколько пропащего времени кроется за этими словами.

— Отлично, — произнес он каким-то неуверенным голосом и осмотрелся по сторонам. — Я готов.

Он вышел в коридор, даже не бросив прощального взгляда на свою камеру, и обратился к Бонхегу, весьма огорченному утратой столь выгодного клиента:

— Я попрошу вас, Уолтер, позаботиться о том, чтобы мои личные вещи отослали ко мне домой. Ну а кресло, стенные часы, зеркало, картины, короче говоря, все, кроме белья, бритвенного прибора и тому подобных мелочей, можете оставить себе.

Этот щедрый дар несколько успокоил скорбящую душу Бонхега. Каупервуд со своими спутниками прошел в «приемную», где торопливо скинул с себя тюремную куртку и рубаху. Вместо грубых башмаков он уже давно носил собственные легкие ботинки. Затем он снова надел котелок и серое пальто, в котором год назад был доставлен в тюрьму, и объявил, что готов. У выхода он на секунду задержался и оглянулся — в последний раз — на железную дверь, ведущую в сад.

— Вы, кажется, не без сожаления расстаетесь со всем этим, Фрэнк? — полюбопытствовал Стеджер.

— Не совсем так, — отвечал Каупервуд. — Я ни о чем не сожалею, мне просто хочется удержать это в памяти.

Через минуту они уже подошли к внешней ограде, и Каупервуд пожал на прощание руку начальнику тюрьмы.

Затем все трое уселись в экипаж, ожидавший их у массивных ворот в готическом стиле, и лошади тронули.

— Ну, вот и все, Фрэнк! — весело заметил Стеджер. — Больше вы уже в жизни ничего подобного не испытаете.

— Да, — согласился Каупервуд, — сознание, что все это в прошлом, приятнее, чем сознание, что это еще только предстоит.

— Па-моему, надо как-нибудь отпраздновать знаменательное событие, — вмешался Уолтер Ли. — Прежде чем везти Фрэнка домой, нам следовало бы заехать к Грину, неплохая мысль, а? Как по-вашему?

— Не сердитесь, но я бы предпочел отправиться прямо домой, — отвечал Каупервуд несколько даже растроганным голосом. — Мы встретимся немного поздней. А сейчас я хочу побывать дома и переодеться. — Он думал об Эйлин, о детях, об отце и матери, о своем будущем. Теперь жизнь откроет перед ним широкие горизонты, в этом он был уверен. За прошедшие тринадцать месяцев он научился и в мелочах сам заботиться о себе. Он увидится с Эйлин, узнает ее отношение ко всему происшедшему и затем начнет такое же дело, какое у него было раньше, но только совместно с Уингейтом. Необходимо будет при помощи добрых друзей снова добиться места на фондовой бирже, а для того, чтобы дурная слава недавнего арестанта не мешала людям вести с ним дела, он будет на первых порах действовать в качестве агента и представителя конторы «Уингейт и Кь». Никто не может доказать, что он, Каупервуд, фактически является главой фирмы. Затем надо только дождаться какого-нибудь крупного события на бирже, например, невиданного повышения курсов. И

тогда уж весь свет узнает, конченый человек Фрэнк Каупервуд или нет.

Экипаж остановился у дверей маленького коттеджа, занимаемого его женой, и он быстро вошел в полутемную прихожую.

Восемнадцатого сентября 1873 года, в погожий осенний полдень, город Филадельфия стал местом действия одной из самых ошеломляющих финансовых трагедий, какие когда-либо видел мир. Крупнейшее кредитное учреждение Америки — банкирский дом «Джей Кук и Кь», имевший контору в доме 114 «по Третьей улице и отделения в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лондоне, внезапно прекратил платежи. Тот, кто представляет себе, что такое финансовый кризис в Соединенных Штатах, поймет и все значение, которое имела последовавшая за этим событием биржевая паника. Она получила название „паники 1873 года", а волна разорений и катастроф, прокатившаяся тогда по всей стране, поистине не знает себе равных в истории Америки.

В это самое время Каупервуд уже снова вел дела на Третьей улице и в качестве маклера (официально — агента маклера), то есть представителя фирмы «Уингейт и Кь», подвизался на бирже.

За полгода, прошедшие со дня его освобождения, он успел возобновить кое-какие связи если не в обществе, то среди финансистов, знавших его раньше.

Кроме того, фирма «Уингейт и Кь» в последнее время явно процветала, и это весьма благоприятно отражалось на кредитоспособности Каупервуда.

Считалось, что он проживает вместе с женой в маленьком домике на Двадцать первой улице, на деле же он занимал холостую квартиру на Пятнадцатой улице, и туда частенько наведывалась Эйлин. О разладе между ним и Лилиан теперь уже знала вся семья, сделавшая даже несколько робких и напрасных попыток примирить супругов. Впрочем, тяжелые испытания последних двух лет настолько приучили стариков Каупервудов ко всякого рода неприятным неожиданностям, что вся эта история хоть и изумила их, но ранила не так жестоко, как могла бы ранить несколько лет назад. Они были слишком напуганы жизнью, чтобы вступать в борьбу с ее непостижимыми превратностями. Старики теперь могли только молиться и уповать на лучшие времена.

Что касается Батлеров, то они стали равнодушны к поведению Эйлин. Оба брата и Нора, давно уже знавшие обо всем, старались попросту не замечать старшей сестры; мать же до такой степени ушла в религию, так погружена была в скорбь о понесенной утрате, что не следила больше за жизнью дочери. Вдобавок Каупервуд и его любовница проявляли удвоенную осторожность. Они старались рассчитывать каждый свой шаг, хотя отношения их ничуть не изменились. Каупервуд подумывал о переезде на Запад, разумеется вместе с Эйлин. Он хотел отчасти восстановить свое положение в Филадельфии и затем с капиталом примерно тысяч в сто перебраться к необъятным прериям — в Чикаго, Фарго, Дулут, Сиукс-Сити, то есть в места, о которых в Филадельфии и вообще на Востоке говорили как о будущих крупных центрах. Правда, вопрос об их браке оставался нерешенным, пока миссис Каупервуд не согласилась на развод — о чем сейчас нечего было и думать, — но ни Каупервуд, ни Эйлин не тревожились.

Венчанные или невенчанные, они все равно будут вместе строить новую жизнь. А пока что Каупервуд видел только один выход: увезти с собой Эйлин, надеясь, что время и разлука заставят жену изменить решение.

Биржевая паника, которой суждено было оказать столь решающее влияние на дальнейшую жизнь Каупервуда, относилась к тем своеобразным явлениям, которые естественно проистекают из оптимизма американского народа и неудержимого развития страны. Собственно говоря, она явилась результатом высокомерия и самоуверенности Джея Кука, который вырос в Филадельфии, здесь же начал преуспевать на финансовом поприще и затем стал крупнейшим финансистом своего времени. Мы не будем пытаться проследить путь этого человека к славе. Достаточно сказать, что благодаря его советам и способам, им изобретенным, правительство в наиболее критические для страны минуты сумело добыть средства, необходимые, чтобы продолжать борьбу с Югом. После Гражданской войны этот человек, уже создавший грандиозную банкирскую контору в Филадельфии с довольно крупными отделениями в Нью-Йорке и Вашингтоне, некоторое время пребывал в нерешительности: какое еще дело избрать для себя, в какой творческой идее достойно воплотить свой финансовый гений? Война была кончена; на очереди стоял вопрос о финансах мирного времени, и наиболее широким поприщем для предприимчивого дельца являлось строительство трансконтинентальных железнодорожных линий. Объединенная Тихоокеанская компания уже строила железную дорогу, получив разрешение еще в 1860 году. Смелые умы зачинателей этого дела уже вынашивали замыслы о постройке

железных дорог на севере и юге тихоокеанского побережья. Разве это не великое дело — соединить стальными путями Атлантический и Тихий океаны, связать воедино разрозненные части окрепшего и территориально разросшегося государства или же поставить на широкую ногу разработку рудников, в первую очередь золотых и серебряных. Но наиболее перспективно, пожалуй, все-таки железнодорожное дело, и железнодорожные акции выше других котируются на всех фондовых биржах Америки. В Филадельфии нарасхват раскупались акции линий Центральной Нью-Йоркской, Рок-Айленд, Уобеш, Центральной Тихоокеанской, Сент-Поль, Ганнибал и Сент-Джозеф, Объединенной Тихоокеанской и Огайо — Миссисипи. Многие люди разбогатели и прославились, спекулируя на этих ценностях; известные дельцы на Востоке — Корнелий Вандербильдт, Джей Гулд, Дэниел Дрю, Джеме Фиш и другие, на Западе — Фэйр, Крокер, Херст и Коллис Хантингтон благодаря этим предприятиям сделались столпами американской промышленности. Среди тех, кто страстно мечтал о подобном взлете, был Джей Кук; не обладая ни волчьей хитростью Гулда, ни огромным опытом Вандербильдта, он все свои помыслы устремил на то, чтобы опоясать северные просторы Америки стальной лентой, которая послужит ему вечным памятником.

Больше всего Кука привлекал проект, предусматривавший развитие территории — в те времена еще почти не исследованной — между западным берегом Верхнего озера, где теперь стоит город Дулут, и побережьем Тихого океана близ устья реки Колумбии — иными словами, почти трети всей территории Соединенных Штатов. Постройка железной дороги не

могла не вызвать здесь к жизни крупные города и цветущие поселения. Предполагалось, что недра той части Скалистых Гор, по которой должна была пройти железная дорога, изобилуют залежами различных металлов, а поля принесут неслыханные урожаи кукурузы и пшеницы. Продукты, доставляемые в Дулут, дальше можно будет переправлять к Атлантическому побережью водой, через систему Великих озер и канал Ири по значительно более низким расценкам. Это открывало не менее грандиозные и величественные перспективы, чем прокладка Панамского канала, намечавшаяся в ту эпоху, и должно было в не меньшей мере послужить на благо человечеству. Кук вдохновился этим проектом. Поскольку было известно, что правительство предоставит огромные земельные участки по обе стороны предполагаемой железной дороги той компании, которая сумеет построить ее в сравнительно недолгий срок, Кук, считая, что это даст ему возможность сохранить свою репутацию крупнейшего дельца, решительным образом взялся за дело. Проект встретил немало возражений и подвергся суровой критике; но в конце концов все сошлись на том, что человек, сумевший поддержать финансовую мощь страны во время Гражданской войны, уж, конечно, справится с финансированием Северной Тихоокеанской дороги. Кук приступил к делу, намереваясь так широко ознакомить публику с выгодами своего начинания, чтобы обойтись без помощи какого-либо крупного финансового концерна и продавать акции и паи непосредственно людям всех сословий и званий.

Такой план сулил гигантские выгоды. Еще во время Гражданской войны Кука осенила блестящая идея продавать облигации крупнейших правительственных

займов непосредственно населению. Почему же не повторить этот маневр с сертификатами Северной Тихоокеанской? В течение нескольких лет Кук поддерживал громкую шумиху, изучал территорию будущей дороги, посылал туда многолюдные бригады строителей, в труднейших природных условиях прокладывал сотни миль рельсовых путей и продавал крупные пакеты акций с гарантированным дивидендом. Если бы он сам немного лучше разбирался в железнодорожном деле и если бы руководство столь грандиозными работами было под силу одному человеку, пусть даже гениально одаренному, то его предприятие процветало бы, как оно процветало впоследствии при новом управлении. Однако тяжелое время, франко-прусская война, по рукам и ногам связавшая европейский капитал и сделавшая европейских дельцов равнодушными к американским компаниям, зависть, клевета, не всегда умелое хозяйствование — все словно объединилось, чтобы разрушить предприятие Кука. Восемнадцатого сентября 1873 года банкирский дом «Джей Кук и Кь» обанкротился, потеряв приблизительно восемь миллионов долларов, а Северная Тихоокеанская — весь капитал, вложенный в нее, то есть без малого пятьдесят миллионов.

Нетрудно себе представить, что произошло, когда в один и тот же день и час потерпел крах крупнейший финансист и крупнейшее железнодорожное предприятие того времени. «Финансовый гром среди ясного неба», — писала филадельфийская газета «Пресс». «Если бы в жаркий летний полдень выпал снег, это не вызвало бы большего удивления», — вторила ей «Кикуайерер». Широкая публика, ослепленная небывалыми успехами Кука и считавшая его несокрушимым, не сразу поняла,

что случилось. Никто не хотел верить этому. Джей Кук — банкрот? Чепуха, с ним такого не может случиться. Тем не менее Кук обанкротился, и нью-йоркская фондовая биржа, зарегистрировав в тот же день еще целый ряд банкротств, на неделю прекратила свою деятельность. Железная дорога компании «Лейк Шор» не могла покрыть ссуду в миллион семьсот пятьдесят тысяч долларов. Объединенное акционерное кредитное общество, связанное с Вандербильдтом, прекратило платежи, предварительно выдержав долгий натиск вкладчиков. Нью-йоркское национальное кредитное общество, в сейфах которого хранилось на восемьсот тысяч долларов государственных ценных бумаг, не могло получить от них ни единого доллара и тоже приостановило платежи. Теперь уже все заподозрили недоброе, тревожные слухи поползли по городу.

В Филадельфии первой вестью о катастрофе явилась краткая депеша в адрес биржевого комитета от представителей нью-йоркской биржи. «Носятся слухи о банкротстве „Джей Кук и Кь". Ждем подтверждения». Никто этому не поверил, и депеша осталась без ответа. Такая мысль никому и в голову не приходила. Биржевой мир попросту не обратил внимания на это нелепое сообщение. Каупервуд, недоверчиво присматривавшийся к успехам компании «Джей Кук» и блистательному замыслу ее главы, то есть продаже ценных бумаг непосредственно населению, был, может быть, единственным человеком, подозревавшим возможность краха. Однажды он написал (в ответ на чей-то запрос) великолепный критический обзор деятельности этой компании, отмечая, что никогда еще такое грандиозное предприятие, как Северная Тихоокеанская железная дорога, не зависело от кредитоспособности одного

банкирского дома — вернее, одного человека, и что он, Каупервуд, считает это рискованным. «Я отнюдь не убежден, что территория, по которой проходит упомянутая железная дорога, так уж идеальна по своим климатическим условиям, почве, качеству леса, обилию минералов и т.п., как это расписывают мистер Джей Кук и его присные. Я также не думаю, чтобы это предприятие в настоящее время или в ближайшем будущем могло приносить прибыль, соответствующую огромному количеству акций, им выпускаемых. Такая постановка дела ненадежна и чревата опасностью».

Едва прочитав вывешенную на бирже телеграмму, Каупервуд уже стал думать, что произойдет, если банкирский дом «Джей Кук и Кь» в самом деле объявит о своем банкротстве.

Долго размышлять ему не пришлось. На доске рядом с первой появилась вторая депеша, гласившая: «Нью-Йорк, 18 сентября, „Джей Кук и Кь" приостановили платежи».

Каупервуд не сразу поверил своим глазам. Его охватило глубокое волнение при мысли, что представился наконец долгожданный случай. Вместе с другими биржевиками он помчался на Третью улицу, где в доме 114 помещался этот знаменитый старинный банк. Ему нужно было убедиться воочию. Позабыв о своем обычном спокойствии и сдержанности, он не постеснялся бежать бегом. Если это правда, то пробил его час! Вот-вот начнется повсеместная паника, разразится великое бедствие. Акции начнут стремительно падать. Надо быть в самом круговороте надвигающихся событий. Необходимо также позаботиться, чтобы братья и Уингейт

находились поблизости. Он будет давать им указания, когда и что продавать или покупать. Да, его час настал!

59

Банкирский дом «Джей Кук и Кь», несмотря на огромный размах своих операций, помещался в весьма скромном четырехэтажном здании из кирпича и серого известняка, давно уже считавшемся некрасивым и неудобным. Каупервуд часто бывал там. По залам банкирского дома шмыгали здоровенные крысы, пробиравшиеся туда с набережной через сточные трубы. Множество клерков трудилось над банковскими книгами при скудном свете газовых рожков в полутемных и плохо проветриваемых помещениях. По соседству отсюда находился Джирардский национальный банк, где по-прежнему успешно развивал свою деятельность приятель Каупервуда Дэвисон и где совершались крупнейшие финансовые операции Третьей улицы. По дороге Каупервуд столкнулся со своим братом Эдвардом, спешившим к нему на биржу с каким-то пакетом от Уингейта.

— Живо беги за Уингейтом и Джо! — крикнул Каупервуд. — Сегодня произойдут большие события. Джей Кук прекратил платежи.

Эдвард, ни слова не говоря, ринулся выполнять поручение.

Каупервуд одним из первых добежал до банка «Джей Кук и Кь». К вящему его изумлению, массивные дубовые двери, в которые он так часто входил, оказались запертыми: на них было вывешено обращение:

«К сведению наших клиентов. 18 сентября 1873 года. С прискорбием объявляем, что вследствие неожиданно предъявленных нам требований погашения

ссуд фирма вынуждена временно прекратить платежи. В ближайшие дни мы сможем дать нашим кредиторам отчет о состоянии дел. До тех пор нам остается только просить их о терпеливом и снисходительном отношении. Мы уверены, что наш актив значительно превосходит пассив.

Джей Кук и Кь»

Глаза Каупервуда блеснули торжеством. Вместе со многими другими он повернул назад и снова помчался к бирже, между тем как какой-то репортер, явившийся за сведениями, тщетно стучал в массивные двери банка, пока в ромбовидное оконце не выглянул швейцар и не сообщил ему, что мистер Джей Кук ушел и сегодня никого принимать не будет.

«Теперь, — подумал Каупервуд, которому эта паника сулила не разорение, а успех, — теперь-то я свое возьму. Я буду продавать все, решительно все».

В прошлый раз, во время паники, вызванной чикагским пожаром, он не мог распродать свой портфель, его собственные интересы требовали сохранения ряда ценных бумаг. Сейчас у него ничего не было за душой — разве только какие-нибудь семьдесят пять тысяч долларов, которые ему удалось наскрести. И слава богу! Значит, в случае неудачи он не рискует ничем, кроме доброго имени фирмы «Уингейт и Кь», а это его мало беспокоит. Но пока что в качестве представителя этой фирмы на бирже, покупая и продавая от ее имени, он мог составить себе огромное состояние. В минуты, когда большинству мерещилась гибель, Каупервуд думал об обогащении. Оба его брата и Уингейт будут действовать по его указаниям. Если понадобится, он подберет себе еще одного или двух

агентов. Даст им приказ продавать, все продавать, пусть на десять, пятнадцать, двадцать, даже тридцать пунктов ниже курса; он будет ловить неосторожных, сбивать цены, пугать трусов, которым его действия покажутся слишком смелыми, а затем начнет покупать, покупать и покупать по еще более низкому курсу, чтобы покрыть запродажные сделки и сорвать барыш.

Чутье подсказывало ему, что паника будет повсеместной и продолжительной.

Северная Тихоокеанская — стомиллионное предприятие. В нее вложены сбережения сотен тысяч людей — мелких банкиров, торговцев, священников, адвокатов, врачей, вдов, капиталы разных фирм, рассеянных по стране; все они доверились честности и деловитости Джея Кука. Каупервуду как-то случилось видеть роскошный рекламный проспект с картой, чем-то напомнивший ему план горящего Чикаго, и там была нанесена территория, контролируемая Куком, с проходившей по ней Северной Тихоокеанской железной дорогой, опоясывавшей огромные пространства; она начиналась от Дулута — «столицы пресных морей» (как саркастически выразился в своей речи в конгрессе доктор Проктор Нотт) и через верховья Миссури и Скалистые Горы подходила к Тихому океану. Каупервуд понимал, что Кук только делает вид, будто осваивает эту предоставленную ему правительством гигантскую территорию протяжением в тысячу четыреста миль; это была всего-навсего грандиозная игра. Не исключено, конечно, что там имеются месторождения золота, серебра и меди. И земля годна для обработки — вернее, будет годна со временем. Но сейчас-то какой от нее толк? Сейчас все это годилось разве на то, чтобы распалять воображение глупцов — не больше. Эти земли

не освоены и не будут освоены еще в течение многих лет. Тысячи людей отдали свои сбережения на постройку дороги, тысячи должны были разориться, если предприятие Кука потерпит крах. И вот это случилось! Отчаяние и злоба пострадавших будут беспредельны. Пройдут долгие, очень долгие годы, прежде чем в людях восстановится уверенность, исчезнет страх. Теперь настал его час! Представился долгожданный случай. Словно волк, рыщущий в ночи при холодном и мертвенном свете звезд, всматривался Каупервуд в смирную толпу простаков, зная, какой ценой они расплатятся за свою доверчивость и наивность.

Каупервуд поспешил обратно на биржу, в тот самый зал, где два года назад он вел такую безнадежную борьбу. Увидев, что братьев и компаньона еще нет на месте, он сам стал продавать что только мог. Вокруг уже был сущий ад. Мальчишки-посыльные и агенты врывались со всех сторон с приказами от перепуганных биржевиков продавать, продавать и продавать, но вскоре наоборот: покупать. Столбы, возле которых совершались сделки, трещали и шатались под напором суетящихся биржевиков и маклеров. На улице перед зданиями банкирских домов «Джей Кук и Кь», «Кларк и Кь», Джирардского национального банка и других финансовых учреждений уже скопились огромные толпы. Каждый спешил узнать, что случилось, забрать вклад, хоть как-то защитить свои интересы. Полисмен арестовал мальчишку-газетчика, выкрикивавшего весть о банкротстве «Джея Кука», но все равно слух о великом бедствии распространялся со скоростью степного пожара.

Среди всех этих охваченных паникой людей Каупервуд оставался спокойным, холодным и

невозмутимым; это был все тот же Каупервуд, который с серьезным лицом исполнял в тюрьме свое дневное задание — десять плетеных сидений, расставлял капканы для крыс и в полном безмолвии и одиночестве возделывал крохотный садик при камере. Только теперь он был исполнен сил и внутренней энергии. Он уже достаточно долго вновь пробыл на бирже, чтобы успеть внушить уважение всем, кто его знал. С трудом пробравшись в самую гущу взволнованной и охрипшей от криков толпы, он начал предлагать те же ценности, что предлагали другие, но в огромных количествах и по таким низким ценам, которые не могли не ввести в соблазн всякого, кто хотел нажиться на разнице в биржевых курсах. К моменту объявления о крахе акции Центральной Нью-Йоркской линии котировались по 104 7/8, Род-Айленд — по 108 7/8, Уэстерн-Юнион — по 92 1/2, Уобеш — по 70 1/4, Панамские — по 117 3/8, Центральные Тихоокеанские — 99 5/8, Сент-Поль — 51, Ганнибал и Сент-Джозеф — 48, Северо-западные — 63, Тихоокеанские — 26 3/4 и, наконец, Огайо — Миссисипи по 38 3/4. Фирма, за которой скрывался Каупервуд, располагала не очень большим количеством этих акций. Ни один клиент еще не отдал приказа об их продаже, но Каупервуд уже продавал, продавал и продавал каждому, кто выражал желание купить их по ценам, которые — Каупервуд твердо знал это — должны были заманить покупателей.

— Пять тысяч акций Центральной Нью-йоркской по девяносто девять… девяносто восемь… девяносто шесть… девяносто пять… девяносто четыре… девяносто три… девяносто два… девяносто один… девяносто… восемьдесят девять, — все время слышался его голос; а если сделка не совершалась достаточно быстро, он

переметывался на другие — Род-Айленд, Панама, Центральные Тихоокеанские, Уэстерн-Юнион, Северо-западные, Тихоокеанские. Заметив брата и Уингейта, торопливо входивших в зал, он остановился, чтобы дать им необходимые распоряжения.

— Продавайте все, что возможно, — тихо сказал он, — пускай на пятнадцать пунктов ниже курса — дешевле пока что смысла нет, — и покупайте решительно все, что предложат по еще более низкой цене. Ты, Эд, следи, не пойдут ли конные железнодорожные пунктов на пятнадцать ниже курса, а ты, Джо, оставайся поблизости и покупай, когда я скажу.

Ровно в половине второго на балкончике появился секретарь биржевого комитета.

— «Кларк и Кь» только что прекратила платежи, — объявил он.

— «Тай и Кь», — снова послышался его голос в час сорок пять минут, — уведомляют о приостановке платежей.

— Первый Филадельфийский национальный банк, — возгласил он в два часа,

— поставил нас в известность, что не может более производить расчеты.

После каждого такого сообщения теперь, как и прежде, раздавался удар гонга, призывающий к тишине, а у толпы вырывался единодушный жалобный стон: «О-о-ох!»

«Тай и Кь»! Каупервуд на секунду приостановился, услышав это, — вот и ему конец, — и тотчас же снова начал выкликать свои предложения.

Когда биржевой день закончился, Каупервуд протискался к выходу в разорванном сюртуке, со сбитым на сторону галстуком и расстегнутым воротничком, без шляпы — она куда-то запропастилась, — но спокойный, невозмутимый и корректный.

— Ну, Эд, как дела? — осведомился он, столкнувшись с братом.

Тот был в таком же растерзанном виде, измученный и усталый.

— Вот черт! — воскликнул Эд, заправляя манжеты. — В жизни ничего подобного не видел. Я чуть было не остался нагишом.

— Удалось что-нибудь с конными железнодорожными?

— Купил пять тысяч штук или около того.

— Что ж, теперь надо отправляться к Грину (это был один из лучших отелей Филадельфии с роскошным рестораном), — произнес Каупервуд. — Это еще не конец. Там сделки будут продолжаться.

Он разыскал Джо с Уингейтом, и они ушли, по пути подводя итоги своим основным покупкам и запродажам.

Как он и предвидел, волнение не улеглось даже поздним вечером. Толпы народа все еще стояли на Третьей улице перед дверями «Джей Кук и Кь» и других банков в надежде, что события могут обернуться благоприятно. Для биржевиков центр спора и лихорадочного волнения теперь переместился в отель Грина, где вечером 18 сентября вестибюль и все коридоры были битком набиты банкирами, маклерами и спекулянтами. Собственно говоря, туда в полном составе

перекочевала биржа. Что будет завтра? Чье банкротство на очереди? Откуда теперь возьмутся деньги? Вот что было у каждого в помыслах и на языке. Из Нью-Йорка то и дело поступали сообщения о новых банкротствах. Банки и тресты рушились, как деревья во время урагана. Всюду поспевавший Каупервуд, видя все, что можно было увидеть, и слыша все, что можно было услышать, заключал сделки, считавшиеся на бирже противозаконными, но точно такие же, как заключали другие. Вскоре он заметил, что вокруг него крутятся агенты Молленхауэра, и Симпсона, и заранее радовался при мысли, что основательно оберет их в ближайшие дни. Каупервуд еще не решил, станет ли он владельцем какой-нибудь конной железной дороги, но, во всяком случае, у него будет такая возможность. По слухам и сообщениям, поступавшим из Нью-Йорка и других городов, он знал, что дело обстоит из рук вон плохо для тех, кто строил свои расчеты на быстром восстановлении нормальной обстановки. Каупервуду даже в голову не пришло уйти домой, пока здесь оставался хоть один человек, хотя за окнами уже светало.

Наступила пятница, предвещавшая немало роковых событий. Не станет ли она повторением пресловутой «Черной пятницы»? Каупервуд пришел в контору фирмы Уингейт, когда город еще только просыпался. Он заранее до мелочей разработал план действий, чувствуя себя совсем по-иному, чем во время паники два года назад. Вчера, несмотря на неожиданность всего происшедшего, он нажил сто пятьдесят тысяч долларов и сегодня надеялся выручить не меньше, а то и больше. Невозможно наперед определить, сколько удастся еще нажить, думал Каупервуд, важно только, чтобы все члены его маленького объединения работали достаточно

четко и беспрекословно ему повиновались. Многие узнали о своем разорении с самого утра, когда было объявлено банкротство фирмы «Фиск и Хетч», преданно сотрудничавшей с Куком еще в пору Гражданской войны.

В первые же пятнадцать минут после открытия банка у «Фиск и Хетч» было востребовано на полтора миллиона вкладов, и они оказались вынужденными тут же прекратить платежи. По слухам, вина за банкротство этой компании ложилась на правление Центральной Тихоокеанской железной дороги, возглавляемое Коллисом Хантингтоном, и линии Чезапик — Огайо. Упорный натиск вкладчиков долго выдерживало Акционерное кредитное общество. Сообщения о новых крахах в Нью-Йорке непрерывно увеличивали панику, благоприятствовавшую Каупервуду; он все продавал по еще сравнительно высоким ценам и покупал уже по значительно более низким. К полудню он выяснил, что у него очистилось сто тысяч долларов. К трем часам эта сумма возросла втрое. Конец дня от трех до семи он потратил на подсчеты и приведение в порядок дел, а от семи до часу ночи (не успев даже пообедать) занимался собиранием сведений и подготовкой к завтрашнему дню. В субботу Каупервуд действовал с не меньшей энергией, в воскресенье снова подсчитывал, а в понедельник с самого утра уже был на бирже. В полдень выяснилось окончательно, что он (даже если вычесть известные убытки и сомнительные суммы) стал миллионером. Теперь перед ним открывалось блестящее будущее.

Сидя в конце дня за своим письменным столом и глядя в окно на Третью улицу, по которой все еще сновали биржевики, рассыльные и взволнованные вкладчики, он решил, что для него настала пора покинуть Филадельфию. Маклерское дело ни здесь, ни в

каком-либо другом городе больше его не интересовало. Эта паника и воспоминания о катастрофе, случившейся два года назад, излечили Каупервуда как от любви к биржевой игре, так и от любви к Филадельфии. После долгих счастливых лет он был одно время очень несчастен в этом городе, а клеймо арестанта навсегда закрывало ему здесь доступ в те круги, куда он хотел проникнуть. Теперь, когда его репутация дельца была восстановлена, когда он был помилован за преступление, которого не совершал (Каупервуд надеялся, что все в это верят), ему не оставалось ничего другого, как покинуть Филадельфию и пуститься на поиски нового поля деятельности.

«Если все обойдется, — говорил он себе, — то надо поставить точку. Я уеду на Запад и займусь совсем другим делом». Он уже думал о конных железных дорогах, о спекуляциях земельными участками, о крупных индустриальных предприятиях и даже о разработке рудников, конечно, на вполне законном основании.

«Мне преподан хороший урок, — подумал он, вставая и собираясь уходить.

— Я так же богат, как прежде, а времени потеряно немного. Один раз меня поймали в капкан, больше этого не случится».

Он вел переговоры с Уингейтом о продлении сотрудничества на прежних началах, искренне намеревался отдаться этому со всей присущей ему энергией, но в мозгу у него то и дело вставала радостная мысль:

«Я миллионер, я свободный человек. Мне тридцать шесть лет, и передо мной еще долгая жизнь».

С этой мыслью он пошел к Эйлин, чтобы вместе с нею помечтать о будущем.

Всего три месяца спустя поезд, мчавшийся по горам Пенсильвании и равнинам Огайо и Индианы, вез на Запад миллионера, который, несмотря на свою молодость, богатство и отличное здоровье, серьезно и несколько скептически думал о том, что его ожидает. После долгих всесторонних размышлений он пришел к выводу, что Запад изобилует разнообразными возможностями. Он внимательно изучал сводки нью-йоркской расчетной палаты, а также балансы банков, следил за тем, куда перемещается золото, и убедился, наконец, что оно в огромных количествах течет в Чикаго. Каупервуд был недюжинным знатоком финансов и понимал, что значит направление золотого потока. Там, куда он течет, процветает деловая жизнь, там все кипит, все находится в состоянии непрерывного роста. Теперь он хотел собственными глазами увидеть, чего можно ждать от Запада.

Через два года после того, как в Дулуте метеором блеснул молодой финансист, а деловой мир Чикаго стал свидетелем первых шагов оптовой зерновой конторы «Фрэнк Каупервуд и Кь», занявшейся сбытом колоссальных запасов производимой Западом пшеницы, миссис Каупервуд, по-прежнему проживавшая в Филадельфии, не поднимая излишнего шума и, видимо, по собственному желанию, дала мужу развод. Время милостиво обошлось с нею. Ее материальное положение, недавно столь плачевное, поправилось, и она вновь жила

в Западном квартале, по соседству с одной из своих сестер, в удобном и красивом особняке, типичном для буржуазии средней руки. Теперь она опять стала очень набожной. Ее дети — Фрэнк и Лилиан — учились в частной школе, а по вечерам возвращались домой к матери. Большинство хозяйственных обязанностей выполнял старый негр Симс. По воскресеньям Лилиан обычно навещали старики Каупервуды; материальные затруднения и для них остались позади, но оба они выглядели какими-то смирными и утомленными, — ветер больше не надувал паруса корабля их некогда столь счастливой жизни. У Каупервуда-старшего было достаточно денег, чтобы не тянуть лямку мелкого служащего, но не было больше желания выдвинуться в обществе. Он сделался старым, вялым и ко всему безразличным. Вспоминая почет и оживление, которое царило вокруг него в прежние годы, он чувствовал себя так, словно стал совсем другим человеком. Ушли желанья, ушла смелость, оставалось только ждать смерти.

Иногда заходила к своей бывшей невестке и Анна-Аделаида Каупервуд, теперь служащая городского отдела водоснабжения. Она любила размышлять о непостижимых превратностях жизни и с любопытством следила за карьерой своего брата, которому, как видно, самой судьбой предназначено было всегда играть первые роли, но отказывалась понимать его. Убедившись, что всякий, кто связан с ним, переживает падения и взлеты в зависимости от его успехов, она терялась в догадках, что же такое мораль и справедливость в этом мире. Существуют как будто для всех обязательные принципы — или же люди только думают так? Но больше видишь исключений из этих правил. Ее брат, безусловно, не

руководствовался такими принципами, а между тем снова шел в гору. Что же это значит? Миссис Каупервуд, бывшая жена Фрэнка, осуждала его образ действий, но охотно пользовалась всеми благами его преуспеяния. Как сочетать это с понятием этики?

Каждый шаг Каупервуда, все его дела и чаяния были известны Эйлин Батлер. Вскоре после развода с женой, после неоднократных приездов в Филадельфию и отъездов в тот новый мир, где он теперь развивал свою деятельность, они однажды, в зимний день, уехали вместе. Эйлин сказала матери, пожелавшей жить у Норы, что она полюбила бывшего банкира и собирается выйти за него замуж. Старушке пришлось удовольствоваться этим объяснением и дать свое согласие.

Так навсегда закончилась для Эйлин прежняя жизнь в старом, знакомом ей мирке. Теперь ее ждал Чикаго — по словам Каупервуда, суливший куда более блестящее будущее, чем то, на которое они могли рассчитывать в Филадельфии.

— Правда ведь, это замечательно, что мы наконец уезжаем? — спросила она.

— Во всяком случае, это разумный шаг, — отвечал Каупервуд.

КОЕ-ЧТО ПРО MYCTEROPERCA BONACI

Существует рыба, научное название которой Mycteroperca Bonaci — в просторечии черный морской окунь; рыба эта заслуживает того, чтобы поговорить о ней в связи со всем, что было рассказано выше. Крупный, нередко достигающий двухсот пятидесяти фунтов веса, черный окунь живет долго и не ведает опасностей, ибо обладает удивительной способностью приспособляться к

окружающей среде. То хитрое явление, которое мы зовем созидательной силой и наделяем духом праведности, по нашему представлению всегда устраивает жизнь в этом мире так, что в ней торжествуют честность и добродетель. Но, словно в назидание нам, природой сотворен черный морской окунь. Внимательно вглядевшись в окружающий нас мир, мы обнаружим ряд подобных ему, не менее коварных тварей: таков паук, ткущий паутину для беспечной мухи; такова прелестная Drosera (росянка), чья розовая чашечка раскрывается, улавливая существа, пленившиеся ее красотой, и затем снова смыкается, чтобы поглотить их; или радужная медуза, простирающая свои щупальца, похожие на дивные лучи северного сияния, которая терзает и жалит все живое, попавшее в эти сверкающие тиски. И человек, сам того не подозревая, роет для себя яму, сам расставляет себе тенета. Иллюзия ослепила его, и вот он уже защелкнут капканом обстоятельств.

Mycteroperca, обретаясь в темных глубинах зеленых вод, служит ясным доказательством того, что созидательный гений природы лишен доброго начала, и это подтверждается на каждом шагу. Превосходство Mycteroperca над другими обитателями подводного царства заключено в почти невероятной способности к притворству, обусловленной пигментацией кожи. Преуспевшие в электромеханике, мы гордимся нашим умением в мгновение ока сменять одну великолепную картину другой, развертывать перед зрителем долгую чреду внезапно возникающих и вновь исчезающих видений. Но Mycteroperca еще более властно распоряжается своею внешностью. Тот, кто долго смотрит на эту рыбу, невольно поддается чувству, что перед ним фантастическое, сверхъестественное существо

— так блистательна ее способность к обману. Из черной она мгновенно превращается в белую; землисто-бурая, вдруг окрашивается в прелестный зеленоватый цвет воды. Пятна, ее испещряющие, видоизменяются, как облака на небе. И нельзя не удивляться многообразию ее коварных уловок.

Лежа в иле на дне бухты, она может уподобиться этому илу. Укрывшись под сенью пышных водорослей, она принимает их окраску. Двигаясь в полосе света, она сама кажется светом, тускло мерцающим в воде. Ее уменье уходить от преследования и нападать исподтишка поразительно.

С какою же целью наделила черного окуня этой особенностью всевластная и умная природа? Чтобы казалось, будто он неспособен на коварство? Или придать ему характерную внешность, по которой его узнает любая бесхитростная и жизнелюбивая рыба? Или, может быть, при создании Mycteroperca были пущены в ход коварство, вероломство, лживость? Ведь ее можно принять за орудие обмана, за олицетворение лжи, за существо, которому назначено казаться не тем, что оно есть, изображать то, с чем оно не имеет ничего общего, добывать себе пропитание хитростью, против которой бессилен даже самый могучий враг. И такое предположение будет правильно.

Можно ли, зная о существе, подобном Mycteroperca, сказать, что добрая, благодетельная, всевластная созидательная сила никогда не порождает ничего обманчивого и коварного? Или же следует допустить, что видимый мир, который нас окружает, только иллюзия? Но если так, то откуда же взялись десять заповедей, откуда взялась мнимая справедливость? Отчего люди

всегда мечтали о блаженстве и какую пользу принесли им эти мечтания?

МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

Читатель, будь ты мистиком, или прорицателем, или мудрецом, посвященным в тайны заклятий, вещих снов, гаданий при помощи волшебной чаши и хрустального шара, загляни в их загадочные глубины, и ты увидишь цепь событий, ожидающих ту чету, которая сейчас, казалось, спешит навстречу новой и радостной жизни. В испарениях колдовского котла, в мерцании сияющего хрусталя тебе откроются города, города, города; мир дворцов, роскошных экипажей, драгоценностей, красоты; огромная столица, ввергнутая в бедствие по воле одного человека; великое государство, негодующее на силу, которую оно не в состоянии побороть; громадные залы, увешанные бесценными полотнами величайших мастеров; дворец, по великолепию не имеющий себе равных; все человечество, время от времени с удивлением произносящее одно имя.

И — горе, горе, горе!

Три ведьмы, что славили Макбета в грозу на пустыре, завидев Каупервуда, могли бы сказать:

— Да славится властелин гигантской сети железных дорог! Да славится Фрэнк Каупервуд, строитель великолепнейшего из дворцов! Да славится Фрэнк Каупервуд, покровитель искусств, обладатель несметных богатств! Ты будешь возвеличен в веках!

Но вещие сестры солгали бы, ибо к славе его примешался тлен от плодов Мертвого моря — разум, неспособный возгореться желанием, насытиться великолепием; сердце, давно уже утомленное житейской

многоопытностью; душа, холодная, как месяц в безветренную ночь.

Эйлин же они, как Макдуфу, могли бы посулить много тревог, много надежд, рассыпавшихся прахом. Иметь и не иметь! Среди богатства и роскоши тоска необладания. Блестящее общество, которое на мгновенье раскрыло перед ней свои двери, чтобы тотчас же ее отвергнуть. Любовь, облетевшая, как одуванчик, и угасшая во мраке!

— Привет тебе, Фрэнк Каупервуд, безвластный властелин, князь призрачного царства! Действительность для тебя — лишь утрата иллюзий.

Так могли бы вещать ведьмы; им вторили бы виденья, возникающие в испарениях колдовского котла. И все это было бы правдой. В таком начале любому разумному человеку не усмотреть иного конца.

Note1

Эндрю Джексон — седьмой президент США с 1829 по 1837 г.; Николас Бидл — председатель правления Банка США

Note2

альпари — соответствие номиналу

Note3

Гражданская война в США (1861-1865) — война между промышленными северными и рабовладельческими южными штатами; закончилась победой Севера благодаря участию широких народных масс, боровшихся за отмену рабства

Note4

консигнация — продажа товаров через посредника

Note5

установление биржевой цены или курса ценных бумаг

Note6

разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой, которую запрашивает маклер

Note7

то есть под залог процентных бумаг, которые банк имеет право продать по своему усмотрению, если взятая сумма не будет уплачена по первому требованию

Note8

Джон Браун (1800-1859) — борец за освобождение негров-рабов в США; в 1859 г. поднял восстание в Виргинии; потерпел поражение, был взят в плен и казнен

Note9

здание в Филадельфии, где 4 июля 1776 г. была провозглашена независимость Соединенных Штатов Америки

Note10

в США буржуазная партия вигов образовалась в 1834 г. для борьбы против президента Эндрю Джексона

Note11

Россетти Данте Габриель (1828-1882) и Берн-Джонс Эдуард (1833-1898) — английские художники, принадлежавшие к декадентской школе прерафаэлитов, стремившейся возродить средневековую мистику

Note12

сражение под г.Мобилем (штат Алабама) и «битва в лесных дебрях» (штат Виргиния), происшедшие в 1864 г., были крупными событиями в войне Севера и Юга

Note13

под Союзом подразумеваются Соединенные Штаты

Note14

известные поборники освобождения негров

Note15

южане (и поддерживавшая их демократическая партия) требовали свободы торговли, выгодной для экспорта хлопка; северяне (и республиканская партия), напротив, настаивали на протекционизме и высоких ввозных пошлинах для ограждения промышленности от европейской конкуренции

Note16

важное лицо (лат.)

Note17

сертификаты — здесь: билеты, облигации займа

Note18

фонд, предназначенный для погашения долга

Note19

трансферт — здесь: передача права владения именными ценными бумагами одним лицом другому